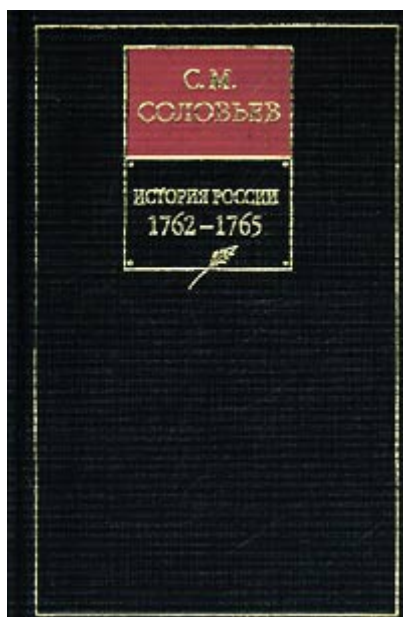


Сергей Михайлович Соловьев
История России с древнейших времен. Книга XIII. 1762–1765

История России с древнейших времен – 13



Аннотация

Тринадцатая книга сочинений С.М. Соловьева включает в себя двадцать пятый и двадцать шестой тома «Истории России с древнейших времен». Двадцать пятый том охватывает период царствования Петра III и начало царствования Екатерины II; двадцать шестой – продолжение царствования Екатерины II до 1765 г.

Сергей Михайлович Соловьев
«История России с древнейших времен»
Книга XIII. 1762–1765

Двадцать пятый том

Глава первая

Царствование императора Петра III Феодоровича. 25 декабря 1761 – 28 июня 1762 года

Милости нового государя. – Возвращение ссыльных. – Новый генерал-прокурор Глебов. – Новый совет. – Голицинские принцы и другие влиятельные люди. – Первые распоряжения в Сенате. – Манифест о вольности дворянской. – Уничтожение Тайной канцелярии. – Судный департамент в

Сенате; разделение Юстиц- и Вотчинной коллегий и Судного приказа на департаменты. – Решение по делу о церковных имениях. – Указ о возвращении бежавших раскольников. – Крестьянские волнения. – Состояние финансов. – Военные приготовления. – Мир и союз с Пруссией. – Столкновения с Даниею. – Сношения с Австриею, Франциею, Англиею, Швециею, Польшею и Турциею. – Неудовольствие в России на перемену внешней политики. – Затруднительное положение канцлера Воронцова и Ив. Ив. Шувалова. – Неудовольствие самых приближенных лиц. – Неудовольствие духовенства и войска. – Признаки расстройства правительственной машины. – Общее неудовольствие вследствие поведения Петра III. – Опасения прусских министров относительно этого неудовольствия. – Переписка Фридриха II с Петром III по этому поводу. – Румянцев и заграничная армия. – Иван Антонович. – Тяжкое положение императрицы Екатерины. – Н. И. Панин; гетман Разумовский. – Движения в гвардии. – Княгиня Дашкова. – Орловы. – Ускорение движения в пользу Екатерины. – Провозглашение ее самодержавною императрицею 28 июня. – Поход ее в Петергоф. – Неудачные попытки Петра III он отказывается от престола.

Большинство встретило мрачно новое царствование: знали характер нового государя и не ждали ничего хорошего. Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в царствование Петра III, разумеется, должно было стараться рассеять грустное расположение большинства, доказывать, что оно обманывается в своих черных предчувствиях.

«Бесконечна будет навеки память в бозе опочивающей государыни императрицы. Бесконечно и наше к подателю всех благ благодарение, когда видим, что его императ. величество, вступя на прародительский престол, милосердие и щедроты на всех изливает, как милосердая Елисавета, и к трудам в государственном правлении спешит и прилежит, как неутомленный Великий Петр; а ее величество государыня императрица, непрестанно посещая тело любезнейшей своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих для прощения, самое то бремя на себя снимать является, которое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и крови Петра Великого».

Так окончил свое описание кончины Елисаветы конференц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с покойною теткою своею относительно милосердия и щедрот. На какие же щедроты можно было указать? От нового правителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошедшего царствования. На другой день по вступлении на престол Петра, 26 декабря, по именному указу велено было прекратить следствие над губернаторами Солтыковым и Пушкиным; но здесь могли видеть заступничество сильных людей за свою братью; только после услышали об освобождении людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые и даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января подписаны были указы о возвращении из ссылки сына Менгдена, жены, сына и дочери Лилиенфельда, Натальи Лопухиной, Миниха с сыном; двое последних могли возвратиться в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда, где живет император. Знаменитый сложностью и обширностью своего следственного дела пензенский воевода Жуков освобожден из-под ареста. По указу 4 марта

возвращен из Ярославля в Петербург бывший герцог Бирон с фамилиею. Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов, Бирона и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних, несмотря на лета и несчастья, отличался большою живостью и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая состоялся указ: вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа Миниха на Васильевском острове каменного двора, в котором теперь Морской корпус, купя из казны за 25000 рублей у шталмейстера Нарышкина состоящий на Адмиралтейской стороне, близ Семеновского моста, каменный двор, отдать графу Миниху в вечное и потомственное владение. Возвращены были Миних и Бирон; этой паре соответствовала другая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисавете: то были Лесток и Бестужев-Рюмин; о Лестоке было кому напомнить: в первый же день восшествия на престол, 25 декабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в котором между прочим находилась статья «О помиловании и освобождении из ссылки несчастного графа Лестока» Но понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о возвращении из ссылки *несчастливого* графа Бестужева; да и, кроме Воронцова, никто из имевших доступ к императору и влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева; подле Петра III не было ни одного человека, расположенного к бывшему канцлеру, а сам Петр был сильно нерасположен к нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева: «Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моею женою и, кроме того, держу в памяти, что покойная тетюшка на смертном одре говорила мне о Бестужеве: она мне строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки» Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом известии, потому что свидетели подозрительны – Воронцов, Волков и Глебов; но, как бы то ни было, Лесток был возвращен, а Бестужев по-прежнему остался в ссылке. Впечатление, произведенное этим на беспристрастное большинство, представить легко: возвращен Лесток, возвращен Бирон, возвращены другие люди с чуждыми именами; не возвращен один русский человек, так долго и деятельно служивший русским интересам.

Но быть может, другие милости изглаживали неприятное впечатление; быть может, радовались приближению к государю людей достойных, удалению от него людей, не слывших благонамеренными?

25 декабря, когда Елисавета находилась при последнем издыхании, за две комнаты от спальни умирающей поместились бывший генерал-прокурор князь Никита Юр. Трубецкой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-кригскомиссар Александр Ив. Глебов. Здесь, расположась за письменным столом, подзывали они к себе то того, то другого из людей, близких к наследнику, перешептывались с ними, потом что-то писали и ходили как будто с докладами или для получения наставлений к великому князю, который большею частью находился перед спальнею умирающей тетки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе, как тени, *шатались* два старика: один – птенец Петра Великого, знаменитый сенатор и конференц-министр Ив. Ив. Неплюев, другой – генерал-прокурор князь Шаховской. Но присутствие этих стариков было неприятно людям, ходившим с докладами к наследнику, и Неплюеву с Шаховским именем великого князя было сделано внушение, чтоб они удалились. Вскоре после

этого Шаховской должен был опять отправиться во дворец, потому что получил повестку о кончине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в новое царствование, Шаховской обратился к одному из приближенных императора – Льву Александр. Нарышкину, чтоб тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел. Просьба была исполнена: того же 25 декабря Шаховской был уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов, оставшийся и генерал-кригскомиссаром, потому что не хотелось расстаться с доходною должностью. Того же числа была оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых фамилий: родной брат канцлера, дядя фаворитки Елизаветы Романовны Воронцовой Иван Ларионович был назначен сенатором и отправлен в Москву на первенствующее место в старой столице – место управляющего Сенатскою конторою. Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях: фельдмаршал князь Никита Юр. Трубецкой был пожалован в подполковники Преображенского полка (полковником был сам государь); Шуваловы, Петр и Александр, были произведены в фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестями нового звания: дни его уже были сочтены; но, несмотря на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал государственной деятельности и велел перенести себя на руках из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного им в люди, нового генералпрокурора Глебова, потому что Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему говорить о делах, но такое умственное напряжение, как думали тогда, ускорило смерть графа Петра, последовавшую 4 января. Ив. Ив. Шувалов сосредоточил в своих руках управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским – и, оставаясь куратором Московского университета, был, таким образом, как бы министром новорожденного русского просвещения; только Академия наук находилась по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумовского. О старшем Разумовском, графе Алексее, 6 марта был объявлен указ: «Генерал-фельдмаршалу графу Разумовскому быть уволенным и вечно свободным от всей военной и гражданской службы, с тем что, как у двора, так и где б он жить ни пожелал, отдается ему по чину его должное почтение, обещая его импер. величество сами сохранить к нему непременною милость и высочайшее благоволение».

На пятый месяц царствования обозначились лица, пользовавшиеся особенным расположением и доверием императора. 20 мая Сенат слушал указ: «Чтоб многие его импер. в-ства к пользе и славе империи его и к благополучию верных подданных принятые намерения наилучше и скорее в действо произведены быть могли, то избрали его импер. в-ство трудиться под собственными его импер. в-ства руководством и призрением над многими до того принадлежащими делами его высочества герцога Георгия, его светлость принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдмаршала Миниха, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Воронцова, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-поручика князя Волконского, генерал-поручика Мельгунова и действ. статск. советника тайного секретаря Волкова».

На первых местах в этом совете видим родственников императора по отцу принцев голштинских. Первый, дядя Петра III принц Георгий, генерал прусской службы, вызванный в Россию тотчас по восшествии на престол Петра, который был чрезвычайно к нему привязан: он произвел его в генерал-фельдмаршалы и

полковники лейб-гвардии Конного полка с жалованием по 48000 рублей в год. Другой принц, Петр-Август-Фридрих Голштейн-Бекский, был сделан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором, командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками, находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстляндии и Нарве. Следующие три члена совета – Миних, Трубецкой и Воронцов – нам известны. Генерал-поручик Вильбоа получил должность генерал-фельдцейхмейстера, праздную по смерти графа Петра Ив. Шувалова; как видно из отзывов современников, Вильбоа пользовался хорошою репутациею. Князь Волконский нам известен особенно как посланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петр. Мельгунов выдвинулся с помощью Ив. Ив. Шувалова и сблизился с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпусом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во время управления своего канцеляриею конференции; кроме того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым как человек преданный и занял место в новом совете, какое занимал в прежней, упраздненной теперь конференции: с 31 января Волков назывался тайным секретарем.

Если к этим членам нового совета присоединим генерал-прокурора Глебова и Ив. Ив. Шувалова, то исчерпаем круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные правительственные решения в начале царствования Петра III, ибо люди близкие, как-то: генерал-адъютанты Гудович и Унгерн-Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого влияния иметь не могли.

17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10 до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении из ссылки Менгдена, Лилиенфельдов, Минихов, Лопухиной; потом соизволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить умеренную, если совсем вольною торговлею сделать нельзя, о чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая весьма повреждена, так что с трудностью корабли приставать могут, немедленно починить, углубя оную и обделывая камнем. Сенату рассуждать, как бы Рогервицкую гавань доделывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нерчинск. Тут же Петру доложено было предложение покойного графа Петра Ив. Шувалова о водяном сообщении от реки Волхова до Рыбной слободы; в предложении говорилось: от слободы Рыбной чрез Тверь, Боровицкие пороги, Новгород до Новой Ладogi суда ходят 1120 верст, а есть от Рыбной слободы до Новой Ладogi другой водяной тракт, а именно: от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодощею, Горюном, озером Соминским, рекою Соминою, речкою Болчинкою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясью, а из Сяси надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского канала прямо на семи верстах; этим трактом всего 592 версты. Сенат доложил при этом, что для освидетельствования и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу производить вольными людьми.

В то же заседание император приказал Сенату иметь попечение о Петербурге, которого строение происходит весьма обширно и по большей части деревянное; надобно стараться его ограничить и производить строение каменное, и хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину, нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о монастырских

крестьянах. В заключение Петр объявил свое решение относительно дворянской службы: «Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают, и когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается». На другой день, 18 января, генерал-прокурор Глебов словесно предложил: не соизволит ли Прав. Сенат в знак от дворянства благодарности за оказанную к ним всевысочайшую милость о продолжении их службы по своей воле, где пожелают, сделать его импер. величества золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том подать его импер. величеству доклад? Доклад не был утвержден; есть известие, что император отвечал: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был обнародован манифест о вольности дворянской; в нем император говорил, что при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы; истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу – одним словом заключить, «благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до сего времени потребна была». Все дворяне, на какой бы службе они ни находились, на военной или на гражданской, могли продолжать ее или выйти в отставку; но военные не могли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании и за три месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу иностранных государей, но обязан был возвратиться со всевозможною скоростью по первому призыву правительства. «Мы надеемся, – говорилось в манифесте, – что все благородное российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию побуждены будут не удаляться ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную вступать и честным и незазорным образом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употреблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам отечества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут».

Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство, что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная характер Петра, мы не удивимся этому. Люди приближенные, желавшие удержать за собою важное значение в новое царствование и естественно желавшие сообщить этому царствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России, – люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о

необходимости принять некоторые меры, которые облегчат, обрадуют народ; в числе этих мер было и желанное многими освобождение дворян от обязательной службы. Император заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате; но, заявив свою волю об освобождении дворян от службы, он не поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля императора была заявлена; Сенат пошел с докладом о золотой статуе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело этим кончилось, император занялся другими делами. Понятно, что люди, которым дорога была слава царствования и которым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забывают. Князь Щербатов в известном сочинении своем «О повреждении нравов в России» передает рассказ, слышанный им от Дмитр. Вас. Волкова, как император, желая скрыть от фаворитки графини Елизаветы Романовны Воронцовой свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет провести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающимся государственного благоустройства. Ночь наступила, Петр пошел веселиться, сказавши Волкову, чтоб он к утру написал какой-нибудь важный указ, и Волков был заперт в пустую комнату с датскою собакою. Несчастный секретарь не знал, о чем писать, а писать надобно; наконец вспомнил он, о чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович Воронцов – именно о вольности дворянской. Волков написал манифест, который на другой день был утвержден государем.

Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к написанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дворянства, ибо мысль была заявлена месяц тому назад. Рассказ этот важен для нас потому, что открывает человека, который твердил императору о вольности дворянской: то был граф Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярностью нового царствования по отношениям своего семейства к императору. Но представляются сомнения насчет справедливости щербатовского рассказа; говорят, что манифест был написан не Волковым, а Глебовым, и приводят об этом свидетельство Штелина; но по какому праву мы будем верить более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Говорят, что тот же Волков в оправдательном письме своем, написанном по восшествии на престол Екатерины II, ни полслова не говорит, что он был сочинителем манифеста о вольности дворянской, в том месте письма, где хвалится произведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит, что написал манифест о вольности дворянской; но и не говорит, что не писал его, следовательно, нисколько не противоречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Волков говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции», а что он не включил манифеста о вольности дворянской в число главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на то он имел важные причины. Как человек очень умный, Волков не мог не сознавать, что манифест написан плохо; да и трудно было написать лучше без продолжительного и всестороннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны, слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные вечною службою, не могут заниматься устройством своих имений; с другой стороны, недостаток в людях, необходимость для государства поддержать свое значение и выгоды многочисленным регулярным войском не позволяли ему освободить дворян от

обязательной службы. Давно уже принимались меры для соглашения интересов государства с интересами землевладельцев: продолжительные отпуска при Екатерине I, сокращение срока службы при Анне. Манифестом 1736 года дворянин обязан был служить только 25 лет начиная от двадцатилетнего возраста; но когда явилось слишком много охотников воспользоваться законом о двадцатипятилетнем сроке, то в 1740 году правительство ввиду войны принуждено было всячески затруднять увольнение в отставку, и потому, как видно, двадцатипятилетний срок остался только на бумаге, ибо Ив. Ив. Шувалов в предложении своем императрице Елисавете о фундаментальных законах говорит: «Дворянину служить 26 лет, считая от времени действительной службы его, т.е. от 20 лет возраста». Этот двадцатишестилетний срок, назначаемый Шуваловым, показывает нам, с какою осторожностью самые образованные и либеральные люди относились тогда к вопросу о дворянской вольности относительно службы: их пугала мысль, что множество дворян выйдет в отставку, некоторые действительно для хозяйственных занятий, но другие для праздной жизни в имениях, и многие места в войске останутся незанятыми, вследствие чего нужно будет наполнять их иностранцами. Страх пред усилением иностранного элемента в войске заставил того же Шувалова предложить как фундаментальный закон, чтоб в гвардии, армии и флоте три части генералов и офицеров были русские, а четвертая – лифляндцы, эстляндцы и иностранные.

В манифесте 18 февраля не только не было указано никаких мер против слишком большого выхода в отставку и против нерадения о воспитании дворян, но даже ничего не было упомянуто о том призыве дворян к службе, на который указал император в Сенате: «Когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается». Манифест 18 февраля должен был очень обрадовать многих; но эту радость в такой степени не могли разделять дворяне, занимавшие высшие должности, которые имели все побуждения продолжать службу, дававшую им значение и выгоды. У этих людей гораздо больше на сердце были другие льготы – освобождение от телесного наказания, уничтожение конфискации дворянских имуществ. Ив. Ив. Шувалов внес в свой проект фундаментальных законов: «Впадшее в преступление дворянство теряет только конфискациею собственно нажитое собою имение, а не родовое. От бесчестной политической казни дворянство свободить». Этих-то наиболее желанных льгот дворянству не было дано, а без них свобода от службы не имела особенно важного значения, особенно для дворян, составлявших высший петербургский круг, пред которым Волков и был в ответе. Здесь, в этом кругу, хвалиться манифестом 18 февраля было неудобно, и Волков ловко обошел его, не поставив его в число *главных* дел своих.

В числе этих трех главных трудов, которыми хвалится Волков, был труд о Тайной канцелярии. 7 февраля император объявил в Сенате, что отныне Тайной розыскных дел канцелярии быть не имеет. 21 февраля издан был манифест, в котором говорилось: «Всем известно, что к учреждению тайных розыскных канцелярий, сколько разных имен им ни было, побудили вселюбезнейшего нашего деда, государя императора Петра Великого, монарха великодушного и человеколюбивого, тогдашних времен обстоятельства и не исправленные еще в народе нравы. С того времени от часу меньше становилось надобности в помянутых канцеляриях; но как Тайная канцелярия всегда оставалась в своей

силе, то злым, подлым и бездельным людям подавался способ или ложными затеями протягивать вдаль заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей. Вышеупомянутая Тайная розыскных дел канцелярия уничтожается отныне навсегда, а дела оной имеют быть взяты в Сенат, но за печатью к вечному забвению в архив положатся. Ненавистное выражение, а именно „слово и дело“, не долженствует отныне значить ничего, и мы запрещаем: не употреблять оно никому; о сем, кто отныне оно употребит в пьянстве, или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых тотчас наказывать так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники. Напротив того, буде кто имеет действительно и по самой правде донести о умысле по первому или второму пункту, такой должен тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему же воинскому командиру немедленно явиться и донос свой на письме подать или донести словесно, если кто не умеет грамоте. Все в воровстве, смертоубийстве и в других смертных преступлениях пойманные, осужденные и в ссылки, также на каторги сосланные колодники ни о каких делах доносителями быть не могут. Если явится доноситель по первым двум пунктам, то его немедленно под караул взять и спрашивать, знает ли он силу помянутых двух пунктов, и если найдется, что не знает и важным делом почел другое, так тотчас отпускать без наказания. Если же найдется, что доноситель прямое содержание двух первых пунктов знает, такого спрашивать тотчас, в чем самое дело состоит; когда же дело свое доноситель объявит, а к доказательству ни свидетелей, ниже что-либо достоверного на письме не имеет, такого увещевать, не напрасно ли на кого затеял. Если доноситель не отречется от своего доноса, то посадить его на два дня под крепкий караул и не давать ему ни питья, ни пищи, но оставить ему все сие время на размышление; по прошествии же сих дней паки спрашивать со увещанием, истинен ли его донос, и буде и тогда утвердится, в таком случае доносителя под крепким караулом отсылать, буде близко от Санкт-Петербурга или Москвы, то в Сенат или Сенатскую контору, буде же нет, то в ближайшую губернскую канцелярию, а того или тех, на кого он без свидетеля или письменных доказательств доносит, под караул не брать, ниже подозрительными не почитать до того времени, пока дело в вышнем месте надлежаще рассмотрено будет и об тех, на кого донесено, указ воспоследует. Буде же доказатель имеет и доказательства, и свидетелей, что донос его прав, то и доносителя, и свидетелей, и тех или того, на кого донос, забрав под крепкий караул, тотчас доносить со всеми обстоятельствами в наш Сенат и ожидать указа. Если кто из дворян, офицеров или знатного купечества доносителем найдется и в первом судебном месте в том утвердится, такого тотчас под крепким караулом для исследования отсылать в Сенат, но до указа из оногo, однако ж, отнюдь не забирать под караул и подозрительными не почитать тех, на кого донос будет. Что до резиденции принадлежит, то сведение дел, могущих касаться до двух первых пунктов, нарочно нам самим предоставляется, дабы показать и в том пример, как можно и надлежит кротостью исследования, а не кровопролитием прямую истину разделять от клеветы и коварства, и смотреть, не найдутся ли способы самим милосердием злонравных привести в раскаяние и показать им путь к своему исправлению; но как не всякий и с справедливым своим доносом может иногда так скоро до нас дойти, как того нужда требовала бы, да притом и то отвращать надлежит, чтоб позволением свободного каждому доступа не поострить людей к

доносам, то повелеваем, чтоб каждый, кто имеет нам донести о деле важном, справедливом и действительно до двух первых пунктов принадлежащем, приходил с оным без всякого опасения к нашим генерал-поручикам Льву Нарышкину и Алексею Мельгунову да тайному секретарю Дмитрию Волкову, кои для того монаршею нашею доверенностью удостоены».

Давно уже жаловались, что Сенат обременен судными делами по апелляциям и не имеет времени заниматься государственными делами. Ив. Ив. Шувалов предлагал императрице Елисавете: «В Москве учредить в Сенатской конторе несколько сенаторов, придав к ним достойных членов, дабы апелляционных челобитчиков дела вершались, а Сенату оставили время для дел государственных». Теперь эту мысль поспешили привести в исполнение, учредили особый департамент, только не в Москве, а в Петербурге. 29 января Сенат слушал именной указ: «Его импер. величеству известно, что в Сенате, Юстиц- и Вотчинной коллегии и в Судном приказе нерешенных дел умножилось: так, для лучшего порядка и скорейшего решения указов как в Сенате для решения юстицких, вотчинных и всяких апелляционных дел учинить особый департамент, так и в Юстиц- и Вотчинной коллегиях, и в Судном приказе учредить для челобитчиковых дел в каждом месте по три департамента; в Сенате быть из сенаторов трем или четверем особам, а в коллегиях и приказе – из членов тех мест, и правление дел в этих департаментах расписать по губерниям; когда же департаментам чего-либо решить собою нельзя будет, с такими делами приходите в полное собрание». В тот же день последовал указ: конференции не быть и дела из нее принять в Сенат и в Иностранную коллегию; но мы видели, что 20 мая учреждено было что-то безымянное, чтоб намерения императора «наилучше и скорее в действо произведены быть могли». В члены этого безымянного учреждения из сенаторов вошли только двое: канцлер граф Воронцов и фельдмаршал князь Никита Юр. Трубецкой. Сенат в это время состоял из 13 членов кроме генерал-прокурора; эти члены были: граф Михаил Лар. Воронцов, граф Роман Лар. Воронцов, князь Никита Юр. Трубецкой, князь Петр Никитич Трубецкой, князь Мих. Мих. Голицын, кн. Алексей Дмитр. Голицын, граф Александр Шувалов, князь Ив. Вас. Одоевский, Ив. Ив. Неплюев, Александр Борис. Бутурлин, Александр Григ. Жеребцов, Петр Спиридон. Сумароков, Ив. Ив. Кастюрин.

Сенат спешил окончить дело, тянувшееся с 1757 года, – дело о церковных имениях. 7 января он пересмотрел дело и решил иметь с Синодом общую конференцию, приняв те основания соглашения, чтоб монастырские крестьяне платили по 50 копеек в казну и по 50 копеек в монастырь или архиерейский дом, которым принадлежали. 17 января сам император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о крестьянах на положенном основании. Но это намерение было отклонено; сочли нужным повернуть дело покруче, и 16 февраля дан был именной указ: «Как ее величество государыня императрица Елисавета Петровна, соединяя благочестие с пользою отечества и премудро различая вкравшиеся злоупотребления и предубеждения от прямых догматов веры и истинных оснований православныя восточныя церкви, за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений и вследствие того, присутствуя своею особою в тогдашней конференции, а именно 30 сентября 1757 года, сама такое полезное

всему государству о управлении архиерейских и монастырских вотчин узаконение положить изволила, которое одно независимо от прочих великих ее импер. величества дел и благодеяний своему отечеству достаточно было бы учинить славную ее память бессмертною: но хотя его императ. величество, присутствуя недавно сам в Сенате, и повелели помянутое узаконение немедленно и обще с Синодом в действительное исполнение привести, однако же как в рассуждении важности сей материи, так и дабы паки в бесплодных порешенных толь справедливо и предусмотрительно делу советованиях и сношениях не тратить напрасно время восхотели его импер. величество чрез сие точнее Сенату повелеть, чтобы вышеизображенное узаконение императрицы Елисаветы Петровны как наискоряе по точному и прямому содержанию без всякого изъятия самым делом в действо произведено и непременно навсегда исполняемо было. За потребно еще его импер. величество находит указ императора Петра Великого о непострижении в монастыри без особливых именных указов подтвердить чрез сие во всем его содержании и силе». По этому указу должна была выполняться и первоначальная мысль Елисаветы, чтоб монастырские имения управлялись не монастырскими служками, но отставными штаб- и обер-офицерами, и Сенат приказали: 1) для управления всех синодальных, архиерейских, монастырских и к церквам приписанных вотчин быть коллегии Экономии, в которую определить президента с членами и прокурора наравне с другими коллегиями, и состоять ей под ведомством Сената; 2) крестьянам платить рубль, причем отдать им землю, которую они прежде пахали на архиереев, монастыри и церкви; 3) доход собирать весь на монастыри, но употреблять из него в расход только то, что по штатам положено, а остальное хранить так, чтоб, всегда зная о числе сберегаемой суммы, раздавать из нее на монастырское строение. Коллегии Экономии стараться всем монастырям и пустыням, располагая их по классам, сочинить штаты, после чего платить: монахам денег по 6 рублей, хлеба по 5 четвертей, дьяконам по 8 рублей и хлеба по 7 четвертей, казначею 18 рублей и 8 четвертей, наместнику 24 рубля и 8 четвертей, проповеднику 30 рублей и 30 четвертей, игумену 50 рублей и 8 четвертей, архимандриту 100 рублей и 8 четвертей; второго класса монастыри получают половинное против этого содержание. Находящихся в монастырях отставных офицеров и рядовых, которых всех 1358 человек, содержать коллегии на прежде определенном жалованье. Президентом в коллегию Экономии определен тайный советник князь Василий Оболенский. Во всенародное известие это распоряжение объявлено было в указе 21 марта: здесь троим архиереям – московскому, новгородскому и с.-петербургскому – определено годовое содержание в 5000 рублей, остальным архиереям – в 3000 да на содержание семинарий – по 3000 рублей; архимандритам: «первого класса ставропигиальным десяти монастырям – по 500 рублей, а прочим половине второго класса – по 200 рублей, а последним – третьего класса – по 150 рублей каждому в год, против того ж на три класса все монастырские в штате определенные расходы расположены быть имеют». Но когда еще не было ничего сделано для того, чтоб новое учреждение получило правильное движение, когда монастыри еще не были распределены на классы, не были окончательно составлены штаты, 4 апреля Сенату был объявлен именной указ: «Со времени высочайших указов 16 февраля и 21 марта (с какого же именно времени?) все собранные денежные суммы возвратить и содержать впредь на определенные тем епархиям по тому указу

расходы; а с крестьян во всех тех епархиях никаких сборов не чинить и посланных от них (т.е. от епархий) для того взыскания из тех вотчин выслать».

Волков в своем оправдательном письме говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три: 1) о монастырских вотчинах; 2) о Тайной канцелярии и 3) пространный указ о коммерции. На первый поступал я тем охотнее, что и дело казалось мне справедливое, и рад я был случаю воздать должную хвалу памяти покойной государыни императрицы. Но по несчастью, перепорчена в Сенате совсем вся сия история». Каким образом, однако, история перепорчена была в Сенате, об этом Волков не говорит и мы не знаем. Мы знаем, что Сенат должен был 1 июня поднести императору доклад: положенный с архиерейских и монастырских крестьян годовой оброк по рублю с души высочайше повелено начать собирать со второй половины этого года, который «сбор не иначе как в исходе этого года начат будет, а между тем на монастырские и жалованные монашествующим и отставным дачи производить не из чего; а как те вотчины из владения архиереев и монастырских властей выбыли почти с начала этого года, т.е. от марта месяца, к тому ж и земли крестьянам отданы, то не соизволит ли ваше импер. величество указать с архиерейских и монастырских крестьян оклад по рубелю взять на весь нынешний 1762 год при наступлении первого платежа подушных денег?». Император конфирмовал доклад.

Соперник Волкова по участию в главных трудах, по сочинению манифестов генерал-прокурор Глебов 29 января объявил Сенату именной указ, что государь позволяет бежавшим в Польшу и другие заграничные страны раскольникам возвратиться в Россию и поселиться в Сибири, в Барабинской степи и других подобных местах, причем им не должно делать никакого препятствия в содержании закона по их обыкновению и старопечатным книгам, ибо «внутри Всероссийской империи и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники – христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Вслед за тем Сенат дал указ разведать, нет ли где раскольнических для сожжения своего сборищ, и если такие богомерзкие сборища где окажутся, то немедленно посылать туда достойных людей и велеть им всячески стараться чрез увещания от такого пагубного намерения удерживать и спрашивать их, для чего они хотят это делать; если будут показывать, что такое намерение приняли они от притеснений и забирания под караул, то уверить их, что производимые о них следствия уже велено уничтожить, и действительно их теперь оставить, и содержащихся под караулом тотчас отпустить по домам, и вновь никого не забирать. В Петербург явился Афанасий Иванов, поверенный записных раскольников, разных лесов келейных жителей Нижегородской губернии, Балахонского и Юрьевецкого уездов. Иванов подал в Сенат просьбу, в которой раскольники жаловались, что терпят притеснения от духовных правлений из-за взяток; что в 1716 году в Нижегородской губернии по переписи было раскольников обоюбого пола до 40000 душ, в том числе келейных жителей до 8000; но от притеснений принуждены они были разойтись врознь, и теперь осталось не более 5000 душ; раскольники просили, чтобы положенные на них деньги платить прямо в Раскольническую контору, а для защиты от обид приписать их к железному Верхисетскому заводу графа Романа Лар. Воронцова навеки. Сенат

приказал для защиты этих раскольников назначить из отставных обер-офицеров опеку – на человека достойного, на которого в этом деле можно было бы положиться, и деньги за раскол платить им прямо в Раскольничью контору.

Раскольники просили приписать их к заводу; но крестьяне, приписные к заводам верхотурского купца Походяшина, подали жалобу на хозяина, и Сенат нарядил следствие; через полтора месяца подали челобитную крестьяне, приписные к заводам графа Ив. Григ. Чернышева и Демидовых, Николая и Евдокима, жаловались, что управители и приказчики притесняют их, бьют, а некоторых и до смерти убили. Сенат поручил следствие генерал-майору Кокошкину и полковнику Лопатину. Так как до сих пор волновались преимущественно крестьяне, приписные к фабрикам и заводам, то запрещено было фабрикантам и заводчикам покупать деревни с землями и без земель, пока не будет конфирмовано новое уложение, велено им довольствоваться вольнонаемными людьми. Но скоро пришло известие и о волнениях пашенных крестьян. В вотчинах стат. советника Евграфа Татищева (сына знаменитого Василия Никитича) и гвардии поручика Петра Хлопова в Тверском и Клинском уездах крестьяне отложились от помещиков по научению тверского отставного подьячего Ивана Собакина, у Татищева хоромы срыли и разбросали, у Хлопова дом, и житницы с хлебом, и оброчные деньги разграбили, а помещикам своим приказывали сказать, чтоб они к ним не ездили, приказчиков и дворовых людей хотели побить до смерти и из вотчин выбили вон. Вслед за тем поступили донесения от прокурора Московской губернской канцелярии Зыбина о возмущении его белевских крестьян, от княгини Елены Долгорукой о возмущении галицких, от капитана Балк-Полева – каширских, коллеж, советника Афросимова – тульских и епифанских, жены полковника Дмитриева-Мамонова – волоколамских. У Татищева возмутилось 700 душ, у Хлопова – 800, у Зыбина – 340, у кн. Долгорукой – 2000, у Балк-Полева – 950, у Афросимова – 650, у Дмитриева-Мамонова – 400. Кроме того, в Волоколамском уезде, в сельце Вишенках, староста и крестьяне с дубьем пришли в дом помещицы Эрчаковой, ругали ее и выгнали из сельца. В Сенат явилось четверо крестьян Татищева с жалобой на помещика, что он немалое число из них развел в другие свои деревни и берет к себе в дворовые люди; остальные всегда на его работе, и взыскивает с них оброк с прибавкою и рекрутские деньги. Сенат велел этих крестьян наказывать нещадно плетьюми, Собакина сыскивать всеми способами, а против возмутившихся крестьян послать военную команду. Но крестьяне Татищева и Хлопова напали на команду, ранили одного офицера, солдаты были все побиты или ранены, а 64 человека не явились, и, где находятся, никто не знал. После получены были подробнейшие известия: крестьяне разбили команду, расвирепев от того, что она убила у них трех человек и переранила до двенадцати человек; крестьяне захватили 64 человека солдат и держали под караулом три дня, потом отправили в Тверь с посторонним сотским, а с лошадьми послали пятерых крестьян с женщинами и детьми. По решению Сената против них отправлена была команда из 400 человек и с четырьмя пушками; но по указу императора отправлен был генерал-майор Виттен с кирасирским полком. Наконец, в Вяземской Воскресенской волости 1000 человек крестьян князей Долгоруких прибили и разграбили приказчиков и послали в Сенат с просьбою приписать их к дворцовым волостям.

Волнение обнаружилось и в Москве между фабричными рабочими. Содержатель главной московской суконной мануфактуры Василий Суровщиков донес, что мастера и рабочие, согласясь с находящимися на той фабрике солдатскими детьми, присланными из школ по непонятности к учению, начали волноваться, как прежде в 1746 и 1749 годах. В последних числах февраля суконщик Федор Андреев сказал за собою *важность*, почему и отослан в Мануфактур-контору; и в то же время некоторые из солдатских детей подали доношение в Главный комиссариат с жалобой, что удерживаются у них заработанные деньги и дается на делание сукон негодная шерсть. 22 февраля юнкер князь Мещерский и два солдата привели суконщика Андреева из Мануфактур-конторы, с тем чтоб наказать за ложную важность; но когда хотели наказывать при собрании всех фабричных, то суконщик стал противиться, а солдатские дети подняли страшный крик и наказывать его не дали. Юнкер отвел Андреева назад в Мануфактур-контору без наказания; а солдатские дети прибили начальствующего над ними сержанта и немалыми партиями стали своевольно отлучаться от суконного дела, некоторые стали разглашать, что посланные в 1749 году в ссылку возвращены, а содержатель Суровщиков по прошению их в Петербурге под арестом.

Но более всего озабочивали Сенат финансы. Мы видели, что Волков хвалился «пространным указом о коммерции» как своим произведением. Указ этот был написан по поводу просьбы Шемякина и Саввы Яковлева об отдаче им на откуп таможенных сборов еще на 10 лет. Таможенный сбор был им отдан на откуп, но тут же приказано вывозить хлеб беспрепятственно из всех портов, не исключая лежащих на Каспийском и Черном морях, причем пошлину собирать половинную против той, которая собирается в Рижском, Ревельском и Перновском портах, по той причине, что там этот торг давно уже заведен и привоз и отпуск хлеба не так затруднителен. Также позволен отпуск за море из всех портов не только соленого мяса, но и живой скотины. Из Архангельского порта дозволен свободный вывоз товаров, также и привоз в него с равной против Петербургского и других портов пошлиною; некоторые товары, которые сделаны беспошлинными натянутым истолкованием прежних указов, обложены пошлиною, например сахарный Песок и хлопчатая бумага. Выгоды от этих мер были еще впереди, а между тем в казне денег не было.

8 мая Сенат принужден был принять зловещее решение: начатием новой водяной коммуникации от Рыбной слободы до Волхова от рассмотрения удержаться по случаю ныне в деньгах крайней нужды. Государю было доложено: государственных доходов состоит 15350636 рублей 93 1/4 копейки; из них расходуется: 1) на войско – 10418747 рублей 70 3/4 коп.; 2) в комнату императора из соляных и таможенных доходов идет миллион сто пятьдесят тысяч рублей; 3) на содержание двора, придворные отпуска и на канцелярию строений – 603333 рубля 33 1/4 коп.; 4) малороссийскому гетману – 98147 рублей 85 коп.; 5) на окладные и чрезвычайные по Штатс-конторе отпуска и жалованные дачи вместе с долгом, считающимся на Штатс-конторе, – 4232432 рубля, итого – 16502660 рублей, следовательно, приходов в расход недостает на 1152023 рубля; а когда из винных, соляных и новоположенных с чернососных крестьян употребляемые теперь единовременно на удовлетворение заграничной армии 1400000 рублей

отданы будут в Штатс-контору, тогда в ее расходах такого недостатка быть не может.

Сенат указывал, что дефицит происходит от содержания армии за границу, но избежать этого расхода не предполагалось, и потому прибегали к средству, которого так остерегались при Елисавете. На третий день после доклада государю о дефиците, 25 мая, объявлен был Сенату именной указ об учреждении банка: «По восшествии нашем на престол первое наше попечение было о тех делах, кои по своей важности скорейшего требовали исправления и решения. Передел медных денег, их облегчение и умножение по составленному еще до того и Сенатом уже утвержденному проекту, казался одним из самонужнейших государственных дел и таковым нам от Сената представлен, почему и не умедлили мы тогда ж наше на то соизволение дать; но как тогда ж предусматривали мы, что сие по нужде сысканное средство хотя и делает некоторое облегчение, но не отвращает, однако ж, всех сопряженных с тем несходствий, так искусство (опыт) и время утвердили нас и более в сей истине; сего ради и не переставали мы помышлять о изобретении легчайшего и надежнейшего средства хождение медных денег облегчить и в самой коммерции удобным и полезным сделать. Учреждение знатного государственного банка, в котором бы все и каждый по мере своего капитала и произволения за умеренные проценты пользоваться могли, и хождение банковых билетов представилось тотчас яко самое лучшее и многими в Европе примерами изведенное средство. Оставляя времени великую от банка всему государству пользу дать чувствовать и приохотить, чтоб партикулярными своими капиталами в оном участвовали, хотим теперь собственно от нас сие важное всей империи, а паче купечеству и коммерции показать благодеяние и для того повелеваем: наделать как наискорее банковых билетов на пять миллионов рублей на разные суммы, а именно на 10, 50, 100, 500 и 1000; По наделании вдруг сих пяти миллионов будут оные тотчас разделены по таким казенным местам, откуда наибольшая выдача денег бывает, с тем дабы оные употребляли их в расход как самые наличные деньги, ибо мы хотим и чрез сие повелеваем, чтоб сии билеты и в самом деле за наличную монету ходили. От сего ж времени собственным нашим капиталом государственный в пяти миллионах рублях состоящий банк учреждаем, который двумя равными, здесь и в Москве, конторами управляем быть имеет. Сим конторам вверяем мы теперь тотчас два миллиона рублей, один в серебряной, а другой в медной монете состоящие, а прочие три миллиона рублей вступят в оные чрез три года, а именно в каждый год по миллиону. Конторы и помянутый капитал к тому только назначаются, чтоб тем, кто с билетами у них явится и наличные вместо того деньги иметь похочет, тотчас наличными ж за прием билетов деньгами выдавали без всяких расписок и письменного производства, а еще более без всякого задержания и волокиты; или кто наличные деньги принесет, а вместо того на равную сумму билеты иметь похочет, то и таковых равномерно довольствовались». Директорами конторы в Петербурге назначались обер-директор Роговиков, петербургские купцы Бармин и Ямщиков, тульский купец Пастухов, калужский Губкин, английский купец Риттер; в Москве – тамошние купцы Земский, Журавлев, Ситников, тульский Лугинин, ярославский Иван Затрапезнов, иностранный купец Вольф. В конце указа о банке говорилось: «Передел медных денег в легчайшую монету из тяжелой по прежнему плану неотменно продолжать, но вновь из меди не делать и оной в казну не брать, а велеть, чтоб заводчики

отпускали оной больше за море и продавали на ефимки». За день до конца царствования Сенат слушал именной указ: в розданных взаймы из Дворянского и Купеческого банков деньгах отсрочек больше не делать, но все неотложно собрать.

Деньги были нужны, потому что главных расходов – расходов на войско – уменьшить было нельзя, напротив, они должны были увеличиться вследствие усиленных военных приготовлений. 6 марта Сенат слушал именной указ: «С того времени, как регулярство и военная дисциплина действительно заведены в войсках наших, империя наша и большую гораздо знатность и новое расширение получила; но как почти все европейские государи, а особливо с некоторого времени, неутомленное прилагают старание войска свои сколько можно в лучшее состояние приводить, и в двух неоспоримых истинах признаться надобно: первое, что военное звание и ремесло во многом весьма переменились и гораздо большего достигли совершенства, и второе, что и долг нас обязует, и внутренне чувствуем мы превеликое, но справедливое удовольствие, прилагая всевозможные к тому труды и старания, чтоб, приводя империю нашу в цветущее состояние, поставить и военную нашу силу сколько можно в лучшее еще и для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние; то за потребно рассудили мы для достижения сего намерения учредить нарочную военную комиссию, а главную дирекцию оной на нас самих снимаем, членами же оной определяем его высочество голштинского принца Георгия, нашего любезного дядю, яко генерал-фельдмаршала, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, генерал-фельдмаршала принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдцейхмейстера Вильбоа, генерал-прокурора и генерал-кригскомиссара Глебова, генерал-поручика Мельгунова и нашего генерал-адъютанта барона Унгерна». Еще прежде, 16 февраля, по именному указу учреждена была нарочная комиссия для приведения флота в надлежащее и с безопасностью и честью империи сходственное состояние. По приказанию императора, данному 1 марта, флот должно было вооружить весь. 11 мая император приказал остановить все публичные каменные работы и прочие сверх штатного положения раздачи на то время, пока доходы паки умножатся по причине великого числа доставляемой к армии суммы.

Кроме русского войска Петр вознамерился составить особое голштинское войско, и вербовщики отправились в Лифляндию и Эстляндию с наказом вербовать вольных людей, а не из подданных его импер. величества; отправились и в Малороссию для набора из волохов и поляков, но никак не из малороссиян.

Для чего же нужно было усиление войска и флота и столько издержек на содержание заграничной армии? Быть может, это было нужно, чтоб сделать последнее усилие для окончания войны с Пруссией, для получения себе и союзникам честного мира? Но мы уже видели, что Петр давно обнаруживал сильное уважение к Фридриху II и несочувствие к политической системе, господствовавшей при его тетке. Мы считаем себя вправе принимать с большею осторожностью разные известия о тайнственных сношениях наследника русского престола с Фридрихом II; об этих сношениях заключали из собственных слов Петра; но мы знаем, как ребячески он мог увлекаться в своих рассказах, какие небывалые вещи мог себе приписывать. Следующие два рассказа княгини Дашковой, как нарочно один за другим помещенные, всего лучше могут установить взгляд на это дело. Однажды, говорит кн. Дашкова, Петр III ужинал у канцлера Воронцова; Дашкова находилась подле императора и слышала разговор

его с графом Мерси, австрийским послом: Петр рассказывал, как отец его, герцог голштинский, поручил ему экспедицию против цыган и как он в минуту разбил их с своим отрядом. Вслед за тем кн. Дашкова рассказывает, как в другой раз на празднике во дворце, долго разговаривая о своем любимом предмете – о короле прусском, Петр вдруг обратился к Волкову с вопросом: «Не правда ли, сколько раз мы с тобою смеялись над секретными приказаниями, которые императрица Елисавета посылала к своему войску в Пруссию?» Волков был сильно смущен этим обращением, и кн. Дашкова в своем нерасположении к Петру и Волкову, считая рассказ о цыганах сказкою, принимает слова о сношениях с Фридрихом II за правду и обвиняет Волкова, что тот в угоду великому князю пересылал копии секретных рескриптов прусскому королю. Но мы, отдаленные с лишком на сто лет от описываемых лиц и событий, не можем успокоиваться на этих противоречиях и должны основываться только на доказательствах бесспорных.

Но если мы и не имеем права принимать на веру рассказы за обедом, подобные рассказам о разбитии цыган в Голштинии, тем не менее мы должны признать, что прусские привязанности Петра не уменьшились во время Семилетней войны, поддерживаясь особенно голштинскими офицерами, в кругу которых Петр всего более любил проводить время; некоторые из этих голштинцев сами служили в прусском войске, а все вообще по северогерманскому патриотизму благоговели пред своим национальным героем Фридрихом II. Штелин рассказывает, что, чем сильнее разгоралась Семилетняя война, тем сильнее становились выходки Петра против политической системы, которой следовала Россия: он говорил, что императрицу обманывают относительно короля прусского, что советники ее подкуплены Австриею и проведены Франциею. Читая в газетах известия о победах союзников, смеялся и говорил: «Это все неправда, мои известия говорят иное». Из этих слов заключали, что Петр получал сведения из Пруссии; если он сам давал такой вид делу, что имел какие-то таинственные сношения, то рассказ о цыганах невольно приходит на память; но всего скорее в этих словах заключалась полная правда: Петр получал прусские газеты, верил только известиям, в них заключающимся, и потому называл эти известия своими в противоположность известиям, шедшим от враждебной ему стороны.

В этом отношении любопытно донесение саксонского советника посольства Прассе своему двору осенью 1758 года. Полковник Розен привез в Петербург известие о Цорндорфской битве. Слуга, приехавший с ним, начал рассказывать здесь и там, что битва проиграна русскими, за что был посажен на дворцовую гауптвахту. Узнавши об этом, великий князь велел привести его к себе и сказал: «Ты поступал как честный мальчик, расскажи мне все, хотя я хорошо и без того знаю, что русские никогда не могут побить пруссаков». Когда слуга Розена рассказал все, как умел или хотел, то Петр, указывая ему на голштинских офицеров, сказал: «Смотри! Это все пруссаки; разве такие люди могут быть побиты русскими?» Петр отпустил рассказчика, подаривши ему пять рублей и обнадежив своим покровительством.

После этого легко понять, что было в голове Петра относительно войны и перемены политической системы во время кончины Елисаветы. В самый день кончины императрицы канцлер Воронцов подал доклад, в котором между прочим спрашивалось: «Не изволит ли его импер. величество указать отправить одного из придворных кавалеров (к родственникам) к королю шведскому да гвардии

офицера к владетельному принцу Ангальт-Цербстскому с объявлением о вступлении на престол? И каким образом отправить обвешительную к королю прусскому грамоту: чрез генерал-фельдмаршала графа Бутурлина, или чрез находящегося при австрийской армии графа Чернышева, или же по собственному сего государя примеру чрез обретающихся в Варшаве министров, российского и прусского?»

Исполнение по докладу не замедлило, только не чрез Бутурлина, не чрез Чернышева или русского министра в Варшаве: в тот же самый день, 25 декабря, любимец нового императора бригадир и камергер Андрей Гудович отправлен был к принцу Ангальт-Цербстскому с извещением о восшествии на престол Петра и вместе повез грамоту императора к Фридриху II. После извещения о кончине Елисаветы и о восшествии на престол Петра в грамоте говорилось: «Не хотели мы умедлить чрез сие ваше королевское величество уведомить, в совершенной надежде пребывая, что ваше величество по имевшейся с нашими императорскими предками дружбе в таком новом происшествии не токмо участие воспрять, но особливо в том, что до возобновления, распространения и постоянного утверждения между обоими дворами к взаимной их пользе доброго согласия и дружбы касается, с нами единого намерения и склонности быть изволите, даже мы по отличным к вашему величеству мнениям с своей стороны всегда особое старание о том прилагать и ваше величество о нашей истинной и ненарушимой к тому склонности вящше и вящше удостоверивать всякими случаями с удовольствием пользоваться будем».

Гудович нашел прусский двор и министра, заведовавшего иностранными делами, графа Финкенштейна в Магдебурге, но сам Фридрих II был в Бреславле. Первое известие о смерти Елисаветы получил он из Варшавы 19 января н. ст. Легко понять, какие мысли и надежды возбудило в нем это известие при таком отчаянном положении, в каком он тогда находился. Разумеется, он не мог надеяться на полноту счастья, какое готовилось для него в Петербурге; он не думал, что оттуда сделан будет первый шаг к начатию непосредственных сношений, и потому поручил английскому послу в Петербурге Кейту поздравить императора и императрицу от имени их «старого друга». 31 января получил Фридрих из Магдебурга известие о приезде Гудовича и о привезенном им письме Петра. «Благодарение небу, – написал король брату своему Генриху, – наш тыл свободен». «Голубица, принесшая масличную ветвь в ковчег» – Гудович был приглашен в Бреславль и принят с распростертыми объятиями.

28 января с. ст. Фридрих отвечал Петру: «Особенно я радуюсь тому, что ваше импер. величество получили ныне ту корону, которая вам давно принадлежала не столько по наследству, сколько по добродетелям и которой вы придадите новый блеск. Удовольствие мое о помянутом происшествии усугубляется тем, что ваше импер. величество благосклонно изволили меня обнадежить о непрерывной дружбе вашей и склонности к возобновлению и распространению полезного обоим дворам согласия. Я всегда ласкал себя надеждою, что ваше импер. величество не изменитесь в склонности вашей ко мне и что я опять найду в вас прежнего и такого друга, к которому я с своей стороны имею неотменно самое истинное и особенное высокопочитание и преданность. Уверяю, что всего искреннее желаю соблюсти несказанно драгоценную мне дружбу вашу и, восстановив прежнее обоим дворам столь полезное доброе согласие,

распространить его и утвердить на прочном основании, чему я с своей стороны всячески способствовать готов».

От слов спешили перейти к делу. Пленные с обеих сторон были освобождены. В самый день восшествия своего на престол Петр освободил двоих значительнейших прусских пленников, генерала Вернера и полковника графа Горта (родом шведа), которые явились при дворе и стали в число любимейших собеседников императора. 15 февраля Петр писал Фридриху: «Не умедлил я нимало потребные указы отправить, дабы пленные вашего величества, в моей державе находящиеся, немедленно освобождены и возвращены были, сколь скоро мне донесено, что ваше величество, освобождая моих пленных, ревнуете с вашей стороны тот узел утвердить, который уже с давнего времени нас обоих соединял и который вскоре наши народы соединить имеет. Согласно сим взаимным склонностям, не могу я далее здесь удерживать вашего генерал-поручика Вернера и вашего полковника графа Горта, хотя всегда с великим удовольствием видел бы я их при моем дворе. Я не могу без того обойтись, чтоб не отдать справедливость их поведению и ревности, которую они к службе вашего величества являть не преставали, так что первому из них не усумнился я доверить мои мнения, а потому и прошу ваше величество благосклонно его выслушать и веру тому подать, что он с моей стороны вам донесет. Но, ваше величество, крайне обяжете меня, когда соизволите к поданным уже мне дружбы вашей опытам присовокупить еще единый, дозволяя Вернеру в мою службу вступить и показуя Горту отличную и единственную милость, которой он уповать смеет, пременив нынешнее состояние его полку в состояние напольного полка. Один здесь, а другой в армии вашего величества будут мне залогом вашей дружбы и свидетельством для всего света сентиментов почтения и преданности, с коими я есмь, господин мой брат, вашего величества добрый брат и друг Петр». Фридрих отвечал: «Вы просите генерала Вернера – располагайте им; но так как я теперь совершенно без генералов и на руках у меня сильная война, то не позволите ли ему остаться при мне еще одну кампанию? Впрочем, если вам угодно взять его и ранее, то он будет у ног ваших к назначенному вами времени».

Генерал князь Волконский, находившийся в Померании, уведомил императора от 28 января, что штетинский губернатор герцог Бевернский предлагает заключить генеральное перемирие. Петр немедленно приказал Волконскому исполнить желание герцога, и перемирие было заключено 5 марта: русские удержали свои квартиры в Померании и Неймарке; Одер до Варты составлял границу. Волков по этому случаю рассказывает следующее: «Князю Михаилу Никитичу Волконскому предложил принц Бевернский перемирие, а он без указа на то не поступал. За то тотчас пожалован он был в дураки и в злонамеренные. Но я, не устрасаясь его оправдания, сочинил ему в ответ такие кондиции перемирия, кои пред всем светом к чести нашего государства и оружия служат и коим не токмо дивились многие, что я смел положить толь строгие законы королю прусскому, но между другими, помню я, сказал мне князь Никита Юрьевич (Трубецкой), что он мне за то статую поставил бы. Но признаться надобно, что в то время еще не весьма трудно было служить отечеству и исполнять свою присягу. Тогда не было еще здесь Гольца и Штебена и не возвратилось еще громкое наше посольство из Бреславля. Приезд сих людей скоро дал другую форму и делам, и моему состоянию».

Кто же были эти люди, приезд которых дал другую форму делам?

Посольство Гудовича Волков называет в насмешку громким, указывая на ничтожность посланника. Но люди ничтожные делаются сильными чрез подчинение страстям, слабостям сильных. Гудович был отправлен к Фридриху как человек, вполне разделявший симпатию своего государя; прием «голубицы» в Магдебурге и особенно в Бреславле был таков, что «голубица» по возвращении уже не знала меры своему усердию к прусскому королю, а усердие было выгодно, потому что очень нравилось: за верные и усердные службы Гудович получил шесть слобод в Стародубском и Черниговском полках. Гудович пробыл в Бреславле до 12 февраля; в это время прусский король уже получил известие, что Чернышеву велено отделиться от австрийского войска и идти к Висле, и потому в письме, которое повез Гудович, Фридрих писал Петру: «Я узнал, что корпус графа Чернышева получил приказание отделиться от австрийцев. Надобно быть совершенно бесчувственным, чтоб не сохранить вечной признательности к вашему величеству. Да угодно будет небу помочь мне найти случай доказать мою признательность на деле; ваше величество, можете быть уверенным, что чувство благодарности никогда во мне не изгладится».

С Гудовичем Фридриху нельзя было вести никаких переговоров, потому что он не имел никаких инструкций. Чтоб заключить мир, а если можно, и союз с Россиею, надобно было отправить в Петербург своего посланника. Выбор пал на двадцатилетнего Гольца, адъютанта и камергера, которого король перед посылкою в Россию произвел в полковники. Гольц повез подарок Петру – прусский орден, причем Фридрих писал: «Льщу себя надеждою, что вы примете его (орден) в знак дружбы и искренних отношений, в которых желаю быть с вами. Вы обязывали меня еще до вступления вашего на престол и несчетное число раз обязали меня с того недавнего времени, как вы на престоле. Льщу себя надеждою, что представится случай и я на деле докажу всю благодарность. Поступая столь благородно, столь необыкновенно, как редко поступают в нашем веке, вы должны ожидать к себе удивления, которое столь справедливо вызвано деяниями вашего величества; первые же распоряжения вашего величества по восшествии на престол привлекли на вас благословение всех ваших подданных и самой благомыслящей части Европы. Да будет царствование ваше долго и счастливо!» Петр отвечал: «Ваше величество, конечно, смеетесь надо мной, когда хвалите так мое царствование, дивитесь ничтожностям, тогда как я должен удивляться деяниям вашего величества; добродетели и качества ваши необыкновенны, я вижу в вас одного из величайших героев мира».

Фридрих II, отправляя Гольца для заключения мира, дал ему следующую инструкцию: «Существенная цель вашей посылки состоит в прекращении этой войны и в совершенном отвлечении России от ее союзников. Доброе расположение русского императора позволяет надеяться, что условия не будут тяжки. Я вовсе не знаю видов императора в точности, все, что я об них знаю, вращается около двух главных пунктов, а именно что дела голштинские по крайней мере так же близки к сердцу императора, как и дела русские, и, во-вторых, что он принимает большое участие в моих интересах. Вы должны внушать голштинским фаворитам, или императрице, или, что еще лучше, самому императору, что я до сих пор отклонял все предложения союза со стороны Дании, так как император желал этого от меня при начале войны и так как я надеялся, что

это будет ему приятно. Теперь рассмотрим, какие мирные предложения могут нам делать эти люди. 1) Они предложат отвести свои войска за Вислу, возвратить нам Померанию, но захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения общего мира. На последнее вы соглашайтесь. Но 2) если они захотят оставить за собою Пруссию навсегда, то пусть они вознаградят меня с другой стороны. 3) Если они захотят очистить все мои владения под условием, чтоб я гарантировал им Голштинию, то подписывайте сейчас же, особенно если вы успеете выговорить у них гарантию Силезии. 4) Если император захочет, чтоб я обязался сохранять нейтралитет во время войны его с Даниею, подписывайте, но требуйте величайшей тайны. 5) Вы можете сказать, что я сильно бы желал, чтоб император помог шведскому королю против преследующей его партии и чтоб русский посланник объявил Сенату о мирных намерениях своего государя: это объявление непременно понудит шведов к миру, и таким образом император сделается умиротворителем всего Севера и блестящим образом начнет свое царствование. 6) Старайтесь проникнуть в виды петербургского двора: хочет ли он окончить войну для устройства внутренних дел или для приготовления к датской войне, или хочет играть роль посредника между воюющими державами. 7) Вы должны пользоваться всяким случаем для внушения петербургскому двору недоверия к австрийцам и саксонцам, если недоверие может дойти до зависти, то тем лучше. Вы можете рассказывать, с каким лукавством австрийцы выставляли русские войска на опасность, чего сами вы были очевидцем в нынешнем году, можете указывать коварство австрийцев и недостойные средства, какие они позволяют себе в политике для достижения своих целей».

Фридрих сам рассказывает, в каком беспокойстве находился он относительно успеха Гольцева поручения в Петербурге. «На каком основании можно было предполагать, что переговоры в Петербурге примут благоприятный оборот? Дворы версальский и венский гарантировали Пруссию покойной императрице; русские спокойно владели ею; молодой государь, вступивший на престол, откажется ли сам собою от завоевания, которое ему обеспечено союзниками? Любостяжание или слава, какую бросает на начало царствования всякое приобретение, не удержат ли его? Для кого, для чего, по какому побуждению он откажется от него? Все эти трудные для разрешения вопросы наполняли дух неизвестностью относительно будущего. Но, – продолжает Фридрих, – исход дела был более счастлив, чем как можно было ожидать. Так трудно угадать причины второстепенные и распознавать различные пружины, определяющие волю человеческую. Оказалось, что Петр III имел превосходное сердце и такие благородные и возвышенные чувства, каких обыкновенно не бывает у государей. Удовлетворяя всем желаниям короля, он пошел даже далее того, чего можно было ожидать».

Гольц приехал в Петербург 21 февраля и прежде всего обратился к английскому посланнику Кейту, который оставался верен политике прежнего Кабинета и отличался приверженностью к прусскому союзу. Кейт указал Гольцу влиятельных людей, которые расположены к Пруссии, и тех, которые против нее. Оказывалось, что последних гораздо более, чем первых, но собственный взгляд императора и расположение людей, самых близких к нему, ручались Кейту и Гольцу за успех; в пользу прусского дела служило и то, что послы австрийский, французский и испанский раздражили императора, отказавшись сделать визит

самому любимому, самому близкому к нему человеку – принцу голштинскому Георгию. Само собою разумеется, что Гольц поспешил к принцу Георгию с приветствием от своего короля, у которого принц находился до того времени в службе.

24 февраля Гольц представлялся императору. Едва только успел он выговорить поздравление с восшествием на престол и уверение в дружбе своего короля, как Петр осыпал его самыми горячими уверениями в дружбе и бесконечном уважении своем к Фридриху II, ясные доказательства чему он надеется представить, и потом сказал на ухо Гольцу, что у него много есть о чем с ним переговорить. После аудиенции Петр пошел к обеду, и Гольц последовал за ним в церковь. Во время службы император все говорил с ним то о Фридрихе II, то о прусской армии, подробными сведениями о которой изумлял Гольца; не было полка, в котором бы Петр не знал трех или четырех последних поколений шефов и главных офицеров. В тот же день вечером, во время карточной игры, Петр показал Гольцу на своем пальце перстень с портретом Фридриха II и велел также принести большой портрет прусского короля. После ужина Петр долго разговаривал с Гольцем о том, сколько он терпел в прошедшее царствование за привязанность к Фридриху, о том, как он радовался, что был удален из конференции, ибо причиною тому было уважение его к королю.

2 марта Петр сказал Гольцу, что ему было бы очень приятно, если б король прислал проект мирного договора. Донося об этом Фридриху, Гольц просил, чтоб проект был прислан как можно скорей, ибо противная партия, которая очень многочисленна, может воспользоваться медленностью с прусской стороны. Английский посланник при берлинском дворе Митчель дал знать Кейту в Петербург, что пруссаки перехватили депешу французского министра в Петербурге Бретейля, в которой говорится, что нечего бояться переворота в русской политике, что чрез несколько месяцев все пойдет по-старому, как было при Елисавете, потому что Волков душою и телом предан старой системе. Гольц писал по этому поводу к Фридриху, что заодно с Волковым Шувалов (Ив. Ив.) и Мельгунов и что перехваченное письмо поможет сломить Волкову шею. Волков в известном письме своем рассказывает, как и действительно старались сломить ему шею: «Штебен (капитан Штеубен, бывший вместе с Гольцем в Петербурге) явился на меня доносителем в тайных с графом Мерсием (австрийским послом) свиданиях, а король прусский из особливой ко мне атенции прислал перехваченное будто Бретелево письмо, в коем из всей силы превозносят мои таланты и усердие. Потому взят я был в допрос как злодей, но допрашиван так, что обвинители мои были от меня скрыты. Император сам меня не спрашивал, но токмо Лев Александрович (Нарышкин) и Алексей Петрович (Мельгунов) успокоивали меня обнадеживаниями, что когда мир совершится, то и опасность моя минуется, давая мне чувствовать, что я не должен ничего упоминать против желаний короля прусского».

Фридрих, получивши от Гольца известие, что Петр предоставил ему составление проекта мирного договора, не медлил этим делом и для большего еще усиления своего влияния в Петербурге отправил туда с проектом графа Шверина, хорошо известного императору, потому что он был взят в плен русскими войсками и жил известное время в Петербурге. Шверин повез письмо. «Вам угодно, – писал Фридрих, – получить от меня проект заключения мира; посылаю его, потому что

вашему импер. величеству это угодно, но вверяюсь другу, распорядитесь этим проектом как угодно, я все подпишу; ваши выгоды – мои, я не знаю других. Природа наделила меня чувствительным и благодарным сердцем, я искренне тронут всем, что для меня сделано вашим импер. величеством. Я никогда не в состоянии заплатить за все, чем вам обязан. Отныне все, чем могу я вас обязать, все, что вам нравится, все, что от меня зависит, – все будет сделано, чтоб убедить ваше импер. величество в моей готовности предупредить все ваши желания. Посылаю графа Шверина, я должен был бы присылать к вашему импер. величеству лиц высших чинов, но если б вы знали положение, в котором нахожусь я теперь, то увидели бы, что мне невозможно посылать таких лиц: их нет, все в деле. В течение этой войны я потерял 120 генералов, 14 в плену у австрийцев, наше истощение ужасно. Я отчаялся бы в своем положении, но в величайшем из государей Европы нахожу еще верного друга: расчетам политики он предпочитает чувство чести».

29 марта император сказал Гольцу, чтоб он переговаривал о мире с тайным секретарем Дмитр. Васил. Волковым, потому что канцлер был болен. За несколько дней перед тем Гольц писал Фридриху, что он употребит все усилия для удовлетворительного окончания дела, отстраняя по возможности препятствия, которые противная сторона все более и более старается ему ставить. Для пояснения этих последних слов может служить рассказ Волкова: «Император велел Гольцу, чтоб присланный к нему от короля мирный проект он мне подал, и сам час к тому назначил, сказав мне, чтоб я его дожидался. Господин Гольц, зная, что я живу во дворце, поехал в Семеновский полк к Андр. Андр. Волкову и, не застав его дома, тотчас отрапортовал, что меня нигде найти не мог. Тут мой арест и совершенное несчастье были решены, но чудесным образом весь тот день прокурил у меня табак барон Унгарн, и так он меня оправдал, а дело обратилось в шутку над Андреем Андреевичем. Я с моей стороны, ведая, что война с Даниею всегда была решенным делом и противное тому упоминание могло бы стоить жизни, устремлялся к тому: 1) чтоб сию войну самыми к ней приготовлениями сколько можно вдаль протягивать; 2) между тем и Пруссию, и Померанию за нами удерживать и оными пользоваться, и притом 3) смотреть, не будет ли способа, хотя похлебствуя королю прусскому, вмешаться в примирение Европы и тем не так вечный свой стыд загладить, как паче обнадежиться, что по замирении Европы лучший наш друг и государь король прусский сам не допустит нас начать войну с Даниею. Сего ради, пользуясь претекстом датской войны, толковал я непрестанно, что, пока наша армия останется вне границ, нам никак невозможно возвратить его прусскому величеству завоеванные у него земли, и тем до того довел было, что велено мне обще с тайным советником Вольфом сделать контра-проект. Черное сочинение найдется всемерно в моих бумагах. Не совсем оно согласно с моим желанием, но, кто знал тогдашнее время, стремительное желание бывшего императора и мое состояние, тот удивится и едва ль поверит, чтоб я смел столь много стоять за интересы и славу отечества, а тому еще более, что когда я с черным пришел, а тут были принц Георгий и барон Гольц, то господин Вольф, обробев и солгав своему слову, отперся от того, что он со мною согласен, сказав мне в пагубную похвалу, что он не успел в окошко выглянуть, как у меня уже все готово было; я ж, напротив того, довольно имел не смелости, но верно истинного усердия вооружиться не токмо против принца Георгия и барона Гольца, но и

против самого бывшего императора, так что наконец первые молчат, а он мое сочинение опробовать принуждены были. Такой негоциатор не по вкусу был барона Гольца, потому он, выпрося моего проекта копию, чтоб ее лучше высмотреть, сочинил новый проект по-своему».

Этот проект договора Гольц постарался прочесть императору одному, без свидетелей, и, получив согласие Петра на все статьи, отправил проект к канцлеру при записке: «Имею честь препроводить к его сиятельству г. канцлеру Воронцову проект мирного трактата, который я имел счастье вчера поутру читать его императорскому величеству и который удостоился его одобрения во всех частях». По этому договору, подписанному 24 апреля, прусскому королю возвращались все его земли, занятые русским войском в бывшую войну; оба государя соглашались включить в свой мир короля и Корону Шведскую. В отдельном параграфе говорилось, что оба государя, искренне желая соединиться еще теснее для безопасности своих владений и для взаимных выгод, согласились приступить немедленно к заключению союза.

После заключения мира начали составлять проект союзного договора, «сходного с нынешними конъюнктурами». Договор был оборонительный. Если сделано будет нападение на одну из договаривающихся сторон или и начатые неприятельские действия будут продолжаться, то другой союзник обязан отправить на помощь войско, состоящее из 12000 пехоты и 4000 конницы, и это войско не может быть отозвано прежде, пока обиженная сторона не получит совершенного вознаграждения или выплачивает ежегодно по 800000 рублей. Один союзник не может заключить ни мира, ни перемирия с неприятелем без ведома и согласия другого. В первом секретном артикуле говорилось, что его королевское величество прусское, будучи весьма доволен оказанными ему со стороны его импер. величества всероссийского как с начала восшествия его величества на всероссийский престол, так и при заключении вечного мира великими весьма снисхождениями и уступками, желает в знак своего за то признания действительно и всеми способами помогать, чтоб его величество всероссийское мог получить от короля датского герцогство Шлезвигское и удовлетворение во всех своих справедливых и законных притязаниях; поэтому королевское величество прусское обещает и торжественнейше обязуется употребить сперва при датском дворе, всевозможные представления и сильнейшие увещания, чтоб Дания удовольствовалась его императорское величество, а его импер. величество обещает всякую с своей стороны податливость показывать. Но если, несмотря ни на что, датский двор будет упорствовать и всероссийский император будет принужден доставать прародительские наследственные свои владения силою оружия, то королевское величество прусское не только не будет тому препятствовать, но и отдаст в распоряжение императора корпус своих войск, и если во время датской войны Россия подвергнется нападению, то король прусский обязуется послать ей на помощь выговоренное в трактате число войска независимо от корпуса, отправленного для датской войны, или выплачивать означенную сумму денег, если нападут на Россию турки или татары.

Во втором секретном артикуле Фридрих II обязался помогать избранию голштинского герцога Георга-Людвига в герцоги курляндские, а бывшему герцогу Бирону возвратить владение Вартемберг с титулом княжества, амт Биген, имения Милич и Гаскич, так как Бирон отрекся за себя и потомков своих от всех прав на

Курляндию. В третьем секретном артикуле союзники обязались не допускать никакой перемены в форме польского правления, и в случае кончины нынешнего короля польского Фридрих II обязался всеми силами содействовать, чтоб избрана была в польские короли особа, угодная императору всероссийскому.

В первом сепаратном артикуле было постановлено, что прусский король не помогает войском России в войне ее с Персиею, Турциею и татарами, а русский император не помогает Пруссии войском в войне ее с Франциею или Англиею, а помогают деньгами по миллиону двести тысяч рублей ежегодно. Во втором сепаратном артикуле говорилось: «Его импер. величество всероссийское и его королев, величество прусское, видя с великим соболезованием тяжкое утеснение, в котором от многих лет находятся единовверные обеих сторон в Польше и Литве, между собою соединились и обязались помянутых своих единовверных, а именно: под именем диссидентов разумеющихся греческого исповедания и реформатской и лютерской религии обывателей Польши и Литвы наилучшим образом защищать и дружескими сильными представлениями у короля и республики Польской к тому приводить, чтоб помянутые диссиденты могли паки достигнуть отнятых у них прав в духовных и мирских делах; или если этого тотчас получить нельзя, то чтоб соблюдены быть могли в том состоянии, в каком теперь обретаются, до лучших времен и конъюнктур».

Полномочным послом в Пруссию был отправлен генерал-майор князь Николай Васильевич Репнин, который нашел Фридриха II в лагере в деревне Зейтендорфе, недалеко от Бреславля. 29 июня Репнин представился королю и поднес ему шарф и знак, присланные от Петра III; Репнин доложил, не соизволит ли король переменить чего-нибудь как в них, так и в мундире, но Фридрих II изъявил свое удовольствие и признательность за учтивость, приказал, чтоб все по-прежнему осталось. Потом Репнин доложил, что император требует нового доказательства дружбы и желает, чтоб король был посредником на Берлинском конгрессе между Россиею и Даниею и для этого отправил бы туда полномочного министра. Фридрих отвечал, что он уже предупредил желание императора и отправил в Берлин графа Финкенштейна, которому император должен прямо приказывать, а он, король, велел ему повиноваться во всем императору. Король спросил об отъезде императора в армию; Репнин отвечал, что верного ничего не знает, но что при отъезде его из Петербурга император имел это намерение.

Репнин обедал у короля 29 и 30 июня. Оба раза Фридрих пил здоровье Петра, говоря, что он «не может довольно часто пить столь дражайшее здоровье».

Фридриха не нужно было просить о том, чтоб он был посредником между Петром и датским королем; война России с Даниею ему очень не нравилась, во-первых, потому, что он должен был принять в ней участие, отделить для нее часть своего войска, а во-вторых, как увидим впоследствии, он боялся удаления Петра из России для датской войны. Мы видели, как Фридрих при первом известии о восшествии на престол Петра рассчитал, что отношения нового императора к Дании могут иметь самое полезное влияние на отношения России к Пруссии, но теперь, когда успех превзошел все ожидания, надобно было постараться, чтоб датской войны не было или чтоб началась она как можно позднее.

Известие о восшествии на престол Петра III имело в Дании необходимым следствием усиленное вооружение, о котором русский посланник в Копенгагене

Корф и сообщил в Петербург. «Все внимание императора, – доносил Гольц Фридриху от 25 февраля, – обращено на Голштинию». «Я знаю наверное, что датчане меня атакуют», – сказал он Гольцу. Тот отвечал, что сомневается: не захочет Дания нажить себе такого страшного врага, как русский император; она, конечно, предпочтет дружественную сделку, и, конечно, с достоинством великого русского монарха гораздо сообразнее стать умиротворителем Севера, чем отнимать силою оружия то, что датчане, по всем вероятностям, отдадут добровольно вследствие категорического требования, сделанного со стороны России. «Я подозреваю, – прибавил Гольц, – что известия о враждебных намерениях датского двора выдуманы неприязненными дворами для запутания дел из боязни перед готовящимся соглашением между Россией и Пруссией».

1 марта отправлен был Корфу рескрипт, в котором приказывалось объявить датскому министерству, что, чем искреннее желание императора продолжать и увеличивать постоянную дружбу и доброе соседство с датским королем, тем прискорбнее видеть противное с датской стороны, именно угрозы, вооружения, и потому император видит себя принужденным требовать формального объяснения, намерен ли его величество король жить с ним в согласии и удовлетворить справедливым его требованиям относительно герцогства Шлезвигского, ибо в противном случае как по нужде, так и для того, чтоб дать силу неоспоримым правам своим, император будет принужден принять такие меры, от которых могут последовать крайние бедствия; но теперь еще бедствия эти могут быть предупреждены. На это объявление Корф получил ответ, что король нимало не уклоняется формально объявить императору, что он с его величеством готов жить не только в мире, но и в согласии и дружбе. Почему если его величество российский император соизволит возобновить прежние трактаты и, назнача кого-нибудь из своих министров, примет или предложит местом конференций удобный для обеих сторон город, как, например, Гамбург или Любек, то и король сделает то же.

В конце марта Гольц снова внушал Петру, что гораздо соответственнее его величию пожертвовать какими-нибудь ничтожными землями, какие он может завоевать у Дании, и приобрести славу умиротворения Севера. Датчане никогда не нападут первые, и все их движения происходят от страха подвергнуться нападению. 24 мая отправлен был к Корфу такой рескрипт: «Последний ответ датского двора и усиленные с того времени приготовления к войне на море и сухом пути могут не только для нас, но и для всего света служить неопровержимым доказательством, что Дания вовсе не имеет никакой склонности разделаться с нами полюбовно, но, почитая долгое и спокойное владение похищенными землями за право, видимым образом старается только выиграть время в надежде, что не всегда армия наша будет в близости к Дании и потому в состоянии доставить нам справедливое удовлетворение, а тем временем обстоятельства могут измениться в пользу Дании. Поэтому датский двор, не упоминая ничего в своем ответе о надлежащем нам удовлетворении, коротко указывает на медленные переговоры. Нам не оставалось бы другого решения, как, объявля известную и без того свету справедливость нашего дела, воспользоваться следующими обстоятельствами: 1) Что армия наша находится по большей части в Померании, следовательно, в близости от Голштинии и по благополучном ныне заключении мира с королем прусским ничто ей не препятствует оказать нам в

Голштинии новые заслуги и возвратиться в отечество с новою славою. 2) Что не только можем мы выставить превосходные против датских силы, но надобно отдать справедливость нашим войскам, что они привыкли к трудам и победам, тогда как датские войска уже много лет не знали войны. 3) Дания имеет некоторые местные против нас выгоды, потому что армия ее всегда будет находиться внутри своих областей и близко от своих крепостей. Но и наша армия, кроме того что не имеет нужды шадить чужие области, имеет и другие выгоды: тыл ее будут окружать области или нейтральные, или очень нам дружеские; сверх того, король прусский по особенной к нам дружбе предоставил нам одну из наилучших своих крепостей, именно Штетин, как плясдарм, а если б нужда потребовала, то мы уверены, что не откажет нам и в Кистрине. 4) Быть может, Дания имеет на своей стороне много доброжелателей, ибо немного таких, которые желают нашего усиления на Балтийском море и в Германии; но затем нисколько не замечаем мы, чтоб датский двор имел прямых союзников, от которых мог бы ожидать существенной помощи. Мы имеем, напротив, короля прусского, государя, для этой войны необходимого, совершенно в наших интересах; а Швеция если не в состоянии воспользоваться этим случаем против датчан, то тем менее может нам помешать, имея много побуждений желать нам успеха.

Несмотря на то, намерены мы испытать последний способ, нельзя ли избежать этих крайностей, и потому положили: 1) Принять конгресс, предложенный датским двором. 2) Место ему назначить в Берлине. 3) Срок собранию положить первое число июля. 4) Полномочным на конгресс назначаем вас и нашего конференц-советника Сальдерна. 5) Предложения наши на конгрессе должны служить ультиматом, и непринятие их разрушает весь конгресс. 6) Король прусский будет посредником. Впрочем, пока эти переговоры будут производиться, было бы для нас непростительно спокойно ожидать их окончания, тем более что не с большою надеждою ожидаем мы себе плода от них, а потом, приняв участие в войне между королем прусским и императрицею-королевою и желая участвовать в будущем мире, мы должны приготовить к походу наши войска, находящиеся в Померании».

Датский двор согласился на все, и в Пруссии были очень довольны. Гольц писал Фридриху: «Я почти уверен, что война не начнется нынешним годом. С какою бы поспешностью ни выслали с обеих сторон комиссаров в Берлин, все они приедут не ранее половины июля (по новому стилю); прежде чем будут сделаны первые предложения и начнутся серьезные переговоры, наступит август, а тут уже будет поздно выступать в поход». Возлагали большие надежды на второго уполномоченного, голштинца Сальдерна, человека, вполне преданного Пруссии. В одном из рескриптов Фридриха Гольцу король предписывает последнему сойтись с конференц-советником Сальдерном и объявить ему, что король существенными знаками докажет ему свою благодарность; Гольц должен был также удержать Сальдерна от возвращения в Голштинию, потому что он мог быть еще полезен Фридриху в Петербурге. По поводу назначения Сальдерна уполномоченным в Берлин Гольц писал королю, что он очень желал бы удержать Сальдерна в Петербурге, но что он будет очень полезен и в Берлине для улажения дела, если только есть возможность его уладить.

Фридрих II желал отклонить датскую войну, потому что она мешала ему добить Австрию, покинутую Россией. Тотчас по восшествии Петра на престол, на

представлении дипломатического корпуса новому императору, австрийский посол граф Мерси, игравший до сих пор первую роль в Петербурге, поздравив Петра, выразил уверенность, что новый император будет следовать славным принципам своей покойной тетки и поддержит прежние союзнические отношения к императрице-королеве и ее супругу, римскому императору. Петр отвечал коротко и сухо: «Надеюсь, что мы останемся друзьями с их величествами». Через три дня после этого канцлер Воронцов объявил, что император непременно хочет мира, для достижения которого употребит все свои старания. Петр не допускал к себе более Мерси, который вследствие этого потерял все свое прежнее значение: люди, которые прежде заискивали в нем, теперь заботливо избегали с ним встречи; из высших сановников никто не отваживался говорить с ним о делах. От 9 февраля был отправлен в Вену к князю Дмитрию Мих. Голицыну рескрипт такого содержания: «Сколь свято ни почитаем мы принятые для настоящей войны обязательства блаженной памяти государынею императрицею, нашу любезною теткою, и сколь ни желали бы оные во всей их силе содержать, но в настоящем состоянии дел по причине несносного в империи нашей истощения денежной казны и людей находим сии обязательства весьма тягостными; итак, для пользы и благосостояния наших верноподданных при счастливом начатии государствения нашего, желая видеть конец чрез толь долгое время продолжающемуся кровопролитию, не хотим умедлить объявить сие участвующим с нами в сей войне союзным дворам. Мы довольно предусматриваем, что такое наше, хотя и на самой справедливости основанное, намерение сперва, однако ж, покажется союзным дворам, а паче венскому, странным и потому, конечно, будут происходить всякие противные толкования, но, предпочитая всему на свете благосостояние государств наших, не можем мы иначе поступать и для того довольствуемся желать, чтоб и союзники сию правду в рассуждении собственных их земель равно признали, ибо по неизвестности военного жребия ничего точно предвидеть и предопределить не можно. Стараясь единственно о восстановлении толь нужного всей Европе мира и чтоб доказать еще, сколь бескорыстны наши в том виды, повелеваем мы вам ее величеству императрице-королеве пристойным образом дать знать, что со дня вступления нашего на престол отступаемся мы от субсидий венского двора; сверх того, можете вы по усмотрению обстоятельств твердить, что для способствования сему общеплезному предмету не жалеем мы жертвовать и всеми в нынешнюю войну приобретениями, которые, однако, России столь много крови и иждивения стоили. Впрочем, надлежит вам венскому двору при всех попадающихся случаях внушать, что к поспешествованию мирной неготиации лучше всего начать оную перемирием».

Когда Голицын объявил содержание рескрипта графам Коллоредо и Кауницу, те отвечали, что венский двор вместе с союзниками своими давно уже доказал всему свету склонность свою к миру и Аугсбургский конгресс не состоялся единственно по нежеланию английского двора и союзников его; что венский двор не может отвечать на русскую декларацию без соглашения с союзниками, а между тем будут дожидаться от русского двора дополнительных изъяснений, каким образом император желает способствовать восстановлению тишины в Европе. Потом они спросили, правда ли, что корпус Чернышева отозван от австрийской армии и между русским и прусским войском заключено перемирие. Голицын отвечал, что не имеет об этом известий.

Надобно было дать дополнительные изъяснения, каким образом Петр хочет способствовать восстановлению тишины в Европе. Эти изъяснения заключались в рескрипте от 9 апреля. «Дождаться такого генерального мира, каков был Вестфальский, – говорилось в рескрипте, – значит воевать бесконечное время и притом быть уверенным, что постановляемый таким образом мир не может всех удовлетворять, следовательно, не может быть и прочным. На Вестфальском мире надобно было за каждым утвердить приобретенные уже владения, права и вольности, а теперь дело идет о том, чтоб удовлетворить претензиям и желаниям, родившимся из самой войны; но эти претензии так различны, что к совершенному их соглашению почти нет способов, и надобно признаться, что в начале нынешней войны прилагалось больше старания о том, чтоб вовлечь в нее как можно более держав, а не рассуждалось, каково будет окончание столь многих наскоро сделанных трактатов и принятых обязательств. Русский двор один только всегда настаивал на том, чтоб согласить различные интересы и желания, прежде чем генеральный конгресс начнется, справедливо предусматривая, что без такого соглашения конгресс скоро может поссорить самих союзников между собою и вместо мира разжечь войну еще больше. Венский двор и Франция чувствовали, кажется, то и другое, а именно что и различные претензии согласить трудно, и от собираемого конгресса мало плода ожидать должно. Потому, не отвечая никогда прямо на здешние требования и домогательства, венский двор коротко ссылался на постановленные в пользу его договоры и, оставляя притязания других в молчании, всего успеха ожидал, по-видимому, от могущего быть счастья в оружии, а Франция, отклоняя и более притязания других, так хлопотала об отдельном и *самокорыстливом* мире, что венский двор о том только и думал, чтоб не было чего-нибудь постановлено прямо против него; и действительно, венский двор обязан освобождением от этой опасности только великим запросам с английской стороны. С другой стороны, Швеция, без всякой пользы и надежды с большим ущербом прежней славы нынешнею войною истощенная, кажется, будто не смеет ни продолжать, ни окончить ее. А Дания, напротив того, начав делать превеликие вооружения в такое время, когда мы сами не удалены от переговоров, явно тем показывает, какого мы должны ожидать удовлетворения в справедливых наших притязаниях. При этом ничего не было бы желательнее для датского двора, как если бы мы продолжали истощать силы наши и государственные иждивения на постороннюю войну. Мы навлекли бы на себя упреки целого света, когда бы, защищаясь столько лет единственно правотою своего дела и не променяв ни на какие предложения того, чем мы должны нашему достоинству и нашему дому, теперь, когда мы вдвойне обязаны заботиться о благосостоянии и знатности нашего дома и когда имеем дарованные нам от Бога к тому способы, не последовали датскому примеру и не приложили старания подкрепить наши неоспоримые права с такою же готовностью, с какою датский двор думает, по-видимому, утвердить за собою свои приобретения, хотя и намерены мы испытать все пути и средства к полюбовному соглашению по голштинским делам прежде, нежели решимся на какую-либо крайность.

Все участвующие в нынешней войне дворы, кажется, только выжидают, кто сделает первый и самый важный шаг к достижению мира; страждущие народы ищут того, кого они должны благодарить за свое избавление и благополучие, а мы благоволением Божиим одни теперь в таком состоянии, что единственно из любви

к миру, из сожаления о страждущем человечестве и из личного уважения к дружбе и оказываемым нам угодностям от его величества короля прусского можем услужить роду человеческому своим бескорытием: нам, следовательно, и надобно сделать этот первый шаг. Поэтому повелеваем вам все вышеизображенное представить тамошнему двору и прибавить от нашего имени совет последовать нашему примеру и предупредить все следствия, могущие произойти от продолжения войны, а чрез это доставить нам способ безмятежно соблюдать и распространять давнюю дружбу между обоими императорскими дворами».

На это сообщение Голицына Кауниц отвечал, что венский двор считал и себя не менее других полезным союзником России, а имперский вице-канцлер Коллоредо сказал, что его двор и сам очень рад миру, но нельзя его заключить по упорству неприятелей, которые не дали состояться Аугсбургскому конгрессу. 2 мая пошел к Голицыну другой рескрипт: «Доставя ныне империи нашей вожделенный мир, могли бы мы удалиться вовсе от войны, но известно, что покой государства не может быть прочен, когда окрестные народы находятся во вражде, и потому находим мы, что по вкоренившейся ненависти австрийского дома к королю прусскому, с которым издавна соединяет нас взаимная дружба, и по корыстным этого двора намерениям получить во что бы то ни стало Силезию и графство Глацкое вся причина продолжения войны происходит от австрийского дома, и по упорству его в своих проектах нет никакой вероятности, чтобы императрица-королева, пока силы ее будут так знатны и велики, согласилась добровольно на восстановление мира; почему, предвидя, что употребление с нашей стороны добрых услуг не только не принесло бы никакой пользы, но и отвержение их послужило бы к предосуждению нашего достоинства, – соображая все эти обстоятельства, к сожалению нашему, удостоверяемся, что мы должны употребить последнее средство для возвращения человечеству драгоценного покоя, именно помочь его величеству королю прусскому нашим войском, ибо причину продолжения военных бедствий должно приписывать одному только упорству венского двора и известному намерению его отнять у короля прусского то, что ему уступлено торжественнейшими трактатами».

На это сообщение Кауниц отвечал: «Ее величество императрица-королева в декларации русского посланника видит следствие сильного желания со стороны его величества императора всероссийского восстановить мир между нею и королем прусским. Ее величество льстит себя надеждою, что декларация действительно продиктована этим чувством, и потому только решилась отвечать дружелюбно. Ее величество, которая никогда не обнаруживала удаления от справедливого и разумного мира с королем прусским, не знает до сего дня самого главного, именно: расположен ли к миру этот государь? Об этом-то прежде всего и нужно уведомить императрицу. Предполагая согласие на мир короля прусского, я имею приказание императрицы объявить, что она искренне расположена к миру с ним и для ускорения этого дела готова заключить перемирие и начать переговоры».

В Петербурге граф Мерси на конференции с канцлером дал пространное объяснение этого ответа. «Австрийский дом, – говорил он, – находясь так давно в дружбе с Россией, привык почитать эту державу своею постоянною и естественною приятельницею, и потому, невзирая на недавно случившееся, в Вене

не могут еще себе вообразить, что петербургский двор переменит самый существенный пункт своей политической системы именно нарушением союза с австрийскою монархией. Хотя известно все то, что настоящее поведение императора всероссийского заключает в себе досадительного для древних его союзников, однако римско-императорские величества утешают себя надеждою, что такой поступок только временный и что наконец император взглянет на дело другим, более сходным с его интересами взглядом, тогда убедится он, как необходимо ему предпочитать австрийский союз всякому другому. Вот что побудило императрицу-королеву дать такой умеренный ответ. Было бы несправедливое и неслыханное дело, если б император всероссийский, думая, что к исполнению его желания находятся затруднения, стал бы их приписывать такой державе, которая с самого начала более всех оказывала склонность к примирению, и к примирению с такою державою, которая еще не заблагорассудила о том изъясниться. Если император всероссийский примет способы, сходные с правосудием, чистосердечием и с уважением, должными той державе, которая издавна была ему искреннею союзницею, если склонит он короля прусского к изъяснению его намерений и видов, если, наконец, употребит средства беспристрастные, то может быть уверен, что скоро достигнет своей цели, и достигнет ее честным образом, достойным государя, на которого теперь вся Европа обратила свои взоры в ожидании, какое мнение она должна принять о его правилах и намерениях».

Но эти объяснения не вели ни к чему. Фридрих спешил пользоваться обстоятельствами и потребовал у Петра гарантии не только Силезии и Глаца, но и всех тех земель, которые он завоюет у Марии-Терезии до заключения мира. Петр отвечал: «Я в восторге и готов на все; но я буду просить ваше величество заключить такое же условие со мной: обеспечить за мной то, что я буду в состоянии взять у датчан, чтоб разом заключить с ними мир, славный для моего голштинского дома». Фридрих писал ему: «Я не удовольствуюсь только гарантией за вами всего того, что вы найдете нужным, независимо от этого я добиваюсь чести способствовать предприятиям в. и. в. Распоряжайтесь Штетинским портом и всем, что я имею, как вашей собственностью. Скажите, сколько нужно вам прусских войск, нисколько не стесняйтесь и просто скажите, чем могу я быть вам полезен? Хотя я стар и изломан, но сам пошел бы против ваших врагов, если б знал, что принесу пользу, жертвуя собою для столь достойного государя, для такого великодушного и редкого друга. Вы великодушно предлагаете мне вашу гарантию и ваши войска; будьте уверены, я вполне чувствую всю цену столь благородного поступка. Если вам угодно дать мне из своих войск тысяч 14 с тысячько козаков, то этого будет достаточно». Петр отвечал: «Союзный договор будет готов чрез несколько дней, и, чтоб задержка его не могла помешать вашему величеству против ваших врагов, *которые также и мои*, я приказал генералу Чернышеву сделать все возможное, чтоб прибыть по крайней мере в начале июня в вашу армию с 15000 регулярного войска и тысячько козаков. Ему приказано состоять в распоряжении в. в., Чернышев лучший генерал после Румянцева, которого я не могу отозвать: он против датчан. Но если бы Чернышев и ничего не смыслил, то он не может худо действовать под командою такого великого генерала, как в. в.». Таким образом, в Берлине собирался конгресс с целью если не отвратить датскую войну, то по крайней мере оттянуть ее до будущей весны и не

иметь надобности посылать прусского войска на помощь Петру; а между тем 16000 русского войска уже соединились с прусским для нанесения решительных ударов Австрии!

Австрия употребила последнее средство – предложила деньги и вспомогательное войско против Дании. Император отвечал: «Деньги мне не нужны, я надеюсь один управиться с своими врагами, а понадобится помощь, стану искать ее в другом месте, только не в Вене».

Австрия, находившаяся в крайне затруднительном положении, считала необходимым умерять тон своих протестов против перемены русской политики, но Франция не считала этого необходимым.

Когда Чернышев подал герцогу Шуазелю декларацию о заключении мира между Россией и Пруссией, тот, с трудом скрывая свое раздражение, отвечал: «Не могу скрыть, что эта декларация крайне нас удивляет: как без всякого предварительного сношения с союзниками система, казавшаяся так твердо установленною, вдруг и до основания разрушена! Иначе поступил третьего и прошлого года король, мой государь, хотя также сильно чувствовал надобность дать мир своим подданным, во всех случаях он предпочитал интерес союзников своему собственному. Вы должны отдать нашему двору полную справедливость, потому что через вас шли тогда переговоры». «Тогда были одни обстоятельства, а теперь другие», – отвечал Чернышев и распространился о том, как поступок Петра доказывает попечение его о благе своего народа и вообще его человеколюбие. «Однако, – возразил Шуазель, – исполнение принятых обязательств надобно предпочитать всему другому». «Наш разговор, – заметил Чернышев, – начинает касаться прав, но таким образом мы можем далеко зайти и все же друг с другом не согласимся». Этим разговор о русской декларации и кончился.

«Здесь двора обстоятельства теперь очень критические, – доносил Чернышев. – Сухопутное войско в дурном состоянии, и мало надежды на его успехи в будущую кампанию, а флот еще хуже. Англичане хватают множество французских судов, другие не смеют отходить от берега, вследствие чего торговля страдает. В казне сильный недостаток, народ обеднел, и с крайнею нуждою взывают с него деньги, налагая налог на налог».

Ответная декларация французского короля была написана в самых сильных выражениях: «Его величество готов согласиться на предложения прочного и честного мира, но он всегда будет поступать в этом деле с совершенного согласия своих союзников и будет принимать только такие советы, которые будут продиктованы честью и честностью (*par l'honneur et par la probite*); король счел бы себя виновным в измене, если бы принял участие в тайных переговорах; король помрачил бы свою и своего государства славу, если бы покинул своих союзников; король уверен, что каждый из них с своей стороны останется верен тем же принципам. Король не может забыть главного закона, предписанного государям от Бога, – верности договорам и точности в исполнении обязательств». Людовик XV перестал говорить с Чернышевым на выходах.

А в Петербурге между тем занимались важным делом: от иностранных министров потребовали, чтоб они сделали первый визит принцу Георгию голштинскому. Бретейль, Мерси и министр испанский маркиз Алмодовара отвечали, что сделают первый визит, если принц первый объявит им о своем

приезде. Принц не согласился, и канцлер, пригласив их к себе, именем императора объявил, что они не будут допущены на аудиенцию к императору, пока не согласятся с принцем Георгием насчет визитов. Граф Шуазель говорил Чернышеву: как странно и удивительно в Петербурге смешивают два разные дела: одно совершенно частное и никакой важности в себе не заключающее, – согласятся ли известные лица между собою насчет визитов или нет; такие случаи при всех дворах часто бывают; и ему самому, Шуазелю, случилось в Вене столкнуться насчет визитов с принцем Карлом лотарингским, братом императорским, не согласились, и до сих пор визиты с обеих сторон не делаются. Однако венский двор считал это дело посторонним для себя, а при русском дворе приняло оно такое неожиданное и необыкновенное значение. Другое же дело, касающееся аудиенции, государственное: необходимо, чтобы министры допускались к государям, при которых они аккредитованы, ибо без этого они не могут исполнять свою должность и пребывание их при дворах было бы совершенно лишнее. «Прошу вас, – окончил Шуазель, – донести об этом ко двору его импер. величества, представить о различии, какое находит в этом деле здешний двор, и о необходимости допустить нашего министра на аудиенцию без дальнейшего отлагательства; странное смешение двух различных дел может объясниться разве тем, что нарочно ищут предлогов к разрыву». На донесении об этом Чернышева Воронцов написал для императора: «Вчера барон Бретель, будучи у меня, равномерные представления чинил, на что ему вопреки довольные резоны сказаны были, и сей неприятный разговор с горячностью с обеих сторон продолжался около часа с заключением тем, что о представлении его вашему импер. величеству мною донесено будет, но что я не надеюсь, чтоб ваше величество отменили объявленное ему свое намерение, как бы, впрочем, охотны ни были королю французскому оказать знаки своей дружбы. Наконец, г. Бретель просил только о сообщении ему последней резолюции вашего величества, отозвался притом, что, ежели бы она не полезна для него последовала, он с первым курьером просить станет своего рапеля».

После описанного разговора Чернышев сообщил Шуазелю, что министры – шведский, датский и английский – имели уже аудиенции у императора, потому что не сделали никакого затруднения относительно первого визита принцу Георгию; но аудиенция барона Бретейля отложена, потому что он не хочет следовать примеру других министров. Император надеется от дружбы французского двора, что он уступит его требованию, впрочем, медленность в допущении Бретейля на аудиенцию не может быть вовсе причиною холодности между двумя дворами, а уступчивость французского двора в деле визита император признает за новый знак дружбы, которую он с своей стороны имеет неотменное намерение соблюдать и еще более утверждать. «Последние два пункта, – писал Чернышев, – принял он, граф Шуазель, пристойным образом и с оказанием удовольствия, что я, заметив, нарочно повторил ему то же самое в таком точно рассуждении, что здешний двор, взяв в надлежащее уважение столь знатный для него пункт, легче склонится на решение дела, касающегося до визита его высочеству принцу Георгию, происшедшего единственно от грубого, упрямого и малорассудительного Бретелева нрава, и загладит тем нескладный его в том поступок».

Но французский двор не склонился к уступке в деле визита. От 27 мая Чернышев писал: «Здесь двор сам довольно видит неблагоприятное свое в этом деле, но, зайдя так далеко, из гордости и упрямства своего отступить стыдится; итак, определено: Бретейля из Петербурга отозвать и назначить его послом к шведскому двору». Шуазель объявил Чернышеву, что в Петербург назначен будет поверенный в делах или резидент – одним словом, министр третьего класса, который бы не был подвержен никакому церемониалу, вследствие чего Чернышев объявил, что отъезжает из Франции, оставляя в ней поверенным в делах секретаря посольства Хотинского.

В Петербурге думали, что перемена политики, тесное сближение с Пруссией и удаление от Австрии и Франции сблизят Россию с Англией. С первых минут воцарения своего Петр обратился с полным доверием к английскому посланнику Кейту как человеку, который должен был более всех других сочувствовать его новой политике. Гольц по приезде в Петербург также обратился к Кейту за советами и указаниями, и Кейт оказал ему самые дружественные услуги. Но Кейт в Петербурге и Митчел в Берлине держались старой английской политики – политики Питта; а мы уже видели, что новое английское министерство Бюта смотрело иначе на дело и не желало тратиться, поддерживая прусского короля в войне, теперь совершенно бесполезной для Англии. Но как Петр не справился о взглядах нового английского министерства, взглядах, которые так сильно поддерживал русский посланник в Лондоне, так точно Бют не знал, что с новым императором рушатся все прежние политические отношения.

По получении известия о восшествии на престол Петра граф Бют выразился кн. Голицыну, что теперь единственно состоит в воле императора дать мир Европе. «У нас, – говорил Бют, – довольно чувствуют, что прусский король при настоящих своих бедственных обстоятельствах не может ласкать себя надеждою получить мир без значительных уступок из своих владений; почти уже шесть недель тому назад как я по указу королевскому поручил нашему министру при берлинском дворе Митчелю объявить прусскому министерству, что давно уже пришло время серьезно о том подумать и что здесь двор не может вечно воевать в угоду его прусского величества. По словам здешних прусских министров, король их надеется найти теперь больше к себе расположения при русском дворе, но, конечно, надежда эта химерическая; прусским министрам естественно, как утопающим, хвататься за все и ласкать себя малейшею надеждою, но я не могу думать, чтоб император променял своих естественных союзников на короля прусского. Здесь двор, стараясь о мире, не может притом сильно желать, чтоб русские войска, действовавшие против Пруссии, были возвращены, как, быть может, прусский король надеется, ибо чрез это вместо мира надобно ожидать продолжения войны: с одною императрицею-королевою король прусский может долго воевать, чего здесь двор не желает, а напротив, старается, избавя короля прусского от конечной гибели, склонить его пожертвовать Марии-Терезии своими областями, как требует справедливость. Прошу вас эти мои речи содержать в глубочайшей тайне, ибо я с вами говорил не как министр королевский, но как приятель, вполне на вас полагающийся. Откровенность за откровенность, желал бы я от вас узнать, какую часть из прусских завоеваний государь ваш хочет за собою удержать».

«До сих пор, – отвечал Голицын, – я не имею еще известия о намерениях государя, только из манифеста его могу заключить, что он хочет во всем подражать своим предкам, следовательно, хочет пребывать неразлучно с своими естественными союзниками, именно с венским двором; потом также по примеру предков сохранять и утверждать дружбу с его британским величеством. Мира мой государь искренне желает, но мира честного, и, как вы, граф, справедливо заметили, прусский король не иначе может получить мир, как жертвуя значительною частью своих областей, и невозможно ему ласкать себя надеждою, чтоб император в предосуждение славы высочайшего своего имени и пользы своей империи променял интересы своих главных и полезных союзников на интерес такого опасного соседа, как король прусский, чтоб вывел свои войска из прусских областей и возвратил их Фридриху II, который сам почитает их невозвратно потерянными; такой поступок не был бы согласен ни с славою, ни с честью, ни с безопасностью императора, который намерен начало своего царствования прославить присоединением к империи всего королевства Прусского по праву завоевания, тем более что эта провинция никакой связи с Германскою империею не имеет; что же принадлежит до других завоеваний, то они могут быть уступлены за какие-нибудь не столь тягостные для короля прусского вознаграждения».

Описав этот разговор, Голицын прибавлял: «Граф Бют, казалось, был очень доволен моими ответами. Я должен донести, что здесь теперь крайне скучают союзом с королем прусским и с радостью воспользовались бы первым удобным случаем оставить его; следовательно, теперь в воле вашего величества не только исходатайствовать высоким союзникам справедливое удовлетворение, но и Пруссию (провинцию) удержать в вечном владении: английский двор охотно на это согласится». Канцлер Воронцов написал на реляции: «Сия реляция князя Голицына заслуживает великой похвалы и апробации, на которую в ответ гисторически ему отписать о нынешнем состоянии дел и о высочайшем соизволении его импер. величества в рассуждении прежней системы и что с королем прусским, кроме дружеской обсылки, еще никакой негоциации здесь не начато, хотя поверенная персона от его величества сюда и прислана». Реляция Голицына была от 26 января, император читал ее 2 марта.

Голицын еще при Елисавете получил указ, что отзывается из Лондона на вице-канцлерское место. На место его был назначен известный Гросс, но король Георг III велел объявить Голицыну, что он по разным причинам не может принять Гросса; тогда назначен был полномочным министром граф Александр Романович Воронцов.

Перед отъездом Голицына граф Бют сообщил ему полученные известия из Магдебурга, где находился тогда Фридрих II, о посылке Гольца в Петербург. Бют выражал сильное неудовольствие, что Фридрих не сообщил лондонскому двору инструкций, данных Гольцу. «Это значит, – говорил Бют, – что инструкции не могут быть нам приятны; здесь догадываются, что, во-первых, прусский король будет всячески стараться поднять Российскую империю против венского двора, к немалому предосуждению европейской вольности; во-вторых, для получения себе выгоднейших от русского императора условий что-либо заключить с русским двором против датского короля».

Бют давал знать Голицыну, чтоб разговор их оставался в величайшей тайне, но Петр иначе распорядился реляциею Голицына: он показал ее Гольцу и не только позволил снять копию, но и прямо приказал переслать эту копию Фридриху. Получивши ее, Фридрих писал Петру: «Я был бы самый неблагодарный и недостойный из людей, если б не чувствовал и вечно не благодарил бы вас за великодушные поступки. Ваше импер. величество открываете измену моих союзников, помогаете мне в то время, когда весь свет меня покинул, и я единственно вашей особе обязан тем, что случается со мною счастливого». Фридрих велел Финкенштейну показать голицынскую депешу английскому посланнику в Берлине Митчелю, и когда последний уведомил об этом свое правительство, то Бют отвечал, что русский посланник или не понял его, или память ему изменила, или Голицын слишком увлекся своею преданностью австрийскому дому, но что он, Бют, ничего подобного ему не говорил.

Новый русский министр, назначенный в Англию, граф Александр Воронцов получил от императора такую инструкцию: «1) Надлежит всеми мерами стараться, чтоб привести короля английского в такие же добрые намерения касательно короля прусского, в каковых он прежде сего находился. 2) Надлежит изыскивать случай, чтоб открыть королю, а наипаче английскому народу, обману фаворита его графа Бюта касательно короля прусского, представляя им последуемый из того для всей нации неописанный стыд, и особливо в том, если Англия вознамерится, оставляя короля прусского, заключить с королевою венгерскою особенный мир. 3) Стараться всевозможным образом о истреблении остальной королевской дружбы с Даниею и притом домогаться, чтоб совершенно разрушить их союз. 4) Всеми ж силами стараться, чтоб Англию вовлечь в заключенный между королем прусским и мною союз, давая, с одной стороны, разуметь, сколь великую пользу касательно торговли получить они могут, а с другой – доказывая происходимое в противном случае бедствие. 5) А особливо приметить им надлежит, что если Россия следующие товары отнимет у Англии, а именно: пеньку, мачтовые деревья, медь, железо и конопляное масло, без которых англичане не могут обойтись, то будут они приведены в конечное разорение. 6) Наблюдать доброе согласие с министром короля прусского столь прилежно, что если услышите вы или от английского министерства получите какие-либо его величеству предосудительные пьесы, то долженствуете его министру немедленно оные сообщить, дабы мог он о том к своему двору доносить».

Мы видели, что при первых сношениях России с Пруссиею в новое царствование, сношениях, от которых находились в зависимости все политические дела, уже был вопрос о Швеции.

Остерман из Стокгольма писал новому императору, что большая часть шведских предприятий много зависит от uznания его воли. «Вся здешняя публика, – доносил Остерман, – почитает неизбежною войну между Россиею и Даниею и толкует о желании вашего величества заключить тройной союз между Россиею, Пруссиею и Швециею». После толков Остерман сообщил сделанное ему министром иностранных дел Экеблаттом заявление, что Швеция, будучи истощена войною, должна помышлять о честном соглашении с королем прусским.

Император был очень рад этому соглашению, которое действительно и последовало; но он не обратил внимания на побуждение к соглашению,

выставленное Экеблаттом, – именно истощение Швеции – и потребовал, чтоб Швеция приняла участие в войне его с Даниею.

4 июля Остерман имел разговор с Экеблаттом. Выслушавши предложение Остермана относительно совокупного действия России и Швеции против Дании, шведский министр отвечал, что доложит об этом королю, но потом объявил собственное мнение не формальным и не министеральным образом: он начал речь с объявления крепкой надежды короля, что император как по родству, так и по доброжелательству к Швеции будет смотреть снисходительным оком на настоящее положение шведского двора. Те же самые причины, которые побудили этот двор к заключению мира с Пруссией, побуждают его не желать новой войны, и потому королю очень приятно будет слушать о полюбовном соглашении России с Даниею; и как, с одной стороны, уважение к императору, так, с другой – уважение к прежде принятым Швециею обязательствам по гарантии (Шлезвига Дании) заставляют искать такого средства, которое никого не могло бы раздражить. «Обнадеживаю вас, – закончил Экеблатт, – что здешний двор не склонится ни на какие лестные предложения датского двора, противные интересу императора». «Когда действительно ваше желание, – возразил Остерман, – состоит в том, чтоб видеть полюбовное соглашение по нашему делу с Даниею, то мне кажется, что пристойное внушение от вашего двора датскому и, в случае если внушение не подействует, подкрепление претензий императора на самом деле, равно как вспоможение русскому флоту в шведских гаванях и русскому войску в Померании, послужит лучшим средством к достижению вашей цели». Экеблатт отвечал, что по такому деликатному делу он не может дать никакого формального ответа.

Но из его слов уже легко было догадаться, в каком смысле будет королевский ответ, который был передан Остерману 18 июня: «Король не может оказать императору большой доверенности, как повторить с прежнею откровенностью об изнурительном состоянии своего государства, не позволяющем принимать никаких мер, которые бы могли дать малейший повод к разрыву дружбы с какою-либо державою. В таком рассуждении королю очень приятно было слышать достохвальную миролюбивую склонность императора к добровольному соглашению с датским двором, и сердечно он будет желать, чтоб это дело совершилось, чему он с своей стороны готов содействовать сколько возможно. Что же касается желаемого императором вспоможения русским войскам в Померании за справедливую уплату и входа русских кораблей в шведские гавани, то король не преминет сделать все то, что обыкновенно называется *officia humanitatis* (обязанности человечества), если какой-нибудь из русских кораблей порознь принужден будет зайти в шведскую гавань для получения необходимой помощи; также и войску русскому за справедливую уплату показано будет всевозможное удовольствие». Когда Экеблатт передал королевский ответ Остерману, тот спросил: «Можно надеяться, что *officia humanitatis* не будут распространяться на Данию?» «Трудно будет, – отвечал Экеблатт, – отказать в них датскому двору».

Остерман был отозван, и на его место назначили действительного тайного советника графа Миниха.

Также отозван был и Воейков из Варшавы с назначением к армии по собственному его всегдашнему желанию, как видно из письма его к Воронцову; на

место Воейкова был назначен бывший уже в Польше и потом в Вене граф Кейзерлинг.

Король польский и курфюрст саксонский как слабейший должен был более всех других союзников сокрушаться переменою русской политики. По всей Польше распространились тревожные слухи, что страшная опасность будет грозить этой стране, если Пруссия соединится с Россией, ибо нет сомнения, что между этими обеими державами произойдет соглашение насчет Польши: она непременно потеряет несколько областей, которые пойдут на вознаграждение России за возвращение Пруссии Фридриху II. Граф Брюль начал хлопотать о примирении Чарторыйских со двором в надежде, что племянник Чарторыйских стольник литовский Понятовский может действовать в пользу польского двора чрез новую императрицу по ее благосклонности к нему в прежнее время в Петербурге. Надежда эта очень скоро рушилась; но люди без надежды не живут, и в марте в Варшаве стали надеяться, что политика Петра, особенно отобрание церковных имений, произведет беспокойства в России.

Надеждою этою питались до тех пор, пока она осуществилась, а между тем переживали тяжелое время. Между Россией и Пруссией беспримерный в истории тесный союз. От Фридриха II ждать добра нечего, а Петр III по привязанности своей к Фридриху давно уже враждебно относился к саксонскому дому, и вражда эта усилилась, когда императрица Елисавета согласилась на возведение в курляндские герцоги сына Августа III принца Карла саксонского, тогда как Петр прочил на это место дядю своего, принца Георгия голштинского. Великий князь обошелся очень холодно с принцем Карлом, когда тот явился при дворе Елисаветы, и, узнавши чрез Шувалова, что императрица сердится на эту холодность, Петр написал тетке, что он не может лучше обходиться с принцем, запятнавшим себя постыдным бегством при Цорндорфе. Разумеется, одною из первых мыслей Петра III по восшествии его на престол была мысль о свержении принца Карла с курляндского престола и о возведении на его место принца Георгия. Сделать это было легко: Курляндия была Польша в миниатюре, подвергаясь влиянию первого сильного, который считал нужным заняться ею, а сильнее всех был император русский, вследствие чего курляндцы давно привыкли смотреть на своих герцогов как на губернаторов, назначаемых в Петербурге. Опираясь при этих назначениях на волю шляхетства, на его избрание было легко, ибо постоянно существовали партии, преданные тому или другому из кандидатов; партию легко было употребить для почина дела, а равнодушное большинство готово было признавать герцогом всякого, кого поддерживало русское войско и кто обещал чины и аренды. Петр не велел извещать о своем восшествии на престол принца Карла и тем заявил, что не признает его законным герцогом курляндским. Русский уполномоченный в Митаве Симолин, старавшийся при Елисавете об избрании в герцоги принца Карла, теперь получил приказание разделить собственное дело и поддерживать партию, противную Карлу. Симолин схватился за главную причину недовольствия против принца Карла в протестантской Курляндии, именно что принц был католик. Курляндской депутации, приехавшей в Петербург поздравить Петра с восшествием на престол, было объявлено сожаление императора, «сколь мало с фундаментальными правами герцогства Курляндского сходственно иметь им католического принца своим герцогом, умалчивая о других нарушениях их правостей». Сначала

движение, направленное против принца Карла, шло во имя старого Бирона, и только в конце июня Симолин выставил принца Георгия, которому Бирон уступил свои права. Вследствие этого образовались в Курляндии три партии: принца Карла, Бирона и принца Георгия.

Перемена русской политики должна была отразиться и на отношениях к Турции.

Обрезков, не зная о резкой перемене политики своего двора, от 19 февраля доносил новому государю о действиях прусского посланника в Константинополе, и доносил по привычке в очень нелестных выражениях. Он писал о сугубом старании посланника склонить Порту прежде весны прибавить к дружественному и торговому трактату артикул союза; кроме «надмерных посулов» посланник старался доказать сановникам Порты, какой вред получит Порта, если она не соединит своих интересов с интересами короля прусского, причем превозносил могущество и необыкновенные воинские способности своего короля, но потом, увидя, что эти восхваления ни к чему не служат и что взятие Кольберга нельзя более утаивать, переменил, по выражению Обрезкова, высокомерный язык даже до подлости, стал объявлять Порте, что без действительной и скорой ее помощи его государь непременно будет стеснен множеством неприятелей, вследствие чего принужден будет предаться русскому двору, ожидающему его с отверстыми объятиями, а это не может быть Порте полезно. Увидав, что Порта и от этих представлений его не приходит в жалость и страх, прусский посланник стал домогаться, чтоб по меньшей мере Порта сделала какое-нибудь движение, которое принудило бы петербургский и венские дворы выставить несколько военных сил на южных границах. Видя такие домогательства, Порта решила попытать русского, австрийского и французского послов насчет состояния европейских дел. К Обрезкову явился секретарь рейс-эффенди и после разных разговоров спросил, что он думает о домогательствах прусского посланника и какое, по его мнению, должно быть решение Порты. Обрезков отвечал, что эти домогательства нисколько не удивительны: прусский король, обманувшись в своих замыслах завоевать значительную часть Европы, угрожаемый совершенным разорением, ищет охотников разделить давящую его тяжесть, как обезьяна, видя разгоревшимися брошенные ею в огонь каштаны, ищет кошкиной лапы, чтоб их вытащить; что же касается решения Порты, то его нетрудно угадать, принимая в соображение мудрость великого визиря, который не захочет лишить Турцию покоя и подвергнуть опасностям войны в угодность королю прусскому, другу Порты со вчерашнего дня, тем более что религия запрещает ей вмешиваться в раздоры христианских держав. Секретарь соглашался вполне с Обрезковым, что Порта никогда не заключит союза с прусским королем, но прибавил почти сквозь зубы: «Одно разве Порта может сделать: предложить свои добрые услуги для примирения России с Пруссией». «Это опять хитрости прусского посланника, – отвечал Обрезков, – он хочет другим путем достигнуть той же цели – охлаждения между Россией и Портою, ибо держава, предлагающая свои добрые услуги, обижается, когда их не принимают, а Россия не может принять добрых услуг Порты, не желая оскорбить другие державы, предлагающие подобные услуги и самое посредничество». Чтоб еще более убедить секретаря, Обрезков на прощание подарил ему золотые часы в 72 рубля. Но в Петербурге хотели совсем другого.

28 апреля любимец императора Гудович приехал к канцлеру с устным указом императора предписать Обрезкову внушить Порте, что если она рассудит теперь начать неприятельские действия против австрийского дома, то император в эту войну отнюдь вмешиваться не будет. Этот указ внушен был Петру прусским посланником Гольцем, который 11 мая приехал к канцлеру навеститься, отправлен ли указ к Обрезкову, потому что он, Гольц, уже писал о нем своему государю. Воронцов отвечал, что в коллегии готовится обыкновенная в каждом месяце экспедиция и указ пошлетя при ней; но так как в Петербурге совершенно известно о миролюбии Порты, которая дала соседним державам точные уверения в дружбе, то исполнение упомянутого указа подвержено будет весьма предосудительной огласке без малейшей пользы; итак, не лучше ли бы было с русской стороны внушения Порте не делать до тех пор, как прусский посланник Рексен успеет побудить Порту к войне с Австриею; пусть турецкое министерство само отзовется к русскому резиденту о намерении своем сделать диверсию против Австрии в пользу Пруссии, и в таком случае русский резидент объявит, что его государь в предпринимаемой войне участия иметь не будет. Притом же русский двор имеет с венским особенный вечный трактат против Порты: оба двора обязались взаимно помогать друг другу против турок. Гольц согласился с канцлером, что прежде должен делать представления Рексен, русский резидент должен его подкреплять, а не мешать, и просил Воронцова отправить указ в этом смысле. Воронцов отвечал, что так как это дело великой важности и должно быть содержано в высшем секрете, то надобно остерегаться, чтоб себя не компрометировать. Гольц и с этим согласился и обещал писать от себя к Рексену. Это согласие Гольца на представления канцлера объясняется свидетельством Волкова, что он с другой стороны действовал в пользу принятия предложения Воронцова. Как видно, канцлер и Волков действовали в этом случае не без взаимного согласия. «Император, – говорит Волков, – по домогательству принца Георгия и барона Гольца приказал канцлеру отправить в Константинополь к Обрезкову указ и велеть, чтоб он старался поднять турок против венского двора и объявил бы, что наши с оным обязательства разорваны. Каково коротко было приказание, немного пространнее того сочинен был и указ в коллегию. Но коль скоро принесли ко мне из коллегии протокол для подписания, я не только в коллегию мнение против того письменно послал, но осмелился и самому бывшему императору сделать представление и столько одержал, что не велено уже Обрезкову самому вызываться, но разве турки спросят, будем ли мы венскому двору помогать, то отвечивал бы он собою, что после столь тягостной войны, конечно, не поступим мы на новую».

А между тем Обрезков от 20 мая писал императору: «Принял я вольность вашему импер. величеству с рабским подтверждением всеподданнейше предложить о употреблении старания преклонить его величество короля прусского на отзыв пребывающего здесь посланника его, Рексена, и вовсе уничтожить основанное при Порте министерство его, которое дерзновение принять не что иное побудило меня, как всеподданнейшая рабская моя ревность к службе и искренняя усердность к высочайшим вашим интересам, по предусматриванию, что от продолжения при Порте прусского министерства для оных ваших интересов впредь разные неудобства быть могут, чему уже и неоспоримые доказательства являться начинают». По донесению Обрезкова,

Фридрих II писал Порте, что по причине медленности ее заключением с ним союза он был принужден помириться с Россией; несмотря на то, однако, он имеет истинное, точное и непоколебимое намерение сохранять дружбу с Портою и во всем поступать по ее советам.

Получив указ объяснить с Портою относительно диверсии ее против Австрии, Обрезков писал, что Порта не только не готова к такому предприятию, но и едва ли о том серьезно когда-нибудь думала. При этом Обрезков уведомлял, что 20 мая у министров Порты было рассуждение, заключать ли союз с прусским королем, и решено: заключить союз, но постановить, что его действие не простирается на настоящую войну, а только на будущее время; узнав же о тесном союзе Пруссии с Россией и о посылке с русской стороны на помощь Фридриху II вспомогательного корпуса, Порта отложила заключение союза и на этом условии, приняв выжидательное положение.

Так произошла внезапная, резкая, решительная перемена в политике России. Мы видели, какое впечатление произвела эта перемена в различных государствах Европы, смотря по тому как она относилась к их интересам; теперь взглянем, какое впечатление она произвела внутри России.

После Петра Великого, после сокрушения могущества Швеции, русские люди привыкли считать себя безопасными со стороны Запада, где нечего было бояться ни от слабой Швеции, ни от слабой Польши, где союз с Австриею обеспечивал со стороны Турции, где самым главным врагом России считалась отдаленная Франция, не могшая, однако, враждовать непосредственно, могшая вредить только интригами, подкупами: борьба с Франциею ограничивалась борьбою дипломатическою. Но в конце первой половины XVIII века эта безопасность со стороны Запада исчезла: здесь вдруг выдвинулась на первый план Пруссия, игравшая до тех пор второстепенную роль; знаменитый король ее, искуснейший полководец времени, не разбирал средств для усиления своего государства захватом чужих областей; Швеция, Польша, Турция вошли в круг деятельности Фридриха II, и везде интересы его необходимо сталкивались с русскими. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Война выказала еще более эти силы, выказала вместе с тем необходимость со стороны союзников не уставать в преследовании своей цели, и Россия действовала неутомимо, несмотря на все внутренние и внешние препятствия. Цель великих усилий и жертвований достигалась, Фридрих II доведен был до последней крайности – и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Эта перемена не была торжеством известной стороны, которая держалась совершенно противоположных взглядов и теперь воспользовалась переменою царствующего лица для проведения этих взглядов; не было русских людей, которые сочувствовали Фридриху II и не сознавали необходимости сдержать его в непосредственных интересах отечества. Русские люди, бесспорно, тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго: награда за всю кровь, за все жертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умирении Европы, если бы, признавая по примеру английского министерства необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость

уступок с своей стороны, что ясно видно из его инструкции Гольцу; он готов был уступить России Восточную Пруссию, заявляя желание получить вознаграждение с другой стороны (очень вероятно, что он имел в виду западную, польскую Пруссию, которая дала бы ему возможность удержать титул прусского короля, и понятно опасение, возникшее между поляками, что соглашение между Россией и Пруссией произойдет насчет Польши). Фридрих II хотел стать в то же положение, в какое при конце своего поприща становился Карл XII относительно Петра Великого, уступая России все ее завоевания, с тем чтоб Россия помогла ему получить *эквивалент* в другом месте. Но что имел право сделать Петр I, раздраженный неприязненными поступками своих союзников, на то не имел права Петр III относительно союзников России в Семилетнюю войну. На одно имел он право – в случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо хотя великодушные в политике обыкновенно не приносят плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкою над кровью, пролитою в борьбе, над тяжелыми жертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого; мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным; но, что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным; всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за двадцать лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения – Остерман, Миних, Бирон – были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Прожили двадцать лет в утешительном сознании народной силы, в сознании самостоятельности и величия России, имевшей могущественное, решительное влияние на европейские дела, а теперь до какого позора дожили! Иностранец управляет русскою политикою, чего не бывало со времен татарских баскаков, но и тогда было легче, ибо рабство невольное не так позорно, как добровольное. И хотя бы такую страшно дорогою ценою куплен был мир? Но одна война кончилась для того, чтоб начать другую. Какую, зачем? Затем, что русский государь не мог решиться быть только русским государем.

К чести тогдашних русских людей, стоявших наверху, надобно сказать, что они не могли помириться с новым положением дел, исключая очень немногих ничтожностей, как, например, «голубицу» Фридриха II Андрея Гудовича. Затруднительнее других было положение великого канцлера графа Мих. Лар. Воронцова, потому что при перемене внешней политики на него были обращены глаза всех, его требовали к ответу: зачем не противодействует своими советами, представлениями, зачем соглашается, подписывает свое имя под актами, возбуждающими всеобщее негодование? Воронцов все это чувствовал, ему слышались эти страшные вопросы; но, во-первых, у него не доставало твердости характера и выдающихся способностей для борьбы, затрудняло его и расстройство денежных дел, наконец, болезненное состояние, невозможность постоянно следить за делами, противодействовать чуждым влияниям. Несмотря на то, Воронцов боролся сколько мог. В записке об отношениях России к другим

державам, поданной императору 23 января, Воронцов говорил: «Российский императорский двор принял в войне против короля прусского участие по двум причинам: первая состояла в том, чтоб умножившуюся чрез меру силу сего государя, которая всем соседним дворам становилась страшною, возвратить для будущей безопасности в умеренные пределы и отворить себе в европейские, а особливо имперские, дела путь и ближайшую инфлюенцию, которые по натуральному своему интересу старался король прусский затруднять явным образом, наипаче же не допустить его до новых завоеваний, следственно, при уменьшении сил соседей его и до вящего приращения; а другая (причина) происходила от принятых с венским двором общих обязательств». В заключение записки, упомянув, что едва ли Аугсбургский конгресс может теперь повести к миру, Воронцов продолжает: «Вашему импер. величеству предоставлена от всевышнего провидения слава совершить к общему благополучию сие великое дело. Россия чувствует тягость войны, но меньше других: не претерпела она во внутренних своих провинциях опустошения и не знает, каковы бывают следы неприятельского нашествия. От высочайшей вашего импер. величества воли зависит употребить к поспешествованию мира те способы, кои вы сами избрать изволите; но должности моей дело представить, что нужно весьма объявить союзным дворам о правилах, по каким ваше величество впредь систему империи вашей учредить намерены. Многажды оказывали они все, что искренне желают мира, да нельзя им оно не желать, когда последние истощаются способы к продолжению войны, но желают прочного и удовлетворительного. Не меньше надобен мир Англии и королю прусскому. Первая изнурила себя при всех своих успехах жертвованием ужасных сумм, от которых народный кредит, все богатство ее составляющий, одним ударом невозвратно потрясти может; а король прусский видит большую часть земель своих разоренными почти вконец. Трудность состоит в том, как согласовать множество толь разнствующих интересов; но нужда заставит каждого уменьшать свои требования и довольствоваться чем ни есть малым вместо того, чтоб, гонясь за мечтами, доводить себя до крайности и совершенного изнеможения».

Представления канцлера не могли быть приняты: в них указывалось на необходимость для России принять участие в Семилетней войне для сдержания прусского короля, в них советовалось принять вооруженное посредничество и склонить всех умерить свои требования, тогда как было решено заставить всех отказаться от своих требований и удовлетворить требованиям одного – короля прусского. Для достижения этой цели мешала противная елисаветинская Конференция, начавшая и поддерживавшая с таким постоянством борьбу против Фридриха II; ее члены и теперь не откажутся от своих мнений. 29 января объявлен указ о небытии Конференции и о принятии из нее дел частью в Сенат, частью в Иностранную коллегию. Воронцов счел своею обязанностью представить о рановременности этой меры, облекая это представление в самые льстивые формы: «Достойно и праведно превозносить с благоговением монаршее в. и. в. намерение, прямо великого самодержца достойное, чтоб все дела управлять собственным вашим трудом и руководствоваться вашим просвещением. В сем рассуждении не настоит действительно никакой надобности продолжать Конференцию или учредить другой совет, и я крайне удален что-либо такое вашему величеству представлять, что бы противно было монаршему намерению все дела своим

трудом управлять. Но, почитая главною и существительною всеподданнейшею должностью содействовать сему великодушному о пользе и славе империи вашей попечению, обязанным себя нахожу всеподданнейше представить: 1) что генеральные дела Европы в такую теперь кризу пришли, что систему или совсем новую принять, или же во многом переменить надобно будет. Сию новую систему составить, ни одной пользы не пропустить, а все то предусмотреть, что следствии вредного произвести могут, и все распоряжения согласно тому учредить не может ни Сенат, ни Иностранная коллегия. Паче же 2) когда пойдут дела на переписках между Сенатом и коллегиями, то секрет подвержен во многих руках великой опасности, а дела промедлению, а притом и то легко случиться может, что между разными местами произойдут от неясности разные мнения, от того несогласия, а от несогласия разногласные в. и. в-ству доклады». Из этого канцлер выводил необходимость или продолжить Конференцию, или учредить какой-нибудь тому подобный совет с прежними или другими членами. Воронцов решился даже защитить старую Конференцию: «Я почти наперед уверить смею, что чрез краткое время конференция прилежными трудами и ревнительным исполнением монаршей вашей воли удостоится высочайшей апробации и доверенности, как я и теперь пред в. и. в. по чести и с чистою совестью справедливо засвидетельствовать могу, что управление ее по сию пору делами было всегда руководствовано истинным и усердным о пользе государственной попечением и патриотическою к в. в. верностью, да и не сделано опять здешнему двору ни от кого нареkania, но паче служило к приобретению оному у всех дворов почтения». Это патриотическое заявление о патриотической верности Конференции уничтожило действие фимиама, воскуренного в начале доклада; Конференция не была восстановлена, и совет с самым неопределенным характером был учрежден только 20 мая, а между тем новая система устанавливалась под руководством прусского министра Гольца.

Уже было упомянуто, что расстройство в денежных делах увеличивало печальное положение канцлера. В марте он был принужден подать императору просьбу: «Я теперь более 200000 рублей долгу на себе имею, и не остается мне другого способа, как всенижайше просить в. и. в., дабы из великодушия и особенной ко мне милости высочайше повелеть изволили дом мой со всеми уборами в казну взять с заплатою из Монетной канцелярии или Медного банка 250000 рублей (которые по истинной цене новой монеты сочиняют только 62500 рублей), а ежели неугодно будет дом мой за оную цену взять, то повелеть из Медного банка без процентов выдать мне займы 300000 рублей. Довольно понимаю я, всемилостивейший государь, что в настоящих обстоятельствах казна в. в. великие расходы иметь должна, но когда ныне при счастливом вашем царствовании всемогущий Бог Европе драгоценный мир ниспосылает, следовательно, и все чрезвычайные в государстве издержки прекратятся, а по возвращении армии и расточенные многие миллионы в Россию возвратиться имеют, то и полагаюсь я с совершенною надеждою на сродное в. и. в. милосердие, что сие мое всеподданнейшее прошение милостиво услышать соизволите».

Затруднительные денежные обстоятельства заставляли Воронцова держаться своего места, хотя он чувствовал, что со степени канцлера низшел на степень правителя Канцелярии иностранных дел, заготавливающего бумаги по требованиям, объявленным ему Гольцем или принцем Георгием голштинским. Воронцов видел

себя принужденным подчиниться требованию Петра, чтоб не смел поперечить ему в прусских делах. Но иногда горечь положения становилась нестерпимою, и в одну из таких минут Воронцов писал Петру: «Несчастное состояние чрез продолжение долговременной моей болезни и слабости лишает меня удовольствия видеть часто дражайшие очи в. и. в. и получать монаршие ваши повеления, равно как и по званию чина и должности моей иметь счастье по делам докладывать в. в-ству. Сие несчастное для меня состояние мне крайнюю печаль приносит, что я как по верности и усердной моей ревности, так паче по преданности моей к собственной персоне в. в-ства и к службе вашей не могу надлежаще, как я желаю, должность мою исполнить и принужден чрез пересылку и чрез третьи руки в. в-ству доклады чинить, подвергаясь тем некоторому неприятному истолкованию и гневу, как и в самом деле случилось, якобы в. и. в-ству чрез господина Волкова донесено, что я предприятия ваши против Дании химерическими поставлял, когда я говорил, что рановременным походом нашей армии без заготовления довольных магазейнов в пути в Германии и без готовых в наличности великих сумм денег, без подкрепления сильного флота и без помощи короля прусского или какой-либо другой державы сей поход был бы совсем бесплоден и к невозвратному убытку и бесславию последовал, что и ныне по совести и верности моей к в. в-ству иного сказать не могу. В. и. в. повелели мне поступать согласно с мнением вашим в рассуждении склонности вашей к его в-ству королю прусскому. Мое наиглавнейшее правило было и ныне есть, да и впредь будет – исполнять во всем волю моих самодержцев, в чем я и ни малейше не преступаю. В. и. в. соизволите быть совершенно уверены, что я ни к какой державе ни малейшей предилекции не имел и ныне не имею, а что касается до мирного трактата с е. в. королем прусским, я донныне о содержании его никакого сообщения и сведения не имею и не знаю ни воли, ни намерения вашего, на каких кондициях оный постановлен и заключен быть имеет. Впрочем, я с крайнею горестию слышал отзыв ваш, якобы я к Франции предан был. Сие мне смертельную печаль наносит; ежели в. в. о верности моей к вам и отечеству сомнения иметь изволите, я, конечно, не достоин ни единого часа в звании чина моего остаться; сего ради, припадая к стопам вашим, всенижайше прошу от сего напрасного нареkania и горестной печали меня освободить и буде, по несчастью и паче чаяния моего, какое-либо сомнение, ненадежность или неугодность в продолжение моей службы в. в. иметь изволите, то всенижайше прошу пожаловать меня милостиво уволить и дать мне свободу остальное время страждущей моей жизни в тишине и покое препроводить, нелишая меня, но паче обнадежа монаршею в. в. протекциею, которую я при сохранении репутации моей внутри и вне отечества почту себе за верх благополучия моего, предпочитая всякому видимому награждению и многим сокровищам. Я не могу и не умею лицемерить и льстить, а хочу и стараюсь в. в-ству служить с честью и славою, равно как с доброю верою и правдою, и в сих сентиментах до конца жизни моей пребуду, и, ежели иногда завидующие мне и недоброжелательные какие-либо внушения против меня в. в-ству учинили, всенижайше прошу для оправдания моего мне немедленно дать знать. Что же касается до данного мне вчера повеления говорить английскому министру Кейту о присылке нынешним летом в диспозицию вашу английского флота, я при первом свидании с г. Кейтом говорить буду; токмо в. в. с английским двором союзного трактата не имеете, и что Англия, будучи ныне в двойной войне против Франции и

Гишпани, не в состоянии да и без взаимных себе от вас авантажей не похочет прислать некоторое число кораблей, к тому же, сколько мне известно, Англия уже декларовала, что в имеющихся распрях между в. и. в-ством и королем датским участия принимать не будет, то сие требование может подвержено быть неприятному отказу, а о сем деле испрашиваю я дальнейшего повеления».

Подле великого канцлера видим и вице-канцлера князя Александра Мих. Голицына, перемещенного в последнее время елисаветинского царствования из Лондона; но если и канцлер не знал о важнейших делах внешней политики, то тем менее знал об них вице-канцлер. В последнее время елисаветинского царствования канцлеру помогал Ив. Ив. Шувалов, которого мы видим и участвующим в конференциях с иностранными послами. Но при Петре III Шувалов должен был потерять всякое влияние по противоположности тех начал в политике, которые он проводил *в свое время*, с началами, господствовавшими теперь. Ему предоставлена была скромная в то время деятельность в заведовании учебными заведениями; и тут он должен был обращаться к Волкову за советом, как ему лучше сделать императору необходимые по устройству вверенных ему учреждений представления, причем должен был выставлять важное значение этих учреждений. «Вы лучше меня знаете, – писал он Волкову, – что счастье государства состоит в том, когда все части, его образующие, направляются стройно и определенно. Я поручаю вашей благосклонности две из таковых частей, которые в образованный век составляют славу и честь народов, – именно науки и искусства. В моем заведовании находится университет и Академия (художеств), и мне нужны правила, мне нужны инструкции».

Ив. Ив. Шувалов признал необходимым для себя, для своей славы быть бескорыстным и не искать почестей; в одном из своих писем он говорит, что отказался от звания вице-канцлера и от земель, которые предлагал ему Петр III, приводит в свидетели Гудовича, как он, Шувалов, на коленях умолял императора избавить его от всех знаков милости. Но он не мог быть доволен, потерявши всякое влияние, на которое считал себя вправе по своим нравственным средствам; он не мог быть доволен, когда система, которой он так ревностно служил, была ниспровергнута, когда все пошло таким образом, что беда грозила России внутри и унижения извне. Шувалов высказал свое неудовольствие; тогда с ним перестали обращаться с прежнею благосклонностью, и Шувалов счел нужным держать себя в отдалении от двора и от особы императора. Пруссаки Гольц и Шверин произвели Шувалова в главы заговора. «Первый и самый опасный человек здесь, – писал Шверин Фридриху II, – это Ив. Ив. Шувалов, фаворит покойной императрицы. Этот человек, живущий интригами, хотя внутренне и ненавидим императором, однако так хорошо умел уладить свои дела посредством друга своего генерала Мельгунова, любимца императора, что государь поручил ему Кадетский корпус и главный надзор за дворцом – должности, которые делают пребывание его в столице необходимым, тогда как это самый вредный и опасный человек! Этот господин не умеет притворяться и скрывать недостойные и позорные замыслы, питаемые им в сердце. Бешенство и негодование написаны на его лице, и я готов прозакладывать что угодно, что у него страшные планы в голове. Второй из этих вредных людей есть генерал Мельгунов, он, пожалуй, был бы еще опаснее первого, если бы был так же умен. Император совершенно ему доверился, а между тем этот человек вместе с господином Иваном Ивановичем и

еще одним, Волковым, – самые главные его враги и ждут только первого удобного случая, чтоб лишить его престола. Я пространно говорил об этом с императором и даже назвал имена опасных лиц, но его величество отвечал, что знает о неблагонамеренности этих людей, но он дал им столько занятий, что у них нет досуга думать о заговорах и потому он безопасен с этой стороны. Очень прискорбно, что этот государь так поблажает этим господам, которые живут одною мыслию, как бы его погубить, а чрез удаление этих негодяев он мог бы сидеть на престоле совершенно покойно. Но, как нарочно, он готов дать им самый благоприятный случай, которым они, конечно, как можно скорее воспользуются: император решился принять лично начальство над войском, назначенным против датчан».

Итак, Ив. Ив. Шувалов – глава заговора, по уверению Гольца и Шверина, он ждет только удаления Петра из России, чтоб свергнуть его: ясно, что если Петр непременно хочет уехать, то нельзя оставлять без него Шувалова в Петербурге. Петр сам говорит Шувалову: «Прусский король мне пишет, что ни один из подозрительных мне людей не должен оставаться в Петербурге в мое отсутствие». Шувалов мог подумать, что это к нему вовсе не относится, но вслед за тем Петр чрез Мельгунова велел сказать Шувалову, чтоб он следовал за ним в армию в качестве волонтера.

Ив. Ив. Шувалов не мог быть главою заговора, потому что не был способен к этому по своей природе; но важно то, что Гольц и Шверин говорят о его сильном неудовольствии, которого он не мог скрыть, говорят о бешенстве и негодовании, написанном на его лице. Но еще важнее то, что Гольц и Шверин считают заговорщиками и Мельгунова с Волковым и этим вполне подтверждают показания Волкова относительно ненависти к нему пруссаков и принца Георгия. «Принц Георгий, – говорит Волков, – озлобился на меня столько ж, как Гольц, буде не больше, будучи наущаем и с другой стороны Хорватами и Глебовыми, и до того дошел, что 9 июня, будучи пьян, следовательно, откровенен и искренен, обвинил меня ненавистью к немцам, угрожая доказать мне, как дважды два четыре, что я тот человек, который составил проект выгнать из России всех немцев, и сему странному происшествию, а моей на весь день горести был весь двор свидетель».

Пруссаки ничего не говорят о Глебове, вероятно потому, что он не имел влияния на иностранные дела. Два главных дельца – Волков и Глебов – были в ссоре и старались вредить друг другу. Смотря по тому, что Глебов при перемене правительства остался в прежнем значении, нельзя думать, чтоб его считали очень довольным при Петре; да и трудно было кому-нибудь быть довольным при анархии, когда не было никакой силы, на которую можно было бы опереться, когда, захвативши удобную минуту, можно было провести какое-нибудь дело, но это дело разделялось другим в следующую минуту. Таким образом, люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидели, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России.

К неудовольствию отдельных лиц присоединялось неудовольствие могущественных сословий – духовенства, войска. Резкое, крутое решение вопроса о церковных имуществвах возбудило сильное негодование духовенства. Гольц

доносил своему государю 25 мая: «Духовенство подало императору представление на русском и латинском языках, где жалуется на насилия и странные поступки с собою вследствие указа об отобрании церковных имуществ; таких поступков духовенство не могло ожидать и от варварского правительства, а теперь принуждено терпеть их от правительства православного, и это тем горестнее, что духовные люди терпят насилие потому только, что они суть служители Божии. Эта бумага, подписанная архиепископами и многими из духовенства, составлена в чрезвычайно сильном тоне, это не просьба, а скорее протест против государя. Донесения, полученные вчера и третьего дня от воевод отдаленных областей, говорят о старании духовенства подустить народ против монарха. В донесениях говорится, что дух мятежа и неудовольствия стал до того всеобщим, что они, воеводы, не знают, какие меры предпринять, а потому требуют наставлений от правительства». Мы знаем, что крестьянские восстания были сильные и не в одних отдаленных областях, но знаем также, что причины их были другие, и потому можем не принимать второй половины Гольцева известия, но первую не принять трудно. Когда Петр был великим князем, то выражал свое нерасположение к русскому духовенству ребяческим образом – высовыванием языка священникам и дьяконам во время богослужения. Но теперь дело пошло серьезнее. 26 марта был дан императором такой указ Синоду: «Уже с давнего времени к нашему неудовольствию, а к общему соблазну примечено, что приходящие в Синод на своих властей или епархиальных архиереев челобитчики по долговременной сперва здесь волоките наконец обыкновенно без всякого решения к тем же архиереям отсылаются на рассмотрение, на которых была жалоба, и потому в Синоде или не исполняется существительная оного должность, или же, и того хуже, делается одна только потачка епархиальным начальникам, так что в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных. Приложенные при сем челобитные Черниговской епархии священника Бордяковского и диакона Шаршановского суть новое и неоспоримое тому доказательство, ибо, несмотря на данные Синоду еще с 1754 года именные указы о решении их дела, не исполнены потому и донныне, а только отсылаются они на рассмотрение в ту же епархию. Мы видим, какие тому причины могут быть поводом, но оные соблазнительнее еще самого дела. Кажется, что равный равному себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение. Сего ради повелеваем Синоду чрез сие стараться крайним наблюдением правосудия соблазны истребить и не только по сим двум челобитным немедленное решение здесь сделать, но и всегда по подобным здесь же решить, нашим императорским словом чрез сие объявляя, что малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление, а сей указ не токмо для всенародного известия напечатать, но в Синоде к настольным указам присокупить». Для наблюдения, чтоб не было неправильностей в ходе дел, в Синоде был обер-прокурор; обер-прокурору нужно было сделать строгое внушение, сменить его, если он не исполнял своих обязанностей, или поддерживать его в борьбе с членами коллегии, когда он ратовал против «нарушения истины», в оскорбительных же указах не было никакой нужды.

Черное духовенство было раздражено внезапным отнятием монастырских вотчин, белое – повелением брать в военную службу священнических и

дьяконских сыновей; а тут раздраженным дается средство передавать свое раздражение и другим. Упомянув о некоторых постановлениях нового царствования, возбудивших удовольствие, русский современник говорит: «Но последовавшие затем другие распоряжения императора возбудили сильный ропот и негодование в подданных, и более всего то, что он вознамерился было переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение. Он призвал первенствующего архиерея (новгородского) Димитрия Сеченова и приказал ему, чтоб в церквях оставлены были только иконы Спасителя и Богородицы, а других бы не было, также чтоб священники обрили бороды и носили платье, как иностранные пасторы. Нельзя изобразить, как изумился этому приказанию архиепископ Димитрий. Этот благоразумный старец не знал, как и приступить к исполнению такого неожиданного повеления, и усматривал ясно, что государь имел намерение переменить православие на лютеранство. Он принужден был объявить волю государеву знатнейшему духовенству, и хотя дело на этом до времени остановилось, однако произвело во всем духовенстве сильное неудовольствие, содействовавшее потом очень много перевороту». Домовые церкви были запечатаны. Писатель иностранный, сочувствующий Петру, выставляет все неблагоприятные распоряжения относительно выноса икон из церкви, прибавляя, что Димитрий Сеченов за протест против этой меры был удален, но скоро опять возвращен из страха пред народным неудовольствием.

К неудовольствию духовенства присоединилось неудовольствие войска. Одним из первых дел нового царствования было распушение елисаветинской лейб-кампании. Уничтожение этой «гвардии в гвардии», разумеется, могло возбудить только удовольствие, если бы на месте старой русской лейб-кампании не увидели тотчас же новой, только иностранного происхождения, голштинской гвардии, пользовавшейся явным предпочтением императора, что и возбуждало сильнейшее неудовольствие в русской гвардии. Первенствующее значение в войске получил иностранный принц Георг голштинский, не имевший никаких заслуг и постаравшийся тотчас же своим характером и поступками возбудить против себя ненависть. Сам Гольц должен был потом сознаться пред Фридрихом II, что принц Георгий много содействовал возбуждению сильной ненависти против немцев и ускорил падение своего государя. Опять, как во времена Бирона, стали говорить, что гвардии придет скоро конец, что ее распределят по армейским полкам; Петр, будучи еще великим князем, часто говаривал, что гвардейцы, живя в своих казармах с семействами, точно держат резиденцию в осаде и будут опасны правительству; Петр называл гвардейцев янычарами. При таких основных причинах неудовольствия все не нравилось, все возбуждало ропот: роптали на перемену формы, на частое и долгое ученье по новому, прусскому образцу. Русский современник-очевидец так говорит о неудовольствии в войске и его причинах: «Негодование во многих произвел и число недовольных собою увеличил он, Петр, и тем, что с самого того часа, как скончалась императрица, не стал уже он более скрывать той непомерной приверженности и любви, какую имел всегда к королю прусскому. Он носил портрет его на себе в перстне беспрерывно, и другой, большой, повешен был у него подле кровати. Он приказал тотчас сделать себе мундир таким покроем, как у пруссаков, и не только стал сам всегда носить оный, но восхотел и всю гвардию свою одеть таким же образом; а сверх того, носил всегда на себе и орден прусского короля, давая ему

преимущество пред всеми российскими. А всем тем не удовольствуясь, восхотел переменить и мундиры во всех полках и вместо прежних одноцветных зеленых поделал разноцветные, узкие и таким покроем, каким шьются у пруссаков оные. Наконец, и самым полкам не велел более называться по-прежнему по именам городов, а именоваться уже по фамилиям своих полковников и шефов; а сверх того, введя уже во всем наистрожайшую военную дисциплину, принуждал их ежедневно экзерцироваться, несмотря, какая бы погода ни была, и всем тем не только отяготил до чрезвычайности все войска, но и, огорчив всех, навлек на себя, и особливо от гвардии, превеликое неудовольствие».

Вельможи, старики, имевшие почетное место в гвардии, должны были подчиниться новым порядкам, если не хотели навлечь на себя неудовольствия и насмешек императора. Известный Болотов, приехавший в это время в Петербург, так описывает впечатление, произведенное на него проходившим отрядом гвардии: «Шел тут строем деташемент гвардии, разряженный, распудренный и одетый в новые тогдашние мундиры, и маршировал церемонию. Но ничто меня так не поразило, как идущий пред первым взводом низенький и толстенький старичок с своим эспантоном и в мундире, унизанном золотыми нашивками, со звездой на груди и голубою лентою под кафтаном и едва приметною. „Это что за человек?“ – спросил я. „Как! разве вы не узнали? Это князь Никита Юрьевич Трубецкой!“ – „Как же это? Я считал его дряхлым и так болезнью ног отягощенным стариком, что, как говорили, он затем и во дворец, и в Сенат по нескольку недель не ездил, да и дома до него не было почти никому доступа?“ „О! – отвечали мне. – Это было вовремя оно; а ныне, рече Господь, времена переменялись, ныне у нас больные, и небольшие, и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошононько топчут и месят грязь, как солдаты“». Старший Разумовский, Алексей Григорьевич, избавился от подобного положения увольнением от всех должностей, но младший, гетман Кирилл, должен был держать у себя на дому молодого офицера, который давал ему уроки в новой прусской экзерциции, и все же не спасался от выговоров и насмешек Петра III, и говорили, что император находил особенное удовольствие смеяться над Разумовским, не способным по природе к военным упражнениям.

Много веселых минут доставляли императору также придворные дамы, которых он заставил переменить старый русский поклон на французское приседание; многие дамы, особенно старухи, никак не умели приловчиться к приседанию, и комическое положение их при этом доставляло Петру величайшее удовольствие: он наблюдал за ними и потом передразнивал. «Я была очень смешлива, – рассказывала потом одна знатная дама-современница, – государь, бывало, нарочно смешил меня разными гримасами. Он не похож был на государя».

Сильное неудовольствие распространялось в Петербурге; но и в местах отдаленных не могли не заметить, что в правительственной машине какое-то расстройство. В начале царствования государь велел перевести Мануфактур-коллегию из Москвы в Петербург; но потом опять указ: «Хотя и повелели е. и. в. Мануфактур-коллегию из Москвы взять сюда, а там контору оставить, но как все фабрики или в Москве, или поблизости от оной и здесь так мало, что и ни в какое против того сравнение поставить нельзя, следовательно, Мануфактур-коллегия, будучи здесь, имела бы, так сказать, заочное за своею

должностью смотрение, то повелеваем коллегии паки немедленно к Москве возвратить; а здесь по-прежнему контору оставить». 9 января именным указом уничтожены полицеймейстеры в городах, полиция поручена губернским провинциальным и воеводским канцеляриям, а 22 марта именным же указом полицеймейстеры восстановлены.

И в местах отдаленных видели расстройство в правительственной машине; в Петербурге видели, отчего происходит это расстройство. Вследствие детской слабости характера Петр быстро перенимал все у людей, среди которых обращался, к которым привязывался. Пристрастившись к голштинским офицерам, заключившись в их обществе, Петр перенял казарменные привычки и грубый кутеж сделал своим любимым препровождением времени. При императрице Елисавете о табаке не было слышно во дворце, потому что она терпеть его не могла, и сам Петр сначала не мог его терпеть; но как скоро увидел, что голштинцы, которых он считал образцовыми людьми, героями, курят, то и начал курить. Когда прежний наставник его Штелин изумился, увидав его в первый раз с трубкою за пивом, то Петр сказал ему: «Чему ты удивляешься, глупая голова! Разве ты видал хотя одного настоящего бравого офицера, который бы не курил?» За пивом последовало и вино. «Всеобщие негодования, – по словам современника-очевидца Болотова, – увеличились еще более, когда стали рассеиваться повсюду слухи и достигать до самого подлого народа, что государь не успел вступить на престол, как предался публично всем своим невоздержностям и совсем неприличным такому великому монарху делам, и что он не только с графиней Воронцовою, как с публичною своею любовницею, препровождал почти все свое время, но, сверх того, в самое еще то время, когда скончавшаяся императрица лежала в дворце еще во гробе, целые ночи провождал с любимцами, льстецами и прежними друзьями своими в пиршествах и питье, приглашая иногда к тому таких людей, которые нимало не достойны были сообщества и дружеского собеседования с императором, как, например, италийских театральных певиц и актрис вкупе с их толмачами; а что всего хуже, разговаривая на пиршествах таковых въявь обо всех и обо всем и даже о самых величайших тайнствах и делах государственных... Голос у него был очень громкий, скоросый и неприятный, и было в нем нечто особое и такое, что отличало его так много от всех прочих голосов, что можно было его не только слышать издалека, но и отличать от всех прочих. Болотов был адъютантом главного начальника полиции генерала Корфа (Николая), ездил с ним во дворец и наблюдал издали, что там происходило за обедами и ужинами. „Мы, – говорит он, – могли всегда в растворенные двери слышать, что государь ни говорил с другими, а иногда и самого его и все деяния видеть. Но сие было для нас удовольствием только сначала, а впоследствии времени скоро дошло до того, что мы желали уже, чтобы таковые разговоры до нашего слуха и не достигали; ибо как редко стали уже мы заставить государя трезвым и в полном уме и разуме, а всего чаще уже до обеда несколько бутылок аглинского пива, до которого он был превеликий охотник, уже опорожнившим, то сие и бывало причиною, что он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровью от стыда пред иностранными министрами, видящими и слышащими то и, бесспорно, смеющимися внутренно. Истинно, бывало, вся душа так поражается всем тем, что бежал бы неоглядкою от зрелища такового: так

больно было все то видеть и слышать. Но никогда так много не поражаюсь я досадными зрелищами таковыми, как в то время, когда случалось государю ездить обедать к кому-нибудь из любимцев и вельможей своих и куда должны были последовать все те, к которым оказывал он отменное свое благоволение, как, например, и генерал мой, и многие другие, а за ними и все их адъютанты и ординарцы. Табун, бывало, целый поскачет вслед за поехавшими, и хозяин успевай только всех угаживать и потчевать. Одни только трубки и табак приваживали мы с собою из дворца свои. Ибо как государь был охотник до курения табака и любил, чтоб и другие курили, а все тому натурально в угодность государю и подражать старались, то и приказывал государь всюду, куда ни поедет, возить с собою целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов с кнастером и другими табаками, и не успеет куда приехать, как и закурятся у нас несколько десятков трубок и в один миг вся комната наполнится густейшим дымом, а государю то было и любо, и он, ходючи по комнате, только что шутил, хвалил и хохотал. Но сие куда бы уже ни шло, если б не было ничего дальнейшего и для всех россиян постыднейшего. Но то-то и была беда наша! Не успеют, бывало, сесть за стол, как и загремят рюмки и покалы, и столь прилежно, что, вставши из-за стола, сделаются иногда все, как маленькие ребяточки, и начнут шуметь, кричать, хохотать, говорить нескладницы и несообразности сущие. А однажды, как теперь вижу, дошли до того, что, вышедши с балкона прямо в сад, ну играть все тут, на усыпанной песком площадке, как играют маленькие ребятки; ну все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей. А по сему судите, каково ж нам было тогда смотреть на зрелище сие из окон и видеть сим образом всех первейших в государстве людей, украшенных орденами и звездами, вдруг спрыгивающих, толкущихся и друг друга наземь валяющих? Хохот, крики, шум, биение в ладоши раздавались только всюду, а покалы только что гремели“.

У русских людей сердце обливалось кровью от стыда пред иностранными министрами. Эти иностранные министры в донесениях своим дворам оставили единогласные свидетельства о неприличии пирушек Петра III, возбуждавших сильное неудовольствие в народе. Об этом неудовольствии приведем слова того же очевидца: «Ропот на государя и негодование ко всем деяниям и поступкам его, которые, чем далее, тем становились хуже, не только во всех знатных с часу на час увеличивалось, но начинало делаться уже почти и всенародным, и все, будучи крайне недовольным заключенным с пруссаками перемирием и жалея о ожидаемом потере пруссии, также крайне негодуя на беспредельную приверженность государя к королю прусскому, на ненависть и презрение его к закону, на крайнюю холодность, оказываемую к государыне, его супруге, на слепую его любовь к Воронцовой иначе всего на оказываемое потому более презрение ко всем русским и даваемое преимущество пред ними всем иностранцам, а особливо голштинцам, отважились публично и без всякого опасения говорить, и судить, и рядить все дела и поступки государевы. Всем нам тяжелый народный ропот и всеобщее час от часу увеличивающееся неудовольствие на государя было известно, и как со всяким днем доходили до нас о том неприятные слухи, а особливо когда известно сделалось нам, что скоро с прусским королем заключится мир и что приготовлялся уже для торжества мира огромный и великолепный фейерверк, то нередко, сошедшись на досуге, все

вместе говаривали и рассуждали мы о всех тогдашних обстоятельствах и начали опасаться, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, и особливо от огорченной до крайности гвардии».

Мы видели, что посланцы Фридриха II Гольц и Шверин скоро заметили сильное неудовольствие и дали знать о нем своему государю, выставляя самыми опасными для Петра людьми Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова. Они были уверены и уверяли короля, что эти люди воспользуются отъездом Петра к армии по поводу датской войны и произведут восстание. Поэтому они стали уговаривать императора не ездить, уверяя, что его присутствие в России необходимо для блага империи; но Петр отвечал, что он изумляется их словам, которые доказывают ему только одно, что они его не любят. Тогда они обратились к Фридриху II, и Шверин писал королю 8 апреля: «Никто в мире, кроме в. в., не может отвратить императора от этого опасного путешествия. Письмо от в. в., в котором вы посоветуете ему остаться в России, заставит его переменить намерение. Он наверное последует вашему совету, потому что питает к в. в. совершенное доверие».

Гольц 2 мая писал королю о том же, выставляя необходимость для Петра прежде похода короноваться. Но 4 мая (н. ст.) Фридрих уже писал Петру: «Признаюсь, мне бы очень хотелось, чтоб в. в. уже короновались, потому что эта церемония производит сильное впечатление на народ, привыкший видеть коронование своих государей. Я вам скажу откровенно, что не доверяю русским. Всякий другой народ благословлял бы небо, имея государя с такими выдающимися и удивительными качествами, какие у в. в. (*eminentes et admirables qualites*); но эти русские, чувствуют ли они свое счастье, и проклятая продажность какого-нибудь одного ничтожного человека разве не может побудить его к составлению заговора или к поднятию восстания в пользу этих принцев Брауншвейгских? Припомните, в. и. в., что случилось в первое отсутствие императора Петра I, как его родная сестра составила против него заговор! Предположите, что какой-нибудь негодяй с беспокойной головой начнет в ваше отсутствие интриговать для возведения на престол этого Ивана, составит заговор с помощью иностранных денег, чтоб вывести Ивана из темницы, подговорить войско и других негодяев, которые и присоединятся к нему; не должны ли вы будете тогда покинуть войну против датчан, хотя бы все шло с отличным успехом, и поспешно возвратиться, чтоб тушить пожар собственного дома? Эта мысль привела меня в трепет, когда пришла мне в голову, и совесть мучила бы меня всю жизнь, если б я не сообщил эту мысль в. и. в. Я здесь, в глубине Германии, я вовсе не знаю вашего двора, ни тех, к которым в. в. может иметь полную доверенность, ни тех, кого можете подозревать; поэтому вашему великому разуму принадлежит различить, кто предан и кто нет; я думаю одно, что если в. в. угодно принять начальство над армиею, то безопасность требует, чтоб вы прежде короновались, и потом, чтоб вы вывели в своей свите за границу всех подозрительных людей. Таким образом, в. в., будете обеспечены; для большей безопасности надобно заставить также всех иностранных министров следовать за вами, этим вы уничтожите в России все семена возмущения и интриги, а чтоб все эти господа не были вам в тягость, вы можете всегда их отправить в Росток, или Висмар, или в какое-нибудь другое место позади армии, чтоб они не могли передавать датчанам ваших планов. Я не сомневаюсь также, что вы оставите в России верных

надсмотрщиков, на которых можете положиться, голштинцев или ливонцев, которые зорко будут за всем наблюдать и предупреждать малейшее движение».

Что же отвечал Петр? «В. в. пишете, что, по вашему мнению, я должен короноваться прежде выступления в поход именно по отношению к народу. Ноя должен вам сказать, что так как война почти начата, то я не вижу возможности прежде короноваться точно так же по отношению к народу; коронация должна быть великолепна, по обычаю, и я не могу сделать великолепной коронации, не имея возможности ничего вскорости здесь найти. Что касается Ивана, то я держу его под крепкую стражею, и если бы русские хотели сделать мне зло, то могли бы уже давно его сделать, видя, что я не принимаю никаких предосторожностей, предавая себя в защиту господ Бога, ходя пешком по улицам, что Гольц может засвидетельствовать. Могу вас уверить, что когда умеешь обходиться с ними, то можно быть покойным на их счет. В. в.! что подумают обо мне эти самые русские, видя, что я сижу дома в то самое время, когда идет война в моей родной земле? Русские, которые всегда желали одного – быть под властью государя, а не женщины; двадцать раз я сам слышал от солдат моего полка: „Дай Бог, чтоб вы скорее были нашим государем, чтоб не быть нам больше под властью женщины“. Но что всего важнее: я никогда не прощу себе этой подлой трусости, я умру с тоски от мысли, что я, будучи первым принцем моего дома, остался в бездействии, когда велась война для возвращения того, что было несправедливо отнято у его предков, и в. в. много потеряли бы из своего уважения ко мне, если бы я это сделал».

Таким образом, отъезд к армии был решен, несмотря даже на отсоветования Фридриха II. Последний главнокомандующий армиею граф Бутурлин был отозван в Петербург еще при жизни Елисаветы. Он ехал оправдываться пред государынею, которая хотя и была согласна с Конференциею насчет ошибок его, но все же он мог рассчитывать на милостивый прием, как видно из письма его к Ив. Ив. Шувалову: «Я в моей горести единое утешение имею, когда от в. п-ства милостивое письмо удостоюсь получить, как и сегодня от 17 сентября принял с моим вечным благодарением, а наипаче к сердечному моему обрадованию, что я еще в числе верных рабов у е. и. в. нахожусь и что по милости Конференции давно бы меня на свете не было. Сперва не только величали меня и ублажали паче мер моих, а ныне живого во гроб вселяют и поют: Святый Боже! Моего промедления нигде и никогда промедление не было напрасное. Вступитесь за верного раба е. в.; еще ныне получил, к обиде моей, чтобы и Ангюринова отдал графу Румянцеву, кой у меня один и есть и все секретные дела на него положены, а я остался один писарем и копиистом. Я не чаял бы такой жестокой обиды от его высокородия Волкова». Бутурлин не застал в живых Елисаветы; он на дороге получил рескрипт нового императора, в котором обнадеживался в непременной милости и благоволении. Граф Фермор 19 февраля был вовсе уволен от службы. Главное начальство над заграничною армиею поручено было графу Петру Семен. Солтыкову. Но уже при Елизавете по распоряжениям относительно Бутурлина было ясно видно, что старые главнокомандующие не будут более действовать, ибо Семилетняя (для России пятилетняя) война выказала молодые способности. Между ними первое место принадлежало покорителю Кольберга графу Петру Александр. Румянцеву. Понятно, что и Петр, замыслив датскую войну, последовал общему указанию и поручил ему кампанию. Февраль месяц Румянцев пробыл в

Петербурге, вызванный туда императором, и в начале марта, заручившись дружбою первого дельца по всем частям Волкова, отправился к своему корпусу в Померанию для приготовлений к походу. 21 мая отправлены были ему наставления считать войну с Данией не только неизбежною, но и действительно объявленною и потому спешить утвердиться в Мекленбурге, прежде чем датчане туда войдут. Наставление было отправлено с большою тайною, но один приятель показал копию с него Гольцу, и тот остался очень недоволен, потому что пруссаки надеялись, что дело уладится или оттянется Берлинским конгрессом. «Излишне указывать в. в-ству, – писал Гольц королю, – на коварство составителя этого указа относительно конгресса и непоследовательность, которая обнаруживается в каждом слове; приказание устроить магазины в Ростоке и Висмаре и особенно ввести армию в Мекленбург в высшей степени странно, по моему мнению. Не надобно приписывать этого е. и. в-ству, потому что решение состоялось иначе в совете; виноват г. Волков, который осмелился дать ему такую окончательную форму. Император утаил от меня это приказание. В. в-ство усмотрите, как это мне неприятно, что при всех милостях и доверии императора ко мне противная партия может заставить его скрыть от меня самые важные дела, которые в. в-ство должны знать прежде всякого другого». Между тем принц Георг голштинский настоятельно убеждал Гольца упросить Фридриха II, чтоб тот уговорил Петра не ездить к армии. «Вам хорошо известно, – сказал ему на это Гольц, – как е. и. в-ство отвечал королю на подобные советы: он отвечал, что лучше его знает внутреннее состояние своей страны, что уверен в преданности своих подданных и что его слава требует отъезда к армии. После такого ответа я, конечно, уже не решусь просить короля, моего государя, повторить те же самые свои советы императору. Зачем так поспешили обнародовать об отъезде императора, зачем дали знать министрам иностранным, чтоб они следовали за ним? Теперь я уже не вижу, как может император остаться без потери своего достоинства после всех этих разглашений: в Европе увидят, что причиною такой перемены намерения было опасение каких-нибудь волнений в стране вследствие отсутствия государя». Принц продолжал толковать о дурном состоянии войска, назначаемого в поход, о недостатке денег и съестных припасов. «Два месяца, – отвечал Гольц, – я толкую с вами и с самим императором, что надобно принять меры против этого, если уже война казалась ему неизбежною, что нечего грозиться задавить датчан, если еще нет уверенности, что все готово; мне постоянно отвечали, что все приготовления сделаны, тогда как я хорошо знал, что нет. Видя, наконец, что мои представления ни к чему не служат и могут только навлечь на меня гнев е. и. в-ства, я замолчал; теперь, зная дурное состояние дел, надобно обречь себя на неудачную войну, которой можно было избежать переговорами».

До получения инструкции 21 мая Румянцев находился в сильном беспокойстве: его мучила мысль, что войны не будет, что ему не удастся отличиться блестящим походом. Получив инструкцию, он писал Волкову из Кольберга 8 июня: «Правда, что мое смущение немало было и на время большое, что я от вас, моего вселюбезного друга, не получал никакого ответа. Я уже отчаял вовсе быть для меня делу каковому-либо; ныне же, получа всеприятнейшее ваше письмо со обнадеживанием вашей дружеской милости продолжения и с подтверждением мне наибесценнейшей милости и благоволения, я столь больше обрадован: вы знаете, что всякий ремесленник работе рад. Дай Боже только, чтоб

все обстоятельства соответствовали моему желанию и усердию, то не сомневаюсь, что я всевысочайшую волю моего великого государя исполню. В полковники и штабс-офицеры я доклад подал. Правда, что умедлил маленько, да и разбор мой велик был, я все притом соблюл, что мне только можно было для пользы службы, я тех, кои не из дворян и не офицерских детей, вовсе не произвел: случай казался мне наиспособнейший очиститься от проказы, чрез подлые поступки вся честь и почтение к чину офицерскому истребились».

Но вслед за этим письмом, выражавшим радость ремесленника, добывшего себе работу, Румянцев принужден был посылать совсем другие донесения императору; он писал, что недостаток съестных припасов приводит его в крайнее отчаяние, а, с другой стороны, пруссаки вместо помощи затрудняют его своими требованиями возвращения померанских мест. Но последние донесения Румянцева уже не застали Петра на престоле.

В июне месяце «время было шаткое и самое критическое: опасались, чтоб не сделалось вскоре бунта и возмущения, а особливо от огорченной до крайности гвардии». Но в чье же имя могло произойти восстание? Фридрих II указывал соперника Петру в человеке, который прежде Петра носил титул императора всероссийского и который теперь томился в Шлюссельбургской крепости. Петр отвечал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею. Через неделю после своего восшествия на престол, 1 января, Петр, командуя на смену известного нам Овцына капитана гвардии князя Чурмантеева «для караула некоторого важного арестанта в Шлюссельбургской крепости», дал ему указ: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не отдавать». В инструкции Чурмантееву, подписанной граф. Александром Шуваловым, говорилось: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности или же что станет говорить непристойное, то сажать тогда на цепь, доколе он усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью». Вслед за тем от 11 января Чурмантеев получил секретнейший указ: «Без нашего указа того арестанта никуда не перевозить и никому не отдавать, а когда соизволение наше будет в какое другое место арестанта перевести, тогда прислан будет наш генерал-адъютант князь Голицын или генерал же адъютант барон фон Унгерн с именным указом за подписанием собственной нашей руки, а кроме оных, хотя б кто и с именным указом за подписанием собственной руки нашей приехал и стал требовать арестанта, тому не верить и, задержав под караулом, писать для донесения нам к нашему генерал-фельдмаршалу графу Шувалову». Того же числа отправлен был секретнейший указ шлюссельбургскому коменданту Бередникову, чтоб допустил Голицына или Унгерна, и если прикажут Чурмантееву с арестантом и его командою из крепости выехать, то не воспрещать.

Приведенное предписание прямо указывает на желание императора взять на некоторое время Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и подтверждает известие, что узник действительно был привезен в Петербург, где Петр его видел. Это свидание должно было происходить 22 марта, потому что в этот день Чурмантеев получил указ: «К колоднику имеете тотчас допустить нашего генерал-адъютанта барона Унгерна и с ним капитана Овцына, а потом и всех тех, которых барон Унгерн пропустить прикажет». Между «всеми теми» должен был находиться и сам император. 24 марта другой указ Чурмантееву: «Арестант после учиненного

ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо новые мысли и потому новые вранья делать станет. Сего ради повелеваю вам примечание ваше и находящегося с вами офицера Власьева за всеми словами арестанта умножить, и, что услышите или нового приметите, о том со всеми обстоятельствами и немедленно ко мне донесите. Петр. PS. Рапорты ваши имеете отправлять прямо на мое имя».

1 апреля Унгерн опять был допущен к Ивану. 3 апреля заведование делами шлюссельбургского арестанта было взято от гр. Александра Шувалова и поручено Нарышкину, Мельгунову и Волкову вследствие общего распоряжения, по которому все дела, ведавшиеся прежде в Тайной канцелярии, переходили к упомянутым трем лицам. Вместе с тем к узнику были приставлены новые офицеры: премьер-майор Жихарев и капитаны Уваров и Батюшков.

Петр писал Фридриху, что держит Ивана под крепкою стражею и потому нечего опасаться; он мог убедиться теперь, что несчастный Иван не может быть опасным соперником и по состоянию своих умственных способностей. То, что прежде известно было очень немногим, сохранявшим глубочайшую тайну, то теперь вследствие свидания Петра при свидетелях должно было распространиться в кругу более обширном, и английский посланник Кейт имел возможность сообщить своему двору совершенно верные известия об Иване Антоновиче. Император, писал Кейт, видел Ивана III и нашел его физически совершенно развитым, но с расстроенными умственными способностями. Речь его была бессвязна и дика. Он говорил, между прочим, что он не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя которой он носит.

Поэтому попытка произвести переворот во имя правнука царя Иоанна Алексеевича против внука Петра Великого могла произойти только от людей темных, не имевших соприкосновения с высшими сферами; для другого же рода людей было одно средство: не прерывая наследственной линии, заменить отца сыном – средство, с одной стороны, легкое, ибо сын, великий князь Павел Петрович, был еще ребенок, и потому не могло быть никаких столкновений с его волею, с его сыновними отношениями; но, с другой стороны, малолетство того, в чье имя должно было происходить движение, отнимало вождя у движения, отнимало у этого движения единство, силу, стройность, отнимало твердость у его последствий, ибо надобно было искать другого вождя, из подданных, и как было его найти? Надобно было иметь дело со многими, с партиями. Поэтому естественно и необходимо внимание всех обращалось на императрицу Екатерину, которая уже давно была известна и славна противоположностью своего поведения с поведением мужа, давно была известна и славна своими блестящими способностями, своим обворожительно ласковым обращением, своим вниманием ко всему достойному внимания, своим уважением к русским людям и ко всему, что им было дорого; только от ее влияния на мужа можно было ожидать хорошего, но этого влияния не было; самое близкое лицо явилось самым далеким, супруга была отвергнута, отвергнут был совет и разум; Екатерина подвергалась явным оскорблениям; она страдала вместе с русскими людьми, и крепкий союз образовался между ними и ею. Фридрих II, получавший очень неудовлетворительные известия из Петербурга, думал сначала, что Екатерина будет иметь большое влияние на дела, и только 7 марта прусский министр

иностранных дел Финкенштейн писал Гольцу, что, по точнейшим сведениям, Екатерина не имеет никакого влияния и может произойти только вред, если к ней обращаться, притом она вовсе и не так благосклонна к Пруссии, как сам император. Но французский посол Бретейль еще с 31 декабря 1761 года начал писать своему двору о печальном положении Екатерины. «В день поздравления с восшествием на престол, – доносил он, – на лице императрицы была написана глубокая печаль; ясно, что она не будет иметь никакого значения, и я знаю, что она старается вооружиться философию, но это противно ее характеру. Император удвоил внимание к графине Воронцовой. Надобно признаться, что у него странный вкус: она неумная, что же касается наружности, то трудно себе представить женщину безобразнее ее: она похожа на трактирную служанку. Императрица находится в самом жестоком положении, с нею обходятся с явным презрением. Она неравнодушно переносит обращение императора и высокомерие Воронцовой. Трудно себе представить, чтоб Екатерина (я знаю ее отважность и страстность) рано или поздно не приняла какой-нибудь крайней меры. Я знаю друзей, которые стараются ее успокоить, но, если она потребует, они пожертвуют всем для нее. Императрица приобретает всеобщее расположение. Никто усерднее ее не выполнял обязанностей относительно покойной императрицы, обязанностей, предписываемых греческим исповеданием; духовенство и народ этим очень тронуты и благодарны ей за это. Она наблюдает с точностию праздники, посты, все, к чему император относится легкомысленно и к чему русские равнодушны. Наконец, она не пренебрегает ничем для приобретения всеобщей любви и расположения отдельных лиц. Не в ее природе забыть угрозу императора заключить ее в монастырь, как Петр Великий заключил свою первую жену. Все это вместе с ежедневными унижениями должно страшно волновать женщину с такую сильную природою и должно вырваться при первом удобном случае. Императрица сильно предается горю и мрачным мыслям; люди, ее выдающие, говорят, что она неузнаваема, что она чахнет и скоро сойдет в могилу». Это последнее известие было написано в начале апреля, и в начале июня Бретейль доносил: «Императрица обнаруживает мужество: она любима и уважаема всеми в той же степени, как Петр ненавидим и презираем».

Эта хроника вскрывает нам лучше всего страшное положение Екатерины в шесть месяцев, от 25 декабря 1761 до 28 июня 1762 года; она указывает нам эти переходы от мрачных мыслей к отчаянию, разрушительно действующему на здоровье, и от отчаяния к твердости, когда надежда на избавление усиливалась и когда надобно было ободрять своих приверженцев. Екатерина говорит, что эти приверженцы со дня смерти императрицы Елисаветы внушали ей о необходимости отстранить Петра и самой стать в челе правления, но что она начала склоняться на их представления с того дня, когда Петр публично нанес ей страшное оскорбление. Во время празднования мира с Пруссией за торжественным обедом император предложил три тоста: 1) здоровье императорской фамилии, 2) здоровье короля прусского, 3) за сохранение счастливого мира, заключение которого праздновалось. Когда Екатерина выпила за здоровье императорской фамилии, Петр велел Гудовичу, стоявшему сзади его кресел, пойти спросить императрицу, зачем она не встала, когда пили первый тост, Екатерина отвечала, что императорская фамилия состоит только из троих членов, из ее супруга, сына и ее самой, и потому она не понимает, почему нужно вставать.

Когда Гудович передал этот ответ, Петр снова велел ему подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово, ибо она должна знать, что двое его дядей, принцы голштинские, принадлежат также к императорской фамилии; но, боясь, чтоб Гудович не ослабил выражения, император сам закричал Екатерине бранное слово, которое и слышала большая часть обедавших. Императрица сначала залилась слезами от такого оскорбления, но потом, желая оправиться, обратилась к стоявшему за ее креслом камергеру Александру Серг. Строганову и попросила его начать какой-нибудь забавный разговор для рассеяния, что Строганов и исполнил.

Но дело не кончилось одним оскорблением. В тот же вечер император приказал своему адъютанту князю Борятинскому арестовать Екатерину. Борятинский, испуганный этим приказанием, не торопился его выполнить и, встретив принца Георгия голштинского, рассказал ему о поручении, полученном от императора. Тот бросился к Петру и уговорил его отменить приказание. Приказание было отменено, но никто не мог поручиться, что оно не будет повторено, ибо приказания отдавались по первой вспышке, по первому внушению, сделанному в пользу или во вред известного лица, и Екатерина начинает слушать предложения своих приверженцев. Кто же были эти приверженцы?

Мы видели, что Шверин и Гольц указывали на Ив. Ив. Шувалова, Мельгунова и Волкова как на самых опасных людей, ждущих первого удобного случая для отнятия у Петра престола. Но Фридрих II должен был убедиться, как обманулись его министры в своих наблюдениях. «Лица, – пишет он, – на которых смотрели как на заговорщиков, всего менее были виновны в заговоре. Настоящие виновники работали молча и тщательно скрывались от публики». Было, однако, время, когда Ив. Ив. Шувалов предлагал Екатерине свои услуги. В одной из записок о событиях своего времени Екатерина рассказывает, что пред кончиною императрицы Елисаветы Ив. Ив. Шувалов обратился к Никите Ив. Панину, говоря, что «иные клонятся, отказав и выслав из России великого князя Петра с супругою, сделать правление именем сына их Павла Петровича, которому был тогда седьмой год, что другие хотят выслать лишь отца, а оставить мать с сыном и что все единодушно думают, что Петр не способен. Панин ответствен, что все сии проекты суть способы к междоусобной гибели, что в одном критическом часу того переменить без мятежа и бедственных следствий невозможно, что двадцать лет всеми клятвами утверждено. Панин, – продолжает Екатерина, – о сем мне тотчас дал знать, сказав мне притом, что больной императрице если б представили, чтоб мать с сыном оставить, а отца выслать, то большая в том вероятность, что она на то склониться может. Но к сему благодаря Богу ее фавориты не приступили, но, оборотя все мысли свои к собственной безопасности, стали дворовыми вымыслами и происками стараться входить в милости Петра III, в коем отчасти и предупели».

Записка эта, написанная, разумеется, позднее события, может быть и очень поздно, требует некоторого объяснения. Выражение «благодаря Богу» очень понятно: если бы фавориты приступили к удалению Петра Федоровича от престола, то императором был бы провозглашен великий князь Павел Петрович и Екатерина не царствовала бы; кроме того, неспособность Петра не была еще так очевидна, как после шестимесячного его царствования, и удаление его могло бы

повести к тому, что выставил в своем ответе Панин. «Фавориты не приступили», потому что Шувалов от Панина услышал решительный отказ в содействии великой княгини и ее приверженцев их плану. Быть может, отказ этот был и неискренний; Панин счел нужным обезопасить себя этим отказом, он мог заподозрить предложение, исходившее от неприязненных ему людей; что Панин не успокоился на своем ответе, доказательством служит то, что он имел с Екатериною разговор о предложении и внушал о возможности со стороны Елисаветы согласиться на удаление Петра. О своем ответе Панину на это внушение Екатерина нам не говорит. Может быть, положено было ждать нового предложения от «фаворитов». Но последние, получив резкий отказ, не сочли более нужным и безопасным повторять свое предложение, а может быть, не имели уже для того и времени и, отвергнутые Екатериною, должны были обратиться к Петру. Теперь, по прошествии нескольких месяцев, они имели печальное удовольствие видеть, какие страдания должна была терпеть Екатерина за отвергнутые их предложения. Быть может, теперь они ждали от нее предложения. Но дело начато было без них, было и кончено без них.

Шувалов перед смертью Елисаветы обращался к Панину с предложением изменить порядок престолонаследия, и это показывает нам важное значение Панина. В царствование Елисаветы мы имели часто случай говорить о его деятельности в Швеции, где он был посланником. Носились слухи, что он был удален в Швецию вследствие придворной интриги, удален Шуваловыми, которые хотели отстранить в нем соперника Ив. Ив. Шувалову. Если это правда, то, разумеется, здесь должно было залечь основание вражды его к Шуваловым, и преимущественно к Ив. Ивановичу. Но и без этого были другие сильные причины вражды. Тесно связанный с канцлером Бестужевым, будучи, можно сказать, его воспитанником, Панин в довольно долгое пребывание свое в Стокгольме ревностно проводил бестужевскую систему, борясь дипломатически с господствовавшим в Швеции французским влиянием. Панин воспитался, окреп в этой борьбе, ненависть к Франции, необходимость борьбы с нею стали его политическим символом веры. И вдруг ему велят переменить политику, собственно говоря, велят переродиться, действовать заодно с французским посланником. Но мы знаем очень хорошо, что сделать это русскому посланнику в Стокгольме было страшно тяжело: ему нужно было бросить своих друзей и подчиниться французскому посланнику, который по своим средствам, теперь еще более усилившимся, не хотел и не мог уступить русскому посланнику равного с собою значения. Чем самостоятельнее, сильнее духовными средствами был русский посланник, тем тягостнее становилось ему его положение. Панин не вытерпел, протестовал; но мы видели, какой реприманд получил он за этот протест. Оскорбленный выговором, удрученный своим невыносимым положением, Панин приписывал все эти беды Шуваловым, их обвинял в сближении с Францией. Скоро покровитель его, Бестужев, был свержен, что также Панин приписывал Шуваловым и Воронцову, которого и прежде считал своим врагом. Теперь Воронцов стал заведовать иностранными делами при помощи или, лучше сказать, под влиянием Ив. Ив. Шувалова; Панину не было возможности более оставаться на дипломатическом поприще, и он был отозван из Швеции. Но мы видели, что Елисавета не любила отнимать деятельность у людей, выдававшихся своими способностями и образованностью, и бывший посланник в

Швеции получил важное место воспитателя великого князя Павла Петровича. Этого новое значение Панина, предполагавшее необходимо большое доверие к нему Елисаветы и в то же время приводившее его в сношения с Екатериною, которая не могла не сочувствовать ему как близкому человеку к А. П. Бестужеву, – это-то значение Панина и заставило Шувалова обратиться к нему по вопросу о возведении на престол великого князя Павла по удалении отца его из России.

Обращение не имело последствий; Петр III вступил на престол и оправдал опасения тех, которые не ждали от его правления ничего хорошего. Панину было тяжело более других. Правда, к Франции последовало сильное охлаждение; но дело шло не о французских отношениях, когда внешнею политикою России заправлял прусский посланник Гольц, а где дело делалось мимо Гольца, так это именно только там, где желания Гольца совпадали с русскими интересами, т.е. в делах датских. Кроме общих для всех русских людей причин к неудовольствию у Панина были особые причины. Он не мог поддерживать своего значения, ибо по своему образу мыслей, по своим привычкам он не мог быть в приближений у Петра III, принимать участия в его забавах; по своей флегматической, жаждущей физического спокойствия природе Панин, более чем кто-либо, не выносил капральства, введенного Петром, за что последний резко обнаруживал против него свое неудовольствие. В донесении Гольца Фридриху II от 30 марта находится любопытное известие относительно Панина: «Е. и. в. с удовольствием соглашается на желание в. в-ства включить Швецию в мирный договор. Он мне сказал по секрету, что пошлет туда Панина, воспитателя великого князя. Это человек очень способный, и потому не может быть сомнения в успехе переговоров». Итак, Панину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать там, согласно с требованием Пруссии, о восстановлении самодержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ратовал всеми средствами. Но делать нечего, пришлось бы отправиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое значение воспитателя великого князя наследника престола: громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, заточить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно было ожидать: раз уже велел он арестовать Екатерину, в другой раз и заступничество принца Георга не поможет. Одинаковость интересов, естественно, сближала Панина с Екатериною, которая могла рассчитывать на его согласие на перемену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем человека, готового служить ей добрым советом, способного помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и должно было ограничиться: Панин по своему характеру и образу мыслей не мог принять непосредственного участия в движении, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе его.

Панин не был в приближении у Петра III; но и между людьми, пользовавшимися особенным расположением императора, Екатерина знала несколько лиц, на которых могла положиться при движении, которые так или иначе заявили ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцейхмейстер Вильбуа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил Никитич Волконский, племянник бывшего канцлера Бестужева, уже известный нам на дипломатическом и военном поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при всеобщем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться дурно для Петра, спешили заранее стать под то

знамя, которому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Екатерина более всех должна была надеяться на гетмана графа Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и пользовался, по-видимому, расположением императора. Но это расположение не препятствовало ему питать прежнюю преданность к Екатерине; если она так рассчитывала на эту преданность шесть лет тому назад, то имела основание рассчитывать и теперь. Приближение к Петру не могло повредить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений никто из приближенных к этому государю не мог рассчитывать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочется наградить малороссийским гетманством своего любимца Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Екатерины был и его наставник Теплов, безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости за нескромные слова. Из официального известия об отношениях Теплова к правительству в описываемое время до нас дошел любопытный указ Петра III от 23 марта: «Всемилоостивейше пожаловали мы статского советника и нашего голштинского двора камергера Григория Теплова за известную нам его к службе ревность в наши действительные статские советники, которому повелеваем быть в отставке по-прежнему».

Но понятно, что, как бы ни было много людей, желавших перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвардия была недовольна; но надобно было сосредоточить и направить это неудовольствие, сделать его готовым выразиться при первом удобном случае. Екатерина нашла два орудия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих орудий была молодая, осьмнадцатилетняя женщина княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве матери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в доме дяди своего канцлера Михаила Ларионовича. Получивши средства в изучении иностранных языков, преимущественно французского, живая и способная девочка бросилась пользоваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не находилось людей, которые бы заняли ее чувство и ум, привлекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всею страстностью своей натуры предалась чтению: Бэль, Монтескье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рановременному развитию. Эта образованность и страсть к чтению сблизили Екатерину Романовну с другою образованнейшею женщиною в России, такую же усердную читательницею Бэля, Монтескье и Вольтера, – великою княгинею Екатериною Алексеевною. «Многие из друзей моего дяди, – говорит Дашкова, – описали меня великой княгине молодою девушкою, которая посвящала все свое время науке; уважение, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно, проистекло из этого пристрастного описания; взаимно великая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заставившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о котором говорю, в целой империи было только две женщины, великая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением, и так как ее восхитительное обращение производило неотразимое влияние на тех, кому она хотела нравиться,

то легко понять, как сильно было это влияние на молодое создание, как я, имевшее едва пятнадцать лет и столь способное подчиниться ему».

Легко понять также, что, насколько великая княгиня производила обаяния над молодою Екатериною Романовною, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованною: «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, – говорит она, – состояло в том, чтоб курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большею частью капралами и сержантами в прусской службе; это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носившей немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологиею, бывшею в моде у компании; компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума: здесь пунш, чай, табак и смешная игра *саприс* служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини!»

В то страшное время, когда все убедились, что Елисавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отворотить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказания и научить меня, что делать». «Я не составила никакого плана, – отвечала Екатерина, – я ничего не предприиму и думаю, что мне остается одно: мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему и на его покровительство полагаю всю мою надежду».

Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавши однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело; дело шло о том, чтоб удалить *ее*, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести *Романовну*, как он обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к *нам* немножко повнимательнее, – говорил он Дашковой, – придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились с своею сестрою; ваши интересы требуют, чтоб вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство».

У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Пассек и Бредихин, майор Рославлев и брат его, капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинею в необходимости произвести перемену в правительстве, и пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка, Ласунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского: этого богача и

любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никит. Ив. Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя; она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле; Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии; но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин.

Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина знаменитый впоследствии князь Николай Васил. Репнин. Однажды после пира в новом Зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина: ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану к королю прусскому министром, или, лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались: он должен был ехать к Фридриху II.

Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она серьезно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтоб добиться от него наконец чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным, медленным Паниным и его пылкою осьмнадцатилетнею племянницею. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью произвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтоб не выставлять прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем действовать, – возражала Дашкова, – и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиною события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец Дашкова объявила имена соумышленников: двое Рославлевых, Ласунский, Пассек, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала; но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицею. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен; такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать.

Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот заговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии, сама близко видела причины этого неудовольствия, сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других; говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной, по общему убеждению, дать ручательство в лучшем будущем; молодые офицеры совершенно соглашались, называли и некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними, говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии; Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия? Дашкова постоянно употребляет слово *заговор*, но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие, для этого она то подговаривала офицера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым и посредством последнего действовал на гетмана; но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Димитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой князь Михайла Никит. Волконский рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие, солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии-Терезии, в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага, и для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им. Мы не имеем никакого основания отвергать свидетельства Дашковой о собственной деятельности, ибо из них выходит одно, что она хотела перемены в пользу Екатерины и при удобном случае толковала о своем желании с некоторыми людьми, но этим все и ограничивалось. Ее свидетельства очень важны, ибо ей очень хочется преувеличить свою роль, выставить себя главою заговора, но из собственных ее слов выходит, что роль ее была очень невелика.

Иностранные описыватели июньских событий 1762 года преувеличили участие в них Дашковой, точно так же как преувеличили значение Одара, которого деятельность тесно связали с деятельностью Дашковой, не умея, однако, показать, в чем, собственно, состояло участие иностранца, не знавшего по-русски. Одар был родом пиемонтец; канцлер Воронцов определил его в Коммерц-коллегию, но здесь было ему служить неудобно по незнанию русского языка, и Дашкова предложила императрице взять его к себе в секретари, и у иностранных писателей он является в этом значении. Но Дашкова говорит, что Екатерина не взяла Одара в секретари, во-первых, потому, что иностранная переписка ее была очень ограничена, а главное, потому, что, стараясь приобрести расположение русских, не хотела иметь при себе секретарем иностранца, и Одар был сделан управителем одного небольшого имения, принадлежавшего собственно императрице. Дашкова утверждает, что Одар никогда не был ее поверенным, что она редко его видала и вовсе не видала три последние недели перед переворотом. Мы не имеем никакого основания не верить словам Дашковой; но хотя сочинения иностранцев о России и русских событиях обыкновенно преисполнены ошибками, преувеличениями и смещениями всякого рода, однако нет права предполагать, что участия Одара в

июньских событиях не было никакого, что оно выдуманно им самим и с его хвастливых слов повторено иностранцами; по всем вероятностям, ловкий Одар был употребляем для сношения Екатерины с преданными ей лицами точно так, как в 1758 году для подобного же дела служил Екатерине итальянец-бриллианщик Бернади; но Дашковой было неизвестно, что императрица сносится мимо ее с своими приверженцами.

Дашковой были неизвестны непосредственные сношения Екатерины с человеком, который больше всех хлопотал в ее пользу в войске, – с Григор. Григор. Орловым. Артиллерийский офицер Григорий Орлов был воспитанник сухопутного Кадетского корпуса, участвовал в Семилетней войне и резко выдавался из толпы товарищей красотой, силою, молодцеватостью, общительностью; сильная молодая природа (Орлову было в описываемое время 27 лет) требовала сильной деятельности, и Орлов всюду искал ей удовлетворения: и в устройстве веселостей для товарищей, и в масонской ложе, и, наконец, в возбуждении восстания в защиту обожаемой императрицы, которой грозила беда, бывшая бедой и целой России. Кроме Орлова с братьями, по свидетельству самой Екатерины, в конной гвардии двадцатидвухлетний офицер Хитрово и семнадцатилетний унтер-офицер Потемкин «направляли все благоразумно, смело и деятельно».

К концу июня, по словам Екатерины, между соумышленниками в гвардии считалось до сорока офицеров и около 10000 рядовых. В этом числе не оказалось ни одного изменника; соумышленники разделялись на четыре группы, и вожди групп собирались для решений, настоящим же секретом владели трое братьев Орловых. Исполнение замысла отлагалось до отъезда Петра к заграничной армии; но было решено в случае открытия умысла собрать гвардию и провозгласить Екатерину царствующею императрицею.

Как в 1741 году свержение Брауншвейгской фамилии было ускорено приказом гвардии выступить против шведов в Финляндию, так и теперь провозглашение Екатерины было ускорено нежеланием гвардии выступать в поход против датчан. Солдаты волновались, и соумышленники, торопя дело, стали разглашать, что жизнь императрицы в опасности. Император уехал в Ораниенбаум с своею любимую компаниею; императрица жила в Петергофе, куда к 29 июня, к своим имянинам, должен был приехать и Петр. 27 июня волнение в гвардии усилилось, речи, что императрица в опасности, раздавались громче, солдаты кричали, чтоб их вели в Ораниенбаум против голштинцев. К капитану Пассеку, главному в одном из четырех отделов, входит солдат и объявляет, что императрица, наверно, погибла. Пассек отвечает, что все это вздор, но солдат не успокаивается и прямо от него идет к другому офицеру с теми же речами. Этот офицер не принадлежал к числу соумышленников; услышав страшные слова и узнав от солдата, что он был у Пассека и тот отпустил его, офицер арестует солдата и идет к майору Воейкову донести ему обо всем. Воейков арестует Пассека и посылает донесение императору в Ораниенбаум. Весть об аресте Пассека привела в движение весь Преображенский полк, взволновала соумышленников и в других полках. Решено было отправить Алексея Орлова в Петергоф к императрице и привезти ее в Петербург, а Григорий Орлов с другим братом должны были приготовить все к ее приему. Гетман Разумовский, князь Волконский и Панин знали об этом решении, замечает Екатерина.

Она не упоминает ни слова об участии княгини Дашковой; напротив, она говорит об ней следующее: «Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хочет присвоить себе честь этой революции, но, не говоря уже о ее родстве, девятнадцатилетний возраст не позволял никому иметь к ней доверия. Она говорила, что все доходило до меня чрез нее: но в продолжение шести месяцев я сносилась со всеми главами предприятия, прежде чем она узнала первое слово. Правда, что она очень умна, но ум ее испорчен чудовищным тщеславием и сварливым характером; главы предприятия ее ненавидят, но она была в дружбе с пустыми людьми, которые и рассказывали ей, что знали, т.е. мелочи».

Это свидетельство в сущности справедливо и подтверждается, как мы видели, рассказом самой Дашковой. Но для полноты следовало бы прибавить, что Дашкова во всем этом деле показала необыкновенное усердие и самопожертвование, за что Екатерина сочла своею обязанностью ее отличить и наградить. Екатерина умолчала об этом, позабыв о противоречии, какое произойдет между ее словами и делами. Знаменитая императрица иногда позволяла себе такие умолчания под влиянием раздражения и предубеждения против неприятных ей людей. Минута, в которую она высказала приведенное свидетельство о Дашковой, не принадлежала к числу покойных минут в жизни Екатерины: она была очень раздражена претензиями Дашковой и столкновениями ее в этих претензиях с людьми, принять сторону которых Екатерина имела сильные побуждения. Но выслушаем рассказ Дашковой о событиях 27 июня.

У нее сидел Панин в то время, когда приехал к ней Григорий Орлов с известием об аресте Пассека. Дашкова встревожилась, но Панин с обычным своим хладнокровием начал рассуждать, что Пассек посажен за какой-нибудь беспорядок по службе. Дашкова просила Орлова поехать и осведомиться точнее о причине ареста, и если он арестован за государственное преступление, то чтоб возвратился к ней с подробным известием, а брата своего послал бы с тем же к Панину. После отъезда Орлова Дашкова выпроводила и Панина под предлогом, что хочет успокоиться, а сама, накинув мужской плащ, отправилась пешком к дому Рославлева. Отошедши немного от своего дома, она заметила всадника, быстро мчащегося по направлению к ее дому; как будто кто-то шепнул ей, что это должен быть Алексей Орлов, ибо она не знала никого из братьев, кроме Григорья. Она громко выкрикнула эту фамилию, всадник остановился, подъехал к ней и, когда Дашкова назвала себя, сказал: «Я ехал вас уведомить, что Пассек арестован за государственное преступление, четверо часовых стоят у дверей, по двое у окон. Брат мой отправился сообщить об этом Панину, а я сию минуту был за этим же у Рославлева». Тогда Дашкова стала ему говорить, чтобы он велел Рославлеву и Ласунскому ехать немедленно в свой Измайловский полк для принятия императрицы, когда она въедет в Петербург, а сам или кто-нибудь из его братьев мчался бы в Петергоф и упросил Екатерину от имени ее, Дашковой, сесть тотчас же в карету и ехать в Петербург, где Измайловский полк уже готов принять ее и провозгласить государынею. Дашкова прибавляет, что карета, в которой Екатерина должна была приехать из Петергофа, была выслана с четверкой лошадей по ее же, Дашковой, письму камер-лакеем императрицы Шкуриным. Дашкова распорядилась отправлением кареты, предвидя затруднения, какие могла встретить Екатерина насчет экипажа в Петергофе от людей, вовсе не

расположенных помогать ей, и Панин смеялся над этою предосторожностью как лишнею.

Переговорив с Алексеем Орловым на дороге, Дашкова возвратилась домой и в страшном волнении легла в постель, чтоб не возбуждать подозрения в прислуге. Вдруг сильный удар в дверь с улицы заставил ее затрепетать. Она вскочила с постели и велела впустить, кто бы ни стучался. Вошел неизвестный молодой человек и объявил, что он Федор Орлов. «Я пришел, – сказал он, – спросить, не слишком ли рано ехать брату к императрице, полезно ли ее беспокоить преждевременным призывом в Петербург?» При этих словах Дашкова вышла из себя. «Вы потеряли самое дорогое время, – закричала она, – что тут думать о беспокойстве императрицы! Лучше привезти ее в обмороке в Петербург, чем подвергать заточению в монастырь или возведению на эшафот вместе со всеми нами». Молодой Орлов ушел, уверяя Дашкову, что брат его немедленно поедет в Петергоф.

Можно сказать, что, принимая все это невыдуманным, отчего не допустить догадку, что вожди предприятия, не любя Дашковой и не доверяя сестре фаворитки, внутренне смеялись над распоряжениями Дашковой, когда уже они давно были решены между ними и Екатериной, что Григорий Орлов пришел к ней потому, что искал Панина, что встреча с Алексеем Орловым, возвращавшимся от Рославлева, была случайная, что, наконец, младший Орлов пришел ночью к Дашковой за тем только, чтоб узнать, что делает и думает другая Романовна, не затеяла ли чего-нибудь в пользу близких родственников, а если верна императрице, то не замыслила ли, незваная, непрошенная, вмешаться в дело? Но оставим догадки и обратим внимание на свидетельства неоспоримые: в списке наград за участие в событии 28 июня назначено: «Гетману, князю Волконскому, Панину по 5000 пенсiona» и непосредственно за ними: «Дашковой 12000». Кроме того, от 5 августа сохранилась записка Екатерины: «Выдать княгине Катерине Дашковой за ее ко мне и к отечеству отменные заслуги 24000 рублей».

Екатерина занимала в Петергофе павильон Монплефир. В шесть часов утра 28 июня она была разбужена Алексеем Орловым, который вошел в ее комнату и сказал совершенно спокойным голосом: «Пора вставать: все готово для вашего провозглашения». «Как? Что?» – спросила Екатерина. «Пассек арестован», – отвечал Орлов. Екатерина более не спрашивала, поспешно оделась кой-как и села в карету, в которой приехал Орлов. Орлов сидел на козлах, у дворец ехал другой офицер, Вас. Ил. Бибииков. За пять верст от Петербурга они встретили Григория Орлова и младшего князя Борятинского, который уступил свой экипаж императрице, потому что ее лошади выбились из сил. Она подъехала прямо к казармам Измайловского полка. Здесь начинают бить тревогу, солдаты выбегают, кидаются к императрице, целуют ее руки, ноги, платье, называют ее своею избавительницею. Двое солдат ведут под руки священника с крестом, и начинается присяга. Дотом просят императрицу сесть опять в карету; священник с крестом идет впереди, отправляются в Семеновский полк. Семеновцы выходят навстречу с криком «ура!». В сопровождении измайловцев и семеновцев Екатерина поехала в Казанский собор, где была встречена архиепископом Димитрием; начался молебен, на эктениях возглашали самодержавную императрицу Екатерину Алексеевну и наследника великого князя Павла

Петровича. Из Казанского собора Екатерина отправилась в новоотстроенный Зимний дворец.

Между тем в Преображенском полку, в третьей роте, часу в осьмом увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к матушке в Зимний каменный дворец (новый). В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе повсюду движение. Солдаты выбежали на плац, прибежали и офицеры, запыхавшись, из них некоторые были совершенно равнодушны, как будто знали о причине тревоги. Так как все офицеры молчали, то солдаты, без всякого от них приказания, заряжая ружья, примчались к полковому двору. На дороге встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева: ходил он в задумчивости взад и вперед и не говорил ни слова, его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал; рота на несколько минут приостановилась, но увидела, что по Литейной идет гренадерская рота; майор Воейков хотел ее остановить, подъехал верхом с обнаженною шпагою и бранился, гренадеры не слушались; Воейков стал шпагою рубить их по ружьям и шапкам, тогда они крикнули и бросились на него с устремленными штыками, Воейков бросился скакать от них во всю прыть и, боясь, чтоб не захватили его на Симеоновском мосту, повернул направо и въехал в Фонтанку по грудь лошади; тут только гренадеры отстали от него. Видя это, третья рота двинулась, а остальные роты Преображенского полка бежали по другим мостам, одна за другой, к Зимнему дворцу. Здесь поставили их внутри дворца; а Семеновский и Измайловский полки, пришедшие прежде, окружили дворец и все выходы заставили своими караулами. Вышел архиерей с крестом и привел преображенцев к присяге. По словам Екатерины, преображенцы кричали ей: «Просим прощения в том, что пришли последние: наши офицеры нас задержали, но вот мы привели из них четверых, чтоб показать наше усердие, мы того же хотим, чего и наши братья хотят». Конная гвардия обнаруживала необыкновенную радость. Императрица вспомнила, какую страшную ненависть питала эта гвардия к своему начальнику принцу Георгию, и потому отправила к нему отряд пешей гвардии с просьбою, чтоб принц для избежания беды не выходил из дому. Распоряжение опоздало: толпа конногвардейцев уже побывала у принца, прибила его, разграбила дом.

В новом Зимнем дворце Екатерина нашла в собрании Сенат и Синод. Теплов наскоро составил манифест и форму присяги. В манифесте говорилось: «Всем прямым сынам отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом, а именно закон наш православный греческий переее всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона. Второе, слава российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием, чрез многое свое кровопролитие заключением нового мира с самым ее злодеем отдана уже действительно в совершенное порабощение, а между тем внутренние порядки, составляющие целость всего нашего отечества, совсем испровержены. Того ради, убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностью, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол

наш всероссийский и самодержавный, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили».

Манифест действительно был составлен наспех (a la hate). Дела было очень много. Императрица вышла из нового Зимнего дворца и пешком обошла войска, около него расположенные: здесь было более четырнадцати тысяч как гвардии, так и армии. Потрясающие крики войска и народа приветствовали государыню. Насчет этого войска и петербургских жителей можно было успокоиться; но надобно было распорядиться относительно флота, приморских мест и заграничной армии. Для этих распоряжений императрица удалилась в старый Зимний дворец вместе с сенаторами и Тепловым, который исполнял должность секретаря в этом чрезвычайном совете. В Кронштадт отправлен был с полномочием адмирал Талызин. Вице-адмиралу Полянскому послан был рескрипт – объявить флотским и адмиралтейским воинским людям о восшествии на престол Екатерины, привести их к присяге и до дальнейшего указа никаких военных действий не производить. В заграничную армию послан был указ генерал-поручику Петру Ив. Панину, находившемуся в Кенигсберге, сменить Румянцева в начальстве над померанским корпусом, потому что Румянцева подозревали в приверженности к Петру III; в рескрипте Панину говорилось: «Мы вступили сего числа благополучно на самодержавный престол всероссийский, причем мы, ведая вашу ревность и усердие к нам, жалуем вас полным генералом и повелеваем вам принять корпус, состоящий под командою генерала Румянцева, в свою полную команду, с которым, получа сие, немедленно в Россию возвратиться имеете. А понеже мы намерение имеем заключенный вновь вечный мир с его величеством королем прусским содержать, того ради вы все осторожности принять имеете, дабы его величества землям никаких причин не подавать к озлоблению, а генералу Румянцеву особый указ наш послано сдаче вам команды и возвращении его к нам в Россию». Еще имея причины думать, что войска могут понадобится в России, желая сохранять поэтому мир с королем прусским, Екатерина не могла желать вести вместе с ним войну против Австрии, и потому отправлен был указ Чернышеву: «Намерение наше было и ныне есть все средства употребить к получению общего в Европе мира; но тишина и благосостояние нашего престола требуют того неотменно, чтоб вы немедленно возвратились со всем вашим корпусом в Россию. Ежели же король прусский в том препятствовать начнет, то вы имеете со всем вашим корпусом соединиться с армиею и ближайшим корпусом императрицы-цесаревны римской; что же касается до заключенного в последнее время мира с его величеством королем прусским, то мы нашего императорского величества именем повелеваем его величеству объявить торжественно, что мы оный мир продолжать будем свято и ненарушимо, доколе его величество к разрыву оногo, а особливо при нынешнем случае явных к тому видов не подаст». Наконец, к рижскому генерал-губернатору Броуну был послан рескрипт: «Понеже по желанию всех сынов отечества мы вступили благополучно на престол всероссийский, того ради, вам чрез сие всемилостивейше объявляя и уповая на ваше к нам усердие, повелеваем все меры к тому принять, чтоб сие народное желание, с Божиим благословением начатое, споспешествовано было добрым вашим учреждением, и в противном случае все силы и меры употреблять имеете к отвращению какого-либо злого сопротивления,

невзирая ни на чье достоинство, и ни от кого, кроме что за нашим подписанием, никаких повелений не принимать».

Но одними распоряжениями на бумаге ограничиться было нельзя; успех этих распоряжений главным образом зависел от решений Петра III: он имел средство во имя своих прав поднять внутреннюю борьбу, мог поспешно удалиться к заграничной армии и найти поддержку у Фридриха II, который «особливо при нынешнем случае мог подать явные виды к разрыву мира», как говорилось в указе Чернышеву. Поэтому решено было предупредить Петра III, и Екатерина в челе преданного ей войска хотела сама выступить к Петергофу. Сенат получил собственноручный указ: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу с войском, чтоб утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, яко верховному моему правительству, с полною доверенностью под стражу: отечество, народ и сына моего. Графам Скавронскому, Шереметеву, генерал-аншефу Корфу и подполковнику Ушакову присутствовать с войсками, и им, так как и действит. тайному советнику Неплюеву, жить во дворце при моем сыне».

Около 10 часов вечера Екатерина верхом, в гвардейском мундире Преображенского полка, в шляпе, украшенной дубовыми ветвями, из-под которой распущены были длинные красивые волосы, выступила с войском из Петербурга; подле императрицы ехала княгиня Дашкова, также верхом и в Преображенском мундире; но это были старинные мундиры, введенные при Петре Великом и потому слывшие уже национальными, ибо, как только Екатерина была провозглашена, гвардейцы, как будто по указу, сбросили с себя новые мундиры, введенные Петром III, которые они называли иностранными, разодрали их или продали за бесценок и надели старые. При самом выступлении из Петербурга перед императрицею явился великий канцлер Воронцов с упреками за ее действия; вместо ответа, говорит Екатерина, его повели в церковь давать присягу. Иначе рассказывает Дашкова: по ее словам, Воронцов, видя, что его увещания недействительны, удалился, отказываясь принести присягу. «Будьте уверены, в. в., – сказал он, – что я никогда ни словом, ни делом не буду вредить вашему правлению, и для доказательства искренности моих слов прикажите одному из преданнейших ваших офицеров наблюдать за моим домом, но никогда при жизни императора я не нарушу данной ему присяги». До нас дошло письмо Воронцова Екатерине от того же 28 июня: «Всемиловитейшая государыня! По неиспытанным судьбам всемогущего угодно было вас на императорский престол возвести, я за первую должность мою почел, припадая к стопам вашего императорского (величества – пропущено), всенижайше просить о милостивом увольнении от настоящего моего чина и пожаловать великодушно освободить меня от всех дел, дабы я мог достальную жизнь мою в тишине и покое препроводить и скончать. Не возми, всемилост. государыня, чтоб я для каких-либо видов или охоты не имел жизнь мою в службе в. в-ства окончить, но единственно призываю всевышнего в свидетельство, что я отнюдь не в состоянии за весьма изнуренным моим здоровьем и, ежедневно разными болезнями одержим будучи, не могу, как бы желал, должность мою исправлять. Равномерное мое прошение было вечно достойной памяти государыне-императрице еще в прошлом году и по вступлении на престол его величества, токмо сея милости получить не удостоился, которую из щедрых рук в. и. в-ства с оказанием сродного твоего милосердия ожидаю и повергаю себя к стопам в. в-ства, с рабским благоговением

пребываю в. и. в-ства всеподданнейший раб г. Михаил Воронцов». Из этого письма никак нельзя догадаться, что писавший его отказался принести присягу; притом последнее исключало надобность проситься в отставку: неприсягнувший не мог служить; но Воронцов остался на службе в прежнем канцлерском достоинстве. Приехали из Петергофа князь Никита Трубецкой и граф Александр Шувалов; их также повели к присяге, причем Екатерина прибавляет, что они приехали в Петербург, чтоб убить ее. Но Екатерина так хорошо знала этих людей, их неспособность убивать, что могла сказать подобное только в сильном раздражении.

Воронцов, Трубецкой и Александр Шувалов приехали в Петербург за вестями, а по некоторым известиям, это был для них только предлог, чтоб ускользнуть из Петергофа от Петра. Мы видели, что император жил в Ораниенбауме; с ним были там канцлер Воронцов с братом Романом, фельдмаршал граф Миних, граф Александр Шувалов, князь Никита Трубецкой, вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын, прусский посланник Гольц, трое Нарышкиных, Мельгунов, гофмаршал Измайлов, генерал-адъютанты – князь Ив. Фед. Голицын и Гудович, тайный секретарь Волков, тайный кабинетский советник Олсуфьев, старый наставник Штелин и несколько других. Из дам были графиня Елисавета Ром. Воронцова, графиня Анна Карловна Воронцова (жена канцлера) с дочерью графиней Строгановой, графиня Разумовская (жена гетмана), княгиня Трубецкая (жена князя Никиты), графиня Шувалова (жена графа Александра), дочь принца Голштейн-Бек, графиня Брюс, Нарышкины и другие. 28 июня утром, в то самое время, когда Екатерина провозглашалась самодержавною императрицею всероссийскою в Казанском соборе, Петр в Ораниенбауме делал обычный парад голштинским войскам, после чего в 10 часов отправился со своею свитою в шести экипажах в Петергоф. Гудович поехал вперед и вдруг возвращается встревоженный и тихонько рассказывает Петру, что императрицы с раннего утра нет в Петергофе и никто не знает, куда она девалась. Император выходит из себя при этой вести, выскакивает из экипажа и пешком вместе с Гудовичем спешит через сад к павильону Монплеизр, входит туда – нет нигде, лежит только ее бальное платье, приготовленное к завтрашнему празднику. Когда Петр после напрасных розысков выходил из Монплезира, подошло остальное общество. «Не говорил ли я вам, что она на все способна!» – крикнул ему Петр; с его проклятиями смешался бессвязный говор и вопль женщин. Потом в отчаянии бросился он искать Екатерину по всему саду; во время этих поисков подошел к нему крестьянин с запискою от Брессона, которого Петр из камердинеров своих сделал директором гобелиновой мануфактуры, в записке заключалось известие о петербургском перевороте. Тут-то Воронцов, Трубецкой и Шувалов отправляются в Петербург за подробными известиями. В три часа приезжает из Петербурга голштинец-фейерверкер и рассказывает, что там с утра начались волнения в Преображенском полку. Так как, по слухам, вождем предприятия был гетман Разумовский, то послали за старшим Разумовским, Алексеем, который жил недалеко, в имении своем Гостилицах; старик приехал, но это нисколько не помогло делу. Разумнее была другая мера: отправление адъютанта императорского графа Девьера в Кронштадт для обеспечения за Петром этого важного места на всякий случай. В то время как в Петербурге в старом Зимнем дворце при Екатерине Теплов писал рескрипты и указы, в Петергофе Волков также писал

манифесты и указы. Три солдата, отправленные с этими манифестами в Петербург для распространения их в народе, встретили Екатерину по выезде ее из города и отдали ей все бумаги, говоря, что очень рады быть заодно с своею братьею. Петр менял свои намерения: сначала он хотел защищаться в Петергофе и послал за голштинским войском в Ораниенбаум. В 8 часов вечера пришло это войско; но потом взяли верх представления Миниха: защищаться с голштинцами против большого войска Екатерины найдено невозможным, голштинцы отправлены назад в Ораниенбаум и решено плыть в Кронштадт.

В 10 часов вечера Петр со всеми находившимися в Петергофе лицами, мужчинами и женщинами, отправился в Кронштадт на галере и яхте. Но в Кронштадте уже начальствовал Талызин именем императрицы Екатерины II, а Девьер, присланный Петром, сидел под арестом. В первом часу ночи галера и яхта приблизились к Кронштадтскому рейду; но из крепости велено было им удалиться; на извещение, что приехал сам император, отвечали, что в России нет больше императора, а императрица Екатерина II и если суда сейчас же не уйдут, то начнется против них пушечная стрельба. Гудович, подговариваемый Минихом, представлял Петру, что не должно обращать внимания на угрозы: стоит только ему втроем с ними спрыгнуть на берег, в минуту крепость и флот признают его власть. Но испуганный Петр скрылся в нижнюю часть корабля; между женщинами раздавались рыдания и вопли, и суда поплыли назад. Тут Миних приступил с новым планом: с помощью гребцов доплыть до Ревеля, там сесть на военный корабль и отправиться в Померанию. «Вы примете начальство над войском, – говорил Миних, – поведете его в Россию, и я ручаюсь в в-ству, что в шесть недель Петербург и Россия опять будут у ваших ног». Но другие нашли этот план слишком смелым и советовали, возвратясь в Ораниенбаум, войти в переговоры с императрицею; этот совет был принят.

Екатерина, отойдя десять верст от Петербурга, остановилась в Красном Кабачке, чтоб дать несколько часов отдохнуть войску, которое целый день было на ногах. Екатерина вместе с княгинею Дашковой провела эти несколько часов отдыха в маленькой комнате, где была одна грязная постель для обеих. Нервы были слишком возбуждены, и сна небыло. Бессонница, однако, не была тяжка: императрица и Дашкова были бодры, сердца их были наполнены веселыми предчувствиями.

В Красном Кабачке настиг войска Никита Ив. Панин и в третьем часу пополуночи написал Сенату: «Имею честь чрез сие уведомить Прав. Сенат, что ее им. в-ство благополучно марш свой продолжает, которую я со всеми полками застал у Красного Кабачка на ростaxe. Впрочем, ревность неописанную и нимало не умаляющуюся к намерению предпринятому во всех полках вижу; о сем и удостоверяю». Навстречу этому удостоверению шло донесение Сената, отправленное также в 2 часа. пополуночи: «Государь цесаревич в желаемом здоровьи находится, и в доме ее и. в-ства, потому ж и в городе состоит благополучно, и повеленные учреждения исправны». Повеленные учреждения состояли в том, чтоб не пропускать ни в Петербург, ни из Петербурга ни людей, ни бумаг. Так, секретарь Ямской канцелярии представил Сенату записку, переданную ему старостою ямских слобод, а староста получил ее из Петергофа чрез почтаря; в этой записке за рукою генерала-поручика Овцына заключался приказ в ямские слободы: «Получа сей приказ, выбрав 50 лошадей самых хороших, прислать сюда,

в Петергоф, с выборным и явиться на конюшню; а ежели потребует адъютант Костомаров пару лошадей, то дать ему без всякой отговорки». Костомаров был арестован и на допросе отвечал: «Как его Мельгунов и Михайла Львович Измайлов посылали из Ораниенбаума, объявляя именной бывшего императора указ, в Петербург, то приказывали ему, чтоб он в их полках сказал полковникам, дабы они с полками своими следовали в Ораниенбаум».

В пять часов утра Екатерина опять села на лошадь и выступила из Красного Кабачка. В Сергиевской пустыни была другая небольшая остановка. Здесь встретил императрицу вице-канцлер князь Александр Мих. Голицын с письмом от Петра: император предлагал ей разделить с ним власть. Ответа не было. Затем приехал генерал-майор Измайлов и объявил, что император намерен отречься от престола. «После отречения вполне свободного я вам его привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны», – говорил Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело. Дело было устроено, Петр подписал отречение, составленное Тепловым в такой форме: «В краткое время правительства моего самодержавного Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть Российским государством, почему и восчувствовал я внутреннюю оною перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечного чрез то бесславия; того ради, помыслив, я сам в себе беспристрастно и непринужденно чрез сие объявляю не только всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства Российском государством на весь век мой отрицаюся, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже оною когда-либо или через какую-либо помощь себе искать, в чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно. Все сие отрицание написал и подписал моею собственною рукою».

В пять часов утра 29 июня гусарский отряд под начальством поручика Алексея Орлова занял Петергоф; потом стали приходиться полки один за другим, располагаясь вокруг дворца. В 11 часов приезжает императрица верхом, в гвардейском мундире, в сопровождении одетой таким же образом княгини Дашковой; раздаются пушечная пальба и восторженные крики войска; в первом часу Григорий Орлов и Измайлов привозят отрекшегося императора вместе с Гудовичем и помещают в дворцовом флигеле, а около вечера Петра отвозят в Ропшу, загородный дворец в 27 верстах от Петергофа. В 9 часов вечера императрица отправилась из Петергофа и на другой день, 30-го числа, имела торжественный въезд в Петербург.

Фридрих II, разговаривая впоследствии с графом Сегюром, который ехал посланником от французского двора в Петербург, сделал такой отзыв о событиях 28–29 июня: «По справедливости, императрице Екатерине нельзя приписать ни чести, ни преступления этой революции: она была молода, слаба, одинока, она была иностранка, накануне развода, заточения. Орловы сделали все; княгиня Дашкова была только хвастливою мухою в повозке. Екатерина не могла еще ничем управлять; она бросилась в объятия тех, которые хотели ее спасти. Их заговор был безрассуден и плохо составлен; отсутствие мужества в Петре III, несмотря на

советы храброго Миниха, погубило его: *он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать*».

Несмотря на видимую меткость последнего выражения, мы не можем признать справедливости этого приговора. Фридрих не объяснил, каких бы условий он требовал от заговора, хорошо составленного. Мы видим одно, что при всеобщем возбуждении людям энергическим было не трудно достигнуть своей цели. Движение произошло в гвардии, но оказалось немедленно, что Екатерина точно так же опиралась на Сенат и Синод. Средства Петра III были истощены, когда сломлено было сопротивление ничтожного числа офицеров, хотевших удержать полки. Мы не будем утверждать, что Петр III отличался смелостью; но если бы он принял совет Миниха, то есть ли основание утверждать, что в Ревеле и в заграничной армии он не испытал бы такого же приема, как и в Кронштадте?

Как бы то ни было, ликование по поводу восшествия на престол Екатерины усиливалось и тем, что перемена произошла без пролития капли крови; пострадали только винные торговцы. «День (30 июня) был самый красный, жаркий, – рассказывает Державин. – Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и всякие другие дорогие вина и лили все вместе без всякого разбору в кадки и бочонки, что у кого случилось. В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя всему российскому народу было ненавистно. Их уверяли дежурные придворные Ив. Ив. Шувалов и подполковник их граф Разумовский, также и господа Орловы, что государыня почивает, и слава Богу, в вожденном здравии; но они не верили и непременно желали, чтоб она им показалась. Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до их полка. Поутру (на другой день) издан был манифест, в котором хотя, с одной стороны, похвалено было их усердие, но, с другой – напоминалась воинская дисциплина и чтоб не верили они рассеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с того самого дня приумножены пикеты, которые в многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В таковом военном положении находился Петербург, а особливо вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с 8».

11 августа 1764 года Сенат слушал челобитную купца Дьяконова о возвращении ему за растащенные у него при благополучном ее и. в-ства на императорский престол восшествия в собственном его доме из погреба виноградные напитки солдатством и другими людьми по цене на 4044 рубля. Приказали: оную челобитную по примеру челобитной купца Медера о таком же растащении виноградных напитков отослать в Камер-контору для рассмотрения. В конце года Камер-коллегия представила о поднесении ее и. в-ству вновь доклада о

расташенных при благополучном восшествии ее и. в-ства на престол солдатством и другими людьми с кабаков напитков. Приказали: как уже о том был доклад 763 года июля 9-го, то вновь другого не подавать, а ожидать конфирмации на прежний. Но в июне 1765 года Сенат решил подать доклад о расташенных 28 июня 1762 года из погребов виноградных винах на 24331 рубль, сказать, что цены обозначены верно и что Сенат признает справедливым удовлетворить за расташенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму, а продавцам виноградного вина – в пошлинный сбор.

Глава вторая

Царствование императрицы Екатерины II Алексеевны. 1762 год

Награды участникам в событии 28 июня. – Возвращение графа Бестужева-Рюмина и князя Шаховского. – Торжественное оправдание Бестужева. – Ададунов и Елагин. – Судьба Гудовича, Волкова и Мельгунова. – Положение Ив. Ив. Шувалова. – Воронцовы. – Миних. – Екатерина в Сенате. – Кончина Петра III. – Мысль о монументе Екатерине. – Финансовые меры. – Меры против взяточничества, против монополий. – Крестьянские волнения. – Дело о церковных имениях. – Дело об учреждении Императорского совета. – Приготовления к коронации. – Переписка Теплова с Паниным. – Приезд императрицы в Москву. – Коронация. – Дело Гурьевых и Хрущова. – Забота об улучшении состояния обеих столиц. – Отмена сыщиков. – Продолжение крестьянских волнений. – Комиссия о церковных имениях. – Вызов иностранных колонистов. – Старание вернуть русских беглецов. – Окончание дела об Императорском совете. – Общий характер внешней политики России в начале царствования Екатерины II. – Сношения с Пруссией, Даниею, Швециею, Польшею, Курляндиею, Турциею, Австриею, Франциею и Англиею.

Кончились заботы о приобретении власти, начинались более тяжкие заботы о ее сохранении. Нужно было наградить людей, помогших достигнуть власти, – дело тяжелое, ибо каждый ценил свою услугу дорого и ревниво смотрел вокруг, не получил ли кто больше за услугу меньшую; виделись только радостные лица, слышались восторженные клики, а между тем бушевало целое море страстей. Нужно было ценною, удовлетворяющею наградою закрепить старых приверженцев, не возбудить между ними соперничества, не произвести между ними столкновения, не произвести вражды между ними и собственным их делом; нельзя было, по крайней мере вдруг, удалить людей, стоявших наверху в прежнее царствование и не участвовавших в перемене, ибо и они, исключая очень немногих, не были довольны прежним царствованием и не были виновны в том, чем возбуждалось всеобщее неудовольствие; нужно было показать, что никто из людей видных, полезных своею деятельностью не потерял от перемены; нужно было сделать так, чтоб прошлое не напоминало о себе ничем добрым, не высказывалось ни в одной силе, которая бы не осталась неупотребленною и которой не было бы дано лучшее направление в настоящем. В прошлое

царствование почти не было опал, потому что наступило спокойно, без переворота; новое царствование должно было показать свое превосходство тем, что не допускало опал, хотя и произошло вследствие переворота; не желалось показать, что были люди, и люди видные, которые враждебны новому царствованию; нельзя было нарушить всеобщности признания нового, всеобщности сочувствия к нему; а между тем естественно рождалось соперничество между людьми, которые считались своими, и между чужими, которые введены были в права своих. Нужно было неусыпными попечениями о делах внутренних показать народу, что Россия действительно избавлена от страшного расстройств, происходившего вследствие отсутствия разумной власти; а в делах внешних нужно было дать народу требуемый мир и в то же время восстановить значение, славу империи, потерю которых порицалось прошлое царствование.

Все видные участники событий 28 июня были щедро награждены повышениями по службе, военные получили вместе и придворные чины; кроме того, награждены населенными имениями, получили одни по 800, другие по 600, иные по 300 душ крестьян; некоторые получили одновременные денежные награды по 24000, 20000 и 10000 рублей; гетман Разумовский, Никита Ив. Панин и князь Мих. Никит. Волконский получили пожизненные пенсии по 5000 рублей в год. Кн. Дашкова пожалована в *кавалеры* ордена Св. Екатерины и получила денежную награду. Григорий Орлов сделан камергером, Алексей Орлов – секунд-майором Преображенского полка, оба получили Александровские ленты, брат их Федор сделан капитаном Семеновского полка, все трое получили по 800 душ крестьян, Теплов получил 20000 рублей. Богатою наградою указано было на участие в событии 28 июня двоих братьев, ярославских купцов, известных основателей русского театра Федора и Григорья Волковых: они получили дворянство и 700 душ.

Екатерина спешила возратить двоих опальных прежнего царствования – бывшего канцлера Бестужева-Рюмина и бывшего генерал-прокурора князя Якова Шаховского. В первые дни царствования императрица пользовалась советами преимущественно двух лиц – Никиты Ив. Панина и старого сенатора, птенца Петра Великого, Ив. Ив. Неплюева; ей важно было иметь подле себя еще двоих людей, знаменитых своею опытностию, одного во внешних, другого во внутренних делах, – Бестужева и Шаховского. 1 июля князь Яков, приезжавший из деревни на короткое время в Москву, уже собирался ехать опять в деревню, как вошел к нему пасынок гвардейский офицер Лопухин и с тревожным видом объявил, что встретил на улице две дорожные коляски; сидевший в первой из них гвардейский офицер Колышкин, увидав его, велел остановить лошадей, подбежал к его карете и в восторге сказал ему: «Поздравляю тебя с новою императрицею Екатериною Алексеевною, которая на престол Богом возведена, и я теперь скачу, не останавливаясь, с указом ее в-ства к графу Алексею Петровичу Бестужеву, чтоб он немедленно ехал в Петербург». После этих новостей Шаховской отложил отъезд в деревню и на другой день получил из Сенатской конторы экземпляр манифеста о восшествии на престол Екатерины и извещение, что тот же князь Меншиков, который привез в Москву манифест, привез также указ, повелевающий ему, Шаховскому, немедленно ехать в Петербург. Большой колокол на Иване Великом уже гудел. Успенский собор и вся площадь наполнена была разного

звания людьми, «которые с радостными восторгами благодарили всемогущего за сию ко всеобщему благополучию соделанную в отечестве нашем перемену». Очувтившись вследствие этой перемены опять в Петербурге, Шаховской при первом представлении услышал из уст императрицы самые лестные отзывы о прежней своей службе и желание, чтоб он опять занял, место сенатора. «День от дня оказываемые знаки милости е. и. в., и особливо со мною о многих внутренних делах, к сведению ее потребных, частые разговоры и являемые доверенности ободряли. меня и делали неутомленным», – говорит Шаховской.

В половине июля приехал из Горетова и старый Калхас, давно пророчествовавший и составлявший проекты о том, что теперь совершилось. Бестужев приехал прямо во дворец и был принят императрицею как старый друг. Старик казался очень дряхлым. Никто не сомневался, что он будет иметь большую долю участия в правлении, хотя никто не мог указать место, какое он мог занять; никаких перемен не предвиделось: Воронцов оставался великим канцлером, и Панин по-прежнему считался доверенным лицом императрицы. Екатерина не могла не возвратить Бестужева и считала его полезным советником; старик должен был довольствоваться тем, что к нему обращались за советом в важных случаях, и обращались в самых лестных формах. Екатерина обыкновенно писала ему: «Батюшка Алексей Петрович!» Но канцлерства она ему возвратить не хотела; она хорошо знала упрямство Бестужева в проведении своей любимой, раз принятой системы, в поддержании раз принятых решений. Особенно такой канцлер был неудобен теперь, при запутанности европейской политики, когда и для России должна была выработаться новая система; а главное, такой канцлер был неудобен для Екатерины, которая по своей энергии хотела сама управлять внешнею политикою, причем, разумеется, искала в канцлере собственно секретаря. Воронцов, несмотря на личное нерасположение к нему Екатерины, был очень удобен теперь, вначале, в переходное время, а потом имелся в виду Панин, который хотя также был человек самолюбивый и пристрастный к своей системе, но по характеру своему, по своей медленности и осторожности он уже был эластичнее, а главное, он был свежее, доступнее новому, с ним было легче сойтись в мыслях, чем с Бестужевым, который в некоторых случаях мог казаться пришельцем из другого мира.

Очень вероятно, что Бестужев мечтал о возвращении канцлерства; но до него стали доходить слухи, что его считают уже слишком дряхлым для этой трудной должности. Но было еще другое важное препятствие для полного восстановления его значения: если бы он подвергся опале при Петре III, то при перемене, вследствие которой все события этого царствования являлись в черном цвете, все опальные того времени само собою являлись невинными и не нуждались в оправдании; но Бестужев подвергся опале при Елисавете, которая оставила по себе такую добрую память между русскими людьми; теперь ее память стала еще дороже для них после шестимесячного царствования ее племянника, и Бестужев чувствовал, что сильно нуждается в оправдании. Любопытно в этом отношении письмо его к племяннику князю Мих. Никит. Волконскому: «Мне просимое оправдание столь нужнейшим есть, что хотя многие от высочайшего ее и. в. милосердия неизреченные милости получил, однако ж бы оное за верх своего благополучия и обрадования при недолговременной своей жизни имел; а инако бы я в прежнем поношении бывшим арестом как преступник остался, к великому

оскорблению и печали, которая прежде времени меня в гроб свести легко может; Да и без того уже слышу о себе из зависти за уверенность ее и в-ства ко мне разные толкования, будто я младенчеству, и никакой памяти не имею, и ни к каким делам не способен. Рассудите, ваше сиятельство: буде я за старостию и слабою памятию к службе неспособным почитаем, то хотя бы другой кто и в половине 70 лет был, но, в гонениях и утеснениях будучи полпята года, притом лишаясь наималейшего сведения о происхождениях и делах в Европе, едва ли возможен понятие и рассуждение об оных явственно и так скоро иметь, как я сюда приехал. Однако ж при всегдашней от Бога помощи в делах мог бы еще несколько и я по своей обыкновенной ревности службу показать, когда б только состояние мое нынешнее поправлено и от поношения избавлено было. А впрочем, я не завидлив, но, по пословице, отдаю тому книги, кто лучше знает, и ничего себе не желаю – ни славы в великой знатности, ни богатства, будучи одною ногою почти во гробе, а только желаю оставить по себе честное имя».

Но именно побуждения, по которым Бестужев так сильно желал оправдания, и затрудняли дело: оправдать Бестужева значило обвинить Елисавету. Желание Бестужева, однако, было исполнено: 31 августа издан был оправдательный манифест, в котором Екатерина говорила: «Граф Бестужев-Рюмин ясно нам открыл, каким коварством и подлогом недоброжелательных доведен он был до сего злополучия, и тем возбудил в нас самих не токмо о нем достойное сожаление, но и крайнее удовольствие, что наше ему освобождение нашлось соответствующее тому правосудию, с которым мы царствовать начали. Паче всего сим подтвердил он нам, что, чем тягчайшее на кого-либо приносится обвинение, тем глубочае и осторожнее прежде в исследовании поступить надлежит, а инако осуждение безвинно быть может; ибо хотя наша вселюбезнейшая тетка, императрица Елисавета Петровна, как нам самим и всему свету известно было, прозорливая, просвещенная и милосердая и притом и правосудная монархиня была, но, кроме сердцевода Бога, никому из смертных в человеческие помышления проникнуть невозможно, и потому несомненно противу воли и намерения ее дело к несчастью его, графа Бестужева-Рюмина, до сего времени обращалось. Итак, в защищение ее имени и добродетелей, с которыми она царствовала милосердно и человеколюбиво, за истинную к ней любовь и почтение, а паче и за долг христианский и монарший мы приняли: его, графа Бестужева-Рюмина, всенародно показать паче прежнего достойным покойной тетки нашей, бывшей его государыни, доверенности и нашей особливою к нему милости, яко сим нашим манифестом исполняем, возвратя ему с прежним старшинством чины генерал-фельдмаршала, действительного тайного советника, сенатора и обоих российских орденов кавалера с пенсионом по 20000 рублей в год». Как-нибудь соблюдено было приличие относительно памяти императрицы Елисаветы; но с каким чувством должны были читать манифест живые люди – Трубецкой, Бутурлин и Александр Шувалов, члены следственной комиссии по делу Бестужева? Воронцов, который считался главным врагом последнего, Ив. Ив. Шувалов, которого считали ответственным за важнейшие явления второй половины елисаветинского царствования? Но эти люди не считали теперь удобным для себя быть очень обидчивыми.

Бестужев требовал и получил торжественное оправдание; но было двое опальных по его делу, двое людей, бывших близкими к Екатерине, – Ададуров и

Елагин. Эти не домогались торжественного оправдания, они просто были возвращены и щедро награждены. Ададуров из статских советников был пожалован в тайные, получил место президента Мануфактур-коллегии; полковник Елагин был произведен в действит. статские советники с тем, чтоб ему быть у кабинетных дел императрицы. В письме к Понятовскому Екатерина так упоминает о людях, известных последнему: «Теплов оказал мне большие услуги, Ададуров бредит, Елагин у меня».

Из лиц, близких или считавшихся близкими к бывшему императору, вначале подверглись кратковременному аресту Гудович, Волков и Мельгунов, как видно, из предосторожности, чтоб они не стали действовать в пользу Петра III; точно так сначала боялись Гольца и сильно старались узнать содержание его переписки, даже мелькала мысль захватить бумаги Гольца и сложить вину на солдат; но мысль эта только мелькнула и исчезла. Гудович вышел в отставку и удалился в свою черниговскую деревню. Волкова, как человека даровитого и могшего быть очень полезным, в отставку не пустили, а отправили вице-губернатором в Оренбург, поступили с ним точно так же, как Елисавета поступила с Неплюевым при своем воцарении; но мы увидим, что Волков не останется так долго на среднеазиатской Украине, как Неплюев: известные оправдательные письма его могли произвести впечатление, особенно когда ничего не было найдено ему в обвинение. Мельгунов был также временно удален на южную Украину. Имя Мельгунова тесно соединялось с именем Ив. Ив. Шувалова. Последнему легко было оправдаться в своих невольных сборах сопровождать Петра III в заграничную армию; он не сделал ни малейшего затруднения в признании нового правительства; но его не любила Екатерина, не любили его люди, к ней близкие: он имел слишком большое значение при Елисавете, большое влияние на судьбу всех, начиная с Екатерины, был слишком крупен, нравственно силен, беспрестанно попадался на глаза и потому сильно мешал. Он имел известность за границу, переписывался с людьми, мнением которых очень дорожили тогда в Европе. Екатерине передали, что Шувалов в письме к Вольтеру неуважительно отозвался о событии 28 июня, приписав его молоденькой женщине Дашковой. Масло было подлито в огонь, задета была самая живая струна, потому что Екатерина приписывала себе направление движения, другие были только орудиями; сильное раздражение ее против Шувалова высказалось в чрезвычайно резких выражениях. Шувалов нашелся в самом неприятном положении, из которого чрез несколько времени мог выйти только отъездом за границу.

Кратковременному удалению должна была подвергнуться графиня Елисавета Романовна Воронцова по тому значению, какое она имела в бывшее царствование. 29 июня она возвратилась в дом к отцу своему, который, по словам другой своей дочери, княгини Дашковой, вовсе не рад был этому возвращению, во-первых, потому, что никогда очень не любил Елисаветы, а во-вторых, потому, что Елисавета, будучи *во времени*, не подчинялась его влиянию в той степени, в какой бы он хотел. До нас дошла записка Екатерины Елагину насчет Елисаветы Воронцовой: «Перфильевич, сказывал ли ты кому из Лизаветиных родственников, чтоб она во дворец не размахнулась, а то боюсь, к общему соблазну, завтра прилетит». Для предотвращения этого соблазна Елисавету отправили в отцовскую подмосковную, а после коронации, когда двор уехал из Москвы, Елисавета поселилась в этом городе, где и жила до своего выхода замуж за бригадира

Полянского, после чего переехала в Петербург. На Елисавету сердились родственники за то, что при Петре III она ничего для них не сделала; теперь сердились за то же на Екатерину Романовну (Дашкову). Канцлер Воронцов в августе писал в Лондон племяннику своему графу Александру Романовичу: «О сестре вашей княгине Дашковой уведомить имею, что мы от нее столько же ласковости и пользы имеем, как и от Елисаветы Романовны, и только что под именем ближнего свойства слышем, а никакой искренности, ни откровенности и еще менее какого-либо вспомоществования или надежды, чтоб в пользу нашу старания прилагала, отнюдь не имеем; и она, сколько мне кажется, имеет нрав развращенный и тщеславный, больше в суетах и мнимом высоком разуме, в науках и пустоте время свое проводит. Я опасаюсь, чтоб она капризами своими и неумеренным поведением и отзывами столько не прогневала государыню императрицу, чтоб от двора отдалена не была, а чрез то наша фамилия в ее падении напрасного порока от публики не имела. Правда, она имела многое участие в благополучном восшествии на престол всемилостивейшей нашей государыни, и в том мы ее должны весьма прославлять и почитать; да когда поведение и добродетели не соответствуют заслугам, то не иное что последовать имеет, как презрение и уничтожение. Я истинно на нее сердца или досады не имею и желаю ей иметь всякое благополучие, только индифферентность ее к нам чувствительна и по свойству несносна, тем более что от благополучия ее не имеем пользы, а от падения ее можем претерпеть напрасное неудовольствие. Вы, сие зная, должны иметь в переписке с нею всякую осторожность. Что же касается до мужа ее, то он нам непременно прежнюю ласковость и учтивость оказывает и ведет себя скромно и разумно. Господин Одар имел также участие в счастливой перемене и, как весьма разумный человек, поведение свое осторожно имеет и к нам преданность и благодарность свою оказывает. Он получил позволение отъехать в Италию для привезения сюды своей фамилии, уже с месяц времени как отъехал, поныне он не получил еще награждения, как токмо 1000 рублей для проезду своего».

Граф Александр Романович, узнав о возвышении одной сестры и о падении другой, стал в своих письмах осыпать упреками первую, зачем не помогает второй. «По всем известиям из Петербурга, – писал он Дашковой, – ее и. в-ство оказывает вам великие милости, и потому я не могу оправдать вашего равнодушия к судьбе нашей сестры Елисаветы, я не знаю даже, что с нею сделалось. За ваши заслуги вы должны были бы просить одной награды – помилования сестры и предпочесть эту награду Екатерининской ленте; вы бы тогда не изменили проповедуемым вами философским убеждениям, которые заставляли меня думать, что вы равнодушны к величию человеческому». Граф Александр прямо обратился к императрице с просьбою о милости к сестре и получил ответ: «Вы не ошиблись, веря, что я не изменилась относительно вас. Я с удовольствием читаю ваши донесения и надеюсь, что вы будете продолжать вести себя так же похвально. Вы должны успокоиться насчет судьбы вашего семейства, о котором я видела все ваше беспокойство. Я улучшу положение вашей сестры как можно скорее».

Но эта возможность представилась не скоро, и нетерпеливый граф Александр не переставал колоть Дашкову в своих письмах. Он колот ее дошедшими до него слухами, будто она отобрала у сестры все ей принадлежавшее и даже не дала ей самых необходимых вещей при отправлении в деревню. Граф Александр писал,

что не только родственная привязанность, но и благодарность заставляет его заступаться за сестру Елисавету. Дашкова хотела его поймать на этом и, отвергая слухи о завладении сестриными вещами, писала, что она не позволила бы себе так поступить с сестрою, которую любит искренне. «Вы, конечно, знаете, – писала она, – что я ничем не обязана ни ей, ни кому-либо из моей родни; я ее люблю и забочусь о ней искренне, не будучи принуждаема к тому благодарностию, поэтому чувства мои проистекают из источника более чистого». Граф Александр еще больше рассердился: в ответе своем он с злою ирониею повторял известия о более чем человеколюбивом способе, какой употребила Дашкова для утешения своей несчастной сестры, писал, что такой способ утешения будет служить памятником ее бескорыстия в потомстве, что этот поступок ее будут приводить в назидание. «Вы благоразумно поступаете, – писал он, – желая уменьшить достоинство благодарности, потому что не имеете этого чувства в значительном количестве, и, чтоб совершенно от него освободиться, говорите, что ничем не обязаны всей своей родне. Позвольте напомнить вам, что вы ошибаетесь. Во-первых, вы обязаны своей сестре тем, что муж ваш был послан в Константинополь, и множеством других мелких услуг; она по вашему желанию удержала отправление ваше в Москву и предложила вам дом, ей тогда подаренный. Относительно отца нашего я не распространяюсь об обязанностях, которые вы к нему имеете. Всем известны также заботы дяди и тетки о вашем воспитании и об устройстве вашей судьбы».

Императрица, разумеется, не сочла позволительным для себя не быть великодушною относительно человека с европейскою известностию, Миниха, безопасного по своей старости и иностранству, делавшему его одиноким; притом старик мог еще быть полезен. При Петре III Миних просил или сделать его сибирским губернатором по знанию тамошних обстоятельств, или поручить ему главную дирекцию над Ладожским каналом. При Петре он не получил ни того ни другого; при Екатерине он сделан генерал-директором над портом Балтийским, портом Нарвским, над Кронштадтским и Ладожским каналами и над Волховскими порогами. Люди, содействовавшие перемене, были награждены; противники были прощены или наказаны очень легко сравнительно с наказаниями, сопровождавшими прежние перемены; оставалось деятельностью неумолимою и серьезною показать противоположность нового правления с прежним.

Между бумагами Екатерины II находится собственноручная ее записка на французском языке; в этой записке говорится, что на пятый или на шестой день по своем восшествии на престол императрица присутствовала в Сенате, которому приказала собираться в Летнем дворце, чтоб ускорить течение дел. Сенат начал с представления о крайнем недостатке в деньгах; представил также, что цена хлеба в Петербурге поднялась вдвое против прежнего. На первое Екатерина отвечала, что употребит на государственные нужды собственные комнатные деньги, что, «принадлежа сама государству, она считает и все принадлежащее ей собственностию государства, и на будущее время не будет никакого различия между интересом государственным и ее собственным». Сенаторы встали и со слезами на глазах благодарили императрицу за такие чувства. Екатерина велела выдать из комнатных денег, сколько было нужно на государственные потребности. Для понижения же цен на хлеб в Петербурге она запретила временно вывоз хлеба за границу, что в два месяца произвело дешевизну всех припасов. Потом на

очереди было дело о позволении евреям въезжать в Россию, и это дело привело императрицу в большое затруднение. «Не прошло еще осьми дней, – думала она, – как я вступила на престол и была возведена на него для защиты православной веры; я имею дело с народом религиозным, с духовенством, которому нечем жить вследствие отобрания имений, меры необдуманной; умы в сильном волнении, как обыкновенно бывает после такого важного события; начать царствование указом о свободном въезде евреев было бы плохим средством к успокоению умов; признать же свободный въезд евреев вредным было невозможно». Из этого затруднения вывел Екатерину сенатор князь Одоевский, который встал и сказал ей: «Не угодно ли будет в. в-ству прежде решения дела взглянуть, что императрица Елисавета собственноручно написала на полях подобного же доклада». Екатерина велела принести дело и прочла: «От врагов Христовых не желаю корыстной прибыли». Прочитавши, Екатерина обратилась к генерал-прокурору Глебову и сказала ему: «Я желаю, чтоб это дело было отложено».

В журналах и протоколах Сената мы не найдем тех известий и подробностей, какие находим в записке Екатерины. Из них видим, что со дня вступления на престол до 1 сентября, когда императрица отправилась в Москву для коронации, она присутствовала в Сенате 15 раз. В первый раз ее присутствие записано 1 июля. В это заседание Сенат доложил императрице, что 27 июня получен им был указ бывшего императора о построении к будущей кампании 1763 года девяти или по крайней мере шести кораблей и о забрании для того всех лесов, чьи бы то ни были; Сенат представил, что от этого произойдет обывателям разорение; для такого чрезвычайного строения и особенно вооружения денег и людей нет, да и нужды в таком строении не признается. Екатерина не велела исполнять этот указ, равно как и другие: указ 27 же июня, чтоб не делать отсрочек платежам в банки, и указ 24 мая об учреждении банковых билетов. На другой день, 2 июля, Екатерина также присутствовала в Сенате и отменила все нововведения, сделанные в полках в царствование Петра III; 4 июля вышло распоряжение, чтоб гетман малороссийский граф Разумовский имел в команде все пехотные полки, около Петербурга расположенные, и гарнизоны Петербургский и Выборгский, а графу Бутурлину иметь команду над полками кавалерийскими, около Петербурга стоящими.

6 июля Екатерина вошла в Сенат в начале одиннадцатого часа и объявила подписанный ею манифест с обстоятельным описанием своего восшествия на престол. «Отечество вострепетало, – говорилось в манифесте, – видя над собою государя и властителя, который всем своим страстям прежде повиновение рабское учинил и с такими качествами воцарился, нежели о благе вверенного себе государства помышлять начал». Следуют обвинения Петра III в том, что он неприлично вел себя при гробе покойной императрицы: «Радостными глазами на гроб ее взирал, отзываясь притом неблагодарными к телу ее словами». Потом «коснулся перво всего древнее православие в народе искоренять своим самовластием, оставив своею персоною церковь Божию и моление, так что когда добросовестные из его подданных, видя его иконам непоклонение и к церковным обрядам презрение или паче ругательство, приходя в соблазн, дерзнули ему о том напомнить с подобострастием в осторожность, то едва могли избежать тех следствий, которые от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти бы могли. Потом начал помышлять о

разорении и самих церквей и уже некоторые и повелел было разорить самым делом; а тем, которые по теплоте и молитве к Богу за слабым иногда здоровьем не могли от дому своего отлучаться, вовсе закон предписал никогда церквей Божиих в домех не иметь. Презрел он и законы естественные и гражданские: ибо, имея он единого Богом дарованного нам сына, при самом вступлении на престол не восхотел объявить его наследником престола, оставляя самовольству своему предмет, который он в погубление нам и сыну нашему в сердце своем положил, и вознамерился или вовсе право, ему преданное от тетки своей, испровергнуть, или отечество в чужие руки отдать, забыв правило естественное, что никто большего права другому дать не может, как то, которое сам получил. Законы в государстве все пренебрег, судебные места и дела презрел и вовсе об них слышать не хотел, доходы государственные расточать начал вредными государству издержками; из войны кровопролитной начинал другую безвременную и государству Российскому крайне бесполезную, возненавидел полки гвардии, освященным его предкам верно всегда служившие, превращать их начал в обряды неудобноносимые. Армию всю раздробил такими новыми законами, что будто бы не единого государя войско то было, но чтоб каждый в поле удобнее своего поборника губил, дав полкам иностранные, а иногда и развращенные виды, а не те, которые в ней единообразием составляют единомушние». Относительно отречения Петра III в манифесте сообщены некоторые подробности: «Он два письма одно за другим к нам прислал: первое чрез вице-канцлера нашего кн. Голицына, в котором просил, чтоб мы его отпустили в отечество его Голстинию, а другое чрез генерал-майора Мих. Измайлова, в котором сам добровольно вызвался, что он от короны отрицается и царствовать в России более не желает, где притом упрашивает нас, чтоб мы его отпустили с Лизаветою Воронцовою да с Гудовичем также в Голстинию. И как то, так и другое письмо, наполненные ласкательствами, присланы были несколько часов после того, что он повеление давал действительно нас убить, о чем нам те самые заподлинно донесли с истинным удостоверением, кому сие злодейство противу живота нашего препоручено было делом самим исполнить». Манифест оканчивался обещанием: «Наше искреннее и нелицемерное желание есть прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол: то таким же образом здесь наиторжественнейше обещаем нашим императорским словом узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного нашего отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка, и тем уповаем предохранить целость империи и нашей самодержавной власти, бывшим несчастием несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». По прочтении этого манифеста императрица «изволила Прав. Сенату отдать в конверте бывшего императора Петра III своеручное и за подписанием его об отрицании от правительства Российским государством удостоверение в оригинале, повелевая оное, прочтя и запечатав всем сенаторам своими печатями, хранить в Сенате, которое тогда ж в собрании Прав. Сената читано и гг. сенаторами запечатано».

Но того же 6 июля случилось событие, которое потребовало нового манифеста: пришло известие о смерти бывшего императора в Ропше, смерти насильственной. «Я нашла императрицу, – говорит Дашкова, – в совершенном отчаянии; видно было, под влиянием каких тяжелых дум она находилась. Вот что она мне сказала: „Эта смерть наводит на меня невыразимый ужас; этот удар меня сокрушает“». 7 июля был издан манифест: «В седьмой день после принятия нашего престола всероссийского получили мы известие, что бывший император Петр III обыкновенным, прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в пружестокую колику. Чего ради, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой, которою мы одолжены к соблюдению жизни ближнего своего, тотчас повелели отправить к нему все, что потребно было к предупреждению следств из того приключения, опасных в здравии его и к скорому вспоможению врачеванием. Но, к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца, вчерашнего вечера получили мы другое, что он волею всевышнего Бога скончался. Чего ради мы повелели тело его привезти в монастырь Невский для погребения в том же монастыре, а между тем всех верноподданных возбуждаем и увещеваем нашим императорским и матерним словом, дабы без злопамятствия всего прошедшего с телом его последнее учинили прощание и о спасении души его усердные к Богу приносили молитвы. Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысл его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему отечеству строит путем, его только святой воле известным».

На другой день после издания этого манифеста, 8 июля, в собрании Сената встал и начал говорить сенатор Никита Ив. Панин: «Известно мне, что ее и. в-ство намерение положить соизволила шествовать к погребению императора Петра III в Невский монастырь; но как великодушное ее в-ства и непамятозлобивое сердце наполнено надмерною о сем приключении горестию и крайним соболезованием о столь скорой и нечаянной смерти бывшего императора, так что с самого получения сей нечаянной ведомости ее в-ство в непрерывном соболезовании и слезах о таком приключении находится; то хотя я, почитая за необходимый долг, обще с г. гетманом графом К. Г. Разумовским и представляли, чтоб ее в-ство, сохраняя свое здравие, по любви своей к Российскому отечеству для всех истинных ее верноподданных и для многих неприятных следств изволила б намерение свое отложить; но ее в-ство на то благоволения своего оказать не соизволила, и потому я за должное признал потом Прав. Сенату объявить, дабы весь Сенат по своему усердию к ее в-ству о том с рабским своим прошением предстал». «Сенат, уважа все учиненные г. сенатором Паниным справедливые изъяснения, тотчас пошел во внутренние ее в-ства покои и раболепнейше просил, дабы ее в-ство шествие свое в Невский монастырь отложить соизволила, и хотя ее в-ство долго к тому согласия своего и не оказывала, но напоследок, видя неотступное всего Сената рабское и всеусерднейшее прошение, намерение свое отложить благоволила». Петр III был погребен в Александро-Невском монастыре.

Неизвестно, по чьему внушению Сенат нашел нужным показать новый знак своего усердия к Екатерине и своего сочувствия к делу 28 июня. 17 июля был призван в Сенат генерал-поручик Бецкий и услышал такое предложение: «Так как ее и. в-ство принятием императорского престола толико излила всем ее верноподданным матерних щедрот, что оные до поздних времен в сердцах

искренних сынов отечества в незабвенной памяти остаться должны, то Сенат за рабскую должность признает в бессмертную ее и. в-ства славу сделать монумент, к чему вы по вашему довольному к подобным знаниям искусству избраны, и потому Сенат на ваше рассуждение предает, какой вы заприличнее столь славным делам ее и. в-ства монумент сделать найдете, о том бы Сенату свое мнение с планами статуям, обелискам и медалям подали». Бецкий отвечал, что он «поручение ему столь великого дела признает за особое для себя счастье, и хотя он к исполнению того находит себя недостаточным, однако ж по долговременной своей бытности в чужих краях и получа там знакомство со многими учеными и искусными людьми надеется с помощью их сие к удовольствию Прав. Сената исполнить».

Но среди этих движений, порожденных событиями 28 июня и 6 июля, в Сенате шла сильная деятельность, показывавшая, что новое правительство хочет сдержать свои обещания. 3 июля, присутствуя в Сенате, императрица приказала сбавить с соли по гривне с пуда, и Сенат должен был стараться как можно скорее отыскать средства сбавить еще больше. Сбавка гривны составляла 612021 рубль; надобно было их заменить в доходе, и 12 июля состоялся именной указ брать из миллионной комнатной суммы, вносимой к императрице из соляного же сбора, по 300000 рублей в год, а остальные брать из передела медных денег. Этим указом объясняются слова Екатерины о пожертвованиях для государства из комнатной суммы. 23 июля Сенат получил указ: «Понеже в бывшее пред сим правительство государственная казна истощена, излишних расходов приумножено, от чего неисчислимыя приключаются в государстве неполезности, и для того надлежит Прав. Сенату стараться: 1) розданные из казны займы деньги взыскать; 2) бывшие засеки и где есть порожины, а дворянам надобные земли продать, чрез что многим помещикам в размножении экономии прибавятся способы, а казне при нынешних недостатках к исправлению государственных надобностей спомоществование; 3) военные и гражданские штаты рассмотреть и, что к полезнейшему тех впредь состоянию потребно, представить ее и. в-ству; 4) тщиться, чтоб в коллегиях и канцеляриях судейские места достойными наполняемы были, и чтобы справедливая служба награжденной была, и малоимущие не имели причин к лихоимству склоняться, назначить каждому пристойное жалованье, изыскав на то деньги не вновь налагаемыми с народа сборами, но другими благопристойнейшими способами, и подать ее и. в-ству немедленно; 5) потщиться к пресечению ябеднических происков и к скорейшему обидимых удовольствию сыскать пристойные способы».

Относительно лихоимства Екатерина в сильнейших выражениях повторила указ Елисаветы 16 августа 1760 года, причем прямо указала на вынесенное из древней России зло и на привычку смотреть на службу как на кормление. «Мы уже от давнего времени слышали довольно, – говорит именной указ 18 июля, – а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве нашем лихоимство возросло: ищет ли кто места – платит; защищается ли кто от клеветы – обороняется деньгами; клеветает ли на кого кто – все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротив того: многие судящие освященное свое место, в котором они именем нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от нас звание судии бескорыстного и нелицеприятного за пожалованный будто им доход в поправление дома своего, а

не за службу, приносимую Богу, нам и отечеству, и мздоприимством богомерзким претворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим. Таковыми примерам, которые вкоренились от единого бесстрашия а важнейших местах, последуют наипаче в отдаленных находящиеся и самые малые судьи, управители и разные к досмотрам приставленные командиры и берут с бедных самых людей не токмо за дела беззаконные, делая привязки по силе будто указов, но и за такие, которые не иначе как нашего благоволения достойны, так что сердце наше содрогнулося, когда мы услышали от нашего лейб-кирасирского вице-полковника князя Михайла Дашкова, что Новгородской губернской канцелярии регистратор Яков Ренбер, приводя ныне к присяге нам в верности бедных людей, брал и за то с каждого себе деньги, кто присягал, которого Ренбера мы и повелели сослать на вечное житье в Сибирь на работу, и никто, обвиненный в лихоимстве, яко прогневающий Бога, не избежит и нашего гнева, так как мы милость и суд Богу и народу обещали».

В упомянутой записке своей Екатерина жалуется, что до нее «почти все отрасли торговли были отданы частным людям в монополию». Поэтому с самого же начала мы должны ожидать распоряжений, направленных против монополий. 31 июля издан был указ о торговле; принятые в ее пользу меры были следующие: 1) хлебом торг производить из всех портов с половинною пошлиною против той, которая собирается в Риге, Ревеле и Пернау; но возобновляется постановление Петра Великого, что хлеб отпускается за границу только тогда, когда он дешевле внутри России; 2) из всех портов отпускать соленое мясо и самую скотину с теми же условиями; 3) порт Архангельский снабдить всеми теми выгодами, какими пользуется Петербургский, лишнюю пошлину отставить, да и генерально все порты и таможни такими сделать, чтоб все то привозимо и отпускаемо быть могло, что сюда (в Петербург) привозится и отсюда отпускается; 4) ревеню быть в вольной торговле; 5) поташ и смольчуг оставить казенным товаром для сбережения лесов, по мысли Петра Великого; 6) смолу отдать в вольную торговлю; 7) узкий холст и хрящ вольно вывозить за границу; 8) льняную пряжу за границу не выпускать; 9) выписывание шелку и выпуск бобров сделать вольным, отняв у Шемякина привилегию; 10) китайскую торговлю сделать вольною; 11) тюленьи и рыбные откупа уничтожить; 12) табачный откуп уничтожить. Чрез несколько дней велено было взять у Шемякина и таможенный откуп, который он держал с 1758 года, платя в казну два миллиона ежегодно; откуп отнимали за беспорядочное правление и нарушение контракта.

Сенат, исполнив поручение, возложенное на него 3 июля, представил, что с соли можно еще сбавить гривну и продавать ее во всей России по 30 коп. пуд, в Астрахани и Красном Яру, где производилась обширная солка рыбы, – по 10 коп., в Архангельске одним рыбным промышленникам – по 15 коп. Так как элтонская соль в провозе до Нижнего становится казне дорого, притом черна и не очень хорошего качества, а есть лучше ее, соль илецкая, то стараться вместо элтонской ставить илецкую; продавать соль из казны, но позволить и вольную торговлю, продавая вольным торговцам из магазинов также по 30 коп.; нечего бояться, что они станут продавать соль дорого, обвешивать, мешать с песком и сором, потому что покупатели, заметив это, станут брать соль из казны. Вследствие сбавки другой гривны убудет из дохода 604027 рублей в год, и для пополнения этого

недостатка Сенат думал наложить: 1) Во всем государстве на продаваемое из кабаков горячее вино по 30 коп., на пиво и мед – по 5 коп. на ведро. Этих прибавочных денег от вина по сложности с 1760 и 1761 год должно быть 352565 рублей, от пива и меду – 182559 рублей, итого 635122 рубля; установить этот налог можно, потому что в кабаках напиткам продажа вольная и народного отягощения не производящая. 2) С явки пив и полпив вместо прежних 5 коп. брать с четверти хлеба по 20 коп. 3) Отдать герберги (гостиницы) на откуп, кто больше даст. 4) Позволить брать соль по продажной цене из казны и отвозить за границу. 5) Со всех протестованных векселей брать в казну по два процента.

Еще не исполнено было приказание покойной императрицы Елисаветы о вспоможении купцам, сильно пострадавшим от пожара 29 июня 1761 года, когда сгорели пеньковые и другие амбары. Екатерина потребовала от Сената, чтоб поднесен ей был доклад об этом деле. Сенат отвечал, что 21 марта бывшим императором утверждено было выдать купцам половину той суммы, которую они потеряли от пожара, из Медного банка на 10 лет без процентов; но эта выдача до сих пор не сделана, потому что из Медного банка назначено взять деньги на самые нужные расходы, да и вперед нельзя надеяться, чтоб можно было взять из Медного банка такую большую сумму, и потому Сенат возвращается к докладу, заготовленному для покойной императрицы Елисаветы, но не подтвержденному по случаю ее смерти; доклад состоял в том, чтоб зачесть купцам половину потерянной ими суммы в пошлину с их товаров при Петербургском порте в продолжение пяти лет. Императрица утвердила этот доклад; а для предотвращения подобного несчастья приказала Сенату составить планы каменных амбаров; если же Сенат не сыщет суммы, нужной для этой постройки, то она даст ее от себя займа.

Описывая печальное состояние империи во время своего вступления на престол, Екатерина говорит: «Заводские и монастырские крестьяне почти все были в явном непослушании властей, и к ним начали присоединяться местами и помещичьи. Заводских крестьян непослушание унимали посланные генерал-майоры: Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибииков, рассмотря на месте жалобы на заводосодержателей; но не однажды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек, и не унялось восстание сих людей, дондеже Гороблагодатские заводы за двухмиллионный казне долг графа Петра Ив. Шувалова возвращены в казенное управление, также воронцовские, чернышевские, ягужинские и некоторые другие заводы по таковым же причинам паки в казенное поступили ведомство. Весь вред сей произошел от самовластной раздачи Сенатом заводов сих с приписными к оным крестьянами. Сии заводские беспокойства пресеклись не прежде 1779 года манифестом моим о работах заводских крестьян». Здесь, разумеется, мы должны принять что-нибудь одно: или волнение заводских крестьян прекратилось вследствие передачи заводов от частных людей в казну, или вследствие манифеста о рабочих. Если принять последнее, то нельзя будет приписать всего зла тому, что Сенат роздал заводы частным лицам.

9 августа в присутствии императрицы в Сенате был подан ей доклад о собирании в казну впредь десятой доли с меди, железа, чугуна и со всего выделяющегося на частных заводах, но со вновь устраивающихся заводов этот платеж взыскивать только по прошествии десяти лет. Екатерина подписала: «Быть

по сему, а о розданных казенных заводах и о приписных крестьянах рассмотрение сделать». В том же присутствии она дала Сенату два приказания: 1) определить, «какие достаточные способы к весьма нужному размножению и сбережению лесов для переду принять надлежит; 2) для рассмотрения гражданских штатов быть особой комиссии при сочинении Уложения, и в оной быть главным князю Якову Петр. Шаховскому».

Относительно крестьянских волнений Екатерина еще 3 июля подписала указ: «Понеже благосостояние государства, согласно Божеским и всенародным узаконениям, требует, чтоб все и каждый при своих благонажитых имениях и правостях сохраняем был, так как и напротив того, чтобы никто не выступал из пределов своего звания и должности, то и намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении содержать». Но приходили известия о новых крестьянских волнениях. 19 июля в присутствии императрицы в Сенате читали просьбу генерал-майора Тевкелева на возмущившихся крестьян в Казанской и Оренбургской губерниях. 9 июля Екатерина велела распечатать домовые церкви, запечатанные в предшествовавшее царствование. Но предстоял трудный вопрос о монастырских имениях. 3 июля, присутствуя в Сенате, Екатерина приказала ему иметь рассуждение о духовенстве, как бы ему учинить удовольствие к его содержанию. Духовенство не дожидалось и подало прошение об отдаче ему во владение вотчин, и 5 июля императрица передала это прошение Сенату с приказанием иметь рассуждение и мнение свое ей донести. Опять рассуждение! А между тем ростовский митрополит Арсений (Мацеевич) в письме к графу Алексею Петр. Бестужеву-Рюмину так описывал положение, произведенное распоряжениями по указу Петра III: «Не надлежало бы мне утруждать теперь ваше высокографское сиятельство просьбою. Однако крайняя нужда влечет, яко за отобранием ныне от дома архиерейского и от монастыря вотчин приходится с голоду умирать, понеже хлеб у нас весь был по вотчинам в житницах, а при себе в самом доме архиерейском не держал, кроме как только на пищу молотый. А как указ застиг, то воевода ростовский тотчас по всем вотчинам житницы опечатал и, скот и птицы описавши, в свою команду взял, оставив меня со всем духовенством и мирскими служителями без пропитания, и не токмо будет есть нечего, когда смолотое и лежавшее в сушилах приедем, но и литургии святой служить нечем и некому, все принуждены идти с нищими в мир. Всепокорно прошу показать милость к домам Божиим, дабы старанием вашим возвращены вотчины были по-прежнему. Лошадей хотя малое число очень оставлено у нас, да и тех будет нечем кормить; не жаль того, что лошади у нас, все с кобылицами и малыми жеребятами, нарочным полковником, из Военной коллегии присланным, отобраны и в Петербург сведены, только жаль того, что завод, отчасти славный в государстве, совсем переведен и от нас не в прислугу высокомонаршей власти, но как бы за вину нечто конфискованное отобрано. В Ростове у нас воеводою надворный советник Петр Протасьев; невозможно ли постараться его отсюда переменить».

Преосвященные, пораженные указом Петра III, передавали друг другу в письмах своих сетования. Московский митрополит Тимофей писал Арсению ростовскому: «Что же касается до упомянутой в писании в. п. печали, то теперь не только вашу святость, но и всех нас коснулась эта скорбная метаморфоза, которая

жизнь нашу приводит к стенаниям и горестям (*nunc non solum vestram sanctitatem, sed omnes nos dolenda ista tetigit metamorphosis, quae vitam nostram ad gemitus et dolores ducit*)». Архиепископ Амвросий писал тому же Арсению 15 июля: «Поздравляю общею радостью со вступлением ее и. в-ства на престол; слава Богу, что мы все от мысленного ига избавление получили и теперь, как из манифеста (о коронации) изволите усмотреть, к сентябрю месяцу просим и ваше преосвященство к нам в Москву пожаловать и нам о известном деле помогать». Митрополит Тимофей 2 августа писал Арсению: «Августа 1 принял я писание в. п. всеприятно, в коем объявленные в прошедшем времени последовавшие несчастные приключения читал не без сожаления. У нас в отдаленных только местах таким образом поступлено и скот по описи весь взят, а в Москве их наглостей не видели. Лошади хотя все описаны, однако и поныне не отобраны и остались под ведением нашим; но и нам сия отрада не велика, ибо, с другой стороны, не без жалости видеть можно, что в вотчинах от тех же наших крестьян невозвратные поделаны разорения: леса порублены, сено расхищено, мелкий скот и птицы инде прежде описи еще побраны, а инде при описи искоренены, в прудах рыба выловлена, и, какие только вообразить можно, наделали как при описи бывшие офицеры, так и сами крестьяне опустошения. Да и при Москве в Черкизовском моем пруде не однажды описатели дерзостно рыбу ловили, однако же не единожды за то и сменяемы были. В таких-то смутительных обстоятельствах одна только суть отрадою надежда». Но митрополит оканчивает письмо печальными словами: «Надежду истребляет рознь между братьями (*spemmutat discordia fratrum*)».

16 июля Сенат составил доклад по поводу просьбы духовенства об отдаче ему отобранных имений: 1) имения возвратить; 2) со всех крестьян кроме семигривенного подушного оклада брать рубль, из которого 50 коп. пойдет в казну на содержание инвалидов, а 50 – архиереям, в монастыри и прочие места, куда крестьяне будут возвращены; 3) крестьяне должны управляться не служками монастырскими, а выборными старостами, которых будут выбирать сами крестьяне с переменою погодно. По поводу этого доклада 18 июля у Сената с Синодом была конференция. Преосвященные объявили, что первым пунктом доклада довольны; но относительно платежа 50 коп. в казну Афанасий тверской объявил, что это будет крестьянам тягостно, другой же половины на содержание монастырей и семинарий мало; по его мнению, надобно было возвратиться к решению Синода, состоявшемуся при императрице Елисавете, именно: духовенство будет вносить ежегодно по 300000 рублей; а что касается сбора на архиереев и монастыри, то это оставить на их усмотрение. К мнению тверского преосвященного пристали Гедеон псковской и Вениамин петербургский, а Палладий рязанский соглашался с сенатским мнением, равно как и Димитрий Сеченов новгородский, в чем и обнаружилась «рознь между братьями», которую оплакивал Тимофей московский. Димитрий новгородский прибавил, что необходимо учредить комиссию из духовных и светских лиц для сочинения монастырям, архиерейским домам и семинариям штатов. Насчет управления крестьян выборными все архиереи согласились с Сенатом.

Надобно было принять мнение Димитрия Сеченова о комиссии для составления штатов, ибо только после этого составления можно было определить, достаточно или недостаточно 50 коп., и тем прекратить споры и жалобы. Но

комиссия, разумеется, должна была затянуть дело, и рождался вопрос, чем же до ее решения будут содержаться монастыри и архиерейские дома; отдать до окончания дела монастырям имущества или не отдавать? Екатерина находила вопрос трудным, что видно из письма ее к Бестужеву от 8 августа: «Батюшка Алексей Петрович, прошу вас приложенные бумаги рассмотреть и мнение ваше написать; дело в том, комиссию ли учинить ныне, не отдавав деревень духовным, или отдавать ли ныне, а после сделать комиссию. В первой бумаге написано отдавать, а в другой – только чтоб они вступили во владение до комиссии. Пожалуй, помогай советами». Как видно, вследствие советов Бестужева, на которые могло иметь влияние письмо ростовского архиерея, 12 августа состоялся именной указ об отдаче всех синодальных, архиерейских, монастырских и церковных движимых и недвижимых имений для благопристойного духовного чина содержания им в управление, и об отставлении коллегии Экономии, и небытии посланным для управления церковных вотчин офицерам.

Такова была внутренняя деятельность Екатерины в два первые месяца ее царствования. Время было тяжелое для нее. Перемена 28 июня не могла остаться без нравственных последствий, без известной нравственной разнузданности. Екатерине нужно было много лет искусного, твердого и счастливого правления, чтоб приобрести тот авторитет, то обаяние, которое она производила в России и в целой Европе, чтоб заставить признать законность своей власти. В первое время царствования это признание не было всеобщим, и в Европе не было еще уверенности, что Екатерина удержится на престоле. Такие отношения заставляли Екатерину стараться об удержании при себе своих старых приверженцев, об увеличении их числа, заставляли сдерживаться, уступать, идти на сделки. Екатерина писала Понятовскому, что ей необходима величайшая осторожность, что за нею наблюдают. «Меня принудят, – писала она, – сделать еще тысячу странностей; если я уступлю, меня будут обожать; если нет, то не знаю, что случится». Предположим, в этих словах преувеличение, преувеличение намеренное; предположим, что Екатерина хотела выставить всю затруднительность своего положения, чтоб отвратить Понятовского от приезда в Петербург; но за этим преувеличением все же останется что-то верное. Разумеется, Екатерина не думала, что ее заставят сделать ровно тысячу странностей; но в числе странностей она считала настаивание некоторых сильных людей на учреждении постоянного совета, казавшегося для Екатерины очень неудобным, особенно по известным взглядам человека, более других толковавшего о необходимости совета, – Никиты Ив. Панина. Те самые люди, которые хотели по отстранении Петра III возвести на престол малолетнего сына его Павла, а Екатерину провозгласить только правительницею до совершеннолетия императора, – те самые люди после неудачи своего замысла настаивают на учреждении постоянного совета. Зачем это настаивание? Хотят оградить себя от влияния фаворитов? Раздражающее, оскорбительное побуждение! Предполагают в Екатерине такую слабость, что она будет руководиться в делах управления волею фаворитов. Но и при постоянном совете, при надстройке этого верхнего этажа над Сенатом влияние фаворитов может быть преобладающим. При Петре II Верховный тайный совет не спасал от влияния Долгоруких. Значит, есть какой-нибудь другой умысел, и постоянный

Императорский совет будет служить только средством к достижению чего-нибудь другого.

Дело не нравилось, возбуждало подозрение, а между тем считалось нужным уступать, соглашаться хотя на время, изыскивать способы впоследствии уклониться от него. В оправдательном манифесте Бестужева, написанном или переписанном рукою самой Екатерины, находим следующие слова: «И сверх того, жалуем его (Бестужева) первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашем Императорского совета». Но удалось исключить эти слова в печатном манифесте.

Для обеспечения себя от разных *странностей* надобно было поспешить коронациею, и выезд императрицы для этого в Москву назначен был на 1 сентября. Распоряжения по торжеству коронации были поручены князю Никите Юрьевичу Трубецкому. Князь Никита должен был устроить для императрицы помещение в Кремле и по этому случаю писал к заведовавшему Кабинетом Олсуфьеву: «Я, всячески рассматривая положение покоев в Кремле, в которых ныне резидовать изволит все милостивейшая государыня, не нахожу места, где б можно было быть церкви, а зная же великое благоволение ее и в-ства к Богу, рассуждая, что без церкви, дабы она в близости была, обойтись нельзя, нашел средства тому помочь, то есть чтоб с церковию Сретенского собора, которая в самой близости от апартаментов ее в-ства состоит и церковь изрядная, сделать из покоев ее в-ства покрытую и с окончинами деревянную коммуникацию, и как очень церковь холодная, то из находящейся около нее паперти теплые покои». Это распоряжение было одобрено Екатериною.

Приготовление короны было поручено И. И. Бецкому. По этому случаю кн. Дашкова рассказывает любопытное происшествие, из которого ясно видно, как событие 28 июня кружило головы. На четвертый день после переворота, когда императрица находилась вдвоем с Дашковою, Бецкий испрашивает позволения войти, входит, бросается на колена и начинает умолять императрицу признаться, чьему влиянию она приписывает свое воцарение. «Я обязана своим воцарением, – отвечает Екатерина, – Богу и избранию моих подданных». «В таком случае, – говорит отчаянным тоном Бецкий, – я не имею более права носить этот знак отличия» – и при этих словах начинает снимать с себя Александровскую ленту. Екатерина спрашивает его, что это значит. «Я самый несчастный человек, – отвечает Бецкий, – потому что в. в. не признаете во мне единственного виновника своего воцарения! Разве не я настроил к этому умы гвардейцев? Разве не я бросал деньги в народ?» Императрица и Дашкова обе пришли в беспокойство, подумавши, что Бецкий сошел с ума; но Екатерина скоро нашла средство успокоить Бецкого. «Я признаю, – сказала она, – сколько я вам обязана; и так как я вам обязана короною, то кому же лучше, как не вам, поручить приготовление всего того, что я должна буду надеть во время моей коронации? Итак, позаботьтесь об этом: все бриллиантники империи будут в вашем ведомстве». Бецкий пришел в восторг и рассыпался в благодарностях.

Из 25 сенаторов 20 отправлялись в Москву на коронацию, именно: гр. Бестужев, гр. Разумовский, кн. Трубецкой, Бутурлин, канцлер гр. Воронцов, гр. Александр Шувалов, Сумароков, Петр Чернышев, кн. Одоевский, кн. Алексей Голицын, гр. Петр Шереметев, кн. Шаховской, Никита Панин, гр. Скавронский, кн. Волконский, гр. Роман Воронцов, гр. Иван Воронцов, кн. Мих. Голицын,

Суворов, Брылкин. Пятеро оставались в Петербурге: Неплюев, Николай Андр. Корф, Жеребцов, Ушаков и Костюрин. По этому случаю Панин подал записку: «Когда адмирал Голицын был оставлен здесь членом Сенатской конторы (во время коронации Елисаветы), яко один сенатор, тогда в указе ему велено было иметь над всеми гражданскими и военными делами главную команду. Ныне оставляется здесь целый департамент сенатский, состоящий в пяти сенаторах, так не соизволено ли будет повелеть главному из них, что хотя все правление должно производимо быть в Сенатской конторе купно со всеми сенаторами, однако же попечение о неупущении и добром порядке более ему принадлежит. Старший сенатор Неплюев по бедности своей не имеет здесь такого дома, где б пристойно жить мог; да к тому же, яко главному в городе, надлежит ему иметь караул как для чести, так и для случающихся надобностей. Не меньше должен он принимать у себя в доме знатных чужестранных проезжающих и праздновать торжественные дни; того ради не соизволено ли будет указать ему по прежним примерам переехать жить в деревянный Зимний дворец и иметь караул, а на стол определить по 500 рублей на месяц. В рассуждение важной новости общего положения и оставляемого столь людного столичного города, в котором так свежо еще остается в памяти великое происшествие, требует наипаче штатский резон, чтоб сей распорядок соображаем был с зрелую политикою, которая должна быть приведена в пристойную знатность пред публикою. Следовательно, пристойно б было, если бы соизволено при самом отъезде пожаловать голубую ленту ему, Неплюеву, чем публика, следовательно, и общее послушание к нему вящше в респект приведены будут. А сей публичный знак высокой поверенности не может быть никому в предосуждение, потому что он не токмо всех тех старее, кои его не имеют, но и большая часть имеющих его моложе. Он же служит 50 лет и обращался всегда в отличных делах с пользою».

Панин поручил Теплову передать эту записку императрице, а сам 27 августа выехал с наследником престола в Москву. Выехал он, как видно, не очень довольный отношениями своими к Екатерине; его беспокоило влияние Григория Орлова, беспокоило и то, что учреждение Императорского совета было отложено. Не так действовал Бестужев: хитрый старик помнил, какую силу при Елисавете давала ему дружба Алексея Разумовского; он заискал и теперь у Орлова, не настаивал на том, что было неприятно, выказывал преданность безграничную и был за то «батюшка Алексей Петрович». Дашкова и Теплов были также недовольны. Относительно первой исполнилось предсказание дяди, канцлера: выставкою своего участия в событии 28 июня она раздражила Екатерину, раздражение усилилось ее столкновениями с Орловыми. Теплов жаловался, что не пользуется прежнею доверенностию императрицы, что Елагин перебивает у него дорогу, Екатерина могла охладеть к Теплову за его тесную связь с Паниным и Дашковою, но мог повредить ему и Бестужев. Мы видели, что по своем возвращении, стремясь к торжественному оправданию себя, Бестужев пересмотрел следственное дело, по которому он был осужден, и сделал свои замечания, конечно не оставшиеся тайною для Екатерины. Эти замечания указывали на Теплова как на изменника, который донес о переписке Екатерины с гетманом Разумовским. «О сем секрете, – писал Бестужев, – никому известно быть не могло, кроме Теплова: он единственно, злясь на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был; ежели он подобно тому в новом Тайном совете

поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностию, чистою совестью и искусством Адауров превосходить будет».

Как бы то ни было, Теплов был недоволен, что видно из писем его к уехавшему Панину. От 29 августа он писал: «Того момента, как вы поехали, я, потуживши о вашем отъезде с любезною нашею княгинею (Дашковою), пошел к е. в. и имел счастье подать ваше запечатанное письмо. Ее в-ство, прочитавши оное, думая, что материя мне письма вашего известна, сказать изволила: я не знаю, где тот указ, вить-де есть у тебя черный, принеси мне копию! Услышавши от меня, что содержания письма не знаю и что, о каком указе изволит говорить, я разуместь не могу, тогда изволила сказать: о Неплюеве. Это было поутру до обедни. Пополудни в 3 1/2 часа я принес вторично чисто переписанный и подал ее в-ству, после чего изволила мне показать одну резолюцию своеручную на докладе, кажется, о Перфильеве, а подлинно не рассмотрел: нет ли-де против языка ошибки? Я счастье имел об одной только самой малой представить, впрочем, очень правильно написана была. Потом я о Тотлебене доложил, и ее в-ство очень сожалеть изволила, что запаматовала о нем, надобно-де дело его до отъезда кончить; и когда я доложил, что в прежних делах сентенция оригинальная об Тотлебене находится, то ее в-ство повелеть мне изволила оную принести, с чем я и отошел. Скоро после того ее в-ство прислать ко мне изволила Минихово письмо с цедулкою и параллелями между порта Балтицкого и Ревельского с тем повелением, чтоб я, когда буду писать к в. п-ству, то б оные отослал, что я при сем и исполняю. Содержание письма Минихова показывает, что ее в-ство для забавы. вам оное посылает. И подлинно экспрессии больше, нежели все прежние, смеха достойны. К вечеру я подал сентенцию о Тотлебене. В заключение поговорим о княгине Дашковой, которая, кажется мне, в большом горе после вашего отъезда. Я почти постоянно у нее. Дух ее, хотя и в беспокойстве обретающийся, порождает постоянно идеи, от которых я рот разеваю. Наши уединенные беседы с сею дамою, добродетельною и разума исполненною, составляют единственное утешение для моего духа, удрученного беспокойством. Я имел честь обедать с нею. Напитала она меня обильно. Моя одна порция составила бы четыре ваших обеда. Мы ужинали в сообществе с княгинями Куракиною и Репниною. Смех содействовал много нашему пищеварению, тем более что наша любезная хозяйка подбавляла соли. Я теряю терпение, но я привожу себе на память, что человек солидный не должен помрачать свою добродетель простыми предположениями и что два месяца недостаточны, чтоб сказать, что имеешь довольно опытности при дворе. Императорский совет решит все. Когда я в Москве, то по крайней мере могу сказать, что я ближе к моим украинским пенатам. Верно то, что не станут удерживать силою того, от кого хотят отделаться. Служить, не имея доверенности государя, все равно что умирать от сухотки. Ради Бога, берегите ваше здоровье и успокойтесь от тех волнений в крови, которые причинили вам дела петербургские. Это единственное средство для в. п-ства, для княгини и для того, который всю свою жизнь не перестанет вас любить» и проч.

1 сентября Теплов писал: «Ив. Ив. Неплюеву ее в-ство вчерашнего вечера указ сама изволила отдать. Я прилагаю точную копию того, который подписан для вашего прочтения, а притом и наш первый концепт, дабы вы изволили сами сличить, в чем состоит отмена. По моему мнению, различие главное состоит в том, что прописка указа о Сенатской конторе выставлена, чем сей новый и

укорочен. Впрочем, сила и содержание все прежние оставлены, но как всякий стилист любит больше себя автором видеть, нежели другого, то и тут во многом переправщик слова первые назад, а задние наперед переставил и тем великую будто поправку нашего концепта доказал. Гораздо труднее дать идею сочинению в его создании, чем переменять слова. Но человек без кредита, как я, должен все проглатывать. Г. Елагин – мой друг, но я думаю, он сам признается, что не ему меня учить языку, тем больше что его можете, которое вы найдете в указе вместо можете, служит убедительным доказательством моего честолюбия, которое не совсем неуместно. Прилагаю манифест печатный о графе Алексее Петровиче Бестужеве. Оригинальный написан рукою, мне неизвестною. Все любопытствуют знать, кем он сочинен, говоря, что очень хорошо составлен. Но так как я об этом ничего не знаю, то мне не трудно отвечать. Мой ответ: „Не знаю и первый раз вижу и слышу“ – заставляет некоторых думать, что вы его автор». Панин имел удовольствие узнать, что его представление о Неплюеве исполнено.

В назначенный день, 1 сентября, Екатерина выехала в Москву и 9-го числа остановилась в подмосковном селе гетмана Разумовского Петровском (Разумовском), 11-го числа в Петровском собрались члены Синода и высшее духовенство, придворные дамы, кавалеры, генералитет и прочие знатные обою пола особы для поднесения всеподданнейших поздравлений. Первым выступил новгородский архиерей Димитрий как первый член Синода; не о надеждах в будущем говорил оратор, он прославлял совершенный уже подвиг: «Се царствующий град Москва вместо возженных светильников с горящими любовию сердцами усретаает вожделенную мать и государыню свою, преславная дела и заслуги отечеству и церкви показавшую. Гряди, защитница отечества, гряди, защитница благочестия, вниди во град твой и сяди на престоле предков твоих». Явился и запорожский кошевой атаман с старшиною, и писарь говорил императрице речь от всего войска. Запорожец начал с того, что выставил необходимость власти и повиновения ей. «Вся премудростию сотворивый Господь, – говорил писарь, – вечно и непоколебимо узаконил рекам ведать свой юг, магниту – север, туче – восток, солнцу – запад, нам же, человекам, – учрежденную над собою власть. Сей наш всеобщий и непременный долг так нас крепко понуждает и к наблюдению своему влечет, что аки бы он на скрижалях сердца нашего был написан. Чего всего в рассуждении, когда Царь Небесный в. и. в. на престол всероссийский всесилою своею десницею возвел, и мы все, сыны и питомцы Низового Днепровского Запорожского коша, как дети и птенцы орляго твоего гнезда, не могли от несказанной радости не вострепетать и следующего приветствия не возгласить: бог духов и всякие плоти в. и. в-ства дух жизни, которым вся Россия живет, движется и процветает, в священнейшем ковчезе августейшего тела дражайшим здравием и светозарным долгоденствием да оградит!» и проч.

13 сентября происходил торжественный въезд в Москву: «По улицам убрано было ельником, наподобие садовых шпалер обрезанным разными фигурами; а для смотрения народу обыватели каждый пред своим домом имел построенные преизрядные галереи, по которым снаружи, также в домах, из окон и по стенам свешены были ковры и другие разные материи». В Успенском соборе, когда императрица, приложившись к иконам и мощам, стала на своем месте, а наследник – на место цариц, то Димитрий новгородский начал говорить

проповедь: «Красуйся, царствующий град, и удивляйся, глаголя: откуда мне сие, яко прииде мати отечества ко мне? Виждь в св. храм сей, аки в сердце всего Российского царства, благочестно входящую. Прииде к нам, благочестивые веры защитница, церковь и отечество матерним покровом покрывшая и сохранившая; прииде всех скорбей и печалей наших окончание, всех радостей наших вина. Видела мать свою, св. церковь, бедствуему и озлобляему, восхотела от страха и вредных перемен избавити, не допустила отечеству прийти в наглое расхищение, в горесть и воздыхание, не дала России от сопостатов быти в посмех, в стыд и поношение. Да как ужасно слышати: мечом ли, оружием ли или кровопролитием? Никако; и презря живот свой, не бояся смерти, с единым на Бога упованием».

Коронация произошла с обычными церемониями 22 сентября. И тут новгородский митрополит говорил речь, величая событие 28 июня как дело Божие: «Господь положил на главе твоей венец. Знает он благочестивые от напасти избавляти, знал пред собою чистое сердце твое, знал непорочные пути твои, знал в несносном терпении твоём ни откуда помощи ищущую, на него единого уповающую. Знаем и все единодушно скажем, что ни глава твоя царского венца, ни рука твоя державы поискала славы ради, или снискания высокой власти, или приобретения временных сокровищ; но едина матерняя ко отечеству любовь, едина вера к Богу и ревность к благочестию, едино сожаление о страждущих и утесняемых чадах российских понудили тебе прияти великое сие к Богу служение. Видела озлобление людей твоих; видела все – и воздыхала яко близ падения церковь, близ опасности все благосостояние российское, но ты едина, ревнуя, поревновала еси. Господи Боже вседержителю, и сие чудное строение не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. Будут чудо сие восклицать проповедники, напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадом своим и прославлять величия Божия. Ныне, когда по мрачных тучах оных наступило ведро и самая осень претворилася в красную весну, начинай лето, Господеви приятно. Поздравляем и тебе, дражайший всероссийского престола наследниче, Богом венчанною ныне, вселюбезною матерью твоею. Что ныне самодержавная мать твоя восприяла, тое и тебе понести иногда должно будет; помышляй, яко ее корона – твоя корона; вся елико иметь даст тебе; ее престол – твой престол, твой сигклит, твое воинство, твое всероссийское царство».

На медалях, выбитых в честь коронации, на лицевой стороне изображен был бюст императрицы, а на обороте: «Православие и Российское отечество, спасенные геройским духом ея и в-ства от угрожавших им бедствий, радостно возносят украшенный дубовыми листьями щит с именем ее в-ства, на который провидение Божие императорскую корону налагает; перед ними стоит курящийся жертвенник с изображением знаков духовного, военного и гражданского чина, на который Российское отечество сыплет фимиам во изъявление всенародных молитв и усердных желаний о долгоденствии и благополучном государствовании вседражайших их монархини и избавительницы, с подписанием: вверху: „За спасение веры и отечества“, внизу: „Коронована в Москве, сентября 22 дня 1762 года“».

Великороссийский архиерей повторял о благодетельном значении события 28 июня для церкви и отечества; но к торжеству коронации приехал в Москву

православный архиерей из чужого государства; он также в своей речи прославил восшествие на престол Екатерины как событие, спасительное для русской церкви, но указал для новой императрицы новые обязанности, о которых не упоминал митрополит новгородский. 29 сентября, в последний день коронационных торжеств, говорил Екатерине речь известный Георгий Кониский, епископ могилевский или белорусский. В самом начале речи Кониский не усомнился назвать себя и весь белорусский народ подданными русской императрицы: «Между подданными народами в. и. в-ства, о всерадостнейшей коронации торжествующими, приносит и белорусский народ чрез меня, подданника в. в-ства, всеподданнейшее поздравление. Знаю, как далече отстоит Богом благословенная Палестина от тесного Израилю Египта, состояние, скажу – людей, пределами российскими огражденных, от состояния людей хотя единоверных, но в польской области заключенных. Зде светильник веры, от дней Владимировых зажженный, блистает, доселе потрясен был нечаянно, но опять утвержен: у нас светильник тот свирепо, дышущие от Запада вихри на многих местах совсем превратили. Зде храмы Господни славословием имени его свободно гремят; замолкло было пение, но опять возгремело: у нас храмы Господни множайшие отняты, прочие опустошены и запечатлены, разве сов и вранов гнездящихся гласы издают. Зде чем кто благочестивее, тем и честнее; пришло бы благочестие в нечесть, но опять на первое достоинство возвратилось: у нас благочестивым именоватись в студ ставят; за благочестие раны, узы, темницы, домов разорение, а нередко и живота лишение издревле терпим. Однако, и в толиких египетских озлоблениях и столько отстоя от благополучия подданных в. в-ства, не хотим уступить им в рассуждении радости настоящей. Смеемся, и сквозь слезы утешаемся, и в горести души торжествуем и в последнем утеснении. А для чего так? Надежда избавления нашего веселит нас, надежда не в траве, как говорят, ниже в одном цвете, но и в самом плоде состоящая. Тобою, благочестивейшая государыня, светильник веры, бывший в России потрясенный, стал утвержен. Тобою храмы Господни и красоту и гусли своя с псалтирью удержали. Тобою благочестивые и верные подданные твои в первую честь и достоинство приведены. Сии тобою в едино лето принесенные плоды обнадеживают нас крепко, что и нам подобные принесеши в грядущее время. Или бо не можеш сего сотворити нам, или не соблаговолиши? Могла в немощи – можеш в силе; могла престола лишаема – можеш на престоле Богом посажденна; могла в страхе и опасности жития пребывая – можеш страхом и угрозанием смерти неприятных исполняя. Могла и соблаговолила тогда, когда живот твой за веру и отечество в жертву Богу предала, – можеш и соблаговолиши теперь, когда Бог тебе живот твой для веры и отечества, еще же и для покровительства единоверных вместе со скипетром возвратил. Молим же в. и. в-ство: не посрами нас, надежда наша, в чаянии нашем, спаси нас десницею твоею и мышцею твоею покрый нас!»

Граф Алексей Петр. Бестужев-Рюмин не хотел предоставить одним архиереям прославление подвига Екатерины 28 июня. За четыре дня до коронации императрица получила от него проект предложения его Сенату. Приводя в пример Петра Великого, получившего по случаю шведского мира название Великого и Отца отечества, Бестужев говорил в проекте: «Не может справедливее и одолжительнее случай быть ныне благополучно государствующей императрице Екатерине Алексеевне, избавительнице России от неизбежной почти опасности

империи сей разрушения, погубления нажитой славы, предвидимого уже ига и низложения, достойный принести знак благодарности. Я должности моей быть нахожу Правит. Сенату, почтенным собратиям моим, как старший между ими член, предложить, чтобы, призвав Св. Синод и прочих главных, положить согласие по совершении коронации ее в-ству именем всего российского народа, при благодарении за ее попечение и труды, не только оберегая, но не щадя собственной своей всевысочайшей особы для пользы верноподданных своих, принести торжественно титуло и именование Матери отечества». Екатерина написала на проекте: «Видится мне, что сей проект еще рано предложить, потому что растолкуют в свете за тщеславие; а за ваше усердие благодарствую».

Екатерина была совершенно довольна приемом, какой сделали ей московские жители. На третий день после коронации, 25 сентября, она писала посланнику своему в Варшаве графу Кейзерлингу: «Невозможно вам описать радость, какую здесь бесчисленный народ оказывает при виде меня: стоит мне выйти или только показаться в окне – и клики возобновляются». Но в то же время между некоторыми офицерами повторялось имя *Иванушки* (Ивана Антоновича). Мы видели, что Петр III имел свидание с шлюссельбургским заточником, участь которого не была после этого облегчена. Екатерина на другой же день своего царствования, 29 июня, уже сделала распоряжение насчет немедленного свидания своего с Иваном. Генерал-майор Силин от этого числа получил указ из Петергофа: «Вскоре по получении сего имеете, ежели можно, того же дни, а по крайней мере на другой день, безыменного колодника, содержащегося в Шлюссельбургской крепости под вашим смотрением, вывезти сами из оной в Кексгольм; а в Шлюссельбурге, в самой оной крепости, очистить внутренней крепости самые лучшие покои и прибрать, по крайней мере по лучшей опрятности, оные, которые, изготовив, содержать до указу». 4 июля из деревни Мордя, лежащей в 30 верстах от Шлюссельбурга, Силин доносил, что их разбило на озере бурей и они с арестантом находятся в означенной деревне, дожидаясь новых судов из Шлюссельбурга, на которых и поплывут в Кексгольм. При личном свидании своем с Иваном Екатерина убедилась, как нелепы были толки людей, не видавших Ивана и думавших, что Екатерина может скрепить свои права на престол, выйдя замуж за правнука царя Иоанна Алексеевича. Иван был отвезен обратно в Шлюссельбург в прежнее помещение, приготовленное было для Петра III. Арестант был поручен надзору двоих офицеров – Власьева и Чекина, а коменданту шлюссельбургскому Бередникову не велено было вмешиваться в их дела; Власьев и Чекин должны были непосредственно обращаться к Никите Ив. Панину, который дал им инструкцию: «Разговоры вам употреблять с арестантом такие, чтоб в нем возбуждать склонность к духовному чину, т.е. к монашеству, и что ему тогда имя надобно будет переменить, а называть его будут вместо Григорья Гервасий. Ежели случится, чтоб кто пришел с командою или один, хотя б то был и комендант, без именного повеленья или без письменного от меня (Панина) приказа и захотел арестанта у вас взять, то оного никому не отдавать и почитать все то за подлог или неприятельскую руку. Буде же так оная сильна будет рука, что спастись не можно, то и арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать». На увещания Власьева и Чекина Иван отвечал: «Я в монашеский чин желаю, только страшусь Св. духа, притом же я бесплотный». Потом сказал, что ему позволено постричься,

образам молиться и кланяться, но Гервасием называться не хочет, а пусть назовут его Феодосием.

Но все это содержалось в глубочайшей тайне; о неспособности Ивана к правлению знали очень немногие, и его имя являлось в устах каждого недовольного. К графу Григорию Григ. Орлову явился капитан Московского драгунского полка Побединский с известием о существовании партии, которая считает между своими членами Ив. Ив. Шувалова и которая хочет возвести на престол Ивана Антоновича, что он, Побединский, слышал об этом от поручика Петра Чихачева, а Чихачев – от капитан-поручика Измайловского полка Ивана Гурьева. Орлов сказал, чтоб Побединский с товарищами без боязни вступали в это дело для подробнейшего разведывания. Вследствие этого разведывания несколько офицеров были допрошены и показали: Семеновского полка подпоручик Вепрейский показал, что сержант Лев Толстой до коронации дней за семь сказывал ему, что он слышал от поручика Семена Гурьева, будто собирается партия, к которой и Толстой от Гурьева приглашен. Толстой сказывал Вепрейскому, что послан Лихарев за принцем Иваном, что Семен Гурьев приглашен Александром Гурьевым, знает о том Ив. Ив. Шувалов, князь Иван Голицын, да нет ли тут Измайловых также. В день коронации Вепрейский рассказал об этом Дмитрию Измайлову и предлагал на другой день ехать и объявить Григ. Григ. Орлову; но Измайлов сказал, что не с чем ехать, все это вранье, и если оговоренные запрут, то донощикам придется терпеть истязание. Измайловского полка капитан-поручик Иван Гурьев на допросе показал: говорил Петру Чихачеву, что Иван Шувалов и с ним четыре знатные особы, а прочих до 70 человек в согласии, чтоб быть государем Ивану Антоновичу, только скоро делать этого нельзя, потому что солдаты любят государыню, а со временем может быть великое кровопролитие, с Шуваловым называли и князя Никиту Трубецкого.

Измайловского полка капитан-поручик Домогацкий показал: свояк его Степан Бибииков сказывал ему, что слышал от Петра Хрущова бранные слова против е. и. в. Петр же Хрущов, прощаясь с Бибииковым, говорил: «Чего трусишь? Нас в партии около 1000 человек!» Михайла Шипов, разговаривая с Семеном Гурьевым, жаловался, что он несчастлив: другие произведены, а он не произведен; Гурьев его утешал. «Слышно, – говорил он, – что собирается партия против государыни, можете быть в хорошей партии: тут Иван Шувалов, Александр Гурьев, князь Иван Голицын». Михайла Шипов заметил, что тут и Никита Ив. Панин; Гурьев отвечал: «Это правда, что Никита Ив. Панин тут; но есть еще другая партия, в которой Корф: он собирается восстановить Иванушку; наша партия гораздо лучше, мы стоим за то, для чего цесаревич не коронован, а теперь сомнение у Панина с Шуваловым, кому правителем быть». Семен Гурьев показал, что говорил о некоторых противных партиях, к чему и солдаты армейские некоторых полков распалены; их сержантов в ту партию приглашал и сказывал им, что послан Лихарев за принцем Иваном, чтоб привезти его к оному делу; обо всем этом слышал от Петра Хрущова, а о посылке Лихарева сам выдумал с досады, что 28 июня был на карауле в Петергофе, обещаны были ему награды, но ничего не получил. Петр Хрущов на очной ставке с Гурьевым показал, что действительно все это говорил, а о князе Трубецком и Шувалове им объявлял по одной эхе, слышал на дороге, идучи с батальоном, а подлинно от кого слышал, показать не может.

Екатерина поручила исследовать дело без пыток. Из приведенных показаний открыто было оскорбление величества и умысел к общему возмущению. Сенат в полном собрании вместе с президентами коллегий приговорил Петру Хрущову и Семену Гурьеву отсечь головы, Ивану и Петру Гурьевым каторжную работу, а имение их оставить детям и наследникам. Императрица переменяла смертную казнь на вечную ссылку в Камчатку, а каторжную работу на вечную ссылку в Якутск. В манифесте об этом говорилось: «Мы можем, не похвалившись, пред Богом целому свету сказать, что от руки Божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве. К сему достохвальному намерению мы приступили не словом, но истинным делом и о добре общем ежедневно печемся. Но при сих наших чистосердечных намерениях нашлись такие беспокойные люди, которые покусились делать умысел к ниспровержению Божия о нас промысла и к оскорблению нашего величества и тем безумно вознамерились похитить Богом врученного нам народа общее блаженство, о котором мы беспрестанно трудимся с матерним попечением».

Дело было ничтожное; Дмитрий Измайлов сказал справедливо, что «все это вранье». Но из этого вранья обозначилось, что может быть предметом вранья: восстановление Ивана Антоновича и то, зачем не коронован цесаревич. По отношению к первому Екатерина послала предложить свободу только одному принцу Антону: «Мы его одного намерены теперь освободить и выпустить в его отечество с благопристойностью, а детей его для государственных резонов, которые он по благоразумию своему понимать сам может, до тех пор освободить не можем, пока дела наши государственные не укрепятся в том порядке, в котором они к благополучию империи нашей новое свое положение теперь приняли. И ежели он, принц, пожелает быть свободен один, а надежду на нас положит, что мы детей его в призрении своем до времени оставим, содержа их не токмо в пристойном довольстве, но и, как скоро повод к свободе их усмотрим, выпустим и к нему пришьлем: то он может искренне свое точное желание объявить. Ежели с детьми своими на обещанное нами время разлучиться не похочет, то бы принял на себя терпение до тех пор остаться в нынешнем его состоянии, доколе и в свободе детей его ту же удобность увидим, которая теперь для него только одного открылась». Принц Антон не согласился быть свободным без детей.

Дело Хрущова и Гурьевых было ничтожное, но оно должно было произвести сильное впечатление на Екатерину. Это было первое искушение. При всем ее старании представить свою деятельность противоположность бывшему царствованию, при всем старании показать, что «о добре общем ежедневно печемся», при первом личном неудовольствии уже толкуют об Иване Антоновиче или, что еще хуже, о том, зачем цесаревич не коронован, решаются *распялять* солдат, прямо указывают на знатных людей как на соумышленников, и это болезненное настроение есть следствие события 28 июня: одним удалось тогда, отчего нам не может удасться теперь? Даже коронация не прекратила этого настроения.

Екатерина, несмотря на все свое умение владеть собою, не могла в октябре 1762 года скрыть тяжелого состояния своего духа: печаль была написана на ее лице. Она призналась английскому посланнику графу Бекингаму, что в обществе она все больше и больше становится рассеянною, сама не зная отчего. Тот же

посланник так описывает положение Екатерины: «Императрица по своим талантам, просвещению и трудолюбию выше всех ее окружающих. Стесненная обязательствами, полученными в последнее время, сознавая затруднительность своего положения и страшась опасностей, которыми до сих пор она должна была считать себя окруженною, она еще не может действовать самостоятельно и освободиться от многих окружающих ее людей, которых характер и способности она должна презирать. В настоящее время она употребляет все средства для приобретения доверия и любви подданных; если она успеет в этом, то воспользуется приобретенною властью для чести и пользы своей империи».

С этим отзывом сходен и отзыв французского посланника Бретейля. «Кроме Панина, который скорее имеет привычку к известному труду, чем большие средства и познания, у этой государыни нет никого, кто бы мог помогать ей в управлении и в достижении величия, и, однако, она должна выслушивать и в большей части случаев следовать мнениям этих отъявленных русаков (*vieux russes*), которые, чувствуя выгоду своего положения, осаждают ее беспрестанно то для поддержания своих предрассудков относительно государства, то по своим частным интересам. В больших собраниях при дворе любопытно наблюдать тяжелую заботу, с какою императрица старается понравиться всем, свободу и надоедливость, с какими все толкуют ей о своих делах и о своих мнениях. Зная характер этой государыни и видя, с какою необыкновенною ласковостию и любезностию она отвечает на все это, я могу себе представить, чего ей это должно стоить; значит, сильно же чувствует она свою зависимость, чтоб переносить это. В одно из последних собраний, когда она была утомлена более обыкновенного разговорами с разными лицами, и особенно с пьяным Бестужевым, с которым у нее был долгий и живой разговор, несмотря на ее старания избегать его, императрица подошла ко мне и спросила, видал ли я охоту за зайцем. Когда я отвечал, что видал, то она сказала: „Так вы должны находить большое сходство между зайцем и мною: меня поднимают и гонят изо всех сил, как я ни стараюсь избежать представлений, не всегда разумных и честных. Однако я отвечаю, сколько могу, удовлетворительно, и если не могу исполнить чье-нибудь желание, то объясняю, почему...“» В другом донесении Бретейль пишет: «Императрица высказывала мне высокое мнение о величии и могуществе своего положения. Она повторила, быть может, раз тридцать: „Такая обширная, такая могущественная империя, как моя“. Она мне говорила о многих предположениях относительно внутреннего благосостояния России. Она мне сказала, что по прибытии в эту страну ее не покидала мысль, что она будет здесь царствовать одна. Императрица мне призналась, что она не совершенно счастлива, что она должна управлять людьми, которых нельзя удовлетворить; что она старается всеми средствами сделать своих подданных счастливыми, но чувствует, что надобны года да и года, чтоб они привыкли к ней. Выставляя свои успехи и блеск своего положения, она обнаруживала вместе беспокойство, что ей не по себе. Она в обаянии от престола, но вместе с тем что-то ее беспокоит и волнует. Это легко понять, если приглядеться к поведению и чувствам людей, пользующихся ее доверием в чем бы то ни было. Ни при одном дворе не господствовало такое разделение на партии, а императрица обнаруживает слабость и колебание – недостатки, которых никогда не замечалось в ее характере. Боязнь потерять то, что имела смелость взять, ясно и постоянно видна в поведении императрицы, и потому всякий сколько-нибудь

значительный человек чувствует свою силу перед нею. Изумительно, как эта государыня, которая всегда слыла мужественною, слаба и нерешительна, когда дело идет о самом неважном вопросе, встречающем некоторое противоречие внутри империи. Ее гордый и высокомерный тон чувствуется только во внешних делах, во-первых, потому, что здесь нет личной опасности, во-вторых, потому, что такой тон в отношении к иностранным державам нравится ее подданным».

Но как бы ни было затруднительно, тяжело положение Екатерины, необыкновенная живость ее счастливой природы, чуткость ко всем вопросам, царственная общительность, стремление изучить каждого замечательного человека, исчерпать его умственное содержание, его отношения к известному вопросу, общение с живыми людьми, а не с бумагами, не с официальными докладами только – эти драгоценные качества Екатерины поддерживали ее деятельность, не давали ей ни на минуту упасть духом, и эта-то невозможность ни на минуту сойти нравственно с высоты занятого ею положения и упрочила ее власть; затруднения всегда заставляли Екатерину на ее месте, в царственном положении и достойною этого положения, потому затруднения и преодолевались.

После коронационных торжеств двор оставался в Москве последние три месяца 1762 года и первую половину 1763-го. Состояние обеих столиц одинаково возбуждало опасения и заботы правительства, что мы видели относительно Петербурга и в предшествовавшее царствование. Теперь учреждена была комиссия из генерал-аншефа Чернышева, генерал-поручика Бецкого и лейб-кирасирского полка вице-полковника князя Дашкова; комиссия эта должна была представить в Сенат, каким образом ограничить распространение города Петербурга, чтоб жители его избавились от затруднения в сообщениях, производимого безмерною обширностью города; предполагалось необходимым назначить предел, за которым поселения уже составляли предместья; равным образом комиссия должна была представить свои соображения о Москве, которая по древности строения своего в надлежащий порядок не пришла, жители терпят разорение от частых пожаров вследствие тесного деревянного строения. В обеих столицах запрещено было вновь строить фабрики и заводы. Мы видим, что Екатерина в своей записке поместила в первое или в одно из первых присутствий своих в Сенате распоряжение о прекращении дороговизны хлеба в Петербурге, именно временное запрещение вывозить хлеб за границу, и тут же говорит о полном успехе этой меры: в два месяца наступила дешевизна всех припасов. Но из протоколов Сената мы узнаем, что 20 ноября в Москве императрица присутствовала в Сенате и объявила о донесении из Петербурга директора полиции Корфа о ценах хлеба и съестных припасов в этой столице: оказывалось, что с сентября месяца цена хлебу возвысилась на 20 коп. По этому поводу Екатерина приказала Сенату стараться об учреждении казенных магазинов, также изыскивать способы, как бы сделать провоз съестных припасов в Петербург дешевле, ибо купцы объявляют, что и при такой дорогой цене барыша мало получают.

Кроме известия о дороговизне из Петербурга приходили другого рода неприятные известия: от 20 ноября фельдмаршал Миних репортовал, что в Петербурге происходят такие грабительства и разбои, что ночью без конвоя никто из своей квартиры отлучиться не может. Сенат переслал это донесение в свою петербургскую контору; здесь приказали: в Сенат сообщить сведение, что были

беспорядки, о которых старший сенатор Неплюев доносил императрице, сделаны распоряжения о их прекращении, несколько подозрительных людей и злодеев переловлено, после чего с 21 ноября водворилась полная тишина; что же касается репорта фельдмаршала Миниха, что без конвоя нельзя никому ночью выходить, то об этом никакого сведения ни от кого контора не имеет. Приходили известия о разбоях и из других мест: из Новгородского уезда доносили, что разбойники грабят и жгут помещичьи дома; послана была против них драгунская команда из 15 человек, но разбойники убили из нее двоих да ранили 5 человек, сами все ушли и производят разбои по-прежнему, присылают в помещичьи дома с требованием денег, угрожая поджогом.

17 сентября Екатерина приказала отменить сыщиков и обязанности их возложить на губернаторов и воевод, причем каждому губернатору и вице-губернатору велено прислать в Сенат мнение, какие они в своих губерниях находят лучшие способы к искоренению воров. Но скоро опять пришло известие, что воровские люди напали на Ярославскую монетную фабрику. Потом пришло известие о разбоях по дорогам Шлюссельбургской, Ладужской, Нарвской; а на юго-востоке в Троицкий Битюцкий монастырь приехала разбойничья шайка в 27 человек, монастырских казначея и ключника били плетью, прочих монахов жгли и вымучали монастырских денег 1630 рублей и прочие вещи пограбили.

Крестьянские волнения продолжались. Крестьянин Азебаев принес в Казанскую губернскую канцелярию копию с манифеста, будто бы состоявшегося 7 июля, о восшествии на престол Екатерины; в манифест вписаны были «самые пасквильные речи», например: которые собственные ее и. в-ства крестьяне отданы были в прежних годах архиереям и монастырям и которые подписаны под заводы, таким отнюдь на этих заводах не работать и быть по-прежнему ясачными. Открылось, что бумагу писал Казанского уезда, села Красной Горки дьячок Кузьмин, который признался, что сочинил ее умышленно в бытность свою под караулом в Казанской духовной консистории вместе с содержащимся в ней под караулом заводским крестьянином графа Шувалова Куликовым. Азебаев объявил, что заводские крестьяне Шувалова списали копии с мнимого манифеста и, ездя по своей братии, возмущают и берут подписки не работать на заводах, а желающих работать бьют, разоряют и выгоняют из домов. В ноябре Сенат слушал донесение канцелярии главного правления заводов, что приписанные к казенным и партикулярным заводам крестьяне единогласно состоят в упорстве, и со многих заводов от работ насильно ушли, и по неоднократным посылкам из канцелярии ни в какие работы нейдут; по мнению канцелярии, крестьян этих, кроме строгости военных команд, ничем другим усмирить нельзя, и Берг-коллегия была согласна в этом. Из донесения канцелярии ясно, что и приписанные к казенным заводам крестьяне волновались точно так же, как и приписанные к частным заводам.

Для усмирения заводских крестьян отправлен был генерал-квартирмейстер князь Александр Алексеевич Вяземский, в инструкции которому говорилось, что он прежде всего должен привести крестьян в рабское послушание и усмирить, потом сыскивать подстрекателей. Исполнивши это, исследовать насчет притеснений, которым они подвергались. Если не будет под руками прикащиков, на которых они жалуются, то для скорейшего прекращения дела крестьян заставить работать, если они правильно принадлежат к заводу, а с прикащиков взять подписки, чтоб они отнюдь с крестьян ничего лишнего не требовали,

особенно же удерживались от мучительства, какое оказалось на Петровском заводе Евдокима Демидова. Если, несмотря на увещания и угрозы, крестьяне не придут в повиновение, то смирить их оружием, однако к делу не приступать без самой крайности. При исследовании их жалоб поступать таким образом: взять от крестьян поверенных по их добровольному выбору или самому Вяземскому определить к ним депутата и, забравши от него или поверенных все их жалобы с доказательствами, исследовать беспристрастно, выслушивая обе стороны, ибо как крестьянская продерзость всегда вредна, так и человеколюбие наше терпеть не может, чтоб поработали крестьян свыше мер человеческих, особенно с мучительством. И если действительно найдется, что прикащики виноваты, то наказывать их, причем надобно брать предосторожность, чтоб крестьяне не возмечтали, что их начальники и тогда должны их бояться, когда им не понравится и правильная работа. Если кто из прикащиков уличится в крайнем бесчеловечии, такого можно наказывать и публично; а если кто требовал работы сверх должного, такого можно наказывать секретно, не подавая повода простому народу выходить из надлежащей покорности. Окончив это дело, Вяземский должен был рассмотреть состояние заводов, осведомиться, не лучше ли горные работы производить вольнонаемными работниками, чтоб этим, если можно, отвратить на будущее время все причины к беспокойствам и работу сделать прочнее и полезнее.

7 ноября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила, что государственные крестьяне, живущие в Казанской, самой лучшей, губернии, приведены в великую бедность и без дозволения местных смотрителей не смеют завести ни одного поросенка, будто для того, чтоб эти животные не ели дубовых желудей, которых, однако, ни одного не было посажено. Императрица приказала для освидетельствования всех этих беспорядков послать туда надежного чиновника. Выбран был вице-президент Штатс-конторы Швевс.

Оставались крестьяне церковных имений. Предположенная комиссия об этих имениях составила только в конце ноября; членами ее были: митрополит новгородский Димитрий, архиепископ петербургский Гавриил, епископ переяславский Сильвестр, сенатор граф Иван Воронцов, гофмейстер князь Борис Куракин, шталмейстер князь Сергей Гагарин, прокурор Синода князь Алексей Козловский, действ. стат. советник Григорий Теплов. Комиссия состояла под единственным ведением императрицы; она должна была руководствоваться духовным регламентом и указами Петра Великого, «яко ничего лучшего уже определить нам невозможно», – говорила Екатерина в инструкции комиссии. Поэтому комиссия должна была распределить доходы с церковных имений: 1) на содержание домов архиерейских, монастырей и церквей; 2) на учреждение училищ; 3) на учреждение инвалидных домов. В начале инструкции говорилось: «Св. Синод сам довольно ведает, что познание слова Божия есть первое основание благополучия народного и что из сего источника истекает вся народная добродетель. Но мы с прискорбием видим, что народ наш простой весьма удален еще от должного исправления, так что и самые многие священники не токмо не ведают истинного пути к просвещению народному, но и, будучи сами часто малограмотные, нередко простому народу служат собственными примерами к повреждению. Св. Синод ведает и то, сколь великий соблазн в законе, а паче в нашем православном, когда имущество церковное расточается иногда на

временные житейские попечения, а вечные и богоугодные дела остаются в забвении или и вовсе в уничтожении».

Комиссия должна была спешить своим делом: 12 декабря в присутствии императрицы в Сенате читалось донесение, что монастырские крестьяне в числе 8539 душ не дали подписок, что будут послушны монастырским властям.

В одной из записок своих Екатерина говорит, что заводских крестьян в явном возмущении было 49000 человек, а монастырских и помещичьих – до 150000. В другой записке императрица говорит, что заводских крестьян посланы были унимать генералы – князь Александр Алексеевич Вяземский и Александр Ильич Бибииков, которые «не единожды принуждены были употребить против них оружие и даже до пушек».

В инструкции кн. Вяземскому был поставлен вопрос: нельзя ли заменить приписных к заводам крестьян вольнонаемными работниками? Вопрос должен был решиться отрицательно по малочисленности народонаселения сравнительно с пространством. 15 октября Сенат получил указ императрицы: так как в России много непоселенных мест, а многие иностранцы просят позволения поселиться, поэтому ее и. в-ство дозволяет Сенату принимать в Россию без дальнего доклада всех желающих поселиться, кроме жидов. Несмотря, однако, на исключение жидов, многим могло не понравиться позволение селиться иностранцам-иноверцам, и потому в указе было прибавлено: «Ее и. в-ство надеется со временем чрез то умножить славу Божию и его православную греческую веру и благополучие здешней империи». Надобно заметить, что накануне, 14 октября, надворный советник Андрей Шелиг объявил в Сенатской конторе в Петербурге, что он подал Никите Ив. Панину доношение на имя императрицы с секретным проектом о поселении в Оренбургской губернии на пустой земле иностранных народов и что Панин велел ему ехать в Москву.

Если решено было пригласить иностранных поселенцев, то тем более должны были стараться о возвращении русских беглецов и удержании от побегов. Семнадцать раскольничьих стародубовских и черниговских Слобод Подали челобитную: эти слободы построили предки их, перешедшие из-за границы; они, поселясь в лесных местах, распахали немалые поля и раскосили сенокосы. В правление императрицы Елисаветы три слободы отданы Киево-Печерскому монастырю, а бывшим императором отдано шесть слобод Андрею Гудовичу, в которых состоит больше 4000 душ; чрез это выезд из-за рубежа и вовсе прекратится, ибо уже не может быть свободной жизни во владельческих руках, поэтому жители слобод просят перевести их в дворцовое ведомство. За «голубицу» Фридриха II теперь не было заступников, и Сенат приказали: подать императрице доклад, что слободы к отдаче Гудовичу во владение не следуют, потому что населены беглыми, и если бы они ему отданы были, то прежние помещики, чьи эти беглые были, имели бы право требовать их назад или просить за них вознаграждения.

Имея в виду, чтоб как можно менее было недовольных, Екатерина с очень неприятным чувством просмотрела поданный ей Сенатом длинный реестр казенных должников, которые без потери своего состояния не могли удовлетворить требованиям казны: одних дворянских домов было около 50, а с людьми других сословий более 100. Императрица послала Сенату указ, что хотя она и не может похвалить людей, которые впали в долги вследствие неумеренных

и только роскоши служащих расходов, и никогда не согласится дать таким людям средства к расточительности, а воздержным людям соблазн, однако желает сделать некоторое облегчение впадшим в долги до ее царствования, чтоб невинные дети расточительных отцов не страдали в нищете и горести, но это облегчение не должно быть в ущерб казне. Комиссия из Петра Ив. Панина, Елагина, Еропкина и Яковлева должна была рассмотреть состояние дел каждого должника и подать императрице мнение, как удобнее избавить их от разорения.

Известия о взяточничестве областных правителей не прекращались. 23 октября в присутствии императрицы в Сенате слушалась челобитная слободского Острогожского полка сотника Коновецкого, что от генерал-поручика князя Кантемира отяготителям тамошнего народа полковнику Тевяшову и прочим оказывается великое послабление, за что он получил от них в собственность под видом перепродажи немалое количество казенной земли, которую он населил козаками из слободских полков, – построено было до 300 дворов. Екатерина приказала назначить комиссию на месте и сама назначила председателем ее секунд-майора Измайловского полка Щербинина.

С сентября до конца года Екатерина присутствовала в Сенате одиннадцать раз. В первое из этих присутствий в Москве было определено: сенаторам быть в Сенате от половины девятого до половины первого часа и посторонних речей отнюдь не говорить. Между тем дело об Императорском совете в связи с преобразованием Сената не прекращалось. Главным двигателем дела был по-прежнему Никита Ив. Панин, желавший обезопасить правление от влияния фаворитов. Мы видели отношения его к царствованию Елисаветы, против которого у него сильно накипело на сердце; после несбывшихся надежд играть первую роль удаление в Стокгольм и здесь крайне затруднительное и унижительное положение вследствие перемены политики, которую он приписывал ненавистному сопернику Ивану Шувалову и его родственнику графу Петру Ивановичу, – вот какие воспоминания вынес Панин из царствования Елисаветы, и потому неудивительно, что в докладе своем о необходимости Императорского совета он отозвался в самых резких выражениях об этом царствовании. «Сенат, – говорил Панин в докладе, – имеет под управлением все коллегии, канцелярии, конторы яко центр, у которого все стекается, но он под государевою державною властью не может иметь права законодавца, а управляет по предписанным законам и уставам, которые изданы в разные времена, и, может быть, по большей части в наивредительнейшие, то есть тогда, когда при настоянии случая что востребовалось. Следовательно, какие бы предписания Сенат ни имел о попечении, чтоб натуральная перемена времен, обстоятельств и вещей всегда были обращены в пользу государственную, ему в рассуждение его существительного основания невозможно сего исполнить, ибо его первое правило – наблюдать течение дел и производить ему принадлежащие по силе выданных законов и указов; в противном случае Сенат выйдет из своей границы, и течение дел в правлении государства часто будет останавливаться, и вместо скорых резолюций будут нескончаемые рассуждения и споры о новых законах, умалчивая, что физический и моральный резоны не позволяют трактовать о законодании в таком людном собрании. Сенатор и всякий другой судья приезжает в заседание так, как гость на обед, который еще не знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчиван. Из сего само собою заключается, что главное, истинное и

общее о всем государстве попечение замыкается в персоне государевой. Он же никак иначе и в полезное действие произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон.

Если б одна простая речь указа сочиняла одно прямое дело, то б генерал-прокурор мог быть почтен таким общим попечителем, которому все приказано. В инструкции он назван государевым оком, но самодержавный государь, оставляя при себе право законодательства, конечно, не может чрез одно око рассматривать все разные в управлении государства надобности по переменам времен и обстоятельств, почему в существе генерал-прокурор остается только тем оком, которое в Сенате порядок производства дел и точность законов наблюдать должен. Согласиться можно, что Ягужинский и Трубецкой распространяли гораздо далее свое звание; но то надлежит заметить, что первый был в то время ближайший советник того государя, который тогда сам империю и правительство устанавливал, а из каких людей и какими средствами, о том известно. К чему довольно одно то напечатать, что вице-канцлер был положен на плаху, чтоб только научить тогдашних новых сенаторов, как с благопристойностью сидеть и рассуждать в Сенате. Взяв эпоху царствования императрицы Елисаветы Петровны, князь Трубецкой тогда первую часть времени своего прокурорства производил по дворскому фавору как случайный человек, следовательно, не законы и порядок наблюдал, но все мог, все делал и, если осмелиться сказать, все прихотливо развращал, а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей. Сей эпоху заслуживает особое примечание: в нем все было жертвовано настоящему времени, хотениям припадочных людей и всяким посторонним, малым приключениям в делах. Образ восшествия на престол покойной императрицы требовал ее разумной политики, чтоб, хотя сначала, сообразоваться сколько возможно с неоконченными уставами правления великого ее родителя, вследствие чего тотчас был истреблен учрежденный до того во всей государственной форме Кабинет, который, особливо наконец когда Бирон упал, принял было такую форму, которая могла произвести государево общее обо всем попечение. Ее величество вспомнила, что у ее отца-государя был домовый кабинет, из которого, кроме партикулярных приказаний, ордеров и писем, ничего не выходило, приказала и у себя такой же учредить. Тогдашние случайные и припадочные люди воспользовались сим домашним местом для своих прихотей и собственных видов и поставили средством одного всегда злоключительный общему благу интервал между государя и правительства. Они, временщики и куртизаны, сделали в нем, яко в безгласном и никакого образа государственного не имеющем месте, гнездо всем своим прихотям, чем оно претворилось в самый вредный источник не токмо государству, но и самому государю. Вредное государству, потому что стали из него выходить все сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу под формую именных указов и повелений во все места; вредное самому государю, потому что и те сами, кои такие коварные средства употребляют для прикрытия себя пред публикою, особливо стараются возлагать на счет собственного государева самоизволения все то, что они таким образом ни производили, ибо в таком безгласном и в основании своем несвойственном правительству государственному месте определенная персона для производства дел может себя

почитать не подверженным суду и ответу пред публикою. Ласкатели же государю говорят: ведь-де у вас есть свой Кабинет: извольте чрез него приказывать. Вредное различие! Будто б все места правительства не равно собственные были самодержавного государя, когда и государство все его быть должно. Да только разница в том, что, когда государевы дела выходят из сих мест правительства, всякий сюрприз и ошибку публика приписывает министрам государевым, которые особливим побуждением обязаны оное предостерегать и сами так дерзко не могут взлагать то на государя, будучи честью и званием также обязаны к отчету в их поведении не токмо пред своим государем, но и перед публикою. В таком положении государство оставалось подлинно без общего государственного попечения с течением только обыкновенных дел по одним указам всякого сорта. Государь был отдален от правительства. Прихотливые и припадочные люди пользовались Кабинетом, развращали форму и порядок и хватали отовсюду в него дела на бесконечную нерешимость пристрастными из него указами и повелениями. Сего не довольно: они тут родили еще новое место, страннее уже первого, и по дежурству от генерал-адъютантства не военными командами распоряжали, но государственные распорядки делали и ими правили; в наследство и дележ партикулярных людей без законов и причин мешались; дома их печатали; у одного отнимали, другому отдавали. Между тем большие и случайные господа пределов не имели своим стремлениям и дальним видам, государственные оставались без призрения; все было смешано; все наиважнейшие должности и службы претворены были в ранги и в награждения любимцев и угодников; везде фавер и старшинство людей определяло; не было выбору способности и достоинству. Каждый по произволу и по кредиту дворских интриг хватал и присвоивал себе государственные дела, как кто которыми думал удобнее своего завистника истребить или с другим против третьего соединиться. Если кроме самоизвольства оставались еще какие штатские правила, то, конечно, они были те, по которым внутреннее государства состояние насильствовано и жертвовано для внешних политических дел, чем наконец и едва не взаимными ли сюрпризами зависти между собою, завелася война в то самое время, когда дошло до высочайшей степени бесстрашие, лихоимство, расхищение, роскошь, мотовство и распутство в имениях и в сердцах. Увидели скоропостижную войну, требующую действительных ресурсов. Нужно стало собрать в одно место раскиданные части, составляющие государство и его правление. Сделали конференцию, монстр, ни на что не похожий: не было в ней ничего учрежденного, следовательно, все безответственное, и, схватя у государя закон, чтоб по рескриптам за подписанием конференции везде исполняли, отлучили государя от всех дел, следовательно, и от сведения всего их производства. Фаворит остался душою, животворящею или умерщвляющею государство; он, ветром и непостоянством погружен, не трудясь тут, производил одни свои прихоти; работу же и попечение отдал в руки дерзновенному Волкову. Сей под видом управления канцелярского порядка, которого тут не было, исполнял существительную ролю первого министра, был правителем самих министров, избирал и сочинял дела по самохотению, заставлял министров оные подписывать, употребляя к тому или имя государево, или под маскою его воли желания фаворитовы. Таково истинное существо формы или, лучше сказать, ее недостатки в нашем правительстве. Наш сапожный мастер не мешает подмастерью с работником и нанимает каждого к своему званию. А мне,

напротив того, случилось слышать у престола государева от людей, его окружающих, пословицу льстивую за штатское правило: была бы милость, всякова на все станет.

Спасительно нашему претерпевшему отечеству матернее намерение в. и. в-ства, чтобы Богом и народом врученное вам право самодержавства употребить с полною властью к основанию и утверждению формы и порядка в правительстве. Во исполнение всевысочайшего в. и. в. мне повеления я всеподданнейше здесь подношу о том проект в форме акта на подписание вашему величеству. Осмелюсь себя ласкать, что в сем проекте устанавливаемое формою государственною верховное место лежисляции или законоданию, из которого, яко от единого государя и из единого места, истекать будет собственное монаршее изволение, оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оных. Впрочем, я должен с подобострастием заметить, что есть, как вам известно, между нами такие особы, которым для известных и им особых видов и резонов противно такое новое распоряжение в правительстве. И потому невозможно в. и. в-ству почесть совсем оконченным к пользе народной единое ваше всевысочайшее соизволение на сей ли предложенный проект или на что другое, но требует еще оно вашего монаршего попечения и целомудренной твердости, чтоб Совет в. и. в. взял тотчас свою форму и приведен бы был в течение, ибо почти невозможно сомневаться, чтобы при самом начале те особы не старались изыскивать трудностей к остановке всего или по последней мере к обращению в ту форму, какову они могут желать. В таком случае несравненно полезнее теперь по ней сделать установление, нежели допустить так, как прежде бывало, развращать единожды установленное».

Можно себе представить, какое впечатление на Екатерину должен был произвести этот доклад. Екатерина сама имела слабость относиться несправедливо к популярному правлению Елисаветы, резко выставляя на вид недостатки его и умалчивая о достоинствах; но в своем глазу не видно и бревна, а сучок в глазу другого очень заметен; тут же бревно в глазу автора доклада было таких размеров, что не могло не поразить и не возбудить подозрения; как ни неприязненно была расположена Екатерина к Шуваловым, все же картина правления Елисаветы, начертанная Паниным, не могла не показаться ей пасквилем, продиктованным крайнею личною враждою; но человек, который позволяет себе так увлекаться, не может рассчитывать на то, что он возбудит уважение и внимание к своему совету, тем более что у того, кому подавался совет, имелось побуждение смотреть на него подозрительно. Панин бил мимо, потому что вооружал против своего дела самолюбие Екатерины: при Елисавете, представлял он, дела находились в ужасном положении, недостойные люди, похитив доверие государыни, делали что хотели; для того чтоб при Екатерине не было того же, необходимо учредить Императорский совет: значит, ум, способности Екатерины не внушали никакого доверия, ее фавориты уже обозначились, и против них надобно было поскорее прибегнуть к единственному средству спасения, к учреждению Совета! Но действительно ли это средство? При императрице Анне был такой совет под именем Кабинета, и это было время бироновщины. Кабинет, по словам Панина, принял «такую форму, которая могла произвести государево общее обо всем попечение»; следовательно, эта чудодейственная форма, к которой Панин взывал как к средству против всех зол,

средству против припадочных людей, была вовсе не так действительна, не могла предохранить Россию от бироновщины. И это-то недействительное средство предлагается с такою настойчивостию: есть люди, которые не одобряют учреждения Совета, так императрица не должна обращать внимания на их мнения, не должна прежде решения важного дела выслушивать различные мнения о нем, только при учреждении Совета должна отказаться от совета, подписать, не думая, поданный проект!

В проекте Совета, поднесенном Екатерине Паниным для подписания, говорилось: «Задолго до нашего принятия Российской державы мы, познавая существо правления сей великой и сильной империи, познали и причины, которые так часто при всяких обстоятельствах и переменах подвергали оное пренебрежению государственных дел, т.е. слабости народного правосудия, упущению его благосостояния и, наконец, всем тем порокам, которые по временам внедрялись во все течение правления, как особливо при возведении на престол покойной императрицы Анны Иоанновны, и самая самодержавная власть уже потрясена была. Таковые государству вредные приключения происходили, несумненно, частью от того, что в производстве дел действовала более сила персон, нежели власть мест государственных, частью же и от недостатка таких начальных оснований правительства, которые бы его форму твердую сохранять могли... От начала недостаточные установления чрез долгое время, частью и в том еще злоупотребления наконец привели в такое положение правление дел в нашем любезном отечестве, что при наиважнейшем происшествии на монаршем престоле почиталось излишним и ненадобным собрание верховного правительства. Кто верный и разумный сын отечества без чувствительности может себе привести на память, в каком порядке восходил на престол бывший император Петр III, и не может ли сие злключительное положение быть уподоблено тем варварским временам, в которые не токмо установленного правительства, ниже письменных законов еще не бывало».

Императорский совет по проекту должен был состоять из шести членов, которые называются императорскими советниками. «В числе сем должны быть некоторые департаментов государственных статскими секретарями и потому место свое в тех департаментах для заседания иметь, яко то: 1) статский секретарь иностранных дел и член того департамента, т.е. Иностранной коллегии; 2) статский секретарь внутренних дел, который не токмо сенатор, но и место имеет во всех коллегиях, принадлежащих к тому департаменту; 3) статский секретарь военного департамента, который в Военной коллегии, в Комиссариате и в Провиантской, в Артиллерии, в Инженерном и Кадетском корпусах место имеет; 4) статский секретарь морского департамента, который и член коллегии Адмиралтейской. Все дела, принадлежащие по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему собственному попечению и решению, яко то взносимые к нам не в присутствии в Сенате доклады, мнения, проекты, всякие к нам принадлежащие просьбы, точное сведение всех разных частей, составляющих государство и его пользу, – словом, все то, что служить может к собственному самодержавного государя попечению о приращении и исправлении государственном, имеет быть в нашем Императорском совете, яко у нас собственно. Императорский совет не что иное, как то самое место, в котором мы об империи трудимся, и потому все доходящие до нас дела должны быть по их

свойству разделяемы между теми статскими секретарями, а они по своим департаментам должны их рассматривать, вырабатывать, в ясность приводить, нам в Совете предлагать и по них отправления чинить нашим резолюциям и повелениям. В присутствии нашем каждый статский секретарь по своему департаменту предлагает дела, принадлежащие к докладу и высочайшему императорскому решению, а советники императорские своими мнениями и рассуждениями оные оговаривают, и мы нашим самодержавным повелением определяем нашу последнюю резолюцию». В заключении проекта говорилось о разделении Сената на шесть департаментов.

Екатерина не вдруг подписала проект. Она прежде сама сделала замечания на некоторые выражения. Так, против выражения во введении: «И не может ли сие злоключительное положение быть уподоблено тем *варварским* временам» – она заметила: «Правда, что жалеть было о том должно, но неправда то, чтоб мы потому были хуже татар и калмыков, а хотя б и были таковы, то и при том кажется мне, что употребление столь сильных слов неприлично нашей собственной славе, да и персональным интересам нашим противно такое на всю нацию и на самих предков наших указующее поношение». В проекте статские секретари были названы министрами; Екатерина заметила: «Слово министры не можно ль переименовать русским языком и точную дать силу?» Екатерина не заметила или не хотела заметить еще странности: во введении находилась жалоба, что все беспорядки происходили оттого, что действовала более сила персон, нежели власть мест государственных, и дело дошло до того, что при возведении на престол Анны Иоанновны даже потрясена была самодержавная власть; но все знали, что в это время Россия управлялась Верховным тайным советом. Слово «министр» не сумели перевести по-русски и дать ему точную силу и просто выпустили, равно как и выражение «варварские времена». Проект переписали; Екатерина и тут переменяла: вместо шести членов Совета написала: «До осьми». Написаны уже были имена членов: граф Бестужев, гетман Разумовский, канцлер граф Воронцов, князь Яков Шаховской, Панин, граф Захар Чернышев, князь Мих. Волконский, граф Григорий Орлов. Статскими секретарями назначались: Панин – внутреннего департамента, Воронцов – чужестранного, Чернышев – военного. Наконец 28 декабря Екатерина подписала манифест, и все же он не был обнародован, Императорский совет не был учрежден; в важных случаях, как увидим, по-прежнему созывался совет или конференция из лиц по назначению императрицы. Екатерина поступила и тут с тою робостью, нерешительностью, внимательностью ко всем мнениям, что порицают в ней министры иностранные в это время – иностранные министры, смотревшие и на поведение Екатерины теми же полузакрытыми глазами, какими смотрели прежде на поведение Елисаветы, упрекая ее в медленности и нерадении. Екатерина не послушалась Панина, собрала мнения; некоторые ограничились замечаниями второстепенными, один советовал восстановить прежнее название – Верховный тайный совет. Но конечно, любопытнее других для Екатерины были замечания, сделанные генерал-фельдцейхмейстером Вильбуа. «Я не знаю, – писал Вильбуа, – кто составитель проекта; но мне кажется, как будто он под видом защиты монархии тонким образом склоняется более к аристократическому правлению. Обязательный и государственным законом установленный Императорский совет и влиятельные его члены могут с течением времени подняться до значения

соправителей. Императрица по своей мудрости отстранит все то, из чего впоследствии могут произойти вредные следствия. Ее разум и дух не нуждаются ни в каком особенном Совете, только здравие ее требует облегчения от невыносимой тяжести необработанных и восходящих к ней дел. Но для этого нужно только разделение ее частного Кабинета на департаменты с статс-секретарем для каждого. Также необходимо и разделение Сената на департаменты. Императорский совет слишком приблизит подданного к государю, и у подданного может явиться желание поделить власть с государем».

Мы видели, что французский посланник Бретейль, приписывая Екатерине слабость и нерешительность в делах внутренних, жалуется на ее гордый и высокомерный тон в делах внешних и объясняет это, во-первых, тем, что здесь не было личной опасности, а во-вторых, тем, что таким тоном в отношении к иностранным державам Екатерина хотела понравиться своим подданным. Мы не станем отвергать последнего объяснения, но заметим, что положение России благодаря деятельности Елисаветы в Семилетнюю войну было очень выгодно. Все державы выходили из этой войны с крайним истощением, Россия чувствовала его меньше всех, и значение, приобретенное ею в Семилетнюю войну, было таково, что ее движение в ту или другую сторону решало судьбу главных воюющих держав. Елисавета довела Фридриха II до края гибели, Петр III спас его; теперь от Екатерины зависело или снова повергнуть его в отчаянное положение, или спасти; все затруднение состояло в выборе.

Разумеется, можно было ожидать, особенно по словам манифестов, что Екатерина возвратится к елисаветинской политике, опять двинет свои войска на помощь Австрии и заставит Фридриха II мириться на всей воле союзников, причем Восточная Пруссия отойдет к России. Так понял дело и старый фельдмаршал Солтыков: тотчас по получении известия о событии 28 июня он занял войском очищенные было прусские области. Но Солтыков получил указ снова их очистить; императрица объявила, что будет соблюдать мир с Пруссией. Конечно, она не поступила бы таким образом, если бы была уверена, что войско и народ непременно хотят возобновления войны с Пруссией, но она знала, что раздражение происходило не от прекращения наскучившей всем дорого стоившей войны, а от того подчинения прусским интересам, какое позволил себе Петр III, от того значения, какое прусский министр получил в Петербурге; раздражение происходило от того, что таким унижением покушался союз Пруссии для войны, совершенно бесполезной для русских интересов, для войны, к которой чувствовалось полное отвращение. Поэтому Екатерина не опасалась никакого неудовольствия, если не нарушала заключенный мир с Пруссией, если при этом отстраняла датскую войну и поддерживала достоинство России, не тратя русской крови и денег; за все нравственные невыгоды, за всю неловкость прусского мира отвечало предшествовавшее правительство. Мир был нужен Екатерине по неупрочности ее положения, по желанию заняться внутренними делами, улучшить положение народа, приобрести этим право на его привязанность, оправдать событие 28 июня, для всего этого нужны были деньги и важно было прекратить расходы на заграничную армию. На войну можно было решиться только в крайнем случае; но предстояла ли эта крайность, надобилось ли охранять целостность империи и значение ее в Европе, нужно ли было сдержать соседа, сильного и не разбиравшего средств для достижения честолюбивых целей? Этот

упорный сосед был уже сдержан; Фридрих II выходил из Семилетней войны без внутренних средств начать другую, без союзников, с страхом затронуть Россию, увеличить ею число своих врагов, с желанием всеми средствами приобрести ее дружбу. Было ли согласно теперь с интересами России обессиливать окончательно Пруссию, приносить ее в жертву Австрии и Франции, преимущественно первой, которая получала тогда преобладающее влияние в Германии? Не нужна ли была поэтому Пруссия для сохранения политического равновесия в Европе? Конечно, могут сказать, что пестрая по своему составу Австрия никогда не могла быть так опасна для России, как Пруссия; но мы не имеем права от веков предшествовавших требовать тех взглядов, которые опыт и влияние новых начал и явлений дали векам последующим. Для Екатерины и ее советников прежде всего представлялся вопрос: так как России нечего более бояться Фридриха II, которому притом недолго остается жить, то следует ли для окончательного сокрушения Пруссии в угоду Австрии, для возвращения ей Силезии нарушить мир, начать войну, которая может затянуться при личных средствах Фридриха, при истощении Австрии и Франции?

Мир был нужен по отношению к польскому вопросу, приближавшемуся к решению: со дня на день ждали смерти короля Августа III. В Европе было тогда признано и подтверждено в знаменитом сочинении Монтескье (Дух Законов), что для государств выгоднее соседи слабые; отсюда стремление поддерживать слабость соседних держав, поддерживать правительственные формы, которые усложняли эту слабость, заключать между собою договоры о поддержании этих форм, отсюда договоры между Россией, Пруссией, Австрией, Даниею о поддержании известных правительственных форм в Польше и Швеции. Но с признанною в науке и практике выгодой соединены были и большие затруднения. Государство слабое не могло сохранять своей самостоятельности, должно было подвергаться влиянию сильных соседей; эти влияния сталкивались, слабое государство становилось ареною для борьбы сильных, которые таким образом теряли выгоду иметь безопасные границы, ибо боролись друг с другом по поводу слабого, не разделявшего, но сталкивавшего их. Так, слабая Польша представляла из себя открытую арену для борьбы России, Пруссии, Австрии, Турции, Швеции, Франции. Борьба производилась с особенною силою при королевских выборах, и к этой-то борьбе надобно было теперь готовиться. Мог быть выбран или иностранный принц, или природный поляк, как говорилось тогда, Пяст. Интерес России требовал такого короля, который был бы избран исключительно по ее влиянию, был бы ей одной обязан престолом и потому мог бы отслужить ей за это удовлетворением ее требованиям, которых было три: облегчение участи православных русских, определение границ, возвращение беглых. Польша была слаба, а между тем сильная Россия не могла от нее добиться ничего относительно этих требований, что производило сильное раздражение, ибо нарушало существенные интересы и достоинство России. Понятно, как важно было для Екатерины, чтоб эти требования получили удовлетворение в самом начале ее царствования, особенно первое, чтоб она для русских людей явилась защитницею православия, ответила делом на призыв Кониского в его знаменитой речи после коронации, а в глазах европейских философов явилась защитницею свободы совести, укротительницею католического фанатизма. Первым искателем польского престола был сын Августа III наследный принц саксонский; но он не

удовлетворял главному условию – не мог быть возведен на престол исключительно с помощью России: его поддерживали Австрия и Франция, под преимущественным влиянием которых он и должен был находиться. При Елисавете это был и русский кандидат, ибо тогда основанием политики было сдерживание Пруссии в союзе с Австриею, Франциею и Саксониєю; но теперь мир с Пруссиею переменил основание политики. Мир России с Пруссиею, даже и не сопровождаемый союзом, наносил тяжкий удар Австрии и Франции, особенно первой, которую принуждал к невыгодному миру с Пруссиею, следовательно, вел необходимо к охлаждению между Австриею и Россиєю, а при таких обстоятельствах нельзя было поддерживать австро-французского кандидата, надобно было противодействовать ему всеми силами, что еще более увеличивало охлаждение Австрии и Франции к Россию. Этого мало: при Елисавете, когда борьба с Пруссиею была на первом плане, последовательно было поддерживать враждебный Пруссии саксонский дом, вознаграждать его за ущерб, нанесенный Пруссиею, последовательно было дать Курляндию одному из сыновей Августа III; но теперь, когда найдено необходимым не допускать саксонского принца до польского престола, непоследовательно было оставлять брата его курляндским герцогом, надобно было прогнать его из Курляндии, что вело прямо к вражде с саксонским домом и покровительствующими ему державами – Австриею и Франциею. Эта вражда естественно и необходимо вела к сближению с Пруссиею. Фридрих II благодаря окончательному выходу России из войны приобретал возможность заключить выгодный мир, удержать Силезию; но он хорошо знал, что Австрия именно за это будет питать к нему постоянную вражду; сблизиться с Франциею не было надежды, с Англиею была более чем холодность, и потому Фридрих должен был заискивать дружбы с Россиєю, для чего надобно было предложить содействие в курляндском и польском деле. Фридриху было, разумеется, выгодно отстранение принца из враждебного ему саксонского дома; он соглашался на Пяста, соглашался именно на того, кого избрала Екатерина. Она избрала своего старого знакомого Станислава Понятовского. Мы видели, что еще при Елисавете толковали, будто Понятовский имеет в виду достигнуть польского престола с помощью великой княгини Екатерины; теперь ему легко было этого достигнуть с помощью императрицы всероссийской.

Екатерина говорила Бретейлю: «Обо мне нельзя судить до истечения нескольких лет; мне надобно по крайней мере пять лет для восстановления порядка, а между тем со всеми государями Европы я веду себя, как искусная кокетка». Екатерина хотела мира, не хотела вступать ни с кем в союзные обязательства, которые могли иногда и против воли заставить воевать, и, когда все государи заискивали ее расположения, ее союза, она хотела отделяться, как искусная кокетка, не отказывать, не лишать надежды и не давать решительных обещаний. Она хотела, говорим, вести себя так, но это было трудно.

Россия выходила из войны и отказывалась от союзов; но при таком положении державе трудно сохранить важное значение. Для поддержания своего влияния Екатерина хотела быть посредницею мира, но воюющие державы не хотели принимать ее посредничества, ибо не видали в этом никакой пользы для себя; притом Пруссия была недовольна переменою русской политики и угрозами, которыми Екатерина понуждала ее к миру; Австрия была еще недовольнее тем, что Екатерина своим выходом из войны принуждала ее отказаться от Силезии,

разрушала все ее надежды. Со стороны петербургского Кабинета было заявлено, что Россия относительно Польши и других держав будет держаться Пруссии, но что это не помешает ей относительно Турции держаться Австрии, иметь с нею одинакие интересы; в Вене не хотели признавать такой двойственности и, сердясь на Россию за союз с Пруссией, тем теснее соединились с Францией и вместе с нею действовали против России в Константинополе. Точно так же Россия должна была выдерживать сильную борьбу с Францией в Стокгольме. Наконец, Россия не могла долго сохранить свободное положение. Фридрих II соглашался содействовать России по делам польским, но он не хотел делать этого даром. Боясь вражды Австрии и Франции, находясь в разладе с Англиею, Фридрих нуждался в союзе с Россиею, в формальном оборонительном союзе, которым бы он мог страшать своих врагов: Семилетняя война доказала, как опасно бороться с державою, на стороне которой Россия. Напрасно петербургский Кабинет медлил, уклонялся от вступления в нежеланные обязательства: Фридрих II настаивал, и, чтоб иметь помощь его в делах польских, должны были заключить с ним союз.

Обратимся к подробностям.

Известие о событии 28 июня поразило Фридриха II как громом, по его собственному признанию; хотя донесения Гольца и возбуждали сильные опасения в самом Фридрихе и министрах его, однако все же не ожидали такой скорой развязки. Министр Финкенштейн писал Гольцу: «Я желаю одного – чтоб этот государь (Петр III), которого мы имеем столько причин любить и который, кажется, рожден для счастья Пруссии, жил и держался на русском престоле». Тяжело было лишиться могущественного государя, который, по словам Фридриха, служил Пруссии, как ее министр. Но делать нечего, надобно было покориться обстоятельствам. Чернышев первый объявил королю о восшествии на престол Екатерины и о приказании ему отделиться от прусской армии. Король стал упрашивать его подождать три дня, и Чернышев позволил себе согласиться; этими тремя днями Фридрих воспользовался для того, чтоб начать наступательное движение против австрийцев; он не мог рассчитывать на успех, если б отступление Чернышева ободрило австрийцев; расчет был верен, движение пруссаков увенчалось полным успехом. Швейдниц опять перешел в их руки. Вслед за тем начали приходиться успокоительные для короля известия, что Екатерина не намерена разрывать с ним мира, и хотя удаление Чернышева было для него очень чувствительно, но он мог утешаться тем, что не будет обязан отделять части своих войск на помощь русским в датской войне. Против одних австрийцев можно было с успехом вести войну и между тем наблюдать, что делалось в Петербурге. 29 июня подписан был Екатериною рескрипт к князю Репнину в Берлин: «Каким образом мы по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению всероссийский императорский престол воспринять, и тем государство и империум наш от всяких беспокойств и разорений освободить, и прежнее благополучие и порядок в оном восстановить за благо и потребно рассудили, оное усмотрите вы из приложенного при сем манифеста. Мы умедлить не хотим о сем Божеским справедливым и непостижимым руководством и благословением воспоследованном важном происшествии чрез сие вам знать дать со все милостивейшим повелением, чтоб вы предварительно тамошнему двору чрез министерство о том сообщили, обнадеживая о неперменном нашем намерении сохранять добрую дружбу». К рескрипту

приложена была также нота ко всем иностранным министрам в Петербурге от 28 июня; в этой ноте императрица уверяла их, что она имеет неперменное намерение сохранять добрую дружбу с их государями. 1 июля написан был Репнину другой рескрипт: «Не может вам быть безызвестно, что во время последнего правления корпус генерала графа Чернышева в диспозицию королю прусскому послан был без всякого, однако, соглашения ни о времени его при сем государе пребывания, ни о взаимных, напротив того, с прусской стороны выгодах. Хотя и не имеем мы еще точного известия, соединился ли тот корпус с королем или нет, однако, где бы онный ни был, повелели графу Чернышеву не только от прусской армии отделиться, но и прямо в Россию назад идти. Нет, однако, намерения нашего разрушать нововосстановленный с сим государем мир и согласие, но паче, пока не подаст он с своей стороны явных к разрыву причин, склонны мы сохранять заключенный в 24-й день минувшего апреля месяца трактат. Уведомляя вас о сей нашей резолюции, повелеваем мы вам не таить оной в вашем месте, но паче при всяком случае именно изъяснять, что по человеколюбию ничего мы столько не желаем, как видеть и поспешествовать скорейшему прекращению военного пламени, от которого народы толико уже пострадали». 4 июля передана была Гольцу нота, что императрица не считает нужным Берлинский конгресс для улажения голштинских дел, а следовательно, становится ненужным и посредничество короля прусского.

В первой депеше своей новой императрице, от 12 июля из лагеря при Бегендорфе, Репнин описывал, как он известил Фридриха II о событии 28 июня, когда король еще не знал, что распоряжения Солтыкова не одобрены в Петербурге. Во все продолжение разговора король, по словам Репнина, «весьма был смутен, опасаясь чрезвычайно, чтоб не разрушилось как настоящее согласие между им и императрицею». Вечером король опять призвал к себе Репнина и расспрашивал, не может ли он дознаться, что подало повод сделанным в Пруссии объявлениям (по поводу обратного движения русских войск), не сомнение ли какое, чтоб он по прежним обязательствам хотел каким-нибудь образом препятствовать царствованию императрицы; при этом Фридрих уверял, что так как бывший император сам письменно отрекся от престола, то против такого обнародованного доказательства никому идти нельзя и что он хотя б и хотел, но собственные его дела к тому бы его не допустили; наконец, он тотчас и признал Екатерину царствующею императрицею. Фридрих требовал также, чтоб Репнин доложил императрице, угодно ли будет, чтоб барон Гольц остался министром при ее дворе.

Гольц не мог оставаться в России. 10 июля он писал королю: «Императрица питает ко мне отвращение за мою тесную связь с покойным (Петром III), предполагая, хотя и очень несправедливо, что я одобрял поведение покойного относительно ее. При моем виде она невольно должна припоминать дурное обращение, какое Петр позволял себе с нею в моем присутствии. Я и секретарь мой Дитель имеем против себя и двор, и народ. Стоит нам поговорить с кем-нибудь из русских, чтоб сделать его подозрительным в глазах других». Но еще Гольц мог уведомить короля, что в будущем представляется возможность союза между ним и преемницею Петра III. В Петербурге в это время находился граф Кейзерлинг, назначенный при Петре III послом в Варшаву. Кейзерлинг, приятель Бестужева (Алексея), подобно Корфу и Панину, был заклятым врагом Франции и сильно охладел к Австрии, когда та сама вошла в союз с Франциею и ввела в него

Россию; в последнее время пребывания Кейзерлинга в Вене охлаждение превратилось во вражду, ибо он потерял прежнее значение, когда важнейшие дела во время Семилетней войны производились австрийскими послами в Петербурге и когда приятелям павшего канцлера Бестужева не оказывалось большого доверия. Екатерина, наслышавшись от Бестужева о способностях Кейзерлинга, была рада приезду последнего в Петербург, желая посоветоваться с ним вообще о внешних делах, и особенно о польских. Кейзерлинг, считая необходимым для России союз с Германиею против Франции и не желая теперь видеть представительницу Германии в Австрии, явился в Петербург с мыслию о необходимости прусского союза, особенно по отношению к польским делам, ведение которых поручалось ему. Он объявил Гольцу: «Хотя теперь и не в интересах русского двора заключать оборонительные союзы с соседними державами, ибо эти союзы могут впутать его в чуждые ему распри безо всякой прибыли, так как Россия не имеет притязаний на какие-либо части соседних владений, однако я не думаю, чтоб императрица была далека от вступления с вашим государем в связи более тесные, чем в каких они теперь, а именно может быть заключен союзный договор, в котором можно постановить меры относительно Польши».

Но пока будущие союзники вели не очень дружественные переговоры.

Репнин опять писал, что Фридрих все еще не доверяет миролюбивым намерениям императрицы и когда он, Репнин, старался его успокоить, то король потребовал, чтоб он изложил свои уверения на бумаге, которую можно показать иностранным министрам, но Репнин на это не решился. Скоро, впрочем, успокоило короля письмо Екатерины (от 24 июля), где императрица уведомляла его о посылке своего указа исправить в Пруссии следствия недоразумений, возникших от «излишней ревности», разумея ревность Солтыкова. После этого Фридрих начал толковать, что начинается несогласие между Австриею и Турциею и дело идет к разрыву, но Репнин писал, что не совсем верит словам короля. В августе Репнин имел с Фридрихом разговор. Король начал говорить, что между французским и английским дворами начатые переговоры, как ему кажется, успеха не имеют и это ему удивительно, ибо он уверен, что обеим сторонам война сильно наскучила. «Я думаю, – сказал Репнин, – что и всем воюющим державам война в тягость». Когда король с этим согласился, то Репнин продолжал: «Граф Чернышев доносил уже императрице о миролюбивых склонностях вашего величества, которые сходны с желаниями императрицы, и ее величество не отречется употребить и посредничество свое для достижения мира». «Я этому очень рад, – отвечал король, – но без согласия своих союзников не могу приступить к такому важному делу, впрочем, от них препятствий не предвижу; опасаясь венского двора, который, видя возвращение ваших войск, не так будет согласен на русскую медиацию». «Видя двоякость его мысли», Репнин отвечал, что русская армия находится еще так близко, что может «содействовать к сокращению безрассудных препятствий к спокойствию света». «Вышед из войны, – возразил король, – неприятно опять в нее вступать, а между тем войска могут быть нужны и в отечестве». «Россия, – сказал на это Репнин, – не имеет, кажется, причины чего-нибудь бояться, а хотя бы и была причина беспокойства, то войско ее величества так многочисленно, что часть его может возвратиться для

умиротворения Европы, а другая остаться для безопасности отечества». Король не отвечал ничего.

В конце июля Екатерина дала своим советникам 8 собственноручно написанных пунктов: 1) Что мне надлежит делать в теперешние конъюнктуры, клонящиеся во всей Европе к миру, по сообщениям аглинского министра Кейта? 2) Послать ли в Аугсбург на конгресс министров и с какими инструкциями? 3) Надлежит ли сообщать другим державам про позиции о медиации, которую король прусский мне чрез генерала Чернышева оферировал? 4) Надлежит ли нашим войскам в Россию повернуться по теперешним обстоятельствам? 5) Имеем ли мы причины, дав слово о содержании мира с королем прусским, оный мир за полезный почитать и в противном случае оный по-своему переделать, к чему нам может ли служить сепаратный артикул оного мира? 6) Надлежит ли возобновительный трактат союзный с венским двором содержать в своей силе или что в нем поправить? 7) Надлежит ли ныне королю прусскому представить, чтоб разоренную Саксонию от войск своих очистил и возвратил в прежнее владение? 8) Не подается ли повод к неприятию здешней медиации тем, что войска в Россию возвращены быть имеют, и не ослабеют ли такие же здешние негоциации на конгрессе?

10 августа старик Бестужев представил свои ответы при следующем письме: «По данным от в. и. в. собственноручно писанным осьми пунктам, сколько я мог, не будучи у дел чрез полпята года, также при настоящей старости и от понесенных печалей слабости и короткой памяти в рассуждение взять и примыслить, о том всеподданнейше приношу при сем же мое слабейшее мнение и, понеже оное не столь обширно сделано, как я за 17 лет тому назад, а именно в 1745 году, будучи тогда непрестанно при делах и в лучшей памяти, обстоятельное свое мнение имел честь поднести ее в-ству блаженной памяти любезной тетке вашей г. и. Елисавете Петровне, того ради дерзаю толь пространном приложением оного в. и. в. утруждать по причине, что в. в. изволили ко мне отзывать, что той ли я был системы, дабы короля прусского ослабить в его силах. И в. в. из оного усмотреть изволите, что я подлинно таким был, да и ныне при той же системе пребываю неотменно, предоставляя, впрочем, высочайшему и просвещенному в. в. рассуждению и повинуюсь всегда к раболепному исполнению монарших ваших повелений».

На первый пункт Бестужев отвечал, что Россия должна побуждать воюющие державы к миру. На второй: надобно стараться, чтоб русские министры были приглашены на конгресс, хотя и трудно теперь этого достигнуть вследствие заключения отдельного мира России с Пруссией; когда русские министры приглашены будут на конгресс, то им должно дать инструкцию, чтоб прежние русские союзники получили, сколько возможно, умеренное вознаграждение за их убытки и разорения и чтоб тем отчасти сокращены были многие силы короля прусского, как весьма опасного для соседственных держав на будущие времена, а особливо дабы не в состоянии он был за нынешнюю войну отомстить России, и чтоб присутствием на конгрессе русских министров императрица получила не только славу, но и могла быть ручательницею договора, не допуская ничего противного русским интересам. На третий: сообщить другим державам прусское предложение о посредничестве неприлично, ибо король упомянул об нем графу Чернышеву только в разговоре, и хотя повторил то же и князю Репнину, но такие

предложения обыкновенно делаются на письме. На четвертый: полезнее было бы всей русской армии остаться еще в завоеванных у Пруссии землях; но когда уже дано повеление армии возвратиться, то надобно до 30000 войска оставить в Польше по реке Висле и, сверх того, на границах содержать до 50000 войска и тем заставить желать русского посредничества и заставить уважать его. На пятый: когда государственная казна истощена, то и худой мир надобен; но так как мир с Пруссией заключен в ущерб славе и чести русского двора и без ведома союзников, то полезным считаться не может, и лучше было бы его переделать, как только будет к тому справедливая причина. На шестой: так как прежний договор с венским двором ослаблен миром с Пруссией, то надобно его возобновить как с естественным союзником по отношению к Турции и прочим соседям. На седьмой: надобно требовать от Пруссии и Австрии, чтоб вывели свои войска из Саксонии. На осьмой: если все русские войска возвратятся внутрь России, то, разумеется, у воюющих держав не будет побуждения требовать русского посредничества.

Неплюев утверждал, наоборот, что содержать русскую армию в Польше на Висле, в местах, уже опустошенных, будет страшно дорого и потом этим возбудится подозрение в соседних державах, ибо чем объяснить такую остановку войска? Наконец, поляки станут волноваться.

Князь Волконский подал мнение, почти буквально сходное с мнением дяди своего Бестужева.

Вице-канцлер князь Голицын подал мнение, что когда русские министры будут приглашены к конгрессу, то должны домогаться, чтоб умножившуюся чрез меру силу короля прусского привести в умеренные пределы удовлетворениями в пользу прежних русских союзников для будущей безопасности его соседей и для германского равновесия. Это тем полезнее для России, что уменьшится сила единственного теперь опасного для России соседа; а сила эта должна увеличиться Барейтскою и Аншпахскою областями, которые отойдут к бранденбургскому дому вследствие бездетной кончины их маркграфов. Не возвращать хотя часть войск из прусских областей до общего мира для сдерживания этим смелого и предприимчивого нрава короля прусского. По словам графа Мерси, венский двор с радостью стал бы продолжать субсидию, если б только русские войска остались на Висле. Нужно возобновить оборонительный договор с венским двором как с естественным союзником.

Воронцов также полагал, что хорошо бы оставить корпус русских войск в Пруссии и Польше; но «должно в рассуждение принять, что для благосостояния империи нужно сохранить мир, каков он ни есть, ибо и счастливые успехи воинские изнуряют довольно силы государства, умалчивая о несчастных приключениях всякого рода. Мир с королем прусским не может быть почтен полезным, но не остается почти способа переделать его».

Решено было сохранять мир и выводить войска из прусских областей, а между тем понуждать прусского короля к миру с Австриею и Саксониею, но, разумеется, последнего трудно было достигнуть при первом.

К Репнину был отправлен такой рескрипт: «Из реляции вашей усматриваем мы, к сожалению нашему, что король прусский по мере удаления войск наших из земель его стал все больше открывать пред вами свое отвращение к миру. Не так удивителен, как неприятен нам его поступок, ибо из него не без основания можно заключить, что он намерен продолжать войну, может быть, в той надежде, что мы,

оставя раз войну, не захотим скоро опять ее начать; с другой стороны, взятие Швейдница приводит его в состояние действовать наступательно против австрийского дома и принудить императрицу-королеву силою оружия к такому миру, которым бы он мог на будущее время сохранить и утвердить перевес свой и бранденбургского дома в Германии. Так как наше желание и старание совсем другие, а именно чтоб скорым окончанием войны установить в Германии столь нужное для интересов нашей империи равенство сил и для того способствовать императрице-королеве в удержании того, что ею уже действительно завоевано, то не можем мы теперь оставаться спокойны, пока не узнаем прямо и точно мысли его прусского величества, дабы, применяясь к ним, располагать и собственные наши меры. Вы поэтому должны сыскать удобный случай внушить королю в разговоре будто от себя, что приметная его склонность к продолжению войны отнюдь не может нам быть приятна по миролюбию нашему и принятым правилам и потому вы опасаетесь, чтоб она не удержала нас от вступления с ним в большую дружбу и короткость, хотя и есть между обоими дворами некоторые общие интересы. Когда речи и поступки короля прусского и впредь будут обнаруживать упорство его в продолжении войны, то вы должны выказывать нашу склонность и доброжелательство к венскому двору; по требованию обстоятельств вы должны отзывать, что по естественным интересам обоих императорских дворов мы не можем оставить вовсе императрицу-королеву. Если бы король прусский был убит в каком-нибудь сражении, что на войне случиться может, то повелеваем вам преемнику его формально и немедленно предложить нашу медиацию с обещанием несомненного чрез посредство наше мира».

Репнин увеличивал беспокойство императрицы, донося, что Фридрих имеет намерение овладеть Саксониєю и что когда он, Репнин, стал представлять ему об очищении этой страны, то он стал обходиться с ним холодно, так что Репнин просил у императрицы позволения уехать из лагеря в Берлин, чтоб не подвергнуться неучтивости свой посольский характер. Когда Репнин представил Фридриху о миролюбии венского двора и о согласии его вступить в мирные переговоры и заключить перемирие, то король отвечал, что он не отрекается от выгодного мира, но на невыгодный никогда не согласится и прежде постановления прелиминарных пунктов перемирие заключено быть не может; венский двор, если желает, может сделать предложение, но он с своей стороны не имеет сделать никаких предложений и на конгресс никогда не согласится; военные заботы не оставляют ему времени для мирных переговоров, тем более что министерства своего при себе не имеет. Репнин заметил: «Зима приближается и дает вашему величеству свободное время; о месте и способе переговоров нечего говорить, лишь бы было желание мира». «На конгресс никак не соглашусь, — отвечал Фридрих, — предложений никаких делать не имею и оставляю на волю венского двора их сделать». «Ваше императ. величество, — доносил Репнин, — изволит усмотреть, что негоциациями способу нет короля к миру склонить, разве ему оставить все те же владения, которые прежде войны имел, и никакой индемнизации никому не требовать; ежели же венский двор какие-либо ни есть авантажи получить желает, то оные иначе достать не может как твердостью своего оружия. Кампания нынешнего года совсем в пользу короля обратилась, чем еще более его мысли возвысились, и если сверх того какие авантажи еще получит, то боюсь, чтоб сам не задумал хотеть индемнизацию за убытки сей войны».

Екатерина настаивала, чтоб прежде всего Фридрих вывел свои войска из Саксонии и дал ее курфюрсту, королю польскому, вознаграждение за разорение его земли. «Мы предусматриваем, – говорилось в рескрипте императрицы Репнину, – что сия материя неприятна будет королю, но справедливость тем не меньше требует, чтоб обидчик сделал обиженному удовольствие, и для того надобно вам при всяком случае пристойно напоминать, что без удовлетворения королю польскому как саксонскому курфюрсту мир прочно установлен быть не может». «Король, – писал Репнин, – когда я чуть коснусь этой материи или восстановления мира, прерывает разговор и с неудовольствием от меня уходит. Так, получа известие, что австрийцы покушались напасть на принца Генриха, сказал мне: „Я вижу, как они намерены оставить Саксонию; они только стараются всячески меня оттуда выбить“. Я заметил ему, что австрийцы без его согласия не могут оставить Саксонию, но сами они вполне на это готовы, лишь бы он показал такую же готовность. „Я уже давно знаю, чему верить и чему не верить“, – отвечал король». Репнин писал, и, конечно, слова его должны были произвести неприятное впечатление, показывая вред, происшедший от изменения елисаветинской системы относительно Фридриха II: «При восшествии вашего величества на престол граф Чернышев и я доносили, что король не прочь от мира. Но обстоятельства с тех пор совсем переменились: страх оружия вашего величества миновался с возвращением русских войск в отечество; Швейдниц взят, австрийцев захвачено в плен до 15000 человек, а у них только от 2000 до 3000 прусских пленных. Помянутые преимущества возвысили здесь желанья и совершенно переменили мнения, и, сверх того, и природный нрав короля много участия в том имеет».

Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии для передачи Репнину: «При пристойном случае князю Николаю Репнину в разговоре внушить королю прусскому будто бы от себя, что видимая его склонность к войне может удержать меня от вящей дружбы с ним, королем, хотя и некоторые между нами есть сходственные интересы. Когда королевские речи покажутся склонны к войне, тогда посланнику подавать виды склонности к венскому двору; а когда к миру покажет желание, тогда на его сторону говорить, показывая при всяком случае крайнее мое желание видеть мир и тишину. Еще секретнейшее наставление князю Репнину дать: если король в его, князя, бытность убит бы был, чтоб он тогда формально наследнику медиацию нашу офрировал с обещанием неизменного мира». Наконец, Репнин должен был внушить Фридриху, что в случае продолжения войны Россия принуждена будет всеми способами помогать венскому двору. «Сомневаюсь, – отвечал Репнин, – чтоб можно было склонить короля к какой-нибудь уступке, разве сделать это силою оружия, а иначе невозможно». Представления посланника подкреплялись письмом самой государыни. «Я, была бы очень рада, – писала Екатерина Фридриху, – устранить все то, что может вредить доброму согласию между нами, но я не вижу к тому средства, если в. в. не выйдете из настоящей войны. Я вам скажу просто: нет ли возможности заключить мир? Я бы могла действовать иначе, у меня были средства в руках и теперь еще есть. Я пожертвовала существенными выгодами войны любви к миру; надобно надеяться, что другие последуют этому примеру, тем более что до сих пор они могут иметь в виду выгоды еще идеальные только. Вся трудность состоит в вознаграждении саксонскому двору: можно устроить

какое-нибудь помещение для одного из принцев этого дома». Письмо оканчивается угрозой: «Я знаю, что венский двор склонен к миру. Я могла бы сообщить вам его предложения, если бы со стороны в. в-ства могла ожидать того же; но, к несчастью, вы отказались от этого, и я боюсь, что, наконец, мои лучшие намерения не исполнятся и я буду принуждена принять меры, противные моим желанием, склонностям и чувству дружбы».

26 ноября Репнин имел разговор с министром иностранных дел графом Финкенштейном. Репнин представил решительно о необходимости очищения Саксонии и вознаграждения ей, без чего прочный мир невозможен. Финкенштейн отвечал: «Правда, Саксония страдает, но гнев королевский на нее происходит от уверенности, что она была причиною войны, на что есть и письменные доказательства. Прежде с русской стороны упоминалось только об очищении Саксонии, а теперь пошло дело уже и о вознаграждении». «Секреты кабинетов остаются в тайне между государями, – сказал Репнин, – и я об них ничего не знаю, а известно мне и всему свету, что король прусский первый вошел в Саксонию и с тех пор какие страдания она терпит. Вознаграждение же Саксонии справедливо следует по натуральному праву: обиженный должен получить удовлетворение от обидчика. Удаление его величества от очищения Саксонии и от мира приводит меня в страх, чтоб от этого упорства не последовала холодность между ним и ее императ. величеством; боюсь, чтоб ее величество не была принуждена совершенно обратиться к венскому двору». «Холодности с нашей стороны никогда не будет, – отвечал Финкенштейн, – король твердо намерен сохранять дружбу с императрицею». Во все время разговора, доносил Репнин, Финкенштейн был в великой *торопости*, говорил он дрожащим голосом и сам дрожал.

21 декабря Финкенштейн объявил Репнину именем королевским под крайним секретом, что венский двор сделал мирные предложения чрез посредство саксонского двора и король отвечал, что он не удален от мира, лишь бы условия были разумные, вследствие чего с обеих сторон назначены поверенные в делах. Венский двор требовал, чтоб дело велось тайно, но король, будучи обязан истинною дружбою с русскою императрицею, признавая с благодарностию человеколюбивое желание ее относительно восстановления общей тишины, также и в доказательство, что он от мира не удаляется, не хотел этого скрыть. Репнин отвечал, что императрица, конечно, с удовольствием услышит об этом начале к прекращению бедствий человечества и по возможности будет способствовать к отвращению всяких тому препятствий, если только король откровенно и точно изъяснится. Финкенштейн отвечал королевским именем, что король немедленно отправит прямо к императрице свои мирные условия.

А между тем преемник Гольца граф Сольмс, приехавши 18 декабря к канцлеру на вечер, вступил с ним под видом разговора в подробные рассуждения о делах. Король, его государь, удивляется, начал Сольмс, как сильно ее величество изволит интересоваться саксонским двором, когда тот поступками своими не только не заслуживает заступления ее величества, но более достоин мести за радость, оказанную им при известии о заговоре (хрущовском) против ее величества; он, граф Сольмс, может уверить, что при этом случае дрезденский двор везде разглашал в Польше, что хотя первое покушение было и неудачно, однако новое покушение, которое последует в ноябре, непременно произведет перемену в правлении. Если бы король в угодность императрице захотел очистить

Саксонию, то как бы он мог увериться, что не подвергнется нападению в сердце своих владений, имея столько опытов вражды и ненависти дворов венского и дрезденского, которые до войны думали уже о раздроблении областей его. Король готов заключить мир с австрийским домом, если только тот отстанет от своих требований и захочет удовольствоваться тем, чем каждый владел до войны. Так как великобританский двор при заключении мира с Францией в противность торжественных обнадешиваний вовсе пренебрег интересами его прусского величества и вообще начал оказывать к нему большую холодность, то король опасается, чтоб лондонский двор, скрывая несправедливость своего поступка, не захотел распространить своих вредных для короля внушений и при здешнем дворе, тогда как король, напротив, употребляет всевозможное старание сохранить дружбу с ее величеством. Канцлер отвечал, что ее величество заступает за польского короля по дружбе к нему, по его усиленным домогательствам и особенно по принятому однажды навсегда правилу – стараться по возможности о скорейшем прекращении народных бедствий. Ее величество не без причины ожидала со стороны прусского короля большей податливости и снисхождения к ее заступлению, тем более что Саксония и без того уже почти вконец разорена. Опасение австрийского нападения чрез Саксонию на прусские земли не может служить отговоркою, ибо в русском предложении точно обозначено, что Саксония будет немедленно занята войском своего курфюрста, который во всю войну будет соблюдать строжайший нейтралитет. Внушение о странной радости, будто б оказанной польским двором по поводу заговора, тем удивительнее, что об этом не было извещения ни от русского министра в Польше, ни от кого другого; наконец, мнимый раздел прусских земель, в котором обвиняются теперь дворы венский и дрезденский, никогда не был доказан, хотя с прусской стороны весь саксонский архив силою взят и многие бумаги из него изданы. На это Сольмс заметил, что у короля в руках находятся явные доказательства замысла о разделе его владений.

Фридрих не думал, чтоб Екатерина при тогдашних обстоятельствах решилась начать войну, и особенно войну с ним из-за Австрии и Саксонии. В декабре он писал Финкенштейну: «При настоящих обстоятельствах надобно выигрывать время и идти потихоньку (*a pas mesures*). До сих пор я не знаю, в каких отношениях мы с Россиею; я имею важные причины думать, что там не захотят разорвать с нами; императрица уводит свои войска внутрь страны, и я не думаю, чтоб Австрия имела большое влияние в Петербурге».

Какую печаль произвело событие 28 июня в Пруссии, такую же радость возбудило оно в Дании.

29 июня уже был отправлен к Корфу рескрипт, что если он находится на дороге в Берлин, то пусть возвращается туда, где находится датский король, и удостоверит его в искреннем желании императрицы ненарушимо сохранять и продолжать союзническую дружбу; внушить, что императрица с сожалением видела, как доходили до крайности несогласия с Даниею по голштинским делам, и все предприятия против Дании признавала за несходные с интересом своего государства, благополучие которого предпочитала всем посторонним видам. Теперь императрица желает оставить все на прежнем основании, полагая за правило, что голштинские дела не могут служить поводом к нарушению доброго согласия России с датским двором.

Корф был уже в Берлине, когда получил этот рескрипт; он немедленно отправился в Копенгаген и оттуда в загородный королевский замок Фриденбург, где его ожидали с нетерпением и приняли с великою радостью. Король не находил слов для выражения своей благодарности императрице за ее уверения в дружбе и распространился о своем уважении к русскому народу. «Вы свидетель, – говорил он Корфу, – как я всегда почитал русский народ, это почтение усилилось вследствие храбрых действий русских войск в настоящей войне, мне было жаль вступить в кровопролитную борьбу с народом, которого я ничем не оскорбил». «Не только двор, – писал Корф, – но и все жители датских провинций, чрез которые я проезжал, до последнего крестьянина обнаруживали радость вследствие нечаянной перемены в их судьбе; да исполнит Всевышний все то, чего эти бедные люди желали вашему величеству. Совершенно другое обнаружилось в Берлине и бранденбургских землях, когда там узнали о вступлении на престол вашего величества: ужас был так велик, что королевскую казну ночью отвезли в Магдебург».

Но в Дании слишком много рассчитывали на равнодушие Екатерины к Голштинии. Датский король объявил, что по договору между ним и шведским королем как принцем голштинского дома последний отказался в его пользу от опекуна в случае малолетства герцога голштинского. Теперь, по мнению датского короля, этот случай настал по малолетству великого князя Павла Петровича, и он, король датский, должен вступить в опекуна, следовательно, и управление герцогством. Но Екатерина собственноручно написала Иностранной коллегии: «Тем наипаче, что при вступлении моем на всероссийский престол всем державам объявлено, сколько я желаю мир и тишину, ныне удивления достоин поступок короля датского, который объявил мне, будто он права имеет обще со мной опекуна сына моего в Голштинии на себя взять. Я оные права признать не могу. В Римской империи младший принц без ведома старшего своего дома не может в повреждение того заключить трактат. Бывший император не ведал и никогда не апробовал трактат короля шведского, младшего принца голштинского дома, с королем датским в предосуждение своих братьев и наследника Петра III. Мать по всем Римской империи правам имеет опекуна сына своего, и король датский сам подкреплял в саксен-веймарском доме недавно случившийся случай. Сколько наиболее при всего умного света (т.е. по признанию всех умных людей) права самодержавной императрицы подкрепляет уверенность целого обширного народа – всякому на рассуждение отдается. С королем датским же в негоциацию отнюдь вступать не буду до тех пор, что все его войска из Голштинии не выведены». Екатерина назначила администратором известного принца Георгия в награду за его родственное заступничество за нее при Петре III. Разумеется, Дания должна была уступить, и министр иностранных дел барон Бернсторф объявил Корфу, что намерение короля в этом деле было самое невинное: «Он хотел только с своей стороны действительно доказать участие в интересе, в приращении германских владений великого князя, следовательно, получить более случаев к изъявлению его высочеству опытов своей искренности, дабы приобрести будущую этого государя дружбу, которая королю и землям его очень нужна; но, усмотря, что императрица относительно соопекуна и администрации голштинских земель не одного мнения с королем, последний не

преминет отказаться от своего права для показания высокопочитания и самой искренней дружбы своей, какую только ее величество вообразить себе изволит».

Событие 28 июня, возвратившее Корфа из Берлина в Копенгаген, удержало Остермана в Стокгольме. 29 июня отправлен был к нему рескрипт с извещением о восшествии на престол Екатерины и с приказанием уверить короля в намерении новой императрицы непременно содержать добрую дружбу с шведским двором. Король велел отвечать, что хотя не мог без сожаления услышать по ближнему родству с бывшим императором Петром III о наведенном им самим на себя приключении, однако, приняв в уважение важные причины, принудившие императрицу предаться материнскому попечению о благе Российской империи, и еще ближайшее родство с нею, с наичувствительнейшим удовольствием услышал о счастливом ее восшествии на престол и о намерении сохранять дружбу со Швециею; король с своей стороны не преминет утверждать эту дружбу всеми силами. Это Адольф-Фридрих доказал немедленно совершенным отстранением своим от участия в деле по претензиям датского короля на голштинскую администрацию.

Относительно новой инструкции графу Остерману канцлер Воронцов подал императрице доклад: «Графу Остерману в начале еще последнего правления дан был указ шведского короля и королеву, также и партию их подкреплять везде и при всяком случае, но так как это *беспредельное* повеление может касаться и ниспровержения установленной в Швеции формы правления, то не соизволено ль будет его отменить?» Екатерина отвечала собственноручно: «Ограничивая форму правления, подкреплять партию, противную господствующей».

В сентябре Остерману удалось добыть и переслать в Петербург донесение шведского посланника при русском дворе Поссе о состоянии Российской империи. Поссе начинает ближайшим к себе делом – отношениями России к Швеции, о которых пишет, что было бы желательно, если бы они навсегда остались такими, как теперь. Затем Поссе переходит к военной силе России: регулярное войско простиралось до 304953 человек, нерегулярное – до 32000; но из этого числа в поле не может быть выведено более 100000 человек; полки никогда в комплекте не находятся: так, в пехотном полку следует быть 2637 человекам, но в нем постоянно недостает от 600 до 700 человек, ибо Военная коллегия старается иметь сколько возможно порожних мест, чтоб остающимся жалованьем обогащать свою казну. Кроме того, от беспрестанных переходов армейских полков по такому обширному государству из одной провинции в другую много людей пропадает; сюда же должно присоединить природную ненависть русских к военной службе и трудность в наборе и пересылке рекрут. В счет людей в полках входят офицеры, унтер-офицеры, капралы, лекаря, попы, писаря, музыканты, плотники, кузнецы, денщики, погонщики, что составляет от 600 до 700 человек в каждом полку. Русский солдат питается дурною пищею, находится постоянно в тяжелой работе, лишен хороших лекарей и лекарств; по этим причинам четвертая доля полка лежит в госпитале, а больного солдата можно почитать пропавшим по дурному за ним уходу, так что в каждом полку остается только от 800 до 900 человек. Русские к солдатству не способны и не имеют искусных генералов, исключая некоторых иностранцев. Во время настоящей войны находившиеся в русской службе чужестранцы и лифляндцы обойдены и пренебрежны, и в последние годы несколько тысяч способных и

искусных иностранных офицеров принуждены были просить увольнения и получили его без всякого затруднения. Сухопутный и Морской кадетский корпуса могут почитаться плодовитым садом, доставляющим способных офицеров. Флот состоит из 31 линейного корабля, а с судами других названий число военных кораблей – 42, галер – 99. Старшие корабли в плохом состоянии и так гнилы, что едва можно их починить; вообще флот в дурном состоянии, потому что корабли строят неискусно: 99-пушечный корабль «Елисавета», построенный в 1745 году, не мог быть употребляем на море, потому что на бок валится; казанский дубовый и архангельский сосновый лес, употребляемые для кораблестроения, мягки и неплотны; Кронштадтская гавань не имеет соленой воды; семимесячное в году окружение корабля снегом и льдом очень много вредит им. Русский флот будет всегда в посредственном состоянии по недостатку искусных матросов; этот недостаток будет существовать до тех пор, пока Россия не будет употреблять для своей торговли собственных морских судов.

«Если бы Россия умела пользоваться выгодами, которыми так богато одарила ее природа, то она могла бы довести свою торговлю до высшей степени процветания; но у русских нет для этого ни достаточной вольности, ни достаточного знания и кредита, ни достаточного количества денег; их знатнейшие купцы суть только комиссионеры купцов иностранных, преимущественно английских. В Россию ввозится иностранных товаров на три миллиона 2715 рублей, а вывозится – на четыре миллиона 700000 рублей; но для избежания тяжелой пошлины привозимые товары по меньшей мере объявляются третью ниже истинной цены, а сверх того, мимо таможен тайным образом провозится множество товаров, так что большой разницы между вывозом и ввозом быть не может. Торговля сильно страдает от высоких таможенных пошлин: можно положить, что все товары платят по 40 процентов пошлины. Немало способствовало уменьшению русской торговли на несколько лет, а может быть и навсегда, запрещение отпуска из государства некоторых произведений. Пока лифляндские закромы были отворены, Швеция ежегодно брала оттуда по несколько тысяч ластов хлеба, но когда вывоз хлеба из России был запрещен, то Швеция нашла внутри себя средство помочь этой беде: запрещено было безрассудное винокурение и введена лучшая система в земледелии. Монополии принадлежат к числу важнейших причин, умаляющих торговлю; сюда же должно отнести проволочку времени, обиды, бесконечные хлопоты и взятки, берущиеся во всех таможнях. Когда таможни были у короны, то купцы платили пошлины в конце года оптом и капитал был у них свободен целый год, но когда таможни были отданы на откуп, то купцы принуждены очищать таможенную пошлину тотчас по выходе товара из таможни. Таможенные откупщики обязались платить в год 3000000 рублей, но так как вследствие повышения пошлин торговля уменьшилась, то они оказались несостоятельными.

О фабриках правительство не заботится надлежащим образом, а частные люди не имеют достаточно денег и кредита, и потому фабрики или совершенно упадают, или не совершенствуются; русские ремесленники не в состоянии добыть себе лучших инструментов и материалов и потому работают дурно, хотя работа их и дешево продается, но по доброте никак не может сравняться с иностранною».

Остерман с своей стороны доносил императрице о печальном состоянии Швеции, недостатке денег, страшной дороговизне, всеобщем ропоте на

правительство, о мысли созвать чрезвычайный сейм. Остерман писал, что вследствие всеобщего неудовольствия может быть восстановлено самодержавие, ибо никогда еще не слышал он таких ожесточенных выходок против настоящей формы правления. Противники придворной партии утверждали, что она имеет целию восстановление самодержавия, указывая на то, что ею управляет королева и самый влиятельный член партии, полковник Синклер, вполне предан королеве. Остерман при случае завел с Синклером речь о его намерениях: тот отперся от намерения ввести самодержавие, объяснил, что единственная его цель — уничтожение известных беспорядков, а это не может быть сделано без пересмотра существующей формы правления, без отстранения заключающихся в ней противоречий, установления фундаментального закона, которого нельзя было бы изменять при каждом сейме, и без точного определения границ королевской и сенатской власти. На вопрос Остермана, каким способом он может этого достигнуть при такой силе французской партии, которая до этого не допустит, Синклер отвечал, что без денег что-либо сделать трудно и если бы он мог получить только третью часть того, что издерживает французский двор в Швеции, то мог бы достигнуть больших результатов. На вопрос, а если он этих денег не получит, что предпримет в таком случае, Синклер отвечал, что в таком случае надобно потерпеть до времени, пока народ не откроет наконец глаз и сам не подумает о своем спасении. Последний сейм, писал Остерман, кончился без решительного перевеса ни придворной, ни французской партии.

Важнее были польские дела. Мы видели, что при Петре III вместо Воейкова русским послом в Варшаву был назначен граф Кейзерлинг; Екатерина не переменяла этого назначения, но оставила Кейзерлинга на несколько времени в Петербурге для совещаний, и делами посольства в Варшаве управлял резидент Ржичевский. Мы видели, что королевский двор, повергнутый в отчаяние переменою русской политики и тесным союзом Петра III с Фридрихом II, утешался слухами, что в Петербурге произойдет скоро переворот. В депеше от 16 июня прусский министр Бенуа доносил своему королю, что приезжие из Петербурга рассказывают, как императрица любима русским народом. Слухи оказались справедливыми, в России произошла перемена, но польско-саксонский двор ничего от нее не выиграл, выиграла враждебная ему партия Чарторыйских. Ржичевский не умел или не хотел отстать от старых елисаветинских инструкций, по которым русские министры в Польше должны были держать себя беспристрастно относительно тамошних партий и не раздражать двора из-за Чарторыйских; притом же Ржичевский теперь мог бояться Бестужева, известного приверженца польско-саксонского двора, а послом в Польшу был назначен Кейзерлинг, приятель Бестужева. Но Чарторыйские послали жалобу на Ржичевского, который вследствие этого получил выговор от канцлера: «Из полученных мною от вашего высокоблагородия писем, также из отправленных вами к высочайшему двору реляций с неприятностию усмотрено здесь о невоспоследовавшем, согласно здешним видам, успехе в порученных вам делах. Вам точно предписано, чтоб вы в рассуждении сеймовых дел в Польше с князьями Чарторыйскими яко благонамеренными в крайней конфиденции о здешних намерениях изъяснились и до приезда господина посла графа Кейзерлинга в сем пункте по присоветованиям их поступки ваши учредили, також чтоб вы со стороны высочайшего нашего двора у его польского величества

домогались, дабы на прошение канцлера князя Чарторыйского пожалованием обоих литовских писарей в порожние чины воеводы виленского и гетмана литовского снизойти соизволил и что король сам себе обяжет такую фамилию, которая прежде много усердия и преданности к интересам его величества оказывала и только обстоятельствами от продолжения оных отведена была, и напоследок чтоб вы уведомили одного канцлера и обоих кандидатов о здешнем заступлении, требуя взаимно при всяком случае содействования их для поспешествования здешних интересов, кои толь тесно соединены с благосостоянием их отечества. Но содержание сих рескриптов вы весьма худо поняли и совсем противное здешним намерениям исполнение сделали, ибо вы, вместо того чтоб согласное и откровенное сношение с фамилиею князей Чарторыйских иметь, совсем другое им, как о том здесь уведомлено, внушали, хотя всего больше надлежало вам стараться, чтоб по довольно известным тамошних разных партий распрям и интригам графа Бриля и прочих ссоры их до крайности не доводить, преклоняя их к умеренным поступкам и прекращению вражды, тем более что ее императорского величества намерения отнюдь нет, чтоб чрез здешнюю протекцию фамилий князей Чарторыйских малейшее огорчение королю польскому учинить. А когда вы принуждены были для разрыва сейма подкупить посла Цехановского, то не должно было ему дозволить внести в манифестацию укорительные для России дела. Впрочем, имею еще приметить, чтоб вы воздержались по внушениям других писать неправильно в предосуждение дознанной здесь благонамеренности фамилии князей Чарторыйских, но впредь по точному содержанию отправляемых к вам отсюда наставлений поступали и вообще в поступках ваших наблюдали здешние виды и сопряженные с оными интересы высочайшего нашего двора».

Ржичевский оправдывался в письме к канцлеру: «Упомянутое мною злоупотребление князьями Чарторыйскими высочайшего покровительства состоит в том, что когда я их об этом покровительстве уведомил, то они советовали мне ехать к примасу, коронному гетману и прочим, дать им знать о новых отношениях русского двора к ним, Чарторыйским, склоняя упомянутых вельмож войти с ними в соглашение и держаться их, и, прежде чем я успел переговорить с примасом и гетманом, Чарторыйские уже разгласили об императорском покровительстве, ибо некоторые сенаторы и министры на другой же день спрашивали меня, правда ли, что императрица готова одобрить все сделанное Чарторыйскими и во всем их подкреплять. На мой вопрос, откуда они это взяли, я получил ответ, что сами Чарторыйские хвастаются получением такого объявления от русского двора через меня. Тогда я принужден был объявить, что подобной декларации Чарторыйским не делал, а объявил им только желание императрицы доставить им своим ходатайством у короля те чины, которых им хотелось. Правда, князья Чарторыйские – люди великие, только не составляют же здесь большую часть республики, много еще есть сильных и к России расположенных домов, которые также за честь себе почитают получить высочайшую благосклонность, хотя бы с князьями Чарторыйскими и находились в несогласии; следовательно, поступаю я так, как за лучшее рассуждаю, т.е. чтоб не только князей Чарторыйских подкреплять, но и других не раздражать. Князья Чарторыйские сами жалеют теперь о своей поспешности, которая им никакой чести не приносит и по которой они с графом Брилем так рассорились, что нет никакого средства их примирить.

Они предъявляли мне, что у шляхетства имеют кредит, но тотчас оказалось, что он был на другой стороне: под изданным ими манифестом подписались гораздо менее, чем под манифестом графа Бриля. Как старых друзей их нельзя покинуть, чтоб и другие имели на Россию добрую надежду, но действовать против графа Бриля и двора, особенно в нынешнем деле, было бы предосудительно».

Оправдание не помогло, что видно из собственноручной заметки Екатерины: «Тесная голова Ржичевского не могла понять, что если ему приказано было у двора рекомендовать к произведениям те персоны, о которых Чарторыйские просили, он мог их также рекомендовать и у примаса и прочих; лучше всего видится, дабы вперед там не думали, что мы двоякую роль играем, приказать ему по наставленьям Кейзерлинга; я, сверх того, вижу, что Ржичевский весьма влюблен в графа Бриля, а я желаю, чтоб не по собственным страстям, но по моим приказаниям поступлено было. В силе сего, однако ж, без выговора и умеря слова, наставление ему дать надлежит для переду».

Самое тяжелое поручение, которое должен был выполнить Ржичевский, состояло в подаче польскому министерству грамоты, извещавшей о решении Екатерины восстановить на курляндском престоле Бирона. Ржичевский должен был внушить, что так как исчезли причины, по которым нельзя было герцога Бирона выпустить из России, то нет никаких затруднений восстановить его в герцогском достоинстве, на которое он уже раз навсегда получил инвеституру; справедливость требует возвратить ему все имения, подаренные ему императрицею Анною и купленные им самим на собственные деньги. «Натурально думать, – говорилось в рескрипте Ржичевскому, – что, хотя король, как великодушный государь, с одной стороны, и признает наше правосудие относительно пострадавшей фамилии, которая никогда ни в чем не погрешила ни перед нами, ни перед его короною, с другой стороны, как отец, не может он не почувствовать горести. Желая сколько возможно утешить короля в печали и притом доказать, что мы дружески заботимся о благосостоянии его и всего его дома, повелеваем вам подать обнадеживание, что так как есть надежда на скорое прекращение военных бедствий, то мы будем содействовать не только справедливому удовлетворению Саксонии за претерпенные ею разорения, но содействовать также и вознаграждению принца Карла за потерю Курляндии посредством секуляризации каких-либо епископств или доставлением других выгод, например, можно было бы доставить ему епископство Минстерское или город Эрфурт, за который маинцкий епископ получит эквивалент: прусский король в секретных мирных предложениях 1757 года выражал свою склонность к этому».

Август III потребовал, чтоб Бирон представил прямо ему свои требования. На это Ржичевский получил рескрипт: «Нет нужды рассматривать здесь, справедливо или нет такое желание его величества и обязан ли герцог Эрнест-Иоганн просить о том, чего у него никто и ни по каким правам отнять не мог. Мы обращаем ваше внимание на одно, что королевская ответная грамота написана в саксонской канцелярии, которая по делам Польши, а следовательно, и Курляндии никакого участия иметь не может, и потому впредь по курляндским и польским делам вы не должны принимать никаких бумаг из саксонской канцелярии».

От 14 августа Ржичевский дал знать, что он еще не приметил, чтоб кто-нибудь из польских вельмож вступался за герцога Бирона, но все говорят, что так как король и республика так долго не могли допроситься освобождения

герцога Бирона и получили от императрицы Елисаветы декларацию, что Бирон с своим семейством никогда освобожден не будет, то был бы нанесен большой ущерб власти короля и республики, если б теперь король лишил сына своего принца Карла княжества Курляндского, ибо он дал ему это княжество вследствие деклараций русского двора и по усиленным прошениям курляндцев. Обстоятельство, что ответная королевская грамота императрице была написана в саксонской канцелярии, Ржичевский объяснял тем, что так как поляки не дают русским государям императорского титула и в коронной канцелярии поэтому грамота была бы написана без этого титула, то боялись, что Ржичевский не возьмет ее, и потому решились написать в саксонской канцелярии. «Не могу утаить, – писал Ржичевский, – что король находится в большом горе, боится, чтоб сын не потерял герцогства Курляндского в пользу Бирона, и весь двор опасается, чтоб здоровье короля не пострадало от этой печали; говорят, потерпев великое разорение в Саксонии, король возлагал всю свою надежду на великодушные русской императрицы, а теперь и с русской стороны терпит притеснения по курляндскому делу».

Между тем Кейзерлинг в Петербурге вместе с Бестужевым занимался разными делами по поручению императрицы. Относительно курляндского дела существует любопытная записка Бестужева от 29 августа: «Присланная реляция Ржичевского для сочинения по курляндским делам ответов за неимением графу Кейзерлингу времени прежде окончаемы быть не могли как сегодня в седьмом часу пополудни (ибо он упражнен был голштинскими делами), которые (т.е. ответы) при сем и с тою реляциею прилагаются на всевысочайшую апробацию. Что же принадлежит до письма принца Карла к ее императ. величеству, которое граф Кейзерлинг ему, Бестужеву-Рюмину, сообщил, то он, припамятуя ему, что по примеру, как нынешний король прусский в 1746 году своеручное письмо императрице Елисавете Петровне (без предварительной прежде копии) писал, и по повелению ее величества, чтоб на то письмо отмстительный ответ сочинить, представлено было ее величеству по русской пословице: „Доброе молчание ни о чем ответ“, а по-немецки: „Keine Antwort ist auch eine Antwort“, что ее величество в тогдашнее время и апробовать соизволила, на чем граф Кейзерлинг и согласился, чтоб, не вступая с ним в переписки, без ответа оставить». Бестужев достигал наконец исполнения давнего и сильного желания своего – восстановить своего благодетеля, Бирона, на курляндском престоле, чего, как мы видели, он напрасно добивался при Елисавете, будучи великим канцлером. Но с другой стороны, тот же Бестужев был предан саксонскому дому: чтоб не изменить и этой своей преданности, Бестужев настаивал на требовании от Пруссии, чтоб саксонский дом при заключении общего мира был вознагражден в Германии посредством секуляризации.

Но вознаграждение в Германии – дело неверное; Россия, отказавшаяся от войны, теряла право предписывать условия мира, а между тем эта самая Россия отнимала Курляндию у саксонского дома.

Несчастный Август III хотел удержать своего сына в Курляндии посредством польского сейма, но сейм, как мы видели, был разорван вследствие предписания Екатерины от 28 августа: «Писать к Ржичевскому, дабы он всевозможное старанье приложил разорвать ныне собираемый сейм, и отнюдь не допустил бы до выбиранья маршала во что оное бы ни стало, и, об оном сообщась с фамилиею

Чарториских и посоветовавсь с ними, поступал по сему еще до приезда гр. Кейзерлинга». Тогда король потребовал, чтоб Сенат и министерство озаботились о принце Карле: 7 октября (н. с.) примас созвал к себе до сорока сенаторов на конференцию и королевским именем предложил, чтоб они советовались о средствах не допустить Бирона на герцогство Курляндское, освободить Курляндию как польскую область от русских войск, представить жалобу на русского министра в Митаве Симолина, будто он поступал в Курляндии самовольно, и отправить в Митаву двоих сенаторов на помощь принцу Карлу. Но некоторые сенаторы, выслушав предложение примаса, начали говорить, что такая конференция должна происходить в присутствии короля, которому они прямо будут открывать свои мысли. Во время этих рассуждений некоторые сенаторы сидели, другие ходили по комнате, и наконец между ними произошли великие ссоры, «которыми без всякого совета оная конференция и счастливо кончилась», — писал Ржичевский.

Австрийский посол в Варшаве граф Штернберг приезжал к Ржичевскому и сильно заступался за принца Карла, говоря, что никакой двор не может быть надежен в своих решениях, когда государи ниспроверяют то, что предки их обещали. Граф Бриль неоднократно давал знать Ржичевскому, что при будущем конгрессе все союзные дворы, без сомнения, вступятся за принца Карла. Все это было передаваемо Ржичевским в Петербург и не производило там никакого впечатления. Не произвело действия и письмо, которое король писал Бестужеву, по известным нам причинам. Впрочем, по польским делам Бестужев должен был разойтись с своим прежним приятелем Кейзерлингом: мы видели, что последний вошел совершенно в виды Екатерины возвести на престол Пяста, и именно Понятовского, причем предвиделась необходимость в прусском союзе; Панин держался того же мнения, чем и пролагал себе дорогу к будущему значению главного советника Екатерины по всем делам, хотя временно и было между ними охлаждение вследствие настаивания на учреждении Императорского совета. Бестужев, несмотря на все его забегания и каждения, проигрывал тем, что упорно держался своих прежних взглядов, постоянно твердил о необходимости удержать саксонскую династию на польском престоле. Отсюда толки, что бывший канцлер устарел, потерял способности; с другой стороны, толки, что он упрям, никак не может сообразоваться с новыми обстоятельствами. На это обвинение в упрямстве и на столкновение между двумя старыми приятелями, Бестужевым и Кейзерлингом, указывает письмо Бестужева к Екатерине от 29 августа: «Всемиловнейшая государыня! Позвольте мне припамятовать о тайном советнике Гросе, что я, как уже одною ногою в гробе стою, не похлебствуя ему да из всеглубочайшего моего усердия к в. в-ству, что он весьма при существующем здесь случае был бы вам потребен, на всех трех языках — на российском, французском и немецком равномерно, а притом на латинском, наипаче же римско-имперские права не меньше графа Кейзерлинга знающ, и притом действительно искусный министр, буде же кто его оклеветал упрямым, то и я таким бывал у государыни в бозе почившей императрицы в том, что я прекословил, что французский двор домогался между Россией и Швециею в последней войне быть медиатором, да меня в тогдашнее время оправдали российского при французском дворе посла князя Кантемира реляции, находящиеся в коллегии Иностранных дел, которые тому свидетельство подадут,

что французский двор, дружескую медиацию к примирению с шведами представляя, в то же время турков возбуждал противу России войну объявить, я же потом и при многих случаях называем был упрямым, что я не привык жить по пословице: „Не говори правды, не теряй дружбы“, так и ныне, при моей глубокой старости, до последнего моего издыхания в в-ству верным рабом и сыном отечества пребуду».

Кейзерлинг поехал в Варшаву с полною милостию императрицы. «Прошу вас подавать мне советы издалека, как вы мне подавали их вблизи», – писала к нему Екатерина. К Понятовскому она писала: «Я не могу отпустить к вам Волконского, у вас будет Кейзерлинг, который вам будет отлично служить». По известию, сообщенному английскому двору послом его в Петербурге Бекингамом, Екатерина тотчас после своего восшествия на престол послала сказать Понятовскому, чтоб он не приезжал в Петербург, но что дружба ее к нему неизменна и в случае королевских выборов в Польше она постарается доставить престол ему, а в случае невозможности – одному из членов фамилии Чарторыйских.

Неприятности между дворами усиливались. 10 декабря Екатерина писала Воронцову: «Велите внушить графу Брилю, что если по курляндским делам он единого противного моей воле шага сделает, я велю покинуть все мои старания у короля прусского об Саксонии, а в Польше сутенировать всем, чем только вздумать он может, все те, которые ему злодеи, и до тех пор не перестану, покамест его из Польши не выгоню. Сие внушение г. канцлер разговором, с которым из здесь резидующих министрам чужестранным он за способного к тому выберет иметь, а мне кажется, датский или шведский способнее, и то начинав индеферентно и разговориться с великим уничтожением о мнимом старанье графа Бриля по курляндским делам, и что он хотел выбрать польских двух сенаторов и посылать в Митаву, и что такой и всякой иной его, Бриля, поступок меня доведет сутенировать все те, которые стараются о его погибели, и то всем тем, чем силу имею, и так стараться, чтоб сие до Прасса дошло, дабы знали мои намерения, а граф Бриль блудлив, как кошка, а труслив, как заяц».

В конце ноября приехал в Варшаву Кейзерлинг и начал «отлично служить». Уведомив императрицу о страшных раздорах между придворною партией и *«нашими друзьями»*, Кейзерлинг ставил вопрос: «Намерена ли Россия друзей и сообщников своих в Польше оставить в упадке или нет? Если их не оставлять в упадке, как этого требует честь и польза России, то надобно заблаговременно предупредить все, что может привести их в бессилие, ибо что утратят русские друзья, то утратит Россия. Если и впредь исполняем будет план, чтобы наших друзей в важные чины не допускать, а определять в них или неприятелей России, или людей, не имеющих никаких заслуг, кроме малого разума и большого богатства да склонности к насилиям; тогда число наших друзей мало-помалу будет уменьшаться, и совсем они исчезнут, и в случае нужды нам нечем будет приняться. Для отвращения таких неприятных последствий не рассудите ли, ваше императ. величество, прислать мне рескрипт следующего содержания для показания всем, именно что ваше величество ничего столько не желаете, как непременно продолжения дружбы и прежнего доброго согласия с королем польским, только требуете, чтоб дела в Польше также приведены были в прежнее состояние; а прежде друзья России никогда не были отличены от друзей двора, и тех и других всегда почитали за одну партию, за общих друзей; ваше величество

надеетесь, что король Чарторыйских, Понятовских и друзей их изволят признать за достойных его милости при раздаче чинов; что они верные слуги своему королю, что стараются они о пользе и благополучии своего отечества, что из усердия к отечеству они друзья России, зная, что ваше величество по примеру предков своих намерены охранять благополучие республики, ее вольность и права; что ваше величество никогда не были намерены рекомендовать королю никого другого, кроме людей, ему верных и полезных; что ваше величество будете всегда следовать сему правилу, всегда будете поддерживать в Польше патриотов, не допуская их до притеснения». Императрица на этой реляции подписала: «Быть по сему». Кроме того, она писала Воронцову: «Графу Кейзерлингу наставление дать, дабы, не переписавшись сюда, он при ваканциях рекомендовал у польского двора всех тех, которых он за российских партизанов признает, дабы не утратить иногда в таких ваканциях время чрез переписку по причине великого расстоянья Варшавы от здешних мест. Также граф Кейзерлинг имеет сказать графу Брилю, что я с великим удивленьем вижу, что моим друзьям все чины и милости отказываются, тогда когда я вседневно о Саксонии и прочих удовлетворениях его королю стараюсь, и что чрез такой неприятельский (и много иных) поступок меня принудит он иных мер брать».

Кейзерлинг переслал императрице две промемории, поданные ему обоими братьями Чарторыйскими 3 и 4 декабря. В первой говорилось о необходимости составить конфедерацию, потому что обыкновенных средств недостаточно для уничтожения зла, которым страдает Польша. Многие молодые люди владеют важными местами и ведут себя на них так, что считаются бичами народа, а король не имеет права отнимать места, раз данные. Страшное искажение монеты требует ее перелития, что может быть определено только сеймом. Так как на успех сейма надеяться нельзя, то необходимо прибегнуть к конфедерации, чтоб заместить важные места людьми достойными, отстранить потери денежные и торговые, *чтоб дать лучшую форму национальным совещаниям* (conseils de la nation), чтоб дать всероссийской императрице титул, достойный ее могущества и личных качеств, чтоб установить навсегда доброе согласие между обоими государствами. Но для конфедерации нужны деньги и огнестрельное оружие. Помощь, какую русский императорский двор окажет вождям благонамеренных, должна соответствовать их намерениям. Они не могут ни за что приняться до тех пор, пока не будут с точностью уведомлены и удостоверены на этот счет. Непродолжительная революция есть наименее бедственная для страны; чем сильнее она, тем менее нуждается в продолжительном времени для достижения своей цели, но она не будет сильна, если существенные средства будут слишком урезаны вначале и потом доставляемы медленно.

Во второй промемории говорилось: «Если желательно, чтоб русская партия усилила свое значение в стране, то важнее всего не ошибиться в выборе средств для этого. Одно из главных средств, без сомнения, состоит во влиянии на раздачу должностей и милостей. Но это средство не должно быть никогда куплено на счет общественного уважения. Мы потеряем это уважение, если торжественно помиримся с графом Брюлем. Вот причины. Всякое примирение по своей натуре предполагает забвение и прекращение обид; но так как предметы наших взаимных жалоб не должны и не могут кончиться, то не может быть и примирения. Они не могут окончиться с нашей стороны, потому что честные люди не берут назад того,

что они предъявили публично на основаниях твердых и законных и могут доказать. Они не могут кончиться со стороны графа Брюля, потому что его прошедшие ошибки заставили его продолжать маневры, которые мы всегда будем порицать и опровергать. Все эти маневры Брюля имеют целью сохранение своего положения, а главное средство, для этого употребляемое, – деньги. Ему постоянно нужно много денег: 1) Для подкупа мелких людей, окружающих короля, и для содержания шпионов во всех частных домах, чтобы король ни с какой стороны не доведется о настоящих причинах своих несчастий. 2) Для удовлетворения своей безграничной роскоши, которая удовлетворяет не одной собственной его склонности, но и желанию королевскому: Августу III нравится представительность фаворита, которую считает знаком собственного величия. 3) Для доставления королю средств к любимым удовольствиям Брюль продает милости с аукциона и портит монету с громадною для себя прибылью. Но так как скандал этих злоупотреблений заставляет его бояться общего неудовольствия, то он старается приобрести себе защитников, наполняя все места низкими и корыстолюбивыми душами, какими всякая страна наполнена во всякое время. Отсюда происходит порча Сената, который представляет не иное что, как орган ласкательства и невежества. Отсюда судебные места продажные, составленные насилием, готовые притеснять всякого, кто осмелится восстать против беззаконий Брюля или главных его потворщиков. Отсюда, наконец, эти сеймы, на которых невозможно провести ничего хорошего, *ибо требуемое единогласие постоянно прерывается кем-нибудь*, которого подкупил Брюль. Вот связь между ошибками и потребностями графа Брюля. Если он перестанет им удовлетворять, то потеряет фавор, следовательно, он не исправится, и потому мы не можем сделаться его друзьями. Сдержать алчность Брюля может один страх пред юридическими доказательствами, что он не польский шляхтич и, следовательно, не по праву пользуется именами и почестями в Польше. Нападение на Брюля с этой стороны, хотя чрезвычайно опасное для нас, если бы мы не были уверены в поддержке России, с поддержкою России доставит нам столько же явных сторонников, сколько уже сделало тайных друзей. Но так как надобно испоместить и обогатить этих сторонников, то должно держаться середины. Не беря назад того, что уже мы предъявили против прав Брюля на польское шляхетство, без примирения с ним мы можем приостановить процесс против Брюля относительно польского шляхетства; Брюль будет находиться между страхом и надеждою и будет раздавать милости, как нам надобно, если только русский двор и его посланник станут употреблять тон, приличный с таким министром, настаивая сухо, чтоб каждая милость давалась нам и нашим».

Чарторыйские высказались. Они потребовали от Екатерины, чтоб она или дипломатическим путем заставила Августа III и Брюля отдаться им во власть, дать им возможность составить себе могущественную партию, в челе которой они могли отважиться на все, или послать им деньги и оружие для вооруженного восстания. Цель в том и другом случае одна – преобразования для усиления Польши, прежде всего преобразование сейма, уничтожение *liberum veto*. Россия должна употребить все средства, чтоб помочь Польше усилиться, а в награду Екатерина получит императорский титул, и водворится согласие между Россиею и Польшею! С первого раза поражает дерзость подобных предложений, но изумление пред поступком Чарторыйских исчезает, когда узнаем, что Кейзерлинг

не только переслал императрице их промемории, но и прямо был за конфедерацию, предлагаемую ими: для чего же после того Чарторыйским было церемониться?

С другой стороны, Кейзерлинг и в Варшаве продолжал хлопотать о прусском союзе: он говорил Бенуа, что самое спасительное дело – это тесная связь, одинаковость видов между императрицею и королем прусским, особенно когда возникнет вопрос о замещении польского престола. Бенуа, разумеется, согласился с этим; но он был не согласен с русским послом во взгляде на действия Чарторыйских. Он трубил тревогу, писал королю, что надобно посредством подкупа сорвать сейм, если захотят на нем провести противные Пруссии планы – умножение войска и решение дел большинством голосов, ибо планы насчет умножения войска и решения большинством голосов приобрели много приверженцев благодаря книге об этом отца Конарского.

Между тем в Курляндии действовали против принца Карла. 5 июля отправлен был к Симолину рескрипт, что все насланные ему в минувшее правление указы о наложении на герцогские доходы ареста, о сопротивлении распоряжениям принца Карла, о раздражении против него курляндцев, о склонении их в пользу принца Георга отменяются и что ему должно под рукою более всех других партий покровительствовать партии Бироновой. 22 июля Екатерина писала канцлеру Воронцову: «Дать знать г. Симолину, дабы он от часу сильнее подкреплял партию герцога Бирона по причине справедливости его прав». Симолин доносил, что когда Бирон прислал свои протестации уполномоченному своему барону Книге и тот разослал их по кирхшпилям, то глава партии принца Карла обер-гауптман Гейкинг собрал всех герцогских офицеров и солдат и разодрал перед ними и выбросил за окно копию с этих протестации. Принца Карла в это время не было в Митаве: он находился у отца в Варшаве, но приверженцы его, Гейкинг с сыном и другие, сильно действовали в его пользу, разглашая, что сама императрица поддерживает принца Карла, а некоторые министры только, без ее ведома, поддерживают Бирона. Симолин подал правительству промеморию с требованием запретить Гейкингу продолжать такие разглашения. В начале августа приехал в Митаву принц Карл; Гейкинг, считавшийся комендантом Митавы, приказал праздновать день этого счастливого прибытия молебствием по церквам и иллюминациею всего города с объявлением, что, кто не иллюминирует свой дом, тот будет признан за противника. Несмотря, однако, на это, большая часть жителей иллюминации не сделали. Принц Карл объявил, что не признает Симолина русским министром, потому что он к нему не аккредитован, запретил придворным ездить к нему в дом и иметь какое-либо сношение. В ответ явился из Риги в Митаву батальон русского войска, и Симолин объявил, что батальон прислан для потушения бываемых иногда при настоящих обстоятельствах беспорядков. Принц Карл велел раздать своему войску (которого считалось 180 человек) патроны с пулями и вылить несколько пушечных ядер, грозясь поступить, как с бунтовщиками, с теми, которые обнаружат склонность к герцогу Бирону; во дворце удвоен был караул.

Бирон приехал в Ригу, и многие курляндские дворяне стали туда к нему ездить; а принц Карл отправил в Варшаву молодого Гейкинга с прошением в пользу принца, составленным от имени всей Курляндии. Симолин писал своему двору, что нельзя более держать эту страну в таком междуумочном положении,

тем более что в Курляндию вошли русские полки, возвращавшиеся из Пруссии, и принц Карл делал всякие препятствия относительно их продовольствия. Тогда рескриптом из Москвы от 17 октября ему было приказано объявить о своем аккредитовании при герцоге Бироне. В конце рескрипта говорилось: «Имеете вы стараться тамошние кирхшпили довести если не до чрезвычайного сеймика, то по меньшей мере до каких-либо братских собраний, в которых бы могло произойти явное разделение в земском правлении, и мы бы приглашены были к их соединению по той протекции, которую мы всей Курляндии всегда обещали, дабы мы, как призванные, могли прямо в дела их вмешаться и утвердить там старого герцога Эрнеста-Иоганна». Симолин вызвал из кирхшпилей по несколько человек, съехались они к нему в числе 30 человек и в присутствии присланного Бироном гофмаршала рассуждали, как бы исполнить волю ее императ. величества, не тая истинной любви и преданности к его светлости герцогу Эрнесту-Иоганну; они говорили, что при настоящих обстоятельствах нельзя думать ни о чрезвычайном сеймике, ни о братской конференции, когда правление продолжается именем принца Карла и когда он все в руках своих имеет. Они сочли возможным сделать одно: написать императрице письмо, где поздравить ее с благополучно совершившеюся коронацией и благодарить за освобождение старого их герцога, чем явно покажется их склонность к нему; они обещали склонить все кирхшпили к подписанию этого письма. Бирон писал Симолину, что переговорами с Польшею ничего нельзя достигнуть; польский двор будет тянуть время, чтоб долее продержат принца Карла в Курляндии на ее доходах; но если императрица решилась восстановить его, Бирона, в Курляндии, то и восстанавлила бы немедленно и без церемоний. Симолин, донося об этом, прибавлял от себя, что почти все шляхетство и все мещанство, лучше сказать, почти вся земля нетерпеливо желает восстановления Бирона.

13 декабря Симолин получил рескрипт, в котором приказывалось ему наложить секвестр на все доходы принца Карла на том основании, что он, пренебрегая правом доброго соседства, отказал русским войскам в зимних квартирах и продовольствии. Принц Карл запретил арендаторам и сообщникам обращать внимание на объявление Симолина о секвестре, но Симолин разослал куда нужно русских офицеров для исполнения секвестра. По новому рескрипту императрицы Бирон должен был приехать в Курляндию, а принцу Карлу Симолин должен был внушить, что императрица неотменно намерена восстановить герцога Эрнеста-Иоганна на курляндском престоле и потому он, принц Карл, выехал бы из Митавы, а ее величество не оставит заботиться о его пристроении; если же он упорно будет сопротивляться намерениям императрицы, то легко может статься, что и собственную особу подвергнет неприятностям. Принц отвечал, что не зависит от себя, но от своего государя родителя, к которому посылал за решением; а между тем Карл уже отослал большую часть своего экипажа из Митавы и распродал почти всю свою мебель. 30 декабря приехал в Митаву Бирон с сыном Петром и был принят ожидавшими его дворянами, которых было до 200; но из правительственных лиц был тут только один обер-бургграф, остальные же члены правительства не явились вследствие запрещения принца Карла. Бирон, пообедавши и поужинавши у Симолина, подписал универсалы, которыми назначалось публичное собрание на 10 февраля н. с. 1763 года, и уехал назад в Ригу.

Восшествие на престол Екатерины произвело неприятное впечатление в Константинополе. Обрезков писал (от 27 августа), что в то время, когда Порты находилась в самых приятных мыслях, видя венский двор в крайнем ослаблении, известие о восшествии на престол Екатерины поразило ее как громом. Переводчик Порты, приходивший к Обрезкову с поздравлением, наведывался: какие будут теперь отношения между русским и австрийским дворами? Сохранится ли заключенный с прусским королем мирный договор? Датское дело дойдет ли до крайности или полюбовно уладится? Обрезков отвечал, что прежние отношения между императорскими дворами нисколько не прекращены и если союз ослабел по личному пристрастию бывшего императора, то теперь получит прежнюю силу, чему служит доказательством возвращение Чернышевского корпуса. Мирный договор с Пруссией будет соблюден ненарушимо, если сам король прусский его не нарушит. В датском деле ни до какой крайности не дойдет, но все дружелюбным образом уладится. Все это говорилось с тою целию, чтоб заставить Порту отложить всякие враждебные замыслы против Австрии. Между тем Фридрих II дал знать Порте, что его влияние при дворе Екатерины II так же сильно, как было при дворе Петра III. Переводчик Порты ходил поэтому к французскому и русскому послам проведать, что они думают об этих уверениях прусского короля. Французский посол отвечал, что сильно сомневается в справедливости этих уверений и потому советует Порте быть осторожною. Обрезков отвечал, что это новые хитрости прусского короля; в доказательство, что прусского влияния в Петербурге нет, Обрезков представлял, как выражался о прусском короле манифест Екатерины о восшествии ее на престол и возвращении Чернышевского корпуса.

Константинополь отстал относительно новостей; в Вене скорее узнали, что событие 28 июня не принесет больших выгод Австрии. Мария-Терезия собственноручным письмом поздравила Екатерину с восшествием на престол. «По моему мнению, — писала императрица-королева, — после покойной императрицы Елисаветы никто не мог быть достойнее престола и никто не мог достойнее заменить ее в моем сердце, как ваше величество. Жажду случая доказать вашему величеству мои чувства. Я так много полагаюсь на проницательность и взаимную вашу ко мне дружбу, что надеюсь от нее всего, чего только требуют наши общие интересы и чего можно ожидать от вашего великодушия». Екатерина отвечала также собственноручно: «Я всегда преисполнена была отличнейшим почтением к особе вашей, сердечно интересуюсь всем тем, что до вас касается, и в этом поступаю по примеру дражайшей моей тетки, покойной императрицы Елисаветы, которой память нам обеим так драгоценна. Ничто не может быть для меня приятнее, как получить от вас предложение дружбы, и я надеюсь подать вам опыт такой же дружбы и с моей стороны, тем более что дружба эта утверждается нашими общими интересами». 6 июля австрийский посол Мерси д'Аржанто, находясь на конференции с канцлером и вице-канцлером, осведомился, угодно ли императрице сохранить силу прежних обязательств России с Австриею и великодушно объявить свету, что не перестанет заботиться о пользе древних союзников. Ему отвечали, что хотя ее величество по истощению своего народа от долговременной войны и не изволит принимать в ней теперь участия, однако склонна подавать императрице-королеве всевозможные опыты истинной своей дружбы, ясным доказательством чему должно служить

отозвание Чернышевского корпуса от прусской армии; впрочем, императрица не имела еще времени рассмотреть прежние обязательства России с императрицею-королевою.

После рассмотрения этих обязательств Мерси были предложены добрые услуги России для заключения мира между Австриею и Пруссиею, с которою у России мир подтвержден. Мерси по этому случаю позволил себе выходку, которая могла произвести только лишнее раздражение. В конференции 20 августа он объявил, что между данною ему запискою и манифестом, опубликованным при восшествии на престол императрицы, находится противоречие – именно подтвержден с Пруссиею такой мир, о котором в манифесте всенародно объявлено, что он заключен с самым опасным для России неприятелем с ущербом славы русского оружия. Мерси объявил, что императрица-королева охотно воспользуется предложением добрых услуг для ускорения мира, но наведывался, как далеко намерена императрица распространить эти добрые услуги. Ему отвечали, что ее величество не уклонится и от принятия на себя медиации, если усмотрит, что она обеим сторонам будет угодна. Относительно требования России об очищении Саксонии войсками обеих воюющих сторон Мерси объявил, что императрица-королева немедленно исполнит это требование, как только прусский король исполнит его.

На конференции 14 октября в Москве Мерси обратился с просьбою о разъяснении, намерена ли императрица исполнять все обязательства относительно Австрии, как они определены при императрице Елисавете, или с каким-нибудь ограничением; венскому двору нужно знать об этом тем более, что заключенный в бывшее правление договор с Пруссиею теперь подтвержден и венскому двору еще не сообщен, а, как известно, одною статьею этого договора постановлено все прежние обязательства русского двора уничтожить.

Ответ последовал только 7 ноября, он состоял в следующем: война, которая еще ведется с королем прусским и из которой Россия вышла по обстоятельствам и государственным причинам, война эта представляет такой кризис в Европе, что никакое государство не может составить себе определенной системы, ни обозначить своих интересов относительно будущего мира. При таких обстоятельствах всего вернее искать утверждения дружбы и доброго согласия в пользу действительной, в интересе общем, основанном на положении государств. Хотя внутренние дела и государственные причины потребовали, чтоб императрица не участвовала более в войне, однако она доказала венскому двору, что смотрит на его благосостояние как на свой истинный интерес и сердечно желает иметь с ним дружбу и тесную связь. Так как венский двор уже знает, что императрица не намерена участвовать в настоящей войне, то ее величество думает, что ее старание об общем мире будет иметь гораздо больше значения, если противная сторона положительно знает, что русский двор не вышел из центра своей системы и что, стараясь доставить выгоды своему естественному союзнику, он сохранил себе свободные руки и держит значительную армию на границах.

Но Мерси не хотел удовольствоваться этим ответом, он указывал на его неясность, ибо в нем не означено, намерена ли императрица Екатерина исполнять обязательства императрицы Елисаветы все или с какою-нибудь переменою, ибо эти обязательства, будучи уничтожены последним договором с Пруссиею, дают причину думать, будто русский двор в настоящую минуту не имеет никаких

союзных договоров, кроме упомянутого прусского. Если императрица смотрит на благополучие венского двора как на свой существенный интерес, то этот двор должен бы ласкать себя надеждою, что императрица объявит это его неприятелям и будет на самом деле стараться, чтоб венский двор не пришел в крайний упадок и истощение от настоящей войны. Заключенный с прусским двором договор и неподтверждение с венским прежних обязательств не только русскому двору не оставляет свободных рук, но, напротив, связывает их. Простое содействие русского двора венскому при общем мире предвозвещает мало пользы последнему. Прусский король, несмотря на великие благодеяния, оказанные ему русскою императрицею, выведшею его из совершенной гибели, не обращает никакого внимания на русские представления и заступничества. Следовало бы по крайней мере королю прусскому объявить, что русские войска из его владений прежде не выйдут, пока он не исполнит требований императрицы. На это канцлер отвечал, что при нынешнем состоянии дел венский двор сам должен признать, что русский двор не может вступить в новую войну с королем прусским. В то время как шли эти неприятные объяснения в Петербурге и Москве, в Вену отправлен был к князю Дмитрию Голицыну рескрипт, которым предписывалось попытаться у австрийского министерства искусным образом, не примет ли Мария-Терезия русскую медиацию в примирении с Пруссиею, и, усмотревши склонность к принятию этого предложения, открыть, что он, Голицын, может принять медиацию и выслушать условия, на каких Австрия желает заключить мир. Голицын отвечал, что хотя венский двор очень благодарен императрице за попечение о его пользе и очень хвалит человеколюбивое намерение принять на себя посредничество в прекращении войны, но не хочет прежде времени откровенно высказать свои мысли, чтоб прусский двор не возгордился и не приписал такого с австрийской стороны поступка слабости и недостатку сил к продолжению войны; притом обязательства и тесная дружба венского двора с французским не позволяют первому лишней откровенности ни с какою другою державою иначе как по согласию с Франциею. «Здесь двор, – писал Голицын, – изъявляя искреннейшую свою благодарность за посредничество, считает, однако, себя вправе быть осторожным, видя, к своему сожалению, что Россия хочет действовать заодно с Австриею только по делам, касающимся Оттоманской Порты».

Голицын внушал Кауницу, что и один вид тесной дружбы между Россиею и Австриею достаточен к достижению выгодного для последней мира. Но Кауниц отвечал, что главная цель прусского двора всегда состояла и состоит в том, чтоб уменьшить силы Австрии; поэтому Пруссия хочет продолжения войны, которая не прекратится до тех пор, пока прусский король не будет принужден желать мира, и для этого одного вида тесной дружбы между Россиею и Австриею мало. «При сем, – доносил Голицын, – не могу обойтись, чтоб вашему императ. величеству всеподданнейше не донести, что граф Кауниц все мною ему представленное принял от меня с особливою скромностию и ничего в нем не можно было приметить, кроме прискорбия и сожаления, что издавна установленный между императорскими дворами союз остается на одной дружбе и согласии».

25 декабря Голицын известил свой двор о начале мирных переговоров между Австриею и Пруссиею в Губертсбурге (между Дрезденом и Мейсенем). «Начало сей негоциации, – писал он, – происходит от саксонского дома, который, не

надеясь уже себе никакого удовлетворения за понесенные им в нынешнюю войну убытки и желая скорее получить во владение свои земли и возвратиться из Варшавы в Дрезден, убедил здешний двор к примирению с прусским; на это с здешней стороны тем охотнее согласились, чем меньше осталось способов к продолжению войны, так что в будущую кампанию не иначе как оборонительным образом, и то с трудом, могли бы действовать, когда не только оставлены союзниками, но и того ожидать должны, что имперские штаты не в состоянии будут подавать помощь войском».

Франция должна была, естественно, разделить с Австриею неприятность обманутых надежд. «Восшествие ваше на всероссийский престол, – писал Чернышев Екатерине, – здесь не только при дворе, но и во всем народе причинило неизреченную радость; ибо, признавая силу и инфлюенцию империи вашего императорского величества в европейских обращениях, ласкают себя надеждою, что ваше императорское величество наилучше соблюсти изволите согласие с сим двором, нежели как то пред сим было и, почитай, уже к явному разрыву клонилось, также и желая нетерпеливо скорого мира, в котором необходимую во всех частях сея монархии имеют нужду и не могут более продолжать войну без совершенного разорения ожидают, что ваше императорское величество в том способствовать соизволите».

К радости примешивалась досада, что французский посланник барон Бретейль слишком рано оставил Петербург, на Бретейля сердились тем более, что ему было известно о готовившемся перевороте. Бретейля возвратили в Петербург с выговором за то, что слишком поспешил оставить этот город, и за то, что, узнавши в Варшаве о событии 28 июня, не поспешил возвратиться в Петербург, а поехал далее в Вену. Людовик XV признал в Екатерине женщину, способную начать и совершить великие дела; такое выгодное мнение она внушила ему о себе своею скрытностью до 28 июня и мужеством, оказанным в этот день. Но король признавал трудность ее положения. «Нет сомнения, – писал он Бретейлю, – что память Петра III будет иметь мало защитников, и потому нельзя предполагать смут вследствие желания мщения; но императрица, иностранка по происхождению, не связанная ничем с Россиею, и племянница короля шведского, должна прибегать к постоянным усилиям для удержания себя на престоле, которым не обязана ни любви подданных, ни уважению их к памяти отца, как покойная императрица. Как бы осторожно она себя ни вела, всегда будут недовольные. При твердости духа у Екатерины слабое сердце. У нее будет фаворит, наперсница. Кто будет именно, нам до этого дела нет; надобно только знать тех, которые будут преимущественно пользоваться ее доверенностью, и заискивать их расположения. Княгиня Дашкова, разумеется, должна пользоваться большими милостями императрицы; но можно ли отвечать, что эта молодая женщина содействовала перевороту из одной любви к отечеству и привязанности к государыне? Страсть царя к Воронцовой могла возбудить ее ревность. Если эта причина прекратилась со смертию этого государя, то княгиня Дашкова, с романическою головою и ободренная успехом, может подумать, что она не довольно награждена, что к ней не имеют достаточной доверенности, наконец, по какому бы то ни было побуждению снова заведет волнение. Императрица, открывши кое-что, может ее наказать, что опять переменит вид двора. Надобно ожидать много партий, особенно если будет фаворит». Относительно

политических видов Людовик XV требовал от своего посланника, чтоб он не давал усиливаться австрийскому влиянию в Петербурге, ибо король боялся, что Мерси воспользуется отсутствием Бретейля и станет на первом плане. Что касается России, то Людовик XV высказался прямо: «Вы уже знаете, и я повторю здесь самым ясным образом, что цель моей политики относительно России состоит в удалении ее по возможности от европейских дел. Не вмешиваясь лично, чтоб не возбудить против себя жалоб, вы должны поддерживать все партии, которые непременно образуются при этом дворе. Только при господстве внутренних смут Россия будет иметь менее средств вдаваться в виды, которые могут внушить ей другие державы. Наше влияние в настоящую минуту может быть полезно в том отношении, что даст благоприятный оборот всем польским делам и переменит тон, с каким петербургский двор обращается к этой республике. Будущее влияние должно воспрепятствовать России принимать участие в войне против меня, против моих союзников и особенно противиться моим видам в случае королевских выборов в Польше. Вы знаете, что Польша есть главный предмет моей секретной переписки, и, следовательно, вы должны обращать внимание на все, что касается этой страны».

Бретейль был очень хорошо принят Екатериною, она не могла отказать себе в удовольствии поговорить с французским дипломатом, который блестел среди представителей других держав, как блестит столичный житель среди грубых провинциалов; но разговорами все и ограничивалось. Герцог Шуазель с самого начала должен был отказаться от надежды удержать Россию при прежнем австро-французском союзе.

Чернышев изъяснял Шуазелю, что русская императрица способнее всех других государей к установлению мира, потому что ее величество будет действовать без всякого пристрастия, имея единственно в виду благо человечества. Шуазель заметил на это, что если дойдет до прямого дела, то французский двор ласкает себя по крайней мере надеждою, что все же императрица будет более склоняться на сторону своих верных союзников. Чернышев отвечал, что так и непременно быть должно; впрочем, необходимо употреблять слово *беспристрастие* во всех изъяснениях по этому делу, дабы приобрести доверие всех дворов. Шуазель заметил опять, что было бы всего лучше, если б императрица для усиления своего посредничества оставила свои войска в завоеванных у Пруссии землях. Чернышев отвечал, что когда мир с Пруссиею уже был раз заключен, то императрица в интересах своей империи и по человеколюбию признала за лучшее сохранять его и в настоящей войне не принимать участия, разве будет к тому снова принуждена, и хотя русские войска и возвратятся внутрь империи, однако до восстановления мира в Европе всегда будут готовы в случае надобности исполнить данное им повеление.

Но в то время как версальский двор внушал русскому, что всего лучше было бы занятием прусских областей принудить Фридриха II к миру, лондонский двор также возбуждал Россию против Фридриха, утверждая, что скоро Франция сблизится с Пруссиею и потому необходим старый елисаветинский союз между Россиею, Англиею и Австриею. Мы видели, что английский посланник в Петербурге Кейт после Гольца пользовался особенною благосклонностью Петра III; это, разумеется, делало его положение затруднительным при Екатерине, и он просил свое правительство отозвать его, ибо хотя императрица приняла его

ласково, но он знает из верного источника, что особа его ей противна даже более, чем он сам думал. Преемником Кейта был граф Бекингам; в Лондоне русским министром остался по-прежнему граф Александр Ром. Воронцов. Сначала, видя несогласие Фридриха II на мир, в Москве хотели действовать заодно с Англиею. 21 сентября Екатерина написала канцлеру Воронцову: «Писать к графу Александру Воронцову, дабы он в разговоре отозвался, сколь велико мое желанье видеть мир, но с немалым прискорбием понимаю несклонность короля прусского к такому полезному для рода человеческого предмету и что столь несходственные сентименты весьма отдалают меня от сего государя, следовательно, все те меры, которые к пресечению войны полезны, весьма мне приятны, а почитаю за немалый способ пресечь войну неплатежом субсидии (от Англии Пруссии) и согласие между Россиею и Англиею, которое я умножить и утвердить охотно себя склонною покажу».

От 8 ноября Воронцов писал императрице: «Позвольте мне изъявить вам рабскую мою усердность и радость о том справедливом и мужественном намерении покой в Германии установить, понудя всеми способами короля прусского властолюбивые свои виды оставить. Европа вам надолго обязанною будет, и честь и поверхность Российской империи достижением сего толь желаемого предмета не малым умножится в европейских делах под счастливым царствованием толь великой государыни. Самые берлинского двора здесь друзья весьма не похваляют короля прусского, что столь мало податливости с своей стороны оказывал на вашего импер. величества о мире предложения, но нрав его таков оказывался во всяком случае, и без самой крайности предприятий и намерений своих он не отлагал. Но кто опять может способнее оные в ничто обратить и равновесие в Германии непременно соблюсти, как толь сильная держава, какова есть Россия под скипетром такой самодержицы, которая знает источники силы ее к общему благосостоянию и чести подданных своих употреблять. Не скрыл я от статского секретаря (по северным иностранным делам графа Галифакса), что ваше императорское величество с справедливостию было ожидали более податливости от прусского короля на мирные предложения, князем Репниным ему учиненные, и что противность оного не может иначе как весьма вас удалить от сего государя. По возможности и неприметным образом не оставляю я, конечно, во всяком случае недовольство здешних на берлинский двор не уменьшать, но и то опять можно сказать, что никакие внушения действительнее быть не могут для совершенного разрыва между сими дворами, как самое продолжение поступков его прусского величества и неумеренные в том его здесь резидующих министров отзывы, — им предоставить можно совершенство всего того начатого здесь ими».

От 12 ноября Воронцов писал, что настоящая политическая система Англии состоит в том, чтоб как можно меньше вмешиваться в дела твердой земли, и потому нельзя ожидать содействия лондонского двора в принятии твердого решения принудить Фридриха II к миру. Прежние неудачи отбили к тому охоту у английского министерства, потому что Фридрих принимал здешние предложения без всякого уважения.

Лондонский двор хотел принять твердое решение относительно Пруссии не иначе как вместе с русским двором. 19 декабря у канцлера и вице-канцлера была конференция с английским послом графом Бекингамом. Бекингам объявил, что

его государь, будучи твердо намерен не только сохранить, но и распространить прежнюю дружбу с Россией, положил сообщить русскому двору в откровенности, до каких неприятных изъяснений принужден он был дойти напоследок с королем прусским. Король желает знать мнение императрицы относительно короля прусского, чтобы согласить с ним собственные свои мнения и единодушным старанием скорее и надежнее достигнуть желаемого обоими дворами восстановления общего покоя. За этим вступлением Бекингам распространился о том, что естественные интересы русского, лондонского и венского дворов требуют тесного между ними соединения, а польза Франции сопряжена с сохранением короля прусского. Бекингам считал за верное, что в короткое время между дворами венским и версальским по разногласию интересов произойдет холодность, чем надобно воспользоваться и сделать венскому двору пристойные внушения для возобновления старой и единственно натуральной системы. Что касается до отношений между Францией и Пруссией, то эти державы, по мнению Бекингама, могли одно время порозниться, но со временем, а может быть и скоро, они должны вступить в прежние тесные обязательства: недаром бывший в Петербурге прусский министр барон Гольц дружественно обходился с бароном Бретейлем, а с ним, Бекингамом, холодно и даже не простясь уехал; а при самом отъезде своем имел он, Гольц, с Бретейлем длинный и, без сомнения, важный разговор. Канцлер и вице-канцлер довольствовались с своей стороны ответом послу в генеральных отзывах, располагая их по внушениям его, потому что еще 1 ноября канцлер Воронцов получил такую инструкцию от императрицы относительно Англии: «При настоящем нерешимом состоянии европейских дел осторожность в новых альянциях и доброе внутреннее состояние должны быть нашим политическим правилом. Нет политического положения, которое бы воспрещать могло производить возможные для пользы коммерции распорядки, потому и с Англиею такой трактат яко полезный должно неготорировать без потери времени. Но притом особливо наблюдать, чтоб не отнять у себя способности вступать в подобные обязательства и с другими державами как для конкурсу, так и для умножения вывоза наших продуктов. Чтоб поступки наши во всем были откровенны и тверды, надлежит английский двор уверить, что мы признаваем полезным и, конечно, охотно возобновим с ним альянции, а притом в конфиденции ему объявить, что теперь оное отлагаем только для того, что мы на настоящее время отклонились от возобновления старых обязательств с венским двором и довольствуемся наблюдать с ним наше доброе согласие и дружбу на основании натуральных и непоколебимых наших с ним общих интересов, пока увидим, в каком политическом положении система сего двора останется после восстановления мира».

Бекингам напомнил о печальном событии прошлого царствования по поводу мемориала графа Финкенштейна, что прусский король имеет в руках подлинную русскую депешу, из которой видно, каким образом английский двор старался препятствовать прусским переговорам в Петербурге при Петре III. Канцлер и вице-канцлер донесли императрице, что под эту депешу разумеется реляция вице-канцлера князя Голицына, бывшего тогда министром в Лондоне; реляция содержит в себе откровенный разговор графа Бюта о прусских отношениях. Прусский король напрасно утверждает, что у него в руках подлинная депеша: подлинная находится в целости здесь, в Петербурге, и очень разнится от

выражений, употребленных в прусском мемориале. Канцлер и вице-канцлер заметили об этом Бекингаму, хотя и не скрыли, что, может быть, бывший император по слепой своей к королю прусскому преданности сообщил ему в собственном письме или словесно передал Гольцу содержание реляции. Императрица отвечала Воронцову: «Об депеше уверить можно после, что ни единая оригинальная не бывала и не есть в руках прусского короля, а что страсть бывшего императора так велика была, что он иногда невинные слова как будто вредные королю прусскому толковал и так ему сообщал, и то не в оригинале. Сие может служить графу Бюте в оправдание против великого множества его злодеев, которые ищут ему крим (преступление) делать из его разговора с нынешним вице-канцлером».

Глава третья

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1763 год

Отставка старых вельмож. – Неприятности Ив. Ив. Шувалову по университетскому управлению; отъезд его за границу. – Отъезд за границу канцлера графа Воронцова. – Н. И. Панин – старший член Иностранной коллегии. – Распоряжение императрицы по этой коллегии. – Захар Чернышев и Румянцев. – Волков – оренбургский губернатор. – Тотлебен вывезен за границу. – Столкновение Бестужева и Панина. – Дело Арсения Мацеевича. – Путешествие Екатерины в Ростов. – Дело Хитрово. – Возвращение двора в Петербург. – Разделение Сената на департаменты. – Злоупотребления в областях. – Окончание дела иркутского следователя Крылова. – Падение генерал-прокурора Глебова. – Донесения кн. Вяземского о состоянии восточных областей. – Смуты между купечеством. – Ограничение пытки и конфискации. – Неудачный исход Комиссии о правах дворянства. – Дело о раскольниках. – Крестьянские волнения. – Мнение Петра Ив. Панина о крестьянских побегах. – Ревизия. – Новые штаты. – Распоряжения о соли. – Меры относительно торговли. – Основание Воспитательного дома. – Учреждение Медицинской коллегии. – Пожары. – Русские поселения на Востоке. – Иностранные поселения. – Падение Хорвата. – Дела киргизские и калмыцкие. – Движение в Малороссии для установления наследственного гетманства. – Вопрос об избрании польского короля по смерти Августа III. – Сношения по этому вопросу с иностранными державами.

Новый 1763 год двор встретил в Москве с обычными торжествами. В новой приморской столице 1 января происходило торжество особого рода: морской и сухопутный генералитет, штаб- и обер-офицеры пировали в доме вице-адмирала князя Мещерского, пушки палили при питье за высочайшие здоровья, вечером сожжен был фейерверк, по окончании которого начался бал. Причиной торжества было назначение наследника цесаревича Павла Петровича генерал-адмиралом. Императрица сделала это, говорилось в указе, имея ревностное и неутомимое

попечение о пользе государственной, с которою неразрывно цветущее состояние флота, и желая в нежные, еще младенческие лета вперить в великого князя знание государственных дел с подражанием Петру Великому. Старый генерал-адмирал кн. Мих. Мих. Голицын за шестидесятилетнюю службу был уволен в вечную отставку с удержанием по смерти генерал-адмиральского жалованья (7000 рублей).

Вслед за известием об отставке Голицына пришло известие об отставке графа Александра Шувалова с утверждением за ним 2000 душ, пожалованных ему на выбор «при бывшем последнем правлении». Ив. Ив. Шувалову не хотели дать вечной отставки, ибо такая отставка могла считаться наградой только при условии долговременной службы; Ив. Ив. Шувалов остался на службе, но получил отпуск за границу, потому что положение его при дворе и в столице стало невыносимо. Императрица оказывала к нему нерасположение; его имя было в устах недовольных как имя главного недовольного; ему не могли быть неизвестны выходки против него людей, недовольных последним временем царствования Елисаветы, когда он имел такое важное значение, а эти недовольные – Панин, Бестужев – были главными советниками Екатерины. Ив. Ив. Шувалов должен был испытать следствия падшего величия. Вторым куратором Московского университета был назначен известный Ададуров, принадлежавший к числу очень недовольных последним временем царствования Елисаветы. Еще 17 декабря 1762 года в присутствии императрицы Сенат слушал доношение Ададунова, который прописывал все уплаты и выдачи, заимообразно сделанные Шуваловым из университетских сумм *не в силу* указов. Ададуров жаловался, что отданные займы деньги не взысканы до сих пор, несмотря на то что сроки прошли. Деньги истрачены не в силу указов, а между тем служащим в университете не из чего заплатить жалованье за сентябрьскую треть, равно как нечем заплатить и долгов, числящихся на самом университете. Ададуров требовал указа, что ему делать; требовал также, чтоб Шувалов отдал в университетскую канцелярию по описи все без остатка, что находится у него из принадлежащего университету, как-то: письменные дела, инструменты и прочее. По выслушании донесения императрица приказала взять ответ от Шувалова.

Через месяц читали этот ответ: в нем все затраты были перечислены и оказались необходимыми. Шувалов указывал, что на проекте об учреждении университета императрица Елисавета подписала собственноручно: «Дополнение штата отдается в волю кураторов», вследствие чего все дела университетские правились высочайшею доверенностию к его кураторскому чину, да иначе и быть не могло по причине недостатка штата, регламента и за неимением на все случаи указов, особенно по новости места, когда он, Шувалов, прилагал более старания для его основания и распространения, чем для подробного наблюдения канцелярского порядка: иначе делать было нельзя. Канцелярия при университете учреждена не для управления университетом, который исключительно отдан на попечение кураторов. Шувалов представлял, до какого совершенства приведен им университет, как достаточно снабжен всем нужным; имеет библиотеку, состоящую почти из 5000 томов, не считая те книги, которые употребляются ежегодно для раздачи в классы ученикам, и кроме тех, которые ежегодно раздаются прилежным ученикам в награждение: таких книг считается почти на 12000 рублей; университет имеет богатый минеральный кабинет, доставленный им, Шуваловым,

и стоящий не менее 20000 рублей, лабораторию, довольно число нужных и лучших математических инструментов; типография, стоящая не меньше 25000 рублей, находится в изрядном состоянии. Но наибольшая польза та, что с основания университета вышло из него 1800 учеников, из которых только 300 разночинцев, остальные все дворяне, и большая часть выпущена с хорошими аттестатами; из них девять человек служат в Кадетском корпусе достойными учителями, преподают математику, латинский, французский и немецкий языки; также находящиеся в чужих краях студенты своими знаниями и прилежанием обещают быть полезными своему отечеству; притом еще и недавно заведенная гимназия в Казани начинает приносить довольно плоды. Наконец, относительно состоятельности университета Шувалов указывал, что университет получает доходу 35000 рублей, а расход в 1761 году простирался до 31675 рублей. Деньги, данные займы, генерал-майорше Племянниковой – 6000 рублей, гвардии подпоручику Дебрины – 1000 рублей, графу Ягужинскому – 2500 и советнику Хераскову – 500 рублей, пропасть не могут, потому что имеются, заклады, обязательства и поруки. Бывший директор университета Аргамаков дал займы Екатерине Корф 500 рублей, она умерла, и взыскать этих денег не с кого; тот же Аргамаков взял себе 2000 рублей и умер, не заплативши; но зато Аргамаков много и своего в университет отдал; данные комедианту Серини на вексель 4744 рубля за смертью его взыскать не с кого. В заключение Шувалов жаловался, что Ададуров представлением своим нанес ему обиды и огорчения, стараясь об одном, чтоб ему повредить. Сенат решил: данные комедианту Серини деньги взыскать с Шувалова, зачем отдал без поруки и зклада. Взятые Аргамаковым деньги взыскать с его наследников, впрочем, на основании представления Шувалова, что Аргамаков много отдал своего в университет. Сенат предаст это дело на соизволение ее и. в. Что же касается жалобы Шувалова на Ададунова, то она написана с обстоятельствами несходно, ибо Ададуров сделал свое представление только для восстановления порядка. Екатерина на доклад Сената отвечала собственноручным указом: «Указом императрицы Елисаветы университет отдан в правление генерал-поручику Ивану Шувалову, на которого, как всем известно, можно смотреть как на основателя оного места, и, по-видимому, он больше добра установил, нежели худова находится по новости места какой недостаток в порядке; 4000 рублей, отданные Серинию, не взыскивать на нем, Шувалове, по причине, что он столько, если не более, своего иждивения употребил в новое сие место; также и с Аргамакова не взыскивать по той же причине. А куратору Ададунову приказать, взяв в рассуждение приход, заготовить для университета план и штат к апробации, а если он хотя сверх положенной суммы усмотрит за полезное к порядку и приведению в лучшее состояние университета, то и оное представить, дабы для большего добра малые издержки не препятствовали».

Шувалов отправлялся за границу, оставаясь куратором университета, которого был основателем; в кругу, которого императрица считала себя представительницею, в кругу образованных людей, Шувалов слыл меценатом; в том же значении он был известен и за границую, он вел переписку с главною литературною силою Европы, с Вольтером. Взгляд на Шувалова некоторых из толпы должен был возбуждать к нему еще большее уважение в людях, которые смеялись над взглядами этой толпы и считали своею обязанностью

противоборствовать им. Какого рода были эти взгляды, видно из рассказа Державина, который, будучи тогда солдатом в одном из гвардейских полков, находился с ним в Москве, а услышав, что Шувалов едет за границу, вздумал подать ему просьбу, чтоб тот взял его с собою для образования. Но у Державина была в Москве тетушка, которая считала Шувалова главою масонов, а масонов считали отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, людьми, которые заочно за несколько тысяч верст умерщвляют своих неприятелей. Тетушка дала Державину сильный нагоняй и запретила накрепко ходить к Шувалову с угрозою написать к матери, если не послушается. Державин послушался.

В то время как представитель нового образования Ив. Ив. Шувалов почетно удален был за границу, член старой «ученой дружины» Феофана Прокоповича, друг Кантемира князь Никита Юрьевич Трубецкой уволен был в полную отставку с полным жалованьем вместо пенсии и с выдачею единовременно 50000 рублей. Канцлер Воронцов, относительно Трубецкого еще молодой, отправился за границу на два года по нездоровью. Воронцов никогда не пользовался вполне плодами своего торжества над Бестужевым, потому что честолюбие его не соответствовали духовные средства: при Елисавете деятельное участие в иностранных делах принимал Ив. Ив. Шувалов; при Петре III распорядился Гольц, а где не Гольц, там Волков; наконец, при Екатерине II Воронцов видел, что не пользуется вовсе доверием императрицы, что главными ее советниками по иностранным делам двое людей, ему враждебных, – Панин и Бестужев, которые хотя скоро и вступили в соперничество друг с другом, но это несколько не облегчило положения Воронцова. Слабый здоровьем, по природе, не могший укрепить его при постоянном недовольстве своим служебным положением, недостатком в средствах к жизни, требовавшей слишком больших расходов при семейных неприятностях вследствие неудачного брака единственной дочери с гр. Строгановым, Воронцов мог постоянно выставлять нездоровье причиною, побуждавшею его оставить службу. Так как Воронцов уезжал на два года, оставляя за собою звание канцлера, то управление иностранными делами было временно поручено Панину. «По теперешним небеструдным обстоятельствам, – говорилось в указе, – рассудила ее и. в. за благо во время отсутствия канцлера препоручить действ. тайн. советнику Панину исправление и производство всех по Иностранной коллегии дел и присутствовать в оной коллегии старшим членом, поколику дозволят ему другие его должности». Об отношении императрицы к Иностранной коллегии в это время свидетельствует любопытная записка ее от 21 августа: «Министры наши при чужестранных дворах жалуются, что на многие их реляции ответов и резолюций нет, а мне одной, прочитав реляции, нельзя столько прилежности иметь за множеством дел, чтоб всегда придумать все то, что к доброму успеху дел принадлежит; и тако сим приказывается коллегии Иностранных дел членам каждые два месяца по крайней мере, прочитав сряду всякого министра реляции, положить на мере, соображая с прямыми нашими интересами и с собственными нашими приказаньями, все то, что оным министрам в ответ и в наставление служить может, чрез которую аппликацию нашей коллегии Иностранных дел мы надеемся весьма изрядного успеха в делах, ей порученных, а нам о том подастся доклад для апробации. А ныне из коллегии иначе ответа не

бывает, как только что получены реляции и ждут от меня резолюции, которая всегда за вышеписанными резонами последовать не может».

Уволен был в отставку генерал, вышедший вторым из школы Семилетней войны, граф Захар Чернышев, уволен был по причине неизвестной. Как видно, Чернышев думал, что его станут удерживать, и обманулся: отставку дали; он стал просить представиться императрице, думая поправить свое дело при личном свидании, надеясь привести на память прежнюю благосклонность к нему Екатерины, когда еще она была великою княгиней, но и в этом было ему отказано. Тогда Чернышев написал покорное письмо, просил прощения и высказал готовность вступить снова в службу. Он был принят в службу в следующем году, получил прежнее место вице-президента Военной коллегии.

Не так было с генералом, которого считали первым в выпуске из школы Семилетней войны. Румянцев, думая, что его поприще кончено при Екатерине вследствие благосклонности к нему Петра III, подал просьбу об отставке, но получил от императрицы следующее письмо: «Господин генерал Румянцев! Я получила письмо ваше, в котором пишете и просите об отставке. Я рассудила, что необходимо мне пришлось с вами изъясниться и открыть вам мысли мои, которые вижу, что совсем вам неизвестны. Вы судите меня по старинным поведением, когда персоналитет всегда превосходил качества и заслуги всякого человека, и думаете, что бывший ваш фавор ныне вам в порок служить будет, неприятели же ваши тем подкреплять себя имеют. Но позвольте сказать: вы мало меня знаете, приезжайте сюда, если здоровье ваше вам то дозволит, вы приняты будете с тою отменностию, которую ваши отечеству заслуги и чин ваш требуют. Не думайте же, чтоб я против желания вашего хотела сама принудить вас к службе, мысль моя от того отдалена. Не токмо заслуженный генерал, но и всякий российский дворянин по своей воле диспонирует о службе и отставке своей, и не то чтоб я убавить оный прерогатив хотела, оный паче при всяком случае подкреплю, а сие единственно пишу, дабы мы друг друга разумели и вы могли бы ясно видеть мое мнение. Если тогда, как вам на смену другой был прислан, обстоятельства казались и были действительно конфузны, что, может быть, и вам поводом служило к подозрению о моей к вам недоверенности, то оное приписать должно случаю тех времен, кои уже миновались и которых и следу в моих мыслях не осталось». Румянцев остался на службе.

Екатерина не забыла и о приятеле Румянцева Волкове, не забыла о блестящих дарованиях этого человека. К ней стали приходиться частые жалобы на оренбургского губернатора Давыдова; она решилась сменить его и назначить на этот важный пост Волкова, причем особенно важно было доверие к нему императрицы, выраженное в указе: «Оренбургского вице-губернатора Волкова туда же в губернаторы с тем полномочием, что ее и. в-ство ему доверяет по его в делах способности к ее и. в-ству от себя самого всякие представления делать и присылать проекты». Третье лицо, о котором часто упоминалось «в бывшее правление», – Гудович не отличался ничем, что бы заставило об нем помнить и удерживать на службе. Мы видели, что Сенат указывал на необходимость отнять у него слободы, пожалованные Петром III; Екатерина согласилась со мнением Сената, слободы были взяты, и в вознаграждение Гудович получил 10000 рублей! Старый слуга, который пользовался особенным расположением Екатерины, когда она еще была великою княгиней, и пострадал за это расположение, Андрей

Чернышев оказался бесполезным на службе, был отставлен, но получил генерал-майорский чин.

Только в этом году было покончено с Тотлебенем. Военный суд приговорил его к смерти, но императрица, принимая во внимание, что злой его умысел никаких вредных следствий для государства еще не имел и преступник около трех лет сидел под арестом, приказала вывезти его за границу под крепким караулом, отняв все чины и ордена.

Исчезали совершенно или только на время деятели прошлых царствований, другие из их же среды выступали вперед после кратковременной опалы; но людей новых еще не было, тех людей, которых Екатерина называла своими воспитанниками и к которым была так пристрастна. На первом плане стояли Бестужев и Панин, первый – знаменитый канцлер елисаветинского времени, другой – его воспитанник относительно внешней политики. Но теперь, когда они стали рядом пред развалинами старой системы, между воспитателем и воспитанником возникло несогласие, соперничество. В одном они оба были согласны – в отвращении ко всякому сближению с Францией, но сильно разнились в том, что старик Бестужев не хотел слышать ни о Франции, ни о Пруссии, хотел восстановления старой системы, старого союза между Россией, Австрией, Англией и Саксонией, с тем чтобы курфюрст саксонский по-прежнему царствовал в Польше; но Панин совершенно порвал с стариною и думал о новой системе, о северном союзе, северном *концерте* или *аккорде*, по тогдашнему выражению, союзе между Россией, Пруссией, Польшею, Англией и Скандинавией, противопоставленном южному союзу между Францией, Испаниею и Австрией. Упрямый Бестужев не уступал своему воспитаннику, и между ними произошел явный разрыв. Панин объявил прусскому посланнику Сольмсу: «Я рассчитался с графом Бестужевым, я заплатил ему за все прежние обязательства, я ему не должен ничего, и он не в числе моих друзей». Вероятно, Панин разумел свои хлопоты по делу об оправдании Бестужева; оправдательный манифест был написан им. Спустя с лишком полгода после этого разговора Панин жаловался Сольмсу на свое положение и высказывал желание удалиться от дел вследствие влияния Бестужева. Это влияние понятно: Екатерина видела, что Бестужев уже не прежний великий канцлер и не может снова заведовать иностранною политикою, знала, что он упрям, чувствовала неприятные следствия этого упрямства, но не могла не чувствовать уважения к старику, хотя бы даже за это самое упрямство; она помнила хорошо, что этот самый Бестужев был заклятый враг ее влияния, преимущественно влияния ее матери, когда это влияние было вредно интересам империи, но он обратился к ней и был самым верным ее союзником, когда этого потребовали те же интересы империи, угрожаемой страшною будущностью. Екатерина с негодованием опровергала клеветы на Бестужева, которого иностранцы выставляли человеком продажным. «Это ложь, – говорила она, – Бестужев обладал упорною твердостью, и никто никогда не мог подкупить его». Другого мнения она была о сопернике Бестужева Воронцове: «Гипокрит, какого не бывало; вот кто продавался первому покупщику; не было двора, который бы не содержал его на жалованье». Наконец, Бестужев мог брать верх пред Паниным и тем, что не настаивал на учреждении Императорского совета.

Не умея жертвовать своими убеждениями, зная, что досаждают своим упрямством, Бестужев для уничтожения этой досады считал необходимым прибегать ко всевозможной лести и угодничеству. Легко себе представить, как встревожился старик, когда в марте месяце совершенно неожиданно возбудил против себя гнев императрицы. Мы видели, как Екатерина считала необходимым показывать свое милосердие к людям, более или менее виновным против нее. Удаление, и удаление по большей части с почетом, с наградой, было наказанием для людей, нерасположение к которым императрицы было известно. Тем с большим удивлением должны были узнать, что Екатерина поступила чрезмерно строго, обнаружила личное раздражение, можно сказать, личную злобу в преследовании лица, которое по своему сану, казалось, требовало более внимательного к нему отношения. Это лицо был ростовский архиерей Арсений Мацеевич.

Мы видели, какой трудный вопрос наследовала Екатерина от предшествовавших царствований, – вопрос о церковных имуществах, поднятый вследствие непрерывавших волнений монастырских крестьян. Имена, отобранные при Петре III под светское управление, были возвращены Екатериною, архиереи и монастырские власти успокоились, но не хотели успокоиться крестьяне и своими волнениями торопили учреждение комиссии для решения этого вопроса. Комиссия была учреждена, и первым делом ее было, разумеется, собрание самых полных и подробных сведений о церковных имениях, что могло быть сделано только посредством описи, производимой людьми посторонними, которые не имели никаких побуждений к неточным показаниям. Опять комиссия, опять явились офицеры, переписывают все церковное имущество – признаки зловещие; опять неудовольствие, ропот. Объявлено было, что этого не будет, что для уничтожения этого и престол был принят, а теперь начинается то же самое! Одни роптали тихо, между собою, но нашелся человек, который по характеру своему был способен подать громкий голос и подал.

Арсений Мацеевич принадлежал к числу тех ученых малороссийских монахов, которые начали вызываться в Великую Россию при Петре I для замещения архиерейских кафедр, нуждавшихся в пастырях образованных, способных наблюдать за школьным делом. Но Арсений не был похож ни на одного из двух главных представителей этой ученой дружины: не имел ни высоких духовных стремлений Дмитрия Ростовского, ни ловкости, уклончивости, умения жить «в свете» Феофана Прокоповича; Арсений отличался отсутствием сдержанности, болезненною раздражительностью, которая вела его к очень неприятным столкновениям; кроме того, сохранились предания о его необыкновенной жестокости. Известия о его жизни до вступления на престол Елисаветы отличаются краткостью и темнотою; но можно видеть, что он был в постоянной опале, его удаляли из столицы, от высших степеней духовной иерархии, посылали в Камчатскую экспедицию. Эта судьба несколько объясняется приверженностью его к направлению Стефана Яворского; такому человеку трудно было подняться в царствование Анны. Из Камчатской экспедиции он вынес цинготную болезнь, которая не могла успокоительно действовать на его характер. Только в правление Анны Леопольдовны он был посвящен в митрополиты в Тобольск, причем нельзя не обратить внимания на его слова в последующем доношении императрице Елисавете, что он отказался присягать Бирону как

регенту. К началу царствования Елисаветы, которая постоянно ему покровительствовала, Арсений был переведен из Тобольска в Ростов и назначен членом Синода, но в Синод не вступил, потому что завел спор относительно текста присяги для членов Синода. Арсений уехал в свою Ростовскую епархию и отсюда по поводу синодского указа о приеме в монастырь одного колодника, показанного в нездравом уме, написал доношение, в котором синодское определение называл неосмотрительным, продерзостным и противным указам Петра Великого и Елисаветы. Синод послал ему строгий выговор с угрозою, что если вперед осмелится писать такие доношения, то будет лишен не только архиерейства, но и монашества. Это было в 1743 году, а в 1745-м Арсений подал в Синод просьбу об увольнении его на покой в Спасов Новгород-Северский монастырь вследствие *скорбучиной* болезни, приобретенной на море, к которой в настоящем году присоединилась еще головная боль. Синод подал доклад, что, по его мнению, Арсения уволить надлежит, но увольнения не последовало. В 1753 году Арсений поднес Елисавете две книги: 1) Обличение на книгу раскольническую олонецкую; 2) Возражение на пашквиль лютеранский, на книгу Камень Веры сочиненный. Елисавета послала ему венгерского вина, и Арсений писал, что вино по ее приказанию начал употреблять по совету лекаря с *салволятилем*. Мы упоминали о переписке Арсения с духовными лицами, недовольными указом Петра III о церковных имуществвах, о письме его к Бестужеву о том же предмете уже при Екатерине II. В это время Ростов получил особенное значение: в него стекались толпы богомольцев для поклонения мощам новоявленного чудотворца св. Димитрия-митрополита. Мощи были открыты еще при Елисавете, но только теперь сделана была рака; Екатерина хотела непременно сама присутствовать при переложении мощей в новую раку и, зная характер Арсения, очень беспокоилась, что видно из письма ее к Олсуфьеву: «Понеже я знаю властолюбие и бешенство ростовского владыки, я умираю боюсь, чтоб он не поставил раки Дмитрия Ростовского без меня; известите меня, как вы ее отправили, с каким приказаньем и под чьим смотрением она находится, и если не взяты, то возьмите все осторожности, чтоб она рака без меня отнюдь не поставлена была». Олсуфьев успокаивал ее, писал, что вследствие письма его к митрополиту такого дерзновения чаять невозможно; что майор, который повез раку, до такого самовольства не допустит; надобно, чтоб у его преосвященства была непонятная смелость, если бы он осмелился прикоснуться к ней.

Переписка эта шла в конце февраля, а в начале марта Арсений удивил другого рода смелостию. Он прислал в Синод, находившийся тогда в Москве, одно за другим два доношения, где в самых резких выражениях вооружался против новых распоряжений относительно церковных имуществ. По поводу рассылки из Синода по архиерейским домам и монастырям шнуровых книг для записывания приходов и расходов Арсений писал: «Которое одолжение присланных ко мне книг кажется сану архиерейскому не без уничижения, понеже в той силе имеются, яко архиереи о пользе церкви все не старатели; присланные от Св. Синода книги по архиереям и монастырским настоятелям, аки бы к прикащикам, тяжесть не токмо архиереям, но и всему духовному чину несносная и никогда не слыханная». От времен апостольских, по словам Арсения, церковные имуществва не подчинялись никому, кроме апостолов, а после них архиереям, оставались в их единственной воле и рассмотрении. Никто не должен церковные

имения отбирать и употреблять для других целей; отобранное должно непременно возвратить; но теперь не только не думают возвращать, но хотят и последнее взять, как уже и видели в бывшее правление. Первый начал отнимать церковные имения царь Иулиан-отступник; у нас же от времен князя Владимира не только во время царствования благочестивых князей, но и во времена татарской державы церковные имения оставались свободными. При Петре Великом Мусин-Пушкин сделал постановление относительно доходов с церковных имений и управления ими. Это постановление Мусина-Пушкина превосходило не только турецкие постановления, но и уставы нечестивых царей римских идолослужителей: св. Киприан Карфагенский, приведенный на место казни, велел домашним своим выдать палачу 25 золотых, но если бы тогда имело силу *заопределение* Мусина-Пушкина, то такого благодеяния оказать было бы не из чего. Но хотя *заопределение* Мусина-Пушкина превосходило и поганский обычай, однако церковь и бедные архиереи поневоле привыкли терпеть такую нужду, потому что не допрашивали у них по крайней мере о том, что было дано. А теперь, когда началось такое истязание, то узники и богаделенные стали счастливее бедных архиереев, и такое мучительство терпим не от поганых, но от своих, которые выставляют себя овцами правоверными; в манифесте о восшествии на престол императрицы сказано, что она вступила на престол для поддержки православия, которому в прежнее правление предстояла опасность. Сказано о пастырях: «Аще слово воздати хотяще, да с радостию сие творят, а не с въздыханием»; но как теперь не въздыхать и при самой бескровной жертве от такого ига мучительского, которое лютее ига турецкого? Чтобы архиереи из своих доходов заводили академии, об этом нигде ненаписано; да если бы это и не было противно, то на какие доходы заводить, когда последнее отнимают? Да и приходские священники находятся по большей части в крайней бедности, обложены податями не меньше мужиков, для своего пропитания принуждены возделывать землю, будь священник богослов или астроном, больше доходов не получит. Действительно, нужны и школы, и академии, но надлежащим порядком, как в старину бывало в Греции и теперь на Западе, т.е. по местам знатным, в царствующих городах, на иждивении государственном, по значительным городам, а не по грязям и болотам. Надобно прежде всего церкви умножить и порядочно содержать; но у нас в нынешний век об этом и в мысль не приходит, когда многие предпочитают кормить собак, а не священников и монахов и смотрят, чтоб за церквами и монастырями имения лишнего отнюдь не было; под видом излишества и последнее отнимают; церкви и монастыри многие пусты стоят, остальные в крайней бедности и все же возбуждают зависть. И теперь охотников до пострижения насилу сыскать, а после негде будет и взять; без монашества неоткуда быть архиереям, а без архиереев какое наше благочестие и какая наша церковь? Сохрани Бог от такого случая, чтобы нашему государству быть без архиереев! Тогда произойдет от древней апостольской церкви отступление, сначала еще будет поповщина, а потом беспоповщина, и государство наше со всеми своими академиями сделается раскольническим, лютеранским, атеистическим. Говорят, что имений у церквей не отнимут, но штаты сделают, будто бы отсекая излишество; но и этому образец Иуда Искаротский, который, желая продать Христа и видя его помазуема от жены многоценным миром по теплоте веры и любви, говорил: «Чесо ради муро сие не продано бысть на трех

стах пенязь и дано нищим?» Какая же тому *штатнику* похвала там в Евангелии, может всякий знать и дочитаться. Какова-то и наша будет молитва пред Богом: «Да святится имя твое!» – и каковы мы будем желатели, чтоб имя Божие свяtilось в нас и в государстве нашем, когда не нами, но другими данное на прославление имени Божия будем штатовать как ненужное?» Вслед за тем Синод получил второе доношение от Арсения, от 15 марта, написанное в том же духе по поводу приезда офицеров для составления описей церковному имуществу.

Синод представил первое доношение императрице, прописывая, что, по его мнению, оно заключает в себе оскорбление величества, за что автор подлежит суду; но он, Св. Синод, без ведома императрицы приступить к делу не смеет, а передает его в ее благорассмотрение и снисхождение. Как видно, Синод, принимая в соображение осторожное и снисходительное поведение Екатерины относительно неприятных, враждебных ей лиц, принимая также в соображение деликатность вопроса и звание Арсения, рассчитывал, что императрица не даст сильного хода делу, велит ограничиться выговором, внушением проситься на покой и т.п. Но Синод ошибся в своем расчете: Екатерина обнаружила небывалое до сих пор раздражение, и причина понятна: чем яснее в сознании трудности какого-нибудь дела, чем яснее представляются возражения против него, чем эти возражения, не имея в основании действительной правды, доступнее для толпы, тем более происходит раздражение, когда эти затруднения и возражения являются на самом деле. Сильно раздражало указание на манифест, изданный при восшествии на престол, желание поставить в противоречие, желание запугать: ты хочешь слыть защитницею православия и в то же время хочешь сделать то, чем сравнишься с Иулианом-отступником, с Иудою. Не забудем и литературного влияния, под которым находилась Екатерина вместе со всеми читавшими тогда людьми, влияния господствовавшей тогда темы в рассуждениях заправителей литературных – темы о фанатизме, сословном эгоизме духовенства, монахов, которым нужно положить преграду для благосостояния общества.

Екатерина написала собственноручно: «Святейший Синод! В поданном вашем вчерась мне докладе представлено, что архиерей ростовский Арсений прислал доношение от 6 дня марта в Синод, в котором все, что ни есть написано, следует к оскорблению величества императорского, за что его признаете подлежательным суждения, но без ведома моего приступить к тому не смеете и передаете в мое благорассмотрение и снисхождение. А как я уповаю, что и Св. Синод без сумнения признает, что власть всех благочестивых монархов, в числе коих и я себя включаю и делами моими, вами свидетельствуемыми, доказую, не для них единственно, но паче для общего всех истинных сынов отечества благосостояния, сохраняема и защищаема быть должна, также что в его, архиерея Арсения, присланном ко мне от вас для прочтения оригинальном доношении, которое я при сем к вам обратно посылаю, усмотрела превратные и возмутительные истолкования многих слов Св. Писания и книг святых, того ради впредь (для) охранения моих верноподданных всегдашнего спокойства, оною архиерея Арсения, таким преступником от вас признанного, Св. Синоду на справедливый, законами утвержденный суд предаю, а какая по суду сентенция ему назначена будет, оную представить нам для конфирмации, причем еще будет иметь место мое снисхождение и незлобие».

Получив известие о грозящей беде, Арсений испугался и подал просьбу об увольнении от епархии опять в Спасский Новгород-Северский монастырь на обещание, но уже было поздно: его взяли под стражу и отвезли в Москву на синодский суд. Еще прежде взятия под стражу Арсений отправил копию с своих доношений Синоду к духовнику Федору Яковлевичу Дубянскому и графу Алексею Петр. Бестужеву-Рюмину. Неизвестно, что сделал с этими бумагами духовник, но Бестужев решился ходатайствовать за Арсения и внушить императрице о необходимости покончить неприятное дело как можно тише и скорее. 31 марта он писал императрице: «Как содержание доношений в Синод (Арсения) наполнено не только дерзостями, но и чувствительнейшими оскорблениями за которые ее и. в-ство справедливо на него прогневана, граф Бестужев, не вступая отнюдь ни в малейшее за сего архиерея заступление, осмеливается токмо по долгу к ближнему, в преступление впадшему, рабски просить о показании ему монаршего и матернего милосердия в том приговоре, который по суду, конечно, ему тягостен будет, а притом не в указ свое слабейшее рассуждение присовокупить, не соизволит ли ее и. в. в его явном и никакого уже исследования не требующем преступлении скорее сентенцию на монаршую конфирмацию сочинить и тем сие дело кончить в предупреждение разных о сем и без того в публике происходящих толкований».

Мягкие формы не помогли. Бестужев, которому в прошлом году писалось: «Батюшка Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами!», теперь получил на свое внушение грозный ответ: «Я чаю, ни при котором государе столько заступления не было за оскорбителя величества, как ныне за арестованного всем Синодом митрополита ростовского, и не знаю, какую я б причину подала сомневаться о моем милосердии и человеколюбии. Прежде сего и без всякой церемонии и формы по не столь еще важным делам преосвященным головы секали, и не знаю, как бы я могла содержать и укрепить тишину и благоденствие народа (умолча о защищении и сохранении мне от Бога данной власти), если б возмутители не были б наказаны».

Конечно, Бестужев и никто другой никак не могли бы припомнить, когда преосвященным не по столь еще важным делам головы секали безо всякой церемонии и формы; но проверка этих слов Екатерины могла только показывать Бестужеву всю степень раздражения императрицы, и он спешил успокоить это раздражение: «Во всенижайший ответ всеподданнейший раб доносит, что как он прежде за ростовского архиерея никогда не заступался, но паче в С.-Петербург присланную от него цидулку представил с своим примечанием; так и ныне по его подлинно великим преступлениям не делал заступления, а токмо о скором решении упомянул, дабы чрез то пресечь излишние толкования и рассуждения в народе, который о точности дела не ведает; но ежели в чем старик погрешил, то токмо от одного усердия, чем теперь от неповинности своей и сокрушается». На этой же записке Екатерина написала: «Сожалею, что сокрушается: я писала с тем, чтоб вы имели что ответствовать тем, кто вас просьбою мучит. Желаю вам спокойно опочивать».

7 апреля Синод подал доклад: «Св. Прав. Синод, довольно имея рассуждения, что оный митрополит Арсений в оскорблении ее и. в-ства без всякого извинения виновным окажется тем именно, что он в противность слова Божия и апостольских правилами преданий и презря свою архиерейскую и генеральную

присяги и в противность же государственных узаконений на именные ее и. в-ства в 1762 и 1763 годах состоявшиеся о церковных имениях указы, присланными в Синод своими, первым от 6, а потом и вторичным, от 15 марта, доношениями таковые учинил возражения, которые единственно до оскорбления ее и. в. следуют, приводя в оных из многих слов Св. Писания и из некоторых книг превратные от себя толкования, с самым оных слов разумом и силою отнюдь не сходственные, а именно (следуют известные места из доношений). Хотя то доношение и окончено тем, что якобы все то писать и от слова Божия и закона предлагать не иная причина его привела, токмо ревность по Бозе и законе Божиим, ее и. в-ства довольно в манифестах и указах ее монарших изображенная, аще же возымеется в том его быти погрешность, просит о прощении. Но оного ни за каковой резон почесть не можно, ибо не токмо на высочайшие указы, но и на повеления своей команды никаких, а кольми паче язвительных представлений и возражений чинить под наитяжчайшим штрафом запрещено, да и таковой причины, чтоб вышеозначенное возражение с такою дерзостною отвагою выдумывать и действительно якобы под образом своей ревности представлять ему, митрополиту, и никому отнюдь не было и нет. Хотя он в допросе и показал, что якобы он в тех своих доношениях ко оскорблению ее и. в-ства ничего быть не уповал, все то писал по ревности и совести, чтоб не быть двоедушным, а сочинял-де он все то не для возражения на указы, но на представления других, по коим представлениям и те указы последовали, что-де разумеется на представления комиссии, и в чаянии том, что, как те представления не отвержены, так-де и оное его представление отвержено не будет и по крайней мере за то не воспоследует оскорбления ее и. в-ства, но понеже оное вошло во оскорбление ее и. в-ства, того ради, всепокорнейше и всеподданнейше припадая к ногам ее и. в-ства, просит прощения и помилования. Но оное его, митрополита, показание не истинное, ибо, по показанию находившегося при нем для письма канцеляриста Жукова, копии с обоих доношений в Синод были отправлены в Москву к двум знатным персонам. В 1743 году ему сделан был от Синода письменный выговор за то, что в доношении своем в Синод весьма противные и уразительные термины написать дерзнул. Выговор сделан был с таким подтверждением, что если он в подобное тому противление и презорство паки вступать будет, то не точию сана архиерейского, но и клобука лишится, того ради приговорили: оного митрополита Арсения, яко уже и прежде в немалых преступлениях, а ныне и наипаче в тяжком и оскорбительном, также архиерейской и генеральной присяги и всех государственных узаконений преступничестве оказавшегося, за те его тяжкие вины и за оскорбление ее и. в-ства в силу апостольского 84-го правила архиерейства, а по его на означенном в 1743 году чинимом ему выговоре подписке и клобука лишить, и послать в отдаленный монастырь под крепкое смотрение, и бумаги и чернил ему не давать». Подписали: Димитрий митрополит новгородский, Тимофей митрополит московский, Гавриил архиепископ Санкт-Петербургский, Гедеон епископ псковский, Амвросий архиепископ Крутицкий, Афанасий епископ тверской, Мисаил архимандрит Новоспасский.

Испуганный старик умолял о помиловании. Но если, несмотря на то, требовалось необходимо осуждение, то кто требовал вносить в это осуждение странность, что показание канцеляриста Жукова о посылке копий с доношений духовнику и Бестужеву свидетельствует о неистинности показаний Арсения?

Екатерина написала на докладе: «По сей сентенции сан митрополита и священства снять, а если правила святые и другие церковные узаконения дозволяют, то для удобнейшего покаяния преступнику по старости его лет монашеский только чин оставить, от гражданского же суда и истязания мы по человеколюбию его освобождаем, повелевая нашему Синоду послать его в отдаленный монастырь под смотрение разумного начальника с таким определением, чтоб там невозможно было ему развращать ни письменно, ни словесно слабых и простых людей». Синод назначил местом ссылки Вологодской епархии Ферапонтов монастырь; но 15 апреля обер-прокурор объявил Синоду именной указ, чтоб Арсений сослан был в Архангельскую епархию, в Никольский Корельский монастырь, с производством ему кормовых денег по 50 коп. в день.

Прошло четыре года. В 1767 году опять поднялось следственное дело о монахе Арсении вследствие доноса на него иеродиакона Иоасафа Лебедева. Арсений, по словам доносчика, говорил, что Екатерина не природная наша и не следовало ей принимать престола; цесаревич болен золотухою, и, Бог знает, кто после будет, а надобно быть Ивану Антоновичу и содержащимся в Холмогорах отцу его и прочим. Арсений бранил синодальных членов; о Димитрии Сеченове говорил: «Кабы пропал, то бы и я был свободен, до тех пор он поживет, пока обер-секретарь Остолопов жив, без которого он ничего не делает. Если бы не были согласны Сеченов и петербургский Гавриил, то деревень у архиереев и монастырей не отобрали бы». Сравнивал себя с Златоустом, заточенным также царицею. Толковал о пророчестве, будто бы взятом из жития св. Кирилла Белозерского, что в России будут царствовать двое юношей, которые выгонят турка и возьмут Царьград: первый юноша – великий князь (Павел Петрович), другой – брат принца Ивана (это говорилось уже по смерти последнего). Эти толки Арсения, доносил Лебедев, над архимандритом Корельского монастыря Антонием, над караульными солдатами и начальником их подпрапорщиком Алексеевским произвели желаемое действие: уверясь, что двое юношей будут царствовать скоро и что Арсений будет архиереем по-прежнему, стали содержать его гораздо слабее, почитали его как архиерея, принимали от него благословение, позволяли ему публично говорить проповеди. Подвергнутые допросу Антоний и Алексеевский признались в своем послаблении, Алексеевский подтвердил донос, подтвердил, что Арсений говорил: «Государыня наша не природная и не тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола принимать». Екатерина заметила при этом: «Сии слова Арсений говорил и в 1763 году капитану Николаю Дурново, когда сей последний его приезжал брать в Синод, и так Алексеевский то не выдумал». Но Арсений в новой беде еще надеялся поколебать основание своей главной опалы. 22 октября он обратился в Архангельскую губернскую канцелярию с просьбою, чтоб записала его объявление и представила императрице. Объявление состояло в следующем: 1) Просит он, Арсений, чтоб ее и. в-ство сотворила с ним милость и соизволила бы подлинное его доношение, за которое он и осужден, сама прочесть; тогда, конечно, соизволит увидеть его правость, ибо он, когда еще при покойной государыне Елисавете Петровне получил копию с доклада (а подлинный подписан бывшим канцлером Бестужевым-Рюминым и прочими знатными господами, кроме графа Петра Шувалова) об отобрании от церквей деревень, написал письмо к императрице; это письмо сходно с его доношением, за которое он теперь страдает. Императрица

Елисавета, рассмотря, что он писал справедливо, подлинного доклада, когда ей поднесли его, утвердить не изволила, единственно послушав его, Арсениева, письма, и сказала, что не подпишет: как-де после смерти моей хотите. 2) Подоношению его и по следствию докладывало, как он, Арсений, думает, из Синода экстрактом и на словах ее величеству; а если б подлинное доношение ее в-ство изволила читать, то, конечно, он так наказан не был бы. 3) Он, Арсений, и ныне утверждает, что деревень от церквей для прописанных резонов в посланном от него в Синод доношении отбирать не надлежало.

Состоялось решение: «Лишить Арсения монашеского чина и по расстрижении переименовать Андреем Вралем и послать к неисходному содержанию в Ревель».

Так кончилась борьба за вопрос, поднятый в русской жизни еще в XV веке. Борьба, как и следовало ожидать по важности вопроса, была сильная, ожесточенная изначала, но вначале восторжествовало мнение, что за монастырями должны быть удержаны населенные земли. В эпоху преобразования, в ту эпоху, когда русский человек во имя разума считал себя вправе допросить всякое освященное древностию явление о праве и пользе его существования, – в эпоху преобразования вопрос о церковных имуществах должен был подняться с новою силою. Но меры преобразователя, принятые относительно этих имуществ, были временные, отмененные им, как только он покончил с главным вопросом – о форме церковного управления; с одной стороны, преобразователь при своих последних распоряжениях относительно церковных имуществ имел в виду новые обязанности черного духовенства, новый строй его жизни; с другой – он так верил в силу нового, коллегиального управления, что не считал возможным повторения старых злоупотреблений. В начале второй половины века снова поднимает вопрос дочь преобразователя, которую нельзя было заподозрить в недостатке благочестия или в «философском уме» (которым так любовалась в себе Екатерина), и это обстоятельство уже показывало, что вопрос не может быть решен так, как был решен в XV веке, и Арсений ростовский пал, защищая в XVIII веке мнение Иосифа Волоцкого. Но как бы историк ни отнесся к этому мнению, нельзя не признать за Арсением мужества в отстаивании своего мнения до конца. Он просил снисхождения, просил, чтоб мнение его было прочтено внимательно, в целости, надеясь, что убедятся его резонами, но не жертвовал своим убеждением для получения прощения, освобождения от наказания. Он закончил свою просьбу словами: «Я и теперь утверждаю, что деревень от церквей отбирать не надлежало».

Екатерина исполнила свое намерение: в мае 1763 года отправилась в Ростов. Погода была неблагоприятная. «Ветры, холод и непрестанные дожди с происходящею от того грязью отнимают у нас удовольствие, которое б могли мы при хорошем времени в пути иметь», – писала императрица Панину из Переяславля; из того же города она писала генерал-прокурору Глебову: «Я получила все ваши посылки и надеюсь последние доклады скоро к вам возвращать. Ненастье и скука в Переяславле равны; дом, в котором живу, очень велик и хорош и наполнен тараканами». Из Ростова Екатерина писала Панину: «Завтра будет перенесение мощей Св. Димитрия; вчерашний день еще чудеса были, женщина одна исцелилась, а преосвященной Сеченой хочет запечатовать

раку, дабы мощей не украли; однако я просила, дабы подлый народ не подумал, что мощи от меня скрылись, оставить их еще несколько время снаружи».

Из письма к Глебову мы видим, что Екатерина во время путешествия занималась делами. В Ростове она получила очень неприятные вести о ссоре между людьми, которые наиболее участвовали в событии 28 июня. Ссора произошла вследствие сильного возвышения, фаворитства Григория Орлова, брат которого Алексей своим обращением всего более возбуждал негодование людей, считавших свои заслуги 28 июня не менее важными. Один из них, Ласунский, говорил другому, Хитрово: «Орловы раздражили нас своею гордостью и своим поступком: мы было чаяли, что наша общая служба к государыне утвердит нашу дружбу, а ныне видим, что они разврат». Для объяснения отношений любопытна записка Екатерины Елагину от 25 февраля 1763: «Ты имеешь сказать камергерам Ласурскому и Рославлевым, что понеже они мне помогли взойти на престол для поправления не порядков в отечестве своем, я надеюсь, что они без прискорбиа примут мой ответ и что действительная невозможность ныне раздавать деньги, тому ты сам свидетель очевидный!» Но эти господа могли считать себя вправе принимать отказ в своих просьбах с прискорбием, думая или и говоря, что Орловым нет отказа. 24 мая из Ростова Екатерина отправила письмо к сенатору Вас. Ив. Суворову: «По получении сего призовите к себе камер-юнкера князя Ив. Несвижского и прикажите ему письменно вам подать или при вас написать все то, что он от камер-юнкера Федора Хитрова слышал, и по важности его показания пошлите за Хитровым и, если придет (ся) арестовать его, Хитрова, тогда для дальнейшего произвождения оного дела призовите себе в помощь кн. Мих. Волконского и кн. Петра Петр. Черкасского и рапортуйте ко мне, как часто возможно. Я при сем рекомандую вам поступать весьма осторожно, не тревожа ни город, и сколь можно никого; однако ж таким образом, чтоб досконально узнать самую истину, и весьма различайте слова с предприятием. Впрочем, по полкам имеете уши и глаза».

Заявление кн. Несвижского состояло в следующем: возвратясь из деревни, он встретился с Хитрово, который спросил его, что нового. «Какие у меня новости, когда я был в деревне», – отвечал Несвижский. «А у нас много новых вестей, только дурных, – сказал Хитрово, – первая новость – государыня поехала в Воскресенский монастырь для того, чтоб старый черт Бестужев удобнее мог в ее отсутствие производить начатое дело. Он написал прошение к государыне, чтоб вышла замуж за Григорья Орлова, и к этому прошению духовенство и несколько сенаторов подписались, а как дошло до Панина и Разумовского, то Панин спросил государыню, с ее ли позволения это делается, и получил в ответ, что нет. Однако Панин мог заметить из лица и поступков ее, что все происходило по ее повелению, и согласился с гетманом и Захаром Чернышевым уничтожить дело; для этого они пригласили к себе Репнина, Рославлевых, Ласунского, Пассека, Теплова, Борятинских, Каревых, Хованских Петра и Сергея, Петра Апраксина, Николая Ржевского и рассуждали, что дело нехорошее, отечеству вредное, всякий патриот должен вступиться, искоренить. Этого ничего не было бы, – продолжал Хитрово, – потому что Григорий Орлов глуп; но больше все делает брат его Алексей: он великий плут и всему делу причиной». «Правда ль это? – спросил Несвижский. – Я хочу у Орловых это высмотреть». «Это очень и для нас полезно, – сказал Хитрово, – ездите почаще к Орловым и присматривай, а мы на

собрании своем положили просить государыню, что если намерена выйти замуж, то у Иванушки есть два брата; а если не согласится за них, то, схватя Орловых, всех отлучить, в то время уже можно отвлечь ее от этого дела, она сама нам будет благодарна, что мы нарушителя покоя от нее оторвем. Когда я был на карауле при покойном бывшем государе, то случилось мне говорить о порядке восшествия на престол государыни с Алексеем Орловым. Орлов сказывал, что Панин сделал было подписку, с тем чтоб быть государыне правительницею, и она на то согласилась; а когда пришли в Измайловский полк и объявили про ту подписку капитанам Рославлеву и Ласунскому, то они ей объявили, что на то несогласны, а поздравляют ее самодержавною императрицею, и велели солдатам кричать ура. Если можно, – продолжал Хитрово, – то и скорее при первом удобном случае Орловых погубить. Меня в этот заговор привела княгиня Дашкова, Глебов также нашей партии и денег будет давать сколько надобно».

Хитрово на допросе 27 мая показал: недели две тому назад зять его двоюродный Василий Брылкин говорил ему: слышал он от своего родного брата Ивана Брылкина, что приезжал к нему Бестужев с подпискою, чтоб просить государыню идти замуж, выбрав из своих подданных, кого ей угодно, потому что государь цесаревич слаб и в оспе еще не лежал; духовенство и несколько сенаторов подписались. Николай Рославлев говорил ему: слышал он о подписке, и как скоро дошло до Панина, гетмана и Чернышева, то они сказали, что не подпишут, и Панин государыне доложил, с ее ли позволения такая подписка у Бестужева. Государыня сказала, что она про то не знает, на что Панин представил: если Бестужев тому причиною, так надобно его предать суду, и на то государыня промолчала, и тем та подписка уничтожена. Услыхав об этом от Рославлева, он, Хитрово, поехал к кн. Дашковой спросить, правда ли это; Дашкова рассказала ему все так, как говорил Рославлев, и удивлялась немало такому дурному предприятию.

Екатерина была недовольна этими показаниями и, между прочим, писала Суворову: «Нельзя, чтоб он (Хитрово) не к чему-нибудь вздумал, будто я обещала Панину быть правительницею; нельзя статья, чтоб он ложь такую от Ал. Гр. Орлова, как он сказывает, слышал. Прикажете осведомиться, арестование Хитрова тревожит ли любопытных или еще не ведают в городе?» Результаты допросов находятся в следующей записке Екатерины Суворову: «Хитров двух человек уговаривал, чтоб они в его партию пошли, которая, по его рассказу, намерена была, если я соглашусь на известный проект Алексея Петровича, собравшись, придти ко мне и представить мне худобу одного дела и, если я не соглашусь на их мнения, тогда убить графов Орловых, всех четырех. В сем Хитров обличен и по многом заперательстве наконец сам мне признался и просил о том прощения, признавая себя и сообщников в том виновными. А хотя он тем двум, которых он приглашал, и называл многих персон: Н. П. (Никиту Панина), Ал. Глеб. (Глебова), Гр. Теплова, двух Рославлевых, двух Борятинских, двух Каревых, двух Хованских, Пассека, кн. Дашкову, но он в том тех двух персон на него показательстве отпирается, а мне признался, что он только с двумя Рославлевыми да с Ласунским согласие имел и Николай Рославлев ему сказал, что все оные. персоны в том согласны, но он сам, как дело уже утихло, думает, чтоб ныне отложить их Предприятие. Но верить невозможно, что, зная, что то их предприятие мне будет в огорчение и, как они сами положили, против моей воли, чтоб у них не были взяты

меры спастись от моего гнева, и посему, кажется, отдалить или арестовать надобно двух Рославлевых да Ласунского. Когда же Хитрова арестовали, тогда Пассек и Борятинский приехали к Орловым и сказали, что будто говорят по городу, что Орловых убить хотят, а меня свергнуть; а когда я об том их спрашивала, от кого они такие речи слышали, тогда сказали от сержанта, а тот от гренадера, и сей от незнакомого дворника, и из сего видно, что они дело сущонировали (подозревали) или, лучше сказать, знали».

Так как «дело уже утихло», то предприятие не имело смысла и все ограничивалось отголосками старых речей; поднимать дело о несостоявшемся замысле против Орловых было неудобно, потому что его надобно было поднять в связи с другим делом. Оставалось подозрение насчет того, как хотели соумышленники спастись от гнева императрицы, замышляя действовать против ее воли, и только вследствие этого подозрения считалось нужным, кроме Хитрово, удалить Рославлевых и Ласунского. Хитрово один был сослан в свое имение Орловского уезда; Ласунский уволен в отставку генерал-поручиком в 1764 году, а Рославлев Александр тем же чином в 1765-м. Но чем тайнее велось дело, чем менее оно имело явных и ясных результатов, тем более толковали о нем, и в начале июня по московским улицам с барабанным боем читали манифест «О молчанье». В манифесте говорилось: «Воля наша есть, чтоб все и каждый из наших верноподданных единственно прилежал своему званию и должности, удаляясь от всяких предерзких и непристойных разглашений. Но противу всякого чаяния, к крайнему нашему прискорбию и неудовольствию, слышим, что являются такие развращенных нравов и мыслей люди, кои не о добре общем и спокойствии помышляют, но, как сами заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих, не имея о том прямого сведения, так стараются заражать и других слабоумных... Если сие наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит на путь истинного блаженства, то ведал бы всяк из таковых невеждей, что мы тогда уже поступим по всей строгости законов».

О старании Екатерины предупреждать народные толки видно из следующего: архиепископ Амвросий писал Бестужеву от 12 марта: «Объявил нам синодальный г. обер-прокурор высочайшее повеление, чтоб мы по бывшем императоре Петре III панихиды и публичные поминовения отправляли, что пред днем рождения его в Архангельском соборе и исполнено. Не соблаговолите ли о сем паки доложить, ибо ежели нам отправлять панихиды, то в народе об нем иначе, нежели в манифестах изображено, могут толковать; да и церковь святая от раскольников не без поношения останется». Бестужев доложил, и Екатерина написала на докладе: «И об злодей Бог приказал молиться, наипаче о заблужденной душе, а о непоминовении в народе толки были б, что он жив». Но толки слышались. Молдавского гусарского полка прапорщик Войнович показал, что 7 сентября, в бытность его в крепости св. Елисаветы, зашел он в квартиру подполковника Ездемировича, который говорил: был у меня вчера Мельгунова камердинер Иванушка и сказывал: у Мельгунова в гостях был майор гвардии Рославлев и с Мельгуновым говорил, что бывший император жив и послан в Шлюшин (Шлюссельбург) и для того его послали, что Орлов хочет с государынею венчаться.

Екатерина окончила свое путешествие Ярославлем, о котором писала: «Город Ярославль весьма нравится, и я почитаю его третьим городом из тех, которые я видела в России». Последним делом ее пребывания в Москве было учреждение Павловской больницы по просьбе, как сказано в указе, цесаревича Павла Петровича. Больница названа в указе свободною; для ее помещения куплен загородный дом генерал-прокурора Глебова. 14 июня императрица выехала из Москвы и 19-го числа вечером прибыла в Царское Село, откуда в годовщину своего восшествия на престол, 28 июня, имела торжественный въезд в Петербург.

В продолжение описываемого года Екатерина восемь раз присутствовала в Сенате: четыре раза в Москве и четыре раза в Петербурге. Москву Сенат оставил, выслушав следующий указ императрицы: «Гг. сенаторы! Я не могу сказать, чтоб вы не имели патриотического попечения о пользе моей и о пользе общей, но с соболезнаванием должна вам сказать и то, что не с таким успехом дела к концу своему приходят, с каким желательно. Причины единственно в том только и состоят, что присутствующие в Сенате имеют междоусобное несогласие, вражду и ненависть и один другого дел не терпит, а потому и разделяются на партии и стараются изыскать один другому причины огорчительные. Что ж от того рождается? Одна только беспредельная злоба и раздор. Не последняя причина и сия к несогласию, что некоторые порочат дела других, хотя б они и полезны были, для того только, что не ими сделаны, хотя сами, однако ж, их никогда не сильны сделать. Но в таком случае здраво рассудить должно, что не все люди равные таланты имеют». Еще раньше, в марте месяце, сенаторы должны были выслушать наставление насчет неприличия некоторых занятий для них. Слушалось дело по злоупотреблениям винного откупа в Иркутске, и сенаторы объявили одному из своих сочленов, Сумарокову, что ему нельзя присутствовать при рассуждении об этом деле, ибо он сам имеет винный откуп в Бахмутской провинции, на основании закона Петра В.: ежели судья равное дело имеет с челобитчиком или ответчиком, например, если ищет кто в обиде отнятого двора, и такое же равное дело имеет судья в другом месте, то ему не судить, чтоб для своего примера дело не испортил. Сумароков обиделся и подал жалобу императрице, что отстранен несправедливо, указ до него не касается, ибо на него никто не жалуется в притеснениях по откупу. Екатерина написала такое решение на просьбу Сумарокова: «Откуп винный в городе Иркутске и откуп винный в Бахмутской провинции разнствуют тем меж собою, что один в Сибири, а другой в России. По партикулярным спорным делам сенаторы выходят по силе Петра Великого указа без огорченья из Сената. А если по откупным делам огорчительно, то способ оставаться в Сенате в их руках», т.е. не заниматься откупами.

В Петербурге Сенат получил указ: «Ее и. в-ство усмотрела из поднесенной генерал-прокурором ведомости о всех со вступления на престол по 5 сего августа состоявшихся именных указах, что из оных многие не токмо по партикулярным челобитчиковым, но и по государственным делам еще не исполнены, по иным еще рассматривается. Сего ради, а паче желая, чтоб собственные ее и. в-ства о пользе государственной и о безостановочном правосудия течении неусыпные труды не оставались без желаемого ее величеством успеха, повелевает Сенату, исключая только свободные от заседания дни, съезжаться пополудни по трижды в неделю до тех пор, пока все дела исполнены будут». Указ был объявлен 20 августа, а 4 сентября Екатерина, присутствуя в Сенате, объявила: так как много дел уже

рассмотрено, то съезжаться пополудни только раз в неделю вместо трех, так как канцелярские служители, как она слышала, несут немалый труд. В ноябре императрица опять жаловалась на «ужасную медлительность» Сената. Но она не хотела ограничиться жалобами. Еще 17 апреля дан был указ «собранию, в котором совет происходил о вольности дворянской», о разделении Сената на департаменты, «дабы тем способом не одно дело в Сенате и в один день трактовалось, но столько производимо их было, коликое число департаментов определится, а каждый бы департамент определенные роды себе дел в отправлении узаконением имел». 15 декабря был издан манифест: «Правило неоспоримое, что всякого государства благосостояние основано на внутреннем спокойствии и благоденствии обитателей и что тогда только обладатели государств прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от постановленных над ним начальников и правителей; но нельзя инаково сего достигнуть как только добрым учреждением внутренних распорядков и всех государственных и судебных правительств, которые в империи нашей по состоянию нынешнего времени весьма недостаточны, что можно наиболее всего усмотреть в нашем Сенате, в который не только апелляционные, но и всякого рода дела изо всего государства с требованием резолюции вступают и который столь отягчен множественным числом оных, что превосходит силы человеческие все оные дела решить в надлежащее время». Вследствие этого Сенат разделялся на 6 департаментов, из которых четыре должны были находиться в Петербурге и два в Москве вместо бывшей там Сенатской конторы. 1-й департамент занимался государственными внутренними и политическими делами; 2-й – судными; 3-й – делами Малороссии, Остзейских провинций, Финляндии, Академии наук, университета, Академии художеств, полиции и проч.; 4-й – делами военными и морскими; 5-й московский – отправлял всякие государственные текущие дела, какие исправляла прежде Сенатская контора; 6-й московский – ведал судные дела соответственно второму петербургскому. При первом департаменте оставался генерал-прокурор, во всех других по обер-прокурору в каждом. Дела решались единогласием. При невозможности соглашения обер-прокурор объявляет генерал-прокурору с объяснением, в чем сенаторы не соглашаются или в чем сам сомневается. Тогда генерал-прокурор, взявши дело в первый департамент и созвавши всех наличных сенаторов от прочих департаментов, предлагает на общее рассуждение. Если и сенаторы первого департамента не будут согласны, то дело предлагается в общем собрании. Если и тут сенаторы не согласятся или по делу точного закона не будет, то генерал-прокурор все дело с сенаторскими мнениями и с своим рассуждением представляет императрице. По тем же самым причинам, по каким разделен был Сенат, разделены были на департаменты Юстиц-, Вотчинная и Ревизион-коллегии и Судный приказ. Ревизион-коллегия была разделена на 5 департаментов, потому что в ней до такой степени умножилось число неревизованных счетов, что многие миллионы государственной казны были в неизвестности. Ревизион-коллегии было предписано иметь главным правилом при свидетельстве счетов смотреть не на одно только то, чтоб приход с расходом был верен, но смотреть особенно за тем, все ли денежные и прочие выдачи произведены по силе законов. Сибирский и Розыскной приказы и Раскольническая контора были уничтожены.

20 августа состоялся именной указ: камер-юнкеру графу Федору Орлову повелевает ее и. в-ство быть непрерывно в Сенате при текущих делах, и особливо при собраниях, и место свое иметь за генерал-прокурорским столом, дабы он слушанием дел и рассуждений сенаторских, также чтением и собственным иногда сочинением текущих резолюций и всего того, что для лучшего приобретения себе знания дел за потребно найдет, навыкал бы быть искусным и способным впредь к службе ее и. в-ства по сему месту.

Екатерина требовала особенной и согласной деятельности Сената в искоренении злоупотреблений в областном управлении, в искоренении взяточничества. В приведенном выговоре Сенату за несогласие она выставляла в пример дело о калужском воеводе Мясоедове. По этому делу сохранилась любопытная записка императрицы к ген. прокурору Глебову: «По Мясоедову делу, кой час приеду в город, соберу Сенат и сама господ сенаторов в полном собрании намерена согласить и всякого выслушать, а инако скажут, что тот или другой по клочкам бы меня рвут». Екатерина боялась слухов, что сенаторы стараются наедине представлять ей свои мнения и склонять на свою сторону. Из этого уже видно, какой сильный интерес возбуждало это дело. Мясоедов, товарищ его, секретарь и канцелярист были уличены и сами признались во взятках по подрядам; Мясоедов и товарищ его были лишены чинов и сосланы в деревни, секретаря написали вечно в копии и сослали в отдаленный город, канцелярист высечен плетьюми и отдан в солдаты в отдаленный гарнизон.

Не менее забот стоило Екатерине дело о смоленском губернаторе Аршеневском, обвиненном во взятках. Опять несогласие между сенаторами, опять толки, которые вызвали такую записку Екатерины к Глебову: «Когда не накажешь людей, говорят: послабление; когда же накажешь, тогда говорят: строго. Пускай Аршеневский останется до моего приезда без чинов, и тогда в Сенат приеду с вышеписанными рефлексиями да облегчу сентенцию. Я чаю, порочат оный поступок или те, у кого совесть не чиста, или те, которые не сочиняли или мне не советовали в резолюции. Есть у нас род людей, которые все то порочат, где они не призваны были вместо оракула, а оракула дела опять порочат генерально все». Мысль, что у многих совесть не чиста, не оставляла Екатерину; так, узнавши, что Тверь выгорела, она писала Глебову: «Старайтесь о вспоможении сим несчастным людям; я думаю, многим не печально, что дела все почти сгорели».

Сенаторы, князь Яков Шаховской и граф Скавронский, объявили в Сенате письма, полученные ими от коломенского епископа Порфирия: епископ жаловался на коломенского воеводу Ивана Орлова, что он дни и ночи проводит в пьянстве, в канцелярии мало бывает, да и то приходит пьяный же; что колодников в тюрьме больше ста человек, а решения нет никакого; он же, Орлов, оставя канцелярию и город никому не приказав, самовластно уехал в Москву на маскарад.

Это были дела новые, но было еще старое дело – о знаменитом иркутском следователе Крылове. Мы видели, что по следствию, произведенному Крыловым, иркутские купцы повинились в расхищении 150000 рублей казенных денег. Но когда началось дело о насильственных поступках самого Крылова, купцы стали показывать, что повинные их были вымучены пытками, причем Крылов действовал в интересах бывшего тогда обер-, а теперь генерал-прокурора Глебова. Глебов взялся ставить вино в Иркутске; купцы представили, что цена, по которой он договорился ставить вино, гораздо дороже той, какая оказывается по

десятилетней сложности. Кроме того, купцы оценили казенные винные заводы гораздо дороже, чем Глебов хотел их взять за себя; таким образом, посылка Крылова оказывалась личной местию Глебова иркутским купцам. Кроме Глебова оказался виновным и весь Сенат, который позволил вести дело неправильным образом: отдал кабацкие сборы Глебову на откуп без всяких должных справок; когда Глебов донес о злоупотреблениях иркутского купечества и присоединил свои частные жалобы на него, то Сенат назначил следствие, тогда как обер-прокурор не имел никакого права мешаться в гласные дела, а как обиженный должен был искать суда в определенных законом местах. Крылов был отправлен из Сенатской конторы и доношения свои присылал прямо в Сенат; за такой беспорядок Сенат наградил его тысячью рублями и тем поощрил его к дальнейшим беззаконным поступкам. Прошение, присланное вице-губернатором иркутским Вольфом на имя императрицы Елисаветы, Сенат удержал и не велел исследовать, каким образом печать на прошении оказалась подрезанною. Когда иркутские купцы повинились в растрате казенных денег, то самовольно простил им знатную сумму денег. Так как сенаторы, причастные этим беспорядкам, одни умерли, другие вышли в отставку, то императрица простила оставшихся в живых, подведя их под милостивый манифест по случаю ее коронации, предавая их единственно угрызениям совести.

Относительно генерал-прокурора Глебова императрица усмотрела, как мало он имел старания о правильном производстве дел и о казенном интересе, и ко всему беззаконному производству этого дела единственно подал повод своим неправильным доношением, и принадлежавшее казне при откупе приращение обратил на собственный прибыль, за что и подлежал не только лишению всех чинов, но и большому наказанию; однако вследствие того же милостивого манифеста он был только удален навеки от всех должностей с чином генерал-поручика. Крылов за долговременное содержание в оковах освобожден от смертной казни, высечен кнутом в Иркутске и сослан на вечную каторгу. Но сама императрица объявила, что эти приговоры последовали, тогда как следствие к законному окончанию не приведено. «Однако, – говорит она, – мы нашли в нем довольно обстоятельств, ясно открывающих истинное состояние сего дела; чего ради за справедливое почли решить оное по видимым в нем окрестностям (обстоятельствам), нежели входить в законный порядок и тем вновь начинать следствие, а чрез то и так уже много претерпевшим иркутским купцам призывом их сюда для улики и очных ставок сделать еще более отягощения».

Оказались также следы старого дела о злоупотреблениях воронежского губернатора Пушкина, которое велел потушить Петр III. Капитан Кара повинился, что в 1758 году регистратор Савинов дал ему знать, что Пушкин приказывает ему, Кара, объявить бирюченским обывателям, чтоб они собрали 1000 рублей денег ему, губернатору, и за то с ними благосклонность учинена будет; обыватели добровольно деньги собрали и с ним в Воронеж послали. Потом Пушкин приказал, чтоб бирюченцы отдали поклон вице-губернатору Кошелеву, и бирюченские уполномоченные подарили Кошелеву 300 рублей. Наконец, Пушкин потребовал с той же Бирючьей слободы 500 рублей, чтоб от проезжающих команд разорения не было. Ассессор Вельяминов повинился, что из получаемых им при лесном смотрении денег дал Пушкину 300 рублей да адъютанту его 100 рублей.

Князь Александр Алекс. Вяземский, отправленный для усмирения горнозаводских крестьян и имевший также поручение присматриваться к ходу управления, доносил: «Выехав из Казани, старался я в разнородных деревнях разведать о поведеньях Казанской канцелярии: везде я нашел не только подтверждение донесенному уже о мздоимствах, но нашел еще и то, сколько собираемо было с каждой души ясачных крестьян для поднесения приказным служителям за поданные в прошедшем году к будущей ревизии сказки и сколько собирается на вальдмейстеров при каждом их посещении. В татарской деревне, называемой Агрызы, два сотника уверяли, что за поданные сказки разошлось по 9 и 10 коп. с души; а с вотяков, как с людей очень простых и добросовестных, и более. Вальдмейстеру в каждый его приезд сбирается по 3 и 4 коп. с души, а с вотяков – по 4 и 5 коп. Когда я спросил, за что же они такие большие подарки дают, то получил в ответ: несколько лет тому назад поупрямились они своею сотнею и не дали ничего вальдмейстеру, который за то репортовал, что они рубят заповедный дубовый лес, и губернская канцелярия, не принимая их оправдания, взыскала штрафа 800 рублей; так они теперь уже и дают подарки, потому что хотя никакого дубового леса вальдмейстер не найдет, то смотрит сани и, найдя дубовые полозья, репортует в губернскую канцелярию о порубленном дубе. По прибытии моем из Сибирской губернии в Оренбургскую разведал я, что лихоимство нижних губернских чинов не менее прочих; главный между ними надворный советник Каптяжев, который, по слухам, не давал без взятки жалованья нижним чинам. В Симбирске нынешним воеводою подовольнее, но сильно негодование дворянства на бывшего воеводу князя Назарова, который сам старался заводить между дворянством ссоры и после беспримерными взятками пользовался, по воровским и разбойническим делам приметывался и разорял до самой крайности с мучительством».

При изложении русской истории XVIII века мы имели возможность заметить, что не от одних воевод страдали города. Сильный своим богатством обыватель, «мужик-горлан» по старому выражению, не считал себя обязанным сдерживаться относительно слабейших, особенно когда достигал главного места в городе, места магистратского президента; он составлял себе сильную партию и надеялся, что она его поддержит. Но случалось, что он встречался в городе с другим мужиком-горланом, который также имел сильную партию и не хотел уступить; тут-то начиналась ожесточенная борьба между этими Борецкими XVIII века, причем и вооруженные нападения одной партии на другую усиливали сходство с явлениями из жизни Великого Новгорода. Замечается и еще сходная черта: в борьбе видны партии лучших и меньших людей. В описываемое время мы не можем обойти одного любопытного явления в этом роде.

В Орле магистратским президентом был богатый купец Дмитрий Дубровин. По жалобам граждан на его насилия Главный магистрат сменил Дубровина. Противная партия, которая, как видно, устроила все дело, воспользовалась своим торжеством и вынесла в президенты своего вождя Кузнецова. Но Дубровин и его партия не хотели уступить. Сын Дубровина Михайла, человек известный, портовых таможен директор, от имени отца своего подал в Сенат челобитную на несправедливое решение Главного магистрата в отрешении отца его от президентства по доносу орловского купца Николая Кузнецова, который показывал, что он, Михайло Дубровин, содержал в Орле кружечный двор; а сам он, Николай

Кузнецов, в бытность брата его Степана президентом вместе с ним обижал и разорял все купечество, в доказательство чего Мих. Дубровин приложил от орловского купечества челобитную за подписью 142 человек. В этой челобитной президент Дубровин одобрялся, о Кузнецове же говорилось, что он как прежде, так и теперь производит беспокойства и купечество разоряет, отчего они, купцы, не желают, чтоб он и оставался между ними, тогда как Дубровин и прежде купечество защищал, и теперь защищает; показываемое Кузнецовым на него подозрение, будто сын его содержит кружечный двор, недействительно, потому что Мих. Дубровин от того отрекся. В заключение купцы просили доносу Кузнецова не верить и его из купечества выключить, а быть президентом Дмитрию Дубровину. Но вслед за тем явилась в Сенат челобитная 150 человек орловских купцов, которые писали о Кузнецове, что он человек добрый и первостатейный купец и не только за себя, но и за прочих неимущих и умерших платит поборы бездоимочно, в чем имеет квитанции; потому просят не исключать его из купечества и показанию Дубровина не верить, потому что его челобитная неправильная, руки к ней приложены без совета первостатейных купцов по дворам, рядам и улицам, не давая прочитывать, а объявляя обманом, что в пользу купечества. Получивши такие противоречивые челобитные, Сенат приказал: послать в Орел обер-офицера и с ним члена Московского магистрата; приехавши в город, они должны собрать на сход все наличное орловское купечество первой и второй статьи, кроме Дубровина и Кузнецова, и взять с них подписки, кто кого желает в президенты, Дубровина или Кузнецова.

Как видно, эта посылка почему-то не состоялась, и орловские соперники управлялись сами. Дубровин опять сделался президентом, и о Кузнецове поднято было дело прошлого 1762 года: 5 февраля этого года человек 200, собравшись разбоем к однодворческому правлению, били караульных смертно и отводили в дом орловского купца и суконного фабриканта Кузнецова; потом приходили опять ночью, выломали ворота и из караульной избы увезли рекрута, а прочих колодников распустили; в этом разбое участвовали фабричные и прикащик Кузнецова; а орловские однодворцы объявляют, что прочие их братья, однодворцы, отбывая очередные службы, укрываются у Кузнецова, будто заживают долги по векселям. Но в конце года печальная участь постигла торжествующего, по-видимому, Дубровина. Генерал-прокурор представил Сенату в пакете прошение его, написанное на трех разных лоскутках; Дубровин жаловался на Орловскую провинциальную канцелярию, которая безо всякой причины, как видно только по проискам купцов Кузнецовых, захватя его, держит под караулом, не давая ни бумаги, ни чернил, так что он и эту челобитную едва мог написать в 8 дней, собирая бумагу по лоскуткам. Сенат приказал Сенатской конторе потребовать от Орловской провинциальной канцелярии ответа, для чего Дубровина так крепко держат, что бумаги и чернил не дают. Дело объяснил московский генерал-губернатор граф Солтыков, в ведомстве которого находилась и Орловская провинция. По доношению Солтыкова от 17 ноября, Дубровин «производил в Орле притеснения, грабежи, смертоубийства, расхищения казны, за что Главн. магистратом и был отрешен от присутствия, но, несмотря на то, правил президентскую должность своевольно; во время этого нахального правления фабрика купца Кузнецова товарищами Дубровина разграблена и разорена, бывшие на ней работники разогнаны, избиты и переувечены. Кузнецов жаловался в

Сенатскую контору, которая и послала указ к находящемуся там полковнику кирасирского полка Давыдову исследовать все дело вместе с орловским воеводою и с депутатом от Гл. магистрата, а Дубровина с сообщниками взять под караул; для пресечения беспорядков и для восстановления тишины расставить в городе частые пикеты, почему он, Дубровин, и взят под караул. А как между тем кирасирский полк в поход выступил, то мятежники ходят и поныне так, как и прежде, в великом множестве с заряженными ружьями и дубьем, бьют смертно и увечат всех тех, которые с ними не согласны. А сын Дубровина Михайла с шестью человеками приходил к воеводе в дом и требовал от него, угрожая побоями, чтоб освободил отца его. Получив отказ, бежал в Москву, где по приказанию моему был взят в полицию с пятью сообщниками. Но вчера поутру приехал ко мне генерал-полицеймейстер Юшков и сказывал, что третьего дня, 15 числа, будучи в гостях у сенатора Воронцова (Ив. Лар.), видел Дубровина там же в компании; а вчера вечером генерал-полицеймейстер мне донес, что Дубровин из полиции бежал».

В то же время императрица приказала учредить особую комиссию для исследования по жалобам, пришедшим из Мценска. Тамошний воевода Емельянов жаловался на азартные поступки с ним купцов; Муромского пехотного полка капитан Овинов жаловался, что его и с ним гренадер его в мценском магистрате били и отняли шпаги; а магистрат в свою очередь жаловался, что Овинов приходил в магистрате командою и вытащил бургомистра из магистрата, причем солдаты едва не порубили магистратских судей обнаженными шпагами и стол судейский с зеркалом и делами повалили.

Не удивительно было, что грубость нравов производила такие явления в отдаленных областях, когда та же грубость нравов высказывалась резко и в указах коллегий. Дворянин Прокофий Демидов жаловался императрице, что в указе, данном ему из Берг-коллегии, сделано ему напрасное поношение бранными словами, назван он душевредником и непримиримую злобу имеющим человеком. Екатерина приказала рассмотреть в Сенате, правильно ли решено дело Демидова в коллегии, а за неприличную брань сделать коллегии выговор, приказав ей возвратить все разосланные в поношение его указы, и во все судебные места подтвердить, чтоб отнюдь в указах и повелениях никогда не было употребляемо брани и слов поносных.

Правительство именно могло содействовать смягчению этой грубости нравов, преследуя ее проявления в сферах административной и судебной. Мы видели, как при Елисавете старались ограничить случаи пытки. При Екатерине, которая так внимательно прислушивалась к тому, что говорила европейская наука, разумеется, движение в этом смысле не могло остановиться. В первое присутствие свое в Сенате в этом году Екатерина повелела: преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, особенно же изысканием происшедших в разные времена околичностей, нежели строгостию и истязаниями; стараться, как возможно при таких обстоятельствах, уменьшить кровопролитие; если же все средства будут истощены, тогда уже пытаться; однако в приписных городах пыток не производить, отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии и тут поступать с крайнею осторожностью, чтоб как-нибудь вместе с виновными и невинные не потерпели напрасного истязания. Всех тех, которые дойдут до пыток, прежде увещивать ученым священникам, чтоб

признались, а так как по иным городам ученых священников нет, то для увещания сочинить особенную книжку.

«Чтоб как-нибудь невинные не потерпели вместе с виноватыми», – говорила императрица. Но невинные постоянно страдали вместе с виновными, невинные жена и дети преступника наказывались конфискацией имущества, осуждались ходить по миру. Екатерина смягчила и эту жестокость закона. В описываемое время решено было еще печальное для Сената дело кроме глебовского. Обер-секретарь Сената Брянчанинов и секретарь Веймарн уличены были в утаении алмазных вещей и золотой табакерки графа Алекс. Петр. Бестужева-Рюмина во время его опалы. Императрица утвердила такой приговор преступникам: Брянчанинова, лиша чинов, вывести на площадь пред Сенатом и коллегиями с надписью на груди: преступник указов и мздоимец – и поставить у столба на четверть часа, потом заключить в тюрьму на полгода и вперед ни к каким государственным делам, ни к делу народному, ни к партикулярному не допускать; секретаря Веймарна, в уважение достоинств и службы генерал-поручика того же имени, лиша чинов, посадить на две недели на хлеб и на воду, потом заключить на полгода в тюрьму, после чего никуда не принимать, а имение их отдать женам и детям, разделя по закону.

В данном случае конфискации не последовало, имение преступников отдано было их семействам, но только в данном случае. Желали отмены конфискации навсегда, законом; желало этого дворянство, которое не могло успокоиться на манифесте о вольности дворянской Петра III по неполноте и неопределенности дарованного.

Между записками Екатерины Н. И. Панину сохранилась одна, в которой императрица говорит о ропоте дворянства на то, что вольность его не подтверждена, и потому, пишет она, «надлежит о том не позабыть приступ сделать».

Приступ был сделан назначением комиссии о дворянстве, членами которой были: фельдмаршал граф. Бестужев-Рюмин, гетман граф Разумовский, канцлер граф Воронцов, сенаторы князь Як. Петр. Шаховской и Панин, генерал-аншефы граф Захар Чернышев и князь Мих. Волконский и генерал-адъютант граф Григорий Орлов, делопроизводителем был назначен Теплов. 11 февраля комиссия была созвана во внутренние покои ее и. в-ства; Екатерина вышла и передала Теплову свой собственноручный указ, который он прочел вслух пред собранием. «Бывший император Петр III, – говорилось в указе, – дал свободу благородному российскому дворянству. Но как сей акт в некоторых пунктах еще более стесняет ту свободу, нежели общая отечества польза и наша служба теперь требовать могут, при переменившемся уже государственным положением и воспитании благородного юношества, то мы вам повелеваем, собравшись вместе у двора нашего, оный акт рассмотреть и для приведения его содержания в лучшее совершенство между собою советовать, каким от нас особливым собственным государственным установлением российское дворянство могло бы получить в потомки свои из нашей руки новый залог нашего монаршего к нему благоволения. А чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивышше поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества».

Из мнений членов комиссии до нас дошло мнение старика Бестужева. Чтоб заставить дворянина служить, Бестужев полагал дворянам, служившим не менее семи лет, дать преимущество пред вовсе не служившими: последним запретить покупать недвижимое имение и заставить их уступать место последнему обер-офицеру, дабы дворяне не пришли в нерадение о произведении себя и в древнюю леность. Между правами дворянства Бестужев полагал: не брать дворянина под караул без предварительного судебного приговора, освободить его от пытки и конфискации имения, дозволить ему на суде выбрать адвокатом другого дворянина, дать дворянам беспредельную власть над крестьянами и крепостными людьми, от крестьян и холопей не принимать никаких прошений и доносов на господ и не допускать в свидетели. Чтоб уволенное из службы дворянство, живя в своих деревнях, не проводило время в вредной праздности и беспечности, полезно сделать такое постановление: пусть эти дворяне избирают попеременно между собою ландратов, которые по представлении от них, от общества, Сенату и по получении от Сената подтверждения должны иметь в своем ведомстве принадлежащие тому дворянскому обществу уезды и в них исправлять все потребное как для службы государственной, так и для пользы дворянства, разбирая притом между дворянами споры и ссоры; такие ландраты были бы своему обществу во всем опекунами и ходатаями по судебным земским местам в причиняемых иногда дворянам утеснениях и обидах; а чтоб еще более уволенное дворянство отвратить от праздности, то можно б было дать ему волю избирать между собою достойных людей к замещению мест губернаторских товарищей, воевод и воеводских товарищей.

Бестужев понял смысл наказа, данного Екатериною комиссии: приискать средство для привлечения дворян к службе при уничтожении обязательной службы: «Чтоб благоразумная политика была всему основанием, то надлежит при распоряжении прав свободы дворянской учредить такие статьи, которые бы наивящще поощряли их честолюбие к пользе и службе нашей и нашего любезного отечества». Но комиссия, взяв в основание требования Бестужева относительно прав дворянских, отстранила в своем докладе все то, что он говорил о необходимости выборной службы для дворян, живущих по деревням, и распространилась о том, что не должно стеснять дворянской вольности ничем другим, кроме *вкорененного уже* воспитанием честолюбия. «Дворянство, – говорилось в докладе, – любочестием столь много уже движется, что нет ни малого сумнения, чтоб просвещение увидевшие дворяне или уже и родившиеся в том обратились к прежнему нерадению о службе, но всяк сам старается сына своего и сродника в оную вместить, так что едва ли и места довольно желающим службы остается. Всяк за милость признавает, когда он только к службе допущен, а особливо в нынешнее премудрое правление в. и. в-ства, столь трудолюбивой и пекущейся об отечестве всемилостивейшей государыни, достойный дворянин и старающийся об отличении своем коснетъ к службе не может». Но льстивая фраза не могла успокоить раздражения Екатерины, когда она увидала такое явно неверное представление о тогдашнем дворянстве. Раздражение высказалось в замечаниях на некоторые места доклада. Например, комиссия, настаивая на необходимость для русского дворянина выезжать за границу и вступать в службу иностранных государств, говорила: «Ничто так не приводит военнотружущего в совершенное знание его должности, ничто так не вкореняет в него храбрость и

честолюбие, как многие добрые примеры, подражание и экспериенция». Екатерина написала на поле: «NB: а ничто так, как в Париже, по спектаклям и в вольных домах шататься». Далее комиссия говорит: «Беспрекословно все согласуют, что дворянин, во многих армиях (иностранных) служа, почитается за генерала искусного». Екатерина написала: «Есть бродяга».

Недовольная докладом комиссии, императрица оставила дело без решения до 1785 года; а между тем известия, которые она получала из-за границы о поведении там русских дворян, утверждали ее в мнении, что комиссия слишком зашла вперед. Так, между прочим, она писала вице-канцлеру кн. Голицыну: «Князь Александр Михайлович, меня просят, дабы я вывезла из Парижа Дмитрия Мих. Матюшкина, который там во всем разорительную и развращенную жизнь ведет. Я все оное наперед пророчествовала, но меня не послушали. Прикажете писать, чтоб он сюда без замедления ехал». Этот пример не был единственным.

Кроме постановления о вольности дворянской, требовавшего пересмотра, от Петра III оставалось постановление о раскольниках 29 января, утверждавшее за ними свободное отправление веры с указанием на магометан и идолопоклонников, не терпящих никакого притеснения в их вере. Указ возбудил сильные надежды раскольников, которые обращались теперь к Екатерине с новыми требованиями. Дело было передано в Синод, но Синод медлил по важности и трудности дела. От 28 февраля сохранилась записка императрицы к Глебову: «Александр Иванович, разбуди преосвященных новгородского и псковского об раскольническом деле, что они хотели написать: я от оных людей (т.е. от раскольников) еще сегодня просительное письмо получила». Преосвященные – Димитрий новгородский и Геден псковский – подали мнение: «Пастыри российской церкви крайнее старание прилагали и прилагают о единстве веры не только относительно догматов и обрядов, и многие книги ими сочинены на показании самой истины, но кроткие способы не великое возымели действие. Тогда также ревностию приведены, пастыри стали устранять клятвою и отсечением от церкви совершенным, но и это средство не помогло. Итак, по примеру искусных врачей, которые, когда одно лекарство не пользует, другим целить болезнь стараются, и нам следует теперь помышлять о другом способе собрать заблудших овец. Теперь хотят они возвратиться, но требуют сохранения некоторых только своих обрядов, семи просвир, двуперстного сложения и проч., обещая во всем другом повиноваться церкви и принимать наших священников. Первый вопрос здесь: можем ли мы это позволить, когда эти обряды на соборах прокляты? Отвечаем: не обряды, но больше содержащие их сей клятве подвергаются, и то не за обряды точно самые, но за сопротивление их св. церкви и отторжение самовольное от нее, а паче еще за произносимые от многих из них на оную хулы и ругательства разные, в чем и мы правильную находим причину, если же бы за одни обряды проклятие то было положено, то была б причина почитать оное за недействительное и от непомерной не по разуму ревности происходящее. По апостолу Павлу, по нужде и закону пременение бывает, то уже пременение обрядов или обычаев не больше ли изменения в вере причинять не должно? Пусть только они во всем, хотя кроме обрядов, будут с православною нашею церковию единомысленны, то в таком случае и нет сомнения, что их принять и присоединить православному нашему обществу, а прочее устроит Бог. И сие есть мнение наше. Уповаем, что и прочие братия наши и сопастыри св. церкви по сей

причине согласны в том быть имеют, а когда и соборное рассуждение приложится к сему нашему рассуждению, то, как ему придастся твердость, так и восторжествовать имеет несумненно вся церковь о спасении отлученных чад своих».

Но двое других преосвященных, Гавриил петербургский и Амвросий крутицкий, подали особое мнение: «Принять раскольников и содержать без всякого притеснения можно только на таком основании, как здешние записные раскольники содержатся. А чтоб позволить им на все то, чего они требуют, а именно: допустить им строить церкви особые, держать попов своих, иметь старопечатные книги и при тех же обрядах жить, как они поныне за рубежом живут, того позволять предосудительно. Синкретизм, или допущение разных вер в самодержавное государство, от всех умных людей за вред оному почитается, потому что ничто так не обвязует подданных к своему государю, как единоверие с ним; вопреки же разность в вере за весьма опасну поставляется. Чего избегая, многие государи у себя возникших разноверцев всячески истребляли и истребляют. Ежели допустить им церкви особые строить и попов особых иметь, то и архиереев особых же допустить следует, которые не захотят от нас святиться, и потому раскольники начнут или беглых извергов наших принимать, или сами ставить. И так церковь в России может раздаться надвое. Еще в рассуждение приходит и сие: не кроется ли здесь какой обман и не подают ли поводу им, заграничным, наши домашние раскольники домогаться таких кондиций и привилегий? Ибо, чтоб заграничным возвращаться в Россию, нужды крайней не предвидится для того, что они там всякую свободу имеют и, как хотят, так веруют и живут. Правда, что в Российской империи инославным христианским религиям кирхи публичные, так и магометанам свои мольбища иметь дозволяется; но то раскольникам не в пример, ибо от тех нашим православным никакого повреждения не происходит».

Трудное дело остановилось, но путь к так называемому единоверию уже был проложен. 15 сентября Сенат и Синод имели общую конференцию по вопросу, изложенному в именном указе: так как в указе о ревизии не определено о потаенных раскольниках, какой им платить оклад, для того иметь Сенату рассуждение в общей конференции с Синодом. Синод объявил, что определение оклада для раскольников есть дело светское и потому предоставляется Прав. Сенату, с тем, однако, что тех, которые православной церкви не чуждаются и принимают таинства от православных священников, а только крестятся двоеперстным сложением, от входа церковного и таинств не отлучать.

По докладу комиссии о духовных имениях учреждена была снова коллегия Экономии духовных имений, которая должна была управлять духовными вотчинами, устраивать хозяйство, увеличивать доходные статьи, собирать денежные и хлебные сборы, содержать утвержденные штаты архиерейским домам, монастырям и прочим духовным местам, содержать штаты большим по епархиям и малым по монастырям училищным домам, довольствовать деньгами и хлебом инвалидные дома, по скольку куда определено, и самих инвалидов содержать в послушании. Президентом новой коллегии назначен гофмейстер князь Борис Куракин.

Мы видели, что один из Орловых, граф Федор, был назначен в Сенат навязывать тамошним делам; другой видный деятель в событии 28 июня, Григор. Александр. Потемкин, был назначен с тою же целию в Синод.

Переводом монастырских крестьян в управление коллегии Экономии надеялись прекратить волнения между ними. Думали, что подобная же мера – перевод горных заводов с приписными крестьянами из частного в казенное владение – также прекратит волнения, но здесь это труднее было сделать: нельзя было отобрать все заводы у частных владельцев, и потому надобно было употреблять и другие меры, тем более что волновались не одни заводские крестьяне. По доношениям князя Вяземского оказалось, что приписка крестьян к заводам производилась пристрастно, в угоду владельцам заводов: крестьян приписывали на выбор не по селам и деревням, но по домам и выборным людям, включая одних годных к работе, отчего произошло великое неравенство и отягощение крестьянам; расчисление дней рабочих со днями, оставляемыми для земледелия на прокормление крестьянам себя и семей своих, так худо уравнено, что крестьянам произошла отсюда наибольшая тягость; работы так велики, что крестьянин в один день никак не может отработать своего урока ни пеший, ни конный; плата крестьянам должна производиться зачетом в подушный оклад за все в перепись положенные души, а производится только написанным годными в работу, отчего крестьянам великое неуравнение, страшная тягость и разорение; наконец, приписные крестьяне живут иногда очень далеко от заводов, верстах в 400, и в нарядках из таких далеких мест работникам круглый год великая потеря времени, заводам прибыли нет, а крестьянам крайнее разорение. Поэтому Берг-коллегии велено было объявить всем заводчикам, что крестьяне не сами собою возмутились, но по простоте своей поверили людям злоумышленным, которые и наказаны; а так как и крестьянам было большое отягощение, так что равенство между работою и платою за нее совсем потеряно, то они, держатели заводов, не могут теперь взыскивать с крестьян всех своих убытков, а должны с ними войти в некоторый примирительный договор, потому что и для самих держателей заводов не полезно, чтоб крестьяне, приписанные к заводам, совершенно были разорены.

Мы видели, что волновались не одни заводские крестьяне и не на одной восточной Украине. Весною пришло известие, что в Уфимском уезде взбунтовались крестьяне Тевкелева; они были усмирены, были указаны 14 человек главных возмутителей из крестьян и один отставной живший в тех местах солдат. Сенат велел этих возмутителей наказать по воле помещика и отдать ему опять в крестьянство, а солдата бить плетью публично и нещадно. Но в середине года узнали, что в Новгородском уезде Бежецкой пятины крестьяне духовника е. и. в. Дубянского, князей Мещерских и других помещиков числом до 600 человек возмутились и в послушание не приходят, вступают в бой против посланной на них команды. Мы видели из донесений Вяземского, как чиновники наживались на счет крестьян, особенно инородцев. Но кроме Вяземского, имевшего поручение непосредственно от государыни наведываться о лихоимстве и прямо доносить ей, в Казанскую губернию отправлен был подполковник Свечин для осмотра дубовых рощей и доносил Сенату, что государственные крестьяне терпят обиды и разорения от вальдмейстеров, канцелярий и от посылаемых по разным делам чиновников. Эти обиды и разорения состояли в том: 1) Вальдмейстеры собирали

ежегодно от 3 до 6 коп. с души, а лесные сотники по рублю с деревни. 2) Посылаемые от канцелярий приказные и солдаты для сбора во время урожая хлеба, для взятия сказок и объявления разных указов брали по копейке и по две с души, а с деревни по рублю и больше. 3) При подаче сказок в канцеляриях во время платежа подушных денег, о наблюдении за корчемством, ворами и разбойниками каждая сказка становилась по два и по три рубля с деревни, а без того подушных денег не принимали. 4) Во время подушного сбора на офицеров и приказных собирается в каждую треть по 10 и 15 коп. с души. 5) За печатные паспорта берут по 50 коп. с каждого. 6) На идущие вверх по Волге с медью суда берутся люди в работу по большому числу бесплатно. 7) Посланные из канцелярии берут подводы и харчевой припас бесплатно, а хотя этим проезжим до обывателей никакого дела нет, однако объявляют на того или другого записки, страшат следствием, и так как обыватели неграмотные, ничего не понимают, то оплачиваются деньгами. Сенат приказал: для чего это делать допускается, о том для положения штрафа Казанской губернской канцелярии прислать ответ и показать особливим экстрактом, от кого именно жалобы на обиды в канцелярию вступили в прошлом и нынешнем году и чем просители удовольствованы; если же нет решения, то за чем дело остановилось?

На Западе крестьяне по-прежнему стремились за польский рубеж. Новгородские помещики подали доношение, что из деревень их в продолжение многих лет по подговору беглого рекрута Гаврюшки, выходящего из-за польского рубежа, бежало немалое число крестьян их и дворовых людей, а в нынешнем 1763 году по его же подговору ушло не менее ста семей, в которых было до 500 душ обоего пола. Сенат приказал назначить 300 рублей награды тому, кто найдет Гаврюшку. Мера была частная, успех ненадежен. Хотели исследовать причины зла и указать надежные средства против него. Петр Ив. Панин подал мнение о средствах пресечь побег за границу; он указывал следующие причины: 1) строгость духовенства и разные как от него, так и от светского начальства корыстные приметки к раскольникам; 2) рекрутские поборы из ближних границ селений и привычка у некоторых помещиков продавать в рекруты от целых семей за посторонние, а не за свои уже деревни и без всякого внимания к огорчению и разорению остающихся семейств, в которых отдачу в рекруты почитают за убийство и вечную разлуку; 3) чрезвычайно дурное содержание рекрут до отправления к полкам и тяжкие корыстные к ним придирки; вместо того чтоб этих людей, огорченных разлукою с своими, всячески приманивать к службе, их обидают и употребляют в частные работы; в самых столицах зимою прежде набирали рекрут, чем приготавливали им квартиры, и набираемые рекруты зимою принуждены были день проводить на дворе в стуже, а ночь в торговых банях в жару, а семействам их было это горестнейшим зрелищем и примером, что готовится их детям при будущих наборах; 4) ничем не ограниченная помещичья власть, причем неумеренная роскошь заставляет собирать с подданных подати и употреблять в работы не только более тяжкие, чем за ближайшею границей, но и превосходящие силы человеческие; 5) возвышение цен соли и вина и затруднения при продаже их без обращения внимания на то, что за границей эти предметы дешевле и продажа вольная; 6) от вкоренившегося лихоимства неправосудие и нерадение к общему делу, особливо в отдаленных областях; 7) выбор городских начальников для пользы посылаемых туда особ, а не для пользы поручаемых им

дел. Издан манифест о прощении беглых и о призыве их к возвращению, о вызове иностранных поселенцев, о вызове раскольников. Но в соседних государствах довольно разгласилось, что в русских судебных местах приходящим с пустыми руками двери не отворяются: так, для привлечения переселенцев надобно отдать их в особенное попечение кого-нибудь из министров или сенаторов – одному иностранцев, другому раскольников, и об этих лицах объявить в иностранных землях, чтоб желающие переселиться могли прямо к ним обращаться за помощью и защитой. На возвращающихся раскольников положить по 2 рубля 70 коп. в год, разделяя платеж по третям. За нежелающих возвратиться к помещикам платить по 100 рублей за мужскую душу, и то только за тех, которые сами бежали, а не отцы их и деды. С деревень и городов, лежащих близ границы не далее 70 верст, рекрут в натуре не брать, но брать за каждого рекрута по 100 рублей и употреблять эти деньги на вербование в гусарские полки вольных людей. Запретить варварский обычай продавать помещикам своих крестьян в рекруты за чужие деревни для ненасытной роскоши, позволить продавать крестьян только целыми семьями. Издать новый государственный закон с наиспособнейшими распоряжениями для совершенного приласкания вновь набирающихся поселян в солдатскую службу и к лучшему утешению разлучающемуся с ними их семейству. Сочинить примерное на все государство положение крестьянским для помещиков работам и податям не для издания к содержанию того во всем государстве, но ради секретного предписания всем губернаторам: в случае когда крестьяне побегут от помещика целыми селениями или семьями или возмутятся, то команды для усмирения и сыску крестьян по требованию помещиков беспрекословно отправлять; но губернаторы при этом должны надежным людям поручать разведывать в тех местах, как эти помещики владели своими крестьянами, и, соображая полученные известия с упомянутым генеральным примерным положением и с обыкновенною надлежащею строгостию в отношениях помещиков к крестьянам, если найдут, что помещики вышли из пределов умеренности, таких призывать в губернские канцелярии и объявлять, чтоб они вперед отнюдь не выступали из примерных положений, и если от их подданных дойдут до правительства жалобы, то деревни у них будут взяты под коронное управление, а потом губернаторы должны за такими неумеренными помещиками особенно надзирать и о невоздержных представлять Сенату. Помещики не должны требовать от крестьян более четырех рабочих дней в неделю и в сутки взыскивать с крестьянина, чтоб он или вспахал доброй земли десятину, или накосил сена три копны, или нарубил однополенных дров полторы сажени, не более; величина же оброка не должна превышать двух рублей. Наконец, когда будут избираться люди в пограничные градоначальники, то кроме особенных способностей надобно обращать внимание и на хорошее по европейскому обычаю воспитание.

Мнения эти не могли облегчить разрешение тяжелого вопроса. Екатерина знала причины печального явления и напряженно, как увидим, думала о их устранении, но помощи не находила. Легко было сказать, что надобно издать постановление о том, как бы приманить рекрут к службе и для семейств их сделать разлуку с ними не столь тяжкою, но в чем должно было состоять это постановление – не говорилось. Люди, которые считали себя образованными и требовали этого образования от других, должны были знать, что еще по указу Петра Великого у помещиков, притеснявших и разорявших своих крестьян,

отнимали их. Дело было не в указах, а в их исполнителях, которых не было, образования которых надеялись еще в будущем, а между тем комиссия о вольности дворянства отстраняла вопрос о содействии дворян правительству, об обязанностях неслужащих землевладельцев, толкуя о необходимости для русского дворянина служить в разных иностранных государствах, служить, по словам старой песни, «в семи ордах семи королям», толкуя, что благодаря воспитанию честь так развита, что заставляет служить и без других побуждений, тогда как воспитание было только в зародыше и ничего еще развить не могло; а между тем старший член комиссии требовал беспредельной власти помещика над крестьянами, да и в мнении Панина, который резко выставлял вред этой беспредельной власти, рекомендовалось *секретное* примерное постановление о том, чего должен требовать помещик от крестьянина!

Екатерина выслушивала все мнения и убеждалась все более и более, что полезные меры для улучшения народного быта могут быть приняты только в связи друг с другом, при общем устройстве государственного организма, причем должны быть выслушаны не отрывочные мнения того или другого отдельного лица, но мнения всех заинтересованных частей. Но пока этот план всесловной комиссии нового Уложения зрел в голове воспитанницы европейской политической науки XVIII века, самолюбие владычицы могущественного государства не могло переносить того, что соседнее слабое государство безнаказанно позволяло себе постоянно уводить часть населения у сильного соседа, издеваясь над его жалобами и требованиями. В августе Сенат получил указ императрицы: в Польше многие русские укрываются и в областях ее и. в. производят великие разбои; поляки на наши жалобы не обращают никакого внимания, подговаривают к побегу, насильно удерживают беглых и не выдают разбойников. Сенат в Москве подавал доклад, чтоб в Польшу и Литву послать нарочно и скрытно воинские команды для забрания разбойников и беглых. Подобное представление сделано было ее и. в-ству и прежде, но тогда императрица велела обождать, чтоб не разорвать соседственную дружбу, теперь же ее и. в. видит, что снисхождение и умеренность обращаются во вред и разорение подданных ее, и потому соизволяет на посылку команды. По этому указу отправился за польскую границу генерал-майор Маслов с отрядом; 7 октября он возвратился и привел беглых мужеского пола 1015, женского 512, всего 2027 душ. Но в том же месяце внутри России был пущен в народ фальшивый указ императрицы в Сенат: «Время уже настало, чтоб лихоимство искоренить, что весьма желаю в покое пребывать, однако весьма наше дворянство пренебрегают Божий закон и государственные права и в том много чинят Российскому государству недобро. Прадеды и праотцы Российского государства, монархи, их жаловали вотчинами и деньгами награждали, и они в том забыли, что во истину дворянство было в первом классе, а ныне дворянство вознеслось, что в послушании быть не хотят, тогда впредь было в России, когда любезный монарх Петр Великий царствовал, тогда весьма предпочитали закон Божий и государственные права крепко наблюдали. А ныне правду всю изринули, да и из России вон выгнали, да и слышать про нее не хотят, что российский народ осиротел, что дети малые без матери осиротели. Или оным дворянам не умирать, или им пред Богом на суде не быть? Такой же им суд будет, его же меру мерите, возмерится и вам. Екатерина».

С конца 1761 года шло дело о новой ревизии. Екатерина так рассказывает о решении этого дела: «Возвратясь в Петербург в июне месяце 1763 года, спустя несколько времени поехала я в Сенат. Слушали дело о новой ревизии, которой двадцатилетний срок настоял, потребовали от меня повеления нарядить ревизоров по всей империи и бессчетные воинские команды; считали, что менее 800000 рублей ревизия не станет. Сенаторы в разговорах между собою упоминали о бесчисленных следственных делах, которые ревизия за собою повлечет, о побегах в Польшу и за границу ревизских душ, о ущербе империи от всякой ревизии, почитая, однако ж, все ревизию за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говорили. Господа Сенат наконец, устав говорить, замолчали, тогда я спросила: на что таковой наряд войск и тягостные суммы для казны? Нельзя ли иначе? Мне сказали: так делывалось прежде. Я на сие ответствовала: а мне кажется вот как: публиковать по всей империи, чтоб каждое селение послало о наличном числе душ реестр в свою воеводскую канцелярию, чтоб канцелярии прислали в губернии, а губернии в Сенат. Человека четыре сенаторов встали, представляя мне, что прописных будет без числа. Я им сказала: поставьте штраф на прописных. Паки представляли, что за всеми уже положенными жестокими наказаниями многое множество прописных есть. Тогда я им говорила: простите всех до днесь прописных по моей просьбе и велите селениям прописных донныне внести в нынешние ревизионные сказки. Здесь князь Я. П. Шаховской, разгорячаясь, сказал: тут правосудие нарушается и винные будут наравне с невинными. Я ревностно объявлял, и у меня прописных нет, а кто пользовался прописными, тот станет со мною наравне. Генерал-прокурор был тогда Александр Ив. Глебов. Он, слыша у своего стола сей разговор и видя горячность кн. Шаховского, вскочил с своего стула и, пришед ко мне, просил меня, чтоб я ему сказала, как мне угодно, чтоб ревизия сделана была, что мне весьма легко было. Он все то записать велел и выработать взялся, что и выполнил, и до днесь ревизии так делаются в каждом уезде без наряда и убытка, прописных нет, и об них не слышно».

В сенатских протоколах дело записано под 10 февраля, следовательно, в Москве, а не по возвращении двора из нее. В присутствии императрицы слушано о начатой вновь в 1761 году ревизии дело, по коему значится, что в 1761 году декабря 20-го опубликованными от Сената во всем государстве указами велено о числе душ собрать сказки по посланным из Сената при указах формах в губернских провинциальных и воеводских канцеляриях при платеже подушных денег от публикации тех указов в 5 месяцев, *а нарочных ревизоров не посылать*, которых сказок несколько уже и собрано; а как потом Прав. Сенату известно стало, что в городах от канцелярий происходили непозволительные великие сказкоподателям приманки, затруднения и тягости, то в уважение сих обстоятельств 1762 года июля 31-го Сенат взятие сказок с тех, кто еще не подал, остановил впредь до указу; но как окончание ревизии весьма есть нужно, то ее и. в-ство повелела подачу сказок оканчивать и учинить следующее: 1) Чтоб сказкоподатели ни малейшей тягости не чувствовали, то вольно, написав сказку, подать самому или послать, запечатав и написав на пакете на имя губернатора или воеводы, и, чтоб не было ошибки, разослать печатные листы безденежно по всем церквам для раздачи обывателям, и, кто пожелает купить по 8 листов на копейку, те деньги священники могут употреблять на церковные потребности. 2) Кто утаит, с

такovým поступать наистрожайшим образом: помещика лишать всех чинов и из числа честных низвергнуть, с прикащиками и старостами поступать по указам.

Не выпустить платящего и рабочего человека за границу, не пропустить в ревизии, возвратить беглого, призвать добровольного колониста – все это для того, чтоб увеличить число плательщиков, наполнить скудную казну государственную. В феврале императрица писала Глебову: «В Риге генералитет не имеет уже месяцев десять жалованья; рядовые солдаты иные по осьми, а иные по шести месяцев ничего не получали. Жалобы происходят великие, да и хорошего послушания требовать не можно, если солдат служит без жалованья. Многие офицеры, отправленные к отставке в Россию, не получив ни полушки заслуженного жалованья, уезжать оттуда принуждены».

Не получали старого жалованья, а между тем признано было необходимым увеличить жалованье чиновникам, чтоб не было оправдания лихоимству. Сенат получил указ: сыскать на штаты денег полтора миллиона рублей. Прежде было решено сбавить еще по гривне с пуда соли, и Сенат придумал, чем вознаградить этот убыток, но теперь эти новые доходы пошли на штаты, а соль должна была продаваться по прежней цене – по 40 коп. пуд. Кроме того, Сенат определил на штаты следующие сборы: 1) С продаваемого из кабаков вина – по 30 коп., с пива и меда – по 5 коп. на ведро, что по сложности с 1750 по 1761 год должно было составить 452565 рублей, от пива и меду – 182557 рублей, итого 635122 рубля, ибо «та продажа, – говорил Сенат, – вольная, к народному отягощению не касающаяся». 2) С поборов при явке крепостей, с земли – по 3 коп. с четверти, также с пошлин при письме и совершении крепостей. 3) С явки пив и полпив. 4) С гербергов (гостиниц). 5) С векселей. 6) С челобитен. 7) С переобращения вновь по высшим ценам амбаров, лавок, кузниц и прочих оброчных мест. 8) С фабричных станов. 9) С заводских домов. 10) С увеличенной пошлины с покормежных паспортов. II) С патентов. 12) С дипломов. 13) С вечных памятей. 14) С заклеяния кубов. 15) С переобращения мельниц. 16) С прибылых пошлин с потаенных раскольников. 17) Со взятия клея в казенную продажу. 18) Две копейки с рубля, платимые при отдаче подушных денег на жалованье находящимся при сборе лицам, должны идти также на штаты. 19) С увеличения цены на гербовую бумагу, которая должна продаваться вдвое дороже.

Следствие этих указаний Сената 15 декабря издан был манифест о новых штатах: «К крайнему нашему огорчению и прискорбности, из повседневных обстоятельств принуждены мы видеть, что многие наши верноподданные от разных судебных правительств, а особливо в отдаленных от резиденции нашей местах, не только не получают в делах своих скорого и справедливого по законам решения, но еще от насилия и лихоимства или, лучше сказать, от самых грабежей во всеконечное разорение и нищенство приходят. Правда, хотя к прекращению сего еще с самых времен государя Петра Великого деланы были по состоянию тогдашних обстоятельств некоторые учреждения, и потому и все строгости законов употребляемы были, но недовольно произошли желаемые успехи. Частию видится оттого, что не всегда с надлежащим и прилежным рассмотрением определялись судящие к местам без всякого знания и способности, коими потому и действовали их подчиненные, частию ж и оттого, что со всем люди не только с некоторым достатком, но ниже, имея дневное пропитание, отсылались к делам, не получая притом никакого жалованья, и немного лучше, как бы неимущие в

богадельне для одного только пропитания, а не для исправления дел; и, поистине сказать, казалось, что всякий живет только для себя, не помышляя о добре общем. Мы находим ко истреблению упомянутой гибели справедливейшее и ближайшее средство: все судебные места наполнять достойными в знании и честными людьми; а чтоб прямо таковых иметь, то необходимо нужно дать им к безбедному пропитанию по мере каждого довольное жалованье, вследствие чего мы не только коллегиям и канцеляриям, но губерниям, провинциям и городам по состоянию каждого места и входящих в оные дел постановили и утвердили штаты».

Новые штаты не позволили уменьшать цену соли, относительно которой Сенат подал доклад, что пермская соль в казну приходит дешевле, да и народ охотнее ее употребляет, чем элтонскую; баронам Строгановым и Пескорскому монастырю в Нижнем выдается 8 1/10 коп., и более из казны никаких расходов не бывает, содержится соль в их магазинах за их усушкой и утечкою, а элтонская соль ставится и содержится совершенно на казенном коште, и по сложности за поставку до Нижнего элтонская и илецкая соль пришлись по 17 коп. пуд. Поэтому пермским промышленникам платить по 10 коп. за пуд, с тем чтоб они построили пильные мельницы своим коштом, и возили соль на судах, сделанных из пильного, а не из топорного тесу, и ставили бы соль, не определяя количества, а сколько могут. Соляная контора умножает поставку той соли, которая обходится дешевле, и когда контора усмотрит, что поставку пермской соли надобно уменьшить или вовсе прекратить, то дает знать промышленникам за год до наступления нового заvara; равно если промышленники пожелают уменьшить поставку, то должны об этом давать знать в контору за год, чтоб можно было запастись другою солью. Здесь подле элтонской соли поставлена илецкая. Медицинская канцелярия объявила, что по испытании в солении мяса и рыбы илецкая соль оказалась хорошего качества. Оренбургский губернатор Волков представил, что эта соль считается лучшею в мире; но Главная соляная контора донесла, что илецкая соль явилась в больших и мелких глыбах вся в пыли, а на некоторых глыбах грязь и сор и часть песку, который и отделить начисто от соли нельзя, и из мелкой соли выбрать сору также нельзя. Сенат потребовал, чтоб соль была прислана к нему на пробу, и приказал Волкову ехать на то место, где соль ломается, и осмотреть, в каком она состоянии, сама ли собою нечиста или дурной вид ее произошел на пути от небрежения.

В тесной связи с финансовыми вопросами находился вопрос о торговле. Взгляд свой на торговлю Екатерина высказала в письме к Ив. Ив. Неплюеву из Москвы от 10 июня: «Таможенные откупщики жалобу приносят на стат. сов. Яковлева о вымышляемом притеснении не токмо им, откупщикам, но и всей коммерции: которому (т.е. Яковлеву), однако ж, с товарищи не иначе надсмотр над ними поручен, как с тем нашим повелением, чтоб он поступал, не разрушая благосостояния коммерции; вы сами знаете, что коммерция по большей части процветает вольностию и свободою и что нашего никогда намерения не было такие строгости в сие откупное коммерческое дело вводить, чтоб одни тут приказные порядки наблюдаемы были; но главный предмет наш тот, чтоб таким или другим образом только б интерес наш, положенный на откупщиков, в казну нашу доходил, а в порядках, каковые оными откупщиками учреждаются для сборов, отнюдь им, яко знающим торг и купечество, помешательства не делать. Коммерция есть дело по натуре своей такое, что одного часа непорядочным

учреждением кредит ее повреждается, который многими годами трудно напоследок бывает восстановить. Сего ради изволите сие дело в конторе Сенатской немедленно рассмотреть». Но, несмотря на то что в данном случае Екатерина считала необходимым оказать защиту таможенным откупщикам, вообще она была против откупной системы. Сенат доложил о карачевском купце Сулове, что он желает взять на 6 лет на откуп продажу иностранных и русских игральных карт с платежом в казну каждый год по 60000 рублей. Екатерина заметила: «Черт его возьми с откупом: всех купцов тревожите, и скажут, что в Сенате есть склонность к откупам». В конце года дан был указ Неплюеву, князю Якову Шаховскому и графу Миниху, чтоб они рассмотрели коммерцию Российского государства и купечество, а так как по важности этой комиссии и сама императрица в ней бывать будет, то комиссия должна состоять в единственном ведении и покровительстве ее и. в-ства. Делопроизводителем был назначен Теплов. Нашли нужным назначить консула в Польшу, и Сенат определил смоленского мещанина Давыдова; по примеру консулов, назначаемых в Персию, Сенат назначил Давыдову жалованья 500 рублей в год да в прибавок с купечества 1500 рублей. Екатерина написала на докладе: «Помнится, что купечество астраханское само консулам в Персии определило жалованье, к тому от нас прибавкою 500 рублей, а тако и ныне купечеству на волю отдать, сколько оно Давыдову определить похочет, а надобны ли ему два или только один подьячий, чтоб миновать напрасных убытков». Консулом в Персию назначен был по просьбе московского и астраханского купечества симбирский купец Илья Игумнов, другого консула туда же Сенат велел также выбрать московскому и астраханскому купечеству. В Сенате происходил спор: хотели увеличить число медных денег, но князь Яков Шаховской был против этого увеличения. Императрица написала: «Я не могу согласиться с мнением кн. Шаховского о медной монете и не могу признать, чтоб описанные им вредности столь важны были, для которых бы медную монету не умножать весом по 16 рублей из пуда, а до надлежащей пропорции по числу обитателей в нашей империи, понеже всем известно, сколь мало еще в народе денег, а особливо медных, хотя б исчислить и со времен царя Алексея Михайловича, то ни по пяти рублей на всякого человека, живущего в империи нашей, не придет. И то не великая беда, буде бы из города в город партикулярные люди перестали деньги возить возами, а переводили б чрез вексели, к чему потребны по разным местам большие государственные банки, банков же без большого числа денег учредить не можно, и банк не что иное, как верное хранилище денег. Дурное же пред сим учреждение в государстве нашем медных банков не может служить примером, понеже худой пример не закон, но законы должны истреблять оный, а Прав. Сенат, как хранилище законов, не допустит до вреда, сверх того, и я еще жива».

Затруднительное положение финансов заставило с особенным удовольствием принять проект Бецкого об основании в Москве Воспитательного дома как учреждения, которое должно было содержаться на добротные пожертвования. Князь Як. Шаховской, Панин и граф Миних (действ. тайн. советник), рассматривавшие и одобрявшие проект, прежде всего выставили, что «основание и содержание оногo дома учреждается на едином самоизвольном подаянии от публики и потому не может быть ни в малейшее отягощение штату в. и. в-ства, ниже подданным вашим». При заботе о детях надобно было позаботиться и о

взрослых. Генерал-прокурор Глебов объявил Сенату, что в Петербургском генеральном гошпитале больных 671 человек и между ними более двух частей одержимы франц-венерию, которую получают от непотребных женщин. По мнению Глебова, надобно было ко всем воинским командам послать указы: которые из воинских чинов в этой болезни найдутся, таких допрашивать, от кого ее получили, и тех женщин велеть сыскивать, осматривать и, если найдутся одержимы тою болезнию, лечить их на казенный счет, а по излечении отсылать в Нерчинск на поселение или в другое место, солдатских жен отдавать мужьям с расписками и подтверждением, чтоб их содержали и до непотребства не допускали, а помещичьих и прочих посылать к их владельцам. Сенат согласился с этим мнением, прибавив о крепчайшем наблюдении, чтоб женщины не были напрасно оклеветаны. Для усиления медицинских средств в конце года учреждена была особая Медицинская коллегия, первым президентом которой был отставной гвардии капитан барон Александр Черкасов.

Обычное русское бедствие не замедлило потребовать забот от нового царствования. 22 апреля сгорела Старая Руса. 12 мая пожар истребил Тверь: сгорело обывательских дворов 852, людей 33 человека; сгорели: канцелярия, дворец, острог, архиерейский и воеводский дома. Сенат распорядился выдать погоревшим 100000 рублей на десять лет без процентов да на 100000 рублей заготовить из казны же материалов для каменного строения; эту сумму – 200000 рублей – наделать медною монетою в прибавку к прежде определенному числу по 16 рублей из пуда, отчего казне никакого убытка не последует. Подушных денег с погоревших не взыскивать три года; кто работать не в состоянии, тем выдать хлеба безденежно; в городе строить дома каменные только по плану, а в предместии и деревянные, только чтоб между домами были сады, огороды или переулки, как в городе, так и в предместии оставить пустые места для площадей. Для распоряжений по этому возобновлению Твери отправился туда Бецкий. 25 июня сгорела Устюжна.

Больших забот требовали украины. Жалобы на притеснения, претерпеваемые сибирскими инородцами, не переставали в продолжение 150 лет, почти в каждое царствование в одних и тех же выражениях заявлялось об этих притеснениях. Такое же заявление получил Сенат 6 февраля в именном указе: «Известно нам, что во всей Сибирской губернии и Иркутской провинции положенный ясак с тамошних жителей с крайним отягощением и беспорядком собирают или, справедливее сказать, посылаемые для сбора ясака сибирские дворяне, козаки и дети боярские не настоящие положенные ясаки в казну нашу собирают, но бессовестным образом всех таковых безгласных и беззаступных ясачных, как-то: якутов, тунгусов, чукч, братских козаков (бурят) и прочих народов грабят и до конца разоряют». Для отвращения всех упомянутых вредностей Сенату повелевалось отправить в Сибирь гвардейского капитана Щербакова.

С 1736 года введена была римская система, учреждено поселение отставных унтер-офицеров и рядовых в Казанской губернии по Закамской линии и в пригородках: Новошашминску, Заинску, Тиинску. В описываемое время оказывалось, что поселенцев было 1477 человек, при них детей одного мужеского пола 3489 душ, поселенцы жили на выгодных, плодородных землях, пользуясь ими без всяких податей. Теперь на тех, которые жили там более 5 лет, наложена была обязанность: каждые десять дворов должны были построить двор для

новоприбывающих поселенцев для большего приохочивания последних, чтоб они по приходе не бродили праздно и не тратили время. В каждой слободе не должно быть более 100 дворов; новоприбывшему отводится земля в количестве от 20 до 30 четвертей и два первые года дается солдатский провиант; кроме того, для обзаведения дается рожь, овес и по 8 рублей денег; но деньги в руки не давались, а велено было из поселенцев же быть выборным надежным людям, которые и должны покупать все нужное для обзаведения. Детей поселенцев не велено было брать в рекруты и вносить в подушный оклад, «чтоб в поселении своем лучше укрепиться и экономию свою утвердить могли». На том же основании решено было устроить поселения в Сибири, и так как там еще никого не было, то дома для поселенцев велено строить от казны.

Мы видели, что Екатерина решила вызвать иностранных поселенцев, и видели, что Петр Ив. Панин советовал назначить особых доверенных людей для заведования устройством колонистов, иначе будет мало охотников переселяться вследствие дурных слухов о правосудии в России. Именным указом Сенату от 22 июля учреждена была Канцелярия опекунства иностранных и президентом ее был назначен генерал-адъютант и действ. камергер граф Орлов (Григорий). Иностранные поселенцы, приехав в Россию, должны были явиться в эту канцелярию и объявить – хотят ли записываться в купцы, мещане и цеховые или селиться колониями и местечками на свободных и выгодных для хлебопашества землях. Все они имеют свободное отправление веры по их уставам и обрядам; в своих отдельных колониях могут строить церкви и колокольни, иметь потребное число пасторов и прочих церковнослужителей, только не могут строить монастырей. Они ни под каким видом не могут привлекать к своему исповеданию других христиан, живущих в России, но могут обращать в христианство магометан и делать их себе крепостными. Поселенцы свободны от всяких податей, служб и налогов – земледельцы на 30 лет, горожане, записавшиеся в Петербурге и местах, приобретенных по Ништадтскому миру, также в Москве, на пять лет, а в других городах на 10 лет. Каждому давалось вспоможение деньгами без процентов с уплатою в три года, и то по прошествии 10 лет. Поселившимся особыми колониями и местечками оставлялась внутренняя юрисдикция в их благоучреждение, русские начальники во внутренних распорядках колонистов никакого участия не имели.

В то время как учреждалась Канцелярия опекунства иностранных, надобно было изменить управление славянскими колонистами, населившими при Елисавете Новую Сербию. Знаменитый выводчик колонии Хорват позволил себе разнuzдаться на украине. Мы видели, что сначала жалобам на него не хотели верить в Петербурге, но еще при Елисавете должны были нарядить следствие. При Петре III 21 марта учреждена была комиссия по делу Хорвата; рассказывают, что в это время большими подарками знатым лицам он успел остановить дело, но при Екатерине оно опять началось. Нашли, что он употребил в противные указам расходы 64999 рублей казенных денег, и деньги эти велено возвратить в казну чрез продажу его имения; от управления делами новосербских поселений Хорвата, разумеется, отрешили, и на место его был назначен, как мы видели, генерал-поручик Мельгунов, на помощь которому был придан бригадир Зорич как человек, знающий нравы и обычаи поселенцев. Мельгунов был поставлен, однако, под главное начальство киевского генерал-губернатора; что же касается военных

дел, то новосербскому корпусу, как людям воинского звания, велено быть под ведомством Военной коллегии. Так как число выходцев из указных народов (сербского, болгарского, волошского и македонского) оказалось невелико, то велено принимать возвращающихся из Польши беглых, как малороссиян, так и великороссиян и всякой народности людей, «дабы тамошние пустые места, как по пограничности нужные, сколько возможно, настоящим кордоном заселить и умножить».

Запорожье и Дон были спокойны, но старая козацкая жизнь с ее обычаями и притязаниями, видимо, отливала от запада к востоку, и начинались движения на далеком Яике. В самом начале года в Яицком городке под дирекциею генерал-майора Брахвельта учреждена комиссия для исследования о поступках атамана Бородина, который обвинялся в излишних денежных сборах с козаков и в удержании у них денежного жалованья, пороха и свинца; комиссия должна была исследовать также о своевольствах старшины Логинова, который позволял себе развратные и непристойные толкования посылаемых к Яицкому войску указов. Дело началось вследствие жалобы, поданной козаками императрице на Военную коллегию. Но в то же время султан меньшей киргизской орды прислал просить канцлера, нельзя ли сменить Бородина и на его место позволить Яицкому войску выбрать доброго и умного человека. Когда в степях узнали о смене Бородина, то в Москву явилось двое яицких козаков с письмом к канцлеру от того же киргизского султана. «Некоторые просьбы наши, – писал султан, – приняты, Андрей Бородин отставлен, чем я много доволен; но слышу, будто получен из Военной коллегии указ быть атаманом одному старшине из команды мужика и пришлеца атамана Могутова; но Яицкое войско с зачатия Яицкого городка от 40 козаков выбирало атамана всегда между собою; козаки за великую себе обиду и поругание будут считать, если их отдадут в команду Могутову, да и брат мой, и я, и весь киргиз-кайсацкий народ будут этим недовольны. Я, услыша о разорении Яицкого войска и о горьких слезах его, не мог не донести вашему сиятельству, дабы оное войско удовлетворено было». Когда канцлер препроводил письмо к императрице, то она написала: «От оных козаков мне подана челобитна, в которой прописывают нарушенья их прав и вольностей от Военной коллегии, и я о сем уже писала к президенту: только сумнительно весьма, что киргисцы об них просят».

Екатерина думала, что русских сил на восточной Украине недостаточно, чтоб страхом держать степные народы в повиновении, и потому писала канцлеру: «Михайла Ларионович! Оренбургский губернатор, между прочим, ко мне пишет о чинимых в пути до Оренбурга иностранным купцам от киргизского народа остановках и притеснениях: и тако прикажите коллегии, чтоб она не умедля употребила с оным киргизским народом пристойные средства, коими бы такие чинимые обиды и притеснения отвращены были». А потом прибавила: «Всего лучше бы с ними договариваться, дабы они хоть за деньги проводили безопасно караваны».

Кроме киргизов беспокоили и калмыки. Вдова известного нам хана Дундука-Омбы в царствование Елисаветы приняла крещение с троими сыновьями и названа Верою. В 1762 году она стала проситься в вредные степи, выставляя свою старость и нездоровье; но прямо в степи ее не отпустили, а позволили жить с сыном Алексеем в Енотаевске, причем надзирававшему над калмыками бригадиру Бехтееву было приказано не пускать ее в калмыцкие улусы, также смотреть, чтоб

она не сносилась с калмыцкими попами и не держала их при себе. Бехтеев донес, что калмыцкие попы находятся при княгине с самого ее приезда в Енотаевск, и, судя по калмыцким обрядам, которые происходят в ее доме, он сомневается, твердо ли она держит православную христианскую веру, хотя на первой неделе Великого поста она и говела, но со второй недели и даже на Страстной неделе ела мясо. Екатерина написала на донесении: «Когда княгиня Дондукова жила в Кадетском корпусе с сыновьями, она всегда ела мясо, и доктора того корпуса знают, что она рыбы есть не может; итак, надлежит весьма осторожно быть, чтоб не конфондировать закон с тою политикою, которую они, может быть, употребляют для приласкания калмык». Но когда Бехтеев дал знать, что из Енотаевска распушен слух, будто князь Иона Дундуков скоро привезет указ – быть матери его, княгине Вере, главною правительницею всего калмыцкого народа, сыну ее Алексею – ханом, а настоящий наместник ханства Убаша останется только при своем наследственном улусе, что кабардинский владелец Касай с сотнею черкес намерен приехать к княгине Вере в Енотаевск, – то императрица написала: «Видно, что ее интриги далеко простираются. Енотаевскому начальнику или коменданту приказать за матерью и за сыном Дондуковым смотреть, дабы они не ушли, как уже и прежде от них случилось». Княгине Вере отправлена была грамота с угрозою, что она будет взята в Москву, если не успокоится. Иностранная коллегия подала доклад, что Дундуковых надобно взять из Енотаевска и поместить в Москве, княгине давать жалованье по две тысячи рублей в год, а сыну ее Алексею по тысяче; кроме того, за улусы, отошедшие к наместнику ханства, дать им из русских деревень каждому душ по тысяче.

Мы видели, что Екатерина назначила оренбургским губернатором Волкова, облакая его полною своею доверенностию; несмотря на то, Волков сначала отказывался от этого места, выставляя свою несостоятельность при сильном сопернике генерал-майоре Тевкелеве, магометанине, имевшем важное значение среди инородцев. Тевкелев был в это время в Петербурге. Императрица велела вице-канцлеру посоветоваться с ним о киргизских делах, но Тевкелев объявил, что он не может подать никакого мнения, пока не будет знать, угодно ли императрице послать его на восточную Украину; если будет послан, то подаст мнение, каким образом он думает поступать, и иначе для другого человека мнения написать не может, причем превозносил прежние свои службы. Коллегия доносила: «Примечено из его слов, что он охотно бы поехал туда, может быть, захочет он получить главную команду в Оренбурге, но, кажется, в рассуждении его магометанского закона то было бы не весьма прилично». Императрица сказала вице-канцлеру, чтоб оставил Тевкелева в покое, о Волкове же заметила, что ему даны достаточные средства держаться на своем месте.

В самом конце года, именно 27 декабря, пришли неприятные известия из Киева, доносили, что в средних числах декабря приезжал туда старший канцелярист генеральной войсковой канцелярии Туманский (родной брат генерального писаря) по магистратским делам, но по отъезде его узнали, что он делал некоторые представления киевскому митрополиту и печерскому архимандриту. Последний рассказал, что дело шло о челобитной, которую хотели подать от всего общества, об избрании и утверждении нового гетмана из сыновей настоящего гетмана Разумовского. Архимандрит отказался подписать

челобитную, а митрополит сказал: «Кажется, гетману и тою высочайшею милостию, которую имеет, довольным быть должно». Старшины, кроме генерального писаря Туманского, не согласились и не подписали, но полковники подписались все, кроме черниговского Милорадовича. Сочинили челобитную Туманский да два полковника, Горленко и Хованский. Содержание челобитной было такое: в прежнее время, с гетмана Богдана Хмельницкого, в гетманы все выбирались новые лица, вследствие чего были беспорядки, поэтому нашли полезным как для ненарушимой целости высоких ее и. в. и всей империи интересов, так и для всегдашнего утвержденных малороссийских прав, вольностей и привилегий сохранения и для избежания народу разорительных трудностей иметь гетмана всегда от такой фамилии, которая в непоколебимой своей ко всероссийскому престолу верности более других утверждена. За этим следовала похвала Разумовскому: он имеет высочайшую доверенность, владеет столькими же имениями в Великой России, как и в Малороссии, сыновья его будут подражать в качествах и благоповедениях родителю своему; поэтому после нынешнего гетмана просят об избрании в гетманы его сыновей по примеру Юрия Хмельницкого, избранного после отца в благодарность за услуги последнего Российской империи. По гетманским посылкам полковники и полковая старшина съехались в Глухове и слушали челобитную в генеральной канцелярии. Выслушав, некоторые сказали: хорошо, но большинство молчало. Тут генеральный судья Дублянский объявил: «Теперь-то хорошо, а впредь что будет? Узнать невозможно, и для того подписывать не буду». Только что он это сказал, все один за другим ушли из канцелярии. На следующий день приказано было опять собраться, собрались и подписались полковники, кроме черниговского, а полковая старшина и старшина генеральная, кроме писаря, не подписались. Обозный Кочубей сказал: «Мне нельзя подписываться по свойству». Есаул Скоропадский сказал: «Хотя он мой шеф, только я не подпишусь». Хорунжий Апостол объявил: «Есть старше меня, пускай они подписываются». Бунчуковый Тарновский сказал: «Я согласен с Скоропадским». После этого собрание разошлось.

Эти явления на юго-западной Украине были тем более неприятны, что польские дела требовали особенного внимания. 11 января Симолин описывал императрице торжественный въезд Бирона в Митаву; за каретой герцога ехало больше пятидесяти карет курляндского дворянства. Когда Бирон поравнялся с русским батальоном, то встречен был барабанным боем, музыкою и пушечными выстрелами. «И можно выговорить, – писал Симолин, – что такой радости и толь великого удовольствия здешний город никогда не видал, ибо все то, что слух в движение приводит, употреблено при сем случае столь много, что нельзя было других разговоров разуместь, понеже ко всем прочим упомянутым военным инструментам и орудиям присовокупилось народное восклицание и звон колокольный с церковей, хотя и сие звонарям от принца Карла прещено было». Но полной радости мешало то, что Бирон должен был остановиться в доме купца Фермона, потому что дворец был занят прежним герцогом. Число дворян, представлявшихся Бирону, простиралось до 500 человек обою пола; не явились только обер-раты и члены придворной партии, число которых простиралось до 20 человек. Симолин послал сказать обер-ратам, что императрице приятно будет, если и они покажут своему государю уважение, любовь и послушание. На это они отвечали, что очень чувствуют милость императрицы к их отечеству и крайне

жалеют, что не могут явиться к герцогу Эрнесту-Иоганну, потому что это им накрепчайше запрещено принцем Карлом, к которому они как его служители привязаны присягою, и еще сегодня от короля – родителя его получен на имя их и всей земли рескрипт, которым строжайше повелевается оставаться верными его сыну и не иметь никакого сообщения с герцогом Эрнестом-Иоганном и с чужим двором под лишением имущества и жизни; а принцу Карлу предписано от короля отнюдь не трогаться из Митава. Остальные дворяне просили Симолина представить императрице, нельзя ли как-нибудь заставить принца Карла выехать из Митава до начала так называемой братской конференции, которая назначена на 30 января, ибо его присутствие в это время причинит только препятствия и замешательства, у обер-ратов и земских служителей будут связаны руки относительно их присяги.

Для борьбы с Симолиным за принца Карла приехал в Митаву королевский комиссар кастелян Липский и ожидался другой воевода – Платер. Симолин дал знать обер-ратам, чтоб они не имели сношения с польскими комиссарами, и так как императрица не признает другого курляндского герцога, кроме Эрнеста-Иоганна, то не будет признавать и тех обер-ратов, которые будут служить кому-нибудь другому, а не Эрнесту-Иоганну. Угроза подействовала, и обер-бургграф Оффенберг немедленно явился на поклон к Бирону, а другие пошли к принцу Карлу и объявили, что если он защитит их не в состоянии, то они не смеют производить земские дела в противность Бирону и намерены отложить их до сейма, но принц застрашал их королем и велел исполнять должность. Тогда несчастные обер-раты обратились к Симолину с просьбою засвидетельствовать перед Бироном непоколебимую их преданность и верность в исполнении его повелений, как скоро они освободятся от присяги и не увидят причины опасаться гнева и наказания от короля, что они ждут только прямого приказания императрицы оставить принца Карла; хорошо было бы также, по их мнению, если б принц поскорее уехал из Митава.

Потом Симолин поехал к комиссару Липскому и объявил ему, что императрица не признает в Курляндии никакого другого герцога, кроме Эрнеста-Иоганна. Липский стал говорить, что не понимает, какое право имеет Россия на Курляндию, в которой он, Липский, находится теперь уполномоченным у настоящего герцога принца Карла, что по прибытии сюда проведал он, что какой-то Бирон въехал в город с великим торжеством, что видит в Митаве так много русских солдат и что с русской стороны все делается силою, а он, кроме законов, не привез с собою никакого другого орудия. Симолин отвечал, что приехал к нему не требовать ответа в его поведении, но объявить волю императрицы, а воля эта состоит в соблюдении прав и преимуществ Польской республики и здешних герцогств. «Я не оспариваю, – продолжал Симолин, – что у вас нет никаких орудий, кроме законов, нарушенных с вашей стороны, которые императрица в силу трактатов по соседству и по примеру своих предков обязана охранять, поэтому не будет вам позволено ни малейшего поступка в предосуждение здешней земли и ее прав, и когда на дружеские представления императрицы при польском дворе не оказано никакого внимания, то остаются способы, какие употребляются в крайних случаях для доставления справедливости обиженной стороне». Но эти слова не успокоили Липского, который повторил, что будет исполнять свои инструкции.

Чтоб отнять у комиссара средство исполнять его инструкцию, Бирон по совету преданного ему дворянства велел запечатать герцогскую судебную камеру и канцелярию, чем правительство приведено было в совершенное бездействие.

К назначенному сроку съехалось в Митаву много дворян для братской конференции. Утром того самого дня, когда началась конференция, Липский приказал на всех публичных местах прибить копии королевского рескрипта, запрещающего всякие сношения с Бироном. Приехавшие в Митаву литовский обер-егермейстер Забелло и генерал Левицкий намерены были в церкви, куда дворянство должно было собраться пред началом конференции, протестовать против всего, что было сделано в последнее время с русской стороны. Но Симолин, опасаясь, как писал, непостоянства и трусости некоторых дворян, велел снять со всех мест прибитые рескрипты, а к Липскому послал напомнить декларацию императрицы и потребовать, чтоб он не вмешивался в курляндские дела, которые совершенно до него не касаются. Эти распоряжения ободрили дворянство, которое в церкви без обычного крика и шума выбрало в директоры преданного России человека – Гейкинга из Дурбена, а на другой день отправилось на поклон к Бирону. Симолин приказал выпроводить из Митавы в Литву Левицкого за то, что он вручил инстингаторские позывы к суду в Польшу, которые пугали дворян. Так как для конференции необходимы были обер-раты, то собранное дворянство послало звать их как старших братьев. Но они, кроме обер-бургграфа Оффенберга, не приехали, отговариваясь болезнью, впрочем, дали знать дворянству, что не смеют присутствовать в конференции, когда принц Карл еще в Митаве, и, по их мнению, лучше было бы, если б дворянство послало к королю челобитную с описанием последних событий и с просьбою разрешить землю от присяги принцу Карлу. Часть дворянства требовала, чтоб поступлено было таким образом; но Симолин, который, по его словам, не оставлял конференцию при всяких трудных ее задачах, устроил так, что составлена была манифестация, где дворянство, объявляя, что Курляндия желает остаться при Польской республике, с тем вместе объявляло, что не желает иметь герцогом никого другого, кроме Бирона. Из обер-ратов только один не соглашался признать Бирона, а так как по законам дела могли отправляться и тремя обер-ратами, то считали, что Бирон вступил в действительное обладание Курляндиею.

Но принц Карл жил во дворце, а Бирон в частном доме, и, как ни старался последний вместе с Симолиным уговорить дворянство, чтоб оно потребовало у принца Карла очищения дворца и в то же время обратилось к императрице с просьбою о защите, дворянство никак не соглашалось. «Поелику, – писал Симолин, – вперены у них законы их, прямым нарушением которых они и сей пункт разумеют». 15 апреля собрались к принцу Карлу из деревень его приверженцы, человек 18; вечером он со всеми ними ужинал у Старостины Корф, где и простился с ними, уверяя в скором своем возвращении и уговаривая остаться ему верными, а на другой день рано утром выехал в Варшаву со всем двором, оставя для охранения своих интересов двоих польских сенаторов – Платера и Липского. Как только Симолин узнал об отъезде принца Карла, то немедленно послал подполковника Шредера занять дворец, что и было исполнено, а 14 июля уехали сенаторы Платер и Липский. Место для Бирона было совершенно очищено.

Разумеется, эти явления производили все большее и большее раздражение между русским и польским дворами. 21 февраля Екатерина писала Воронцову: «Надлежит писать к графу Кейзерлингу, что я при теперешних обстоятельствах с великим удивлением слышу, что при польских близ Курляндии и Лифляндии граница собирается войско, что на то я индифферентными глазами смотреть не буду и терпеть не могу, чтоб присвоил себе оный двор выйтить из узаконений своего королевства, которые королю не позволяют без сейма собирать на чужой границе войско, а если оное собрание войск целит обеспокоить законного курляндского герцога Эрнеста-Иоганна, то я им объявляю, что я королевскую власть без сейма над оным не признаю и все, что без республики сделано будет в оном деле, прииму как нарушение польской вольности, которой гарантию я имею и защищать намерена, а герцога Эрнеста-Иоганна в свое покровительство принимаю как незаконно утесненного владетеля».

Август III прислал в Москву уполномоченного для ходатайства за сына у императрицы, но этому уполномоченному – Борху – не позволили ни представиться императрице, ни вступать в переговоры с канцлером или вице-канцлером. Курляндские дела были дела чисто польские; но Борх не мог быть допущен в качестве уполномоченного Августа III как польского короля, ибо у России с Польшею не было непосредственных сношений вследствие того, что республика не признавала императорского титула русских государей; в качестве же саксонского министра Борх не мог быть допущен до переговоров о курляндских делах, ибо саксонскому курфюрсту не было никакого дела до Курляндии. 24 февраля Екатерина писала Воронцову: «Можно г. Борху сказать, что все оные труды лишни, что я не переменю своих сентиментов по курляндским делам, понеже они основаны на справедливости; что его (Борха) персона приятна мне, а его комиссия весьма не такова, что удивительна слепость его короля, который, любя сына, нарушает правосудие и узаконения своего королевства и, что того удивительнее, везде упоминает, будто по научениям чьим-либо поступаю. Можете ему сказать, что уже приходит моему достоинству противно оное дело более трактовать en avocat и что твердо намерена сутенировать то, что я начала всеми от Бога мне данными способами».

Кейзерлинг доносил, что хотят предать суду герцога Бирона, литовского канцлера Чарторыйского и стольника литовского Понятовского, последнего за то, что при Елисавете вел переговоры о допущении русских войск в польские владения. Екатерина, получив это известие, написала: «Неужли полской двор в горячке, естли стольника судить, что он домогался российской армии в Полше ввести, так и короля судить надо, что он ему такие для саксонской интерес наставления давал». В начале февраля Кейзерлинг писал: «По нынешним обстоятельствам необходимо умножить число наших друзей; а так как видно, что здешний двор не намерен нам в этом помогать раздачею чинов и наград, то мы должны сами изыскивать к тому способы. Примас в государстве – первая особа по короле, особенно он важен во время междоцарствия, и я всячески буду стараться приобрести его склонность и дружбу. Прежде примас Потоцкий получал пенсии в год по 15000 рублей, и если вашему импер. величеству будет угодно, то можно эту пенсию разделить так, чтобы примас и литовский гетман Масальский получали в год по 8000 рублей. Сколько мне известно, еще никто из них ни к какой иностранной державе не привязан, а чтоб этого сделаться не могло, то не угодно

ли будет вашему императорскому величеству надлежащие указы о пенсиях прислать ко мне немедленно». Канцлер сделал на этой реляции заметку: «Известное дело, что без раздачи в Польше денег и пенсионеров невозможно по намерениям своим с успехом достигнуть: не соизволите ли, ваше величество, указать г. Кейзерлингу из посланной к нему суммы денег представленным от него персонам ныне выдать по 3000 червонных с обнадеживанием ежегодных впредь пенсионеров и чтоб граф Кейзерлинг постарался и гетмана Браницкого в наши интересы преклонить, представя ему знатную сумму денег». Императрица написала: «Быть по сему и отдать на рассмотрение графу Кейзерлингу. Известно, что он по-пустому не раздаст». От 4 февраля Кейзерлинг доносил: «Время созванного к 23 числу этого месяца сенатус-консилиума приближается, и уже некоторые сенаторы находятся здесь; думают, что это собрание будет очень многочисленно, потому что всячески стараются большинством голосов достигнуть в Сенате по курляндскому делу того, чего нельзя достигнуть законами и справедливостию. По нынешнему состоянию республики двор в этом собрании может всегда иметь большинство голосов, ибо чины и награды, которые по раста *conventa* должны доставаться только заслуженным и искусным людям, с лишком 12 лет получали только такие, которые соглашались на все, угодное двору, следовательно, слепое послушание заступает теперь место всех заслуг. Легко поэтому рассудить можно, сколько нынешнее правление этой вольной республики отстает от первого своего учреждения и походит почти на аристократию: от этого, наконец, мало-помалу может произойти и неограниченная власть. Если б нынешний король был других мыслей и если б министерство имело более разума, искусства и силы, то было бы легко королевскую власть распространить. Шляхта может о правах своих говорить только на сеймах, а так как сеймы постоянно разрываются, то не остается ей способа оспаривать то, что противно законам и вольности. Состоятельность сеймов есть защита вольности; но кажется, что шляхта этого не примечает, ибо она с лишком 20 лет привыкла видеть, как сеймы разрываются, и чрез это вырывается у нее из рук случай говорить о своих правах. Шляхетская вольность есть одно только пустое имя, власть, подкрепляющая государственную вольность, роздана теперь таким, которые следуют желаниям двора и совершенно пренебрегают уставами государственными. Доказательством служит отдача Курляндии принцу Карлу без согласия сейма, что прямо запрещено конституцией 1607 года. Противная партия оспорить этого не может и только заявляет, что решение курляндских дел принадлежит королю и республике, а не России. Я им отвечаю на это, что в России не намерены ничего решать, что дело решено конституциею 1736 года, когда Курляндия отдана герцогу Бирону, а ваше величество никогда не допустите, чтоб решение всей республики было ниспровергнуто частию ее; а что решено, того нечего решать. Говорят, что после нынешнего сенатус-консилиума созван будет в мае месяце чрезвычайный сейм. Небесполезно было бы, если б ваше императорское величество указать соизволили стоящим по польской границе войскам вашим быть в готовности к походу».

В сенатус-консилиуме из 60 сенаторов 48 признали принца Карла законным герцогом курляндским и решили начать уголовный процесс против Бирона и его приверженцев. Получивши об этом известие, Екатерина написала Воронцову: «Пошлите г. Борху сказать, что, видя от его короля не иное, как крайнее мне

оскорбление и его собственный (Борха) поступок по двора его наставлению (равно сослаться на декларацию об императорском титуле), я повелеваю ему в 48 часов отселе выехать, в противном случае прикажу его выпроводить. И прибавить к тому, что результат сенатус-консилиума тому причиною, из которой видится, что они хотят меня принудить из приятельского поступка выходить, хотя в сем случае саксонская министерия не более благопристойных мер взяла, как и во всем, и столь республику оскорбила, сколь и меня. Чтоб они знали, что я герцога Эрнеста-Иоганна и вольности польской защищать буду всем, чем Бог меня благословил».

Этим раздражением пользовались Чарторыйские. Приведенное донесение Кейзерлинга показывает, что старик находился под сильным их влиянием, под их влиянием он натолковывал своему двору, как опасно единогласие на польских сеймах: Чарторыйским нужно было мало-помалу склонить русский двор к поданию помощи в нужных им преобразованиях. Между тем Чарторыйские по-прежнему настаивали на необходимости конфедерации. В промемории, поданной ими Кейзерлингу, они писали: «В актах конфедерации будет говориться от имени короля Августа III, которому можно сказать то же, что Граммон сказал Людовику XIV: мы вели войну с Мазарином, исполняя свои обязанности к вашему величеству». Для успеха конфедерации Чарторыйские требовали, чтоб Екатерина назначила комиссию для вознаграждения полякам, потерпевшим в последнюю войну, для чего комиссия должна была иметь 50000 дукатов, учредить в Смоленске склад оружия и приготовить экипажи, на которых оно должно быть перевезено в Шклов, имение князя Чарторыйского, воеводы русского, а другой склад учредить в Киеве, из которого оружие должно быть перевезено в Меджибож, другое имение Чарторыйских; чтоб сто человек русских артиллеристов и 400 гусар поступили в команду начальников конфедерации. Кроме 50000 дукатов, писали Чарторыйские, нужно сделать еще многие подобные же выдачи, но, прибавляли они, «мы далеки от того, чтоб предписывать что-нибудь великой душе, которая никогда ничего не предпринимает без исполнения и которая так хорошо знает, что сила средств сокращает труд».

Но «великой душе» не нравилась эта крутая мера, особенно потому, что требовала много русских денег. Раздраженная бессильными хотениями и угрозами польского двора, Екатерина писала Кейзерлингу 1 апреля: «Разгласите, что если осмелятся схватить и отвезти в Кенигштейн кого-нибудь из друзей России, то я населю Сибирь моими врагами и спущу запорожских козаков, которые хотят прислать ко мне депутацию с просьбою позволить им отомстить за оскорбления, наносимые мне королем польским». Но в другом тоне было написано письмо к Кейзерлингу 14 июля: «Я вижу, что наши друзья очень разгорячились и готовы на конфедерацию, но я не вижу, к чему поведет конфедерация при жизни короля польского? Говорю вам сущую правду: мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, чего в одну минуту сделать нельзя; моя армия не может выступить в поход в этом году, и потому я поручаю вам сдерживать наших друзей, а главное, чтоб они не вооружались, не спросясь со мною: я не хочу быть увлечена далее того, сколько требует польза моих дел». От 26 июля дополнительное распоряжение: «В последнем моем письме я приказывала вам удерживать друзей моих от преждевременной конфедерации, но в то же время дайте им самые положительные удостоверения, что мы их будем

поддерживать во всем, что благоразумно, будем поддерживать до самой смерти короля, после которой мы будем действовать, без сомнения, в их пользу». Как берегла в это время Екатерина деньги, видно из записки ее к вице-канцлеру по поводу просьбы какого-то барона Линзингена: «Уладьте дело по его претензиям к моему и его удовольствию, дабы волки были сыты и овцы целы, а овцы – червонные».

Екатерина считала всякую сильную меру Преждевременною до смерти короля. В начале года она была встревожена известием об опасной болезни Августа III; немедленно созвана была конференция: Бестужев настаивал, что всего лучше возвести на престол сына Августа III будущего курфюрста саксонского, но его мнение не было принято и решено, что при будущих выборах надобно действовать в пользу Пяста (природного поляка), и именно стольника литовского графа Станислава Понятовского; если же его нельзя, то двоюродного брата его князя Адама Чарторыйского, сына князя Августа, воеводы русского (т.е. галицкого); хранить это в тайне, держать 30000 войска на границе и еще 50000 наготове.

От 8 февраля пошел к Кейзерлингу рескрипт: «Как старость лет, так и настоящее болезненное состояние короля польского великую подают нам причину заблаговременно принять надлежащие меры, дабы в случае кончины его величества возведен был на польский престол такой король, от которого государственные наши интересы не токмо бы никакого ущерба не претерпели, но паче вящее приращение возыметь могли б. Из саксонских принцев не находим мы никого, кто бы с пользою интересов наших в сие достоинство возведен быть мог: нынешнего кур-принца поляки, конечно, не похотят иметь своим королем по причине слабого его сложения; принц Ксаверий, будучи предан совсем Франции, а принц Карл, по нынешним обстоятельствам будучи огорчен против нас, иного от них ожидать нельзя, как явного недоброжелательства к империи нашей; из прочих же чужестранных принцев не знаем никого к тому способным, почему надобно избрать к тому и в готовности содержать достойную особу из Пиастов. По совершенному знанию, которое вы чрез долговременное искусство приобрели о всех княжеских домах, также и о добродетелях всех польских вельмож, имеете вы как наискорее нам донести обстоятельно, кто бы, по вашему рассуждению, наиспособнейшим к тому быть мог – из чужестранных ли принцев или из Пиастов, и на кого бы мы в рассуждении государственного нашего интереса больше надежду иметь могли. Мы думаем, что хотя республика Польская при избрании в короли чужестранного принца и находилась бы при нынешнем же своем разделении и слабости, кои для интересов наших не иначе как полезны, и, сверх того, от германского принца, в рассуждении инфлюенции в германских делах, больше надежности в обязательствах ожидать надлежит, да и такой принц, имея собственные свои области и достаточные доходы, не имел бы, следовательно, нужды желать от какой иностранной державы субсидей и потому от оной зависеть, и мы бы также не были принуждены в тягость нашей казны оные субсидии ему давать; но понеже способного к тому избрать не можем, то лучше было б, когда б назначен был к тому благонамеренный к нам Пиаст, однако ж в ожидании доношения вашего отлагаем принять конечную в том резолюцию. Между тем, дабы в случае действительной кончины нынешнего короля можно было ревностно подкреплять представляемого кандидата, мы учинили уже

потребные распоряжения, чтоб как корпус войск наших до 30000 человек в готовности находился по первому указу вступить в Польшу, так и знатная денежная сумма в наличии содержима была. Равномерно ж не оставите вы и с вашей стороны старание прилагать примаса регни и других инфлюенцию имеющих знатных поляков приласкать, обнадеживая их императорскою нашею протекциею и вспоможением, чтоб, когда случай настоять будет, могли мы от содействия их ожидать успеха в нашем намерении, которое, конечно, деньгами и оружием сильно подкреплять не оставим. А как все сии предпринимаемые запасные меры имеют единственно в виду пользу интересов наших и сопряжены с великим истощением казны нашей, то справедливость требует обнадежиться наперед от нового кандидата получением некоторых для империи нашей выгодностей; а оные, как и вам довольно известно, состоят в том, чтоб в исполнение мирного трактата между обоих государств точные границы установлены и захваченные поляками у наших подданных земли возвращены были, также чтоб живущие в Польше и Литве многие тысячи наших подданных людей беглых назад в Россию выданы, а впредь бы такие беглецы тамо отнюдь не принимаемы и не укрываемы были, и чтоб собственные польские и литовские обыватели греческого исповедания купно с их монастырями и церквами от приключаемого им доныне несносного утеснения в вере и отправлении службы Божией совершенное избавление получили, а отнятое у них имение и превращенные на унию церкви возвращены б были, и чтоб все сие старанием такого нового короля вновь накрепко узаконено и в действительность приведено быть могло».

Кроме этого рескрипта отправлен был еще секретнейший, в котором предписывалось в случае королевской смерти: «Имеете вы обнадеживать вообще всех поляков именем нашим о дружбе и доброжелательстве нашем к республике Польской, что мы, о сохранении ее вольности и конституции всегдашнее почтение имея, приемлем истинное участие в их благополучии, что мы для собственного блага республики желаем, чтоб королем выбран был собственно их патриот, талант и достоинство к тому имеющий, к чему мы с своей стороны назначиваем стольника литовского графа Понятовского или князя Адама Чарторыйского, который, по нашему рассуждению, кажется, одарен всеми достоинствами и добродетелями, государю надлежащими, и о преданности которого к нашей империи мы известны, и для утверждения его на польском престоле употребим все от Бога дарованные нам силы, и что, впрочем, республика сама признать должна, какой существительный интерес и участие имеем мы в избрании короля польского, и для того не подвергала бы отечество свое бедствиям, кои неминуемо последуют, ежели рекомендация наша в надлежащее уважение принята не будет».

Но Кейзерлинг от 9 марта уведомил, что слух о смертельной болезни короля разглашен с французской стороны нарочно для того, чтоб выведать намерения русского двора относительно избрания нового польского короля. Король оправился, а так как он живет умеренно, то может протянуть еще несколько лет, и если в это время будет продолжаться в Польше существующий порядок, то Франции, конечно, удастся сделать по-своему при будущих выборах, особенно если в это время и дофин вступит на престол отца своего, а с русской стороны не употребятся все старания без потери времени, чтоб прусский король был выхвачен из рук и сетей французских и был привлечен к русскому интересу,

который здесь с прусским одинаков; а в Вене уже установлена французская система: за эрцгерцога выдана принцесса из бурбонского дома, и, пока Кауниц делами правит, до тех пор там не может быть никакой другой системы, кроме нынешней.

Касательно особы будущего короля Кейзерлинг писал, что саксонского принца допустить опасно еще и потому, что многие в Польше склонны установить у себя наследственное правление вместо избирательного. Сильный польский король никогда не будет полезен России; если он богат, то может жить собственными средствами; если наследные его земли далеко от русских границ, то он о Польше мало, а о России вовсе не будет заботиться, хотя и чрез нее получит корону. Благодарность теперь стала редкою добродетелью. Вообще иностранный принц, который с великими и сильными домами в Европе состоит в родстве и обязательствах, не может никогда быть полезен России на польском престоле, и потому из иностранных принцев он, Кейзерлинг, не знает никого, кто бы достоин был польской короны в рассуждении русского интереса. Все эти препятствия исчезают при избрании Пяста, и именно из русских друзей.

Екатерина отвечала на эти донесения, что она очень рада королевскому выздоровлению и возможности продлиться его жизни еще несколько лет, ибо. в противном случае могли бы произойти для нее великие и почти неминуемые трудности, особенно при вмешательстве других держав. «Мы, – писала Екатерина, – согласно с вами признаем нужду присоединить в этом деле короля прусского к нашему интересу, отводя его от Франции, и, конечно, не оставим о том помышлять, к чему есть довольное время по нынешнему состоянию здоровья короля польского».

Кейзерлинг сильно ошибался в своих обнадеживаниях относительно продолжительности королевской жизни. 6 октября Екатерина получила от него извещение о смерти Августа III. «Не смейтесь мне, что я со стула вскочила, как получила известие о смерти короля польского; король прусский из-за стола вскочил, как услышал», – писала потом Екатерина Панину. Немедленно во внутренних покоях императрицы собралась конференция из графа Бестужева-Рюмина, Неплюева, Панина, графа Григория Орлова, вице-канцлера князя Голицына, тайного советника Олсуфьева и вице-президента Военной коллегии графа Чернышева. Бестужев опять начал исчислением причин, которые заставляют предпочитать курфюрста саксонского: первая причина та, что на него указано уже при императрице Елисавете и объявлено дворам – венскому, французскому и самому саксонскому; вторая: всякий природный поляк, или Пяст, как бы знатен и богат ни был, без помощи иностранных государств содержать себя не в состоянии и, получив больше денег от какой-нибудь враждебной нам державы, будет действовать против России; третья: опасен для России и какой-нибудь принц иностранный, особенно из усилившегося бранденбургского дома; четвертая: Петр Великий старался об удержании польской короны в саксонском доме (?); пятая: избрание курфюрста саксонского совершится легко, ибо, без сомнения, поляки приготовлены уже к этому, следовательно, не нужно будет тратить много денег. Известно, что поляки уже обращают свои взоры на двоих иностранных принцев – на принца Карла лотарингского и ландграфа гессен-кассельского, из которых за первого хлопочет венский, а за последнего берлинский двор; но избрание того или другого из этих принцев не может быть

полезно русским интересам вследствие их зависимости от упомянутых дворов, а потому необходимо немедленно назначить из других иностранных принцев или из Пястов такого кандидата, на которого бы Россия совершенно могла полагаться, который бы своим возвышением был обязан единственно императрице и от нее одной зависел. Если е. и. в-ству не угодно будет назначить своим кандидатом курфюрста саксонского, то выбор из других иностранных домов и даже из саксонского равен будет по невыгоде выбору Пяста, потому что и ему для удержания при себе надобно будет платить ежегодные субсидии. Что же касается Пястов, то ему, Бестужеву, известны только двое способных к короне и надежных для России людей: это князь Адам Чарторыйский и стольник литовский граф Понятовский. Но так как первый очень богат, то не захочет быть в полной зависимости от России, а потому Понятовский будет гораздо надежнее.

Хотя Бестужев, выставляя, по-видимому, и выгоды избрания Понятовского, так искусно бил в больное место, настаивая на том, что только избрание саксонского курфюрста избавит Россию от больших денежных издержек, конференция, однако, не согласилась и теперь назначить последнего русским кандидатом.

Подтвердив прежнее решение относительно особы нового короля, конференция постановила: в рассуждение старости графа Кейзерлинга и частых болезненных припадков отправить в Варшаву ему на помощь полномочного министра, к чему императрица тут же определила генерал-майора князя Репнина, бывшего прежде министром при прусском дворе. Императрица объявила, что хотя по частной переписке с королем прусским она обнадежена, что он по делам польским намерениям ее препятствовать не будет, однако для лучшего его утверждения напишет собственноручно к его величеству и также для приласкания и к римской императрице писать будет. Содержать войско на польских границах в такой готовности, чтоб могло выступить по первому указу. Но если производить такие наряды обыкновенным канцелярским порядком, то тайна не сохранится, и потому императрица приказала графу Чернышеву заготовить указ, которым повелено будет производить это дело ему одному. Наконец в конференции читан поднесенный государыне графом Чернышевым секретный проект о присоединении к России для лучшего округления и безопасности границ реками Днепром и Двиною некоторых польских земель. И хотя великую для России пользу этого проекта по многим обстоятельствам и уважениям более желать, нежели действительного исполнения легко надеяться можно, однако положено, чтоб, не выпуская этого проекта из виду, первым движениям здешних войск быть со стороны тех мест, о которых в нем показано. Проект Чернышева заключался в том, что необходимо «сделать нашим границам окружение по реке Двине и, соединяющую от Полоцка на Оршу с Днепром к Киеву, захватить по сию сторону Двины Крейцбург, Динабург и всю польскую Лифляндию, Полоцк и Полоцкое воеводство, Витебск и Витебское воеводство, по сию сторону от местечка Ула к Орше, и, оное местечко включая, от Орши, Могилев, Рогачев, из Мстиславского воеводства все лежащее по сию сторону Днепра и по Днепру до наших нынешних границ». Средством к занятию этих областей Чернышев считал движение русских войск по поводу избрания королевского; право на это он видел в нарушении договоров и неисполнении справедливых требований России с польской стороны. На другой же день отправлен был Кейзерлингу рескрипт, в котором повторялось

прежнее наставление, чтоб избран был в короли Пяст, обязанный престолом единственно России, вполне ей преданный и готовый исполнить известные уже требования. Екатерина писала: «Чтоб граф Кейзерлинг во что ни стало примаса к нам сделал преданным, если менее невозможно, хотя до ста тысяч рублей дать можно». Кейзерлинг дал знать, что для приведения в исполнение русского намерения надобно сделать следующие распоряжения и приготовления: 1) Согласиться с берлинским двором и поступать с ним сообща. 2) Иностранных кандидатов лишить надежды на корону еще прежде избирательного сейма, что можно сделать, когда на сеймиках и созывательных сеймах постановится исключение иностранцев. 3) Сильно стараться о приведении в согласие Чарторыйских и Потоцких, иначе будет разделение в избрании и противная партия передастся иностранной державе. 4) Так как во время междоцарствия бывают разорительные для земли беспокойства, то надобно полякам внушать, что им никакой пользы не будет, если они из своих выберут старого человека, которому недолго царствовать; таким образом, коронный гетман, воевода киевский и многие другие старики, близкие к могиле, исключатся из списка кандидатов. 5) Между поляками ходят слухи о намерении из республики сделать державу; но так как эта перемена для безопасности соседей будет невыгодна, то не надобно ли будет по этому делу сделать соглашение с королем прусским и полякам дать знать, что Россия и Пруссия не допустят такой перемены? Императрица на все это изъявила согласие.

Для ясности последующего рассказа нам надобно здесь привести некоторые подробности относительно партий, на которые делилась польская шляхта в минуту смерти Августа III.

Мы знаем, что «фамилия», как называли князей Чарторыйских с родственниками их, стояла в челе партии, имевшей в виду преобразование польской конституции, уничтожение *liberum veto*, усиление королевской власти, ее наследственность – одним словом, все то, что могло бы усилить Польшу, спасти ее от страшного беззакония, отнимавшего у нее всякое значение среди других держав. Но масса шляхты была против преобразования, она хотела сохранить нетронутыми свои старые права и вольности, поэтому вельможи, враждебные фамилии, всегда могли найти сильную подпору.

Старшими в фамилии были двое братьев – князь Михаил, канцлер литовский, и Август, воевода русский (галицкий); третье место занимал сын Августа князь Адам, генерал земель подольских; за ним следовали четверо его двоюродных братьев Понятовских: Казимир – подкоморий коронный, Андрей – генерал, находившийся в австрийской службе, Михаил, бывший в духовном звании, и знаменитый Станислав – стольник литовский. К фамилии же принадлежал писарь литовский Огинский, зять Михаила Чарторыйского, Масальский – гетман литовский с сыном, епископом виленским, Флемминг – подскарбий литовский, Мостовский – воевода поморский, Андрей Замойский – воевода иновроцлавский, Станислав Любомирский – стражник коронный. Эта партия была сильна своим единством и, главное, тем, что Чарторыйские умели отыскивать людей даровитых и образованных; между последними особенно выдавался Замойский, первый обративший внимание на необходимость улучшения участи сельского народонаселения. Относительно королевских выборов Чарторыйские хотели

провести одного из своих, чтоб тем легче осуществить свой преобразовательный план.

В челе другой партии стоял Ян Браницкий, великий гетман коронный; эта партия хотела выбора одного из саксонских принцев, а если бы это не удалось, то самого Браницкого, рассчитывая на помощь Австрии и Франции. Эта партия была не прочь от реформ, лишь бы они были проведены не Чарторыйскими.

Многочисленная партия без определенного политического характера сосредоточивалась около богачей Потоцких, но, несмотря на свою многочисленность, эта партия не имела значения, не имея среди себя способных людей. В том же роде была партия, во главе которой находился князь Радзивилл, воевода виленский, первый богач Литвы. Простотою и ласковостию обращения способный привлекать к себе толпу, Радзивилл ни по чему другому не был способен руководить партией: это был человек недалекий, совершенно необразованный и поддававшийся первому впечатлению; избалованный своим положением и богатством, он не знал пределов своим порывистым желанием, постоянно готов был предпринять насильственные меры.

Краковский воевода Вацлав Ржевуский, желавший умножения войска, но не позволявший и думать о каком-нибудь нарушении священной польской старины, находился по своим способностям во главе остатков прежней придворной саксонской партии, к которой принадлежали великий маршал коронный Белинский, надворный маршал Мнишек, краковский епископ Солтык, каменецкий епископ Красинский.

Легко было понять, что на королевских выборах должна была взять верх та партия, которая отличалась наибольшею сплоченностию и считала между своими членами наиболее способных людей, понимавших, что дело не обойдется без вмешательства чуждых держав, что от Франции и Австрии нечего ждать ни помощи, ни помехи, что только Россия хочет и может провести своего кандидата. Такою партией была партия Чарторыйских. Главное лицо в республике во время междуцарствия, примас Владислав Любеньский, как ни старался сначала показывать свое беспристрастие, должен был пойти одною дорогою с Чарторыйскими.

По смерти короля к Кейзерлингу приехал литовский гетман Масальский вместе с сыном своим, виленским епископом, с литовским референдарем и генералом Сосновским. Они прямо спросили у посла, кого императрица имеет в виду при королевских выборах, ибо за того и они будут стоять: угодно ли императрице видеть на польском престоле курфюрста саксонского или более желает Пяста и есть ли соглашение о Пясте с королем прусским? Кейзерлинг отвечал, что императрица желает избрания Пяста и с прусским королем об этом соглашено, причем обещал сильную помощь всем тем, которые как прямые дети отечества будут способствовать намерениям ее величества для собственного и отечества своего благополучия. Тогда гости подали промеморию, где говорилось, что для Литвы по причине наступающих сеймиков и созывательного сейма требуется 50000 червонных да для армии 20000 червонных; на избирательный сейм нужно 100000 червонных; этими деньгами они станут распоряжаться вместе с русскими друзьями, раздавать мелкому шляхетству для приобретения большинства голосов. Уведомляя об этом свой двор, Кейзерлинг писал, что, по его мнению, так много денег им давать не следует, хотя нет сомнения, что если

русские друзья на созывательном сейме, где все определяется большинством голосов, одержат перевес, то этим дело избрания облегчится.

Новый курфюрст саксонский объявил себя кандидатом на польский престол и писал к русской императрице, прося согласиться на его избрание, но получил отказ. Кейзерлинг доносил от 17 ноября: «Из ответных вашего в-ства грамот курфюрсту и курфюрстине саксонским ясно видно, как мало ваше имп. в-ство намерены способствовать им к достижению короны польской; несмотря на это, приверженцы их говорят, что *хотя изъяснение русской императрицы и не соответствует желанию саксонского двора, однако есть надежда еще приобрести согласие России* ». Панин заметил на донесении: «В подчеркнутых линейках и состоит, несомненно, вся настоящая саксонского двора и его союзников система, на которой они теперь работают». Екатерина приписала тут же: «Тщетно льстятся».

Кейзерлинг имел свидание с гетманом Браницким, приче-м объявил ему, что императрица отказала в помощи курфюрсту саксонскому и желает избрания Пяста. Браницкий отвечал, что прославляет намерения императрицы, но желает, чтоб им не навязывали ни одного кандидата. На донесении об этом Цейзерлинга Панин написал: «Самому, несомненно, хочется». Екатерина прибавила: «А я часто в неприятных хлопотах не желаю быть». Панин сделал еще другое замечание: «Пускай он о своем кандидатстве работает: оно не опасно, лишь бы тем сделал шизму в партии саксонской и ее союзников. Граф Кейзерлинг разумно повел его на уду».

Курфюрст саксонский поручил Браницкому начальство над саксонским войском, оставленным для охраны королевских вещей и дворцов: таким образом он стал не только гетманом коронной армии, но и генералом саксонских войск. Это обстоятельство, равно как поведение киевского воеводы Потоцкого, и военные приготовления князя Радзивилла в Литве побудили фамилию Чарторыйских обратиться к Кейзерлингу с просьбою исходатайствовать у императрицы присылку для их безопасности русского войска от 800 до 1000 человек; Чарторыйские основывались на том, что если коронный гетман и киевский воевода явно вопреки законам могли принять иностранные войска под видом, будто они у них состоят на жалованье и в службе, то и русских друзей нельзя винить за то, что они воспользуются иностранною помощью не для обиды других, но для собственной защиты. Между тем нужно было издать от имени русской императрицы декларацию относительно ее желания видеть на польском престоле Пяста, ибо некоторые дворы старались уверить поляков, что между Россиею и Пруссиею уже заключен договор о разделе Польши.

Присланный на помощь Кейзерлингу князь Репнин привез с собою наставление говорить с Кейзерлингом едиными устами и поступать во всем согласно. Между прочим, Репнин должен был по своим инструкциям всеми силами стараться, чтоб преданные России поляки, а всего лучше если б между ними и сам примас, прислали к императрице, и к ней одной, формальное прошение о покровительстве свободному выбору королевскому. «Чрез это, – говорилось в инструкции, – кроме собственных наших интересов получим мы некоторое право мешаться прямым образом в сие толь важное дело». Кандидату на польский престол Понятовскому назначено было императрицею 3000 червонных ежегодной пенсии; кроме того, Кейзерлингу было приказано заплатить

все его долги в три срока, так чтобы к концу 1764 года не оставалось на нем никакого долга. Но Понятовский должен был знать заранее, чем он впоследствии должен заплатить за эти милости. В инструкции Репнину говорилось: «При удобных случаях не оставите вы ему (Понятовскому) искусным и пристойным образом внушать, что, когда мы по особливому нашему к нему благоволению не жалеем жертвовать в пользу его множество денег и когда опять, если бы оне одне не были достаточны, непременно имеем намерение для доставления ему высшей чести, какую партикулярный человек едва ли когда ожидать мог, употребить в самом деле все нам от Бога дарованные силы, что натурально не может быть без отягощения верных наших подданных, следовательно, и без огорчения матерного нашего к ним сердца: то и имеем справедливейшую причину ожидать и требовать от благодарности и честности его, что он как ныне в некоторое благодеянием нашим соответствие точно обнадежит нас о сильнейшем с своей стороны по возвышении на престол старании, дабы многие между нами и поляками пограничные дела к совершенному нашему удовольствию окончены были, так и во все время государствования своего интересы российские собственными своими почитать и остерегать и им всеми силами по возможности поспешествовать будет и лицемерную и непременную сохранить к ним. преданность и во всяком случае намерения наши подкреплять не отречется; всякими способами на основании вечного мирного трактата стараться будет возвратить нам беглецов наших, пресечь попускаемые от поляков воровства и разбои, защищать единоверных наших при их правах, вольностях и свободном отпращивании Божией службы по их обрядам, а особливо не только не допускать впредь отнятия церквей и монастырей с принадлежащими им землями и другими имениями, но и возвратить при первом удобном случае все прежде у них отнятые; исходатайствовать от республики, как ныне на сейме коронации, признание нашего императорского титула и подтверждение герцога курляндского Эрнеста-Иоганна в княжествах его с засвидетельствованием, буде бы можно, в самой конституции, что республика одолжена России за охранение в сем случае законов и вольности ее от нарушения, а при том еще, что нам всего нужнее, и с точным в оной же (конституции) определением просить торжественно от ее стороны нашей гарантии на всегдашнее время для соблюдения установленной законами формы правительства, вольности и целостности всей республики».

Первым донесением Репнина по приезде в Варшаву было донесение о смерти главного соперника Понятовскому – нового курфюрста саксонского, умершего от оспы. «Этот случай, – писал Репнин, – может только благоприятствовать намерениям вашего величества; саксонские приверженцы будут совершенно сбиты с пути». Далее он писал: «Самое счастливое обстоятельство – это разделение саксонской партии между принцем Ксавье и Карлом (братьями покойного курфюрста); ожидают, что они начнут драться. Гетман Браницкий также думает о короне, и если принц Ксавье потеряет надежду на успех, то будет поддерживать гетмана, потому что последний стар, может скоро умереть». А между тем Кейзерлинг дал знать, что саксонские приверженцы находятся не в одной Варшаве; он писал императрице: «В величайшем секрете примас сказал нам (ему и Репнину), что Мерси открылся ему о своей переписке с Бестужевым, который совершенно противен намерениям императрицы относительно Польши». Екатерина написала на донесении: «Переловить бы здесь или там писем их».

Масальский прежде всего допытывался у Кейзерлинга, существует ли насчет их королевских выборов соглашение между Россией и Пруссией, и получил в ответ, что соглашение существует. Как же произошло это соглашение?

В начале года между обоими дворами отзывалась еще прошлогодняя горечь. Берлинский двор еще беспокоило заступничество Екатерины за Саксонию. Воронцов старался успокоить Сольмса на этот счет. «Лично, – говорил он, – императрица вовсе не так расположена в пользу Саксонии, чтоб из-за нее объявила войну вашему государю, но я боюсь, что Бестужев, который все так же продолжает ненавидеть вашего короля и который сохраняет еще большое влияние на императрицу, не осилил со временем ее миролюбивого расположения». Сольмс начал ободрять Воронцова, уговаривать его, чтоб он не покидал своего места до окончательного улажения дел между Россией и Пруссией. Сольмс представлял Воронцову, что если он, канцлер, соединится с Паниным, то соединенными силами они одолеют Бестужева, ибо Панин хотя и обязан последнему, однако не доведет своей благодарности до того, чтоб жертвовать ему собственною мирною системою. Воронцов обязался не просить об увольнении этою зимою.

Заключение мира между Пруссией, Австриею и Саксониею положило конец неприятным объяснениям между русским и прусским дворами. Началось сближение, которого так сильно желал Фридрих. «Пруссия, – пишет он в своих мемуарах, – очутилась после войны в одиночестве, без союзников: прежний союз с Англиею сменился враждою и ненавистию; правда, что никто не нападал на короля (Фридриха), но не было также никого, кто бы его защитил. Такое положение не должно было продолжаться... Начались переговоры с Россией о союзе...»

Поводом к сближению была Польша. От 8 февраля из Москвы к русскому послу в Берлине князю Владимиру Долгорукому пошел рескрипт, что императрице и королю прусскому надобно поступать взаимно с откровенностию и действовать в Польше чрез своих министров единогласно, положив за правило сохранение тишины и возведение на престол приятного обеим сторонам короля; Долгорукий должен был представить Фридриху II, что у императрицы нет намерения стеснять свободу избрания, но охранять и защищать ее по силе принятой Россией гарантии в 1716 году. «Сих представлений, – говорилось в рескрипте, – кажется, на первый случай довольно будет, ибо дальнейшие наши резолюции будут зависеть от обстоятельств и от знания, которое будем мы иметь о намерениях короля прусского, о распознании которых надлежит вам всевозможное употреблять старание, а особливо не думает ли он которого из братьев своих или из других ему преданных германских принцев возвысить на престол польский». Фридрих II только этого и ждал. Долгорукий отвечал: «Король, выслушав мои речи, показал очень довольный вид, что узнал намерения вашего императорского величества, и сказал мне, что теперь самое время принять меры касательно Польши, потому что по последним письмам известился он, что король польский отчаянно болен и в жизни его надежды никакой нет, он к тому прибавил, что ему все равно, кто ни будет королем польским, и в том он легко может согласиться с вашим императорским величеством, лишь бы включены были все принцы австрийского дома, в чем он надеется, что и ваше императорское величество сами согласны будете; впрочем, он думает, что лучше будет, ежели в король выбран будет природный поляк, а не кто-нибудь из чужестранных

принцев. Король потом сказал, что как ваше императорское величество имеее партизанов в Польше, так и он имеет своих, которые, соединясь, могут и королевство все склонить, что весьма полезно будет для того, что, окончив ныне долгую и многокровливную войну, он бы очень не желал начинать новую. Я на то королю доносил, что ваше императорское величество, не желая также ничего другого, кроме мира и доброго согласия, находите нужным с ним о том совершенно согласиться посредством партикулярной и персональной переписки, на что король сказал, что он сам думает, что этим способом дело скорее и надежнее к концу привести можно. Пред тем как я пошел от короля, он еще мне сказал, что некоторые мысли имеет с вашим императ. величеством заключить такой союз, чтоб от того могло быть на долгое время спокойствие во всей Европе».

Переписка началась. Фридрих сообщал Екатерине известия из Вены, что там думают, какие имеют подозрения относительно видов России на Польшу, просил не тревожиться мнениями и подозрениями венского двора, потому что в Вене нет денег и Мария-Терезия вовсе не в таком выгодном положении, чтоб могла начать войну. «Вы достигнете своей цели, – писал Фридрих, – если только немножко прикроете свои виды и накажете своим посланникам в Вене и Константинополе опровергать ложные слухи, там распускаемые; в противном случае ваши дела пострадают. Вы посадите на польский престол короля по вашему желанию и без войны, и это последнее во сто раз лучше, чем опять низвергать Европу в пропасть, из которой она едва вышла. Крики поляков – пустые звуки; короля польского бояться нечего: он едва в состоянии содержать семь тысяч войска. Но они могут заключить союзы, которым надобно воспрепятствовать; надобно их усыпить, чтобы они заранее не приняли мер, могущих повредить вашим намерениям». Фридрих писал, что желал бы видеть на польском престоле Пяста; Екатерина отвечала, что это и ее желание, только бы этот Пяст не был старик, смотрящий в гроб, ибо в таком случае сейчас же начнутся новые движения и интриги с разных сторон в ожидании новых выборов.

В апреле Долгорукий доносил о втором разговоре своем с Фридрихом. «Императрица пишет, – сказал король, – что не желает избрания на польский престол кого-нибудь из Бурбонской фамилии; по-моему, ни венскому, ни версальскому двору в том помогать не надобно, а, впрочем, как я уже писал императрице, я на все соглашаюсь, только думаю, что лучше будет природный поляк. В этом деле надобно иметь великую осторожность и стараться, чтоб до времени намерение императрицы не могло открыться, и в этом я сильно сомневаюсь: когда я был в Саксонии и имел свидание с королевскою фамилиею, то наследная принцесса мне говорила, что императрица старается об избрании в польские короли князя Чарторыйского; я ей отвечал, что все пустое, что король еще здоров, и, пока он жив, думать не для чего о его преемнике, и что я, равно как императрица, не намерен лишать поляков свободы в королевских выборах». Потом Фридрих начал говорить о союзе, который он намерен заключить с Россией. «Такой союз, – говорил он, – не может быть противен императрице, ибо известна склонность ее к миру, и ничто не может так способствовать миру, как наш союз: хотя венский двор теперь со мною и заключил мир, однако как скоро поправит свои внутренние дела, то вступит в новую войну, а этого не осмелится сделать, когда узнает о союзе между мною и Россию. Мне уже от версальского и

стокгольмского дворов сделаны предложения вступить с ними в союз; но я отвечал в учтивых и нерешительных выражениях, ожидая решения императрицы».

Фридрих прямо объявлял, что ему нужен союз с Россией и для чего нужен; соглашение в делах польских будет следствием этого союза. Фридрих желал Пяста, но его министр в Варшаве Бенуа был опытнее и внимательнее Кейзерлинга, он хорошо знал, что Чарторыйские воспользуются своим торжеством для проведения преобразований, несогласных с интересами России и Пруссии. «Я, – писал Бенуа своему королю, – твержу постоянно графу Кейзерлингу, что у России и Пруссии одинакие отношения к Польше и потому их существенный интерес требует не позволять, чтоб республика стала значительною державою, пришла в такое состояние, в котором могла бы быть опасна обоим дворам. Он дал мне честное слово, что не допустит до этого». Но для Бенуа было ясно, что не допускать до этого – значит разделять собственное дело, что Россия и Пруссия будут теперь усиливать людей, с которыми после неминуемо должны будут вступить в борьбу. Он писал королю: «У Чарторыйских, и особенно у стольника Понятовского, только и в голове что преобразование польской конституции, они приступят к реформе, как только образуется конфедерация, которую, как они надеются, будет поддерживать Россия». И в самом деле, Кейзерлинг по крайней мере был за конфедерацию. Бенуа был против нее, боясь всеобщей войны и советуя своему королю быть нейтральным, иначе при согласном действии России с Пруссией вся Европа увидит, что дело идет об увеличении этих держав на счет Польши. Фридрих отвечал, чтоб Бенуа держал себя страдательно среди этих движений, но чтоб не давал России ни малейшего повода подозревать, что Пруссия действует против нее.

26 сентября князь Долгорукий приехал к министру иностранных дел графу Финкенштейну и был встречен известием о смерти короля польского. «В нынешних обстоятельствах, – сказал Финкенштейн, – я бы очень желал, чтоб союзный трактат между Россией и Пруссией был заключен, чтоб король имел оправдание пред другими государями, почему он поступает в Польше согласно с императрицею». Долгорукий отвечал, что проект оборонительного союза, присланный королем императрице, рассматривается ею и скоро заготовлен будет с русской стороны контрпроект. «Хотя договор еще и не заключен, – прибавил Долгорукий, – однако я надеюсь, что король не откажется от своих слов, что относительно выбора короля польского во всем будет согласен с императрицею; король сказал это мне и то же самое написал императрице». «Король, – отвечал Финкенштейн, – остается при прежнем намерении, только желательно, чтоб союзный договор мог быть заключен поскорее».

11 октября у Долгорукого был новый разговор с Финкенштейном о союзе по поводу польских дел. Министр объявил, что новый курфюрст саксонский писал королю, что явится кандидатом на польский престол и надеется не встретить этому препятствия со стороны Пруссии, ибо Польша будет гораздо сильнее, имея королем Пяста; Мария-Терезия также ходатайствует в пользу саксонского курфюрста. Так как нет сомнения, что еще станут приставать к королю с этим, то он просит императрицу как можно скорее дать ему знать о своей резолюции и поскорее привести к концу заключение союзного договора, чтоб дать королю право прямо отвечать державам насчет польского дела.

Действительно, едва Август III испустил дух, как невестка его новая курфюрстина саксонская отправила письмо к Фридриху II с просьбою помочь ее мужу в достижении польского престола и быть посредником между ним и Россией, предлагая сделать для последней всевозможные удовлетворения. Фридрих, отправляя копию этого письма в Петербург, писал Екатерине: «Если в. и. в. подкрепите теперь свою партию в Польше, то никакое государство не будет иметь права этим оскорбиться. Если образуется противная партия, то велите только Чарторыйским попросить вашего покровительства, эта формальность доставит предлог, в случае нужды, отправить войско в Польшу; мне кажется, что если вы объявите саксонскому двору, что не можете согласиться на избрание курфюрста в короли польские, то Саксония не двинется и не запутает дела».

Навстречу этому письму шло письмо из Петербурга в Берлин. «Получивши известие о смерти короля польского, мне было естественно обратиться к в. величеству, – писала Екатерина Фридриху, – так как мы согласны насчет избрания Пяста, то следует нам теперь объяснить, и без дальнейших околичностей я предлагаю в. величеству между Пястами такого, который более других будет обязан в. величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если в. величество согласны, то это стольник литовский граф Станислав Понятовский, и вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее, следовательно, наиболее будет обязан тем, из рук которых он ее получит. Этого нельзя сказать о вождях нашей партии: тот из них, кто достигнет престола, будет считать себя обязанным сколько нам, столько же и своему уменью вести дела. В. величество мне скажете, что Понятовскому нечем будет жить, но я думаю, что Чарторыйские, заинтересованные тем, что один из родственников будет на престоле, дадут ему приличное содержание. В. величество, не удивляйтесь движениям войск на моих границах: это в связи с моими государственными правилами. Всякая смута мне противна, и я пламенно желаю, чтобы великое дело совершилось спокойно».

Фридрих отвечал, что согласен и немедленно же прикажет своему министру в Варшаве действовать заодно с Кейзерлингом в пользу Понятовского; по варшавским известиям, французы и саксонцы интригуют изо всех сил, чтоб внушить полякам отвращение к Пясту; но он не боится этих интриг, ибо твердо уверен, что если русский и прусский министры вместе объявят главным вельможам о желании своих государей, то сейчас согласятся. Венский двор не вмешается в выборы, лишь бы соблюдены были формальности. Относительно Порты он предупредил желания императрицы: приказал своему министру в Константинополе действовать согласно с желаниями обоих дворов; в Берлин ожидают приезда турецкого посланника, которому внушится, что избрание Пяста в короли польские вполне согласно с интересами султана. «Я с своей стороны, – писал Фридрих, – не пощажу ничего, что бы могло успокоить умы, употреблю все усилия, чтобы все прошло спокойно и без кровопролития, и заранее поздравляю ваше императ. величество с королем, которого вы дадите Польше». Король не упускал случая утверждать, что смотрит на мирное избрание Понятовского как на дело решенное. Екатерина послала ему в подарок астраханских арбузов; Фридрих отвечал на эту любезность (7 ноября): «Кроме редкости и превосходного вкуса плодов бесконечно дорого для меня то, от чьей руки получил я их в подарок. Огромное расстояние между астраханскими арбузами и польским избирательным

сеймом: но вы умеете соединить все в сфере вашей деятельности, та же рука, которая рассылает арбузы, раздает короны и сохраняет мир в Европе».

Вся эта податливость и любезность оказывалась в ожидании скорого заключения союза. Но в Петербурге хотели извлечь всевозможные выгоды из этого ожидания и заключить союз только в крайности. В октябре Панин говорил Сольсу на маскараде: «Только императрица да я стоим за прусскую систему; я поддерживаю эту систему не из-за каких-нибудь выгод, но потому, что вижу в ней самые большие выгоды для моего двора и самую громкую славу для моей государыни. Венский двор имеет здесь столько друзей, которые стоят за старую систему. Я один против них и требую поддержки. Один король, ваш государь, может меня поддержать полным соглашением с видами моей государыни».

«Действуйте с нами заодно в Польше и в награду ожидайте союза», – говорили в Петербурге. «Прежде заключите союз, и тогда мы будем действовать заодно с вами в Польше», – говорили в Берлине...

А союза заключать не хотелось в Петербурге. Сольмс писал Фридриху: «У императрицы обычай каждого выслушивать, и чрез это она подчиняется различным влияниям. Люди неблагонамеренные нашли слабое место, которым пользуются при каждом случае: они уверяют Екатерину, что в том или другом случае она не угодит народу. Страх потерять любовь нации вкоренился в ней и делает ее робкою». Екатерина не хотела союза ни с одною державою, считая это преждевременным; тем более она должна была останавливаться пред союзом с Пруссиею, который слишком бы сблизил ее царствование с царствованием предшествовавшим. Но в таком случае зачем же было сажать на польский престол Понятовского?

В Берлине никак не хотели допустить, чтоб Россия в делах польских действовала заодно с Пруссиею, т.е. чтоб Пруссия подчинялась здесь желаниям Екатерины, а в делах турецких действовала заодно с Австриею. По поводу заявления такой политики была любопытная сцена у князя Долгорукого с Финкенштейном.

Турецкий посланник, о котором писал Фридрих, наконец приехал в Берлин, и Финкенштейн сообщил Долгорукому, что по требованию посланника сам король хочет написать проект союзного договора между Пруссиею и Портою. Долгорукий поблагодарил за такую откровенность, но заметил, что о союзе между Портою и Пруссиею узнают в Петербурге с удивлением и неудовольствием, ибо хотя он будет заключен только с целью обороны против Австрии, однако со многих сторон может коснуться и России, которая должна быть тесно связана с венским двором относительно Порты для общей безопасности обеих стран и для охраны всего христианства. Поэтому императрице будет очень приятно, если король уклонится от турецкого союза ввиду общеевропейского интереса, ибо это будет союз с непримиримым врагом всех христианских народов; нужды же для Пруссии в этом союзе нет никакой, а произойдет предосуждение славе короля и подозрение насчет вредных мер, предпринимаемых им против христианских государей, особенно соседних, тогда как уклонение от турецкого союза будет вполне соответствовать настоящим обстоятельствам, чести и значению прусской державы и настоящей откровенной дружбы с императрицею; уклонение это послужило бы для императрицы несомненным опытом соглашаемого теперь между Россиею и Пруссиею союза. Финкенштейн перебил дальнейшую речь

Долгорукого, сказавши вовсе некстати, что получено известие об арестовании гессенским ландграфом агента Голландской республики. Из этого более чем бесцеремонного поступка князь Долгорукий убедился, что король и его министерство не захотят слушать об уклонении от турецкого союза, почему и дал знать о союзе австрийскому посланнику барону Риду, с тем чтоб венский двор действовал против него в Константинополе.

Но в Вене никак не могли примириться с русскою политикою ни до, ни после Губертсбургского мира. От 2 января отправлен был рескрипт в Вену к князю Дмитрию Мих. Голицыну: «Находящийся здесь прусский министр граф Сольмс к нашему министерству отзывался, что король его собственно желает мира и никаких конкетов иметь не хочет, что очищение Саксонии охотно по присоветованию нашему произведет, если затем последует и мир с венским двором при условии, что прусский король удерживает все свои владения, какие имел до войны, а иначе, не заключив мира, не отдаст Саксонии польскому королю. Об этих отзывах прусского министра повелеваем вам сообщить тамошнему двору чрез министерство словесным разговором в дружеской конфиденции и навестаться при этом, захочет ли венский двор заключить мир на этом условии». Канцлер отвечал Голицыну, что прусскому королю нечего толковать о завоеваниях, когда он должен хлопотать о возвращении у него завоеванного. Этим и ограничились все объяснения. На внушение Голицына, что императрица готова быть посредницею в мирных переговорах между Австриею и Пруссиею, был ответ, что переговоры должны скоро кончиться или миром, или разрывом. Переговоры кончились миром. Начались сношения по поводу польских дел. В марте месяце по указу императрицы Голицын сделал Кауницу внушение о польских делах, потребовав прежде сохранения непроницаемой тайны: так как надобно ожидать скорой кончины короля польского, то императрица уже начала помышлять о назначении ему преемника, и хотя выбор не определен, а предоставлен вольным голосам, однако хорошо иметь в запасе достойного кандидата, и потому императрица спрашивает у императрицы-королевы в дружеской откровенности о тех особах, которые были бы способны для взаимных интересов обоих императорских дворов, а всего нужнее, чтоб австрийскому министру в Варшаве велено было поступать с русским министром единодушно. Граф Кауниц в своем ответе уверял Голицына, что Марии-Терезии очень лестно и приятно будет услышать о такой дружеской откровенности со стороны императрицы Екатерины, причем объявил, что с австрийской стороны не было еще относительно Польши никаких намерений и распоряжений, следовательно, ничего в ответ сказать не может, но спросил, не имеет ли русский двор в виду какого-нибудь кандидата. Голицын отвечал, что кандидата еще нет и императрица желает одного, чтоб выбор произошел вольными голосами, и не имеет намерения вмешиваться в это дело, пока не представится опасность нарушения вольности и законов польских.

Между тем в Вене были сильно встревожены слухом, что между Россиею и Пруссиею заключен союзный договор, и Мерси сделал запрос об этом в Петербурге. Голицыну велено было уверить Кауница, что известие ложное, вымышленное недоброжелательными людьми, которые, завидуя доброму согласию между обоими императорскими дворами, стараются их поссорить, что не только нет такого трактата на деле, но и предложен он никогда не был. Когда Голицын потребовал у Кауница копии мнимого договора и указания, откуда она

получена, то Кауниц отвечал, что копии нет и слух дошел из разных мест, между прочим, и сам король прусский давал знать о союзе нарочными знаками и примечаниями.

Относительно польского дела Кауниц уведомил, что Мария-Терезия желает избрания одного из саксонских принцев, если только выбор может произойти свободно. Этим дело пока и кончилось ввиду выздоровления Августа III; но когда последовала его кончина, Голицын 12 октября имел аудиенцию у Марии-Терезии, на которой между другими разговорами императрица-королева упомянула партикулярным образом, что ей было бы очень приятно, если б императрица Екатерина заступилась за нового курфюрста саксонского, чтоб он мог быть выбран польским королем, причем она желает и надеется, что выбор нового короля будет произведен спокойным образом и на основании законов польских. Из дальнейших объяснений и переписки между обеими императрицами оказалось, что венский двор прежде всего желал свободного выбора; в случае если б австрийский кандидат курфюрст саксонский при вполне свободных выборах не был предпочтен другому кандидату, то императрица-королева согласна, чтоб король был выбран из Пястов, но только такой, который бы подавал несомненную надежду, чтоб при нем не было и помышления о разделе Польши; наконец, сбор русского войска на польских границах в Вене не признавали необходимым и считали опасным, потому что это обстоятельство может подать повод к беспокойству другим интересующимся державам.

Голицын писал, что в Вене опять сильно обеспокоены известиями о союзном договоре между Россией и Пруссией, известиями, что между Екатериною и Фридрихом II производится непосредственная переписка и часто пересылаются курьеры. Панин сделал на донесении Голицына свое замечание: «Ваше величество, конечно, дать изволили опыты познания общего натурального интереса с австрийским домом; а союз с прусским двором разве тогда венский может беспокоить, когда оный нас своими конфискованными сделать похочет; инако же тот союз с Пруссией – дело есть совсем не новое, а при настоящем и толь важном для России деле беспомешательного избрания польского короля уже и необходимо нужное». Когда Голицын донес, что Кауниц настаивал на одинаковой необходимости для обоих императорских дворов сохранения прав и преимуществ Польши, то Панин сделал такую заметку: «Господин Кауниц суетно поставляет свои интересы равными с нашими в рассуждение Польши. Нет политика, который бы не знал великой разницы: мы потеряем треть своих сил и выгод, если Польша будет не в нашей зависимости».

Чтоб помешать сближению России с Пруссией, венский двор указывал петербургскому на опасность сношений Пруссии с Турциею. Императрица заметила насчет этого указания: «Все сие не иное как одна ревность, а время всем покажет, что мы ни за кем хвостом не тащимся».

До конца года Екатерина надеялась справиться с польским делом без заключения союза с Пруссией, хотя Панин и внушал о его необходимости. Надежду императрицы особенно поддерживало то, что со стороны Австрии и Франции не предвиделось больших препятствий.

Еще в феврале Екатерина поручила поверенному в делах при французском дворе князю Дмитрию Алексеевичу Голицыну спросить министерство слегка, нет ли у них уже кандидата на польский престол. Голицын отвечал, что, как он мог

заметить, во Франции прочат польский престол одному из Чарторыйских. Тогда 4 апреля пошел к нему рескрипт: «Ваше известие некоторым образом согласно с тем, что донес нам граф Кейзерлинг из Варшавы, а именно что с французской стороны обнадеживали фамилию Чарторыйских в добром расположении к ней христианнейшего короля, который готов ей во всем способствовать, если только она окажет к Франции чистосердечную доверенность и не допустит усиливаться в Польше русскому влиянию. Такое внушение с французской стороны сделано было не одним Чарторыйским, но и Понятовским, из чего естественно заключить можно, что Франция старается, чтоб будущий король польский был предан ей одной, а России недруг». Вследствие выздоровления Августа III Голицыну предписано было не вызываться самому о польском вопросе, но прилежно разведывать о прямых склонностях и намерениях французского двора по этому важному делу.

Во французских известиях мы не находим подтверждения слов Голицына о Чарторыйских. Надобно думать, что он принял выражение желания содействовать замыслу Чарторыйских относительно преобразований за желание видеть одного из Чарторыйских на польском престоле. Действительно, Бретейль предлагал своему правительству содействовать преобразованию польской конституции в видах усиления Польши. «Страшно подумать, – писал он, – что должность или земля, данная одному, а не другому, делает почти всех поляков врагами общего блага и сохранения свободы. Я знаю, сколько подобное поведение имеет отвратительного (*degoutant*) для держав, заботящихся о поддержании этого республиканского государства. Чем более я обращаю внимания на Россию и на честолюбие ее правительницы, тем более склоняюсь к мысли, что необходимо сжалиться над ослеплением поляков и вывести знать из корыстного застоя». В этом смысле мог действовать и представитель Франции в Варшаве; но иначе смотрели на дела в Версале. Вот что писал Людовик XV 17 марта (н. с.): «Относительно будущих королевских выборов в Польше я прежде всего желаю, чтоб поляки были свободны в своем выборе; потом желаю, чтоб выбран был один из братьев дофины (один из саксонских принцев), преимущественно Ксаверий. Если поляки возьмут принца Конти, я противиться не буду. Другие принцы нашего дома непригодны». Но еще прежде король писал о положении Франции вообще и относительно польского вопроса в частности. «Никто лучше меня не знает, что мы заключили невыгодный и бесславный мир, но при наших несчастных обстоятельствах лучшего заключить было нельзя, и я отвечаю, что если бы мы продолжали войну, то в будущем году заключили бы худший мир. Пока я жив, я не отстану от союза с императрицею (Мариєю-Терезиею) и никогда не войду в тесную связь с этим прусским королем. Будем поправляться собственными средствами, будем готовиться, чтоб настоящие наши враги нас не поглотили. Для этого не должно возобновлять войну. Жаль, что польский трон становится праздным в эту минуту; к счастью, королю лучше после операции. Будем содействовать по возможности новому выбору, но с таким ничтожным количеством денег, какое у нас остается, я не начну войны из-за польского престола».

8 мая (н. с.) в королевском совете читался министерский доклад о польских делах. «Надобно исследовать, – говорилось здесь, – имеет ли Франция политический интерес вмешиваться в польские дела. Одной отдаленности

Польши от Франции уже довольно, чтоб решить вопрос отрицательно во всякое время. Настоящая система предписывает такое решение еще настоятельнее. Напрасно толкуют о разделе Польши. Интерес держав, которые могли бы произвести раздел, охраняет Польшу от этой опасности. Польша находится между Австриею, Пруссиею, Россиею и Турциею; эти четыре державы, смотрящие друг на друга глазами зависти и соперничества, более охранители Польши, чем враги ее. Каждая из них имеет прямой и существенный интерес защищать ее, потому что каждая больше всего боится усиления другой на счет Польши. Таким образом, Франция может сложить на эти четыре державы заботу блюсти за сохранением Польши. Раздел этого государства должен произойти только вследствие особенных событий, после кровопролитных войн, в которых королю не для чего принимать участия. Наконец, если даже предположить, против всякого вероятия, что эти четыре державы согласятся разделить Польшу или вследствие каких-нибудь чрезвычайных обстоятельств одна из них овладеет какою-нибудь польскою областью, то еще сомнительно, чтоб это событие могло интересовать Францию. Теперь боятся, чтоб Россия и король прусский не согласились овладеть пригодными им польскими землями; но такой раздел будет одинаково противен интересам Австрии и Турции, и должно положиться на их бдительность; но если бы по нерадению они не могли помешать этому, то и тут Франции нечего тревожиться. Согласие, установленное между Россиею и Пруссиею с целью увеличения их владений, не может быть продолжительно. Это увеличение, приближая их друг к другу, заставит их более бояться друг друга; оно возбудит между ними зависть, которая скоро перейдет во вражду, и эти две державы сами образуют равновесие сил на северо-востоке Европы. Раздел Польши – это широкое поле, по которому могут разгуливать разные праздные мечтатели, но на котором мудрые политики не должны рисковать заблудиться. Надобно держаться простого, верного и вероятного, и, кажется, достаточно доказано, что польские революции не касаются Франции, что она может получить от них или выгоду, или вред очень отдаленные. Поэтому имеется право заключить, что не существует никакого прямого отношения между Франциею и Польшею, а если и есть, то такое темное, неверное, зависящее от таких необыкновенных и отдаленных обстоятельств, что неразумно заниматься ими предпочтительно пред другими предметами, заслуживающими все внимание короля и его министерства и требующими издержек действительно полезных и необходимых для сохранения французской монархии. Не должно скрывать, что если король решится доставить польский престол какому-нибудь кандидату, то надобно пожертвовать для этого значительными суммами. Издержки не ограничатся одними выборами: надобно будет еще поддерживать избранного короля. Итак, предстоит опасность понапрасну пожертвовать достоинством короля и деньгами для такого дела, в котором даже при употреблении самых сильных средств успех по меньшей мере очень неверен. Притом нельзя поручиться, чтоб дело, вовсе не касающееся Франции, не возбудило новых волнений в Европе и не воспламенило всеобщей войны, которую с трудом потушили и возобновления которой необходимо избегать».

Этот доклад объясняет нам вполне поведение Франции в польских делах описываемого времени.

От 2 октября Голицын писал: «Заподлинно могу донести, что прямого и основательного намерения относительно нового польского короля здешний двор еще не принял. Если ваше императ. величество заблагорассудите ныне в том благовременно с ним согласиться, то время к тому весьма способное по многим резонам: 1) Франция находится вследствие недавней войны и слабости правительства в изнуренном состоянии. 2) Казна ее совершенно истощена, и долги чрезвычайные, а источники доходов до сих пор еще не найдены. 3) Несмотря на то, неестественно, чтоб она осталась спокойною по польскому делу, она будет интригами своими перечить всем намерениям вашего величества; но, 4) чувствуя, как мало ей надежды пересилить их, она теперь не более как для одного виду несколько, может быть, и поспорит, а наконец с радостью согласится на все, что ваше величество ни пожелаете, дабы показать, что она имеет в Польше большое влияние и без ее согласия ничто в Европе не делается». На этом донесении Панин приписал: «Представление князя Голицына разумно, и, основав систему здесь, конечно, требует достоинство политики знатной империи вашего величества, чтоб открытым образом в делах действовать, не примешивая персоналитетов; а Франция, конечно, сие примет с удовольствием и будет беречь и уважать нас для переду».

Герцог Пралэн при свидании с Голицыным после получения известия о смерти Августа III сказал дружески, а не министерально: «Я не верю слуху, будто императрица договорилась с королем прусским отнять у Польши некоторые провинции и разделить между собою: в таком случае Франция не может остаться спокойною, потому что она гарантировала Оливский договор. Но кроме этого случая, вы можете быть уверены, что король, мой государь, желает одного только, чтоб дана была Польской республике полная власть выбрать самой себе короля, а для нас все равно, будет ли он поляк или иностранец». 21 октября Пралэн объявил Голицыну официально, что «король не будет вмешиваться в польские дела, кроме случая нарушения прав республики другими державами, ибо он, король, не может тут остаться равнодушным как порука за Оливский договор, и что хотя естественно желание короля видеть на польском престоле саксонского курфюрста по ближнему родству и союзу, однако он отнюдь не станет принимать сильных к тому мер и способов, а желает, чтоб выборы были свободные». Голицын, передавая слова Пралэна своему двору, прибавил: «Дофин и дофина употребляют все старания, чтобы здешний двор принял более горячее участие в интересах брата их, курфюрста саксонского; но заподлинно могу донести, что никакого успеха в том не имеют и что до сих пор настоящее намерение версальского двора – не мешаться сильно в дело, а оставаться почти нейтральным, к чему Франция понуждается дурным внутренним своим состоянием». Панин на этом донесении сделал заметку: «На сие просто совсем положиться нельзя; отсюда до время избрания польского короля остается почти целый год; между тем Франция будет размеривать польские дела прогрессами, а может быть, и некоторыми переменами своей политической системы, и ее в Польше посол безмолственным не будет, а, имея общую с курфюрстом партию и своих собственных партизанов, коих, конечно, совсем не кинет, может, согласясь с курфюрстом, кинуть миллиона два или три ливров, чтоб или сюрпризом, или замешательством сделать своего короля, а потом негосировать, особливо если между тем усмотрит какую-либо слабость в мерах, им противных, и в том поляков, своих друзей, удостоверит».

9 декабря Голицын объявил французскому министерству конфиденциально, что императрица приняла намерение помогать избранию Пяста, надеясь, что и французский король не откажется приказать своим министрам в Варшаве и Дрездене действовать согласно с русскими. Пралэн обещал донести об этом королю, но заметил, что в таком случае у Польши отнимется свобода выбрать себе короля, какого хочет; а декларация после графа Кейзерлинга, где он совершенно исключает из кандидатов саксонского курфюрста, противна заявленному желанию сохранять права Польской республики, тогда как Франция желает, чтоб выборы были совершенно отданы на волю республики, все равно, выберет ли она Пяста или иностранного принца.

Пришло известие о кончине курфюрста саксонского, но это нисколько не переменяло решения французского двора; Пралэн сообщил Голицыну ответ королевский: король не может содействовать избранию Пяста с исключением иностранных кандидатов, ибо такое избрание уже не будет свободное; отвечая доверию императрицы, король не скрывает, что его желание было и есть, чтоб избран был саксонский курфюрст, а так как он умер, то кто-нибудь из его братьев, но король обещает, что никаких насильственных мер к тому не употребит, а станет действовать одними увещаниями и добрыми услугами, если только другие державы своими насилиями не заставят его действовать иначе. Панин на донесении Голицына об этом ответе сделал заметку: «Франция подлинно так говорит, как думает, и, следовательно, кроме больших интриг и некоторой суммы денег, для препятствия нам не употребит, а оно, однако же, распространит несумненно против нас, когда будет выбор и между одних Пиастов, дабы не исключить себя из участия в польских делах». Отношения России к Франции, как они уже достаточно определились в первый год царствования Екатерины, не требовали, чтоб Франция держала в России знатного представителя, тем более что значение русского представителя при версальском дворе кн. Голицына не соответствовало значению барона Бретейля, и последний был перемещен в Швецию. Весною в Москве он имел прощальную аудиенцию у императрицы. «Вы будете моим врагом в Швеции, – сказала ему Екатерина, – вы будете моим врагом, в этом я уверена». Посланник из учтивости начал уверять, что напрасно императрица так думает, что с этого времени Европа станет жить в мире под покровительством русской государыни. «Так вы думаете, – сказала Екатерина, – что Европа теперь смотрит на меня? Так я имею какое-нибудь значение в кабинетах? Действительно, я думаю, что Россия заслуживает внимания. У меня лучшая армия в целом мире, у меня есть деньги, и чрез несколько лет у меня будет их много. Если бы я следовала моим склонностям, то война приходилась бы мне больше по вкусу, чем мир; но человеколюбие, справедливость и рассудок меня удерживают. Я надеюсь постоянно сохранять мир. Однако меня не надо подталкивать, как императрицу Елисавету, чтоб я начала войну: я буду воевать, когда это будет необходимо, буду воевать по убеждениям разума, а не из угодливости». Потом императрица склонила разговор на неспособность своих министров. «К счастью, – сказала она, – молодые люди утешают меня надеждою, а я не пренебрегаю ничем, что может нравиться моему народу». Дошла очередь до Турции. Бретейль заметил, что на Востоке влияние Франции может быть полезно для России. «Так вы думаете, – гордо возразила императрица, – что в диване у вас больше влияния, чем у меня?» Бретейль выставил на вид старую дружбу у

Франции с Портою, дружбу, основанную на дальнем расстоянии одного государства от другого, он упомянул об услугах, оказанных Францией России при заключении последнего мира с Турциею при императрице Анне. «Война, – отвечала Екатерина, – велась Россияю блистательно, мир был бы еще более блистателен, если б австрийцы вели себя добросовестно. Но они нас завязили там. Петр III отплатил им. Мы поквитались».

Беранже, оставшийся в России поверенным в делах по отъезде Бретейля, успокоил свой двор относительно замыслов России и Пруссии увеличить свои владения на счет Польши. Он писал в декабре: «Теперь нет больше вопроса о разделе Польши: должен ли я верить словам русских министров, что у них никогда и не думали посягать на целость Польши, или единогласно высказанное решение всех держав воспротивиться такому намерению остановило их, верно одно, что Россия в эту минуту не предпримет завоеваний. Я разговаривал об этом с вице-канцлером, и он объявил, что интерес России требует поддержания польских владений во всей их целости и не допускать ни одну державу усиливаться на ее счет. Этот министр выставлял мне чистоту намерений императрицы в этом отношении, он прибавил, что со стороны прусского короля возможны менее бескорыстные виды, но что Россия будет им противодействовать, как только они обнаружатся».

Можно было успокоиться со стороны Пруссии, Австрии, Франции. Опаснее была Турция, которую могли возбудить другие. Обрезков начал свои донесения обнадеживаниями в миролюбивых намерениях Порты. В апреле прислал он любопытное донесение о черногорских делах: «Многие бедствия и притеснения, настоящие и впредь быть могущие от турок и Венецианской республики черногорскому народу, предьявленные в доношении в Св. Синод митрополитов Саввы и Василия Петровичев, по большей части рождаются в непокойномыслии последнего из оных преосвященных и которое не допускает его с некоторым соседом жить в добром согласии. Я имел случай с разными людьми, как латинскую, так и греко-российскую православную веру исповедующих, да и самими черногорцами разговаривать и от всех единогласно слышу сколько похвалы о преосвященном Савве, толико хуления о Василии с таковым предречением, что, ежели первого смерть застигнет, последний по беглому разуму и беспокойному его духу черногорский народ всемерно чрез непродолжительное время в совершенное разорение приведет, почему данный им совет в письме государственного канцлера, в ответ на оное их доношение писаном, – иметь мирожитие со всеми соседями – был весьма ко времени, который и впредь для собственной черногорского народа пользы подтверждать не безнужно есть. Да и предьявления их касательно происков Венецкой республики со употреблением нарочитого иждивения ввести в окрестные их места архиерея-униата також сомнению подвержены, ибо, как каждому известно, что между всеми державами, латынскую веру исповедующими, Венецкая республика наименее заботится преклонять народы к признанию папы за главу церкви, но совершенно терпит во владении ее вольность совести, чему жители островов Корфу, Цанте и Цефалония, исправляющие православную веру без наималейшего притеснения, явным доказательством служить могут: однако ж я, изыскав случай, не премину с св. константинопольским патриархом о сем поизясниться, хотя, по истине сказать,

по известным его качествам и который за деньги все сделать в состоянии, из того невеликой пользе быть уповаю».

Но с половины года начинают приходить из Константинополя тревожные известия. В июле Обрезков добыл инструкцию Порты посланнику, отправлявшемуся в Берлин для заключения союза с Пруссией. В инструкции говорилось: во время пребывания в Польше дать знать полякам, что Оттоманская Порта не лишит Польской республики помощи и покровительства и отнюдь не позволит нарушения ее древних прав и вольностей. С прусскими министрами совещаться о польских делах в случае смерти настоящего короля и дать им знать о точном намерении Порты, что она никогда не потерпит на польском престоле австрийского принца. На этой инструкции, сообщенной Обрезковым в Петербург, Панин написал: «Как приемлемое Портою в польских делах участие происходит наипаче по проискам и жалобам поляков чрез хана крымского, при ней Порте производимых, и от представлений хана крымского, на которых она совершенно утверждается, то консулю Никифорову указом предписано уже, да и впредь подтверждено будет, дабы он употребил прилежное старание преклонить хана в здешнюю сторону, а чрез него и Порту удалить от всякого заступления за поляков при нынешних обстоятельствах и в других будущих происшествиях в Польской республике, в чем ныне можно предупредить более при хане, нежели при Порте, и без дальних иногда издержек в рассуждении посланных уже к нему с консулом подарков». Из этой заметки узнаем, что исполнилось наконец давнее желание русского двора иметь консула при хане крымском. 20 февраля киевский генерал-губернатор Глебов дал знать Иностранной коллегии, что он посылал к крымскому хану с письмами поручика Баставика, которому хан объявил, что согласен иметь при себе русского консула, но требовал, чтоб об этом русское правительство прямо к нему написало, ибо тогда только он будет иметь возможность представить Порте об этом деле. Потом Баставик обратился к придворным ханским старшинам с вопросом, чем генерал-губернатор может поблагодарить хана за его благосклонность, и они продиктовали ему реестр подаркам, которые состояли в тысяче червонных, мехах и карете с лошадьми. 9 апреля императрица писала канцлеру: «Для Бога, скорее назначьте кандидата для крымской посылки, можете обнадежить, что, кто добровольно поедет, может себя ласкать великих авантажей вперед, и действительно я ничто не пожалую за такую знатную и нужную услугу». Це раньше как через месяц был отыскан кандидат, и 9 мая императрица пишет опять Воронцову: «Михаиле Ларионович, пожалуй, поспешите поездкою Никифорова и, сколько можно, снабдите его всеми подарками, что они требуют, дабы для безделицы не испортились столь великие и важные дела. Я не могу довольно Бога благодарить за столь счастливый во всех делах успех. Продолжи Бог милость свою далее!»

20 октября пришло в Константинополь известие о кончине Августа III, и в тот же день был свергнут великий визирь и на его место назначен был Мустафа-паша, бывший два раза прежде визирем. В 1756 году Обрезкову велено было стараться о его свержении и прислано было для этого 10000 червонных; деньги тогда остались целы, потому что Мустафа был свергнут и без Обрезкова. Мустафа, по отзывам резидента, был не только преисполнен злостью и хитростью, но изо всех турок самый способный к командованию войском. На донесении Обрезкова об этих событиях Панин заметил: «Новый визирь, может быть, теперь не столько

против нас пойдет, когда узнает перемену нашей системы в рассуждении венского двора и с ним сопряженных польских дел». Обрезкову послано было приказание: 1) доказывать Порте ее собственную выгоду в разделении польскими делами нашего интереса от интереса австрийского; 2) в рассуждении тесного союза венского двора с Франциею, Испаниею и со всеми италиянскими державами, отступление от него России по польским делам также полезно туркам; 3) внушения эти должны быть умеренны и клониться только к тому, чтоб удержать Порту в покое, а деньги употреблять именно с этою целью; 4) если не удастся удержать Порту в покое, то стараться теми же деньгами низвергать визиря, если он свои беспокойные намерения оказывать станет.

В Константинополе началась дипломатическая борьба: французский посланник Вержень представил Порте необходимость для нее вмешаться в польские дела и не позволять России господствовать в Польше; прусский посланник Рексен выставил соглашение России и Пруссии по польским делам за самое полезное для Польши и требовал, чтоб Порта не допустила уловить себя французскими и другими внушениями, клонящимися к тому, чтоб доставить польскую корону в третий раз саксонскому дому и таким образом сделать ее наследственной. Обрезков обещанием хорошего подарка уговорил переводчика Порты сделать ей заявление, будто он узнал, что между Франциею и Австриею положено: если не удастся возвести на польский престол саксонского принца, то стараться возвести герцога пармского, тестя эрцгерцога Иосифа, близкого родственника и французскому королю; таким образом, все католические державы и папа со всем духовенством и иезуитами станут притеснять вольность Польской республики. Вследствие обоих этих представлений Порта объявила прусскому посланнику, что ей приятно согласие Пруссии с Россиею относительно предоставления полякам свободы выбрать себе короля из своих. За три тысячи червонных Обрезкову удалось побудить Порту дать и французскому посланнику ответ в том же смысле и послать указы крымскому хану, господарям молдавскому и волошскому, чтоб они сообразовались с решением Порты, ибо при дворах этих владетелей велись всякого рода интриги против России.

Сильная дипломатическая борьба между Россиею и Франциею должна была происходить также на другом северном полуострове Европы. 28 марта Остерман доносил: «По нынешним здешним изнурительным обстоятельствам нельзя думать, чтоб шведский двор покусился вмешаться в польские дела, разве будет побужден к тому Франциею, которая заплатит ему доимочные субсидии и будет продолжать свое прежнее ремесло, подкупать шведские государственные чины». 26 августа Остерман дал знать, что Франция предложила Швеции новый десятилетний оборонительный союз на таких условиях: Франция в 1763 году заплатит Швеции миллион ливров, потом с будущего года во все время союза будет платить по полтора миллиона ливров в год, а Швеция за это отдаст во французскую службу шесть линейных кораблей и шесть фрегатов вооруженных, которые Франция возвратит по миновании союза натурою или, по оценке, деньгами. На этом донесении Панин Написал: «О представлении французского двора шведскому можно, кажется, в конфиденцию аглинскому двору чрез его здесь посла и здешнего министра в Лондоне дать знать, дабы чрез то, с одной стороны, возбудить атенцию и жалюзию аглинского двора к французскому приумножить; с другой стороны, уважение, нужду и склонность оного вступить с

здешним в теснейшее содружение и тем кондиции по мере полагаемого союзного оборонительного и коммерции трактатов выгоднее и полезнее для здешнего двора учинить». Но шведский Сенат постановил требовать от Франции уплаты субсидных доимок, простиравшихся до четырех миллионов ливров, и прежде этого не входить ни в какие новые соглашения; Шляпы и Колпаки соединились в общем негодовании на Францию. Один *благонамеренный* сенатор говорил по этому поводу Остерману: «Положение наших дел дошло до крайности: Франция, по-видимому, не в состоянии удовлетворить нашим требованиям, и мы принуждены будем созвать чрезвычайный сейм; французская партия сама этого хочет, а между народом сильное неудовольствие вследствие принятых государственными чинами на последнем сейме противоречивых мер; начинают говорить о пересмотре и поправке основных законов. Благонамеренные патриоты находятся при этом безо всякой подпоры, ибо с английским двором за неимением здесь его министра они не могут иметь прямого сношения, а Россия, по всем приметам, не хочет мешаться в наши внутренние дела. Следовательно, им не остается другого способа, как в видах самосохранения повиноваться времени и следовать беспрекословно случайным обстоятельствам, которые не много доброго обещают. Я не могу скрыть, что действительное оказание некоторой малой подпоры и покровительства со стороны вашей императрицы много бы помогло благонамеренным и для отстранения новых обязательств с французским двором, и для восстановления своего значения в народе; и если б императрице угодно было предложить шведскому двору 300000 рублей или хотя меньше, то я могу честью своею обнадежить, что нация обратит свою доверенность к советам императрицы, а министерство с французскою партией не посмеют принуждать народ к наложению на себя нового французского ига». Остерман, донося об этом внушении со стороны благонамеренного сенатора, прибавил: «При настоящем движении здешней национальной мысли открытие чрезвычайного сейма очень деликатно. Во-первых, с некоторого времени шведы, от мала до велика, приписывают все свои непорядки фундаментальным законам, почему желают их пересмотреть и переправить. К этому стремятся трое важных лиц: генерал граф Ферзен, государственный секретарь барон Германсон и полковник Синклер, которые находятся в самом тесном согласии друг с другом и явно хвалятся беспредельною к себе доверенностью королевы. Во-вторых, окончательное истощение государственных доходов, недостает денег на необходимые государственные потребности. В-третьих, при настоящих вексельных замешательствах к немалому государственному разорению служит остановка в торговле иностранной. В-четвертых, явная ненависть между дворянским и мещанским чинами и, в-пятых, несносная дороговизна необходимых съестных припасов. Вину всего этого народ возлагает на несовершенство правительственной формы и нарушения равновесия между тремя властями: королевскою, сенатскою и государственных чинов. С основанием можно полагать, что первым, и главным, делом на сейме будет восстановление этого равновесия, и тут нельзя угадать, которая сторона перетянет. Мне предписано сохранять равновесие между партиями посредством внушений; но теперь одних внушений недостаточно: когда французской партии не будет большой денежной подпоры из Франции, то она соединится с придворною партией, и тогда старинные Боннеты (Колпаки) останутся яко овцы без пастыря и мало-помалу исчезнут, а придворная

партия получит всю силу в свои руки, и на чем она остановится – это предсказать трудно». Панин заметил: «Трудно ожидать, чтоб шведская нация обратила свою любовь и доверенность к здешней стороне, имея вовеки чувствовать и Российской империи приписывать потерю своей консидерации и инфлюенции в европейских делах, и особливо настоящее свое весьма изнурительное состояние. Все сие, однако ж, не мешает Швеции чувствовать всю тяжесть французского ига и вследствие того, стараясь оного избавиться, последовать здешним видам».

Из Франции пришло известие, что там определено заплатить Швеции 3 миллиона ливров с рассрочкою, после чего Людовик XV открыл шведскому правительству свое намерение относительно польских дел по смерти Августа III: король желает возведения на польский престол саксонского курфюрста, но предоставляет дело свободным выборам, и если жребий падет на Пяста, то препятствовать этому не будет; если же кем-нибудь будет принято намерение раздробить Польскую республику по частям, то он будет противиться этому всеми силами и будет просить содействия в этом деле у всех своих союзников, поэтому желает знать, как думает об этом шведское правительство, правительство такой державы, которой собственный интерес требует сохранения в целости Польской республики. Из Швеции отвечали, что взгляды шведского короля вполне согласны с французскими. Король достаточно чувствует важность сохранения вольности республики Польской, конституции и ее целости и потому нимало не намерен препятствовать вольным выборам, и если курфюрст саксонский получит корону, то это будет очень приятно королю шведскому. Панин заметил: «Шведский ответ весьма целомудрен».

Между тем в Петербурге почли необходимым выдать шведскому правительству 300000 недоплаченных субсидий. Получив об этом извещение от своего двора, Остерман обратился к известному *благонамеренному* сенатору, и тот отвечал, что надобно сделать это предложение не прежде открытия сейма, иначе министерство воспользуется возможностью удовлетворить финансовым нуждам, возьмет деньги и сейма не созовет. Вслед за тем пришло из Петербурга объявление императрицы, что она намерена поддерживать в Польше избрание Пяста; шведский король отвечал, что вопрос о королевском избрании в Польше возник так недавно, что трудно относительно него принять какое-нибудь решение; королевские выборы есть, собственно, дело польского народа, который и должен решить, кто ему лучше – свой или чужой.

Относительно участия Дании в польском вопросе Корф писал, что это государство войском никому не поможет, какие бы большие субсидии ни были предложены. Финансы в печальном положении. Гораздо ближе были дела шведские. Министр иностранных дел Бернсторф говорил Корфу: «Видно, что Франция против прежнего уже не так много занимается шведскими делами, поэтому польза соседних дворов требует принять в уважение ту опасность, в которой, по-видимому, Швеция теперь находится; благоразумие требует принимать предосторожности против готовящейся бури. Для спокойствия Европы нет ничего вреднее самодержавия в Швеции. История доказывает, что беспрестанные и кровопролитные войны надобно приписывать самодержавным шведским королям». Корф заметил, что если так, то между Россиею и Даниею должно быть заранее сделано соглашение на этот счет. «Мы уже думали об этом, – отвечал Бернсторф, – но как начать? Из всех мест и из самого Стокгольма

получили мы известия, что шведская королева сыскала способ войти в сильную дружбу с императрицею российской и вовлечь ее в интерес своего дома; я не буду исследовать, верно это или нет, но так как разглашение уже сделано, то при таких деликатных обстоятельствах можем ли мы, не подвергнув себя ответственности, предложить своему государю об установлении такого соглашения, которое императрица тем легче отклонит, что по своим большим силам не может так много опасаться от Швеции, как Дания; что же выйдет, если мы сделаем первое предложение о таком соглашении? Только то, что навлечем на своего короля непримиримую злобу шведского двора!» «Страх совершенно напрасный, — отвечал Корф, — императрица поступает по правилам, основанным на существенных интересах своей империи. Если вы хотите узнать мнение императрицы по шведским делам, то пусть ваш посланник в Петербурге барон Остен предложит войти в соглашение по этим делам при условии глубочайшей тайны». Бернсторф обещал посоветоваться с товарищами и в следующую конференцию объявил, что король дал предложенное Корфом поручение Остену, причем Бернсторф дал знать, что король велел своему министру в Варшаве действовать согласно с русскими министрами относительно королевских выборов.

Английский посол граф Бекингам сильно хлопотал о скорейшем заключении союзного и коммерческого трактата; но мы видели, с какою осторожностью относились в России к заключению союзов. 15 февраля Екатерина писала канцлеру: «Мне кажется, послу аглинскому ответствовать удобно на сие домогательство о союзном трактате, что желательно было б наперед согласиться о мере в случае выбора будущего короля польского, так как я уже не единожды оному послу внушить приказала, но еще мнение его двора неизвестно, а если он на то скажет, что они на все согласны, что я по оным делам предприиму, тогда можно ответствовать, что сии генеральные термины не довольны, если они не в инструкции аглинского министра в Варшаве, дабы он согласно мог поступать с моим послом».

На конференции с канцлером и вице-канцлером в Москве 8 марта Бекингам жаловался, что двор его сердится на него, будто бы он с своей стороны не довольно старается о союзе. Воронцов и Голицын отвечали ему, что он сам может быть свидетелем, как много императрица уважает дружбу английского короля, и если до сих пор не начато дело о возобновлении обоих трактатов, то всю вину надобно приписать множеству нужнейших внутренних дел, которыми теперь занята императрица и которые, по-видимому, до возвращения двора в Петербург не оставят ей свободного времени заняться внешними делами. 22 апреля Бекингам объявил, что король, его государь, отправил в Варшаву к своему резиденту указ, чтоб он во всех случаях, и особенно в случае смерти королевской, действовал согласно с русским послом.

8 июля Бекингам подал записку: «Король, мой государь, отложил свои домогательства о возобновлении союза на том основании, что двор недолго пробудет в Москве. Теперь же, рассчитывая, что двор должен уже находиться в Петербурге, приказал мне самой императрице и министрам ее изъяснить свое прискорбие о том, что еще не начато дело, столь нужное для сохранения европейского мира и для выгод обоих народов, между которыми сама природа определила союз. Желательно было бы, чтоб Россия это дело рассмотрела внимательно, ибо союзу уже давно надлежало быть постановленным.

Медленность в заключении союза умалила кредит обоих дворов, а прочие державы, имеющие виды, противные видам Англии и России, этим временем воспользовались. Английский двор ни о каком другом союзе так не старается, как о русском, он знает, как важен этот союз для обоих народов не только в рассуждении их самих, но и в рассуждении обязательств, постановляемых ими с прочими державами, и потому королю мало понятна политика русского двора, отлагающая возобновление оборонительного союза во время всеобщего мира в Европе; и для чего бы также не заключить коммерческого трактата, который более важен для России, чем для Англии. Короля ни в чем нельзя упрекнуть, ибо он подал всевозможные опыты своего почтения к императрице удовлетворением ее желаний относительно польских дел и во всех других случаях. Искренний союз с Россией необходимо почитается первым и лучшим основанием политики, и когда раз он будет установлен, то легко можем установить систему мудрую и правильную, согласную с нашими собственными интересами и с сохранением спокойствия в Европе. Когда мы будем действовать согласно и говорить одним языком, то будем говорить с другими дворами веско и с достоинством и на наши слова будут обращать внимание».

Такое сильное представление побудило составить проект союзного договора. Если с такою неотвязчивостью требуют союза, если прямо говорят, что союз с Россией считается в Англии первым и лучшим основанием политики, то не должны скупиться на удовлетворение русским требованиям. Финансы империи не в завидном положении; выборы польского короля потребуют больших издержек; богатая Англия должна помочь. Еще больше побуждений для Англии помочь России в Швеции, ибо там будет борьба против Франции, а эта борьба для Англии всегда на первом плане. В таком смысле составлены были две секретные статьи русского проекта союзного договора с Англией.

В первой говорилось, что в случае смерти Августа III английский министр в Варшаве должен действовать сообща с русским министром и употреблять все усилия для возведения на польский престол такого лица, относительно которого оба двора согласились между собою, и так как при этом нельзя обойтись без издержек, то английский король обещает иметь в Польше значительную денежную сумму для достижения этой общей цели; императрица сделает то же с своей стороны. Но если дела в Польше дойдут до такой крайности, что русская императрица по соседству будет принуждена оружием поддерживать виды обеих договаривающихся держав, в таком случае английский король обещает прислать императрице 500000 рублей, как скоро русские войска вступят в Польшу. Во второй секретной статье говорилось, что и в Швеции русский и английский министры должны действовать сообща для ослабления партии, поддерживаемой другими государствами, и для сохранения равновесия между этою партией и другою, ей противоположною.

В Англии обе эти статьи нашли совершенно невозможными. Бекингам должен был представить русскому министерству, как неудобно для Англии входить в споры по поводу выборов польского короля с опасностью вовлечься в новую войну. Кроме того, была еще третья статья, на которую посол никак не соглашался, именно на включение Турции в число держав, против которых в случае их нападения на Россию Англия должна помогать последней.

«Наше министерство, – говорил Бекингам, – не может принять этого пункта, не подвергнув себя великому негодованию торгующей в Леванте компании; как скоро Порта услышит о таком союзе, то совершенно уничтожит английскую торговлю в своих владениях». Вице-канцлер возражал ему, что если, с одной стороны, исключить Турцию, то, с другой – надобно будет исключить Францию, и тогда нечего будет заключать бесполезный для обеих сторон союз. Бекингам хлопотал, чтоб одновременно шли переговоры о торговом трактате; но с русской стороны было решено сделать союзный договор условием для заключения торгового, чтоб принудить Англию к большей податливости относительно первого.

Легко понять, как вследствие этой медленности в заключении договоров было неприятно положение русского министра в Лондоне графа Александра Воронцова. Английские министры говорили ему, что при европейских дворах толкуют о неуспехе Бекингама в заключении договоров, приписывая этот неуспех влиянию Франции, и что эти толки вредят значению Англии. Эти толки подтверждались газетными известиями об отличиях, какими пользовался при русском дворе французский посланник Бретейль. Статс-секретарь по иностранным делам граф Галифакс объявил Воронцову, что по заключении союзного договора между Россией и Англией можно допустить к нему и берлинский двор, который присоединится с охотою по затруднительности своего положения, ибо дворы венский и версальский остаются в союзе; наконец, от императрицы будет зависеть допустить в союз и другие дворы, потому что лондонский двор будет во всем сообразоваться с ее намерениями.

К этой неприятности для графа Александра Воронцова присоединилась еще другая: дядя его граф Михаил Ларионович перестал заведовать иностранными делами и уехал за границу. Но перед оставлением иностранных дел канцлер столкнулся с Бекингамом: последний прислал ему письмо, в котором извещал, что король назначил ему, Воронцову, две тысячи фунтов стерлингов вознаграждения за убытки, причиненные ему английскими каперами, которые овладели принадлежавшими ему вещами; но при этом Бекингам дал знать, что такая щедрость оказана на такой именно случай, когда между Россией и Англией постановлен и подписан будет торговый договор на выгодных для Англии условиях. Воронцов закричал об оскорблении, бесчестии. Бекингам заявил канцлеру свое сильное сожаление о случившемся, приписал все своей излишней горячности и самым убедительным образом просил его забыть дело, которое этим и кончилось. Граф Александр писал дяде от 30 июля: «Ваше сиятельство легко себе представить можете, с каким восчувствованием увидел я неожиданность поступка лорда Букингама; сколь малую идею ни имел я о талантах сего посла, не мог я себе вообразить, чтоб его безрассудность до такой превратности и безумности простираться могла, как он теперь явно оказал сим странным своим письмом. Я заподлинно вашему сиятельству донести могу, сколь двор его за то с справедливостию на него негодует. Его величество король, подошед сего дня ко мне, говорить изволил, сколь он имеет причину быть недовольным поступком своего посла, особливо в рассуждении его к вам письма, который (поступок) нимало не основан на данных ему повелениях, что он меня просит вашему сиятельству о том донести и притом уверить, что, зная честность вашего характера, никто здесь не мог бы когда-либо осмелиться с успехом вам толь

странную пропозицию, как он, посол, то учинил, уповательно от своего незнания».

Наконец, положение графа Воронцова в Лондоне ухудшилось вследствие поднятия польского вопроса по смерти Августа III. В Петербурге хотели, чтоб Англия энергически содействовала видам России в Польше; в Лондоне были очень далеки от сколько-нибудь энергических мер в таком деле, в котором интересы Англии вовсе не затрогивались, следовательно, все представления русского министра должны были оставаться безуспешными. Доносить императрице о своих неудачах было очень неприятно для Воронцова, особенно когда теперь иностранными делами стал прямо заведовать человек, сильно к нему нерасположенный. Панин выражал это нерасположение в заметках, которые он делал на донесениях Воронцова. Так, в одном из своих донесений Воронцов писал, что все его представления со времени смерти польского короля не имели большого успеха у английского министерства. Панин заметил: «Можно было бы загодя биться об заклад, что эти представления останутся без успеха, потому что они были необдуманно и дурно ведены». Там, где Воронцов употребил обычную извинительную фразу, что при всей ревности к службе императрицы у него недостает надлежащего знания и искусства, Панин заметил: «Ничто не может быть справедливее этого». Воронцов извещал, что он ездил в деревню к бывшему министру и теперь главе оппозиции знаменитому Питту, чтоб поговорить с ним о делах, и особенно выведать его мысли о Польше, о том, чего можно ожидать от Англии в вопросе, долженствующем интересовать все великие державы Европы. Питт, по словам Воронцова, отвечал ему с своим обычным красноречием, но осторожно. Панин заметил: «Бьюсь об заклад, что он говорил с ним, как говорят с мальчиком, не заслуживающим уважения». Впрочем, смысл слов Питта был тот, что так как по всему видно, что при королевских выборах в Польше прусский король будет действовать заодно с Россией, то, по его мнению, Англия должна с жаром поддерживать требования этих двух государств, которых дружба для нее очень дорога; но что трудно определить с точностью, в чем должно состоять содействие Англии, ибо оно зависит от множества обстоятельств, которые не могут быть ему известны как человеку, уже два года находящемуся вне дел.

Воронцов писал, что один общий приятель Питту и ему уверял его, что Питт выражал крайнее удивление, почему настоящее министерство ничего не делает по польскому вопросу, почему оно после получения известия о смерти Августа III не отправило немедленно курьера в Петербург с предложением своих услуг и с уверением, что если Франция вмешается в дело, то Англия не только употребит все средства воспрепятствовать этой державе в исполнении ее намерений, но постарается совершенно уничтожить их. Питт прибавил, что если министерство будет и вперед вести себя так в польском деле, то он выскажет свое мнение в палате общин, выразит свое удивление, что лондонский двор обнаруживает такое равнодушие в таком важном деле. На это Панин заметил: «Он обманывает, он лжет. Никогда человек со смыслом не скажет, что известный двор должен отправить курьера к другому двору с предложением услуг. Дворы предлагают друг другу добрые услуги только в случае несчастья; здесь это великодушие, тогда как в другом случае это низость и подлость».

Воронцов должен был потребовать от английского министерства, чтоб оно перевело своего резидента Ратона (Wroughton) из Дрездена в Варшаву. Воронцов в

письме к графу Галифаксу имел неосторожность прибавить, что исполнение этого желания императрицы может ускорить желанное заключение союзного договора с Россией. За это он получил от императрицы такой рескрипт: «Как мы вообще имеем причину довольными быть ревностию и тщанием вашим к службе, так, напротив того, не хотим ныне скрыть удивления нашего по поводу французской пиесы, которую прислали вы сюда, по сообщении оныя статскому секретарю графу Галифаксу. Вы не можете сами не признаться, что весьма неумеренно и неприлично окончание помянутой пиесы, когда в замену переведения аглинского резидента из Дрездена в Варшаву полагается некоторым образом кондициею с нашей стороны ускорение трактуемых между нами и Англиею трактатов. Мы требовали от аглинского двора такой угодности, которая сама по себе ничего не значит и не может иметь следствий, ибо весьма равно для Англии содержать министра своего в Дрездене или Варшаве, потому что в одном и другом месте может он ей равные показывать услуги, а в соответствие сей малой угодности обязали вы нас в таком деле, которое интересуется пользу и честь империи нашей, когда мы не иначе с Англиею или с другою какою державою намерены заключать трактаты как с равною для обеих сторон выгодною. Сверх того, вышепомянутое важное, но по всем околичностям крайне излишнее прибавление в французском переводе вами переделанного рескрипта не только не имеет основания правды, но с собственным вашим графу Галифаксу торжественным уверением, что вы неправды сказать ни для чего на свете не в состоянии, совсем несогласно, когда о таком кондициальном требовании к вам не писано, да и писать о том невозможно было. Итак, вы, объявляя оное за истину, подвергли как собственный свой, так и дворовый кредит безвременно явному предосуждению. Примечая вам, таким образом, справедливое наше по сему случаю удивление, удостоверены мы, что ошибка ваша произошла от избытка усердия, и для того довольствуемся только в запас подтвердить вам, дабы вы впредь, осторожнее поступая, не делали без нужды письменных сообщений, а особливо в таких делах, где и одни словесные изъяснения достаточны быть могут».

Воронцов оправдывался, но противоречил себе в своих оправданиях: выставлял, что сделанная им прибавка ни к чему не обязывает Россию, представляя голый комплимент, и в то же время утверждал, что без этого прибавления английский двор не решился бы исполнить требование русского – перевести Ратона из Дрездена в Варшаву – по своей холодности к польским делам.

В конце ноября Воронцов писал, что Англия долго не примет никакого участия в общих делах Европы. Но в Петербурге кроме польских дел считали нужным содействие Англии еще в шведских делах. По поводу субсидного трактата, предложенного Франциею Швеции, Екатерина приказала Воронцову в дружеской откровенности обратить внимание английского министерства на это французское предложение и побудить его к скорой посылке своего посланника в Стокгольм. Воронцов отвечал, что это было бы совершенно согласно и с английскими интересами, ибо, несмотря на заключение мира между Франциею и Англиею, британские министры не могут не понимать, что союз между Испаниею и Франциею имеет целью одну Англию, чтоб со временем при первом удобном случае нанести ей удар. Несмотря на то, он, Воронцов, должен сказать, что хотя бы лондонский двор и держал в Швеции своего министра, то никак не помешает союзу этой державы с Франциею, разве только обещанием субсидий; но известно,

что Англия никому в мирное время субсидий не дает, а еще менее при настоящем министерстве, которое не посмеет потребовать у нации ни малейшей суммы. Туча, собирающаяся от оппозиции, страшит министров более, чем все политические в Европе приключения и союзы, против Англии заключенные. На этом донесении Екатерина написала: «Когда другие виднейшие политические кон siderации не позволяют распространить свое старание, чтоб совсем того не допустить или другим подобным перебить то, что заключается в предосуждение интересов, тогда благоразумие требует старания изыскивать и положить такие антравы тому заключенному делу, дабы оно в следствиях своих оставалось без всякого действия. Таковой надлежит теперь быть нашей с английским двором общей политике в рассуждение шведской с Франциею новой альянции. Ибо совсем ее не допустить к заключению, нам надобно употребить такую корюбцию (коррупцию), которая б произвела чрезвычайный сейм и революцию в правительстве шведском, а Англия б дала столько субсидей, чтоб та держава могла себя искупить из всех своих нужд и недостатков. Но как ни то, ни другое не может согласоваться с нашими другими настоящими делами, то и надлежит соединенно стараться при тамошнем дворе сочинить и содержать такую партию, которая б своим перевесом в делах национальных приводила в слабость помянутую альянцию и не допускала б ее действия. Я о сем пространно рассуждала с послом аглинским, а и на случай приезда в Стокгольм аглинского министра тоже может служить новыми инструкциями графу Остерману».

16 декабря Воронцов уведомил свой двор о разговоре, который он имел с графом Сандвичем, преемником Галифакса по северному департаменту иностранных дел. Сандвич именем короля объявил ему, что к английскому резиденту в Варшаве посылаются указы, чтоб он при избрании нового польского короля наблюдал две вещи: свободу голосов при выборах и непременно сохранение областей Польской республики, чтоб они никем не были захвачены. Воронцов отвечал, что никак не ожидал такого сообщения и что касается сохранения в целости польских владений, то предписание на этот счет излишне после объявления России, что она не имеет намерения раздроблять Польшу. На этом объявлении действительно основана целостность всех частей Польши, ибо если бы русская императрица намерена была отнять у Польши какую-нибудь область, то каким бы образом английский резидент господин Ратон мог спасти от этого республику? Этот ответ очень понравился Екатерине, она написала на депеше: «Сей ответ похвалы достоин, лучше сказать было невозможно».

Дополнения

К примеч. 201. В шведских делах 1768 года есть перевод записки шведского посланника в Петербурге Дюбена, где сказано: «Генералы граф Захар Чернышев, Румянцев и Панин за великую обиду себе ставили, что главная команда над назначенным в Польшу корпусом поручена была младшему генералу князю Волконскому, посему Чернышев просился в отставку, и как тотчас он в том удовольствован и о такой его отставке обнародовано было весьма унижительным для него указом, то он в немалой заботе находился и всевозможным образом старался опять в службу принятым быть, что наконец, хотя и не без великих затруднений, графы Орловы ему исходатайствовали»

Приложения

1) *Протокол учрежденного при дворе собрания. 1762 года, 18 мая.*

Тайный секретарь Волков вручил собранию подписанное его и. в-ством оному повеление, в том состоящее, чтоб 1) стараться получить от Дании наследные его величества земли силою, и к тому не токмо все потребное тотчас приуготовить, но и действительно за дело приниматься; 2) чтоб армия всегда в хорошем состоянии содержана была и никакого недостатка не претерпевала; 3) чтоб потребные для того денежные суммы иметь и в готовности содержать и о всех государственных доходах попечение возыметь, а излишние расходы сократить; 4) чтоб в будущем примирении принять участие и 5) чтоб не оставлять в небрежении и прочие обширных здешних областей границы. И вследствие того он же, тайный секретарь, словесно объявил, что начатие войны против Дании почитает его и. в-ство толь нужным и справедливым, а нынешнее время в рассуждении пребывания здешних войск в Германии и генеральной почти всюду войны толико к тому удобным, что подобного, может быть, никогда не случится, что потому пропущение оного было бы во всем непростительно. Потому его и. в-ство и хочет, чтоб данные его о том повеления как наискорее возможнейшим образом и по лучшему разумению самим делом исполняемы, а никакие к затруднению оного клонящиеся представления его в-ству подаваемы не были. И наконец, что буде потребных на то денежных сумм, яко главнейших и необходимых способов, на лицо нет, а приисканные Сенатом четыре миллиона рублей на чрезвычайные расходы не так скоро получены быть могут, как того настоящая нужда требует, то его и. в-ство находит удобное и ближайшее к тому средство в делании банкотетелей. По выслушании всего этого предьявленный способ к скорому получению денег найден основательным.

2) *Записка графа А. П. Бестужева-Рюмина императрице Екатерине II:*

«Для всевысочайшего ее и. в-ства известия и на всемилостивейшее благоизобретение. Ее и. в-ству без сумнения от коллегии Иностр. дел донесено о заступлении здешнего голландского посланника за некоторого купца Рейнгольда по делу заключенного Коммерц-коллегиею контракта (на поле собственноручная заметка Бестужева: „Которые во всем свете свято содержатся“) о смоле: но как помянутый посланник несколькократно просил о том графа Алексея Бестужева-Рюмина, а напоследок и приложенную при сем записку прислал, то граф Бестужев обойтись не может оную при сем всенижайше представить в таком намерении, что не соизволит ли ее и. в-ство Сенату повелеть по рассмотрении сего дела непродолжительную резолюцию и, буде можно купцу удовольствие учинить, на основании того, что он просит».

Замечание императрицы : «Я видела оная прозба и она отослана в Сенат монополии признани за вредни и не один город разарен все exclusions служит другим в пример и много таких пример будет есть ли одному дадут в прочем я услышу сенатская рассуждения. Где общество выгривает тут на партикулярной ущерб не смотрют».

3) *Записка и. Екатерины II (1 июня 1763 г.)* .

«Мне кажется легко можно ответствовать киргис-казацкому хану на его домогательства о дозволении перейти с своим скотом Яика. Он признается за подданной России, следовательно, он послушен будет и не пойдет с своим скотом, где им заказано, понеже всякой российской подданной не смеет переходить, где ему не позволено, а естли у них корма для скота не довольно, то покупают за деньги или выменяют на товар, или запасают на зиму, чего и им советуется делать, и естли бы они хотели порядошно селиться, то бы им удобнее было всего нужное для человеческой жизни им иметь, о сем Тевкелев имеет идеи кажется изрядные. Он советует пригласить их, дабы они дали одну крепость построить и берется на то сам оних внутренних народов склонить, и как бы он интригов не делал против Давыдова не худо бы было, естлиб вице-канцлер князь Галицын, позволя (должно быть: позвав) его, Тевкелеву, к себе и объявил бы ему, что я приказала с ним посоветовать о вышеписаном, а князю Александру Михайловичу надобно в ту свидании иметь великую терпению, понеже Тевкелев несколько радотировает, и дабы он более гаварил, надобно ему показать податливость входить в его представлении, он многово полезного знает, и весьма великая вера те народы к нему имеют, а после того разговора желаю знать мнения вице-канцлера и коллегии Иностранных дел, дабы можно было установить систематическая обхождения с ними, что служить опосле может и с прочими похожими народами, а по ею пору не видно, чтоб инако их вели как *du jour a la jour*ней».

4) *Реляция Кейзерлинга из Варшавы от 26 марта 1763 года.*

«Делал я некоторые покушения, чтоб литовского гетмана Мосальского к принятию пенсии склонить, токмо тщетно, ибо он всегда стоял на том, дабы ничего не принимать. О благонамеренности же его, так и сына его, епископа Виленского, я удостоверен, что после подтвердил и поступок их на последнем сенатус-консилиуме. Результата никто из них не подписал, и гетман еще до окончания сенатус-консилиума в Вильну отъехал, а епископ всем покушениям и понуждениям твердо противился. Я знаю, что фамилия Мосальских охотно желала бы за справедливую цену купить маетности Домбровенские, принадлежавшие прежде сего князю Меншикову, а ныне состоящие за фамилиею Сапегов. Процесс о том еще не решен, да и быть этому сумнительно, потому что дело принадлежит до трибунала, которого судьи избираются. Если б князя Меншикова склонить, чтоб он притязания свои на сии маетности уступил Мосальскому за справедливую цену, то б я уступательное письмо к нему для подписания переслал. (Здесь заметка императрицы Екатерины: О сем гг. канцлеры могут говорить с кн. Меншиковым, однако я никак его к тому принудить или приневолить не желаю, но, кажется, сумма денег лучше, нежели пустые претензии.) Я и сам помышлял, не надобно ли гетмана Браницкого пенсиею к интересу в. и. в-ства приклонить. Токмо его кредит не столь велик и не больше силы его, какову он по своему чину при армии имеет, которая из шляхетства состоит. Он непостоянен, нескрытен и находится совсем в руках жены старосты Торжинского, так и его самого да некоторого духовного, коих преданность Франции весьма известна. По таким обстоятельствам сумнительно его на нашей

стороне иметь, к тому же нельзя ему и тайности нашего дела вверить. Из пересланных денег я без нужды ничего не употреблю, токмо и предусмотреть не могу же, будет ли от того всегда польза, так как пахарь не знает, все ли посеянные им семена взойдут».

5) *Письмо Фридриха II к императрице Екатерине из Бреславля от 7 февраля 1762 года.*

Madame ma sœur. Je fœlicite votre majestœ impœriale de tout mon cœur sur son avœnement au trœne, vous, pouvez œtre persuadœe, Madame, que j'y prens une trœs sincere part, je ne puis m'empœcher de vous regardœir ainsi que l'Empereur comme mes vrais amis, je ne puis m'expliquer plus librement sur ce sujet, mais je ma flatte que votre majestœ impœriale sera persuadœe que mes sentimens repondent entiœrement au siens et que je ne dœsire que de vous donner, Madame, ainsi qu'a l'Empereur des marques de ma haute estime et de mon attachement, œtant avec la plus grande considœration Madame ma sœur de v. m. i. le fidile et bon frere Fœdœric.

6) *Собственноручная инструкция императрицы Екатерины II полковнику Пучкову (1763 года).*

Секретная инструкция полковнику Пучкову: 1) Надлежит вам ехать в Вильну в Литву. 2) Из Иностранной коллегии вам даны будут восемь тысяч рублей. 3) Канцлер граф Воронцов вам письмо отдаст от себя к графу Флеммингу, великому подскарбию литванскому, сей последний вам поможет действием и советом. 4) А комиссия ваша состоит в нижеследующем. Потому что королевская польская партия старается во всех местах республики усилиться, то и ищет она и ныне в будущем в Литве трибунале учинить, чтоб от ее воли и желаний оный зависел, воевода виленский признает по их обстоятельствам чрез допущение или недопущение к присяге избранных депутатов, в котором намерении молодому князю Радзивиллу оное место дано, чтоб чрез него на свою сторону перевес сделать; а потому что большая часть дворянства к 4(15) апреля в Вильну сберется, так мы рассудили, чтоб для лучшего исполнения намерения нашего, а польскому двору противные по курляндским пограничным распрям между нами и внутренним польским обстоятельствам, по которым надлежит нашей российской партии перевес иметь, вас отправить и дать вам восемь тысяч рублей, дабы вы тем могли себя подкреплять по обстоятельствам и пососоветовав с графом Флеммингом; и как по всем тем местам оскорбительные и вымышленные против России всевают между мелким дворянством мысли, так, следовательно, чтоб оные во всех местах сколь можно отвращать стараться надлежит. Екатерина.

7) *Собственноручное письмо императрицы Екатерины II к графу Кейзерлингу.*

Monsieur le comte Kayserling, je vous fais cette lettre, pour savoir votre avis; l'Angleterre me presse extrœmement pour conclure un traitœ de commerce et d'alliance avec moi, j'ai voulu voir avant que d'y entendre quel tour les affaires de l'Europe prendroient, c'est a cet effet que j'ai œludœ sous diffœrent prœtexte de mœme entrer dans

les propositions du'on me faisoit, a p̄snt que je n'ai plus de bons p̄textes a all̄guer, j'ai ordonn̄ d'entendre les propositions de l'ambassadeur d'Angleterre, le Collige des affaires ĩtrangires a fait un projet pour un trait̄ d'alliance et defensive, mais avant qu'e d'y entrer je voudrais savoir ce que vous en pensez, j'ai ordonn̄ de declarer a la cour de Vienne et celle de Prusse en confidence que l'Angleterre me faisoit des propositions de trait̄ d'alliance que je n'y avois pas voulu entrer avant que de leur en faire part, j'ai fait cela afin que les deux cours ne prennent point d'ombrage et puissent me faire des propositions de trait̄ d'amitī de quoi j'ai ĩcrit au roy en persone il y a huit jours. Je vous dirai tout net que mon but est d'ktre līe d'amitī avec toutes les puissances et m̄me jusqu'a la defensive afin de pouvoir toujours me ranger du c̄t̄ du plus oppress̄ et ktre par la l'arbitre de l'Europe; je vous prie de me dire, si je me trompe et cela tr̄s librement je vous envoie ci-joint le projet fait au Collige.

8) *От той же к тому же.*

A Peterhof 6 juillet 1763. Monsieur le Comte Kayserling. Ensuite de vos rapports secrets adress̄s a moi en propre, je vous ai fait connoitre mes intentions que je ne veux ni ne puis statuer d'autre ĩpoque que la mort du roy de Pol. pour donner la main a la conf̄deration de ce pays la. Je ne m'ĳtonne pas cependant de l'impatience que mes amis font voir par leurs demarches empressēes, afin d'amener les affaires a ce d̄nouement avant le terme, leur int̄rkt est si grand et leurs vues sont si importantes que s'ils y parviennent, ils seront excusables aux yeux du public dans tous les moyens. Il n'en est de m̄me a mon ĳgard, ma vraie gloire souffrira sans dout̄ si je vais contribuer au d̄tr̄nement d'un prince voisin et ami et cela pour aucune autre cause que sa trop grande confiance peut-ktre dans un ministre fourbe et faible (qui est m̄me au bord du tombeau) qui est autant t̄m̄raire dans les entreprises que l̄che dans leur execution. Mais commencer la conf̄deration et la faire durer jusqu'a sa mort, se terns indetermin̄ ne pourra-t-il pas absorber chez moi des sommes d'argens si consid̄rables et alt̄rer et varier tout mon cr̄dit et l'influence chez les autres, que s̄rement on aura de la peine a ĳvaluer le prix de l'un et de l'autre par cet avantage que mon empire doit se promettre par la suite de l'ĳlection d'un roy national, au reste je ne crois pas avoir besoin a vous parler ici de la nature politique relative a mon empire d'une conf̄deration courte qui se termineroit par le retablissement du bon ordre dans les affaires int̄rieures du pays (si tout est que cet ordre en effet peut avoir lieu dans un gouvernement comme celui-la) je vous connais trop M-r le comte Kayserling pour un ministre ĳclair̄ et fid̄le pour que je puisse me douter un instant de votre z̄le et votre p̄n̄tration pour l'int̄rkt autant principal que permanent de mon empire; car ce n'est pas sans doute cette sorte de despotisme casuelle d'un parti soutenu par des intrigues et des ressources de sa cour que puisse se former a la fin un gouvernement monarchique qui est un objet d'alarmes seui et vrai pour des voisins, ainsi ne doit-on point regarder ce despotisme p̄snt plut̄t comme la perpetuit̄ d'une anarchie fond̄e dans le principe de leur forme de gouvernement que comme un acheminement r̄elle a un ĳtat regulier de la nation. J'ai voulu vous indiquer ces consid̄rations primitives uniquement pour votre propre direction afin que vous puissiez reconnoitre mes principes sur lesquels je vous ai envoȳ les derniers ordres de ma main, de retenir mes amis de la conf̄deration p̄matur̄e en leur donnant en m̄me tems des assurances les plus positives que nous les soutiendrons fid̄lement en tout ce qui est raisonnable jusqu'au terme de la mort du

roy, auquel terme nous agirons sans doute en leur faveur. J'ai cru d'autant plus nécessaire de vous faire cette lettre que j'ai vue dans votre d'ordre adressée au collège sous N 47 du 9/20 de ce mois que le parti mal intentionné se donne beaucoup de mouvement pour exiger un armement entre eux et dans leurs troupes, quand je confronte cet avis avec celui que vous m'aviez donné dans votre dernière relation, adressée a moi en propre et qui est que nos amis s'arment et enrôlent le monde avec autant d'ardeur et d'empressement comme s'ils avoient déjà mon consentement positif a former la confédération sur le champ, je trouve assez vraisemblable que les premiers aient cru y être gagnés d'avantages par cette ardeur inconsidérée des autres. L'entrée présente en Pol. de mes quatre régimens peut occasionner encore plus de fermentation dans les esprits, surtout relativement aux marches et a la conduite de ces troupes que vous avez a diriger en conséquence de mes ordres. Ainsi je trouve bon de vous prescrire que vous ayez a diriger l'un et l'autre avec toute la prudence et la sagacité que je vous connais, en vous contentant d'adoucisement de ceux qui peuvent se trouver véritablement insupportables pour les bien-intentionnés dans la conduite du tribunal de Vilna, afin que cet expédient que nous avons accordé a leur sollicitation n'exécute point notre intention qui est de ne point laisser venir leurs affaires a une rupture ouverte avant notre terme, et pour cette fin je veux que vous abrégiez le séjour de mes régimens dans ce pays-la autant, qu'il vous sera possible et que vous leur fassiez prendre le chemin le moins affectif pour leur retour dans leur quartier. Vous sentirez bien vous même que tout ce que je vous prescris ici n'est que pour prévenir une confédération contraire a mes intérêts.

Двадцать шестой том

Глава первая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1764 год

Заботы Сената о памятнике императрице. – Заговор Мировича. – Поездка Екатерины в прибалтийские области. – Шлюссельбургское происшествие. – Суд над Мировичем и казнь его. – Князь Вяземский назначен исправлять должность генерал-прокурора. – Наставление ему, написанное императрицею. – Спор в Сенате по поводу генерал-рекетмейстерской должности. – Решение вопроса о конфискованных имениях. – Финансовые распоряжения. – Первый русский корабль на Средиземном море. – Заботы о торговле. – Крепостные люди у купцов. – Беглые. – Половники. – Неудачный ход ревизии. – Наставление губернаторам. – Пенсии. – Окончание комиссии о церковных имениях. – Раскольники. – Записка Теплова о беспорядках в Малороссии. – Окончательное уничтожение гетманства. – Румянцев – председатель Малороссийской коллегии. – Наставление ему императрицы. – Преобразование Новой Сербии. – Слободско-Украинская губерния. – Состояние восточной украины. – Дело о Камчатской экспедиции. – Дела польские. – Насилия на сеймиках. – Чарторыйские требуют вступления русского войска в Польшу. – Конвокационный

сейм. – Начало преобразований. – Бегство Радзивилла и Браницкого от русских войск. – Избрание в короли Станислава Понятовского. – Новый король просит императрицу позволить преобразования в польской конституции. – Екатерина не соглашается. – Неудача диссидентского дела. – Союз России с Пруссией. – Фридрих II внушает, что нельзя позволять в Польше преобразований. – Неудовольствия у России с Австрией по поводу польских дел. – Натянутые отношения между Россией и Францией. – Старания русского двора удержать Порту от вмешательства в польские дела. – Вражда крымского хана к России. – Консул Никифоров в Крыму. – Перемена французской политики относительно Швеции. – Усиление борьбы ее здесь с Россией. – Продолжение дружбы у России с Даниею. – Проект барона Корфа о «Северном союзе». – Неудачные переговоры с Англией о союзе.

Прошло почти два года с тех пор, как Сенат определил воздвигнуть памятник императрице; так как дело было передано в Академию наук, то Сенат велел справиться у Академии, какое делается распоряжение о сооружении монумента в бессмертную славу ее императорского величества. Академия отвечала, что еще ничего не сделано, потому что из Комиссии о каменном строении в Петербурге не получено известия, на каком месте будет удобно поставить памятник. Тогда Сенат приказал послать в Академию указ сделать два проекта: один для памятника, который бы мог быть поставлен на Васильевском острове против Академии и коллегий, а другой для памятника на площади, находящейся против нового каменного Зимнего дворца. Академия доносила, что профессор Штелин имеет семь инвенций (проектов) памятника и профессор Ломоносов обещал сделать инвенцию.

Но в то время как в Академии занимались проектами памятника Екатерине, двое офицеров обдумывали план, как бы свергнуть ее с престола во имя шлюссельбургского заточника Ивана Антоновича. Мы видели, что императрица приказала уговаривать Ивана, чтоб он постригся в монахи, и дело уже ладилось. Без означения числа до нас дошла записка Екатерины: «Мое мнение есть, чтоб... из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался; только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и в не весьма отдаленной монастырь, особливо в такой, где богомолья нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне; еще справиться можно, нет ли посреди муромских лесов, в Коле или в Новгородской епархии таких мест». Но с этим намерением «охранить навсегда от зла» опоздали.

В то время, когда Карл XII приближался к Малороссии, переяславским полковником здесь был Федор Мирович; вместе с Мазепою Мирович передался на сторону Карла XII и после поражения шведского короля успел скрыться в Польше, бросив в Малороссии жену и двоих малолетних сыновей, Якова и Петра. Дети переехали в Чернигов к двоюродному дяде своему, тамошнему полковнику, известному Павлу Полуботку, и жили у него до 1723 года. В этом году Полуботок взял их с собою в Петербург, но его скоро посадили в крепость, и Мировичи лишились всякой подпоры. По указу императрицы Екатерины I их определили в Академию для науки, но по причине или под предлогом неполучения жалованья они перестали заниматься в Академии и жили в Петербурге неизвестно чем и как.

В 1728 году Петр Минович подал просьбу цесаревне Елисавете Петровне, чтоб быть ему при ее доме, и цесаревна определила его к себе в секретари. В следующем году Петр Минович поехал с цесаревною в Москву, куда взял с собою и брата, который в Москве определился в секретари к польскому посланнику графу Потоцкому и вместе с ним отправился в Польшу, а в 1731 году переехал опять в Москву, где женился на купчихе Акишевой. Но в 1732 году оба Миновича попали в Тайную канцелярию, после чего сосланы в Сибирь и записаны там в дети боярские за то, что Петр Минович списал копию с указа о Полуботке и против той копии написал письмо к посылке в Польшу к изменнику отцу своему, и за то, что Петр вопреки запрещению ездил в Малороссию, а Яков – в Польшу.

Сына этого Якова, Василия Миновича, мы встречаем в описываемое время подпоручиком Смоленского пехотного полка. Прошедшее и настоящее тяжело лежало на нем, а в природе своей он не находил средств противодействовать этому гнету. Он считал себя человеком знатного происхождения и не мог выставлять этого происхождения, потому что оно обличало в нем изменничьего внука; он тяготился своим небольшим чином, который не давал ему никаких прав на отличия, оскорблялся обращением старших офицеров, которые одинаково обходились с обер-офицерами из дворян, как и с обер-офицерами из разночинцев. Наконец, попытка поправить свое состояние и состояние трех сестер не удалась: Минович просил возвратить им хотя часть отобранного у деда его имения и получил отказ, просил назначить пенсию сестрам – и в этом отказано. Ища выхода из своего положения, Минович, как видно, попал в масонскую ложу, но мистицизм произвел на духовную его природу действие опиума. Для людей, подобных Миновичу, страшное искушение представляло воспоминание 28 июня. «Тогда удалось им, отчего же теперь не удастся нам?» – вот вопрос, который неотвязно должен был преследовать недовольного, раздраженного Миновича. 1 апреля 1764 года Минович решился искать случая освободить Ивана Антоновича из Шлюссельбурга и провозгласить императором. Он открылся приятелю своему поручику Великолуцкого пехотного полка Аполлону Ушакову; тот согласился помогать ему в предприятии, и оба решили для безопасности не открывать замысла никому более. 13 мая в Казанском соборе Минович и Ушаков отслужили по себе панихиду как по умерших. Уже было известно, что Екатерина летом намерена отправиться для обозрения прибалтийских областей, и заговорщики решили произвести восстание через неделю по отбытии двора из Петербурга; когда Минович будет караульным офицером в Шлюссельбурге, то Ушаков приедет туда на шлюпке под видом курьера и отдаст Миновичу манифест от имени императора Иоанна Антоновича; когда солдаты по прочтении манифеста станут на сторону Иоанна, то освободить его и привезти на шлюпке в Петербург, где пристать на Выборгской стороне и везти Ивана в артиллерийский лагерь, который должен был сыграть ту же самую роль, какую Измайловский полк сыграл 28 июня 1762 года. 25 мая Ушаков отправлен был Военною коллегиею с казною к генералу князю М. Н. Волконскому и во время этой поездки утонул в реке. Но это происшествие не отвратило Миновича от замысла: он решился привести его в исполнение один в назначенное время.

После Петра Великого Екатерина была первая государыня, которая предпринимала путешествие по России с правительственными целями. Мы видели, что в 1763 году она ездила из Москвы в Ростов, и хотя поездка в этот

город имела религиозную цель, однако императрица воспользовалась случаем, чтоб из Ростова проехать далее на север, в Ярославль. Теперь она предприняла путешествие на запад для обозрения прибалтийских областей, причем особенно хотела посмотреть Балтийский порт, или Рогервик, о котором так долго толковали, на который было потрачено так много трудов и денег.

Императрица отправлялась с правительственными целями, но гренадеры говорили, что она едет в Ригу затем, что хочет выйти там замуж за Орлова и сделать его принцем.

Екатерина выехала из Петербурга 20 июня и чрез Ямбург отправилась в Нарву, где происходила торжественная встреча; на немецкие речи эстляндского рыцарства и нарвского бургомистра именем императрицы отвечал по-русски граф Григ. Григ. Орлов. Из Нарвы императрица отправилась в Ревель, где была также торжественная встреча, на триумфальных воротах виднелась надпись: «Екатерине II, матери отечества несравненной» (*Matri Patriae incomparabili*). 26 июня Екатерина писала из Ревеля Ив. Ив. Неплюеву, оставленному главноначальствующим в Петербурге: «Здесь весьма мне ради и не знают, что затеять, чтоб показать свое удовольствие. Я звана обедать к рыцарству, а на другой день к мещанству, и все воистину с великим усердием». 30 июня Екатерина выехала из Ревеля в Балтийский порт, откуда писала Панину: «Славный Балтийский порт потерял славу моим сюда прибытием, желаю вас увидеть в добром здоровье, уже скучно становится так долго таскаться в дороге». Запоздавши в дороге по причине песков и сильных жаров, которые заставили 40 верст ехать шагом, Екатерина 9 июля утром въехала в Ригу. Здесь среди торжеств и народных ликований Екатерина с веселым лицом отвечала на поздравления, а между тем забота лежала на сердце: она получила от Панина письмо с известием о *дивах*, происшедших в Шлюссельбурге.

Панин, живший с великим князем-наследником в Царском Селе, получил из Шлюссельбурга от коменданта Бередникова такое донесение от 5 июля: «Сего числа пополудни во втором часу стоящий в крепости в недельном карауле Смоленского пехотного полку подпоручик Василий Яковлев, сын Мирович, весь караул в фрунт учредил и приказал заряжать ружья с пулями, а как я, услыша стук и зарядание ружей, вышел из квартиры своей и спросил, для чего так без приказа во фрунт становятся и ружья заряжают, то Мирович прибег ко мне и ударил меня прикладом ружья в голову и пробил до кости черепа, крича солдатам: „Это злодей, государя Иоанна Антоновича содержал в крепости здешней под караулом, возьмите его! Мы должны умереть за государя!“ Подхватили меня, и в аресте находился я до пятого часа утра, держан был приставленными солдатами за все мое платье. Пока я содержался, Мирович двукратно покушался идти с заряженными ружьями против караула гарнизонной команды, которая находилась в ведомстве капитана Власьева и поручика Чекина, где многими патронами с пули стрелял, напротив того и ему ответствовано. Мирович привез шестифунтовую пушку к казарме, где содержатся колодники. Что при том происходило, не знаю, ибо видеть не мог; напоследок Мирович привел с собою в арест пред фрунт капитана Власьева и Чекина, и мертвое тело безымянного колодника принесено командою его, где по установлении фрунта со всеми солдатами целовался, сказывая им, что это он один погрешил и барабанщику велел бить зорю утреннюю, а потом полный поход; тут я закричал, чтоб его арестовали, что и было

исполнено; при аресте найдены мною у него манифесты, присяга и повеления, писанные его рукою».

Панин, получивши это донесение, немедленно отправил в Шлюссельбург подполковника Кашкина с приказанием узнать все обстоятельства дела и произвести допрос Мировичу и в то же время послал донесение в Ригу к императрице. 9 июля Екатерина получила это донесение и отвечала Панину: «Я с великим удивлением читала ваши рапорты и все дивы, происшедшие в Шлюссельбурге: руководство Божие чудное и неиспытанное есть! Я к вашим весьма хорошим распоряжениям иного прибавить не могу, как только, что теперь надлежит следствие над виновными производить без огласки и без всякой скрытности (понеже само собою оное дело не может остаться секретно, более двухсот человек имея в нем участие). Безымянного колодника велите хоронить по христианской должности в Шлюссельбурге без огласки же. Мне рассудилось, что естьли неравно искра кроется в пепле, то не в Шлюссельбурге, но в Петербурге, и весьма желала бы, чтоб это не скоро до резиденции дошло; и кой час дойдет до Петербурга, то уже надобно дело повести публично; и того ради велела заготовить указ к генералу-поручику той дивизии Веймарну, дабы он следствие произвел, который вы ему отдадите; он же человек умный и далее не пойдет, как ему повелено будет. Вы ему сообщите те бумаги, которые для его известия надобны, а прочие у себя храните до моего прибытия; я весьма любопытна знать, арестован ли поручик Ушаков и нет ли более участников? Кажется, у них план был. Сие письмо или нужное из оного покажите Веймарну, дабы оно служило ему в наставление. Шлюссельбургского коменданта, и верных офицеров, и команду господин Веймарн имеет обнадежить нашею милостию за их верность. Весьма, кажется, нужно осмотреть, в какой дисциплине находится Смоленский полк».

Между тем 8 июля Ив. Ив. Неплюев, остававшийся главноначальствующим в Петербурге, уведомил Панина, что в столице хотя и знают о происшедшем в Шлюссельбурге, но никаких предосудительных толкований не слышно. После этого в три часа пополудни является в Царское Село Теплов с письмом от Неплюева: в письме говорилось, что в Петербурге тихо, тем более что молва уверяет и о смерти «того фантома, для которого злодейство начато было». Но кроме письма Теплов объявил, что Неплюев поручил ему сказать Панину изустно следующее: «Если б я был на вашем месте, то бы, нимало не мешкав, возмутителя Мировича взял в Царское Село и в сокровенном месте пытку из него выведал о его сообщниках, или ежели б сей арестант был в моих руках, то б я у него в ребрах пощупал, с кем он о своем возмущении соглашался, ибо нельзя надивиться, чтоб такой малый человек столь важное дело собою одним предпринял, а сие мучение нужно для того, чтоб те сообщники не скрылись». «Почему же Иван Иванович мне об этом не написал?» – спросил Панин у Теплова. «Я его и просил, – отвечал Теплов, – чтоб он или письмом о том к вам отписал, или бы записку мне дал, в чем состоит его требование от вас, но Иван Иванович мне сказал, что он от своих слов не отречется, в чем ссылался на князя Александра Алексеевича Вяземского, который при том был». Панин описал императрице свой разговор с Тепловым; но Неплюев и сам 10-го числа написал Екатерине, что надобно Мировича истязать.

Того же самого 10 июля приехал в Ригу Кашкин и подал императрице первый допрос Мировича, который сказал: «Намерение мною учиненного злодейства

предпринято сего году апреля с 1 числа, а к сему меня побудили следующие причины: 1) Когда мне случалось бывать во дворце, тогда, видя, что до штаб-офицера, также и прочих статских чинов людей свободно пред ее императорское величество допускают, а ниже оных, как-то и обер-офицеров, не пускают. 2) Когда случалось быть таким операм, в которых ее императорское величество присутствовать соизволила, что я также допускаем не был. 3) Что штаб-офицеры не такое почтение, какое офицер по своей чести иметь к себе долженствует, отдают, якоже и то, что тех, кои из дворян, с теми, кои из разночинцев, сравнивают. 4) Когда я просил о выдаче мне из отписанного предков моих имени, сколько из милости ее императорского величества пожаловано будет, то в резолюции написано было следующее: по прописанному здесь просители никакого права не имеют, и для того надлежит Сенату отказать им; на вторичную просьбу о пожаловании пенсии трем сестрам моим также отказано. Хотел я государя Иоанна Антоновича высвободить и привести пред артиллерийские полки». Из показаний Мировича и других причастных делу лиц вскрылись следующие подробности. Сначала Мирович хотел открыть Власьеву свое намерение, и 4 июля, в воскресенье, встретясь с этим офицером, начал было ему говорить: «Не погубите ли вы меня прежде предприятия моего?» Но Власьев прервал его речь и сказал: «Если предприятие ваше такое, что может вас погубить, то я и слышать об нем не хочу». После этого Мирович стал уговаривать солдата Писклова, который отвечал, что если солдатство будет согласно, то и он согласен, и подговорил еще двоих солдат. Затем сам Мирович подговорил солдата Босова, троих капралов; некоторые сначала отказывались, но оканчивали словами: «Если все, то и я». Мирович решился начать дело немедленно, боясь, что Власьев догадался, о каком предприятии начинал он говорить с ним, и донес об этом куда следует. Во втором часу пополудни Мирович из офицерской кордегардии сбежал вниз, в солдатскую караульную, закричал: «К ружью!» – и, став перед фрунтом, велел заряжать ружья. Когда вышел Бередников, то он взял его за ворот халата и отдал под стражу, после чего двинулся с своим отрядом к казарме, где стояла гарнизонная команда. На оклик: «Кто идет?» – Мирович отвечал: «Иду к государю!» Из гарнизона раздался ружейный залп, Мирович велел своим отвечать, но потом, опасаясь, чтоб не застрелить Ивана Антоновича, велел отступить. Тут команда пристала к нему: «Покажи вид, почему поступать?» Мирович прочел из манифеста от имени Ивана те места, которые, по его мнению, могли особенно тронуть солдат, по прочтении сказал: «Поздравляю вас с государем!» – и стал кричать гарнизонной команде, чтоб не стреляли, иначе против их будут из пушки стрелять. Видя, что угрозы не помогают, Мирович действительно велел тащить пушку и опять послал сказать гарнизону, что будет палить, но посланный возвратился с ответом, что гарнизон уже положил оружие. Мирович с своею командою бросился в казарму, вошел – темно, послал за огнем, но когда принесли свечи, то он увидел лежащее среди казармы на полу тело заколотого человека; Власьев и Чекин стояли тут; Мирович, взглянув на них, сказал: «Ах вы, бессовестные! Бойтесь ли Бога? За что вы невинную кровь пролили?» «Мы сделали это по указу, – отвечали офицеры. – А вы от кого пришли?» «Я пришел сам собою», – сказал Мирович. «Мы, – продолжали офицеры, – все это сделали по своему долгу и имеем указ, вот он!» Они подали Мировичу бумагу, но он не стал ее читать. Тут подступили к нему солдаты с вопросом, не прикажет ли заколоть

офицеров. «Не трогайте, – отвечал он. – Теперь помощи нам никакой нет, они правы, а мы виноваты». Сказавши это, Мирович подошел к телу, поцеловал его в руку и ногу, велел солдатам положить его на кровать и вынести из казармы на фрунтовое место, где и происходило то, о чем доносил Бередников Панину.

Власьев показал, что он действительно заподозрил в Мировиче злое намерение из слов, сказанных им 4 июля, и, переговорив с Чекиным, отправил Панину рапорт об этом, но курьер был задержан переполохом 5-го числа. Они убили Ивана Антоновича, когда услышали, что пушку заряжают. Власьев счел нужным при допросе утаить, что у них был указ не отдавать Ивана Антоновича никому живого; он показал, что они отвечали Мировичу: «Кто над ним (Иваном) что сделал, тот поступал по указу». «Только, – прибавил Власьев, – оно (указа) я никогда и ниоткуда не имел, следственно, у меня как в руках не было, так и показывать было нечего, а сказали мы об указе от смертного страха». О покойном они показали то же, что было известно из прежних донесений: при очень крепком здоровье не имел он никакого телесного недостатка, кроме сильного косноязычия; посторонние почти вовсе не могли его понимать, и постоянно находившиеся при нем понимали с трудом, он не мог произнести слова, не подняв рукою подбородка. Вкуса не имел, ел все без разбора и с жадностью. В продолжение 8 лет не примечено ни одной минуты, когда бы он пользовался настоящим употреблением разума; сам себе задавал вопросы и отвечал на них; говорил, что тело его есть тело принца Иоанна, назначенного императором российским, который уже давно от мира отошел, а на самом деле он есть небесный дух, и именно св. Григорий, потому всех других людей почитал мерзейшими тварями; говорил, что так как люди друг перед другом и св. иконам кланяются, то этим и оказывается их мерзость и непотребство, а небесные духи, в числе которых и он, никому поклоняться не могут; желал быть митрополитом, для чего выпросил себе у Бога позволение временем и поклоны класть, как следует митрополиту. Нрава был свирепого и никакого противоречия не сносил; грамоте не знал, памяти не имел, молитва состояла в одном крестном знамении. Все время или ходил, или лежал, ходя, иногда хохотал.

Того же 10 июля, как видно еще до приезда Кашкина, Екатерина написала Панину полурусское, полуфранцузское письмо, обличавшее сильное волнение: «Никита Иванович! Не могу я довольно вас благодарить за разумные и усердные ко мне и отечеству меры, которые вы приняли по шлюссельбургской истории. У меня сердце щемит, когда я думаю об этом деле, и много-много благодарю вас за меры, которые вы приняли и к которым, конечно, нечего больше прибавить. Провидение дало мне ясный знак своей милости, давши такой оборот этому предприятию. Хотя зло пресечено в корню, однако я боюсь, чтоб в таком большом городе, как Петербург, глухие слухи не наделали бы много несчастных, ибо двое негодяев, которых Бог наказал за гнусную ложь, написанную ими в своем самозваном манифесте на мой счет, не преминули (по крайней мере так можно предполагать) посеять свой яд, и доказательством служит для меня то, что в день моего отъезда из Петербурга одна бедная женщина нашла на улице письмо, написанное поддельною рукою, где говорилось то же самое; письмо передано князю Вяземскому (исправлявшему должность генерал-прокурора по смене Глебова) и теперь у него; надобно допросить этих офицеров, они ли написали и распространили письмо; я боюсь, чтобы зло не имело еще других последствий,

ибо говорят, что этот Ушаков в связи с большим числом мелких придворных служителей. Наконец, надобно положиться на Господа Бога, который благоволит открыть, я не смею в этом сомневаться, все это ужасное покушение. Я не останусь здесь ни одного часа более, чем сколько нужно, не показывая, однако, что я спешу, и возвращусь в Петербург, и здесь, надеюсь, мое возвращение немало будет содействовать уничтожению всех клевет на мой счет. Вспомните также вранье того офицера, что Соловьев привел; да с Великого поста более двенадцати подобных было, и все о той же материи. Велите, пожалуйста, рассмотреть, не они ли (Мирович и Ушаков) тому виновниками были. Хотя в сем письме я к вам с крайнею откровенностию все то пишу, что в голову пришло, но не думайте, чтоб я страху предалась; я сие дело не более уважаю, как оно в самом существе есть, сиречь дешперальный и безрассудный *соур*, однако ж надобно до фундамента знать, сколь далеко дурачества распространились, дабы, если возможно, разом пресечь и тем избавить от несчастья невинных простаков».

Допрос, привезенный Кашкиным, не вполне удовлетворил Екатерину, как видно из письма ее к Панину от 11 июля: «Хотя по вашим примечаниям с основанием видится, будто у Мировича сообщников нет, однако полагаться неможно на злодея, такого твердого в своем предприятии, но должно с разумною строгостью исследовать сие дело. Брата утопшего Ушакова также допросить надобно, не ведал ли он братниных мыслей? Еще же знать желаю, в артиллерии (куда они вести¹ намерены были) нет ли сообщников, тем более что командир у них весьма не любим, о чем неоднократно уже до меня доходило эхо. Я ныне более спешу, как прежде возвратиться в Питербурх, дабы сие дело скорее окончить и тем дальних дурацких разглашений пресечь».

Но как ни торопилась Екатерина в Петербург, она должна была еще ехать в Митаву. Бирон приехал в Ригу и умолял императрицу посетить его в его резиденции, которую он получил от щедрой и благодетельной руки ее величества, всемиловитивейшей своей избавительницы и покровительницы. Екатерина должна была согласиться ехать в Митаву уже и потому, чтоб не показаться испуганною и торопящеюся в Петербург; 13 июля она отправилась в Курляндию, на границах которой была встречена герцогом и его обоими сыновьями. В митавском дворце Бирон, ставши на колена, целовал руку своей щедрой благодетельницы и благодарил за посещение. «Герцог, – писала Екатерина Панину, – по возвращении в Ригу принял меня с великолепием, и медаль нарочно сделал для приема, и деньги кидал в народ. Народ здешний ждал моего приезда из Митавы до первого часа за полночь, и как увидели мою карету, то с виватом проводили меня до моего дома. Пишу к вам это, чтоб показать, что ливонцы начинают поддаваться влиянию своих завоевателей».

Но среди торжеств в Митаве и Риге мысль все была занята Шлюссельбургом. На дороге из Риги в Петербург 16 июля она писала Панину: «Сколь я желаю, чтоб Бог вывел, если есть, сообщников, столь я Всевышнего молю, дабы невинных людей в сем деле не пропадало. Я прочла календарь и записки оного злодея, из которых единомышленных не видится, но только из одного листа видно, что он меня убить хотел; а чтоб они по Петербургу не разглашали свои намерения, тому, кажется, верить неможно, понеже со Святой недели много о сем происшествии

почти точные доносы были, которые моим неуважением презрены». 18 июля письмо к Неплюеву: «Осторожность вашу не иначе как похвалить могу, что вы за Мировичами приказали без огласки подсматривать; однако если дело не дойдет до них, то арестовать их не для чего, понеже пословица есть: брат мой, а ум свой. Все же я никак не желаю, чтоб невинные пострадали».

25 июля императрица возвратилась в Петербург. После следствия над Мировичем, произведенного Веймарном и не открывшего ничего нового, учрежден был чрезвычайный суд из Сената и Синода, к которым были присоединены сановники первых трех классов и председатели коллегий. 25 августа суд отправил к императрице депутатов с просьбою позволить ему поступать по большинству голосов, не сносясь с нею. Екатерина написала собственноручно на докладе: «Что принадлежит до нашего собственного оскорбления, в том мы сего судимого всемилостивейше прощаем; в касающихся же делах до целостности государственной, общего благополучия и тишины в силу поднесенного нам доклада на сего дела случай отдаем в полную власть сему нашему верноподданному собранию». При отбирании голосов, должно ли приступить к сентенции, обер-прокурор Соймонов стал говорить президенту Медицинской коллегии барону Черкасову, что некоторые из духовенства приговаривают Мировича пытать. Тут исправлявший должность генерал-прокурора князь Вяземский подошел и повелительным тоном запретил Соймонову продолжать разговор о мнении духовенства, а у Черкасова потребовал немедленного ответа, должно ли приступить к сентенции. Черкасов второпях отвечал, что должно, но потом, 2 сентября, представил письменное мнение, что Мировича надобно пытать с целию открыть сообщников или наустителей. «Нам необходимо нужно, – писал он, – жестоким розыском злодею оправдать себя не токмо перед всеми теперь живущими, но и следующими по нас родами, а то опасуюсь, чтоб не имели причины почесть нас машинами, от постороннего вдохновения движущимися, или и комедиантами». Собрание осердилось и просило императрицу защитить его от оскорблений Черкасова. Последний должен был извиниться, объявил, что в добром намерении употребил слова, которыми собрание почло себя оскорбленным. Написание сентенции возложено было на Адама Вас. Олсуфьева, генерал-поручика Веймарна и президента Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел Эмме. Члены Синода объявили, что, как духовные, подписывать смертный приговор не могут, хотя и признают, что Мирович достоин жесточайшей казни. Смертная казнь совершилась 15 сентября перед полуднем на Петербургском острове, на Обжорном рынке. Сохранилось известие, что Мирович всходил на эшафот с твердостью и благоговением. Державин оставил нам известие о том, какое впечатление произвела смертная казнь на народ, отвыкший от нее в царствование Елисаветы. «Народ, стоявший на высотах домов и на мосту, не обывший видеть смертной казни и ждавший почему-то милосердия государыни, когда увидел голову в руках палача, единогласно ахнул и так содрогся, что от сильного движения мост поколебался и перила обвалились». Солдаты, действовавшие вместе с Мировичем в Шлюссельбурге, прогнаны сквозь строй и потом разсланы по отдаленным гарнизонам. Власьев и Чекин получили по 7000 рублей награждения, отставлены от службы с сохранением жалованья и дали подписку под лишением чести и живота не утруждать императрицу относительно содержания, жить всегда в

отдалении от великих и многолюдных компаний, обоим вместе нигде в компаниях не быть и на делах, особенно приказных, не подписываться, в столичные города без крайней нужды не ездить, и если придется ехать, то не вместе, об известном событии никогда не говорить.

До отъезда своего в прибалтийские области императрица присутствовала четыре раза в Сенате и по возвращении из путешествия – три. Сенат, разделенный на департаменты, стал жить новою жизнью. Мы видели, что генерал-прокурор Глебов вследствие розыскания крыловского дела не мог оставаться при своей важной должности. 3 февраля Сенат получил указ: «В рассуждении некоторых обстоятельств, касающихся до генерал-прокурора Глебова, ее императорское величество повелевает впредь отправлять генерал-прокурорскую должность генерал-квартирмейстеру князю Александру Вяземскому». Екатерина написала ему собственноручно секретнейшее наставление, которое начинается очень нелестным отзывом о Глебове, причем задет и благодетель его граф Петр Ив. Шувалов. Выходка против Шувалова показывает такое сильное раздражение, вынесенное из прошедшего, которое заставило забыть, что подобная выходка в инструкции генерал-прокурору вовсе не у места. «Прежнее худое поведение, корыстолюбие, лихоимство и худая вследствие сих свойств репутация, недовольно чистосердечия и искренности против меня нынешнего генерал-прокурора – все сие принуждает меня его сменить и совершенно помрачает и уничтожает его способность и прилежание к делам; но и то прибавить должно, что немало к тому его несчастию послужили знаемость и короткое обхождение в его еще молодости с покойным графом Петром Шуваловым, в которого он руках совершенно находился и напоился принципиями хотя и не весьма для общества полезными, но достаточно прибыльными для самих их. Все сие производит, что он более к темным, нежели к ясным, делам имеет склонность, и часто от меня в его поведеньях много было сокровенного, чрез что по мере и моя доверенность к нему умялась; а вреднее для общества ничего быть не может, как генерал-прокурор такой, который к своему государю совершенного чистосердечия и откровенности не имеет; так как и для него хуже всего не иметь от государя совершенной доверенности, понеже он по должности своей обязывается сопротивляться наисильнейшим людям, и, следовательно, власть государская – одна его подпора. Вам должно знать, с кем вы дело иметь будете. Ежедневные случаи вас будут ко мне предводительствовать (т.е. приводить), вы во мне найдете, что я иных видов не имею, как наивысшее благополучие и славу отечества, и иного не желаю, как благоденствия моих подданных, какого б они звания ни были, мои мысли все к тому лишь только стремятся, чтоб как извнутри, так и вне государства сохранить тишину, удовольствие и покой. Увидя и от вас верность, прилежание и откровенное чистосердечие, тогда вы ласкать себя можете получить от меня поверенность беспредельную. Я весьма люблю правду, и вы можете ее говорить, не боясь ничего, и спорить против меня без всякого опасения, лишь бы только то благо произвело в деле. Я слышу, что вас все почитают за честного человека, я же надеюсь вам опытами показать, что у двора люди с сими качествами живут благополучно. Еще к тому прибавлю, что я ласкательства от вас не требую, но единственно чистосердечного обхождения и твердости в делах. В Сенате найдете вы две партии; но здравая политика с моей стороны требует оные отнюдь не уважать, дабы им чрез то не подать твердости и они бы скорее тем

исчезли, а только смотрела я за ними недремлемым оком, людей же употребляла по их способности к тому или другому делу. Обе партии стараться будут ныне вас уловить в свою сторону. Вы в одной найдете людей честных нравов, хотя и недальновидных разумом; в другой, думаю, что виды далее простираются, но неясно, всегда ли оные полезны. Иной думает, для того что он долго был в той или другой земле, то везде по политике той его любимой земли все учреждать должно, а все другое без изъятия заслуживает его критики, несмотря на то что везде внутренние распоряжения на нравах нации основываются. Вам не должно уважать ни ту ни другую сторону, обходиться должно учтиво и беспристрастно, выслушать всякого, имея только единственно пользу отечества и справедливость в виду, и твердыми шагами идти кратчайшим путем к истине. В чем вы будете сумнительны, спроситесь со мною и совершенно надеетесь на Бога и на меня, а я, видя такое ваше угодное мне поведение, вас не выдам... Все места и самый Сенат вышли из своих оснований разными случаями как неприлежанием к делам моих некоторых предков, а более случайных при них людей пристрастиями. Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных; а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства, деньги, деревни – одним словом, почти все – и утеснял прочие судебные места в их законах и преимуществах, так что и мне случилось слышать в Сенате, что одной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в Сенат представить, до чего, однако ж, я тогда не допустила, но говорила господам присутствующим, что сему радоваться надлежит, что закон исполняют. Через такие гонения нижних мест они пришли в толь великий упадок, что и регламент вовсе позабыли, которым повелевается против сенатских указов, если оные не в силе законов, представлять в Сенат, а напоследок и ко мне. Раболепство персон, в сих местах находящихся, неописанное, и добра ожидать невозможно, пока сей вред не пресечется. Одна форма лишь канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет. Сенат же, вышед единожды из своих границ, и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть надлежит. Может быть, что и для любочестия иным членам прежние примеры прелестны, однако ж покамест я жива, то останемся, как долг велит. Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитая общее добро своим собственным, а другие все, по слову евангельскому, наемники есть».

Первый шаг князя Вяземского на новом поприще был неудачен. 30 января произошло разногласие между сенаторами: девять сенаторов полагали, чтоб генерал-рекетмейстеру принимать только такие прошения, которые означены в его инструкции, а прочие по разным в Сенате делам принимать в силу указов по департаментам обер-секретарям; но другие пять сенаторов подали мнение, что все челобитные принимать одному генерал-рекетмейстеру. Эти мнения 13 февраля читаны были в Сенате в присутствии императрицы, и, несмотря на старания согласить сенаторов, каждый из них остался при своем мнении. После этого князь Вяземский поднес дело на высочайшее рассмотрение, и притом представил свое мнение, что и он согласен с пятью сенаторами, чтоб все челобитные принимать

одному генерал-рекетмейстеру. Екатерина написала на доношении: «Генерал-рекетмейстеру поступать по своей инструкции, а челобитные принимать по департаментам».

30 июля императрица, присутствуя в Сенате, произнесла решение, прекращавшее домогательства потомков на возвращение имений, конфискованных у предков их, решение, согласное с решением на просьбу Мировича. В 1727 году отображены были имения у вдовы гетмана Скоропадского; дочь Скоропадских, как известно, была за графом Толстым; теперь секунд-майор гвардии граф Толстой от своего имени и от имени всех племянников бил челом о возвращении им имений Скоропадского как наследникам. Императрица указала: «Как те маестности отписаны и другим розданы по именованным указам, то если, сверх того, ныне возобновлять наследство гетмана Скоропадского, то уже ничего твердого быть не может, и для того имение остается за теми, за кем оно донныне состоит».

В инструкции кн. Вяземскому императрица, между прочим, говорила: «Весьма по обширности империи великая нужда состоит в умножении циркуляции денег, а у нас ныне по счетам Монетного департамента не более 80 миллионов серебра в народе, которую сумму, расположив по числу людей, придет по 4 рубля на человека, если еще не меньше. Разные были проекты, из которых наконец вышла медная монета, на которую много очень жалобы, однако ж, пока не будет знатного умножения серебра в государстве, сей вред сносить должно, а ныне об оном стараться надлежит, как уж и начато, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинаковую цену, так как и разных цен одного весу и металла; да чтоб серебро возможным способом вовлечь в государство так, как, например, хлебным торгом, как о том и комиссии, и коммерции уже приказано. О выписывании серебра иного сказать не могу, как только, что сия материя весьма деликатна и многим о сем неприятно слышать, однако ж вам надлежит и в сие дело вникнуть». В самом начале года велено было делать золотую монету так, чтоб внутренняя доброта была точно в 15 раз больше против серебряной; золотую монету делать 88-ю пробой, каждый империял (10 рублей) весом по 3 золотника и по 3/44 доль, а полуимпериял – по одному золотнику и по 47/88 доль; серебряную монету делать 72-ю пробой.

Доходы прошлого 1763 года простирались до 16507381 рубля; доходы 1764 года увеличились до 21593136 рублей. Несмотря на то, по-прежнему были в затруднении относительно удовлетворения государственным нуждам. Коммерц-коллегия донесла Сенату, что Академия художеств требует из определенной для нее годовой суммы в 20000 рублей из таможенных сборов за минувший январь и февраль месяцы 3333 рубля 33 коп., но таможенные сборы отданы были на откуп на шесть лет по нынешний 1764 год из сложности сбора трех лет с наддачею 170000 рублей в год, а из этой суммы велено вносить в Комнату ее императорского величества 150000 рублей да в Московский университет 20000; а по вступлении таможенных сборов в казну, где и надданной суммы никакой уже нет, велено помянутые 150000 по-прежнему вносить в Кабинет, и Коммерц-коллегия еще 20000 на Академию художеств отпустить не смеет. Сенат также не посмел разрешить и подал доклад императрице, которая велела отпустить деньги. Именованным указом велено было из процентных денег Коммерческого банка отпустить 10400 рублей на канал между реками Волховом и Сясью, но фельдмаршал Миних донес о крайнем недостатке денег для работ при

Балтийском порте: каторжные невольники находились в самом бедственном состоянии вследствие невыдачи им на нынешний год никакой одежды и обуви; Миних требовал на содержание невольников годовой суммы 30751 рубль да на уплату за подряженные и принятые материалы 16131 рубль; а хотя из Адмиралтейской коллегии и отпущено 30000 рублей, но эти деньги велено употреблять на одно только мольное сооружение и самонужнейшие работы, и потому он, Миних, на другие расходы употреблять их смелости не имеет. Сенат отвечал, что из отпущенных по именному указу 30000 рублей теперь употреблять только на самые необходимые расходы, именно на содержание каторжных невольников и приготовление для них одежды и обуви; ему, графу Миниху, уже запрещено было впредь до указа делать подряды, и это запрещение теперь подтверждается, и должен он подать в Сенат ведомость, на какие материалы подряды сделаны и на какую сумму. Но чрез несколько дней тот же Миних представил Сенату донесение из канцелярии Ладожского канала о совершенном обветшании канала. Сенат приказал: так как граф Миних представляет единственно на основании донесения канцелярии канала, без собственного осмотра и так как возобновление Ладожского канала есть дело государственное, очень нужное, то послать графу Миниху указ, что Сенат рекомендует ему, если здоровье позволит, Ладожский канал осмотреть самому и подать в Сенат смету с мнением. Новгородский губернатор Сиверс требовал увеличения штата своей канцелярии, Сенат отказал. Эта экономия была необходима, ибо в августе Штатс-контора потребовала указа об отпуске заимообразно из присутственных мест 250000 рублей до получения из губерний подлежащих Штатс-конторе сборов; Сенат приказал выдать требуемую сумму из Экспедиции передела медных денег; а в октябре Сенат решил доложить императрице, что за крайним недостатком денег в Штатс-конторе следует выдавать пенсии из сумм коллегии Экономии, а на пенсию нужно 72000.

О беспорядке, какой был в Камер-конторе, узнаем из ее донесения Сенату: оставшиеся в коллегии после умерших повытчиков без принятия другими повытчиками и без решения с 732 по 753 год счета с документами во время пожаров с прочими делами снашиваны без разбору и переключиваны из одного места в другое. С 1753 года коллегия, сколько ни старалась разобрать их и сделать пересмотр, не могла, однако, привести в надлежащий порядок, тем более что в книгах листы погнили, а иные изодраны, документов и выписей большею частию нет, и вперед, сколько в этом ни упражняться, труд будет бесполезный. Решивши подать доклад, чтоб дела эти оставить без разбора и, запечатав, хранить в архиве для справок, Сенат прибавил: в представлении Камер-коллегии показано, что счета остались после умерших повытчиков без принятия их преемниками, которые должны были принять их и немедленно описать их порядочно, но этого не было сделано, что причитается за крайний беспорядок бывшим тогда присутствующим, и хотя нельзя думать, чтоб впредь могли произойти такие неисправности и упущения, однако Сенат почитает долгом своим напомнить Камер-коллегии, чтоб в хранении дел и произведении счетов в свое время поступаемо было с крайнею внимательностию. О беспорядках по шталмейстерскому управлению говорит императрица в письме своем к Елагину: «Иван Перфильевич! Подал мне Репнин чрез шталмейстера Нарышкина доклад о их недостатках, прося денег... Пожалуй, вникни в их домостройство или

домонестройство, да притом знай, что я ведаю от штатс-конторского прокурора, что они уже все 1765 года получили или, лучше сказать, забрали, а я запретила тамо (чего они не знают) им более вперед дать; да, сверх того, Репнин всякой день принимает снова всяких распудренных дворянчиков, которые ничего не смыслят, кроме петиметрства».

В инструкции кн. Вяземскому императрица говорила: «Великое отягощение для народа есть соль и вино на таком основании, как оные ныне находятся. В корчемстве столько винных, что и наказывать их почти невозможно, понеже целые провинции себя оному подвергли, а что пресечь нельзя, не худо к тому изыскивать способы к отправлению и облегчению народному». 23 марта учреждена была Комиссия для рассмотрения государственных соляных и винных сборов. В инструкции комиссии говорилось: «Полагая за главное всему делу правило, что винным и соляным сборам неотменно быть должно, изыскивать вообще такие средства, чтоб оные сборы казне соблюдены и умножены, а притом бы и народу не в тягость были».

Относительно банков Сенат получил два указа императрицы: «1. При учреждении государственных банков определено, что и партикулярные люди могут свои деньги приносить в них для отдачи в рост, и потому от многих, в том числе и от Воспитательного дома, несколько и получено. Ее императорское величество, желая у партикулярных людей отнять всякое сомнение и утвердить банковый кредит, повелевает такие приносимые деньги раздавать особо, не мешая с казенным капиталом, и получаемые с них проценты, равно как и самые капиталы, не только никуда по присылаемым указам в расход не употреблять, но и в казне отнюдь не держать, а раздавать также в рост, присовокупляя проценты к капиталу, или возвращать вкладчикам по их желанию и Воспитательному дому и прежде истечения сроков возвращать без всякой остановки по востребованию, все же сие так твердо содержать, что, хотя иногда нечаянно и за подписанием ее императорского величества прислан был бы указ в противность оного, не исполнять, а представлять ее императорскому величеству. 2. Так как многие купцы явились неисправны в платеже своих долгов по Коммерческому банку, а некоторые и ненадежны, то ее императорское величество 4 марта 1764 года повелела оному банку быть в ведомстве всей Коммерц-коллегии; и хотя к первоположенному капиталу 500000 и числится ныне всей суммы и с капиталом 802720 рублей, из которых не прошли еще некоторые сроки, но просроченных уже явилось более 382 рублей. Из таких обстоятельств банка сего ее императорское величество предусматривает потерю немалого капитала. Для сих причин и надзирание всей коллегии ее императорское величество почитает не за довольное еще средство к поправлению сего дела, потому что при многих голосах наблюдение канцелярского порядка в употребляемых ко взысканию казенных долгов средствах может произвести излишнюю потерю времени, а паче всего действие по точности указов не дозволяет иметь никакого снисхождения в таковых случаях, где иногда можно по рассмотрению, чиня надежные отсрочки, и казну удовольствовать, и купца не разорить. Чего ради ее императорское величество повелевает Купеческому банку быть в ведомстве камергера графа Николая Головина, чтобы оный просроченные деньги и с интересами их собрал вместе с президентом Коммерц-коллегии Евреиновым и принимали такие меры, чтоб купцам надежным разорения не учинить, ни казна б не потерпела».

Сенат должен был напоминать Мануфактур-коллегии указ Петра Великого 1724 года о донесении в Сенат по два раза в год, приходят ли фабрики и мануфактуры в совершенство и какое производство где и когда размножено. Берг-коллегии было подтверждено указом, чтоб она употребила всевозможное старание о заведении и размножении в России стальных и железных фабрик и сравнивать их произведения с произведениями штейерских фабрик, ибо екатеринбургская сталь, из которой делаются ружья, уступает штейерской, а делаемые на демидовских заводах косы хуже немецких и расходу на них мало. Вице-президент Мануфактур-коллегии Сукин донес, что в этой коллегии не только по многим сенатским указам исполнения не сделано, но и по именному указу о мануфактурах и купечестве по собранным известиям еще сочиняется выписка; а президент Мануфактур-коллегии известный Волков объявил, что коллегия без его советов продолжает раздавать привилегии на заведение новых фабрик, и требовал, чтоб не для его персоны, но из уважения к указу и для службы ее императорского величества коллегия поступала не так решительно, а спрашивала его согласия. Сенат приказал потребовать ответа у коллегии. Дело шло о позволении кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику, и коллегия отвечала, что хотя рассуждение об этом в ней и происходило, однако решительного определения подписано не было и позволения кн. Долгорукову не дано.

Новый вице-президент конторы Главного магистрата кн. Мещерский донес, что по вступлении его в присутствие он нашел, что контора: 1) не имеет у себя настольного реестра нерешенным делам; 2) реестра законам, которыми должен руководствоваться Главный магистрат; 3) списка колодникам; 4) по должности регистратора и архивариуса ничего нет к исполнению; 5) настольного реестра денежной казне нет; 6) протоколы не переплетены; 7) нет ведомости, сколько купечества находится в ведении конторы и на какую сумму простираются положенные на него оклады; 8) архив представляет комнату, где по полу валяются дела в кульках и связках; 9) денежная казна охраняется только тем одним, что сундуки стоят в Судейской палате; 10) команда солдатская как для охранения денежной казны, так и колодников такая, что до 20 человек колодников распустила, а теперь подают донесения о побеге колодников, которые бежали еще в прошлом году; 11) секретарь Таушев от старости исполнять должность не может, а секретарь Петров по нерасторопности у таких дел, которые требуют скорого решения по вексельному праву, быть не способен. 25 человек купцов подали в Сенат жалобу на Коммерц-коллегию, что она не определяет купца Сушенкова браковщиком пеньки и льна; Коммерц-коллегия в ответ просила дать ей сатисфакцию за ложное на нее челобитье, потому что Сушенков не определен по неимению места, и так уже трое браковщиков лишних. Приказали: Сушенкову объявить, что нет места и потому его определить нельзя, а когда будет место, то просить ему в Коммерц-коллегии.

1764 год был замечателен в истории русской внешней торговли появлением первого русского корабля на Средиземном море, ибо до сих пор далее Кадикса ни один русский корабль – ни военный, ни торговый – не бывал. Образовалась компания тульского купца Владимирова с другими тульскими же купцами для непосредственного торга с Италией чрез Средиземное море. Императрица на свое иждивение построила для компании фрегат о 36 пушках. Фрегат этот, названный

«Надежда благополучия», отправился нагруженный русскими товарами (железом, юфтью, парусными полотнами, табаком, икрой, воском и канатами) из Кронштадта 11 августа в Ливорно под команду капитана Плещеева. Фактором компании в Ливорно был казанский купец Пономарев, который прислал в Петербург известие, что 20 ноября фрегат прибыл в Ливорно благополучно и 24 ноября, в Екатеринин день, происходила в греческой ливорнской церкви торжественная служба на русском языке, служил иеромонах с фрегата, служил в богатом облачении, присланном императрицею в греческую церковь.

Коммерц-коллегии дан был именной указ: *для пользы купечества* ввести здесь в употребление печатные листочки о ценах товаров, называемые прейскуранты, на потребные же к сему расходы принять оной коллегии от Кабинета нашего 200 рублей. Постановление издано как новое, не знали, что повторяют предписание Петра Великого. Императрица *для пользы купечества* велела разослать безденежно во все гильдии купеческие напечатанную на русском языке книгу «Описание торгу амстердамского». Новая Комиссия о коммерции вспомнила указ Петра Великого и приняла тоже за самонужнейшее и полезнейшее дело, чтоб русским молодым купеческим детям путешествовать по славным своею торговлею государствам и городам, и если б кто пожелал сына своего посадить в чужих краях в контору купеческую на несколько лет для обучения теории и практике, то не только этого не запрещать, но почитать за похвальное и полезное отечеству дело.

Но прежде чем посылать детей своих учиться в заграничные конторы, астраханские купцы чрез магистрат свой подали в Сенат просьбу позволить им держать у себя покупных людей с платежом подушных, ибо по неимению поблизости уездов без своих покупных людей всех своих промыслов лишиться могут. Сенат приказал: старых держать, а новых не покупать (кроме крещеных калмыков), а астраханскому губернатору велеть рассмотреть, надобно ли на будущее время дать им позволение покупать у помещиков людей для употребления их в матросы, и при своем мнении в Сенат приложить ведомость, сколько до сих пор тамошним купечеством заведено мореходных судов и сколько требуется на них матросов. Тогда же позволено было купцу Федорову удержать троих людей, купленных им для обучения матросскому ремеслу, но подтверждено, чтоб он мореходное судно непременно построил, а иначе велено будет ему продать этих людей тем, кому можно их держать.

Так продолжал тяготеть над русскою землею исконный ее недостаток, недостаток в людях, в рабочих руках, невозможность добыть вольнонаемного работника. Надобно было содержать землю военного человека и надобно было прикрепить к этой земле работника; надобно было завести фабрику – надобно было приписать к ней крестьян; надобно было поощрить мореплавание, постройку мореходных судов – надобно было дать крепостного матроса, вольного рабочего не было, и не было ему нужды идти в трудную и непривычную работу.

Но где историк видит рабство, там и без свидетельств должен предполагать бегство и возмущение. Пришла ведомость, что в 1763 году из уездов Ржевы Пустой и Заволочья бежало за рубеж 84 человека помещичьих крестьян и людей; зато добровольно явилось из Польши беглых 500 человек. Этих выходцев нужно было двигать дальше на восток, потому что в прежних местах их жительства места не было: в псковских дворцовых волостях не только не нашлось пустых

земель, но сами крестьяне нанимали пахотную землю и сенокосы у *псковских козаков*, у помещиков и монастырей дорогою ценою. Несмотря на сильные меры, принятые русским правительством для возвращения беглых из польских владений, в конце года воеводская канцелярия Ржевы Пустой и Заволочья донесла, что чрез форпосты лесами выходят из Польши воры, разбойники и беглые солдаты, разбивают помещиков и крестьян, крадут пожитки, скот и, подговаривая, проводят в Польшу беглых; в нынешнем году, писала канцелярия, особенно много людей оказалось в бегах и воровстве; в Польше беглым и разбойникам главное пристанище в Полоцком и Невельском поветах, в имениях князя Радзивилла. Города Невля, принадлежащего Радзивиллу, губернатор Бобятинский под видом услуги русскому правительству заберет в Польше русских беглецов семей по одной и по две, привезет на границу и требует за них по 30 и 20 рублей, а без того не отдает; отдаст одну семью, а вместо того примет 10 или 20 беглых русских семей. Тот же Бобятинский присылает в русские уголья крестьян своих, насильственно рубит и увозит строевой лес.

Мы видели, что еще при Петре Великом была попытка закрепить половников на севере, но не удалась, теперь эта попытка опять повторяется, и также неудачно. Первый департамент Сената определил, что свободный переход половников из чернососных крестьян от владельца к владельцу не полезен, надобно его запретить, оставить их жить на тех местах, где кто до сих пор поселился, и уравнивать их с государственными чернососными крестьянами, а у купцов, если они купили земли вопреки указам, кроме жалованных и написанных по писцовым книгам, отобрать в казну. Но в общем собрании все сенаторы объявили, что из чернососных крестьян выходят в половничество совершенно бедные, неудовольствия от этого до сих пор никакого не было, надобно только наблюдать, чтоб крестьяне жили в половниках по доброй их воле; однако сенаторы первого департамента кн. Яков Шаховской и Адам Олсуфьев остались при своем мнении.

Императрица узнала, что крестьяне терпят притеснения от проходящих войск, принуждаются к бесполезным работам. Следствием была следующая записка к вице-президенту Военной коллегии графу Чернышеву: «Прикажите накрепчайшим образом исследовать по приложенному при сем письму, и если найдется, что оно так, как здесь написано, то не забудьте образец сделать для дисциплины и чтоб наши перестали наших грабить; и какая нужда теперь может быть, чтоб чрез болота делать мосты: ныне и петербургские болота засохли».

Несмотря на известный рассказ Екатерины о ее распоряжении в Сенате насчет ревизии, ревизия шла не очень удачно: в начале марта Сенат доложил, что 16 января по высочайшему повелению отправлены нарочные курьеры и велено с ними прислать в Сенат краткие ведомости по форме, сколько до сих пор по поданным сказкам оказалось душ, но, кроме Астраханской губернии, ни один курьер ниоткуда еще не возвращался, и из присланных разными губерниями доношений видно, что во многих местах еще очень мало сказок собрано, а Сибирская губернская канцелярия доносит, что по обширности губернии не скоро их и собрать может. В следующем месяце императрица велела публиковать во всем государстве с накрепчайшим подтверждением, чтоб все не поданные до сих пор ревизские сказки непременно поданы были к 1 сентября. По поводу ревизии из некоторых мест приходили известия, вскрывавшие в народонаселении остатки

допетровской старины; так, Великолуцкая канцелярия объявила, что являются ревизские сказки от козачьих и рейтарских недорослей и прочих чинов, которые не верстаны поместным окладом, а иные хотя и верстаны, да положены в подушный оклад. Сенат приказал: всех имеющихся за козачьими и рейтарскими недорослями крестьян определить в подушный оклад, а для чего означенным людям в противность указам до сих пор дозволено иметь крестьян, о том губернатору представить в Сенат.

Печальные известия о беспорядках в областях, особенно отдаленных, привели императрицу к мысли сосредоточить власть в руках губернаторов, ибо по немногочисленности тогдашних губерний она могла надеяться на достаточное число людей, достойных ее доверенности. До нас дошла любопытная записка Екатерины к Елагину: «Слушай, Перфильевич! Если в конце сей недели не принесешь ко мне наставлений или установлений губернаторской должности, манифест против кожедирателей да дело Бекетьева совсем отделанные, то скажу, что тебе подобного ленивца на свете нет да никто столько ему порученных дел не волочит, как ты». Наконец Перфильич принес «Наставление губернаторам», которое было обнародовано 21 апреля. Наставление начинается указанием неоспоримой истины, что «все целое не может быть отнюдь совершенно, если части его в беспорядке и неустройстве пребудут; главные же части, составляющие целое отечество наше, суть губернии, и они самые те, которые более всего поправления требуют». Императрица обещает со временем произвести это поправление, а теперь пока самым нужным делом считает дать новые правила для губернаторов. Губернатор называется поверенною от государя особою, главою и хозяином всей губернии. Относительно взяточников в наставлении говорится: «Хотя о душевредном лихоимстве и гнусных взятках многими строжайшими указами обнародовано, и мы особливо ныне надеемся, что все наши верноподданные, чувствуя материнское наше определением достаточного им жалованья милосердие, не прикоснутся к толь мерзкому лакомству, прелестному только для одних подлых и ненасытным сребролюбием помраченных душ. Однако если б в которой губернии против чаяния нашего таковой враг отечества и явился, то по прямом изобличении в малом ли или великом лихоимстве может его губернатор не только немедленно лишить места, но и при своем доношении отослать к должному осуждению в юстицию». В чрезвычайных случаях, как-то: при пожаре, голоде, наводнении, моровой язве, сильных разбойничьих движениях, при народном возмущении, губернатор принимает главное начальство над всеми служащими и неслужащими в его губернии находящимися людьми до тех пор, пока такое приключение прекратится. Относительно сосредоточения власти в руках губернатора говорится: «Как в рассуждении великого империи нашей пространства, не бывав во всех губерниях и провинциях, лежащих в разных климатах и разными выгодами довольствующихся, заочно невозможно ни всех польз провидеть, ни всех неустройств отвратить, ниже достаточно снабдить предосторожностью, то для того все земские правительства, находящиеся в губерниях, кроме Москвы и Петербурга, которые губернским канцеляриям не подчинены, как, например, таможни, магистраты, пограничные комиссии, полиции и ямские правления – словом, все, какого б звания ни были, гражданские места отныне должны состоять в ведомстве губернатора как истинного опекуна врученной от нас ему губернии, дабы он, получая от них рапорты и подробные о

должностях и порядках их известия, точные обо всем сведения иметь и утесненных людей, не могущих за отдаленностию идти с жалобами своими к вышним тех мест правительствам, защищать и оборонять мог. Сверх того, губернатор, имея о всех до губернии его касающихся делах и обстоятельствах прямые от всех известия, а из того собирая понятия и познания и чрез них предусматривая согласно с выгодами, торгами и промыслами ее обитателей разные пользы, как к приращению нашего интереса, так и к общему добру служащие, Сенату нашему и нам самим о том представлять, а вкрадшиеся непорядки или и самое упущение и недостаток в узаконениях подобными же представлениями исправлять и отвращать может, ибо он во всем том пред нами яко хозяин своей губернии отчет и ответ дать долженствует и незнанием или непроницательством отговариваться не может». Губернатор должен объезжать свою губернию каждые три года, наблюдая, все ли, как должно, исполняют свои обязанности. Губернатор должен заботиться о земледелии «как источнике всех сокровищ и богатств государственных и о размножении свойственных каждой губернии и провинции продуктов, отпускаемых за моря». Губернатор заботится об исправности дорог, об истреблении воров и разбойников. О количестве последних можно заключить из слов самого наставления: «Материнским соболезна духом, мы повелеваем каждому губернатору прилагать паче всего всевозможнейшие меры и попечения к истреблению таковых отечеству и всему роду человеческому злодеев, выведывая и искореняя их пристани». Относительно воевод отменен был указ 1672 года, по которому нельзя было назначать воевод в те местности, где у них были деревни. В конце года валуйский воевода Клементьев за взятки был лишен всех чинов. Подполковник Свечин, посланный в Казанскую губернию для осмотра дубовых лесов, доносил определенные к новокрещеным защитники и их подчиненные вместо защиты разоряют новокрещен взятками и поборами, именно: надворные советники Зеленый, Сокольников, майоры Ларионов, Воропонов, Лазарев, титулярный советник Мякишев, поручик Алексеев, прапорщики Яшков, Шипилов, регистраторы Гаврилов, Чеадаев. Сенат приказал: исследовать казанскому губернатору, а защита отрешена и новокрещенская контора уже уничтожена.

Правительство постоянно указывало на новые штаты как на средство против взяточничества, но последовательность требовала отнять у чиновника побуждение копить денежку на черный день, на старость и болезнь, копить на счет просителей и подчиненных, последовательность требовала назначения пенсий, и пенсия была назначена статским чинам за 35 лет службы или менее в случае болезни.

В 1764 году окончила свое дело комиссия о церковных имениях, или Духовная комиссия. Указом Сенату 26 февраля императрица объявляла об утверждении доклада комиссии. Монастырских крестьян было исчислено до 911000, исключая Малороссии и губерний: Харьковской, Екатеринославской, Курской и Воронежской, где исчисление было произведено позднее; каждый крестьянин обложен был оброком по рублю 50 копеек в год, что доставляло сумму в 1366299 рублей. Так как архиерейские дома имели крестьян и должны были получать за них вознаграждение в постоянном окладе, то все епархии разделены были на три класса: в первый зачислены были только три епархии – Новгородская, Московская и Петербургская; во второй – 8 и в третий – 15; на все архиерейские дома отчислено было в год по 149586 рублей. Всех монастырей было 947, из них

мужских – 728, женских – 219, но из них большая часть не имела населенных земель, а из имевших некоторые имели очень много крестьян, а другие очень мало. Имевшие крестьян монастыри и, следовательно, имевшие право получить за них вознаграждение в постоянном денежном окладе вошли в число штатных и разделены были на три класса: в первом мужских считалось 15 монастырей, во втором – 41, в третьем – 100; на все эти штатные монастыри положено было выдавать в год 174750 рублей; женские монастыри были также разделены на три класса, и на них назначено было в год 33000 рублей. Монастыри, не имевшие крестьян, оставлены были на прежних своих средствах существования, и из них остался только 161 монастырь, а прочие были упразднены или обращены в приходские церкви. Каждый архиерейский дом должен был иметь богадельню с определенным по классам епархий количеством призреваемых; всех богаделенных обою пола полагалось 765 человек, каждому шло по 5 рублей в год, следовательно, вся назначенная для них из коллегии Экономии сумма простиралась до 3825 рублей. Содержание отставных военных при архиерейских домах и в монастырях признано неудобным, «ибо духовным властям таковых отставных, яко воинских людей, в надлежащем порядке содержать, а тем военным людям в спокойствии под правлением и смотрением духовных быть весьма несходственно. К тому же отставные, имеющие у себя жен и детей, с трудом могут себя положенным окладом про довольствовать, и для того дети их принуждены скитаться по миру или кормиться работою у посторонних людей, а другие к вотчинникам в подушный оклад записывались». Поэтому решено было отставных военных отправлять не в монастыри, а в назначенные города числом 31 город, где им на первый раз отводились квартиры у обывателей, и давать жалованья: гвардии обер-офицерам – по 100 рублей, унтер-офицерам – по 20, капралам и рядовым – по 15; армейских полков подполковникам – по 120 рублей, майорам – по 100, капитанам – по 65, поручикам – по 40, подпоручикам и прапорщикам – по 33, унтер-офицерам – по 15, рядовым – по 10 рублей. Число таких отставных военных было определено именно 4353 человека, а сумма, на них отпускаемая, должна была простираться до 80600 рублей. Право на такое «вечное пропитание» из субалтерн-офицеров имели те, у которых было меньше 25 душ крестьян, из капитанов – меньше 30, а из штаб-офицеров – меньше 40 душ, включая в то число недвижимые имения, принадлежащие женам их. Вдова, оставшаяся после военного, если имеет не более сорока лет, а недвижимое имение ее не больше вышеозначенного, получает один раз годовое жалованье мужа; если же старше 40 лет и замуж идти не захочет, то получает по смерти осьмую долю мужнего жалованья; дети мужского пола до 12, а женского до 20 лет получают двенадцатую долю отцовского жалованья; с 12 лет мальчики поступают в школы, девицы выдаются замуж с приданым, равняющимся целому годовому жалованью отца их; если же по болезни или какому-нибудь увечью замуж идти не могут, то получают по смерти двенадцатую долю отцовского жалованья. Сумма, определенная на содержание вдов и сирот, простиралась до 34400 рублей. Устройством семинарий комиссия не имела еще возможности заняться, и потому это дело отложено было на будущее время.

Отобрание монастырских населенных имений оправдывалось и тем, что излишек доходов с них пойдет, между прочим, на содержание заслуженных воинов; поэтому легко представить себе беспокойство императрицы, на которую

падала ответственность за эту меру, когда ей донесли, что мера лишается своего оправдания, что инвалиды ходят по миру; она не могла успокоиться и тогда, когда справедливость донесения была официально отвергнута.

В конце ноября Екатерина дала секретную инструкцию капитану и поручику Семеновского полка Дурново: «Ехать вам надлежит отселе в Москву. Приехав туда, наведываться вам под рукою, есть ли на Москве остаточные сверх определения в инвалиды отставных солдат, прежде при монастырях живущих. Здесь слух носится, будто комиссия Духовная менее положила инвалидов, нежели при монастырях солдат было, и многие сотни остались без хлеба и по миру по Москве будто шатаются, почему от меня к графу Солтыкову писано и от него ко мне прислан рапорт, из которого противное значит; однако ж как Михаил Баскаков сам таковых милостыни просящих видел, то ныне вас посылаю, чтоб вы истину узнали, о таковых проводывали и, сколько возможно, именно их переписывали и обнадеживали их, что они мною не оставлены будут, а вы мне пришлите роспись и подавайте такую же графу Солтыкову, которому уже от меня приказано на первый случай выдать по два рубля на человека... Из Москвы поедете в Александрову слободу под видом богомольства, где вам проведовать, много ли стариц сверх штатных, сколько им дается и в чем их нужды состоят, и, обнадеживая их немедленным моим о том рассмотрением, приезжайте обратно сюда».

Раскол постоянно давал о себе знать. Крестьяне деревни Любача Медвецкой волости в Новгородской губернии, собравшись в количестве 35 душ в избу к крестьянину Ермолину, объявили, что сожгутся. Послан был поручик Копылов с командою; ему велено уговаривать их, обещать, что если они запишутся в раскол и подадут о том сказки, то будут отпущены по домам без всякого наказания за сборище; для увещания отправлены были также архимандрит и протопоп, но раскольники объявили: «Ваша вера неправая, а наша истинная христианская, крест четвероконечный прелестный, почитаем осьмиконечный, да и в Божественном Писании у вас много неправостей, и если нас станут разорять, то мы не дадимся и сделаем то, что Господь прикажет; а если нас разорять не станут, то мы гореть не хотим; пусть дадут нам грамоту за рукою государыни, чтоб быть нам по-прежнему, а в двойном окладе не быть и в церкви ходить нас принуждать не будут». На дворе вырыли себе колодезь, а в избе и на дворе днем и ночью горела свеча; потом пришли к ним еще 26 душ мужчин и женщин и заперлись вместе. 20 августа раскольники просили Копылова позволить им сходить в огород взять себе капусты и других овощей, что и было им позволено. Вышли из избы человек 20 мужчин и женщин с ружьями, рогатинами, топорами и дубинами и, набравши себе капусты и других овощей, возвратились в избу и опять заперлись, а на другой день выходили в поле для сбора бобов. Скот, платье и прочие пожитки продали за бесценок или отдали на милостыню, хлеб несжатый пропал. Копылов говорил им не раз, чтобы сжали хлеб, но они отвечали: «Пусть жнет кто хочет, а нас Господь и без того прокормит». Сенат приказал доложить императрице, не прикажет ли забрать их неприметно командою под караул и сослать в Нерчинск; Екатерина написала на докладе: «Выбрать из тамо живущих раскольников, поумнее которые и поблагонравнее, и послать оных уговаривать; а буде сего не послушают, то учинить по сему докладу». Новгородский губернатор Сиверс донес, что в исполнение этого указа сысканы им в Новгороде некоторые к тому

способные люди, которые два раза отпраплялись к запертым раскольникам и наконец успели уговорить их разойтись по домам и записаться в оклад. Мы видели, что Синод смотрел на Ржев Володимеров как на гнездо потаенного раскольниковства. И теперь он потребовал отрешения от магистратского присутствия бургомистра Немилова, ратманов Видонова и Волоскова за содержание ими потаенного раскола и другие противности и продерзости и отсылки их вместе с другими купцами и раскольниками для следствия по требованию тверского архиерея. Сенат передал дело новгородскому губернатору. Оказывалось, что раскольники отбивали своих, за которыми архиерей присылал команду, причем Видонов бранил монахов блудниками и прелюбодеями. Когда на Пасхе священники пришли к Видонову с образами, то он запрестольный образ Богородицы положил себе на плеча, запел бездельную мерзкую песню, велел посадской женке Волосковой эту песню подтягивать, и оба плясали с образом. Тверской епископ Афанасий определил ржевского соборного протопопа Ивана Алексеева наблюдать за потаенными раскольниками. Протопоп начал прилагать об этом ревностное старание. Раскольники рассердились на него за это; трое из них – Иван Меньшой, Климентий Чупятов и Михайло Орлов – подкупили находившихся у ржевских кабацких откупщиков подпоручика Коробьина и отставного матроса Шеварина, с ними, с их солдатами и с кабацкими чумаками пришли к дому протопопа ночью под предлогом выемки запретного вина, разломали ворота и двери, заперли протопопа в избе, сломали у чулана замки, пограбили 84 рубля денег да на 42 рубля пожитков, взяли также поставленный у него на сбережение помещиком Рукиным бочонок вина, самого протопопа били смертно, также двенадцатилетнюю дочь его и малолетнюю служанку, потом связали протопопу руки и, надев на него женскую раскольничью шубу, привезли на квартиру кабацких откупщиков, а после отвезли в воеводскую канцелярию и отдали под караул.

Астраханский епископ Мефодий донес, что раскольник Гаврилов, пойманный в Дубовке, объявил, что до последнего издыхания желает пребывать в расколе, и когда дубовский протопоп с войсковым дьяком стали силою принуждать его поклониться образу св. Димитрия Ростовского, то он вышиб образ из рук дьяка и ударил по нем рукою, от чего образ упал на землю. Губернская канцелярия, куда отослан был Гаврилов, решила, что преступника должно сжечь, но так как смертные казни более не производятся, то наказать кнутом и сослать на Нерчинские заводы. Но Синод определил: так как продерзость раскольника Гаврилова произошла не от собственного его умысла, но потому, что протопоп и дьяк силою заставляли его кланяться образу, то они, и особенно протопоп как человек духовный, больше виновны, а потому протопопа и дьяка, оказавшихся в немалом невежестве и вине, епархиальному архиерею оштрафовать духовную епитимиею, а с Гавриловым губернская канцелярия должна поступить так, как повелевают поступать указы с незаписными раскольниками.

В известной инструкции, данной кн. Вяземскому, императрица. между прочим, говорила: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями; нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было, однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностию глупостию. Сии провинции, также

Смоленскую надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. К тому приступ весьма легкий, если разумные люди избраны будут начальниками в тех провинциях; когда же в Малороссии гетмана не будет, то должно стараться, чтоб век и имя гетманов исчезли, не токмо б персона какая была произведена в оное достоинство».

Эта инструкция, вероятно, была написана уже после того, как получено было известие о происходивших в Малороссии движениях в пользу наследственного гетманства. Это известие должно было если не породить, то утвердить в уме Екатерины мысль о необходимости уничтожения гетманства, «чтоб век и имя гетманов исчезли». Для точнейшего уяснения дела естественно было ей обратиться к человеку, который хорошо знал Малороссию и, вероятно, не раз в разговорах упоминал о тамошнем безнарядье, то был Теплов. Теперь Теплов должен был составить записку об этом безнарядье, которая дошла до нас. В Малороссии, по словам Теплова, все управлялось не правом и законами, а силою и кредитом старшин и обманом грамотных людей. Вследствие такого управления число свободных землевладельцев чрезвычайно уменьшилось, а число крепостных земледельцев, напротив того, увеличилось. При поступлении Малороссии под державу Всероссийскую было населено менее чем вполовину против настоящего, а между тем свободных крестьянских дворов было гораздо больше, чем теперь; свободные козаки обращены в крепостное состояние старшинами и другими чиновными и богатыми людьми. По смерти гетмана Скоропадского по ревизии, произведенной великорусскими офицерами, свободных дворов было 44961. Из этого числа по 1750 год роздано не больше 3000 дворов, что составляет самую малую разность, особенно если принять во внимание увеличение народонаселения; и несмотря на то, нынешний гетман граф Разумовский и четырех тысяч дворов свободных не нашел, о прочих же ему донесено, что все крестьяне в Польшу побежали, где, однако, по достоверным известиям, крестьянам в подданстве у польских панов гораздо труднее жить, чем в Малороссии, потому что польские паны все имение крестьянское почитают своим собственным и берут подати, когда сколько им вздумается. В самом же деле нашлось, что все государевы дворы и с землями раскупили старшина и другие богатые люди у самих мужиков, которые, будучи свободны, по этому самому будто бы могли сами себя и с землями продавать. А так как необходимо, чтоб всякая купчая утверждена была в присутственном месте и подписана сотником той местности, где находится продаваемая земля, то многие фальшивые купчии обличаются и тем, что сотник произведен в этот чин, например, в 1745 году, а купчая скреплена им как сотником в 1737 году. Старшины все это знали, но так как они всячески стараются, чтоб все государевы земли переходили в частные руки, то никакого препятствия этому не делали. Искоренение козаков, т.е. переход их в помещичьи крестьяне, происходило так быстро оттого, что достаточный козак всегда откупался от службы, а недостаточный, избегая ее, предпочитал жить под именем крестьянина, чем идти в поход; кроме того, оставаясь козаком, он должен был платить с имения своего большую подать, которая доходила до рубля и больше, а назвавшись мужиком, не имеющим земель, ни собственности, платил в год алтын или две копейки по раскладке наравне с другими *подсуседками* ; а во всякое время сами козаки плачивали помещикам, чтоб те приняли от них на их земли купчии и таким образом избавили их от обязанности идти в поход.

Малороссийские города, местечки, села, деревни, слободы и хутора с пахотными и сенокосными землями не имеют никакого обмежевания, все основывается на старинном будто занятии и на крепостях, большею частью фальшивых, но иные владеют землями просто вследствие наезда сильного на слабого. Наезды сопровождаются смертоубийствами, что ведет к бесконечным разорительным процессам. Козаки, оставшиеся незакрепощенными, живут разбросанные по разным местам, вдали от своего сотника и находятся в руках разных помещиков. Хотя гетманские универсалы и гласят, что помещикам до козаков и земель их в той деревне или в местечке, которые помещику принадлежат, дела никакого нет, однако есть ли возможность бедному и беспомощному козаку противиться и сотнику в сотне, и сильному помещику в том селе или деревне, где козак живет? Козаки строят сотнику дом, косят на него сено, выставляют подводы, не упоминая о других разорениях. Избрание в сотники происходит таким образом: как скоро придет весть, что сотник умер, то, прежде чем об этом узнает гетман, полковые старшины посылают надобного им человека в сотню для управления сию до определения нового сотника. Этот человек не сомневается, что сотня его, и, приехав на место, выкатывает несколько бочек вина безграмотным козакам, подкупает священника и дьячка, те соберут рукоприкладства от пьяных – и выбор готов. Избранный истратит несколько червонных в высшем месте и утверждается сотником. Эти сотники воспитываются таким образом: люди из лучших фамилий, выучив сына читать и писать по-русски, посылают его в Киев, Переяславль или Чернигов для обучения латинскому языку; не успеет молодой человек здесь немного поучиться, как отец берет его назад и записывает в канцеляристы, из которых он и поступает в сотники, хотя козаки, которые его выберут, и имени его прежде не слыхивали.

Сильно вредит малороссийскому народу вольный переход с места на место; благодаря ему бедные помещики час от часу приходят в большую бедность, богатые усиливаются, а мужики становятся пьяницами, ленивцами и нищими, которые в благословенной плодородием стране умирают с голоду. Богатые землю помещики населяют ее таким образом: определенный для того служитель идет переманивать крестьян у бедных помещиков, прельщая их большими льготами, что удается очень легко, потому что бедный помещик заставляет крестьянина своего больше работать, чем богатые; или богатый помещик выставит на пустой земле своей большой деревянный крест, на котором для грамотных напишет, а для неграмотных проверченными скважинами означит, на сколько лет он обещает новопоселившимся льготы от всех оброков и господских работ. Ленивые мужики не перестают наведываться, где выставлен крест, на поселение слободы и, проведая, выбирают место, которое им покажется льготнее. Таким образом вылеживает мужик урочные годы в крайней лениности, а к концу срока проведывает о новой кличке на слободку, ищет нового креста и, таким образом, весь свой век нигде не заводит никакого хозяйства, а таскается от одного креста к другому, перевозя свою семью. Они не заводят у себя никакого домоводства и потому, чтоб удобнее было с места на место подняться, ибо переход надобно сделать тайком от помещика, который под предлогом, что крестьянин все свое имение нажил на его земле, как скоро узнает о намерении его перейти, грабит все его имение. Так поступают помещики несильные; а сильные, заманивши однажды на свою землю мужика, много и других способов имеют не выпустить его от себя. Таким

образом, в плодородной Малороссии земледелец терпит голод, убогий помещик в большую бедность впадает, а богатый усиливается числом подданных, государственная же выгода не только не возрастает, но час от часу уменьшается.

Теплов оканчивает свою записку так: «Сии суть только генерально показанные непорядки в малороссийском народе; но ежели бы нужда востребовала все сие яснее показать, то надлежит только заглянуть в течение их судовых дел, в произведение государевых повелений и во внутреннюю их собственную экономию, тогда множайшие еще показаться могут. Много о том, как видно, помышлял император Петр Великий, но понеже край Малороссийский до познания его в самое жесточайшее время пришел, а поправление его требовало не малого времени, то хотя из многих учреждений и видны были по всему сему начатки премудрого государя, да времени недоставало то привести в порядок, что исподволь делать надлежало; а между тем смерть сего великого монарха застигла и больше никто о том не мыслил».

Эта любопытная записка, подтверждаемая известиями, которые мы вносили в свою историю начиная с XVII века, представляет нам наглядное объяснение тех явлений, которые происходили в Западной Европе на рубеже древней и средней истории, когда вследствие неразвитости экономического быта и слабости государственной исчезали мелкие землевладельцы, становясь подданными землевладельцев сильнейших. Эта же записка объясняет нам и уничтожение перехода крестьян на севере, когда увидели необходимость обеспечить бедного служилого человека, помещика от переманивателей и крестов богатого землевладельца.

Записка Теплова могла только окончательно утвердить императрицу в намерении покончить с беспорядочным бытом Малороссии и начать с уничтожения гетманства. Движения для установления наследственного гетманства служили предлогом, ибо без того трудно было бы отнять гетманство у Разумовского, показавшего столько преданности в трудных обстоятельствах. Дело, впрочем, и тут кончилось не скоро. До нас дошла записка Екатерины к Н. И. Панину, к сожалению, без числа: «Никита Иванович! Гетман был у меня, и я имела с ним экспликацию, в которой он все то же сказал, что и вам, а наконец просил меня, чтоб я с него столь трудный и его персоне опасный чин сняла. Я на то ответствовала, что я теперь о его верности уже сомневаться не могу, а впредь с ним далее изъяснюсь. Теперь извольте ему моим именем сказать сегодня или завтра, чтоб он письменно подал то, что он мне говорил». В другой записке к тому же лицу императрица пишет: «Приведите, пожалуй, скорее к окончанию дело гетманское». Гетман подал наконец просьбу об увольнении: «Посвящая во все времена преданности моей и верности к священной особе вашего императорского величества все мое благосостояние, теперь нахожу, что дальнейшее в гетманском звании мое пребывание может коснуться сего моего главного в жизни обязательства, и потому дерзаю всеподданнейше просить ваше императорское величество о снятии с меня столь тяжелой и опасной мне должности. Всемилостивейшая государыня! Вы всевысочайше знать изволите состояние и обстоятельства моей многолюдной фамилии. Я себя и с нею подвергаю монаршим стопам с достоверною надеждою, что сей моего чистосердечия и верности поступок обратит ко мне и к детям моим вашего императорского величества

монаршее признание и щедроту и не будет мне к чувствительному ущербу их воспитания, содержания и пристроения».

Императрица передала просьбу гетмана на обсуждение коллегии Иностранных дел, которая доложила, что «всемерно воспользоваться надлежит просьбой Разумовского: для того что по многим и важным политическим уважениям гетманское в Малой России правление в рассуждении существа своего и искусств (опытов) прошедших времен с интересом государственным весьма несходно. По увольнении гетманском поручить правление Малой России одной из здешних знатных поверенной особе, при ней 4 великороссиянам и 4 малороссиянам. Прежде великороссияне сидели по правую, а малороссияне по левую сторону, что утверждало в малороссиянах развратное мнение, по коему поставляют себя народом, от здешнего совсем отличным; для уничтожения сего мнения всю малороссийскую старшину уравнивать в классах с здешними и сидеть членам коллегии смешанно, по старшинству. Способнейшими для занятия членских мест признаются из малороссиян: обозный генеральный Кочубей, писарь генеральный Туманский, есаул генеральный Журавка да хорунжий генеральный Апостол. Быть в коллегии прокурору из великороссиян».

10 ноября дан был Сенату именной указ об учреждении Малороссийской коллегии вместо гетманского правления. Председателем назначен генерал граф Петр Александрович Румянцев; малороссийскими членами назначены были лица, указанные Иностранною коллегиею; великороссийскими императрица назначила генерал-майора Бранта и полковника князя Платона Мещерского, избрание же двоих других членов предоставлялось Сенату; прокурором императрица назначила подполковника Алексея Семенова; двоих секретарей, одного из великороссиян, а другого из малороссиян, и канцелярских служителей должен был выбрать граф Румянцев. Утверждено было представленное Иностранною коллегиею уравнение в классах. О значении Румянцева в указе говорилось: «Сему определенному от нас главному малороссийскому командиру быть в такой силе, как генерал-губернатору и президенту Малороссийской коллегии, где он по делам суда и расправы имеет и голос председателя, а в прочих делах, яко-то: содержания в народе доброго порядка, общей безопасности и исполнения законов, должен он поступать с властью губернаторскою, т.е. как особливо поверенный от нас в отсутственном месте. Запорожской Сече быть ныне ведомой в сем малороссийском правительстве».

Новый малороссийский командир получил от императрицы обширное наставление относительно своей должности. «Известны каждому, – говорилось в этом наставлении, – пространной Малороссии обширность, многолюдство живущего в ней народа, великое ее плодородие и по доброте климата различные пред многими империи нашей местами преимущества; но, напротив того, не меньше известно всем и то, что Россия при всем том весьма малую, а во время последнего гетманского правления почти и никакой от того народа пользы и доходов поныне не имела. Сверх сего вкоренившиеся там многие непорядки, неустройства, несообразное смешение правления воинского с гражданским, от неясности различных чужих законов и прав происходящие; в суде и расправе бесконечные волокиты и притеснения; самопроизвольное некоторых мнимых привилегий и вольностей узаконение, а настоящих частое и великое во зло употребление; весьма вредные как владельцам, так и самим посполитым людям с

места на место переходы; закоснелая почти во всем народе к земледелию и другим полезным трудам леность и такая же примечаемая в нем внутренняя против великороссийского ненависть представляют вам весьма пространную рачительного наблюдения и старания вашего материю». Румянцев должен был иметь подробную и верную карту своей губернии и кроме этой генеральной карты еще несколько специальных, а городам и знатным строениям планы и чертежи. «Из таких карт, планов и чертежей составляемая книга, правда, не может скоро сделана быть: однако ж что не начато, то никогда и сделано не будет». Румянцев своею гражданскою властью должен был помогать архиереям при их заботах о наблюдении закона Божия, «довольно ведая, что истинный страх Божий есть первое средство к истреблению посползованных к порокам и злодействам склонностей, а напротив того, к вкоренению в людях добронравия и честности. Надлежит вам искусным образом присматривать и за архиереями и их подчиненными, дабы различными закоснелого в них властолюбия ухищрениями не выступали они из надлежащих сана своего пределов, простирая иногда власть свою духовную над мирскою, иногда же рассеивая в народе простом и суеверном разные их намерениям полезные, общему же покою предосудительные плевелы... к тому ж не безызвестно, что обучающиеся богословию и определяющие себя здесь к чинам духовным как в заграничных польских, так и в самых малороссийских училищах по развратным правилам римского духовенства заражаются многими ненасытного властолюбия началами, которого вредными следствиями наполнены прошедших времен истории европейские. Сего ради должны вы стараться узнать совершенно власть тамошнего духовенства по всем ее околичностям, також имения и доходы... И как по сему весьма нужно, чтоб в архиереи и архимандриты посвящаемы были такие люди, от которых бы по настоящему смирению и крепости духовной резонабельных сентиментов ожидать было можно, то не худо, чтоб вы заранее таковых знали и в свое время на убылые архиерейские и архимандричьи места прямо от себя нам самим кандидатами представляли, описывая притом искусство и образ мыслей и жития их. Необходимая надобность состоит в том, чтоб известно было правительству и вам точное число народа малороссийского... и не оставите вы представить нам мнение ваше, на каком основании и каким образом новую во всей Малороссии ревизию учредить. И как невозможно располагаемым поборам ни прочного в установлении своем основания иметь, ниже в известной всегда сумме обращаться, покуда продолжаться будут земледельцев с места на место переходы, то надлежит вам прилагать крайнее старание ваше тамошний народ всеми удобовозможными способами привести к тому, чтоб оные переходы вовсе пресечены были... Впрочем, думаем мы, что при беспристрастном о сих переходах рассуждении как помещики, так и земледельцы сами ясно понять должны сущестительную оных на обе стороны бесполезность. Непостоянство и непрочность переменных в земледелии и в сельской экономии распорядков, конечно, помещикам в пользу служить не могут; земледельцы же, питаясь в сем случае одною только вольности мечтою, не понимают, что полагаемые в земледелии труды их не токмо для них и их потомков на непременных селениях несравненно полезнее, но и, укоренясь на оных, вольности своей чрез то не лишатся по примеру крестьян многих европейских государств, где они, хотя некрепостные и некабальные, живут, однако ж, и остаются для собственной своей выгоды всегда на одних местах».

Румянцеву предписывалось обратить особенное внимание на первоначальную промышленность вследствие необыкновенного плодородия страны, на усиление табачного производства и на размножение тутовых деревьев, также на улучшение овцеводства; стараться о сбережении лесов, об исправном содержании путей сообщения; накрепко смотреть и проведывать тайно и явно, нет ли кому утеснения в суде. В заключение говорится: «Осталось еще упомянуть об одном пункте, который особливо при учреждении нынешнего в Малороссии нового правления заслуживает некоторого политического примечания. Состоит оный в упомянутой сокровенной ненависти тамошнего народа против здешнего, который опять с своей стороны приобик оказывать не неприметное к малороссиянам презрение. И как та ненависть особливо примечается в старшинах тамошних, кои, опасаясь видеть когда-нибудь пределы беззаконному и корыстолюбивому их своевольству, более вперяют оную в простой народ, страшая его сперва нечувствительною, а со временем и совершенною утратою прав их и вольности, то нет сомнения, чтоб они при настоящей правления их перемене тем паче не усугубили тайно коварство свое, что пресечение прежних беспорядков и установление лучших учреждений не будет согласоваться с их прихотями и собственною корыстию. В сем рассуждении не оставите вы наблюдать прилежно, но без явного виду и огласки поведение тамошних старшин, особливо же тех, кои хотя мало подозрительными себя окажут, дабы иногда умышляемое зло заблаговременно сведано и предупреждено быть могло. И хотя время само собою откроет глаза народу и докажет, сколь много он облегчен и благоденствовать будет, когда устройением лучших во всем порядков увидит себя избавленным от мучивших его вдруг многих маленьких тиранов, однако ж и в нынешнее время разные способы поспешествовать вам могут праводушием, бескорыстливостию, снисхождением и ласкою истребить неосновательные его опасения и приобрести к себе любовь его и доверенность».

Как видно, это наставление привез к Румянцеву Теплов, потому что от 15 ноября сохранилась следующая записка Екатерины к Румянцеву: «Граф Петр Александрович! *При сем* посылаю к вам Теплова, дабы вы имели с ним большую конверзацию о Малороссии». Наставление было написано явно под влиянием записки Теплова; очень вероятно, что и наставление было написано тем же Тепловым. Это участие Теплова в уничтожении гетманства заставляло некоторых смотреть на него как на изменника в отношении к Разумовскому; толковали даже, что и донесение о движении в пользу наследственного гетманства подано Тепловым; ходил рассказ, что когда Разумовский по приезде из Малороссии явился во дворец, где его встретил Теплов с распростертыми объятиями, то граф Григорий Григорьевич Орлов сказал: «И, лобза, его же предаде».

Гетманство в Малороссии было уничтожено, и на этот раз окончательно. Еще прежде, весною описываемого года, елисаветинское военное поселение на южной Украине, или Новая Сербия, преобразована была в губернию; братья Панины, Никита и Петр, рассматривавшие доклад известного генерал-поручика Мельгунова об этом преобразовании, представили императрице, что новую губернию надобно назвать Екатерининскою, но императрица написала в резолюции: «Называть – Новороссийская губерния». Екатерина утвердила представление Паниных о присоединении к Новороссийской губернии угла земли от верховья реки Ингула косою линиею до местечка Орел, лежащего у польской

границы по реке Синюхе; этот степной угол считался в запорожском владении. Императрица назначила главным командиром новой губернии Мельгунова, который должен был приезжать каждую зиму в Петербург для поднесения докладов об успехе дела. Успех этот должен был состоять в скорейшем населении пустынного края. Для этого желающим селиться даны были льготы: каждому давался участок (из 26 десятин, если на земле лес есть, и из 30 десятин безлесной земли) земли в вечное потомственное владение, позволена была вольная продажа соли и вина и беспошлинный вывоз и ввоз товаров; кто записывался в полки, тому давалось по 30 рублей безвозвратно, записавшимся на поселение – по 12 рублей без различия, будет ли то иностранный подданный или русский, вышедший из-за границы. Всякий может взять земли, сколько пожелает, с условием населить ее, но в вечное владение никому не дается более 48 участков, никто также больше 48 участков купить не может. Поселенцы освобождаются от податей на известное число лет – от 6 и 8 до 16-по рассмотрению главного командира, который берет в расчет удобность земли и заселения ее. Поселенцы должны были строить дома каменные или мазанки для сохранения леса, на заборы и огороды дерева не употреблять, огораживать земляным валом; винокурен никто не мог иметь, кроме того, кто посеет и вырастит строевой лес, хлебное вино дозволено было вывозить из Польши; кто посеял лес, тот получает право вечного владения засеянным урочищем. Доклад оканчивался статьею о школах: «В школу брать всех малолетних, учить читать, писать, арифметике, Закону; а кто способен или сам пожелает, тех иностранным языкам и другим наукам; неимущих и сирот содержать на казенном коште; достаточным же за содержание в казну платить, а за науку ни с кого ничего не требовать. Для женского пола такой же воспитательный дом учредить: из сего последует немалое поправление суровых и жестокосердых обычаев способом благонравных женщин, а особливо и то вкоренить весьма нужно, чтоб женщины с младенчества обучались и привыкали бы к домостройству и всякой приличной работе. Для сирот и увечных – больницу, а для приносных детей дома учредить на казенном коште, дабы во всем селении нищего и странствующего, также и безвинного младенца без призрения не находилось».

Кроме упомянутого угла, отрезанного от так называемых запорожских владений к Новороссийской губернии, к ней же присоединена была провинция Екатерининская, составленная из земель, лежащих за пограничною линиею в степи, на которых оказались русские поселения, от устья реки Усть-Самары по устью реки Луганчика, включая сюда же Новосербию и Водолаги. В конце года императрица утвердила доклад сенаторов кн. Шаховского, Панина и Олсуфьева об учреждении изо всех слободских полков особой губернии под именем Слободско-Украинской. Из доклада узнаем, что до тех пор «служба козачья состояла на содержании свойственничьем и подпомощников, и на сие общество расписывались для содержания и снабжения каждого козака ежегодные складки, которые непременно и равными никогда быть не могли; а как нередко случалось, что или во время, или после расписания такой складки из расписанного числа душ многие переходами на владельческие земли и иными случаями выбывали и оставалась иногда только половина, то уже одни оставшиеся, будучи принуждены содержать козаков и снабждать их всеми потребностями, несли великую тягость». Из этого любопытного известия мы

видим, как на русских украинях сохранялись еще первоначальные формы быта, формы первоначальных союзов – родового и закладничества, подле свойственников видим и захребетников, которые здесь называются подпомощниками и подсоседками. Свойственников, подпомощников и подсоседков в новой губернии было 154808 душ, и каждая душа платила по 95 копеек; живущих за разными владельцами и старшинами подданных черкас (малороссиян) было 328814 душ, плативших по 60 копеек. Свободный переход поселян с места на место существовал и здесь в описываемое время. Губернатора, воевод и прокурора в новую губернию велено определить на первый случай из великороссиян, а в товарищи губернаторские и воеводские – из тамошних заслуженных старшин.

Восточная украиня требовала также постоянного внимания. Бибиков доносил из Казанской губернии: «С того времени как состоялся указ о штатах, присутствующие здесь в губернской канцелярии и по разным конторам судьи от мздоимства и взяток, как слышно, воздерживаются, а если лихоимство и есть, то, конечно, с большею пред прежним скромностию, секретари и подьячие не так нагло взяток по делам требуют: но они не преминули, однако, разгласить, будто бы опять, пока на жалованье сумма соберется, велено кормиться от дел. Мне от некоторых секретарей и воевод здешней губернии слышать случалось, что ныне определенное жалованье и четвертой доли прежних их пожив не заменяет; по разглашенному же от секретарей и подьячих слуху, привыкший давать взятки простой народ без затруднения давать подарки будет. Здешний губернатор князь Тенишев, находясь здесь около 8 лет и быв прежде вице-губернатором, как видно, доволен тем, что до сих пор собрал, и от мздоимства воздерживается, но недостает ему нужных для его должности знаний, потому в делах следует советам секретарским и чрез то секретарское и подьяческое пронырство к отягощению челобитчиков находит средство помещаться. Коллежский советник Кудрявцев и прокурор Воронцов, кроме подписания своего имени, едва ли какое ни есть дело исправлять в состоянии, с тою только разницею, что Кудрявцев, как сказывают, к мздоимству склонен, а прокурор тому чужд. В губернской же канцелярии присутствует губернаторский товарищ и Казанской гимназии директор надворный советник Кожин, который не только от мздоимства вовсе свободен, но и все свое старание и попечение прилагает о том, чтоб дела по предписанным законам и без замедления отправлялись; но так как ему никто не помогает, то признается и сам, что вкоренившийся в делах беспорядок, пронырства секретарей и подьячих отвратить почти способов не находит».

Еще вначале 1763 года императрица, будучи в Сенате, слушала челобитную новокрещен Казанского, Чебоксарского и Козмодемьянского уездов, чтоб их всех уволить от рекрутской повинности, а только бы брать детей их в школы, называться новокрещеными не запрещать и положенные на них вновь подушные деньги сложить, для защиты их от присутственных мест определить по-прежнему надворного советника Сокольникова или другого кого. Императрица велела Сенату иметь конференцию с Синодом. Дело шло медленно, и только через год утвержден был доклад, поданный конференциею. Доклад состоял в следующих пяти статьях: 1) иноверцам не платить податей за новокрещеных и не отправлять за них рекрутской повинности, чтоб этим не принуждать их к побегам, тем более что иноверцев осталось уже немного, большая часть крестились; 2) по истечении

трехлетней льготы новокрещеным все платить и исполнять наравне с государственными крестьянами, а вместо рекрут брать с них деньгами; 3) Новокрещенской конторе и разным защитникам не быть, а ведать новокрещен в губернских и воеводских канцеляриях; 4) хотя Сенат и Синод представили, чтоб в Казанской губернии учрежденным для новокрещен школам не быть, ибо Синоду известно, что обучающиеся в них новокрещенские дети по большей части к обучению не способны; но императрица собственноручно написала: «Школ не отрешать, а им дать на волю детей в школах или при приходских церквах обучать и никому принуждения не чинить»; 5) для обращения иноверцев быть проповедникам в Казанской епархии троим, в Тобольской, Иркутской и Тамбовской – по два, в Нижегородской, Рязанской, Вятской и Астраханской – по одному.

По ту сторону Уральских гор вскрывала печальные явления комиссия, назначенная для новой раскладки ясака. Якутский казачий пятидесятник Баженов сказывал, что он отправляется в ясачные тунгусские шесть улусов для сбора лошадей, но это поручение он купил, заплативши за него воеводе Лебедеву 150 рублей, которые принужден был занять. Лебедев показал, что Баженов принес ему 150 рублей добровольно, и он взял вследствие крайней бедности, за неполучением жалованья, и с других, отправлявшихся за ясаком, брал без вымогательства, и принужден был это делать по тамошней дороговизне, за неимением таких дел, от которых можно себя содержать; он проехал до Якутска 9000 верст на своем иждивении, занявши до 1500 рублей. Лебедев лишен был всех чинов с запрещением определять его к каким бы то ни было делам.

В Сибири издавна существовала особого рода промышленность – разрывание курганов или бугров с целью поживиться вещами, закопанными в могилы вместе с покойниками в древние времена. Теперь правительство узнало, что разрывать бугры или зюнгарские кладбища в Сибири запрещено, и сделан был запрос сибирскому губернатору Чичерину о причинах запрещения. Чичерин отвечал, что такое *бугрование* в степи запрещено под жестоким наказанием по той причине, что с этого бугрования неприятель хватал в плен русских людей или побивал.

В мае месяце Сенат слушал любопытное изложение дела о Камчатской экспедиции и сношениях с Китаем по поводу амурских берегов. Камчатская экспедиция началась с 1724 года; бывший ее начальник капитан-командор Беринг доходил до американских берегов, а капитан Шпанберг был у японских берегов, где народ оказался склонным к торговле, но по причине трудности доставлять припасы в эту экспедицию она в 1743 году остановлена впредь до нового указа. В 1753 году по предложению Петра Ив. Шувалова в Сенате определено относительно возобновления экспедиции спросить мнения у сибирского губернатора Мятлева. Мятлев представил, что прежде всего надобно усилить хлебопашество в Нерчинском уезде и хлеб отпускать во все крепости и остроги, лежащие по северо-восточным берегам, реками Ингодою, Аргуном и Амуром. Но коллегия Иностранных дел представила, что река Амур уступлена по трактату в китайскую сторону. По мнению коллегии, надобно было при соединении реки Ингоды с Аргуном приискать удобное место для постройки судов и справиться о глубине реки Амура, и если глубины довольно, то строить тут и морские суда, от китайского же двора требовать свободного плавания по Амуру для русских судов; если же река Амур явится мелководна, то домогаться в Пекине позволения на

устье Амура построить небольшую крепость и завести корабельные верфи; когда возобновится экспедиция, то склонять в подданство такие народы, которые никакой другой державе не подвластны. По этому представлению в Сенате было определено: Иностранная коллегия должна домогаться у китайского двора свободного плавания по Амуру, а между тем на реке Ингоде, где она соединялась с Аргуном, приискать удобное место к строению судов, к чему употреблять морских служителей, оставшихся в Сибири от Камчатской экспедиции, и геодезистов; построить два судна, которые бы могли Амуром и потом морем плыть в русские порты, приготовить для этих судов все нужное и провиант на людей, и когда китайский двор позволит свободное плавание по Амуру, то суда эти отправить немедленно с приказанием описать подробно реку Амур и прилежащие к ней места.

Только в 1756 году отправлен был в Пекин советник Братищев; по возвращении его в сентябре 1758 года коллегия Иностранных дел представила в Сенат, что китайский двор отказал в позволении русским судам плавать по Амуру и в грамоте китайского трибунала от 23 сентября 1757 года написано, что богдыхан указал следующее: «У нас от века того не бывало, чтоб России позволено было в какое-нибудь место провозить свой хлеб рекою Амуром, чего и ныне никоим образом позволить нельзя». В журнале бытности в Пекине Братищева показано, по разведыванию находящегося при нем секунд-майора Якоби, что богдыхан, рассмотря русскую грамоту, в которой заключалась просьба о пропуске русских судов по Амуру, сказал: «Хитрая Россия просит с почтением, да притом и объявляет, что уже для того плавания и суда приказано готовить, чем дают знать, что, и не получа позволения, могут сами идти». В 1764 году Сенат возобновил дело, и по его требованию коллегия Иностранных дел донесла: «Как ни уверена она в необходимости и пользе того, чтоб русские суда рекою Амуром ходили свободно, но по известному упорству в том китайского двора не находит теперь способов возобновить свои домогательства».

От далеких берегов Амура внимание отвлекалось событиями, происходившими на берегах Вислы. Выборы польского короля должны были иметь решительное влияние на определение отношений императрицы к ее главным советникам по иностранным делам – Бестужеву-Рюмину и Панину. Бестужев проигрывал в доверии Екатерины, твердя, что надобно оставить польский престол в саксонской династии; Панин выигрывал тем, что вполне согласовался с желаниями императрицы. Донесение Кейзерлинга о противодействии Бестужева видам Екатерины окончательно убило кредит «батюшки Алексея Петровича», который с этих пор не участвует больше в делах до самой смерти своей, последовавшей 10 апреля 1766 года. Панин один ведет иностранные дела, хотя и без канцлерского титула.

От 24 декабря 1763 года Кейзерлинг и Репнин передали императрице требования ее кандидата на польский престол графа Понятовского: 1) будущему королю определить ежегодные субсидии и притом гарантировать ему прочность престола; 2) полки гвардии и несколько легких войск должны состоять в непосредственной команде короля, а не гетмана, как было до сих пор; 3) власть королевская в раздаче чинов и награждений по-прежнему должна остаться неотменной. «Эти пункты, – писали послы, – как сами по себе ни важны, кажется, еще рановременны. Вашему императорскому величеству и королю прусскому

непрерывно нужно, чтоб в Польше фундаментальные законы были сохранены, следовательно, должно быть сохранено и то, что касается прав королевских». Соперником молодому Понятовскому был один старик Браницкий. «Новых кандидатов на трон нет, – писал Репнин, – все один и тот же гетман Браницкий. Внутренние смуты очень скучны, но, не поддерживаемые ни одним государством, они непременно прекратятся сами собою. Отнявши у партий надежду на успех, можно заставить их уступить своих друзей; лишь бы только мы избавились от иностранцев, лишь бы только конвокационный сейм исключил их из числа кандидатов, то все кончено. Коронное войско и вооружения партии Браницкого беспокоят наших друзей, они боятся даже изменнических ударов, и действительно, если можно чего бояться, так только этого; остальное не страшно благодаря милостивой поддержке вашего величества. Возможность существования партии гетмана коронного зависит от союза ее с виленским воеводою князем Радзивиллом, который вашему величеству известен как безумец, руководствующийся только капризом. Я думаю, что надобно снять маску относительно этих господ и заговорить с ними громко, если они будут упорствовать в своих вооружениях. Что касается воеводы киевского (Потоцкого), то, кажется, он уже начинает немного ощупывать почву, хотя сохраняет еще высокомерный тон и большие претензии».

Это было писано 12 января; а в письме своем от 27 февраля Репнин уже говорит о необходимости вступления русского войска в польские владения: «Наш кандидат и его фамилия довольны милостями вашего величества и совершенно покойны насчет ложных слухов, рассеваемых противною партией; но также правда, что вступление войск необходимо для успокоения их партии да и для того, чтоб доказать мелкой шляхте, как ложны внушения наших врагов. Войско нужно тем более, что коронный гетман, озлобленный малым успехом своим на сеймиках, старался силой поддерживать там свою партию и позволял себе вопиющие нарушения законов и присяги. Виленский воевода позволил себе новые насилия после того, как поклялся вести себя умно; такие явные злоупотребления породят страшные смуты и междоусобную войну, так, чтоб избежать ее, надобно их припугнуть. Вступление войска вашего величества сделает их осторожнее. У нас теперь новый кандидат на польский трон – князь Любомирский, подстолий коронный. Он открыл свое намерение примасу; киевский воевода, приехавший вместе с подстолием, объявил, что он и его друзья охотно подадут свои голоса в пользу вельможи, столь достойного короны по своему происхождению, богатствам и личным достоинствам; действительно, это один из главных богачей страны; наши партизаны всегда рассчитывали на него, и он всегда был им предан». На донесении о Любомирском Панин написал: «Ваше величество сего оригинала знать изволите: он здесь был с поздравлением восшествия вашего на престол». Екатерина приписала на это собственноручно: «К корове седло не пристало».

На сеймиках действительно шла ожесточенная борьба партий, причем дело не обошлось без кровопролития. Из Вены писали: «Гетман и его партия позволили себе много насилий на последних сеймиках. Этими оскорблениями, равно как открытым и беспримерным употреблением военной силы, гетман проигрывает свое дело в пользу противников, ибо дает им предлог призвать на помощь русских. Русские придут и, что важно, явятся в глазах народа защитниками

свободы». Чарторыйские, видя, что им не сладить с партией гетмана, который располагал коронным войском и саксонским отрядом, обратились прямо к императрице с просьбою прислать им на помощь 2000 человек конницы и два полка пехотных. По поводу этой просьбы Панин написал для императрицы *ремарк* : «Тысяча легких войск уже готова и ожидает польских комиссаров для препровождения, что, казалось бы, уже и довольно в соответствии саксонским войскам; но, по-видимому, наши друзья ищут сколько возможно облегчить свои собственные депансы и себя усиливать нашими ресурсами, почему мое всеподданнейшее мнение: другую тысячу по их желанию хотя и заготовить, но, однако ж, к графу Кейзерлингу наперед написать, чтоб наши друзья гораздо осмотрелися, не могут ли они таким безвременным введением к себе чужестранных войск воспричинствовать противу себя национальную недоверенность и против нас подозрения, чем наипаче противные могут воспользоваться и от чужестранных держав достать себе большими деньгами подкрепление, а нам навести от них какие-либо беспокойства новыми делами с их стороны. Итак, не лучше ли остаться при первом нашем плане, чтоб, не притворяясь и не отлагая, устремиться к изгнанию саксонцев из Польши производимыми движениями наших войск на границах и перепущением в Польшу готовых уже тысячи козаков, а потом стараться единодушно взять поверхность над противными, ныне раздробленными факциями собственным вооружением благонамеренных магнатов и подкреплением их нашими деньгами, нашим кредитом и нашею в их делах инфлюенциею, соединенною с королем прусским, и, наконец, тою опасностью, которую натурально поляки иметь должны от нас когда их дела пойдут против нашей воли, а особливо в такое время, когда у нас со всех сторон руки останутся свободны, что мы, несомненно, иметь и будем, если с благоразумною умеренностию пойдём в сем деле, не напрягая излишне свои струны». Екатерина написала на это: «Я весьма с сим мнением согласна и, прочитав промеморию, почти все те же рефлексии делала».

Отряд русского войска, бывший в польской Пруссии для охраны магазинов, оставшихся еще от Семилетней войны, должен был под начальством генерала Хомутова вступить в Польшу и направиться поскорее или к Варшаве, или к Белостоку, резиденции коронного гетмана, что должно было заставить Браницкого быть поосторожнее. «Правда, – писал Репнин Панину, – что этого войска мало, но для Польши довольно; я уверен, что пять или шесть тысяч поляков не только не могут осилить отряд Хомутова, но и подумать о том не осмелятся. Прусский король внушил нам чрез своего посланника, что все это дело должно быть устроено в Петербурге. Это внушение может происходить от нежелания войти по польским делам в какое-нибудь серьезное обязательство; я же должен донести, что и полякам, нашим друзьям, неприятно будет видеть войско прусского короля в здешней земле, они всю надежду полагают на нашу государыню, ее желают видеть первенствующею во всем этом деле, а чтоб прусский король был во вторых».

Волнения между поляками усиливались; австрийский посол Мерси раздувал пламя, давал обещания без конца, уговаривая противников России держаться твердо. Кейзерлинг и Репнин потребовали от Хомутова, чтоб он стал в Закрочиме, в 50 милях от Варшавы. Извещая об этом Панина, Репнин писал ему, что необходимо поспешить заключением союзного договора с Пруссией, ибо если

Фридрих II объявит, что не потерпит вступления австрийцев в Польшу, то они и не подумают об этом и ядовитые предложения Мерси подвергнутся заслуженному ими презрению. Репнин требовал также вступления русских войск в Литву: там нужно было подкрепить конфедерацию, составленную против партии Радзивилла. Требуемое войско вошло в Литву двумя колоннами: одна под предводительством князя Волконского двигалась через Минск; другая под начальством князя Дашкова (мужа знаменитой Екатерины Романовны) шла на Гродно.

20 апреля (н. с.) 26 польских магнатов подписали письмо императрице, в котором говорили: «Мы, не уступающие никому из наших сограждан в пламенном патриотизме, с горестию узнали, что есть люди, которые хотят отличиться неудовольствием по поводу вступления войск вашего императорского величества в нашу страну и даже сочли приличным обратиться с жалобой на это к вашему величеству. Мы видим с горестию, что законы нашего отечества недостаточны для удержания этих мнимых патриотов в должных пределах. С опасностью для нас мы испытали с их стороны притеснение нашей свободы, именно на последних сеймиках, где военная сила стесняла подачу голосов во многих местах. Нам грозило такое же злоупотребление силы и на будущих сеймах, конвокационном и избирательном, на которых у нас не было бы войска, чтоб противопоставить его войску государственному, вместо защиты угнетающему государство, когда мы узнали о вступлении русского войска, посланного вашим величеством для защиты наших постановлений и нашей свободы. Цель вступления этого войска в наши границы и его поведение возбуждают живейшую признательность в каждом благонамеренном поляке, и эту признательность мы сочли своим долгом выразить вашему императорскому величеству». В числе подписей находятся имена: Островского (епископа куявского), Шептицкого (епископа плоцкого), Замойского, пятерых Чарторыйских (Августа, Михаила, Станислава, Адама, Иосифа), Станислава Понятовского, Потоцкого, Любомирского, Сулковского, Соллогуба, Велепольского.

Не пренебрегали никакими средствами для поднятия Понятовского в глазах поляков. По внушению Репнина прусский резидент писал Фридриху II, что надобно прислать стольнику орден Черного Орла, и орден был прислан так скоро, что Репнин и Понятовский были в затруднении: они ждали ордена Андрея Первозванного для стольника, и последний обещал не надевать Черного Орла прежде получения Андрея. Но обстоятельства заставили переменить решение: в Варшаву вдруг приезжает другой кандидат на престол, гетман Браницкий, и, чтоб произвести на него впечатление, Понятовский надел Черного Орла. «Такой явный знак расположения прусского короля сильно подкрепит наши дела, — писал Репнин, — но, чтоб дать Понятовскому еще больше значения, надобно прислать ему Андреевский орден: он страстно его желает, не смея просить».

В конце апреля начали съезжаться в Варшаву сенаторы, послы (депутаты) и разные паны на конвокационный сейм; каждый приводил с собою, по обычаю, сколько-нибудь вооруженных людей; но Радзивилл привел 3000 вооружённых, также и у гетмана коронного Браницкого был большой отряд войска; но для подкрепления *фамилии* русское войско стояло двумя лагерями — в Уяздове и на Солце; у Чарторыйских было также и свое войско. Днем открытия сейма назначено было 7 мая (н. с.). В этот день Варшава представляла город, занятый двумя враждебными войсками, готовыми к бою. Партия Чарторыйских явилась на

сейм, но членов противной партии не было: они с раннего утра совещались у гетмана и наконец подписали протест против нарушения народного права появлением русских войск. Хотели сорвать сейм – не удалось, требовали составить немедленно тут же в Варшаве конфедерацию, но Браницкий струсил, объявил, что не видит для себя безопасности в столице, и выступил из Варшавы с целью составить конфедерацию в более удобном месте; но время тратилось в бесплодных толках, а между тем следом за гетманом шел русский отряд Дашкова, перешедший из Литвы в Польшу.

В 21 миле от Варшавы этот отряд имел небольшое дело с гетманским ариергардом; при этом деле случился и Репнин, приехавший повидаться с Дашковым. По поводу стычки Репнин писал: «Могу справедливо сказать, что храбрости и желания нельзя больше иметь, как наши войска показали; но и бег неприятельский также был скор, что никак невозможно было успех распространить потому особливо, что невступно в три дни наши войска 21 милю перешли и преследовать далее уже не в силах были. Еще же должен по справедливости сказать, что усерднее и расторопнее нельзя быть, как действительно князь Дашков есть».

Репнин осыпал также похвалами Понятовского: «Благодарнее человека и нам преданнее мы бы нигде и николи не нашли: и он первый в собрании сейма говорил, чтоб государыню возблагодарить за милостивое ее республики подкрепление чрез вход российских войск; он же отвратил взятое было почти всеми намерение, чтоб производить сеймики множеством (большинством) голосов, а не единогласием, и то тотчас сделал, как скоро мы к нему об оном отозвались». Но иначе отозвался Репнин Панину о соотечественниках Понятовского: «Я не от лени и не от нерадения в подробности здешних партикулярностей не вхожу, а из страху, чтоб не изолгаться или бы не показаться лживым. Ваше высокопревосходительство не можете себе изобразить, сколь мало основания имеет почти генерально вся здешняя нация: что ныне за верное сказывают, что с клятвами уверяют и очевидцами чему выдаются, то назавтра откроется совершенною ложью».

Обоим послам, Кейзерлингу и Репнину, хотелось как можно скорейшего заключения союзного договора с Пруссией. Желанный договор наконец был им доставлен, и Репнин писал Панину по этому поводу (от 25 мая): «Трактат, заключенный с прусским королем, весьма послу (Кейзерлингу) показался; одного только он еще желал, чтоб с обеих сторон без согласия общего в другие обязательства ни в какие не вступали; но я, помня рассуждения вашего высокопревосходительства по сему самому пункту по причине старого с Англиею трактата, чтоб, сколь возможно, зависимости от другой короны убежать, старался оные ему внушать и не знаю, вправду ли, но кажется мне, что наконец он с тем и согласился. Все порученные нам дела, уповаю, что к желаемому концу доведены будут; одно только восстановление во все старые преимущества диссидентов весьма трудно кажется или почти и совсем невозможно; да если осмелюсь свое мнение донести, то не вижу, чтоб оно для нас так и полезно было: введение их по-прежнему в гражданские чины увеличит их силу, тоже с ними и короля прусского; в нашем же законе уже знатных никого не осталось, и так с силой их наша нимало не приумножится, а кажется, что наш интерес есть, чтоб никакой чужестранный двор здесь сильнее нашего не был». Обоим послам не хотелось

диссидентским делом затруднять положения Чарторыйских, затруднять дело, которое они считали главным своим делом, – выбор Понятовского в короли.

В июне кончился конвокационный сейм: на нем установлена генеральная конфедерация, которая соединилась с литовскою, и маршалком коронной конфедерации был выбран князь Чарторыйский, воевода русский; постановлено при королевских выборах не допускать иностранных кандидатов: мог быть выбран только польский шляхтич по отцу и матери, исповедующий римско-католическую веру. На этом же сейме Чарторыйские попытались начать дело преобразования: учреждены были две комиссии – военная и финансовая (скарбовая); эти комиссии уменьшали власть гетманов и главных финансовых управителей (подскарбиев), которые становились только их председателями, и потому королю давалась возможность ввести лучший порядок в управление войском и финансами. Войсковой комиссии вменено было в обязанность немедленно же исполнить постановление 1717 года относительно полного количества людей в полках, чем количество войска уже и увеличивалось.

Потихоньку начаты были преобразования, по-видимому только незначительные. Чарторыйские достигали своей цели русскими деньгами и русским войском; в вознаграждение сейм признал императорский титул русской государыни. В акт конфедерации внесена публичная благодарность императрице русской, и с выражением этой благодарности должен был отправиться в Петербург писарь коронный граф Ржевуский. А между тем русское войско должно было окончательно очистить Польшу от могущественных врагов *фамилии*. Радзивилл, вышедший из Варшавы вместе с гетманом, отделился от него на дороге, чтоб пробраться в свою Литву, но под Слонимом потерпел поражение от русских. С 1200 конницы он переправился за Днестр у Могилева и ушел в Молдавию; но пехоту его и артиллерию князь Дашков догнал в деревне Гавриловке и взял в плен. Из Молдавии Радзивилл перебрался в Венгрию, а оттуда в Дрезден. Гетман Браницкий, преследуемый русскими, также не мог держаться в Польше и ушел в Венгрию.

В то время как дела шли так успешно, Репнин уведомил Панина о своем подозрении, что у русского кандидата есть соперник, именно дядя Понятовского князь Август Чарторыйский, воевода русский. «Я подозреваю, – писал Репнин, – что Чарторыйский сам желает короны и не выражает этого желания только потому, что не надеется на успех. Мои подозрения основываются на малом усердии к успеху самых необходимых вещей, потому что он часто не в духе, и именно тогда предлагаются ему самые существенные дела; он не возьмется ни за что без понуждения, надобно сказать ему десять раз, прежде чем он что-нибудь сделает. Мы желали, чтоб королевское избрание произошло посредством делегатов, но, чтоб не оскорбить мелкой шляхты, дали полную свободу в этом деле; многие воеводства воспользуются этою свободою и не явятся массою; но появятся массою те воеводства, в которых князь Адам имеет наибольшее влияние, именно русское (Галицкое) и Сендомирское. Потом он взял у нас 1000 червонных для галицкого сеймика, и так как здесь образовалась конфедерация против нас, то мы начали разыскивать, отчего это, и оказалось, что Чарторыйский не послал денег в Галич, боюсь, не сделал ли он того же относительно и других мест. Много раз сообщал я свои опасения послу (Кейзерлингу), прусские министры делали то же самое; но, к несчастию, посол считает всех такими же добрыми и честными

людьми, как сам, и не может поверить, чтоб были люди, у которых одно в голове, а другое на языке. Так как время выборов приближается, то можно было бы окончательно выяснить намерения императрицы в рескрипте, который мы должны будем прочесть нашим друзьям, и особенно князьям Чарторыйским; в рескрипте можно сказать, что намерение императрицы относительно стольника неизменно, что она обнадеживает своим покровительством и расположением всех, которые стоят за него; что успех не может быть сомнителен, ибо императрица будет поддерживать стольника и его приверженцев всеми данными ей от Бога средствами и будет защищать его и его партию против всякого, какого состояния и фамилии он бы ни был. Такой рескрипт наполнит радостью истинных друзей дела и страхом тех, которые хотели бы уклониться в другую сторону. Надобно иметь также войско в окрестностях, и уже сделано распоряжение, чтоб от 7 до 8000 человек было в трех милях отсюда прежде начала избирательного сейма». Репнин оканчивал письмо словами: «Ради Бога, чтоб это оставалось меж нами; посол не знает об этом моем письме к вам, и я ни за что на свете не пожелаю, чтоб он заподозрил, что я предлагаю что-то без его ведома, ибо в таком случае я непременно потеряю его дружбу и доверие». На этом письме Панин написал: «Мое мнение – лучше б доводить до того, чтоб фамилия или ее друзья нашего кандидата прежде назвали, а мы б к тому приступили; однако ж яко сие важной разницы не делает, то можно оставить на избрание на месте, что там выгоднейшим найдено будет» (т.е. предоставить послам действовать по своему усмотрению). Под эту замечку Екатерина написала: «Мне кажется, что нам не годится называть кандидата, дабы до конца сказать можно было, что республика вольно действовала».

Несмотря на нежелание Екатерины объявлять своего кандидата, на месте признано было необходимым не скрываться долее. 27 июля Кейзерлинг и Репнин поехали к примасу, где уже нашли прусских министров и князей Чарторыйских вместе со многими другими панами, и Кейзерлинг прямо объявил при всех примасу, что императрица желает видеть на польском престоле графа Понятовского, которого он, посол, именем ее величества будет рекомендовать всей нации на избирательном сейме. Прусский посол сказал то же от имени своего государя; а князья Чарторыйские, также рекомендуя племянника, благодарили оба двора за расположение к их фамилии. Этот поступок, по отзыву Репнина, был нужен, чтоб вывести из сомнения многих колеблющихся, не знавших, кому из своих друзей именно Россия прочит корону, и шли слухи, что стольник только подставка, королем же будет воевода русский. Желание русского двора, чтоб в короли был избран именно Станислав Понятовский, поволок предположению, что следствием этого избрания будет брачный союз между новым королем и русскою императрицею. Любопытно, что приверженцы Понятовского и дядья его Чарторыйские принуждали его дать обязательство при избрании жениться, и жениться на католичке; Понятовский не соглашался дать такое обязательство, жаловался Репнину, просил его отписать Панину, чтоб его не принуждали жениться, говорил, что он не намерен вступать в брак, да это и не нужно, потому что Польша – государство не наследственное. Но слух о предполагаемом браке успели довести до Константинополя; Порта испугалась и объявила, что будет согласна на избрание в польские короли какого угодно Пяста, только не

Понятовского. Тогда решено было внести в условия избрания (*partaconventa*), что если король женится, то непременно на католичке.

16 августа тихо начался избирательный сейм и тихо кончился 26-го; стольник литовский граф Понятовский был избран без малейшего прекословия; поляки были приведены этим в большое удивление и говорили, что такого спокойного избрания никогда не бывало. В бытность свою в Париже Понятовский свел тесную дружбу с знаменитою Жоффрэн, о которой подробнее будет говорено после; он находился с нею в переписке и не иначе называл ее как *taman*. Он так описывал ей свое избрание: «Спокойствие и тишина в этом громадном собрании были так велики, что все знатные дамы королевства присутствовали на поле избрания, не испытывая ни малейшего неудобства, и я имел удовольствие быть провозглашенным как всеми мужчинами, так и всеми женщинами моего народа, присутствовавшими при избрании, потому что примас, проходя мимо их экипажей, действительно был так любезен, что спрашивал дам, кого они желают в короли. Зачем вы не были там? Вы бы назвали своего сына».

Легко себе представить восторг Жоффрэн, когда она узнала, что молодой, блестящий поляк, которому она покровительствовала в Париже, избран в короли. «Будущее проходит перед моими глазами, как в эпических поэмах, – писала она ему. – Я вижу Польшу, возрождающуюся из своего праха, я вижу ее в лучезарном блеске, как новый Иерусалим! О мой дорогой сын, мой обожаемый король! С каким восторгом я буду видеть в вас предмет удивления для целой Европы!»

В Петербурге также сильно радовались; императрица писала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали. Сей случай наивысше умножает к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры». Действительно, авторитет Панина с этих пор является во всей силе. Ведя также переписку с Жоффрэн, Екатерина писала ей по поводу избрания Понятовского: «Поздравляю вас с возвышением вашего сына; я не знаю, как он сделался королем, но, конечно, на то была воля провидения, и больше всего надобно поздравлять с этим его королевство; у поляков не было человека, который бы сделал их более счастливыми по-человечески; говорят, что сын ваш ведет себя отлично, и я этому очень рада; направлять его на путь истинный в случае нужды предоставляю вашей материнской нежности». Жоффрэн в переписке своей с дорогим сынком, разумеется, не могла не касаться отношений его к «далеким странам» и к их властительнице. Мы уже упоминали о сильно распространившихся за границу слухах насчет брака Понятовского с Екатериною. Жоффрэн писала новому польскому королю по этому поводу: «У нее (Екатерины) много дела, и надобно много времени, чтоб переделать все это дело. Я утверждала, что вы с нею не видались (во время поездки Екатерины в Лифляндию), я утверждаю, что вы на ней не женитесь, о чем многие говорили с неудовольствием. Вот как объясняли дело: она вовсе не крепко держится на престоле; она уступит его сыну, а сама выйдет замуж за короля польского».

Для Понятовского дело шло не о браке, а об определении отношений к государыне, которая возвела его на престол, С первой же минуты избрания он уже разрознивал свои интересы с ее интересами, заискивая дружбы двора, самого враждебного России. В том же письме, где он описывал Жоффрэн свое избрание, он говорил: «Я сильно нуждаюсь в вашем совете относительно дела, которого я желаю всего более и, конечно, более, чем вы думаете: это дружба французского

короля. Если только во Франции захотят быть со мною в добрых отношениях, то я обещаю вам, что с удовольствием пойду навстречу и сделаю половину дороги». Это относительно внешней политики, относительно же внутренней разрозненность интересов была еще резче. Когда чад, произведенный счастьем избрания, прошел и он очутился лицом к лицу с затруднительностью своего положения, с препятствиями, которые стояли на дороге осуществлению планов преобразования Польши, усилению королевской власти, то Станислав писал своей маменьке Жоффрэн: «Ах, я знаю хорошо, что я должен делать, но это ужасно! Терпение, осторожность, мужество! И еще: терпение и осторожность! Вот мой девиз». Об Екатерине он писал: «Там очень умны, там ... Но уж очень гоняются за умом. Это металл самый дорогой, но для обработки его нужна искусная рука, руководимая добрым сердцем. Некогда были в этом согласны, а теперь судьба и, быть может, вкус переменяли многое!»

Что же заставило Понятовского думать, что там ум не руководится более добрым сердцем?

Кейзерлинг недолго пережил избрание Понятовского: еще в начале августа Репнин уведомил Панина, что посол очень болен, а 19 сентября Кейзерлинг умер. В министерской сумме после покойного осталось 85566 червонных; их Репнин хотел употребить на уплату тем лицам, которым было обещано: 3000 червонных на месяц воеводе русскому, 300 червонных на содержание солдат Огинского, 1200 червонных на месяц королю для первого его обзаведения и содержания до конца коронационного сейма, ибо прежде он не мог получить никаких доходов. Кроме того, нужно было доплатить примасу 17000 червонных в число обещанных ему 80000 рублей да канцлеру его 4000 червонных.

Императрица кроме означенных выше денег по «особливому своему благоволению и дружбе» подарила Понятовскому на первый случай для учреждения дома 100000 червонных. Бедный король за все благодеяния и подарки мог отправить своей благодетельнице только ящик трюфлей; но мы знаем, чего от него желали в благодарность за корону. Репнин повел немедленно дело о новом договоре между Россией и Польшею; но поляки, зная, что новый договор будет для них невыгоден, сильно противились его заключению. Россия хотела гарантировать настоящее состояние республики, поляки этого боялись, представляя, что по праву гарантии Россия будет вмешиваться во все их дела.

Но самым трудным делом было диссидентское. Екатерина не могла его откладывать. Еще в 1762 году Георгий Кониский объявил Синоду, что *месссионеры* сажают в тюрьму и грабят тех, которые не хотят отстать от благочестия; что, по словам одного плебана, папа писал к королю и канцлеру литовскому, чтоб впредь православным епископам привилегий не давать, а настоящего епископа плетью выгоним; положили письма его, Кониского, перехватывать. Поэтому ему возвращаться в Могилев опасно и для тамошней церкви бесполезно; просил отрешить его от епархии и определить на безмолвное житие в монастырь с пропитанием, потому что он, повредя в бытность свою в Белоруссии слух и зрение, страдает частыми головными болями. В феврале 1763 года Синод поднес императрице доклад с прошением о защите в Польше благочестия, представляя, что Конискому ехать туда крайне опасно и вообще православному епископу править тамошнею епархией нельзя, пока не будет употреблено особого ее императорского величества защищения. Когда решение на доклад по известным

обстоятельствам замедлилось, Синод вошел с новым докладом, что Кониский приехал из Москвы в Петербург и просит о решении его дела. Жалобы шли не от одного Кониского: киевский митрополит Арсений писал, что трембовльский староста Потоцкий отнял у православных четыре церкви и передал униатам, в Пинске отнято было у православных 14 церквей. Вследствие этого 5 апреля 1764 года Кейзерлинг и Репнин получили такой рескрипт императрицы: «Излишно описывать здесь известное вам самим дело утеснения в Польше наших единоверных и прочих диссидентов. Кто не ведает, что одни и другие равно подвержены гонению римского духовенства, которое не только без остатка почти похитило все им законами и многими привилегиями дозволенные епархии, монастыри и церкви, но и до того еще властью и пронырством своим довело, что знатная часть сограждан, так сказать, из сообщества отринуты за то одно, что исповедуют закон другой. Но пока еще сие зло вовсе не окоренится, то, дабы нынешний междуцарствия случай не упустить втуне, повелеваем мы вам на основании данного вам обоим общего нашего наставления как ныне при сейме конвокации, так и впредь при сейме коронации употребить всевозможное старание ваше, дабы как собственные наши единоверные, так и прочие диссиденты, обязанные между собою ко взаимной обороне формальным актом 1599 года, во все прежние свои права и преимущества точным и ясным законом восстановлены да и для переду как в персонах и имениях своих, так и в принадлежащих им епархиях, монастырях и церквях от всяких нападков римского духовенства охранены и прежде отнятые, сколько возможно, им возвращены были. В произведении сего намерения в действие полагаемся мы на искусство ваше и лучшее на месте усмотрение удобных обстоятельств, между которыми из лучших полагаем мы случай благонамеренной конфедерации, если такая воспоследует, ибо тогда гораздо легче будет преодолеть в одной части дворянства слепое духовенству порабощение и ненависть к людям, кои неодинакого с ними исповедания».

17 октября Екатерина писала Репнину: «Мне остается рекомендовать вам всего более два дела: дело о диссидентах и дело о границах; моя слава заинтересована в обоих, помните это, оба дела в ваших руках, действуйте согласно с указами и инструкциями». Слова «*помните это*» должны были приводить в отчаяние Репнина.

Диссидентское дело, по его отзывам, было трудно вследствие народного энтузиазма. «Привести их (диссидентов) в полное равенство с католиками считаю невозможным без насилия, — доносил посол, — надеюсь доставить им только свободное исповедание веры и право получать староства не судебные». «Само собою разумеется, — писал ему Панин, — что, говоря о диссидентах, надобно всегда предпочтительно упоминать о наших единоверцах. Кроме общих им с другими диссидентами претензий имеют они еще собственные жалобы, которые не меньше заслуживают справедливого рассмотрения. Не думаю я, да и думать почти нельзя, чтоб можно было в один раз возвратить диссидентам все то, чего они лишились; но довольно, когда они в некоторое равенство прав и преимуществ республики приведены и от нового гонения совершенно охранены будут, дабы в противном случае продолжением прежнего утеснения не могли они, и в том числе и наши единоверцы, к невозвратному ущербу государственных наших интересов вовсе искоренены быть. Нет нужды распространяться здесь, сколь много польза и

честь отечества нашего, а особливо персональная ее императорского величества слава интересовала в доставлении диссидентам справедливого удовлетворения. Для приклонения к тому короля и всех способствовать могущих магнатов довольно уже и кроме формальных трактатами определенных обязательств представлять им в убеждение, что когда ее императорское в-ство для пользы республики не жалела ни трудов, ни денег, дабы ее в толь смущенное и критическое время, каковы для нее бывали обыкновенно прежние междуцарствия, сохранить от беспокойств, гражданского нестроения и других с оным неразлучно соединенных бедствий без всякой для себя из того корысти, то коль справедливо она может требовать и ожидать от благодарности королевской и всея республики, чтоб правосудное и столь к персональной ее в-ства славе, сколько к собственной чести нынешнего польского века служащее предстательство и заступление ее возымело действие свое в пользу некоторой части их сограждан, кои вопреки торжественным трактатам, собственным польским фундаментальным законам, общей вольности вольного народа и множеству королевских привилегий невинно страдают под игом порабощения за одно исповедание других, признанных христианских религий, в коих они рождены и воспитаны. К сим представлениям может ваше с-ство присовокупить все те, кои вы сами за приличные почести изволите, отзываясь в случае крайности, т.е. когда все другие средства втуне истощены будут, что и то им предостерегать должно, дабы ее императорское в-ство, увидя к заступлению своему в справедливом деле столь малое со стороны республики уважение, не нашлась напоследок от их дальнего упорства приневоленною одержать некоторыми вынужденными способами то, чего она от признания знатного им своего благодеяния и дружбы иначе достигнуть не могла, и чтоб для того ее в-ство не указала далее оставить в землях ее (т.е. республики) те самые войска, кои по сю пору столь охотно и с таким знатным иждивением употребляемы были для единой пользы и службы республики, которая долженствовала бы сама собою чувствовать, что утеснением одной части сограждан уничтожается общая ее вольность и равенство. При вынужденном иногда употреблении сей угрозы надобно будет вашему с-ству согласовать с словами и самое дело и сходно с тем учреждать и дальнейшее войск наших в Польше пребывание, дабы по крайней мере страхом вырвать у поляков то, чего от них ласкою добиться неможно было».

Для России главным делом было диссидентское; для короля и фамилии – преобразование. Хотели немедленно же, на коронационном сейме, провести два важных преобразования: ввести на сеймиках большинство голосов, а на сейме каждое отдельное дело должно было пока решаться единогласием, но как скоро несколько дел решено таким образом, то протест одного депутата относительно одного какого-нибудь дела, действительный относительно последнего, не срывает сейма, т.е. не уничтожает всех других его решений, что начали означать выражением: *liberum iurpro*.

Но для проведения этих преобразований нужно было согласие соседних дворов, преимущественно русского, и Станислав-Август вздумал уверять Екатерину, что преобразования необходимы для успеха диссидентского дела. «Я не распространяюсь в изъявлениях благодарности, – писал король императрице (4 ноября), – вы не этого желаете. Вы слишком велики для этого, и притом было бы трудно уравновесить слова с чувством. Но я обращаюсь к хорошо известному вам

характеру моему. Вы знаете, какую власть имеет надо мною благодарность, а благодарность моя к вам чрезмерна, она равняется моей преданности. Вы можете смело сказать самой себе: „Мой лучший, мой самый верный друг теперь король, он привязан ко мне честностию и личною склонностию столько же, сколько интересом“. К счастью, ваши добродетели и ваше благородное бескорыстие позволяют мне воздать должное вам и моему государству. Вы желаете, чтоб Польша была свободна; я желаю того же, и с этою целию я хочу спасти ее из бездны беспорядка, который в ней царствует. Большому числу ревностных патриотов до того наскучила анархия, что они начинают довольно громко говорить, что предпочтут абсолютную монархию постыдным злоупотреблениям своеволия, если невозможно достигнуть более правильной свободы. Я хочу предохранить их от этого отчаяния. Но единственное средство для этого – сеймовые преобразования. Диссиденты составляют часть граждан, над которыми по вашему желанию я царствую. Так как ваше величество сильно занимает их судьба, то это заставляяет меня действовать в их пользу пред католическою нациею, слишком ревнивою, быть может, относительно известных преимуществ. Но для успеха в этом деле, как везде, нужно более порядка на сейме, а этого нельзя достигнуть без исправления наших сеймиков. Здесь замешан собственный интерес вашего величества».

Но *«там были очень умны, там»*, хотя еще и руководились добрым сердцем, королю было внушено, что преобразования преждевременны. Станислав-Август повиновался и писал (13 декабря): «Смею думать, что ваше императорское величество видите самое сильное доказательство моего беспредельного к вам уважения в жертве, какую я принес вам на сейме: я пожертвовал тем, что всего более лежало у меня на сердце. Большинство голосов на сеймиках и уничтожение *liberum gumro* суть предметы самых пламенных моих желаний. Вы пожелали, чтоб этого еще не было, – и это не было даже предложено. Считаю себя вправе думать, что мое поведение расположит ваше величество благоприятно отнестись к делу в будущем. Желание сделать вам угодное и мое собственное расположение заставляли меня сделать для диссидентов то, чего вы для них требовали. Ваш посол уведомит вас, какой результат произведен был фанатическим криком. Ожесточение в Сенате дошло до того, что хотели принести в жертву самого примаса, как он смел сделать легкое упоминание об этом деле. От высокой справедливости вашего величества я ожидаю признания, что я не мог и не должен был рисковать более после этого опыта».

Посол уведомил о печальном для него исходе сейма, особенно по диссидентскому делу.

6 декабря Репнин писал: «Диссиденты одни более меня в оскорбление приводят; ласку и угрозы в пользу их употреблял, только по сих пор признаюсь, что мало надежды имею и антузиазм так велик, что ни резоны, ни страх никакого действия не делают». После этого грустного предисловия 13 декабря Репнин доносил: «Хотя не актом, но конституцией сего сейма подтверждение трактата 1686 года сделано, пограничная комиссия и негоциация об новой альянции определены, положа основанием новым обязательствам взаимную гарантию владений обеих держав и прав, привилегий и вольности республики. Знаю я, что сия гарантия совершенно теперь не исполнена (т.е. постановление о ней не приведено к совершенному окончанию), однако ж при будущем новом трактате

отказать уже и поляки не могут как вещь повеленную и требованную от них же целым сеймом. Сия конституция столь же тверда, как бы и акт, который мне был предписан (императрицею), и, касаясь до чужестранной державы, нарушена быть отнюдь не может. Главные же причины в несоглашении их на акт я вижу те, чтобы гарантия совсем уже совершилась, а им, может быть, хочется чрез нее выиграть те в сеймиках и в сеймах учреждения, об которых они уже просили; а другое, не хотя ту гарантию от прусского короля принять, ни решительно сказать, что с ним в альянции войдут, которое я в акт внести хотел: они же все без изъятия к нему доверенности никакой не имеют, и я, сколько могу, то испровергаю, но по сих пор вижу, что напрасно. Если я не совсем в точности исполнил высочайшие повеления, то истинно от самой невозможности; и сие сделано от страху, чтоб войска здесь не остались: конституция ж сия до тех же желанных предметов довести может, как и акт. При сем должен я справедливость отдать королю, что он совершенно предан всемилостивейшей государыне и дела ее нелицемерно за свои считает. Я принужден был для успеху во всех делах сказать партикулярно королю и некоторым магнатам также в конфиденцию, что мне не велено войск выводить, пока дело нашего двора не кончат, не выключая и диссидентов; как же я видел, что сие последнее ни страхом, ни увещанием не делалось, то хотел в нации возбудить благодарность, дабы хоть тем к желаемому концу дойти, и вследствие чего согласился на королевское желание, чтобы он объявил в публику, что войска наши назад идут, но и тем для диссидентов ничего сделать не мог; головой их дело, представленное в тот же день, и выслушать не хотели, и сделался такой шум, что, позабыв почтение к королю, с мест своих все повскакали и хотели, чтоб им выставили того, кто осмелился в пользу диссидентов прожект сделать и отдать маршалу сейма. Король, примас и малая часть рассудительных людей, которые тут были, не смели, видя ту неумеренность, ни один слова промолвить; и хотя прожект бы отдан маршалу от короля и примаса, но, боясь в том признаться, для прекращения того приступа сказали, что от чужестранных министров тот прожект прислан, чем подлинно то шумное взыскание прекратили, никто не смея более против сего говорить: но, однако же, прочесть не дозволили, крича все, как бешеные, что уже диссидентов состояние решено прошедшими сеймами и перемены никакой не сделают; и тот безобразный крик прежде не кончился, поколь совсем материи не принудили переменить. В тот же день поутру, прежде сего представления, видя нерешимость и почти робость королевскую, подал я еще мемориал об диссидентах, что также сделали прусской, дацкой и английской резиденты, дабы тем побудить оное дело трактовать; но король в полдень мне дал знать, чтоб лучше сократить оный в генеральных терминах; я ж, не видя в том пользы, к нему билъетом в той силе и отозвался, настоя, чтоб, конечно, вышепомянутый прожект предъявлен был и для выигрывания еще времени чтоб сейм хотя на два дни продолжили; на что он мне отвечал также билъетом, прося, однако же, чтоб никому то известно не было, кроме ее величества; а я и на оный билъет тоже ему донес, что не могу отступить от своих требований, почему и было представлено дело, как уж выше описал. Я ж был в то время нарочно неподалеку Сената, имел там своих шпионов, которые тотчас меня о всем том уведомили, почему в тот же момент цыдулку написал к князю Адаму Чарторыйскому, что хотя король и объявил нации, что войска наши выдут, но он знал, что мне того сделать нельзя, если диссидентское дело не прослушают и не

решат. Сие, дошедши до короля, привело его в тревогу и в новое движение в пользу диссидентов, но сам, не смея говорить, велел маршалу сейма, чтоб он то дело продолжал представлять, что действительно неоднократно и делано, но, как выше доносил, ничто не помогло. К генералам Штофелю и Ренненкампфу я пишу, чтоб они в силу повелений ее императорского величества возвращались в свои квартиры в Россию; а король, беспокоясь весьма, чтоб они, как я сказал, не остались здесь, очень меня об том возвращении просил, на которое я ему донес, что хотя повеления, мне данные, того не гласят, особливо дело диссидентское, не имея никакого успеха, однако, видя подлинное его попечение о делах нашего двора, я то на себя беру, льстясь, что всемилостивейшая государыня оное опробует, уверен быв о подлинной его искренности и дружбе... Я то сделал из усердия к успеху дел нашего высочайшего двора, и, действительно, подтверждению трактата оное очень помогло; несчастлив только тем и истинно утешиться не могу, что диссидентское дело так дурно обратилось. Вижу теперь, что антузиазм закона (религии) опаснее всего на свете и труднее також всего оной превзойти. Однако как исполнение старого трактата, так заключение нового оставляют право и повод к поправлению состояния диссидентов и для защищения их от ябед, сколь то есть во власти короля, и к побуждению его к тому сию мысль весьма нужно оставить, что войска не велено было в пользу их выводить, подтверждая оное тем, что генерала князя Долгорукова корпус действительно для того ж совсем из земли не выводится, я ж намерен его к виленским магазейнам послать за чрезвычайной здесь дороговизной, и более теперь войска здесь, конечно, не нужно».

«Вижу теперь, – писал Репнин, – что антузиазм закона опаснее всего на свете». В том же смысле писал Станислав-Август к своей маман Жоффрэн: «Ах, дорогая маман, народные предрассудки – вещь ужасная! Я преодолел некоторые из них на этом сейме, но был принужден оставить еще многие, и вмените мне это в заслужу, потому что это мне много испортило крови, но благоразумие превозмогло. При малейшей попытке в пользу некатоликов раздавался фанатический крик, против которого я мог бы бороться, но предпочел оказать пред ним уважение, чтоб поскорее утешить, и я проложил себе другую дорогу, более длинную и потаенную, но которая проведет меня под конец к возможности поступать человеколюбиво с диссидентами. Больше всего им и мне повредило то в этом случае, что они рассеяли слух, будто я хочу сравнять их совершенно с последователями господствующего исповедания, чего никогда не было и не будет в моей голове».

Туча надвинулась очень быстро. Ни король, ни Репнин, смущенные, не хотели еще признавать страшной опасности, не видали начала конца.

Связь России с Пруссией, условленная возведением на престол Понятовского, должна была скрепляться еще более. Генерал Гадамский, присланный от Польской республики к прусскому королю с объявлением о смерти Августа III, был несколько раз у князя Долгорукого и передавал свои разговоры с Фридрихом II по поводу избрания нового короля. Фридрих прямо объявил ему, что, по его мнению, гораздо полезнее для поляков выбрать Пяста и что он, король, будет во всем поступать согласно с сделанными в Варшаве декларациями от имени русской императрицы, и так как граф Понятовский уже рекомендован ею, то он думает, что поляки для собственного спокойствия должны на то согласиться.

К этому король прибавил, что ходящие в Польше слухи о намерении его послать туда корпус своих войск совершенно неосновательны и выдуманы его злодеями, хотящими смутить умы и накинуть на него подозрение; что он ничем не хочет нарушать польской вольности, только один случай принудит его послать войско в Польшу – это когда венский двор первый пошлет туда свои войска: на это он спокойно смотреть не будет и сделает то же самое. Вот почему он советует полякам предупредить поступки венского двора, противные их спокойствию. «Господин Гадамский, – доносил Долгорукий, – кажется, того же мнения, что полякам лучше следовать представлениям вашего величества и короля прусского; он мне сказал, что хотя принц Ксаверий саксонский и старается скрытно о своем избрании в короли и имеет значительную партию, но поляки предпочтут собственное спокойствие интересам этого принца».

В начале апреля Долгорукий имел конференцию с Финкенштейном. Прусский министр сказал ему, что некоторые польские магнаты скрытным образом старались уговорить графа Мерси, чтоб он объявил кандидатом на польскую корону одного из австрийских принцев, объявляя, что этим прекратятся все партии в Польше, которых избежать нельзя, если выбрать Пяста. Мерси до сих пор еще не дал им никакого ответа; король уже писал об этом в Петербург к графу Сольмсу для уведомления императрицы; но, прибавил Финкенштейн, его величество находит нужным отписать об этом русскому резиденту в Константинополе: венский и версальский дворы стараются привести Порту в сомнение относительно поступков петербургского и берлинского дворов в Польше, внушают ей, будто польская вольность находится в великой опасности; так русский резидент мог бы внушить Порте, что, напротив, венский двор старается поколебать польскую вольность, выставляя своего принца кандидатом, чего, как известно, Порте терпеть не будет и, получа такое известие, меньше станет верить внушениям австрийского и французского послов. Долгорукий в тот же день дал об этом знать Обрезкову в Константинополь.

В своих письмах к императрице Фридрих II продолжал обнадеживать ее в успехе польского дела. «Я хорошо знаю эту нацию (польскую), – писал король 16 февраля, – и потому уверен, что, разбрасывая деньги кстати и употребляя прямо угрозы против злонамеренных, вы их приведете к желанной вами цели. Но мне кажется, что угрозы и общие объявления должно употреблять только по истощении всех средств великодушия, всех внушений и советов частных, чтоб отнять у соседей всякий предлог вмешиваться в дело, которое вы считаете своим». Фридрих писал (7 апреля), что Франция и Австрия будут мешать Екатерине при избрании польского короля только тайком, интригами, а не силою; что надобно бояться одного, чтоб они своими интригами не подняли Порту. «Что же касается поляков, то вступление русских войск с сильными объявлениями против гетмана Браницкого и князей Радзивилла и Любомирского укротят их пыл». «Большая часть поляков, – писал Фридрих, – пусты и подлы (*vains et laches*), горды, когда считают себя вне опасности, и ползают, когда беда над головою, и я думаю, что не будет пролито крови, разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сейме». 12 мая король писал: «Поляки получили некоторую сумму денег от саксонского двора; кто захочет получить их, произведет некоторый шум, но все и ограничится шумом. Ваше величество приведете в исполнение свой проект: этот оракул вернее Калхасова».

А между тем, узнавши, что Бенуа в Варшаве сделал заявление, одинаковое с русским послом, Фридрих II был этим недоволен и велел дать знать своему министру: «Нужно было ограничиться только заявлением, что король не хочет увеличения своих владений на счет Польши, а не требовать прямо избрания Пяста: хотя король и согласен в этом отношении с императрицею, но все же желал бы избежать подозрения, что хочет вмешиваться в свободные выборы».

Король был согласен с императрицею и относительно диссидентов, но велел отписать Бенуа: «Делайте для диссидентов все возможное по обстоятельствам, ибо не надобно рисковать спутать дело из любви к ним».

В Берлине ожидали с нетерпением заключения союзного договора с Россией. Сольмс в донесениях к королю приписывал медленность в заключении договора множеству дел и обычной медлительности русского двора. Наконец 31 марта желанный договор был подписан: оба государства обеспечивали взаимно европейские владения друг друга. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон употреблялись сначала добрые услуги для прекращения войны, в случае неуспешности через три месяца по востребовании союзник выставляет 10000 пехоты и 2000 кавалерии, в случае же нужды оба государства соглашаются об увеличении этого числа и о защите всеми силами, 1-я секретная статья: если нападение последует в отдаленных местах, на Россию со стороны Турции и Крыма, а на Пруссию за Везером, то вместо войска помощь может быть доставлена деньгами, именно уплатою по 400000 рублей. 2-я секретная статья: союзники обязываются действовать заодно в Швеции для поддержания равновесия между борющимися там партиями; в случае опасности для существующей формы шведского правления союзники соглашаются насчет средств отвратить опасное событие, 3-я секретная статья: король гарантирует голштинские владения великого князя, 4-я секретная статья: союзники обязываются не позволять перемены в польской конституции, предупреждать и уничтожать все намерения, которые могли бы к этому клониться, прибегая даже к оружию. Статья отдельная: союзники обязываются покровительствовать диссидентам и уговаривать польского короля и республику восстановить их в прежних правах; если же нельзя, то, выжидая удобного времени, стараться по крайней мере, чтоб диссиденты не подвергались притеснениям. Союз был заключен на 8 лет, но можно было возобновить его и прежде.

Долгорукий донес, что граф Финкенштейн словесно объявил всем иностранным министрам о заключении союзного договора, причем не утаил и секретной статьи о Польше; такое же устное объявление иностранным министрам сделано и им, Долгоруким; только одному английскому посланнику Митчелю, с которым он искреннее обходится, чем с другими, он прочел весь договор и рассказал содержание секретной статьи. На этом донесении Панин написал: «За сие Долгорукий достоин реприманда, по какому повелению он смел сказать о секретной конвенции; да и вся реляция неисправна, ибо невозможно стать, чтоб берлинский двор всем чужестранным министрам сообщил секретный артикул о польских делах, потому что здесь согласились оный сообщить только венскому и лондонскому дворам». Сильный реприманд был отправлен; но Долгорукий отвечал, что он не счел нужным утаивать секретную статью от английского посланника, когда в Петербурге постановлено сообщить и лондонскому двору и ему, Долгорукому, велено обходиться с Митчелем откровенно.

Когда австрийский посланник Рид представил Фридриху II, что для успокоения Польской республики Мария-Терезия желала бы публичного объявления со стороны Пруссии, что войска прусские не будут введены в Польшу прежде вступления туда войска другой державы, король выслушал Рида с неудовольствием и отвечал: «Я уже сообщил венскому двору договор, заключенный мною с русскою императрицею, я теперь обязан поступать во всем согласно с нею; императрица до сих пор ничего не сделала в противность обещанию сохранять вольность и права Польской республики, а что русские войска теперь в Польше находятся, то это не причина к жалобе; союз между Пруссиею и Россиею натуральный: как ближние соседи Польской республики для собственного интереса мы должны соединиться и охранять заодно вольность и фундаментальные законы Польши». Король приказал Финкенштейну немедленно сообщить Долгорукому об этом разговоре с Ридом для донесения императрице и прибавить от его имени, что все польские беспокойства происходят от внушений венского двора; известно, когда коронный гетман граф Браницкий выехал из Варшавы и остановился в трех милях от этой столицы, то австрийский посол граф Мерси поехал к нему и уговаривал его, чтоб твердо держаться.

Осенью попытки нового польского короля приступить к преобразованиям сильно встревожили берлинский двор, тем более что из Петербурга и Варшавы Фридрих II получил донесения, что русский двор смотрит на эти попытки хладнокровно и даже с поблажкою. Сольмс доносил из Петербурга, что польский посланник граф Ржевуский представил Панину мемуар, где просил согласия императрицы на ограничение злоупотребления *liberum veto* в смысле *liberum gutro*. Панин готов был уступить, представляя, что Польша, избавленная от сеймового беззакония, поправивши свою торговлю, юстицию и полицию, может быть полезною союзницею и заменить Австрию относительно турок. Но Сольмс получил из Берлина приказ: «Сохрани вас Бог помогать предложению Ржевуского!»

Бенуа из Варшавы прислал тоже тревожные известия, что Россия смотрит на польские преобразования слишком легко. Репнин начинает очень влиять насчет этого дела; и тогда только начал серьезно на него смотреть, когда ему Бенуа внушил, как серьезно смотрит на него король прусский. Репнин стал говорить об этом Станиславу-Августу, тот сильно огорчился и начал говорить с такою горячностью, какой Репнин никогда прежде не замечал в нем: «Как! Это наши друзья, наши союзники будут препятствовать тому, чтобы мы вышли из нашего застоя!» «Поляки, – писал Бенуа, – будут содействовать таким образом своей собственной гибели и заставят своих соседей раздробить некогда Польшу, чтобы посредством формы английского правления, у них установленной, они не сделались слишком страшны при своей обширной государственной области».

Фридрих написал Екатерине (30 октября): «Многие из польских вельмож желают уничтожить *liberum veto* и заменить его большинством голосов. Это намерение очень важно для всех соседей Польши. Согласен, что нам нечего беспокоиться при короле Станиславе, но после него? Если ваше величество согласитесь на эту перемену, то можете раскаяться и Польша может сделаться государством, опасным для своих соседей, тогда как, поддерживая старые законы государства, которые вы гарантировали, у вас всегда будет средство производить перемены, когда вы найдете это нужным. Чтоб воспрепятствовать полякам

предаваться их первому энтузиазму, всего лучше оставить у них русские войска до окончания сейма».

Панин по словам Сольмса, все твердил, что было бы слишком жестоко мешать полякам выйти из варварства; но на Екатерину письмо Фридриха произвело сильное впечатление, и она отказала в согласии на преобразование. «Панин нахмурился, – писал Сольмс, – но скрыл свою досаду: ему хотелось приобрести славу восстановителя Польши».

Но был еще третий сосед Польши, который также сильно интересовался всем, что в ней происходило.

29 января австрийский посланник князь Лобкович заявил вице-канцлеру, что императрица-королева желает знать, кому с русской стороны предпочтительно прочится корона польская, чтоб об этом заблаговременно можно было между собою согласиться; что сообщение об этом было обещано, но обещание до сих пор не исполнено, а сделанная в Варшаве русским и прусским министрами декларация противна прежним уверениям, что республике будет предоставлена свобода избрания: исключение иностранных принцев никак не вяжется с этими уверениями. Если Россия для подкрепления своего кандидата прежде избрания введет свои войска в Польшу, в таком случае венский двор по своему значению и близкому соседству не может равнодушно смотреть, чтоб какая-нибудь посторонняя держава посадила в Польше короля против вольного избрания, и потому принуждена будет вмешаться в дело. В случае вольного избрания на польский престол саксонского принца намерена ли императрица противиться этому силою? На конференции 3 февраля Лобкович опять спрашивал, не будет ли императрица противиться избранию саксонского принца, ибо хотя венский двор и желает вольного избрания этого принца, но не намерен подкреплять его силою в надежде, что императрица также не будет подкреплять силою своего кандидата, что для обуздания беспокойных голов в Польше было бы полезно, когда б оба императорские двора заблаговременно согласились поддерживать вольное избрание. 9 февраля Лобкович наведывался о резолюции императрицы на его предложение, но получил от вице-канцлера в ответ, что резолюции еще нет, да дело и не требует спешности.

29 марта вице-канцлер сообщил всем иностранным министрам записку, в которой русский двор объявлял, что вследствие больших беспорядков в Польше и насилий коронного гетмана графа Браницкого, также виленского воеводы князя Радзивилла и сообщников их императрица, может быть, против своего желания найдется вынужденною ввести часть своих войск в земли республики для защиты благонамеренных патриотов и сохранения спокойствия в таком близком соседстве. Лобкович заметил, что он ни о каких насилиях гетмана Браницкого не знает, что же касается до князя Радзивилла, то он не так виноват, как об нем говорится в русской записке; вообще ж ему, послу, очень прискорбно, что Россия в польских делах не ограничивается одними желаниями, и он, зная миролюбивые расположения своего двора, боится нарушения драгоценного покоя. Вице-канцлер отвечал, что насчет насилий Браницкого и сумасбродных поступков Радзивилла не может быть ни малейшего сомнения; что же касается намерений русского двора, то они остаются прежние и заключаются в защите вольности и законов польских и в недопущении, чтоб в Польше как-нибудь возбуждены были внутренние неурядица; если, следуя этим правилам, Россия будет принуждена употребить и

войско, то сделает она это, конечно, не по охоте, а будучи побуждена существеннейшими своими интересами, которые перевешивают интересы всех других дворов.

На сеймике в Грауденце (в прусской провинции) явилось войско Браницкого, чтоб дать торжество свое стороне, но этому помешало русское войско, охранявшее там магазины. Партия Чарторыйских оправдывала поступок русского войска; противная партия кричала против вмешательства иностранной силы. 5 апреля Лобкович жаловался на это вмешательство: он говорил, что протест поляков против него ничем оспорен быть не может и это присутствие русского войска, разумеется, нарушает в означенном месте польскую вольность. Вице-канцлер возражал, что русские войска, выступившие уже из Грауденца, принуждены были возвратиться туда для защиты магазинов, могших потерпеть среди народного беспорядка; Лобкович основывается на протесте одной стороны, но надобно, чтоб он прочел манифест и другой, подписанный 270 лицами, тогда как протест подписан только 220; что корпус генерал-майора Хомутова не нарочно приведен был в Грауденц, а находился там уже несколько лет; что когда русская армия действовала в пользу императрицы-королевы, то венский двор не жаловался на нарушение польской вольности от присутствия русского войска. Лобкович отвечал, что хотя он и не видал манифеста другой партии, однако сомневается, чтоб он был так же основателен, как протест первой, что не его дело говорить о прошедшем, а главное, он опасается, чтоб русские магазины не появились в таких местах, где их прежде совсем не было. На докладе об этой конференции Екатерина написала: «При сочинении ответа князю Лобковичу не худо дать им приметить, что здесь весьма странно кажется, что при всяком случае нас в допрос ведут».

В Вене Кауниц точно так же говорил князю Голицыну, что австрийскому двору вовсе неизвестно о выставляемых русским двором насильственных поступках Браницкого и других поляков, но известно о вступлении в Польшу значительного корпуса русских войск. «Намерение мое было, – писал Голицын, – посредством разговора с князем Кауницом изведать мысли здешнего двора по польским делам, но нимало не оказал он к тому податливости. Я от здешнего министерства не ожидаю теперь никакой откровенности, когда оной по сие время не оказалось».

Всего страннее было это раздражающее «ведение в допрос» при твердом решении венского двора ни под каким видом не начинать войны из-за Польши. Мария-Терезия говорила по поводу этой страны, что дрожит при малейшей искре от страха, что из искры произойдет пламя. Относительно претензии принца Ксаверия саксонского на польский престол Мария-Терезия сказала: «При настоящем положении моих финансов я могу дать ему только 100000 гульденов – плохая помощь! О посылке же войска в Польшу я не смею и думать, потому что это может вовлечь меня в новую войну, тогда как я страдаю еще от ран, нанесенных последнею войною».

Точно так же странно должно было казаться в Петербурге и поведение Франции, которая при всяком случае «вела в допрос» без решимости противодействовать видам России. Людовик XV в начале года писал: «Наши последние письма из Вены ясно говорят, что тамошний двор не даст ни войска, ни денег принцу Ксаверию, но обещает ему все добрые услуги и уговаривает его

представиться кандидатом (на польский престол). При таких обстоятельствах все деньги, которые мы дадим, будут потеряны, а у нас нет столько денег, чтоб их бросать. Думаю, что Испания взглянет на дело точно так же».

3 февраля французский поверенный в делах Беранже говорил вице-канцлеру князю Голицыну, что всякая посторонняя держава имеет право подкреплять кандидата своего, не исключая, однако, самовластно всех других вопреки польской вольности. Потом 1 марта говорил, что исключение Россиию саксонских принцев противоречит самим русским декларациям о сохранении вольности и прав республики. Князь Голицын отвечал, что Россия, конечно, больше, чем его двор, имеет интереса заботиться о ненарушимости польской конституции и рекомендует Пяста именно потому, что большая и здравая часть народа этого желает. Когда 29 марта вице-канцлер сообщил всем иностранным министрам записку о возможности вступления русских войск в Польшу вследствие насилий Браницкого и Радзивилла, то Беранже начал было на всякий пункт записки делать свои рассуждения и вопросы; но князь Голицын сказал ему, что он может довольствоваться тем, что находится в записке, и повторил, что интересы Франции относительно Польши и ее вольности никак не могут равняться с русскими. В Версали герцог Пралэн говорил русскому министру князю Дмитрию Алексеевичу Голицыну, как бы желательно было, чтоб Россия не вмешивалась в польские дела, распродала бы свои магазины в Польше и вывела оттуда свои войска и таким образом отняла бы у поляков всякий предлог к жалобам. Против этого места донесения Голицына Панин заметил: «А между тем сейм отложат, чего в Польше и домогаются, чтоб нашу партию там поставить без защиты и Браницкому с войсками все форсировать».

Тогда же Пралэн говорил Голицыну, что их очень тревожит слух, будто императрица велела приблизить к польским границам значительное число войска, и дружески признался, что если сверх ожидания вольность и права Польской республики будут нарушены и она формально потребует помощи у Франции, то последняя найдется в очень затруднительном положении. В конце апреля Пралэн, передавая Голицыну известие о вступлении русских войск в Польшу, выражал об этом свое сожаление, во-первых, потому, что по законам польским нельзя выбрать короля, пока чужестранные войска находятся в пределах республики; во-вторых, сама императрица объявила, что не допустит вторжения иностранных войск в Польшу; в-третьих, немалая часть поляков приносят теперь христианнейшему величеству жалобы, представляя, что русская императрица, исключая иностранных кандидатов и вводя свои войска в Польшу, нарушила их права, и требуют помощи от Франции. Насилия графа Браницкого и князя Радзивилла, дающие повод ко вступлению русских войск, на самом деле вовсе не так велики или, лучше сказать, их и вовсе нет, но враги увеличивают их в глазах императрицы, чтоб лишить этих вельмож ее покровительства; по смерти королевской Браницкий нимало не умножил число войск коронных; очень было бы желательно, чтоб императрица, оставя поляков разделяться друг с другом, как хотят, велела вывести свои войска из Польши; в этом случае Франция даст торжественное обещание не только ни под каким видом не мешаться в польские дела, но и ни копейки денег туда не посылать. На поле против этого места донесения Голицына было замечено: «Следовательно, теперь дают и видят, что без успеха».

Пралэн в дружеской откровенности признавался Голицыну, что польские требования помощи крайне его затрудняют и он не знает, что делать. Голицын писал по этому поводу своему двору: «Я легко верю, что польские требования затрудняют здешний двор не столько вследствие нежелания его вмешиваться в польские дела, сколько вследствие внутреннего плохого состояния государства. Впрочем, поступки свои он будет распорядить, смотря на австрийский двор, который более принимает участие в польских делах, чем здешний». На это Панин заметил: «Конечно, правда!»

13 мая Голицын донес, что французский посол в Варшаве маркиз де Поми представил своему двору, что слабое его старание в пользу Польской республики и слабая защита французских сторонников производят большой ропот и унижают достоинство Франции. Двор принял это в уважение и послал Поми отзывные грамоты; но Поми, отъезжая, должен был объявить, что так как республика теперь в волнении и в ней находятся чужестранные войска, то король считает нужным отозвать своего министра до восстановления спокойствия. Голицын писал: «Здешние обстоятельства относительно Польши действительно странны и очень тягостны для министерства. Король и Шуазели никак не намерены мешаться в польские дела, что на этих днях вновь объявлено австрийскому послу, особенно не имея надежды на успех по невозможности употребить много денег или послать войско. Но дофин и дофина требуют последнего и приписывают равнодушие Франции недоброжелательству Шуазелей».

По дальнейшим известиям Голицына, во Франции сильно желали окончания польского междуцарствия и больше всего боялись, чтоб не было двойного избрания, ибо тогда Франция нашлась бы в затруднительном положении: помочь противной Чарторыйским партии нет средств, а не помочь – значит потерять в Польше все значение. Наконец пришло известие об избрании Станислава Понятовского, и французская королева стала толковать с отцом своим Станиславом Лещинским, как бы сделать, чтоб новый король назывался Станиславом Вторым для указания на королевские права Станислава Первого (Лещинского), а если этого нельзя, то назвался бы Станиславом-Августом.

Непосредственно Франция не имела средств противодействовать видам России в Польше; но из Константинополя приходили известия, что там французский посол не остается в бездействии. 4 января Порты прислала Обрезкову письменный отзыв, где говорилось, что она сама не имеет намерения вмешиваться в польские дела, ни в вольное избрание короля из Пястов и желает, чтоб и другие соседственные державы поступали таким же образом; но получено известие, будто Россия, согласясь с королем прусским, намерена силою принудить поляков выбрать себе в короли графа Понятовского, и хотя это известие и невероятно, однако Порты спрашивает, не может ли посланник дать какое-нибудь объяснение. Обрезков отвечал, что этому известию нельзя подавать никакой веры; прусский посланник Рексин подал записку такого же содержания. В конце февраля Обрезков доносил, что французский король, видя согласие Порты на избрание Пяста, нашел способ подействовать на султана посредством одного неаполитанского доктора, служащего в женском отделении сераля и имеющего свободный доступ к султану. Благодаря этому неаполитанскому доктору 7 февраля явился к Обрезкову переводчик Порты по повелению султана с вопросом, в каком положении находятся польские дела и какая по ним окончательная резолюция

императрицы. Когда Обрезков спросил, что за причина такого неожиданного вопроса, то переводчик в крайнем секрете открыл, что султан переменял свои мысли относительно избрания в польские короли Пяста и что в этой перемене всего больше участвовали льстивые внушения французского посла, который толкует, что султан без всякого затруднения может посадить на польский престол, кого хочет, и никакая держава не посмеет этому противиться, и приобретет он чрез это имени своему бессмертную славу, а империи своей знаменитость. Обрезков, зная по опыту, что в подобных случаях твердый ответ Порте не в пример бывает полезнее мягкого, отвечал, что ничего нового не может быть по польским делам и по данному раз императрицею наставлению он, посланник, может Порту уверить, с одной стороны, что императрица не будет препятствовать избранию в польские короли Пяста, но, с другой стороны, если бы недоброхотными к отечеству поляками или какою-нибудь иностранною державой нарушено было спокойствие Польской республики, то императрица на это равнодушно смотреть не будет, но употребит все меры и силы свои к защите Польши и к восстановлению в ней спокойствия. Переводчик Порты нашел, что этот ответ способен уверить султана, что покушение его возвести на польский престол, кого ему угодно, будет не так дешево стоить, как уверяют французы, и султан поудержится от поступков, которые могли бы компрометировать Порту. Ответ подействовал: прусский посланник опять подал Порте записку о необходимости избрания природного поляка, и когда первый французский переводчик Дюваль подал рейс-эффенди записку, что и саксонские принцы, как дети покойного польского короля, могут считаться природными поляками, то рейс-эффенди бросил записку Дювалю в глаза и сказал, как послу не стыдно беспрестанно утруждать министерство такими пустяками, разве он сановников Порты считает детьми несмысленными?

Мы видели, что с начала царствования Екатерины хотели идти по польским делам согласно с Пруссиею, а по турецким согласно с Австриею; но понятно, что такое раздвоение в политике было крайне затруднительно. Так, в Берлине, когда князь Долгорукий хотел отклонять прусское правительство от заключения союза с Турциею, то потерпел неудачу; а в Константинополе, когда Обрезков старался сблизиться с австрийским интернунцием для противодействия тому же турко-прусскому союзу, то интернунций принимал его совет и предложения холодно и подозрительно. На донесении об этом Обрезкова Панин написал: «Мне видится, и нам уже пора о сем деле замолчать, оставя венский двор его жребию, да и в существе Россия не потрясется от той алианции (Пруссии с Турциею), а венский двор далеко уже отшел от натуральной с нами конекции, чтоб еще нам стряпать за его собственные интересы с обращением к себе от других за то зависти».

В апреле польский резидент Станкевич от имени гетмана Браницкого уведомил Порту, что избирательный сейм не может быть вольным, если Порты не обнадежит гетмана и республику своею помощию, ибо Польша окружена со всех сторон бесчисленными русскими войсками, а внутри ее содержатся значительные русские магазины под прикрытием также сильных отрядов войска, к которому высылаются еще новые, и по всему королевству разглашено, что русская императрица не допустит избрания в короли никого другого, кроме Понятовского, и как только он будет избран, то императрица выйдет за него замуж и чрез это присоединит Польшу к Российской империи. Если это намерение исполнится, то

понятно, какой вред потерпит Турция. Но благодаря искусству Обрезкова делать внушения влиятельным лицам представления Станкевича остались без последствий. Обрезков писал, что переводчик Порты Григорий Гика, пожалованный в молдавские князья, советовал ему следующее: как скоро в Польше будет избран в короли человек, угодный императрице, то пусть новый король сейчас же пришлет грамоты к султану и визирю с объявлением о своем избрании и с заявлением своего желанья снискать благоволение Порты, ибо ничто не может так побудить Порту к согласному действию с Россиею и Пруссиею, как уважение, которое ей окажется: оно пощекочет ее честолюбие и отклонит нареkanie, что нанесен ущерб ее значению избранием польского короля единственно по воле русской императрицы. Обрезков прибавлял, что, по его мнению, Гика не сам собою подал этот совет, но усмотря желание всего турецкого министерства. Гика уверял также Обрезкова, что когда приедет в Молдавию, то будет усердно служить императрице как по польскому, так и по другим делам. За это Обрезков подарил ему соболий мех в 1000 рублей; а Панин написал на реляции: «Да и, конечно, он (Гика) таков, что упустить его не должно; так не соизволите ль, ваше величество, указать заранее о том инструктировать своих министров в Польше, равно как и о том, чтоб Станкевича как наискорее отозвать и по возвращении дать ему восчувствовать, что он к таким непристойностям употребить себя дозволил». Императрица на это написала: «Быть по сему; а ревность, искусство и усердие Обрезкова довольно похвалить неможно, да благословит Господь Бог и впредь дела наши тако».

Но радость была еще рановременна. От 15 июня Обрезков донес, что Порта опять сильно встревожена уведомлениями Браницкого, крымского хана и французского посла, что Россия скрытно действует в пользу Понятовского как жениха императрицы Екатерины. К Обрезкову явился переводчик Порты с объявлением от визиря, что если Понятовский действительно будет избран в короли, то это произведет охлаждение между Турциею и Россиею. Потом визирь велел сказать Обрезкову: «Одному Богу известно, как я стараюсь об утверждении доброй дружбы между Турциею и Россиею, но все мои старания останутся напрасными, если Понятовский будет избран в короли, не потому, что Порта опасается брака его с императрицею: она принимает ваши уверения, что этого не будет; но потому, что, кроме России и Пруссии, все державы признают его недостойным; по вступлении на престол может он вступить в брак с принцессою из австрийского или бурбонского дома и отдаст чрез это Польшу в зависимость от них. Одним словом, доставление польской короны Понятовскому и вступление в войну с Турциею для России одно и то же, и я хотя бы и остался на своем месте, то ничем уже помочь не могу; а кроме Станислава Понятовского можно выбирать кого угодно, хотя бы брата его родного, лишь был бы в законном браке».

Обрезкову и тут удалось успокоить Порту. «Но, – писал он императрице, – худая моя судьбина, как видно, устремилась не давать мне ни малого отдохновения». Пришло письмо от крымского хана, что на требование его представить настоящее состояние республики он получил бумагу, подписанную многими кастелянами и воеводами, которые заявляют, что республика состоит из одной фамилии Чарторыйских, соединенной с примасом; эта фамилия, опираясь на силы России, устроила сейм с разными распоряжениями, противными обычаям республики и всему королевству крайне предосудительными, но согласными с

видами русского двора; главная цель Чарторыйских – возведение на престол ненавистного всей Польше Понятовского, и если польская шляхта не будет защищена Портою, то принуждена будет уступить превосходной силе и разъехаться по другим государствам, оставляя Польшу в распоряжение России. Вместе с ханским письмом пришло донесение хотинского паши, что князь Радзивилл, будучи разбит и гоним русскими войсками, прибежал в турецкие владения и отдался под покровительство Порты, принося жалобы на Россию. Султан пришел в сильную ярость и велел своему министерству сделать такой отзыв Обрезкову, чтоб тот достаточно мог понять великое его неудовольствие. Действительно, 20 июля Обрезков получил отзыв, составленный, по его словам, в терминах грубейших и неучтивейших. Поведение России относительно Порты называлось непристойным и бесчинным. Обрезков величался лжецом и обманщиком. Обрезков, зная по опыту, что в Турции надобно иметь и лисий хвост, и волчий рот, на другой день подал записку, где дал почувствовать, что такие выражения непристойны в сношениях между знатными державами и что порицания неосновательны; что Польша – республика независимая и, кого бы ни избрала себе королем, ни одна держава на это досадовать не может; что последняя война у России с Турциею также произошла вследствие разных известий, которым очень легко поверили, и война эта стоила каждой из воевавших сторон, может быть, более 100000 человек. При переводе этой записки переводчик Порты нашел, что она очень жива и может еще более раздражить султана, потому недурно было бы изменить некоторые выражения. «Виновата Порта, – отвечал Обрезков, – мною ничего лишнего и неумеренного не сказано; впрочем, я бы кой-что и переменял, если б и Порта с своей стороны исключила из своего отзыва все грубое и неприличное». «Порта не требует, чтоб вы этот отзыв послали к вашему двору», – заметил переводчик. «Я не польский резидент Станкевич, – отвечал Обрезков. – Моя должность обо всем здесь происходящем доносить императрице». После этого переводчик именем министерства просил Обрезкова не посылать бумагу в Петербург, а 30 июля Обрезков и прусский посланник Рексин получили повестку приехать на другой день на конференцию к главному секретарю великого визиря. Конференция эта имела целию уничтожить впечатление бумаги уверениями в желании султана сохранять дружбу с Россиею.

2 сентября, получив наставление из Петербурга, Обрезков через своего переводчика велел сказать переводчику Порты, что слухи о браке императрицы с Понятовским после избрания его в короли суть не только «самомерзкие клеветы, но явные оскорбления или, лучше сказать, богохульства для освященной ее персоны», на которые она гнушается и отвечать, будучи вполне уверена, что Порта «таким богомерзким пусторечиям никакой веры не подала». Нечего также опасаться, что граф Понятовский вступит в супружество с какою-нибудь иностранною принцессою, ибо Россия и Пруссия имеют более, чем Порта, побуждений препятствовать, чтоб Польша не подпала зависимости от какой-нибудь иностранной державы; кроме того, подлинно известно, что граф Понятовский уже помолвлен на одной знатной польской девице. Когда после того Обрезков сообщил рейс-эффенди, что на сейме в условия новому королю внесен пункт, что если король будет избран неженатый, то не может вступать в брак иначе как с природною польскою, то рейс-эффенди со смехом сказал: «Полно

притворяться, называй прямо Понятовского, дело уже известное, что никто другой, кроме его, королем не будет; думаю, что он уже и выбран».

Избрание Понятовского в короли не прекратило франко-австрийских движений в Константинополе. Султану было внушено, что избрание незаконное, потому что вынужденное, и если Порты не признает Станислава королем, то и дворы венский и версальский его не признают, да и все христианские державы примеру их последуют. Порте дано было знать, что Россия и Пруссия рекомендовали Понятовского и эта рекомендация поддержана русским войском, посредством которого преданная России партия и будет управлять Польшею. Эти известия и внушения сильно подействовали. Переводчик русского посольства, отправленный Обрезковым к рейс-эффенди, нашел этого министра в страшном волнении. «Хорошо это было сделано, – начал он, – что русский и прусский послы рекомендовали сейму Понятовского, после того как здесь русский резидент и прусский посланник письменно и словесно уверяли нас, что от их дворов ни один кандидат не будет представлен? Резидент ваш меня погубил, потому что я, веря ему, подкреплял его представления и чрез это сделался ответственным. Будь проклята минута, когда я с ним познакомился! Порты предлагала России, нельзя ли исключить графа Понятовского из кандидатов на польский престол. Россия отвечала, что без нарушения данных уверений о невмешательстве никого исключить нельзя: но когда исключить нельзя, то само собою разумеется, что и рекомендовать нельзя, тем более что рекомендован именно тот, исключения которого желала Порты. Разве Порты не имеет после того права полагать, что все это сделано ей в досаду и в насмешку? И не будут ли ваши неприятели пользоваться этим случаем, чтоб вредить вам? Сами вы строите и сами расстроиваете! Пусть резидент подаст письменный ответ, основанный на крепком фундаменте, которым снимет навоз, наваленный на мою голову. Я имя резидента сделал золотым, а он обратил и свое и мое имя в чугунное. Порты новоизбранного короля никогда не признает и грамоты его не примет, и нет другого способа поправить дело, как ссадить Понятовского, и если резидент не подаст точного уверения, что Россия употребит для этого старание, то пусть больше не делает никаких представлений: слушать их не будут».

В совете, держанном при Порте, решено, что рекомендация Понятовского, сделанная русским двором и подкрепленная многочисленным войском, совершенно противна правам республики и данным Россиею торжественным уверениям; что Порте для сохранения ее значения между христианскими державами необходимо стараться о низвержении Понятовского, как Австрия и Россия низвергли Лещинского, возведенного Франциею. Из поспешности, с какою Россия хлопотала о возведении Понятовского, можно заключить, что она имеет разные скрытые и вредные виды. Если Россия своими обещаниями обманула Порты в деле, всему свету известном, то чего можно ожидать в частных делах между нею и Портою? Строение крепостей и обладание кабардами могут служить ответом. Ни на какие обещания нельзя более полагаться, и потому Порты без потери времени должна принять необходимые меры к охранению себя от умыслов русского двора. Вследствие доклада этого решения султан выразил желание, чтоб употреблены были все способы для свержения Понятовского с престола; но по вопросу, может ли Порты употребить для этого силу оружия и будет ли это

согласно с ее выгодами, муфтий и духовенство высказались отрицательно, почему вопрос и остался нерешенным.

2 сентября рейс-эффенди пригласил к себе на конференцию Обрезкова и Рексина и начал жалобами на поступок России и Пруссии, рекомендовавших Понятовского; турок так *прижал* Обрезкова (собственные слова протокола конференции), что надобно было признаться, что или русский двор не сдержал своих обещаний, или министры русский и прусский в Варшаве преступили повеления своих дворов; но признаться в первом было позорно для русского двора, признаться во втором – рейс-эффенди сейчас скажет: если министры поступили вопреки воле императрицы, то ей можно безо всякого предосуждения соединиться с Портою для низложения Понятовского. В такой крайности Обрезков отвечал, что по соглашению между тремя державами-Россиєю, Пруссиєю и Турциєю – король польский имел быть избран из Пястов вольными голосами без исключения и рекомендации; Порта была первая, которая покусилась исключить из числа кандидатов Понятовского, человека, желанного согражданами, и Россия, и Пруссия рекомендовали этого желанного поляками кандидата, почему рекомендация с исключением уравниваются. Рейс-эффенди был поражен этим ответом и сначала не знал, что сказать; потом, одумавшись, сказал, что исключение уже было прежде сделано относительно графа Браницкого; но Обрезков доказал, что исключение Браницкого никогда не предлагалось ни словесно, ни письменно. Тогда рейс-эффенди сказал: «Это дело прошлое, и более об нем говорить нечего, но Порта имеет законную причину сетовать на Польскую республику за пренебрежение: она избрала королем именно того, которого Порта желала исключить». Обрезков отвечал, что в Польше не знали о желании Порты исключить Понятовского, да если б полякам и дано было знать об этом, то они не поверили бы: не могли бы они себе представить и связать с известным правосудием Порты, чтоб она, основываясь на злостных внушениях посторонних людей, возненавидела человека, ей нимало не известного. Тут Обрезков распространился в похвалах Понятовскому и кончил уверением, что новый польский король будет оказывать Порте особенное уважение. Рейс-эффенди, рассмеявшись, сказал: «Резидент – хороший стряпчий, умеет дыму поддасть; я не знаю, какую султаново величество изволит принять резолюцию; но хотел бы я знать, если Порта отправит к каждому польскому вельможе визирское письмо с вопросом, каким образом происходило избрание нынешнего короля, то ответит ли каждый, что избрание было вольное, и как русский двор взглянет на этот поступок Порты». Обрезков отвечал: «Польша – держава самовластная; Порта имеет с нею договоры и по этим договорам знает, чего может от поляков требовать; а как взглянет на это мой двор, я догадаться не могу. Поступок этот будет так необычен, что поляки могут спросить, по какому праву Порта от них этого требует». «Со всех сторон, – сказал рейс-эффенди, – приходят к Порте известия, что королевское избрание было насильственное и вопреки желанию большинства». Обрезков отвечал, что Порта должна была приготовиться получать подобные известия и клеветы, особенно со стороны Франции и Австрии, между которыми было условлено возвести на польский престол саксонского принца, брата дофины; кроме того, Австрия, досадуя на Россию за уклонение от союза с нею, старается всеми силами возбудить против России Турцию, чтоб этим заставить императрицу опять вступить в тесный союз с венским двором. Тут

рейс-эффенди сказал переводчику Порты: «Помнишь, что я тебе говорил? Теперь видишь, что я не ошибался». (Против этого места донесения Екатерина написала: «Рейс-эффенди – мужик преумный; надобно стараться его к нам приласкать».)

Порта не поверила известию, что к коронации Станислава Понятовского в Варшаву приедет русская императрица для вступления с ним в брак; но Порта обеспокоилась известиями, что в Польше готовятся большие перемены, уничтожение *liberum veto*, и рейс-эффенди требовал от Обрезкова и Рексина, чтоб они доставили Порте от Польской республики письменное точное уверение, что польская конституция никогда не потерпит ни малейшего изменения, особенно в статье о *liberum veto*. Прусский посланник согласился было донести об этом своему двору; но Обрезков уклонился учтивым образом и уговорил Рексина сделать то же, находя требование предосудительным для достоинства Польского королевства и не приносящим ни малейшей пользы России. На донесении об этом Панин сделал заметку: «Сие тем более заслуживает похвалу политическому проницанию резидента Обрезкова, ибо такую от Польши декларациею турки получили бы знатную ступень мешаться в польские дела и почли бы себя сущими гарантами ее правительства, следовательно, разделили бы впредь с Россиею то, что по сие время ей одной от Польши хотя неохотно, но тем не меньше действительно и от других держав признавается».

Что в Европе была Польша, то в Азии была Кабарда, слабая страна, находившаяся между двумя сильными влияниями – русским и турецко-крымским. Хан, стремясь привести Кабарду в свою зависимость, с одной стороны, заподозривал пред ее владельцами намерения России, ставя на вид, что охраняет их от грозящей им беды; а с другой – жаловался на них русскому правительству и требовал удовлетворения, чтоб раздражить их еще более против России. И относительно польских дел хан вел себя враждебно, пересылая в Константинополь неприязненные России внушения, а перед консулом толковал о своей силе, о средствах вредить или быть полезным России, которая поэтому должна была его уважать. По этому поводу Никифоров получал повеления из Иностранной коллегии осаживать хана. Хан потребовал себе в подарок кречета; Никифоров получил приказание внушить, что императрице известно, что он, хан, вместо старания укреплять дружбу между Россиею и Турциею всячески, напротив того, хлопочет о том, как бы повредить ей: сам верит всем клеветам на Россию и желает, чтоб и Порта им верила. Этими поступками сам себя лишает большой награды, а потому не прежде может надеяться получить от России какие-нибудь благодеяния, как после совершенной перемены своего поведения.

Первый выбор консула в Крыме оказался неудачен. Никифоров делал большие ошибки: начал уговаривать хана, чтоб тот не мешался в польские дела, прежде чем тот промолвил о них одно слово; этим со стороны консула было внушено, что Россия нуждается в хане, заискивает в нем; вместо того чтоб представить подарки хану от имени киевского генерал-губернатора, представил их прямо от имени императрицы; Никифоров был заподозрен и в нечистых поступках относительно казны. Наконец, неосторожное поведение консула в самом щекотливом деле, в деле религиозном, послужило поводом к его отозванию. В октябре крепостной человек Никифорова Михайло Авдеев, 15 лет от роду, ушел и принял магометанство, а консул с своими людьми взял его силою опять к себе и подал жалобу на нарушение народных прав; татары, напротив,

требовали выдачи Авдеева как уже магометанина, причем один из чиновных татар сказал: «Хотя бы и консул пришел, то мы по своим книгам и суду могли бы его обусурманить», и когда переводчик консула жаловался на эти слова каймакаму, или заместнику ханскому, то сидевший тут муфтий сказал: «Хотя бы ваша и кралица сюда пришла, то бы мы и ее побусурманили». В ответ на донесение об этом Никифоров получил сильный выговор от Иностранной коллегии; поступок его назван горячим и непростительным, ибо он должен был знать, что ренегаты почитаются погибшими и о возвращении их никто не старается; грубые выражения муфтия насчет императрицы суть следствия его же консульской неосторожности.

Французские хлопоты остались на этот раз без последствий в Турции; Польшу Франция предоставила ее судьбе; но тем с большею настойчивостью действовала она в Швеции. Система действия была изменена: до сих пор Франция поддерживала противников усиления королевской власти, следуя общему тогда правилу, что слабость королевской власти дает другим державам более возможности вмешиваться в дела страны и проводить в ней свое влияние. Но теперь родился вопрос: что выгоднее для Франции: делить ли постоянно в Швеции влияние с Россией, поддерживая большими деньгами свою партию, или, усилив королевскую власть, противопоставить России опасного уже по самой близости врага, который будет всегда готов сдерживать Россию в ее неприятных для Франции стремлениях? Пример Польши заставлял Францию спешить переменою политики относительно Швеции. Французский посланник в Варшаве Поми писал своему двору: «Все поляки говорят прекрасно, но немногие осмеливаются что-нибудь делать, и, что делают, выходит дурно. Теперь поддерживать свободу Польши – значит защищать открытое место без гарнизона, без офицеров, без военных запасов, без хлеба, без укреплений». В Версали не хотели сделать и из Швеции такого же удобного для защиты места. В инструкциях Шуазеля Бретейлю говорилось: «Франция была введена обстоятельствами в заблуждение, слишком благоприятствовала ослаблению королевской власти в Швеции, из чего возникло метафизическое, невозможное правление. Растрачивали деньги на слабые партии, а Швеция становилась все слабее и незначительнее. Поэтому надобно доставить королю более власти».

В начале года Остерман уведомил императрицу, что генерал граф Ферзен тесно сблизился с недавно приехавшим в Стокгольм французским послом бароном Бретейлем и объявил королеве, что старается склонить Бретейля содействовать уничтожению на будущем сейме вкоренившихся в Швеции беспорядков, что ему Бретейль и обещал; и датский двор также склоняется этому содействовать. Королева поэтому продолжает быть очень ласкова к Ферзену и даже усилила наружные знаки своей милости к Бретейлю; удостоивает своим разговором и датского посланника, чего прежде никогда не бывало. Панин заметил на донесении Остермана: «Знать, что жребий шведской королеве быть обманутою французскими послами: в мое время перед сеймом, на котором графу Браге отсекли голову, маркиз д'Аврэнкур, обещав ей свое вспоможение и выведав из нее на одном маскерате все ее тогдашние намерения и предприятия противу сенаторей его креатур, предал ее им, Бретейль же гораздо вороватее Давренкура». Ферзен уверял, что французскому послу в инструкциях предписано не подражать поведению своего предшественника Давренкура, который действовал против

короля и королевы. Панин заметил: «По-видимому, Бретейль очень хорошо завел свои машины, налагая все прошедшее на счет своего предместника, и королева, конечно, будет обманута. Ее величество тут не припомнит, что Бретейль не прислан ее мирить с Давренкуром, но исправлять дела оставшихся в Швеции французских креатур, а что граф Ферзен – тот самый, который был первым жрецом Брагевой головы в поражении их шведских величеств».

Когда Остерман стал внушать надежным людям, что напрасно королева верит Ферзену и французскому двору, то ему отвечали, что королева, по ее решительному уверению, отнюдь никогда не согласится приступить к французской системе; не верит она ни Ферзену, а еще менее сенатору Шеферу; но по причине господства французской партии она принуждена пользоваться их ласканием, ибо если ни в чем другом нельзя успеть то по крайней мере она избавится от гонения, тем более что королева не имеет никакого подлинного обнадеживания ни с русской, ни с английской стороны, в чем будет состоять их помощь, а французский посол обещает на будущий сейм миллион ливров, и если сейм не будет чрезвычайный, отложится до обыкновенного срока, то французский двор пришлет еще три миллиона ливров. Панин заметил на донесении об этом: «Все сие пустые затеи и больше показывают десимюляцию ее величества перед благонамеренными, нежели истинность ее сентиментов, ибо как возможно согласить теперь оказываемое сию порабощение духа противу французской партии с тою характера ее гордостью и презрением всех очевидных тогда опасностей, которые она оказывала, когда ни снаружи, ни внутри Швеции не только подкрепления, ниже малейшей к тому надежды не имела».

Остерману было предписано иметь дружественные сношения с приверженцами двора и с благонамеренными патриотами, причем он не должен был никого поощрять к созыванию чрезвычайного сейма. Благонамеренные, по обычаю, неотступно просили Остермана узнать точнее, в чем будет состоять помощь со стороны России, дабы они заблаговременно могли бодрствовать против французских быстрых уловлений и содержать королеву в добром к себе расположении. Они высказывали желание чрезвычайного сейма, выставляя на вид, что без него своевольство так укоренится, что рано или поздно самодержавие само собою введено будет, и если это не сделается при жизни короля, то непременно последует вдруг по кончине его. Панин заметил по этому поводу: «Разумный домоводец когда что торгует, он соображает прежде всего цену с надобностию, с своим достатком и с пользою, которую из того получает; то же правило служит аксиомом и в политике. Неоспоримый интерес вашего величества принять участие, чтоб развращением не воспоследовало в Швеции генеральное опровержение всему правительству; но определить меру сего участия рассудительным образом невозможно прежде, покамест совершенно о том не уверимся, какой точно конец получат польские дела; без крайней же нужды, которой еще в Швеции не предусматривается, благоразумие не дозволяет совсем полагаться на одну надежду и потому брать решительные меры».

Между тем Панин, сначала думавший, как мы видели, что Бретейль обманывает королеву, стал приходить к мысли, что французский посланник может хлопотать об установлении самодержавия в Швеции, в чем заключается настоящий интерес Франции. На реляции Остермана от 19 марта Панин заметил: «Не то страшно, что Бретейль уверяет о нехотении своем мешаться во внутренние

дела: после в них во время сейма вмешается и тем обманет дворовую партию, но того вправду бояться надобно, чтоб Франция, усыпляя всех своим защищением правительства против короля, он, Бретейль, вдруг не соединился с дворскими партизанами своей системы и не подал бы нечувствительно способа им схватить самодержавство, что в существе есть и будет истинный интерес Франции, лишь бы только достоверно можно было ей его достигнуть».

В начале мая Остерману послан был указ стараться отвращать королеву от впадения в сети французских партизанов, а с другой стороны, удерживать благонамеренных (колпаков) от несвоевременного отделения от придворной партии. Остерман отвечал, что из придворной партии он получает уверения о преданности короля и королевы императрице; если и происходят сношения с французскими партизанами, то они наружные, без всякой твердости. Королева довольно испытала, как мало она может верить их оболъщениям, и потому уверения со стороны императрицы предпочитает всему и на них одних полагает прямую свою надежду, как бы с французской стороны ни старались переменить ее мысли. Благонамеренные же патриоты полагают все свое спасение в защите императрицы и с неописанною благодарностию принимают обнадеживания в русской помощи, обещааясь следовать великодушным советам императрицы и не только не подавать вида об отделении себя от придворной партии, но еще сильнее искать королевской милости. В начале июля Остерман донес о разговоре своем с королевою, которая уверяла его в самых сильных выражениях в своей особенной и беспредельной преданности императрице и желании заслужить ее всевысочайшую дружбу. Остерман просил ее принять уверения в добром расположении императрицы к ней и королю и не верить никаким другим внушениям, приходящим с противной стороны, выдуманном людьми, завидующими доброму согласию между Россиею и Швециею. Королева сказала на это: «Вы не ошибаетесь, говоря о зависти; прошу вас верить, что я никаким внушениям веры не даю, и в доказательство моего усердия к императрице и доверия к вам не могу от вас скрыть, как мне прискорбно слышать о враждебных замыслах датского и венского дворов против императрицы». «Эти вредные замыслы мне неизвестны, — отвечал Остерман, — и я могу удостоверить ваше величество, что опасности тут нет никакой и все действует одна зависть». «И я имею такую же надежду, — сказала королева, — но по искреннему своему к вам усердию не могу скрыть своего беспокойства». Остерман настаивал, чтоб королева не верила никаким внушениям, потому что перед этим она дала ему знать, как ей прискорбно было уведомиться, что императрице донесено, будто бы она, королева, недружелюбно к ней относится, а потому и императрица с своей стороны к ней неблагосклонна и хорошо расположена к одному королю.

24 августа Остерман писал о разговоре своем с прусским посланником бароном Кокцею, который все твердил, что уполномочен своим государем сообразовать свои поступки с поступками русского министра. Кокцей дал знать Остерману, что введение самодержавия в Швеции одинаково противно интересам России и Пруссии, но согласно с интересами обоих дворов восстановление на будущем сейме прав и преимуществ королевских, как-то: права объявлять войну, заключать мир, устанавливать новые с иностранными дворами обязательства по примеру преимуществ английского короля. Остерман имел наивность заключить из этих слов, что Кокцей, должно быть, не получил инструкции по внутренним

шведским делам и рассуждает о правах короля по словам членов придворной партии. В том же донесении Остерман уведомил о состоявшемся определении о созвании чрезвычайного сейма. «От этого определения, – писал Остерман, – все благонамеренные патриоты ожидают большой пользы, если получают от вашего императорского величества обещанное вспоможение; если теперь при самом начале случай упущен будет, то после нельзя будет поправить дела и двойным изживением». По мнению благонамеренных патриотов, вспоможение должно было состоять из 300000 рублей, из которых 100000 должно было выдать немедленно, а на остальные дать ассигнации и выплатить их в течение двух лет. Благонамеренный сенатор граф Левенгельм объявил Остерману, что он сильно уговаривал королеву наблюдать строгий нейтралитет как в выборе ландмаршала, так и при всех других выборах; но не мог в этом успеть и довольно приметил, что она имеет доверие к советам графа Ферзена и надеется по его обещанию получить в свое распоряжение французские деньги. 24 сентября Остерман сообщил о любопытном разговоре Левенгельма с французским послом Бретейлем. Левенгельм старался убедить посла, чтоб он не употреблял подкупа: все бедствия Швеции, говорил он, проистекали от того, что нация, будучи подкупами раздроблена на разные части, не могла никогда содействовать истинной пользе своего отечества, и теперь, если подкупы будут продолжаться, то надобно ожидать тех же самых бедствий, и посол приобретет для своего двора больше вреда, чем пользы. Бретейль, выслушав все это, отвечал, что он нимало не намерен следовать примерам своих предместников, но если соперники его будут употреблять подкупы, то и он, естественно, принужден будет обороняться тем же самым оружием. «Кого вы признаете здесь своими соперниками?» – спросил Левенгельм. «Английского посланника Гудрика и русского Остермана», – отвечал Бретейль. Гудрик действительно предложил Остерману 40000 фунтов стерлингов для действий сообца.

Из России Остерману прислано было 50000 рублей и наставление: «Мы постоянным и ненарушимым интересом поставляем в Швеции непоколебимое соблюдение узаконенного в 1720 году вольного образа правления и сопротивление введению самодержавства. На таком основании мы признаем благонамеренными патриотами всех тех, которые стараются только о восстановлении должного равновесия между тремя властями и уничтожении беспорядков, происшедших от своевольного и превратного толкования формы правления. Это восстановление и уничтожение беспорядков мы почитаем совершенно исполненным, если уничтожатся все без изъятия сенатские толкования и сеймовые определения, особливо акты, обнародованные на сейме 1756 года, а в самой форме правления переправится оговорка, находящаяся в заглавии, именно что „государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право толкования и исправления установленной формы правления, если это впредь понадобится“. Вместо этого должно быть внесено следующее: „Если впредь понадобится толкование или исправление правительственной формы, то государственные чины предоставляют себе на генеральном сейме право составить проект для обнародования всей нации, которая на следующем сейме в данных депутатам полномочиях и инструкциях должна этот проект одобрить, и тогда только он может получить силу закона“. Повелеваем вам истинным и благонамеренным патриотам подавать всякое вспоможение не только советами, но и деньгами; вы должны стараться составить

из этих патриотов действующий корпус, чего иначе достигнуть нельзя как избранием для них одной главы, к чему мы удостоиваем сенатора графа Левенгельма как самого разумного и искусного в делах из всех благонамеренных патриотов, присоединяя к нему в помощь сенатора графа Горна, полковника Рудбека и статс-секретаря барона Дюбена как людей, исстари расположенных к нашему двору. Вы должны им объявить: 1) что наше вспоможение не назначается на личное преследование членов противной партии, равно как не на доставление частных выгод тому или другому из благонамеренных патриотов, но единственно на поправление государственных дел и на поправление всей благонамеренной партии в надлежащую силу и кредит у народа, и потому они не должны позволять друзьям своим вмешиваться в частные предприятия; 2) чтоб они всеми мерами старались обуздывать высокомыслие придворной партии, особенно начальника ее полковника Синклера, причем, однако, должны избегать явного разрыва с этою партией, а старались склонить ее к своим благонамеренным видам; 3) приложили бы старание привлечь на свою сторону сенатора графа Гепкена и уговорили бы его потом возвратиться в Сенат, а, напротив того, сенатора Шефера принудили бы оттуда добровольно выйти; 4) в Секретную комиссию посадить сколько можно более честных и искусных людей, дабы, наконец, 5) воспользоваться склонностию и самих сенатских приверженцев к независимости от чужих держав и положить начало низвержения французской системы предписанием своему министерству, чтоб оно не вмешивалось ни в какие обязательства с чужестранными дворами, могущие вывести Швецию из нейтрального состояния в случае военных замешательств в Европе». Екатерина хотела составить в Швеции свою независимую партию или поднять старую партию колпаков, которая бы, с одной стороны, противодействовала французскому влиянию, с другой – сдерживала королеву и придворную партию от стремления к перемене конституции 1720 года. Разумеется, придворная партия не могла смотреть на это равнодушно. В конце октября один из главных членов этой партии имел разговор с Остерманом, из которого тот заключил, что приверженцы двора желают, чтоб русские и английские деньги были отданы в руки королевы для составления одной партии под именем придворной, от которой колпаки вполне бы зависели. Упомянутый член придворной партии толковал Остерману, что особенная партия, независимая от Сената или короля, никогда ничего с пользою сделать не может, и приводил в пример события на сейме 1747 года. Остерман уверял его, что у него вовсе нет намерения отделить колпаков от придворной партии; а так как печальные события на сейме 1747 года произошли от тогдашних французских обольщений, то это самое и побуждает его теперь просить короля и королеву предостеречь себя от них, ибо когда их величества по своей дружбе к императрице будут иметь неизменное внимание к ее советам, то не только не будет особенной партии, но и союз между Россиею и Швециею станет так крепок, что все французские стремления не будут в состоянии ему повредить. Между тем один из благонамеренных (должно быть, тот же Левенгельм) дал знать Остерману о своем разговоре с королевою: Луиза-Ульрика требовала от него, чтоб он старался поправить в народе кредит Ферзена и Синклера, причем выставляла на вид честность их намерений; но благонамеренный не согласился на ее желанья и отвечал, что если бы он взялся исполнить ее волю, то пользы никакой ей не принесет, а собственный кредит в народе потеряет. При этом благонамеренный

упрашивал королеву, чтоб она не верила французским обнадешиваниям, передаваемым ей чрез Ферзена и Синклера, а предпочитала уверения, идущие с русской и английской стороны, как больше согласные с национальным интересом. Королева отвечала: «Я еще не знаю, в чем будет состоять русская поддержка: если, как я думаю, только в том, чтоб восстановить правительственную форму 1720 года, то я большой выгоды в этом не вижу и потому, естественно, предпочитаю тех, которые обещаются больше содействовать в мою пользу».

12 ноября приехал к Остерману известный важный член придворной партии (Синклер?) и объявил, что король и королева на будущем сейме не начнут никакого самого малого дела, не узнав прежде от него, Остермана, мнения об этом деле императрицы, и все свои поступки будут согласовать с ее волею. Остерман в ответ пропел свою обычную песню, что их величества прежде всего не должны верить внушениям, делаемым со стороны французских приверженцев – графа Ферзена с товарищами. Гость начал с божбою уверять, что король и королева не только не верят внушениям французских приверженцев, но скоро произойдет и явный разрыв двора с ними. Наконец, посланный объявил, что с французской стороны немедленно начнется закупка дворянских полномочий, следовательно, со стороны их величеств очень нужно было бы употребить такие же способы, чтоб не быть предупрежденными. Остерман понял, к чему все это клонится, и отвечал, что надеется очень скоро получить высочайшие инструкции, без которых не может быть никакого ответа; но, чтобы показать королю и королеве свое усердие к их пользам, Остерман выдал посланному 20000 талеров (купфермюнце) с обещанием по согласию с английским посланником выдать такую же сумму в начале будущей недели; деньги должны были идти на закупку полномочий. Панин заметил на донесении: «Сумма гораздо невелика, и потому недурно, что приманку сделал, больше же давать уже не станет».

Но, получив русские деньги, посланный отправился к английскому посланнику Гудрику с вопросом, какая сумма назначена из Англии в пользу их величеств, и с требованием, чтоб сумма была выдана. Гудрик отговорился, что он не может ничего дать без согласия с русским посланником, к которому и надобно адресоваться. Посланный явился к Остерману с объяснением, что если императрица намерена употребить денежные издержки в пользу короля, то никаких других распоряжений не нужно, довольно того, чтоб требуемые 200000 рублей были готовы, без получения которых королю было бы неприлично самому вмешиваться и поощрять других к деятельности. Остерман отвечал, что если императрица помогает деньгами, то, естественно, должна знать, на что будут употреблены ее деньги, чтобы по прежним примерам они понапрасну не были истрачены; английский двор тем более любопытствует знать, куда употребляются деньги, что его вступление в здешние дела большею частию зависит от доброго начала относительно избрания ландмаршала и членов Секретной комиссии из числа благонамеренных. Тогда посланный объявил, что он того же дня снесется с тремя главными членами благонамеренной партии и, определивши с ними, сколько нужно денег, будет их требовать от Остермана и английского посланника, причем назвал имена этих благонамеренных, чтоб Остерман мог от них узнать, правду ли он говорит. Остерман, увидав его на такой доброй дороге, дал ему еще 4000 плотов вместо 15000, которых он требовал, и Гудрик обещал выдать такую же сумму. «Кроме сего доброго успеха, – доносил Остерман, – и та польза

приобретена, что, собственно, их величества зачинают больше полагаться на подаваемые им мною с вашей всевысочайшей стороны уверения и к моему поведению свое высокое удовольствие оказывать изволят. Единая только вредительность еще остается, что оный дворовый партизан с своим сообщником обер-камергером графом Гиленстолпом предупредили такой полный кредит у их величеств иметь, что никто с ним не сравнивается. Его величество при оказании своей к вашему императорскому величеству истинной благодарности за ваше обещанное ему вспоможение и высокого удовольствия ко мне, всенижайшему, мне объявить соизволил, чтоб я в случае какого ему сообщения адресовался для того к упомянутому графу Гиленстолпу яко его величеству верному слуге. Такое со стороны его величества нечаянное повеление меня немало удивило. Вашему императорскому величеству известна та персона, которую я с самого начала моей здешней бытности всегда продолжительно для такого внушения употреблял; его к вашему всевысочайшему двору и персонально к его величеству преданность довольно мне знаема. Уважая, с одной стороны, повиновение королевскому повелению, а с другой – необходимую надобность мне одного для вышеозначенного внушения удержать, понудило меня с глубочайшим уважением к его величеству испросить милостивое позволение употреблять в случае надобности ту же персону, которую я доднесь употреблял, показав в резон, что хотя по причине имеющейся к нему доверенности, которая мне главнейшим всегда правилом служить имеет, одного Гиленстолпа употреблять не премину, однако ж в рассуждении вручения мне тою персоною королевского отпращенного к вашему императорскому величеству изъяснения употреблением к тому при случае получения вашего всевысочайшего ответа Гиленстолпа натурально она персона будет иметь причину думать о имеющейся к оной какой недоверенности, которую она толь меньше заслуживает, что, сколько мне известно, никто больше оной его величеству не предан. Король, приняв милостиво мое изъяснение, ответствовал, что он сам в преданности той персоны не сомневается и, следовательно, мне дает позволение по-прежнему и оную употреблять, но как она в делах обретается, так Гиленстолп к взаимному сношению несколько способнее. Я, настоя в прежнем моем всенижайшем прошении, принял смелость к тому присовокупить, чтоб его величество милостиво склонился употребить для лучшего сохранения секрета ту же персону, доказывая, что может случиться такое дело, которое подлежит его единственному знанию, на что его величество милостиво и согласился изволил и, приняв от меня уверение о вашем всевысочайшем намерении в угодность его на будущем сейме содействовать, когда вашим советам последовано будет, изъяснился, что он, будучи о том уверен, надеется, что и его совету иногда следовано будет, еже я покрыл тем, что то само разумеется, ибо иначе общее с обеих сторон согласие состояться не может. Ее величество королева, оказав равную благодарность, много распространялась похвалами к именитому дворовому партизану, доказывая его великий разум и искусство, чему я и комплиментами ответствовал; и, как дошла материя дискурса до известных французских партизанов, она требовала моего мнения; не приличнее ли я признаваю продолжение наружной к ним учтивости на куртагах, нежели явного разрыва, которого будто некоторые из благонамеренных желают. Так, я принял смелость представить, что не токмо от такой наружной учтивости

отвращать, но более к оной согласовать причину имею: довольно того, что я ее величества слово имею, что она к ним никакой доверенности иметь не изволит».

Но вслед за этим Остерман должен был донести, что расхваленный королевою «дворовой партизан» обманывает: он действительно начал советоваться с «бонетами» (колпаками), но скоро перестал давать им отчет в употреблении русских и английских денег, начал представлять необходимость выбора в Секретную комиссию некоторых членов французской партии; не соглашался, чтоб часть этих денег шла на устройство столов для бедных депутатов и чтоб эти столы учреждались колпаками, стал избегать свидания с последними. И король начал с ними изъясняться сдержаннее, стал повторять, что не сомневается в преданности графа Ферзена и другого вождя французской партии, статс-секретаря барона Германсона.

Дания не подавала ни малейшего повода к беспокойству. Датский двор вполне соглашался со всем тем, что делалось в Польше со стороны России. В конце июня Корф уведомил императрицу о разговоре своем с министром иностранных дел бароном Бернсторфом, который, расхваливая поведение Чарторыйских и Понятовских, удивлялся необыкновенно разумным действиям Екатерины: в короткое время царствования своего она совершила великие и полезные дела как внутри, так и вне своей империи почти непонятным и для других дворов примерным образом; умела привести в согласие поляков, собравшихся на созывательный сейм, так что даже отважились поправить известные ошибки в польских фундаментальных законах, на что в продолжение веков не осмеливались покуситься и почитали за невозможное дело. «Но, — прибавил Бернсторф, — не будет ли Польша опасна своим соседям, когда придет в совершенный порядок?» Корф, поблагодаря его за откровенный отзыв, сказал, что выражение *совершенный порядок* уже показывает, как еще много недостает для того, чтоб Польша стала опасною своим соседям, на чем надобно и успокоиться. Императрица очень желает заслужить имя установительницы мира, однако притом хорошо знает связь своих интересов с положением других держав. Исправление польских законов коснулось преимущественно экономического штата польского короля и гражданских законов, а *liberum veto* едва ли может быть уничтожено и всегда будет служить средством препятствовать намерениям короля и республики, если эти намерения покажутся опасными соседям.

Барон Корф занимался в Копенгагене не одними датскими отношениями. 25 февраля он просил у императрицы все милостивейшего позволения открыть собственную свою систему, о которой он больше двух лет думал и которая состояла в следующем: «Нельзя ли на севере составить знатный и сильный союз держав против бурбонского союза, который, кажется, чрез австрийский дом получает себе приращение; если венский двор и до сих пор находится в союзе с Франциею, то Англия перестанет по-прежнему поддерживать равновесие между Австриею и Франциею, следовательно, принуждена будет принять чью-нибудь сторону. В таком случае что же ей другое остается делать, как пристать к северным державам? Но при этом какое множество различных интересов надобно принять в соображение! Если в моем мнении найдется что-нибудь полезное, то я уверен, что такое дело предоставлено совершить вашему императорскому величеству».

Это была знаменитая система «Северного союза, северного концерта, или аккорта», которая так понравилась Панину и которую он усыновил себе по смерти Корфа. Систему эту привести в исполнение было трудно именно потому, что нельзя было убедить в ее пользе двух главных предполагавшихся членов после России – Пруссию и Англию. Фридрих II, зная страшную вражду к себе Австрии и Франции и не имея возможности сблизиться по-прежнему с Англиею, искал для себя обеспечения в союзе с Россиею, добился его благодаря польским делам и не желал ничего более, вовсе не хотел связывать себя никакою системою, никакими обязательствами со второстепенными, ничтожными в его глазах державами. Англия, *отрезанный ломоть* относительно общей политической жизни континента, была еще более чужда какой-нибудь системы, которая не представляла ей непосредственных торговых выгод, которая предполагала обязательства, расходы для каких-то отдаленных целей, причем хорошего барыша нельзя было министерству расчесть по пальцам пред парламентом.

Мы видели, что Россия желала получить денежную помощь от Англии в шведских и польских делах. В первых, хотя с великим трудом, еще можно было от нее что-нибудь вытянуть, ибо деньги шли на противодействия враждебной ей Франции; но уже никак нельзя было от нее требовать, чтоб она истратила хотя фунт стерлингов по польским делам, к которым была совершенно равнодушна. Мы видели вследствие этого затруднительное положение русского министра в Лондоне графа Александра Ром. Воронцова. Невозможность уладить дело с настоящим министерством, естественно, сблизжала Воронцова с оппозициею. Это, разумеется, не нравилось настоящему министерству, и отсюда возникал вопрос об отозвании Воронцова, что было очень приятно Панину, не любившему Воронцовых.

5 января английский посланник граф Бекингам на конференции с вице-канцлером объявил, что его правительство никак не может дать России 500000 рублей субсидии на текущие польские дела. Настоящее положение его не позволяет ему этого сделать. Что касается отозвания графа Воронцова, то оно может быть приятно лондонскому двору, ибо он, Бекингам, имеет приказ внушить русскому министерству, чтоб оно не совсем верило несправедливым донесениям Воронцова о настоящем положении внутренних дел Англии, тем более что примечена связь Воронцова с вождями противной двору партии и можно без ошибки сказать, что эти вожди диктуют ему его депеши. Вице-канцлер отвечал, что Воронцов будет отозван в угодность лондонскому двору; а, впрочем, доношения этого министра всегда были сходны с настоящим положением дел в Англии; по ним не видно, чтоб он имел какую-нибудь связь с противною двору партией в предосуждение настоящего министерства, и должно думать, что знакомство его с вождями оппозиции состояло в одних ничего не значащих учтивостях. После этого Бекингам начал просить о заключении договоров без проволочки времени и получил ответ, что с русской стороны охотно желают совершения такого полезного обеим державам дела, но трудно ожидать в нем успеха, когда английское министерство так неподатливо на удовлетворение русских требований, когда оно так равнодушно смотрит на все внешние дела европейского континента, которые могут принять очень вредный для английской короны оборот, ибо Франция строит свою политическую систему на крепком основании, умножая свои морские силы вместе с Испаниею, утверждая свои

союзы с разными дворами, особенно с венским и сардинским. Панин в своем разговоре с Бекингамом дал ему понять, что договор между Россией и Англией не будет заключен, если Англия не согласится помочь России деньгами в польских и шведских делах; что русский двор уже выслал в Польшу два миллиона рублей и, несмотря на то, русские приверженцы требуют новой помощи, потому что Франция расточает там большие суммы.

Преемником Воронцову назначен был известный Гросс. Относительно его Бекингам в конференции 3 февраля выразил мнение, будто он сильно предан Франции и потому не может быть приятен в Англии. Вице-канцлер отвечал, что Гросс – человек изведенной верности и везде, где ни был, умел приобрести себе похвалу и одобрение двора своего; во время последней войны имел он действительно, как и все другие русские министры, более тесное согласие с французскими, чем с английскими, посланниками, но это происходило не от личного его мнения, а от тогдашней системы. Бекингам, ничего не отвечая на это, опять стал жаловаться на медленность в заключении договоров, представляя, что двор его предпочитает дружбу России всякой другой и не принимает ничьих предложений, но должен будет принять их, если с русской стороны ничего не будет сделано. 12 февраля Бекингам опять жаловался на медленность в заключении договоров. Голицын отвечал, что эта медленность происходит оттого, что дело рассматривается особливою коммерческою комиссиею. 1 марта Бекингам объявил, что его двор считает заключение союзного и коммерческого договоров с Россией делом неудавшимся и потому намерен отозвать его и приписывает неудачу дела преимущественно бывшему в Лондоне русскому министру графу Воронцову, тогда как торговый договор более полезен России, чем Англии, которая может обойтись без русских произведений, имея довольное число таких же в своих новых американских владениях. Вице-канцлер отвечал прежнее, что вина неуспеха в заключении договоров на стороне Англии, которая не только не приняла русских предложений, но и не представила ни малейшего средства к соглашению. В России вполне уверены в пользе торговли для обоих народов: доказательством служит то, что англичане продолжают пользоваться выгодами старого трактата, хотя срок его и кончился.

Эти требования Бекингама и ответы Голицына продолжали повторяться до самой осени. 4 октября Бекингам объявил вице-канцлеру о получении им от своего двора указа сообщить русскому министерству, что английский министр в Стокгольме, который отправлен в Швецию в угодую и по требованию русского двора, описывая настоящее состояние дел в Швеции, признает необходимым на первый случай издержать 40000 рублей; посредством этих денег он надеется положить хорошее основание системе русского и английского дворов в Швеции, до значительной степени уменьшить французское там влияние и на сейме определить форму шведского правления согласно с желаниями обоих дворов, русского и английского; но для приведения к желанному концу всего дела он считает нужным истратить не меньше 120000 рублей. Поэтому, продолжал Бекингам, английский двор надеется, что императрица охотно согласится принять половину этой суммы на себя. Вице-канцлер отвечал, что шведские дела могут побудить русский двор принять предложения английского; впрочем, эти дела не менее должны возбуждать внимание и Англии, которой следует заботиться как об исправлении формы правления в Швеции, так и об уничтожении господствующей

там французской партии, об отнятии у Сената похищенной им королевской власти и установлении равновесия между королем и Сенатом, чтоб один без другого не могли объявлять войны, заключать договоры и союзы, налагать подати и проч. Кроме того, у Англии есть еще особенный интерес в уничтожении вредного намерения французского двора постановить с шведским союзный морской трактат, по которому Швеция обязывалась бы давать Франции в случае морской войны десять военных кораблей, а уничтожить это намерение иначе нельзя как субсидиями Швеции с английской стороны.

Гросс приехал в Лондон 16 февраля и 19-го имел разговор с лордом Сандвичем, заведовавшим иностранными делами по северному департаменту. Сандвич начал разговор о сильном желании короля, чтоб наконец союзный и коммерческий договоры между Россией и Англией приведены были к окончанию, и приезд Гросса подает ему некоторую надежду относительно успеха переговоров по известному искусству нового министра в делах. Гросс отвечал то же самое, что Панин и Голицын обыкновенно отвечали Бекингаму в Петербурге, именно что виною медленности неподатливость с английской стороны. Сандвич объяснял дело тем, что в русском проекте есть два пункта, которых Англия никак не может принять: один пункт о Польше, другой – о Турции. Англия не может обязаться помогать России в случае войны последней с Турциею по своим существенным торговым интересам; не может также обязаться субсидиями для польских дел, потому что казна истощена последнею войною, и таким обязательством нынешние министры возбудили бы против себя всенародный крик; а на все другие предложения императрицы в Англии охотно согласятся. К лорду Бекингаму отправлен указ, чтоб всячески старался окончить оба трактата – союзный и коммерческий; если же увидит совершенную невозможность успеть в этом, то ожидал бы отзывной грамоты. Гросс спросил: в случае отозвания Бекингама будет ли на его место отправлен кто-нибудь другой? Назначится министр второго ранга, отвечал Сандвич и прибавил, что по всем известиям он не сомневается, что в Польше все произойдет по желанию императрицы и что умеренное поведение Англии в делах польских удержит Францию от глубокого в них вмешательства. Но Панин заметил на донесении: «Уведомляя английский двор о производимых в Польше французско-венских возмущении и интриге, надлежит дать приметить, что английская в тех делах умеренность худо Францию удерживает, но паче может ободрять ее в севере инфлюенцию». Англия никак не хотела отказаться от своего *умеренного поведения*, и, когда Гросс спросил Сандвича, какого рода инструкцию получил английский резидент в Варшаве Ратон, Сандвич отвечал, что Ратон имеет указ поступать согласно с русскими министрами *до некоторой степени* и в разговорах отзываться, что его государю будет очень приятно при будущем избрании польского короля поступать во всем согласно с намерениями русской императрицы, *если* притом будет сохранена вольность, и вперед английский резидент должен поступать по этому наставлению. Указывая на разность последних слов, Гросс писал: «Из этого ваше императорское величество собою заключить можете, что отсюда никакого существительного вспомоществования в польских делах ожидать не надлежит».

В мае по поводу заключенного между Россией и Пруссиею союзного договора Сандвич заметил Гроссу, что если бы Англию пригласили приступить к этому союзу, то она предпочла бы заключить с Россией особый договор, ибо ее

обязательства как морской державы другие, чем обязательства короля прусского. Донося об этом, Гросс писал, что не должно ли приписать слов Сандвича зависти к королю прусскому. Панин заметил на донесении: «И начинающемуся беспокойству, что по сию пору никакой решительно системы не имеют, а покориться еще не хотят; но когда вернее уведомятся о новой неготиации между бурбонских домов, то, конечно, с нами не будут столько торговаться».

Донесение Гросса от 1 июня было очень приятно Панину. Гросс писал о своем разговоре с Сандвичем, происходившем накануне, 31 мая. Гросс спросил, получено ли английским министерством известие об окончании переговоров между Франциею, Австриею и Испаниею, вследствие чего Испания приступает к Версальскому договору, а венский двор – к договору фамильному между государями бурбонского дома. Сандвич отвечал, что имеет причину думать о заключении такого договора, и прибавил, что это обстоятельство, естественно, должно еще сильнее побудить английского короля желать заключения союзного договора с Россиєю; что с английской стороны готовы принять все приличные обязательства, только бы можно было их оправдать перед нациею как взаимно полезные. Если бы потребовалось, чтоб и прусский король был включен в договор, то с английской стороны препятствия этому не будет, потому что противная двору партия рассеивает слухи, будто настоящее министерство недовольно заключением союза между Россиєю и Пруссиею, тогда как он, лорд Сандвич, смотрит на этот союз как на хорошее основание обязательствам, принимаемым по желанию английского министерства. «Однако, – прибавил Сандвич, – мне было бы очень прискорбно, если б с русской стороны было возобновлено прежнее предложение о принятии участия в польских делах с уплатою субсидий, потому что министры королевские никак не могли бы оправдать эту меру пред парламентом». «Очень могли бы, – заметил Гросс, – если б представили, как вредно было бы для Англии влияние Франции в Польше, когда б она его приобрела там, осилив Россию». «Я хорошо знаю, – отвечал Сандвич, – что такое представление не имело бы желанного действия; но я с вами согласен в том, что в обязательствах между Россиєю и Англиею надобно соблюдать совершенное равенство и что в таких случаях союза, где помощь войском или флотом будет невозможна, надобно платить деньги». Панин заметил на донесении Гросса: «Разумным производством и твердостью, конечно, довести можно, что Англия заплатит часть убытков по польским делам: ваше императорское величество сами всевысочайше усмотреть соизволите, что медленность с нашей стороны в сей неготиации не произвела ничего дурного, а вперед можно надеяться много лучшего. И может быть, тут то же будет, что ваше величество видеть изволили с королем прусским, когда он сам того домогался, в чем состоял главный предмет нашей политики».

С этих пор разговоры между Гроссом и английскими министрами стали отличаться тем же однообразием, каким отличались разговоры между Бекингамом, Паниным и князем Голицыным в Петербурге. Английские министры спрашивали, нет ли надежды на заключение союза без двух пунктов – турецкого и польского; Гросс отвечал, что в этих двух пунктах вся сущность. Когда в июле английские министры начали говорить, что если нельзя заключить союза с Россиєю, то Англия принуждена будет стараться подкрепить себя другими союзами, то Панин написал: «Не найдут нигде такова».

В сентябре английское министерство объявило Гроссу, что хотя король постоянно намерен избегать тягостных военных обязательств с державами твердой земли, однако в рассуждении того, что Франция старается впредь получить от Швеции помощь военными кораблями, английский народ находит непосредственный свой интерес в уничтожении подобных французских видов и не пожалеет денег на этот важный предмет; но так как Россия еще более в этом заинтересована, да и первое предложение шло с ее стороны, то справедливость требует, чтоб половину иждивения она приняла на себя. Панин заметил: «C'est ce qu'on dit negocier en vrai marchand (это значит вести дело по-торгашески)».

Сандвич сообщил Гроссу под величайшим секретом две добытые английским правительством французские бумаги. Первая была письмо французского посланника в Стокгольме Бретеяля к герцогу Пралэну от 31 августа 1764 года. Французский поверенный в делах в Петербурге Беранже писал, что Екатерина намерена в будущем году устроить лагерь в Финляндии. По мнению Бретеяля, это делалось с целию произвести давление на шведский сейм. «Если, – писал Бретеиль, – ничто не помешает исполнению этого намерения русской государыни, то нельзя не предвидеть пагубных затруднений, которые последуют отсюда для Швеции. Я уверен, что найду должную твердость между шведскими патриотами, но боюсь, что те получают плохую помощь при печальном состоянии всех частей управления. Все известия, приходящие из России, согласно говорят, что неудовольствие и дух возмущения там со дня на день увеличивается. Правда, эти известия прибавляют, что Екатерина удваивает заботы и предосторожности, но меры тиранства скорее служат признаком волнения, чем средством для его укрощения, и в рабской стране важное предприятие не бывает следствием обдуманного соглашения; недоверие и близорукость каждого препятствуют этому. Я знаю это по опыту; я был свидетелем быстроты, с какою головы и души без чувства и мужества воспламенялись и стремились к самым опасным крайностям. Минута сводит несколько людей, которых надежда на лучшую будущность заставляет принимать немедленное решение, а деньги быстро производят то же самое действие на солдат. Из писем Беранже я вижу, что лица, заслуживающие внимания и мне известные, делали ему предложения и уверяли в своей преданности, если будут обеспечены покровительством в случае несчастья и получают теперь денежную помощь. Я не сомневаюсь, что он вам донес об этом обстоятельстве, и я ручаюсь, что он принял предложение с мудростию и, однако, так, что головы адресовавшихся к нему людей остались разгоряченными. Я уверен, что он очень способен вести их далее с благоразумием, если вы это ему поручите и если королю угодно будет пожертвовать четырьмя– или пятьюстами тысяч ливров, чтоб попытаться низвергнуть Екатерину со всеми взгроможденными сю планами. Это малый, исполненный усердия и самой строгой честности. Мне кажется также, что искусный поверенный в делах будет способнее к такому делу, чем министр или посланник; а притом, чем бы ни кончилось это предприятие, ненависть, питаемая к Франции гордою императрицею, так велика, что уже больше быть не может».

Беранже дал знать о том же самом Пралэну и получил от него такой ответ: «Размышления, которые вы делаете по поводу содержания манифеста о смерти принца Ивана, показались нам очень справедливыми; я прибавлю только, что русская государыня сделала бы лучше, если бы это событие было пройдено

молчанием в публичных бумагах или было бы возведено потише. Вы хорошо поступаете, действуя с крайнею осторожностью; однако вы должны употребить всю свою деятельность, чтоб проникнуть чувства и намерения нации; но вы должны ободрять людей, поверяющих вам свои тайны единственно для того, чтоб извещать нас о ходе дела, никак не рискуя подавать советы в таком деликатном деле. Неудивительно, что от времени до времени проходят облака между королем прусским и русскою императрицею; оба они крайне честолюбивы, оба имеют политические виды и интересы, часто сталкивающиеся; их союз неестествен сам по себе; он произошел вследствие случайных обстоятельств, а не вследствие хорошо обдуманной с той и другой стороны системы. Может даже случиться, что польские дела заставят их поссориться. Я приму господина Одара, когда он ко мне явится. Но то, каким образом он оставил Россию, и ничтожная польза, какую он извлек из важных обстоятельств, в которых находился, не говорят нисколько в его пользу, и я не думаю, чтоб его величество был расположен дать ему титул, на который можно смотреть как на награду за услугу, тогда как этой услуги никогда не было оказано, на которую только надеялись и которая не доставила нам ничего очень полезного».

Таким образом Англия поквиталась с Россиею. Россия постоянно страшала ее усилением Франции; Англия передает известия, что французское правительство покровительствует враждебным движениям против императрицы в самой России. Но это не имело влияния на дальнейшие переговоры России с Англиею.

В конце декабря Гросс передал Сандвичу проект торгового договора между Россиею и Англиею, жалуясь на графа Бекингама, что он не захотел принять этого проекта. Сандвич отвечал, что удовлетворение императорскому двору уже сделано отозванием Бекингама (об искусстве которого он, Сандвич, сам невысокого мнения), причем надеется, что преемник Бекингама Макартней будет иметь большой успех. В разговоре о торговом договоре Сандвич спросил, получил ли Гросс какое-нибудь наставление относительно оборонительного союза. Гросс отвечал вопросом: действительно ли английский двор непременно намерен тесно соединиться с Россиею? «Ничего так горячо не желаем и ничего не признаем согласнее с своими естественными интересами», – ответил Сандвич. «Всего удивительнее, – сказал на это Гросс, – что граф Бекингам всегда настаивал на простом возобновлении старого союзного договора, который был заключен для подкрепления австрийских интересов, несмотря на то что теперь европейские отношения совершенно изменились. Императрица надеется, что при возобновлении переговоров о союзе английский двор захочет независимо и прямо быть ее союзником и этим способом утвердить равновесие европейских сил в своих руках. Вот почему в проект нового оборонительного договора, переданного вам в прошлом году, были включены два секретных параграфа о Польше и Швеции, имеющие связь с тою северною системою, по которой северные державы соединяются между собою союзами и составляют твердое равновесие в Европе мимо бурбонского и австрийского домов». Выслушав это с приметным удовольствием, Сандвич спросил: «В новой системе упоминается ли король прусский, потому что мы боимся Обширных замыслов этого государя?» «Мне не предписано ничего особенного в рассуждении короля прусского», – сказал Гросс. «Конечно, – заметил на это Сандвич, – это предложение будет охотно принято его

великобританским величеством; но каким образом будут устранены затруднения, оказавшиеся в прежнем проекте договора?» И на слова Гросса, что Россия желает получить от Англии 500000 рублей как часть вознаграждения за издержки, употребленные Россией при избрании нового польского короля, Сандвич подтвердил, что не смеет и предложить этого королевскому совету, зная взгляды его членов и скудость казны. Впрочем, Сандвичу понравилось предложение, что в случае войны с Турциею Россия получает от Англии 500000 рублей и платит такую же сумму Англии в случае ее войны с Испаниею.

Но чрез несколько дней Сандвич объявил Гроссу, что секретный параграф о даче 500000 рублей в случае турецкой войны не может быть принят, потому что министерство должно сообщить его парламенту, который выдает деньги; а в таком случае Порты и Франция об этом узнают и английская торговля в Леванте потерпит, войны же испанской в Англии мало боятся. (Тут Панин заметил: «Купеческая отговорка! Нужды нет никакой открывать, покамест казус не настоит, а когда настоять будет, тогда за 500000 рублей нация не взбунтует против правительства. Все сие состоит только в том, чтоб как лавочникам торговаться, покамест время есть, и сколько возможно выторговать».) Гораздо лучше было бы, продолжал Сандвич, если б прежний трактат просто возобновился с внесением общего параграфа о защите благополучно последовавшего выбора короля польского и сохранения правительственной формы и вольностей Польской республики. (Панин заметил: «Еще лавочная торговля. Когда по польским делам нам была в них (т.е. англичанах) вправду нужда, тогда они от них отговаривались и, чтоб их от себя отклонить, представляли свою готовность к шведским делам, а теперь говорят навыворот».) Гросс отвечал с удивлением: «Я не могу льстить себя надеждою, что у нас согласятся на простое возобновление прежнего договора, потому что обстоятельства совершенно изменились: при подписании прежнего договора венский двор был главный союзник России, Англия принимала оборонительные обязательства для подкрепления венского союза; а теперь императрица желает соединиться с Англиею непосредственно, почему и следует, чтоб Англия помогала России некоторою суммою денег против Порты, как Мария-Терезия обязывалась прежде помогать войском; представленный с нашей стороны эквивалент поданием помощи против Испании очень достаточен, ибо вероятно, что в течение осьми лет турки, с которыми у нас никакого спору нет, ничего не предпримут против России, а, напротив, более чем вероятно, что в это время и по личному характеру короля испанского, и по различию интересов, и по фамильному договору с Франциею между Испаниею и Англиею откроется война. Если бы, несмотря на все это, в Англии решили исключить взаимно войну турецкую и войну испанскую, то я должен настоять на уплату 500000 рублей за издержки, употребленные по первому моему предложению». На это Сандвич возразил, что если совет королевский не мог обещать участия в польских издержках прежде избрания короля, то после счастливого решения этого дела еще меньше на это согласится. В заключение Сандвич заметил, что осемилетний срок договора им не нравится и что нации и парламенту странно показалось бы, если б в настоящем союзном договоре России предоставлены были большие выгоды, чем в прежнем. (Панин заметил на это: «Не меньше б и Российской империи дико показалось, если б при таком об общей пользе и славе попечительном царствовании российской двор не с лучшими и справедливейшими для нее

выгодами свои союзы заключил. Заключительно сказать, англичане считают военный случай еще отдаленным и потому настоящее время в свою пользу хотят выиграть и нас своими затруднениями к тому привести, к чему равновесие взаимства склонить не может. Напротив чего, надежнейший в нашу сторону успех должен зависеть от нашей собственной твердости и терпения, средством чего дожидаться можно ближайшей англичанам нужды в нашем союзе».)

Краткость срока для нового союзного договора не нравилась в Англии; но Панин в письме своем к Гроссу от 12 ноября изъясняет причины такого решения: «Известное дело, что генеральные дела не могут долго оставаться в одинаком положении и что случающиеся в той или другой части Европы хотя частые, но тем не меньше нечаянные и чрезвычайные происшествия причиняют, однако, в интересах, в правилах и мерах держав великие и наперед отнюдь не постигаемые перемены, кои обыкновенно всю их систему, буде не совершенно уничтожают, по крайней мере много развращают. Сея ради причины, полагая восемь лет таким сроком, в который по течению дел обыкновенно нечто переменное случается, изволила ее императорское величество не в рассуждении одного английского двора, но в рассуждении всех своих настоящих и будущих союзников положить за основание, чтоб не определять своих обязательств больше, как на восемь лет, не для того, чтоб тем избегать подаяния помочи, полагая, будто в толь короткое время не будет настоять случай союза, но для того, чтоб как при действительном оною настоянии тем охотнее и усерднее оную подавать, так и в случае перемены обстоятельств иметь всю свободу соображать и распространять по оным обязательства свои и таким образом сугубо быть союзникам своим полезною».

Относительно приведенных известий об интригах Бретейля и Беранже Панин так успокаивал Гросса: «Для вашего собственного успокоения я за нужное нахожу вам сообщить, что совершенно мы здесь ни малейшей причины не имеем опасаться прямого действия намерений и дел наших злодеев, но паче надеяться должны, что они своим явным беззаконием сами себя наконец посрамят. Беранже с малым умишком самый фанатик в политических тонкостях, а Бретейль острый, но дерзкий в делах петиметр. Теперь он в Швеции в рассуждении чрезвычайного сейма и тамошнего расстроенного положения видит отворенный себе карьер дел подверженным противным переменам, наипаче от нашего в них участия с освобожденными руками от стороны польских конъюнктур и, по-видимому, яко запрометчивый молодой человек, вздумал к тому времени завести у нас какие ни есть внутренние движения, чем бы мы могли быть упражнены; а к возбуждению на то своего двора пользуется как персональною к себе преданностию того Беранже, так и его натуральною слепую тонкостию, приводя его к увеличиванию его собственных фантомов».

Обширность России заставляла правительство в одно время вести переговоры о союзе с крайнею державою на западе Европы и принимать меры предосторожности относительно китайских границ. Генерал-поручик Шпрингер донес в июле из Усть-Каменогорской крепости, что по разведыванию оказывается на границах множество китайского войска. Вследствие этого собралась конференция из Вильбоа, Панина, графа Захара Чернышева, графа Эрнста Миниха, кн. Александра Голицына, Веймарна и Олсуфьева и донесла императрице, что она решила: 1) предписать виды и к исполнению их общие меры сибирским губернаторам и другим управителям для приведения в лучшее

состояние этой отдаленной области; 2) постановить правила о китайской торговле и таможенных делах; 3) сделать новые распоряжения относительно защиты границ, чтоб не подвергались они внезапным нападениям; 4) ближайшими и пристойнейшими средствами начать с китайцами переговоры для прекращения настоящих замешательств хотя до того времени, пока здешние границы будут достаточно укреплены, чтоб здешние требования можно было подкреплять с оружием в руках. Конференция полагала: 1) что необходимо разделить Сибирь на две губернии и учредить губернаторов в двух местах, Тобольске и Иркутске, и притом переменить правила относительно распространения там звериной ловли, правила, благодаря которым в этой обширной и очень малолюдной стране значительная часть народа остается без всякого попечения, будучи рассыпана в отдаленных северных пределах, проводя жизнь почти скотскую и наконец совершенно погибая. Надобно предписать тамошним губернаторам и другим начальникам, чтоб они выгодами и ласками привлекали людей к выходу из тех холодных пределов и, сводя их ближе друг к другу, заводили селения к южной стороне; этими поселениями и границы будут приведены в лучшее состояние, и польза, получаемая от земледелия и других сельских промыслов, несравненно превзойдет ту, которая теперь получается от одной звериной ловли в бесплодных северных землях; 2) китайцы перевели торговлю из Кяхты в Ургу с целью заставить русских купцов ездить в свой китайский город, и хотя теперь китайцы немножко сбавили своей спеси и начинают опять ездить в Кяхту с товарами, однако конференция рассуждала, нельзя ли в пользу русских купцов учредить особую вольную компанию, ибо в таком случае не будет перебивки в ценах и компания будет для собственной пользы стараться, чтоб не было тайного провозу товаров, почему в сборе пошлин не будет происходить ущерба. Но пока учредится компания, конференция полагает нужным: 1) позволить по-прежнему всякому русскому купцу иметь участие в этом торге; 2) но, вместо того чтоб ехать прямо в Кяхту, купцы должны останавливаться в Селенгинске и здесь выбирать маклеров, которые и разменивают в Кяхте товары по установленной цене, чтоб купцы перестали друг другу делать подрыв. Для безопасности Сибири содержать в ней 11 полков; отправить в Омск и Селенгинск полевую артиллерию; увеличить генералитет еще одним генерал-майором, так чтобы генерал-поручик жил в Омске или где обстоятельства потребуют, один генерал-майор – в Петропавловской крепости, другой – в Усть-Каменогорске, третий – в Бийске, четвертый – в Селенгинске. Держать полки в соединении, готовыми к отпору неприятеля, а не по форпостам.

Глава вторая

Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1765 год

Винные откупа. – Содержание войска. – Недовольство императрицы флотом и работами в Балтийском порте. – Ревельская гавань. – Путешествие Екатерины по Ладожскому каналу. – Канал от Сяси до Волхова. – Деятельность Сената по вопросу о малолетних преступниках и укрывательстве злодеев. –

Твердость императрицы в ограничении пыток. – Записка Екатерины по поводу дела Волинского. – Новости в Сенате. – Беспорядки в коллегиях. – Печальное известие о русской торговле в Константинополе. – Введение картофеля. – Деятельность новгородского губернатора Сиверса. – Комиссия о государственном межевании. – Вопрос об устройстве казарм. – События в областном управлении. – Медленность ревизии. – Комиссия о заводских крестьянах. – Крепостные люди у купцов. – Почта. – Отмена сборов за поставление духовных лиц. – Определение платы за требы. – Раскол. – Дело пыскорского архимандрита Иуста. – Столкновение воронежского епископа с донскими козаками. – Деятельность Румянцева в Малороссии. – Столкновение иностранных колонистов с прежними русскими поселенцами. – Самозванцы. – Общий взгляд на отношения России к Польше. – Диссидентское дело и столкновение Польши с Пруссией. – Сношения России с другими европейскими государствами в 1765 году.

Год начался решением важного финансового вопроса. Мы видели, что относительно продажи соли и вина правительство находилось в большом затруднении: сильно хотелось облегчить народ уменьшением цены на соль, но нельзя было удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было отыскать новых источников дохода для покрытия необходимых государственных издержек. Легче соглашались на увеличение цены вина; но тут усиливалось корчемство, которое требовало для своего искоренения много хлопот и, что хуже всего, увеличивало страшно число уголовных дел; в некоторых местах винная продажа предоставлена была магистратам и ратушам, причем происходили «превеликие подлоги и утайки, вражды, доносы, тяжбы и пресечение купеческого промысла».

В большей части мест винная продажа состояла на откупе; но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2 рублей за ведро при покупке у нее вина и после, при продаже вина в народ, должен был получить себе около 40 копеек для уплаты известной откупной суммы; для правительства было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное вино вместо казенного. 26 января императрица приехала в Сенат в начале 9-го часа и, возвращая поднесенный ей доклад комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат немедленно приступил к рассуждению о средствах, как согласить пользу государственную с пользою всего общества, нимало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый теперь с вина доход если не умножить, то по крайней мере никак не умалить. После этого прочтен был доклад с собственными примечаниями императрицы, которая объявила, что эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо приложены только для объяснения, кроме отмены в наказаниях за корчемство. В 12-м часу Екатерина удалилась; сенаторы стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление, и пришли к следующим решениям: 1) Признать полезным и необходимым отдачу винной продажи на откуп. 2) Чтобы притом избежать всех излишних расчетов и удостовериться, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, положить основанием откупной сумме расход вина по трехлетней сложности за последние три года. 3) Для большей надежности казне на случай неисправности платежа откупной суммы вино иметь казенное и

отдавать его откупщикам по их требованию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы. 4) Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками по 2 р. 64 коп. ведро, а продажа кружками и чарками оставляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа; они должны были начаться с 1767 года; доход от продажи вина показан более чем на четыре миллиона рублей. На другой день после публикации этого манифеста князь Вяземский предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что императрица, будучи обременена другими государственными делами, позволяет Сенату решить большинством голосов и опубликовать корчемный устав. Сенат при этом решении не мог не принять к сведению решения Екатерины по одному корчемному делу: смоленская шляхтянка полковница Ирина Потемкина (вдова Владимира Денисовича) попала в корчемстве и подала императрице просьбу, в которой повинилась, что велела служанке из своего дома продавать вино и такой проступок учинила как женщина по незнанию строгости законов. Императрица простила ее и приказала возвратить отписанное у нее имение, если только дело действительно происходило так, как показано в челобитной. Третий год в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762 года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму; на этом основании теперь он решил подать императрице доклад, что справедливость требует зачесть продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный сбор, и убыток этот простирался на 24331 рубль.

Количество подушных денег определено было в 5212685 рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Великого шла на содержание войска; но, кроме того, на это содержание получались деньги из винных, соляных, таможенных и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содержание войска, простиралась до 8116601 рубль. Флотом императрица была очень недовольна, что видно из письма ее к Н. И. Панину от 8 июня, после смотра: «У нас в излишестве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, когда я подняла штандарт и корабли стали проходить и салютовать, два из них погибли было по оплошности их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку другого, и это во сте, быть может, туазах от моей яхты; добрый час они возились, чтоб высвободить свои борта, что наконец им и удалось, к великому ущербу их мачт и оснастки. Потом адмиралу хотелось, чтоб они выровнялись в линию; но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода была превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого города. Впереди поместили одну бомбардирскую лодку и когда хотели поставить около нее другую, то с трудом успели такую найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничтожеством и признается, что все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный».

Мы видели, что Екатерина была также недовольна работами в Балтийском порте; а между тем Сенат докладывал, что надобен новый налог для продолжения работ по его укреплению. Екатерина написала собственноручно: «Усмотрела я из сенатского доклада о Балтийском порте, что без нового налога оной работы никак

продолжить невозможно; мои же намерения со дня восшествия моего никогда не склонялись к отягощению подданных, но единственно к облегчению и благополучию оных; всякий же без крайней надобности налог есть отягощение; того для необходимая надобность ныне состоит, дабы единожды сделать твердые положения порту Балтийскому, из чего родится первый вопрос, нужной ли сей порт для государства, и потом, как и сколько в нем иждивения для способности и безопасности употребить; причем еще и то вспомнить должно, что полезность преимущество имела пред пышностью». Императрица велела фельдмаршалу Миниху, генералам Панину (Петру Ив.), Муравьеву, Чернышеву и адмиралу Мордвинову иметь конференцию по этому предмету, представить свое мнение вместе с планом работ, «дабы единожды все сумнительства о сей материи решены были». Конференция пришла к тому, что надобно устроить при Ревеле морскую военную каменную гавань для помещения 25 военных кораблей и фрегатов, на что нужно денег 4 миллиона рублей, а работников 3000 человек; надобно употребить все усилия для устройства Ревельской гавани, постройки при Балтийском порте остановить, а сделанный уже там мол обратить в убежище для судов от штормов; для окончания здешних работ довольно 2000 каторжных и 500 гарнизонных солдат с небольшим казенным расходом. Ревельская гавань может быть отстроена в 12 лет, если будет ежегодно выдаваться по 400000 рублей. Екатерина написала на докладе конференции: «Сенат имеет означить, откуда ежегодно сию сумму брать без отягощения народного», а на плане написала: «С Богом, быть по сему». Сенат представил, что на строение при Ревеле каменной гавани «яко на благоугодное и преполезное для общества всех верноподданных дело» он полагает употреблять по 200000 рублей из суммы коллегии Экономии, оставшейся за употреблением в определенные расходы, а другие 200000 рублей отчислять из прежде наложенных на вино сборов.

В августе императрица была в Ладоге, проехала по каналу. «Канал прекрасен, но заброшен; путешествие по нем очень удобно – во всю дорогу ни малейшего потрясения», – писала она Панину. Екатерина осмотрела начало работ по новому каналу от Сяси до Волхова. На этот канал отпущено было 70000 рублей. Предполагался канал из Переяславского озера в Волгу; но Сенат подал доклад, что надобно повременить проведением этого канала до более точных сведений. Провести его легко, все будет стоить не более 8000 рублей; но переяславские купцы объявили, что им на судах отправлять нечего да около Переяславля годного для постройки судов леса мало и волжские пристани не далее 80 верст. 70000 рублей на канал из Сяси в Волхов назначены были из процентных денег Коммерческого банка; для усиления деятельности обоих государственных банков позволено было всякому вносить в них деньги для приращения процентами, только не менее ста рублей.

В марте и апреле месяцах было несколько чрезвычайных заседаний Сената вместе с коллегиями и в присутствии императрицы. Первое заседание, 10 марта, происходило по делу о малолетних преступниках за неимением точного закона о наказаниях им. Мы видели, что в начале царствования Елисаветы было по тому же предмету чрезвычайное заседание Сената и было постановлено считать по уголовным делам совершеннолетие в 17 лет. Отсутствие точного закона, вероятно, произошло вследствие возражения Синода, что совершеннолетие можно считать и с 12 лет, потому что и в брак позволено вступать ранее 17 лет, и к присяге велено

приводить с 12 лет, и вообще «человеку меньше 17 лет довольный смысл иметь можно». Императрица пришла в заседание, выслушала экстракт из дела и подачу голосов и удалилась. После ее ухода продолжалось рассуждение и постановили: по уголовным делам совершенный возраст считать 17 лет; ранее этого возраста пыток не производить, а по исследовании представлять Сенату, которые преступники будут менее 17 лет и смертной казни не заслуживают, а только телесное наказание, тех без представления в Сенат наказывать от 15 до 17 лет плетью, от 10 до 15 – розгами, десяти же лет и меньше отдавать для наказания отцам, матерям или помещикам. Императрица утвердила это постановление.

Через неделю, 17 марта, другое такое же заседание Сената в присутствии императрицы: слушано было дело о вытях за пристань и укрывательство воров и разбойников, каким образом взыскивать эти выти, со всех ли жителей или только с одних пристанодержателей. Сенат постановил: взыскивать с одних пристанодержателей, ибо истцы ввиду больших вытей большею частью стараются увеличивать свои иски; а чтоб всех жителей опоручить круговую порукою в искоренении злодеев, чтоб не было с их стороны слабого смотрения и даже понаровки, то взыскивать с них штраф по 10 копеек с каждой ревизской души, а с десятских, сотских, прикащиков и старост – с каждого по 5 рублей и штрафные деньги отдавать истцам в иск, а за удовлетворением истцов остальные деньги могут быть употреблены на бедных. В конце апреля в присутствии Екатерины читался в Сенате доклад 2-го департамента и письмо на имя императрицы находящегося в тарском магистрате под караулом купца Зинкова о притеснениях и взятках с него. Екатерина велела сибирскому губернатору исследовать дело и с виновными поступить по законам, только не ставить в вину Зинкову письмо его на высочайшее имя.

Борьба против пытки продолжалась. Мы видели, что в 1763 году запрещено было производить пытки в приписных городах, велено отсылать преступников в провинциальные и губернские канцелярии и тут поступать с крайнею осторожностью. Но в 1765 году Иркутская канцелярия прислала в Сенат доношение, что приписные к ней города находятся от Иркутска в расстоянии от 400 до 3000 верст, и если из них посылать для розыску преступников в Иркутск, то они едва в год могут туда прийти, и на пропитание их с караулом на таком пути по безлюдным местам нужна значительная сумма, которой взять негде. Сенат согласился с этим доношением и просил у императрицы указа. Екатерина написала: «Из сих мест колодников в губернии не возить, а стараться дела окончать без пыток в указанный срок». Эта твердость в данном случае была тем благодетельнее, что в таких отдаленных местах начальствующие лица и так позволяли себе страшные злоупотребления. К этому же году относится собственноручная записка Екатерины по поводу дела Волынского: «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю читать сие Волынского дело от начала до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого незаконного примера в производстве дел. Императрица Анна своему кабинетному министру Артемию Волынскому приказывала сочинить проект о поправлении внутренних государственных дел, который он и сочинил, и ей подал. Осталось ей полезное употребить, неполезное оставить из его представления. Но напротив того, его злодеи и кому его проект не понравился из того сочинения вытянули за волосы, так сказать, и взвели на Волынского изменнический умысел, и будто он себе

присвоивать хотел власть государя, что отнюдь на деле не доказано. Еще из сего дела видно, сколь мало положиться можно на пыточные речи, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительнее верить речи в горячке бывшего человека, нежели с холодною кровию; всякий пытанный в горячке и сам уже не знает, что говорит. Итак, отдаю на рассуждение всякому имеющему чуть разум, можно ли верить пыточным речам и на то с доброю совестью полагаться? Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменил; но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества и так смертную казнь терпел, быв невинен, и хотя б он и заподлинно произносил те слова в нареkanie особы императрицы Анны, о которых в деле упомянуто, то б она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобные малости, которые у ней не отнимали ни на вершка величества и не убавили ни в чем ее персональные качества. Всякий государь имеет неисчисленные кроткие способы к удержанию в почтении своих подданных; если б Волынский при мне был и я б усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный. А если б я увидела, что он не способен к делам, я б ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен! Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены, – изволь мериться на сей аршин; а если кто из вас, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтет с уничтожением, так ему более в свете, и особливо в российском, счастья желать, нежели пророчествовать можно».

В Сенате особенною пылкостью отличался по-прежнему князь Яков Шаховской, несмотря на преклонные годы. Во время комиссии над Хорватом последний в своих доношениях в эту комиссию позволил себе выходки против Шаховского; теперь, когда Хорват был уже осужден вместо смерти на лишение всех чинов, Шаховской потребовал, чтоб Хорват дал ему удовлетворение за нанесенную обиду. На докладе Сената об этом Екатерина написала собственноручно: «Может ли для общества мертвый человек сатисфакцию дать? Если сей вопрос решен будет, то резолюцию дам».

Из молодых сенаторов особенною ретивостию отличался Петр Иванович Панин, что, как видно, не очень нравилось его товарищам. Однажды он стал читать свое мнение о вотчинных делах, кого и при каких случаях надобно почитать настоящими вотчинниками. По выслушании мнения девять человек сенаторов объявили, что они об этом мнении ничего сказать не могут, потому что мнение подано ни по какому делу, на будущий случай и потому еще, что предлагать обо всем с объяснением законов принадлежит генерал-прокурору. Графы Фермор и Бутурлин объявили, что мнение очень пространно и потому, не получа копии, войти в рассуждение нельзя. Олсуфьев объявил, что подаст свое мнение. Этим дело и кончилось.

Мы видели, что императрица позволила Сенату провести корчемный устав решением большинства голосов; в конце года такое же позволение дано было относительно частного тяжёбного дела. В описываемом году Сенат в первый раз получил вакацию от 15 до 30 июня; но для входящих дел, которые бы требовали

немедленного решения, должно было оставлять для присутствия по одному сенатору из каждого департамента с их согласия.

Беспорядки в новой коллегии Экономии подали повод Сенату принять такое решение: приказали во все присутственные места послать указы следующего содержания: по случаю собственного ее императорского величества рассмотрения о происшедшем в некотором присутственном месте непорядке, из последовавшего за собственноручным подписанием тому месту с материнским от ее величества исправлением высочайшего указа Сенат, приняв все в том указе к исправлению одного места изображенное за общее и всем прочим местам наставление, для того, стараясь о исполнении оногo, предписывает нижеследующие пункты, содержащие в себе высочайшую волю и повеление: 1) Дабы вместо возложенных на присутственные места трудов не поставляли они прямой своей должности в приказных только обрядах и не обращали б упражнений своих в единственные споры и дела не приходили бы чрез то в совершенный упадок. 2) Не выступать из пределов своего звания, не наносить одному против другого раздражений и партикулярных неудовольствий, не заходить друг против друга в недельные письменные голоса, а потом и в персональные протесты. Довольствуются только по канцелярскому порядку репортами, что указы посланы; но никто о том не печется и не взыскивает, чтоб оные самим делом исполнены были. 3) Лихоимственные дела не неважными, а разрушающими правосудие и повреждающими государственное положение почитать. 4) Членам не избегать от заседаний отговорками ни старостию лет, ни болезненными припадками и тем не терять времени чрез развоз канцелярскими служителями дел для подписки по домам, ибо не может быть там общего рассуждения, где за таковыми членов извинениями нет частого общего собрания. 5) Не причинять делам остановки неимением полных собраний. 6) Прокурорам помнить свою инструкцию. 7) Чтоб, досадуя на персону, никто не мстил пренебрежением в делах должности своей, но старались бы порученные дела почитать за предмет чести и обязательства своего к ее императорскому величеству и отечеству, следовательно, и труды свои нести так, чтобы архивы наполнять документами прямых дел, а не пустыми бумагами

Мы видели, что знаменитый Волков, ставши президентом Мануфактур-коллегии, жаловался, что эта коллегия без его ведома позволила кн. Долгорукову завести хрустальную фабрику; коллегия оправдывалась тем, что дело еще не приведено к окончанию; несмотря на то, Сенат предписал коллегии без согласия президента никому не давать позволения заводить фабрики.

Сенат должен был остановить попытку возобновить старое допетровское распоряжение с ремесленниками. Летом описываемого года императрица велела устроить карусель, и обер-шталмейстер князь Репнин отправил в Главный магистрат требование, чтоб выслал портных немцев и русских для работы к каруселю. Главный магистрат отвечал, что по своему регламенту он не может этого сделать без Сената, а Сенат приказал: послать указ кн. Репнину, что Главный магистрат отвечал согласно с законами о непринуждении цеховых портных к работе, поэтому и Сенат иначе определить не может, а может он, г. обер-шталмейстер, публиковать о свободной явке портных за настоящую плату и этими свободно явившимися, а не принужденными исправляться.

В юном русском мануфактурном мире произошло крупное явление, которое показывало, как недолго обширные заведения остаются в одной фамилии:

статский советник Алексей Затрапезнов свою полотняную ярославскую фабрику со всеми принадлежностями продал коллежскому асессору Савве Яковлеву за 600000 рублей. Что касается внешней торговли, то мы имеем от описываемого времени печальное известие русского посланника в Константинополе Обрезкова, который доносил императрице, что вольное кораблеплавание по Черному морю не может привести русскую торговлю в желаемое состояние по причине чрезвычайного невежества и неразумия русских купцов. Купцы эти с заключения последнего мира не только не разбогатели, но многие беднее стали; кредит их подорван до такой степени, что не могут получить денег иначе как за 20 и по меньшей мере за 15 процентов, да и то отдавши под залог товары. Панин написал на этом донесении: «Выражения не мягки, но, к несчастью, верны».

В промышленности земледельческой произошла в описываемое время важная новость: введен в употребление картофель. Новгородский губернатор Сиверс прислал в Сенат доношение, не угодно ли будет для завода земляных яблок выписать их прямо из Ирландии. Сенат приказал выписку этих яблок поручить Медицинской коллегии, но с тем, чтоб она поручила это кому-нибудь из купцов частным образом. Императрица приказала на выписку картофеля употребить до 500 рублей. Медицинская коллегия издала наставление, как разводить и употреблять картофель; наставление это оканчивается так: «По толь великой пользе сих яблок и что они при разводе весьма мало труда требуют, а оный непомерно награждают и не токмо людям к приятной и здоровой пище, но и к корму всякой домашней животине служат, должно их почестъ за лучший в домостроительстве овощ и к разводу его приложить всемерное старание, особливо для того, что оному большого неурожая не бывает и тем в недостатке и дороговизне прочего хлеба великую замену делать может».

В продолжение нашего рассказа о царствовании Екатерины мы нередко будем встречаться с этим новгородским губернатором Сиверсом, который предлагал выписать картофель из Ирландии. Выбор Сиверса в губернаторы принадлежал к числу самых удачных выборов Екатерины. Сиверс имел то, что так редко можно было тогда найти между областными правителями: приготовление к деятельности, образование, бывалость за границею не по-пустому, но с обращением внимания на тамошние явления. Разумеется, мы не должны требовать от Сиверса, чтоб он при тогдашних условиях, при отсутствии пустивших глубоко корень исторических учреждений очень сдерживался в своих бюрократических стремлениях, не предпочитал искусственных средств для достижения своих целей. Сын эстляндского дворянина, Яков Сиверс начал свое поприще в одной из тогдашних практических школ, где молодые люди учились и служили вместе; мы видим его в начале царствования Елисаветы юнкером в Иностранной коллегии. В Старости при воспоминании об этом времени у Сиверса вырывались слова: «Где ты, блестящее время бессмертной Елисаветы, когда восемь послов иностранных так же сильно добивались твоего союза, как и удивлялись твоей красоте». Будущность молодого Сиверса была обеспечена покровительством дяди, барона Карла Сиверса. Семнадцати лет Яков Сиверс поехал чиновником посольства в Копенгаген, откуда потом переехал в Лондон. По возвращении из Англии, к которой сильно пристрастился, он переменял дипломатическую службу на военную, из чиновников посольства сделался премьер-майором, участвовал в Семилетней войне, во время которой вел с Ив. Ив. Шуваловым секретную

переписку о ходе военных дел. Расстроившееся во время войны здоровье заставило его ехать в Италию, где он узнал о вступлении на престол Екатерины; вскоре после того он возвратился в Россию и в 1764 году был назначен новгородским губернатором. Перед отъездом в свою губернию Сиверс провел месяц в Петербурге и в это время имел по крайней мере 20 аудиенций у императрицы, и каждая продолжалась по нескольку часов: обсуждались статьи общей и тайной губернаторской инструкции, рассматривались карты и планы. Сиверс получил приказание писать прямо императрице и приезжать в Петербург, когда сочтет это нужным.

Тогдашняя Новгородская губерния простиралась на 1700 верст в длину и 800 в ширину, через нее шло сообщение между двумя столицами, она граничила с одной стороны с Литвою, с другой – с Швециею и Белым морем. По прибытии в Новгород Сиверс нашел губернский архив, погребенный под развалинами упавшего свода в цейхгаузе, где архив хранился; по двум– или тремстам просьбам к губернатору по гражданским делам в год решалось по два или по три дела. Во всей губернии не было, собственно, никакой полиции. Приказания воеводы или губернатора передавались сотским, и так как сотские были обыкновенно безграмотные, то читал им их и писал донесения церковный дьячок. Со времени указа Петра III о вольности дворянской губернатор не имел права поручить ни одного дела жившим в его губернии дворянам, как это делалось до 1762 года; теперь если дворяне принимали какое-нибудь поручение от губернатора, то только выгодное. Более тысячи преступников содержалось в тюрьмах, и более тысячи других было отпущено на поруки. В числе уголовных преступников было человек 20 дворян, и в каждой из пяти провинций до 50 человек подлежали пытке. Сиверс доносил, что в кратковременное его пребывание в Новгороде не проходило дня, в который бы он не слышал о буйстве, насилии и даже смертоубийстве в спорах между соседями, вследствие чего он просил о возобновлении генерального межевания. «Новгородская область, – писал Сиверс императрице, – достойна носить прозвище Нормандии. Думаю, что ни одна другая область в целой империи так не нуждается в новом Уложении, которое бы сократило судопроизводство. Ябеднические увертки достигли здесь такой степени, что нет средств к окончанию процессов. В течение 1764 года начато 53 процесса и ни один не окончен, равно как и процессы прошлых годов. При размышлении о средствах создать и ободрить промышленность первым бросившимся мне в глаза препятствием была обязанность горожан беречь вино и соль и продавать соль как казенный товар. Что касается крестьянина, то здесь главным препятствием служит неограниченная власть дворян налагать на своих крепостных какой угодно оброк или, лучше сказать, поступать с ними по внушению алчности и по отсутствию сознания собственного интереса. Несчастные существа большею частию находятся под властью таких господ, которые не знают, что богатство крепостного составляет богатство господина. Неограниченная власть требовать с крестьянина какой угодно работы и брать какой угодно оброк, часто решительно выше всякого вероятия, есть, без сомнения, главная причина, почему тысячи русских беглецов наполняют Литву и Польшу. Где зло еще не дошло до такой крайности, там крестьянин, видя, что земледельческие занятия не дают ему столько, сколько требует господин, принужден идти за 1000 верст искать больших заработков. Кроме происходящей отсюда очевидной невыгоды для земледелия, этого нерва

государственного, произведения земли продаются слишком дорого, работник требует слишком высокой платы, что служит неодолимым препятствием для фабрик. Увеличению народонаселения полагается не меньшее препятствие в том, что крестьянин должен покинуть свою семью». Сиверс в своей похвальной ревности к облегчению участи земледельческого народонаселения заговаривается: если б крестьянин, не чувствуя тягости от помещика, оставался на родной земле и возделывал ее, то для фабрик еще менее было бы рук и заработная плата была бы еще выше. Главное зло происходило именно от малолюдности, от недостатка рабочих рук, что удерживало так долго и крепостное состояние. Но если уничтожение этого печального явления было так трудно для правительства, то возможно было вмешательство правительства для положения границ произволу, и Сиверс требовал правительственного определения количества оброка и количества рабочих дней. «Я, – пишет Сиверс, – сам нашел, что один помещик брал по пяти рублей оброка с крестьян, живущих на песке и не имеющих пашни». Сиверс требовал также определения денежной суммы, взносом которой крестьянин имел бы право выкупаться. Сиверс обратил внимание на то, что расширение Петербурга и надобность для него все в большем и большем количестве строевого и дровяного леса отзовется вредно на Новгородской губернии, обезлесит ее и воспрепятствует заведению фабрик; он предлагал учреждение особой камеры, которая бы собирала сведения о лесах и определяла бы количество леса, которое можно было вырубить. В одной из новгородских провинций находились лесничие, подведомственные Адмиралтейс-коллегии: они занимались одним – продажей позволений на рубку леса – и тем обогащались. Для предупреждения недостатка или дороговизны топлива Сиверс предлагал вводить в употребление торф и особенно каменный уголь: ему подана была надежда, что последний можно найти на берегах Ильменя. Сиверс находил недостаточным управление прежними монастырскими крестьянами, находившимися теперь в ведении коллегии Экономии: один человек с двумя помощниками и писцом заведовал 20000 душ; крестьяне управляются сами, и их бурное самоуправление вредно для благосостояния отдельных лиц. Для улучшения быта жителей Новгорода Сиверс предлагал освободить их от военных постоев и с этою целью построить казармы как для гарнизонного баталиона, так и для двух стоящих там пехотных полков; казармы должны быть построены на счет города, дворянства и окрестных имений; предлагал основать публичную школу или гимназию для детей дворян и горожан, а в других городах губернии низшие школы и преобразовать духовные семинарии. Для улучшения земледелия вообще в России Сиверс указывал на необходимость учреждения земледельческого или сельскохозяйственного общества, которое было бы тем полезнее, чем невежественнее русское дворянство относительно средств удобрения полей и лугов, осушения болот, лесоводства, сельских построек и проч. Сиверс говорил насчет учреждения общества с кн. Вяземским и Олсуфьевым, и они согласились с ним; главное занятие общества должно было состоять в знакомстве с сочинениями по сельскому хозяйству, выходившими в Англии, Германии, Швейцарии и Швеции. Члены общества отмечают в этих сочинениях то, что с пользою может быть применено в России, и дают переводить отмеченные статьи, которые составят содержание периодического издания. Сиверс был свидетелем в Англии начала подобного общества, капитал которого в первое время не превышал и 50

гиней, а потом в короткое время это общество стало раздавать многие тысячи фунтов стерлингов и снаряжать корабли для своих целей.

Для поднятия торговли и промышленности в Новгороде Сиверс предлагал следующие средства: Новгородскому магистрату выдать 10000 рублей на 10 лет из казны для раздачи новгородскому купечеству; купцу Власову выдать 5000 рублей для усиления кожевенного завода; позволить тому же Власову купить до 20 душ мужского и женского пола, которые были бы ему крепки (!). Из других местностей Новгородской губернии Старая Русса сначала привлекла особенное внимание Сиверса: мы видели, что этот город недавно потерпел от страшного пожара, надобно было его восстановить; кроме того, Сиверс очень ценил соляные варницы старорусские. Любопытно донесение Сиверса в Сенат о том, в каком состоянии нашел он Старую Руссу: воеводская канцелярия помещалась в таком маленьком и плохом доме, что можно сравнить его только с двойною крестьянскою избою; судьи и канцелярские служители с трудом помещались в верхнем этаже; в нижнем в середине находилась казна, по одну сторону которой содержались колодники, а по другую – архив; вследствие такого соседства казны с колодниками из нее уже было выкрадено около 300 рублей. Архив находился еще в худшем состоянии, чем новгородский: бумаги погнили, очень многих дел разобрать было уже нельзя, потому что листы рассыпались лоскутьями; неоконченных счетов Ревизион-коллегия считала на Старорусской канцелярии более 230. Сиверс представлял, что необходимо построить каменный дом для воеводы и канцелярии.

К двум из общих мер, предложенных Сиверсом, было немедленно приступлено. 5 марта издан был указ об учреждении «Комиссии о государственном межевании» из генералов Панина, Мельгунова, Муравьева, президента Вотчинной коллегии Лунина и князя Вяземского. Восстанавливалось дело Елисаветы, приводилась в исполнение мысль Петра Ив. Шувалова, и потому в указе говорилось: «Ее императорскому величеству подлинно известно, что межеванье к государственному и народному спокойствию весьма нужно; но теперь только то неизвестно, полезно ли его на таком основании производить, как доньше установлено, и не нашлось ли во время течения оно на самой практике каких-либо неудобств и затруднений, сначала иногда непредвиденных». Другой проект Сиверса, о казармах, был переслан в воинскую комиссию и встретил здесь сильные возражения. «Если рассуждать о сем деле по поверхности одной, не вникая в самую внутренность вещей, то покажется тотчас великая польза и помещику, и мещанину, и солдату, и казне, ибо помещик за самую малую, так называемую добровольную дачу избавлен будучи вечно от постоя, спокойнее и земледельство свое, и экономию продолжать может; мещанин, не утесняем от постояльца, в торгах своих и промыслах помешательства иметь не будет; солдат спокоен останется, получа себе дом, ему принадлежащий, где он как хозяин жить спокойно станет, а при всем оном и казна ничего не теряет. Но коль скоро прилежнее и беспристрастнее важность сего разобрать, то встречаются следующие неудобности, службе и воинским порядкам вредные, да и мещанству и крестьянам весьма не полезные: 1) Солдат, получа собственный свой дом, делается неминуемо хозяином, и должен он будет тогда за домом смотреть, снабжать его всем нужным, что, занимая большую часть время у солдата, нечувствительно выведет его из его должности, и вдруг из исправного солдата

сделается сперва мещанин, а потом, умножа хозяйство свое и приуча себя к корысти, начнет торговать и будет дурной солдат, дурной мещанин и дурной купец. 2) Теперешнее непременных квартир учреждение неописанную пользу имеет и ту, что солдат и его хозяин, будучи в беспрестанном друг с другом обхождении, так между собою свыкаться начинают, что нетокмо за злодея себе хозяин постояльца не считает, но, пользу друг от друга видя, согласно и живут, что все теперь ясно оказывается; а чрез отлучение солдата от мещанина они сделаются паки чужды, согласие кончится, и старинное страшное о солдате мнение опять возобновится, которое теперь так счастливо из мыслей подлых людей выходить начинает». Указав потом на огромные издержки, каких потребуют постройка и содержание казарм, воинская комиссия, однако, принимала за полезное построить казармы для гарнизонов, относительно же других войск построить квартиры только для одного штаба, ибо действительно от квартирования полкового хозяйства и лазарета происходит городским жителям утеснение; построение же казарм для гарнизонов, уменьшая излишнюю тесноту в городе, не делает никакого вреда гарнизонной службе затем, что гарнизонные солдаты не подвержены такой строгости и ежеминутному выступлению в поход, как полевые войска. Императрица написала на докладе комиссии: «С удовольствием прочитав сей доклад, полезным его нахожу, и исполнять по нем».

Мы не можем покинуть деятельности Сиверса в этом году, не упомянув о переписке его с Екатериною по поводу следующего случая. Двое крестьян, родные братья, рубили дрова в лесу; приезжает третий, чужой, и заводит ссору; от слов дело доходит до драки; один из братьев ударил чужого топором, и тот падает мертвым. Обоих братьев приводят на суд. «Кто из вас убийца?» – спрашивает судья. «Я!» – отвечает старший. «Нет, я!» – перебивает младший. «Не верьте ему, – говорит старший. – Он нарочно себя клевет, потому что у меня жена и дети». Младший продолжает утверждать, что он убийца. Сиверс донес Екатерине, и та решила спор прощением преступника, который бы из братьев им ни был. Уведомляя императрицу, что помилование объявлено братьям, Сиверс писал: «Их слезы служили самою красноречивою благодарностию за жизнь, возвращенную им человеколюбием их государыни». Екатерина отвечала: «С удовольствием увидела я доброту вашего сердца из радости, с какою вы объявили прощение двоим братьям, из которых каждый объявлял себя преступником, чтоб спасти другого. Все это дело заслуживает быть опубликовано в газетах для чести сердца человеческого, и тут одна природа: нет ни науки, ни воспитания».

Из истории областного управления в других частях России заметим два известия с юга и севера. Белгородский губернский прокурор Брянчанинов жаловался Сенату на губернскую канцелярию и самого губернатора генерал-поручика Нарышкина, выставляя упущения в делах; а губернатор жаловался на прокурора, что тот затрудняет производство дел. Сенат приказал: к губернатору и в губернскую канцелярию послать указ, что главною причиною несогласия должна быть какая-нибудь скрытная ссора, и потому Сенат, не входя в подробное рассмотрение дела, что могло бы повести для обеих сторон к неприятным последствиям, желает его в самом начале потушить в надежде, что и сами они, видя такое к ним снисхождение, будут стараться ему соответствовать и не только оставят все прежнее между собою несогласие, но, помогая друг другу в делах, будут единодушно стараться о прямом исполнении своей должности.

С самого далекого севера пришло донесение правящего воеводскую и комендантскую должность в Кольском остроге майора Абатурова с жалобой на Архангельскую губернскую канцелярию, которая наложила на него взыскание за нескорую доставку ведомостей: указ из губернской канцелярии прислан 11 августа, по которому обстоятельный репорт сочинен и послан 15 августа по неимению оказии чрез Окиян-море, почт же там нет, и учредить их в летнее время за великими болотами никак нельзя, затем и прочие ведомости и репорты хотя в указный термин учинены и бывають, однако, запечатанные, лежат по месяцу и больше и посылаются чрез Окиян-море, где за великими штормами бывають в пути немалое время. Притом же дел сочинять и писать некому, ибо при воеводской канцелярии находятся только два писца, из которых первый почти ничего при огне писать не может и летами так престарел, что с нуждою ходит, а последний едва только писать умеет, и притом оба весьма худого состояния и беспонятны; от губернской же канцелярии приказных служителей требовал он двукратно, но в резолюции на то получил, чтоб ему в доброе состояние привести имеющихся служителей, на что он репортовал, что их как в непорядках закоснелых людей поправить и в состояние привести никак невозможно, почему принужден он всякие текущие дела начерно писать. Все те воеводской канцелярии прошедших лет дела без переплету брошены в холодной подле канцелярии каморе и по большей части погнили и передраны, так что и разобрать неможно, зачем требуемых Ревизион-коллегиею с 730 по 763 год счетов едва и отыскать можно ль, и ему не только означенный архив разбирать и текущих дел исправлять некем, и от того б его защитить, ибо он более склонность и охоту имеет к воинской службе.

Срок для окончания ревизии давно уже прошел, а между тем оказывалось, что по разным губерниям большое число душ еще не обревизовано, а именно по второй ревизии показано было в Московской губернии 2062907; из этого числа теперь было обревизовано 1916859, тогда как оказалось 2099709, затем в числе по прошедшей ревизии осталось не обревизовано 115100 душ. В Новгородской губернии 736613, обревизовано 698953; против того оказалось 800146, необревизованных 41676 душ. В Белгородской 655382, обревизовано 631659, против того оказалось 693368, затем не обревизовано 31358. В Воронежской 679676, обревизовано 674258, против того оказалось 809184, не обревизовано 21461. В Казанской 1085104, обревизовано 1071176, против того оказалось 1207648, не обревизовано 49077. В Смоленской 246262, обревизовано 217077, против того оказалось 246501, не обревизовано 29185. В Сибирской 224167, обревизовано 228862, против того оказалось 279000, не обревизовано 19874. Сенат заметил, что хотя во многих провинциях и уездах обревизованное число душ превосходит число душ прежней ревизии, однако нигде не упоминается, чтоб подача сказок совершенно была окончена, и потому нельзя узнать, сколько еще осталось в тех местах необревизованных душ; губернаторы пишут, что сказки не все еще поданы.

Известия о волнениях заводских крестьян не прекращались. В Воронежской губернии мастеровые и рабочие на Липском и других заводах князя Репнина жаловались на обиды от поверенного княжеского и прикащиков; губернатор отправил в город Романов для исследования подпоручика Рагозина. Поверенный и прикащики заперлись, что никаких обид не делали; тогда рабочие, человек до 300, явились к Рагозину и единогласно закричали, что они работать и в послушании у

князя Репнина и прикащиков его не будут, также не будут ничего отвечать и подписываться, а желают исправлять казенные работы, как они состояли до отдачи заводов князю Репнину. Губернатор (Лачинов) писал в Сенат, что он почитает ненужным входить в дальнейшее следствие, ибо все дело в том, что этим людям не хочется называться помещичьими крестьянами. Сенат отвечал, что, как он хочет, только чтоб привел крестьян в повиновение по указам. Скоро после этого императрица нарядила комиссию из Петра Панина, Муравьева, князя Вяземского, Шлаттера и Аполлона Пушкина относительно заводов и приписных к ним крестьян. Комиссия должна была рассмотреть прежние положения и представить императрице с мнением, в чем прежнее устройство требует исправления, как к тому приступать, сообразуя народное облегчение и спокойствие с государственною прибылью, приводя каждого в правосудные границы, благодаря которым, не опасаясь праведного наказания, могли бы пользоваться справедливо приобретенным подземным сокровищем к обогащению государственному. Комиссия должна была решить следующие вопросы: 1) полезно ли, чтоб заводы были в партикулярных руках, или лучше им 2) быть в казенном содержании; 3) если в партикулярных руках заводам быть, 4) за дворянами или за недворянами; 5) какие меры брать, дабы впредь крестьяне не бунтовались; 6) рассмотреть, от чего сей вред происходил; 7) положить на мере, каким образом казенных по заводам должников приводить к заплате долгов; 8) полезно ли умножать заводы; из чего последует 9) рассмотрение о сбережении лесов.

В конце года явилась жалоба казанских чернопахотных крестьян, приписных в Оренбургской губернии к Авзянопетровским заводам дворянина Евдокима Демидова, жалоба была подана поверенным крестьянином Дехтеревым. Демидов представил в Берг-коллегию 4 человек, в том числе и Дехтерева, которые все и были отправлены к следствию в Екатеринбург в Канцелярию главного правления заводов; но один из них, Тунгусов, бежал и подал челобитную императрице. Тунгусова приговорили к плетям и к отсылке на Монетный двор в работу на два месяца, ибо недавно учрежденная комиссия о горных заводах в мнении своем заявила, что, по ее наблюдению, во многих подобных крестьянских жалобах главными виновниками бывают те дерзновеннейшие и ухищреннейшие крестьяне, которые, желая получить от товарищей своих награждение, нарочно уговаривают их к принесению жалоб от всего общества и вызываются быть поверенными, будучи готовы за полученные деньги сносить иногда и некоторое страдание.

Но незадолго перед тем Сенат указал на любопытное отношение заводчиков к работникам. Другой Демидов, Прокофий, просил об увольнении его от казенной поставки железа. Наведена была справка, и оказалось, что в 1702 году по желанию и прошению комиссара Никиты Демидова дозволено ему ставить в казну всякие военные снаряды по представленным от него ценам и для того отданы ему во владение казенные Верхотурские железные заводы. На этом основании Сенат решил, что наследников Демидова от казенной поставки освободить нельзя и ставить они должны по прежним ценам, потому что в 1703 году в Верхотурском уезде приписаны к заводам Демидова Аяцкая и Краснопольская слободы да село Петровское с деревнями, и если б Демидовы от поставки уволились, то и слободы с деревнями надобно у них взять; и хотя с того времени как на работников, так и

на всякие припасы цены несколько возвысились, однако Демидовы дают приписным рабочим прежнюю плату.

Мценский купец Коняев подал любопытное доношение в Сенат, что по нападкам, не дождавшись срока платежа взятых им из Медного банка денег, засадили его в тюрьму и стали продавать имение; продали крепостных людей дешевою ценою: пять душ, в том числе три женщины, проданы за 20 рублей; кроме того, 8 душ продано за 150 рублей, 4 мужского и 4 женского пола, в том числе прикащик его, аккредитованный магистратом для купечества и подрядов. Через несколько месяцев после этого Сенат в своем указе 25 октября указал на один из источников крепостного отношения крестьян к купцам, источник, который мы встречаем повсюду в неразвитых, бедных обществах, именно закладничество вольное и невольное: многие крестьяне, говорит Сенат, отлучаются от домов своих в разные города, но, будучи у купцов в работах и услужениях, обязываются векселями, и в случае неуплаты купцы протестуют эти векселя в отдаленных городах и по протесте долго держат у себя умышленно, для накопления процентов, и чрез то бедных крестьян доводят до ссылки в каторжную работу, откуда по указу 1736 года те же самые заимодавцы этих крестьян скупают за положенную плату и тем удерживают их вечно в своих услугах; а некоторые из крестьян, отбывая от платежа положенных податей и поборов, чтоб вечно себя в услуги купцу укрепить и добровольно с ним согласясь, дают в немалой сумме векселя. Сенат велел послать ко всем губернаторам указы, как наивозможно такие беспорядки отвратить и искоренить. Помещики получили право людей своих в наказание за «продерзостное состояние» отдавать в каторжную работу Адмиралтейс-коллегии на желаемое самими помещиками время.

Обратили внимание на почту, которая находилась в очень незавидном положении; должны были обратить внимание и на положение ямщиков. Генерал-поручик Овцын представил, что в 1705 году по указу Петра Великого во всем государстве ямщики были расположены в выти: выть имела по семи дворов, во дворе по четыре души ревизских. С каждой выти велено было содержать для ямской и почтовой гоньбы по три лошади, и хотя многими указами запрещено брать лошадей сверх вытного числа и за разгоном не принуждать ямщиков к найму, но, сколько в котором яму вытей и указных лошадей, о том никогда не было опубликовано в народе, и проезжие по незнанию этого принуждают ямщиков жестокими побоями и силою нанимать лошадей с убытком, прибавляя к прогонам по рублю и по два на лошадь, а иногда случается и больше. От таких бесчеловечных побоев и наглостей ямщики несут великую тягость, а особливо на почтовых станах (как и теперь случилось у штат-фурьера Петрищева с яжелбицким ямщиком Григорием Серым). За неимением в тех местах управителей защитить ямщиков некому, потому что почтовые станы во всем государстве состоят по большей части в монастырских деревнях, а управители от этих станов живут на большом расстоянии. В запряжках ямщики несут великую тягость и обиды оттого, что многие проезжие требуют подорожные на весьма малое число лошадей и запрягают под четвероместную карету лошади по 4 и по 3, в карете садятся пассажиров человека по 4 и 2 человека назад, да еще несколько вещей кладут, и за такую великою тягостию ямщики принуждены бывают припрягать лишних лошадей. 25 ноября отправлены были всем губернаторам указы: по всей губернии сделать расписание и станции («и где потребно, и новые назначить

станции», – приписала Екатерина собственноручно), назнача, сколько на каждую должно поставить лошадей и где именно этим станциям, а в городах почтовым конторам быть надлежит и не найдутся ли охотники к определению в комиссары и почтмейстеры из отставных («проворных», – приписала Екатерина собственноручно) субалтерн-офицеров доброго поведения и в письменных делах знающих. Губернаторы обязаны были изыскать везде сколько можно кратчайший почтовый путь и представить удобнейшие средства к поправлению больших дорог и всегдашнему их содержанию в добром состоянии.

Мы видели, что Сиверс указывал на недостаточное управление прежними монастырскими крестьянами, отчего и доходов с имений получалось менее, чем сколько можно было получить. А увеличение доходов коллегии Экономии было нужно: соединенные комиссии Духовная и Воинская потребовали от этой коллегии еще 12000 рублей в год на инвалидов, которых сверх штата оказалось 150 унтер-офицеров и 1000 рядовых; сделано также распоряжение и о заштатных богаделенных. Сбор со свадеб за венечные пошлины был отменен; но так как этот сбор шел на лазареты, то коллегия Экономии должна была отпускать ежегодно на лазареты сумму, которая равнялась сумме сбора за венечные пошлины в лучший год. Еще в манифесте 1764 года об окончании комиссии о церковных имениях было сказано: «Избавили мы все белое священство от сбора им разорительного данных (от „дань“) денег с церковей, который прежними патриархами был установлен и по сие время в отягощение священству продолжался, и оный вовсе сложили, так как и собираемую часть хлеба, с монастырей двадцатую, а с церковей тридцатую, на семинарии, к немалому оскудению того же священства до сего бывшие оставили». На том основании, что теперь на содержание архиереев и служителей их положены определенные оклады из коллегии Экономии, отменены были все прежние сборы с поставления в архимандриты, игумены, протопопы и иеромонахи, также с благословенных грамот о строении и освящении церковей, вдовым священникам и дьяконам с епитрахильных, постихарных и переходных грамот; епитрахильных и постихарных грамот вообще не давать; архиереям, переведенным на новые епархии, старых грамот в них священно– и церковнослужителям не подписывать; во время объезда епархий архиереям на подводы и ни на что от духовенства денег не требовать; удержан только один сбор с поставления священно– и церковнослужителей: с первых – по 2 рубли и со вторых – по рублю. Для прекращения жалоб на вымогательства духовенством больших денег за требы определен был *minimum* платы за требы сельскому духовенству с запрещением домогаться большего, которое могло быть получено только по доброй воле дающего: за молитву родильнице 2, за крещение младенца 3, за свадьбу, за погребение возрастных 10, за погребение младенцев 3 копейки; за исповедь и причастие запрещено было брать.

Относительно раскола заметим следующие явления. Синод прислал в Сенат ведение: раскольники в числе 30 человек из села Буборина Новгородской епархии прошли в Зеленецкий монастырь, выгнали братию и грабят церковное и монастырское имущество. В Олонецком уезде раскольники собрались и заперлись в избе у одного из своих, Иванова, вместе с неведомыми людьми. Староста, десятские и мирские люди подошли к избе с вопросом об этих неведомых людях; вместо ответа вышел из избы неведомый человек стопором в руках, ударил десятского и отсек ему руку; изумленная толпа не шевельнулась, неведомый

человек спокойно возвратился в избу, но вслед за тем пламя вспыхнуло внутри ее, и раскольники сгорели в числе 15 человек.

В описываемое время кончилось долго тянувшееся соблазнительное дело архимандрита Иуста и монахов Пыскорского (Пермского) монастыря, богатого своими соловарнями; в Сенат представлено было 54 экстракта о винах означенных лиц, между прочим о перепилении Спасителява Образа, о наступании на Образ, служение на 4 просвирах, о бое пономаря и о сечении иеромонаха в церкви до крови, о спилении с колоколов подписи и отобрании от церквей колоколов, о снятии с икон окладов и сделании дорогой шапки, о покупке кареты в 500 рублей; о имени ложного с привесною печатью указа, о непомерных поборах с крестьян и о битье на правеже, о смертоубийстве и мужеложстве архимандрита Иуста с келейником, которого наградил 10000 рублей, о дачах из монастырских сумм во взятки духовным и духовного ведомства лицам. На юго-восточной Украине церковь сталкивалась с донскими козаками, с которыми давно уже не сталкивалось государство. Св. Тихон, епископ воронежский, жаловался Синоду, что Донское войско вступает в духовные дела, в дьячки и пономари определяет и грамоты дает, а других само собою отрешает и в козаки записывает; священника Терновской станицы, доносившего о раскольниках, атаман забил в колодку и отослал в войсковую канцелярию неизвестно за что; а наказной атаман Иловайский прислал письмо, в котором с немалым нареканием требовал, чтоб архиерей не касался детей священно- и церковнослужителей, потому что они отправляют козачью службу, а церковные причетники по рассмотрению и определению Донского войска производятся из козаков же.

Воронежский губернатор Лачинов также донес о любопытном явлении в земле Донского войска. В Луганской станице на ярмарке произошел пожар от зажигателя: погорело купеческого и козачьего товара более чем на 127000 рублей. Зажигатели – двое малороссиян, Золотаренко и Чернов, – были пойманы и показали, что, приехав на ярмарку, Золотаренко объявил о себе базарному старшине Волошенинову, что он человек, имеющий у себя тихую руку и быстрый глаз, т.е. просто мошенник, и Волошенинов позволил ему заниматься на ярмарке своим промыслом и, когда его приводили с поличным, отпускал на свободу. Чернов находился в услужении у Волошенинова и мимо настоящих Козаков определен был на ярмарке есаулом. Волошенинов приказал Золотаренку и Чернову зажечь ярмарку с условием, чтоб они отдали ему половину пограбленного на пожаре. По справке оказалось, что атаман Ефремов определил Волошенинова старшиною вопреки сенатской грамоте 1757 года, которою приказывалось отрешить его от команды как человека неблагонадежного.

Относительно Малороссии граф Румянцев в мае месяце подал доклад, что многие города розданы во владение частным людям большею частию последним гетманом – Разумовским, хотя в гетманских статьях нигде не сказано о праве раздавать города, а только деревни и мельницы. По мнению Румянцева, города, особенно обведенные валами, нужно было отобрать от частных владельцев; Екатерина написала: «Все города, не государевыми указами пожалованные, следует отобрать; а о тех городах, если государями пожалованы, о тех войтить с помещиками в негоцияции, дабы добровольно за удовлетворением оные пока уступили; а прежде всего нужно узнать, сколько таких городов и за кем и кем пожалованы». Городские жители, писал Румянцев, от разных притеснений

разошлись, записались в козаки, продолжают торговать, но гражданской повинности не отбывают; города опустели, и некоторые только имя городов носят, а вид имеют пустырей; по мнению Румянцева, надобно было запретить торговлю и промыслы тем, кто не записан в городское общество, т.е. сделать то же самое, что в подобных обстоятельствах сделано было в Великой России в XVII веке. Екатерина написала: «Как из сего пункта усматривается, что города почти пусты, того ради сделать рассмотрение, не лучше ли в политическом и коммерческом виде заводить в пристойных и удобных местах новые города полезнее старых, а впрочем, я согласна с его (Румянцева) мнением». Императрица согласилась на просьбу Румянцева выписать искусных людей для улучшения земледелия и скотоводства и для сохранения лесов; устроить почты; но под статью об улучшении местной артиллерии написала: «Оставляется до времени». В Малой России церковные имения еще не были отобраны, число в них дворов простиралось до 14111; Румянцев жаловался на дурное управление этими имениями; писал о надобности завести первоначальные школы, также военную школу и госпитали. Относительно этих пунктов сохранилось отдельное письмо Екатерины к Румянцеву: «Желаю, чтоб вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобитной, в которой бы они просили о лучшем у них учреждении школ и семинарий, и, если можно, о положении духовенства в штатное состояние от духовных или светских такую же челобитну иметь; то б мы уже знали, как починать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит киевский сам не прочь от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийский архиерей, а мы б ему, преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции».

Поселение иностранных колонистов на юго-восточной Украине повело к столкновениям с старыми русскими жителями в этой считавшейся пустою земле. Оказалось, что живущие в городе Саратове и в прочих тамошних местах дворяне, купцы и прочие разночинцы имеют зимовья и при них пашню и крестьян по большей части на таких землях, на которые не только никаких крепостей у них нет, но и дач совсем не сделано; город же Саратов наполнен не принадлежащими к нему жителями, между которыми находятся неведомо какие малолетки и так называемые саратовские дворяне. Поселившимся на землях, лежащих междуреками Волгою и Медведицею, собственным ее величества и дворцовым села Золотого крестьянам земель не отведено и дач не сделано, а крестьяне этих волостей, несмотря на то что всех около лежащих земель обработать не в силах, иностранцев селиться не пускали; так и прочие старые жители, поселившиеся без указа по рекам Медведице, Хопру и Дону и по притокам их, захватя все лучшие земли, называют их принадлежащими к их имениям. Ниже города Дмитриевска (Камышина) к Царицыну поселены волжские козаки, которые, по сказкам саратовских обывателей, сильно размножились, а между тем здесь было назначено селить иностранцев. Крестьяне Нарышкиных села Никольского и Покровского по реке Медведице указывали на свои владения по этой реке с лишком на 300 верст, захватывая в том числе город Петровск и больше ста селений. Президент Канцелярии опекунов иностранных колонистов граф Гр. Орлов выставил в своем донесении Сенату все эти явления, очень естественные на степной Украине, как явления, которых терпеть нельзя. Надобно было потеснить слишком

просторно живших русских поселенцев, чтоб поместить поселенцев иностранных. Сенат приказал: всем владельцам, которые без дач и крепостей поселились в определенной для иностранцев округности, отмерить наравне с иностранцами на каждую семью по 30 десятин и сделать дачу, а которые имеют указные дачи и крепости, тем по ним и владеть; если же по числу поселившихся крестьян этой дачи недостаточно, то домеривать по числу душ; а хотя по межевой инструкции надобно бы с тех владельцев взять в казну по 10 копеек с десятины, но так как в манифесте о вызове иностранцев даны им земли без всякого платежа, то подать ее императорскому величеству доклад с таким мнением, что несогласно было бы с ее милосердием, когда выходящие иностранцы станут селиться на пространных и изобильных землях без всякого за них платежа, а подданные ее императорского величества будут платить, умалчивая о том, каковая от этого у тамошних старых жителей может вкорениться зависть к иностранцам.

Так решил Сенат 8 марта. В этом решении он руководился тем взглядом, что заселялась страна пустая сначала русскими колонистами, которые своим поселением взяли землю во владение, завоевали ее для государства если не у чужих народов, то у дикой природы, что было гораздо человечнее; теперь государство из-за очень спорных выгод искусственного увеличения народонаселения чуждым элементом решило среди русских колонистов поместить иностранных, давши им, как обыкновенно бывает в подобном случае, льготы, давши землю даром; рождался естественный вопрос: за что же русские колонисты будут платить за занятую ими землю? На 1 июня Сенат переменял свое решение, велел в докладе вычеркнуть статью, чтоб с русских землевладельцев не брать по 10 копеек за десятину. Сенат был смущен мнением князя Якова Петровича Шаховского, который объявил, что «согласиться не может, ибо инаковое имеет мнение о помещиках, которые, государственные узаконения вместо должного сохранения пренебрегши, своевољством казенные земли присвоили (?), заселили и многие с оных надобные для пользы Государственных леса, чрез долгие времена береженные (кем?), истребляли, также и, прочими с тех мест угождиями пользуясь, богателись, и впредь они и наследники их по такой дешевой покупке богатиться будут, к немалому не только соблазну, но и огорчению тех, которые и с лучшими монархам и отечеству заслугами только для того, что, не смея до не позволенного им прикасаться, не только богатств, но и нужного к содержанию своему не имеют; так как учреждена комиссия для рассмотрения, как удобнее межеванье производить, по инструкции ли 1754 года или что из того отменить или прибавить следует, то о всем том ныне, по его мнению, представлять приличности нет, а надобно ожидать конфирмации доклада этой комиссии». В этом деле любопытна также медленность, с какою велось оно: первое решение оставалось неисполненным почти три месяца и потом изменено! Вскоре после этого граф Орлов донес по тому же делу: «От некоторых селений по р. Хопру предъявлены данные им на земли купчия и записи от таких людей, которым те земли нисколько не принадлежат, а отведены продавцами из свободных государственных земель, присутственные же места совершают купчия без всяких справок, а некоторым и вновь производят из диких земель дачи. Живущие за помещиками малороссияне по причине отягощения от помещиков просят об отмежевании им особо земли».

В этом году на окраинах, где обыкновенно не бывает недостатка в горючих материалах, начало обнаруживаться явление, которое чрез несколько лет потом

повело к большому пожару, явление самозванства. Солдат Гаврила Кремнев из однодворцев бежал из полку, прослужив в нем больше 14 лет. В бегах подговорил двоих крестьян помещика Кологривова и, ездя по разным селам и деревням Воронежской губернии, разглашал сначала, что он капитан, послан с указом, будто курение вина запрещено, сбора подушных денег и рекрутчины не будет на 12 лет, а наконец назвался государем Петром III. Главным помощником его был поп Лев Евдокимов, который сначала возражал ему, что Петр III скончался, и Кремнев отвечал: «Тогда умер солдат». Из неверующего Евдокимов стал горячим приверженцем самозванца и утверждал, что, будучи дворцовым певчим, видел Петра Федоровича и маленького на руках нашивал. Кроме Евдокимова Кремневу помогали: отставной сержант Петров, капрал Григоров, дьячок Антон Попов; они согласились приводить однодворцев все больше и больше в согласие, потом привести их к присяге и ехать в Воронеж, откуда послать в Москву и Петербург с известием, будто проявился государь, а затем самим ехать в обе столицы. Беглых крестьян Кремнев называл генералами: одного – Румянцевым, а другого – Пушкиным. Императрица увидела из дела, что «преступление Кремнева произошло без всякого с разумом и смыслом соображения, а единственно от пьянства, буйства и невежества, что дальнейших и опасных видов и намерений не крылось». На этом основании Кремнев был освобожден от смертной казни; его секли кнутом во всех тех селам, где он о себе разглашал, привязавши на груди доску с надписью: «Беглец и самозванец», потом выжгли на лбу начальные буквы этих слов и сослали в Нерчинск на вечную работу. Били плетью и сослали в Нерчинск армянина Асланбекова, схваченного с фальшивым паспортом и объявившего себя также Петром III. Самозванство уже соединяется с раскольниковством: беглый солдат Иев Евдокимов, назвавшийся Петром II, проживал у раскольников. Брянского полка беглый солдат Петр Федоров Чернышев в слободе Купенке Изюмской провинции стал разглашать о себе, что он бывший государь Петр Федорович; ему поверил поп слободы Купенки Семен Иванецкий, по желанию Чернышева служил всенощную и молебен, поминая его на ектениях императором. На допросе Чернышев показал, что он однодворец, женат, имеет маленького сына Павла, важное название выговорил без всякого намерения, а единственно потому, что в разные времена, будучи в кабаках и шинках, между незнакомыми людьми слышал в разговорах о бывшем императоре; говорили разное: иной, что он действительно преставился, а иной, что еще жив. Обоих их высекли кнутом и сослали в Нерчинск: Иванецкого – на житье, а Чернышева – в работу. Главный командир Нерчинских заводов генерал-майор Суворов прислал донесение, что Чернышев и там разглашает о себе то же самое, чему некоторые из тамошних жителей поверили и давали ему много подарков.

Но эти случаи были слишком мелки; на них не обращали большого внимания как происходившие «без всякого с разумом и смыслом соображения». Сильнейшее внимание было обращено на Польшу, хотя и здесь не предугадывали, что присутствуют при начале конца.

После того как южные славянские государства полегли перед турками, а Чехия потеряла свою независимость в борьбе с Габсбургами, славянский мир представлялся двумя обширными независимыми государствами – Россией на востоке и Польшею на западе, и между этими государствами в XVI и XVII веках шла сильная борьба, иногда не на живот, а на смерть. Оба государства

образовались при одинаких условиях; оба явились изначала с обширною государственною областью и с малым сравнительно народонаселением, оба были по преимуществу континентальные, что условливало земледельческий характер, тугое развитие города, промышленности, торговли, господство сельской формы, господство земли, землевладельческого интереса, не умеряемого интересом горожанина, владельца движимого имущества, и при господстве землевладельческого интереса пренебрежение интересом земледельца. В Польше рано землевладельческое сословие берет силу и при благоприятных обстоятельствах стремится к одностороннему развитию, поработая сельское народонаселение, отстраняя городское от представительства и все более и более ограничивая королевскую власть. Польша представила республику с избранным президентом, хотя и носившим королевский титул; но вся власть находилась в руках известного ряда богатейших землевладельцев, от которых беднейшие находились в зависимости без западноевропейского формального закладничества или вассальства, ибо на сеймах польские магнаты нуждались в толпе приверженцев, которые бы имели, по-видимому, совершенно вольные голоса, пользовались бы вполне одинаковыми правами с самыми знатными и богатыми людьми. Крайность свободы или своеволия, крайнее развитие личности, дошедши до неумения подчиняться ничему, установило обычай, вынесенный из первоначальных обществ, обычай единогласного решения дел (*liberum veto*). *Liberum veto* поражало бездействием власть законодательную; крайняя слабость исполнительной власти порождала страшный внутренний беспорядок; отсутствие большого постоянного войска, происшедшее сначала из боязни усилить королевскую власть и поддерживаемое нежеланием давать деньги на содержание армии, – это отсутствие военной силы делало Польшу беззащитною извне, делало ее легкою добычею сильных соседей. Сознание печального состояния государства, сознание возможности близкой гибели явилось, и явились попытки предупредить беду уничтожением сеймовых беспорядков, усилением королевской власти, созданием войска; но попытки эти не могли увенчаться успехом, и не потому, чтоб завистливые соседи этому препятствовали. В других государствах, в Дании, Швеции, где также землевладельческое сословие стремилось к крайнему развитию своей власти за счет других элементов, равновесие было восстанавливаемо, королевская власть усиливалась вследствие движения других сословий, получивших также значительное развитие. Но в Польше односторонность развития была такова, что одна шляхта имела значение, ибо духовенство было слито с нею в политических интересах. Следовательно, в Польше попытка изменить конституцию могла быть только делом партии из того же шляхетства; она могла случайно иметь успех нынче, но торжество партии противной уничтожало ее завтра, причем движение не получало питания изнутри, из земли, а могло поддерживаться только внешнею силою соседних государств.

Иначе дело шло в России. Здесь долго после основания государства земля по обилию своему и при скудости населения не могла иметь важного значения, не привязывала к себе, не усаживала человека, вследствие чего между князьями долго господствуют родовые отношения, заставляющие их переходить из одной волости в другую; дружина сохраняет свой первоначальный характер, переходит вместе с князем, получает от него содержание движимостию; а чрезвычайное и быстрое распложение княжеского рода отнимает у членов дружины возможность

приобрести значение в качестве областных правителей. Когда на севере все начало устанавливаться, то дружина явилась безземельна или малоземельна и могла получить землю только от князя во временное или вечное владение в виде поместий или вотчин; дружина явилась с своим правом перехода, движения, которое оказалось вовсе нестати в то время, когда все усаживалось, устанавливалось, и которое упразднилось совершенно вследствие утверждения единовластия, когда не к кому стало переходить; и так как других прав не было скоплено, то члены дружины стали холопами великого государя. В некоторых городах благодаря выгоде положения торговли и, главное, княжеским родовым отношениям и усобицам развилось самоуправление, но это явление было односторонне в отношении к местности: мы видим его преимущественно, если не исключительно, на Западе, на стороне пути «из варяг в греки», и когда прочный порядок вещей утвердился на Востоке, то города-государи не могли противиться государю московскому и должны были приравняться к городам восточным. Восточная Россия, Московское государство образовалось, таким образом, с сильною верховною властью благодаря отсутствию сильного развития в других органах государственного тела. Но кроме того, малочисленное народонаселение, разбросанное по обширнейшей стране, все более и более увеличивающееся пустынными пространствами, требовало для своего сосредоточения, для направления своих сил к общим целям сильного правительства; наконец, открытость страны, окруженной со всех сторон врагами, тяжелая многовековая борьба с варварским востоком, необходимость постоянно отбиваться от врагов для сохранения независимости требовали строгой дисциплины, постоянной диктатуры. Вот почему Россия явилась в XVIII веке среди европейских государств с отличительным признаком – крепким самодержавием.

Так порознились Россия и Польша на своем историческом пути; но не эта разница была причиною борьбы между ними, она только имела важное значение относительно исхода борьбы.

Россия и Польша получили каждая свою историческую задачу соответственно своему положению. Польша должна была сдерживать напор немцев с запада, Россия – напор варварских орд с востока. Польша не выполнила своей задачи, отступила пред напором, отдала свои области – Силезию, Померанию – на онемечение, призвала тевтонских рыцарей для онемечения Пруссии; но, отступивши на западе, она ринулась на восток, воспользовавшись ослаблением Руси от погрома татарского: она захватила Галич и посредством Литвы западные русские земли. Но в это самое время Россия, окрепнув на востоке и управившись с варварскими ордами, начала двигаться на запад для естественного сплочения всех русских земель, всего русского народа в одно государство; при этом движении в западных русских областях она нашла наезд незваных гостей, которые ополячивали русский народ посредством католицизма. Столкновение было необходимо, и столкновение страшное: Россия двигалась на запад, Польша ей навстречу двигалась на восток; местом встречи, местом столкновения была Западная Россия; с самого начала рождался вопрос: Западной России оставаться ли Россиєю и, соединясь с Восточною, Великою Россиєю, составить одну Россию или перестать быть Россиєю, ибо в Польше очень хорошо поняли с самого начала, что Западная Русь, оставаясь Русью, не будет крепка Польше, особенно при борьбе последней с Великою Россиєю; она могла быть

крепка Польше только в том случае, если б потеряла русское народонаселение, т.е. если б это народонаселение, лишившись основы своей – народности, веры восточного исповедания, превратилось в народонаселение польское, католическое. Следовательно, внутренняя борьба в двусоставном польском государстве, борьба между польскою и русскою народностию, необходимо должна была принять характер борьбы религиозной при необходимом вмешательстве Великой России, которая должна была заступаться за своих.

В XVII веке эта борьба кончилась с большим ущербом для Польши, которая должна была уступить часть западнорусских областей Великой России, уступить ей Киев. Но понятно, что такой исход борьбы мог только усилить стремление поляков отнять у русского народонаселения, оставшегося за Польшею, его веру и народность. Усиление мер против православия приводило к желанным результатам в одном самом важном для Польши пункте. Польша была государство шляхетское, одна шляхта имела представительство, голос на сейме, следовательно, необходимо было, чтоб это сословие представляло полное единство, состояло из одних поляков-католиков, исключение из представительства русской православной шляхты или обращение этой шляхты чрез католицизм в поляков освобождало республику от влияния сильной России, которое проводилось бы русскими депутатами, русскими должностными лицами. Отнятие политических прав у не католической шляхты всего более содействовало переходу ее в католицизм, так что в описываемое время православной шляхты, по крайней мере значительной, было уже очень мало. Поляки тем удобнее могли проводить свои меры против православия, что Россия была занята другими делами: Петр Великий вел войну с Швециею, причем должен был стараться держать Польшу при своей стороне. Петр, однако, никак не хотел позволить гонения в Польше на православных: видя, что дипломатические представления ни к чему не ведут, он отправил своего комиссара в Польшу наблюдать, чтоб этого гонения не было и православным дана была полная управа в обидах. Поднялся страшный крик против такого небывалого вмешательства русского государя во внутренние дела Речи Посполитой, но криком все и кончилось: с Петром ссориться было нельзя. После Петра эта мера не была возобновляема даже и в царствование его дочери, ибо отношения к Пруссии, Семилетняя война не давали возможности ссориться с Польшею; и заступничество России за единоверцев, на которое она имела и формальное право по Московскому договору, ограничивалось по-прежнему дипломатическими представлениями. Но Екатерина находилась в самом благоприятном положении сравнительно с своими предшественниками, и она решила воспользоваться этим положением, чтоб, возведя на польский престол короля, всем ей обязанного, порешить все споры с Польшею в пользу России. Дело о защите православных было, разумеется, важнее всех, в нем была особенно заинтересована слава императрицы, ибо легко понять, какое впечатление должно было произвести на народ покровительство, оказанное единоверцам, и покровительство, увенчавшееся небывалым успехом. Выигрывая необыкновенно в расположении собственного народа этим народным подвигом, получая чрез него, так сказать, вторичное, закрепляющее все права венчание русскою, православною государынею, что для Екатерины было так важно, она не могла быть равнодушна и к той славе, которую должны были протрубить вожди общественного мнения на Западе, к славе победительницы фанатизма,

нетерпимости, к славе государыни, которая прекратила религиозное гонение, возвратила спокойствие и гражданские права людям, лишенным их вследствие религиозной нетерпимости народа, живущего под сильным влиянием ненавистного католицизма. Далее следовали другие расчеты: возвращением прав диссидентов вводился в польские правительственные отправления элемент, который, естественно, должен был находиться под русским влиянием и привязывать, особенно в делах внешней политики, Польшу к России. При существовании такого элемента казалось безопасным позволить Польше выйти из страшного безнарядья и чрез это приобрести некоторую силу. В Петербурге не могли вполне сочувствовать внушениям, настаиваниям, приходившим из Берлина, чтоб ни под каким видом не позволять Польше изменять свою конституцию. В Пруссии, как и в других западноевропейских государствах, выработалась верность системе, основанной на самосохранении и приобретении известных выгод, расширения государственной области и т.п. Эта национальная система проводится настойчиво, никакие другие соображения в расчет не принимаются, все должно быть принесено в жертву системе; политика чрез это является узкою, своекорыстною, но легкою по своей простоте. Россия, введенная Петром Великим в общую жизнь европейских народов, представляла в этом отношении заметное различие. Россию можно было упрекать в неимении ясно сознанной национальной политики, по крайней мере в отсутствии настойчивости в достижении целей этой политики; можно было упрекать относительно медленности в восстановлении полного господства русской народности в западном крае и т.п. Причины этого явления можно было искать в племенном и народном характере, в юности русского народа, его неразвитости, новости в общенародной жизни, недостатке просвещенного взгляда на свои внутренние и внешние отношения, в привычке, сделавши какое-нибудь дело, складывать руки, не пользоваться победою. Все эти объяснения в известной степени могут быть приняты; но не должно забывать и того обстоятельства, что Россия, войдя в XVIII веке в общую жизнь европейских народов, принесла такую обширную государственную область, которая не давала развиваться в русском народе хищности, желанию чужого, наступательному движению, а могла развить качества противоположные и в своих крайностях вредные, так, нежелание чужого могло перейти в невнимание к своему и т.д. Русские государственные деятели, разумеется, не были чужды честолюбия, желания усилить значение России, но для этого они придумывали особенные средства, идиллические в глазах западных политиков; чуждые стремления приобретать что-нибудь для себя, расширять свою государственную область, они придумывали союзы с чисто охранительным значением, в которых сильные государства были вместе с слабыми и первые, разумеется, принимали на себя обязанность блюсти выгоды последних как свои собственные. Таков был знаменитый *северный аккорт*, который так старался осуществить Панин. В этот северный союз должны были войти Россия, Пруссия, Англия, Швеция, Дания, Саксония, Польша, и если Польша входила в союз, разумеется вечный и непоколебимый, то почему ж не дать ей возможности выйти из анархии и усилиться, этим усилением она будет только полезна союзу. Идиллия, приводившая в бешенство Фридриха II, который ждал первого удобного случая, чтоб попользоваться на счет Польши, Саксонии, Швеции, Дании, а тут

заставляют его блюсти их интересы! Также наивно было предполагать, что Англия станет любить своих союзников, как сама себя.

Но все эти легкие построения сокрушились под тяжелыми стопами истории, когда диссидентский вопрос поднял в двусоставной Польше ожесточенную борьбу между двумя народностями. Мы видели, как князь Репнин, находясь на месте, предвидел страшные, неодолимые препятствия к решению диссидентского вопроса; он представлял, что католический фанатизм неодолим. Не надобно забывать причин, усиливавших этот фанатизм. Прошли целые века борьбы, в которой поляки, пользуясь своими государственными средствами, давили православное народонаселение; последнее питало сильную вражду к притеснителям, но вражда притеснителей к притесненным бывает еще сильнее (ненавижу человека, которого обидел); у православных русских отняты были права, они являлись людьми низшего разряда; католик с молоком матери всасывал к ним вражду и презрение; еще сильнее была вражда отступников и потомства отступников. И вот является требование, чтоб отношения совершенно изменились, чтоб православные не только получили полную свободу и безопасность относительно отправления своей религии, но получили бы назад равные права с католиками; человек, который нынче идет с поникшею головою, гонимый и презренный, завтра поднимет голову и явится всюду как полноправный согражданин, явится с свежою памятью об обиде и со средствами к мести; но если бы и обиженный от радости забыл об обиде, то обидчик об ней не забудет; духовные католические не могут себе представить, как архиерей, священник презренной мужицкой (хлопской) веры, трепетавшие до сих пор при виде католических духовных лиц, получают равное с ними положение. Наконец, если бы кто-нибудь из поляков был чужд религиозной нетерпимости и способен забыть установившиеся отношения, то он не хотел забыть того, что республика его, двусоставная на деле, стала путем насилия одной части народа над другой единою по праву, ибо представительство и власть принадлежали одним полякам-католикам, а теперь, если уступить требованию уравнивания прав диссидентов, это единство должно рушиться. Но каковы бы ни были побуждения, знамя для всех было одно – интерес религиозный; а что означало поднятие этого знамени, как не вековую борьбу между двумя частями народонаселения, искусственно, насильственно сплоченного. Диссидентский вопрос был поднят не Екатериною II; он был поднят историею: это был окончательный расчет по сделке Ягайла и последнего из его потомков.

Избрание Станислава Понятовского произошло спокойно, но были признаки, что враги нового правительства еще не успокоились; а между тем диссидентский вопрос висел грозною тучею.

Из Молдавии пришли вести, что Порты грозит тамошнему господарю низвержением, считая его подкупленным от русского двора, и посланник нового польского короля к султану Александрович все жил на турецкой границе, не получая паспорта для продолжения своего пути в Константинополь. Репнин писал, что беспокойство Порты происходит не от одних внушений венского и французского дворов, но и от внушений, приходящих прямо из Польши. Репнин не мог указать, кто именно делал эти внушения, но подозревал обоих гетманов коронных, воеводу киевского и епископа краковского, тем более что Станкевич, креатура гетмана коронного, жил еще в Константинополе и вел интриги в пользу

враждебной России партии. 12 февраля Панин поднес императрице на утверждение письмо свое к Репнину: посол уведомлялся в конфиденции, что «мы не можем и не хотим считать польские дела совершенно оконченными, пока не улучшено будет состояние диссидентов, хотя бы это дело потребовало и вооруженной негоциации, и потому, – писал Панин, – рекомендую и вам, моему другу, готовить себя к этому разумными средствами, не компрометируя заранее секрета, дабы противомыслящие не воспользовались для возвращения больших трудностей. Здесь удостоверены, что фамилия Чарторыйских в этом пункте более других недоброжелательна и она-то была главною виновницею вашей неудачи на последнем сейме. Е. и. в. никак не отступит от этого предмета: так вам надобно, принимая в расчет расположение и обстоятельства этой фамилии, убеждать и действовать с ними заодно; в случае же безнадежности воспользоваться настоящею холодною между нею и королем и возбуждать его величество против нее. При таком положении дел хотя вы и можете по желанию графа Захара Григорьевича Чернышева возвратить известные кирасирские эскадры в Россию, приказав им малыми маршами подвигаться к границе, но прочие войска должны оставаться в Польше на всякий случай. Замечу еще вам, моему другу, с равною доверенностию: мне кажется, что кроме начинающих у вас женских сплетней и интриг между фамилиею и кроме духа господства двоих братьев Чарторыйских новый государь принимается за свои дела более горячо, чем прозорливо; надобно опасаться, чтоб, меряя все на внутренний польский аршин, он не навел на себя таких хлопот, которые могут привести в расстройство весь северный аккорд и посадить его, короля, между двух стульев. Он должен себе представить, что не только северные, но и все другие державы, привыкнув сорок лет видеть главами Польской республики иностранных государей, совершенно преданных интересам собственных областей, вследствие этого определили более или менее важную часть своей политической системы и каждому государству восстановление в Польше природных королей представляется делом новым, революциею, следовательно, пока северные и другие державы совсем не осмотрятся и не привыкнут с течением времени спокойнее смотреть на эту перемену, пока не определяют каждая свою систему по соображении с новым порядком вещей в Польше, до тех пор благоразумие требует от его польского величества, чтоб он для будущих своих выгод изволил с достаточною политическою экономиею и осторожностью касаться своих внутренних дел и, сколько возможно, воздерживаться от всего того, что может получить вид новости. Гораздо вернее и надежнее будет, если он усугубит свое старание укрепить себя средствами истинной дружбы и союзов с теми державами, которые восстановление природных королей в Польше ставят частью своей политической системы. Я не хочу решать, кто более прав в настоящем споре между польским и берлинским дворами относительно учреждения таможен и прохода драгунских лошадей чрез Польшу в Пруссию, но искренне сожалею, что в такое короткое время трактаты между ними уже подверглись объяснениям. Одна поспешность может повести к другой, и король польский вместо старания истребить в короле прусском следы старого против себя предубеждения, последуя своим собственным предубеждениям, может позволить уловить себя австрийскому дому, который, конечно, употребит все средства для приведения в расстройство наши общие дела. Пожалуй, мой любезный друг, стереги, сколько можно, эти

консидерации и по усмотрению употребляй их с королем в разговоре, называя их хотя своими, хотя моими, как лучше сами рассудите, представляя ему, что производимые и часто повторяемые общими ненавистниками толки о делах его могут наконец нечувствительно произвести некоторое впечатление и на людей, к нему склонных; но ему нечего будет опасаться этого, когда однажды навсегда будут приведены в совершенство его связи и политическая система союзными трактатами с дружескими державами. При таких деликатных ваших обращениях я, как ваш искренний друг, не могу обойтись, чтоб не сказать вам, как необходимо нужны пространнейшие от вас уведомления. Пожалуй, мой дорогой, отступи от образца покойного графа Кейзерлинга и описывай со всеми обстоятельствами не только одни феты (праздники) или происшествия, но и разговоры ваши с разными обращающимися в делах особами, присоединяя к тому известия об отношениях этих особ, о сходстве или разности их интересов, дабы я, зная все, мог вернее определять мои собственные взгляды и мнения; мне надобно прежде всего знать людей, которые теперь заправляют делами, их характеры, степень их влияния на короля и кредита у нации».

Польский посланник в Петербурге граф Ржевуский по расстроенному здоровью желал возвратиться в Польшу. Король по этому случаю сказал Репнину с печальным видом, что очень жалеет об отъезде Ржевуского из Петербурга в то самое время, когда он там так нужен, и прибавил, что известия, полученные от Ржевуского, его печалят. Репнину хотелось, чтоб король рассказал подробно, какие это известия; но Станислав-Август не открылся, и только из отрывочных слов Репнин мог заметить, что его оскорбляет холодность русского двора к венскому и приязнь к берлинскому, тогда как прусский король, по его мнению, никогда не допустит Польшу поправиться. Репнин отвечал на это, что король прусский, без всякого сомнения, войдет во все виды России относительно Польши и если примет на себя какие-нибудь обязательства, то станет содержать их ненарушимо. Но австрийский дом, прибавил Репнин, и прежде старался, и до сих пор все старается своими внушениями встревожить и вооружить Порту и делает это из опасения, чтоб Польша не усилилась вследствие неусыпной деятельности национального короля, который не имеет посторонних интересов. «Хоть я вижу, – писал Репнин Панину, – как сильно здесь желают сближения нашего двора с венским, однако могу почти уверить, что ни в какое с ним обязательство не войдут без согласия нашего двора и здешняя система будет всегда следовать нашей».

«Здесь удивляются, – писал Панин 29 марта, – что его польское величество не почтил знаками своей признательности наших троих генералов, которые у вас были с войском для подкрепления его дел. Да мне кажется, и по всему у вас великое заблуждение в собственных замыслах. Я истинно не желаю дурного, да и моя собственная слава тому противится, только с основанием боюсь, мой друг, что у вас спокойствие не будет продолжаться, если воды в вино лить не будут, а будут продолжать дела по началам своей самоопределенной собственной политики. То положение и обстоятельства кончились, когда внешняя политика сообразовалась с внутренними партиями и интригами; теперь нужны к делам министры, а не партизаны. При замешательстве дел фамилия и дядья мало помогут, а разве посторонние дворы, воспользовавшись их духом господства, употребят их к усилению этих замешательств. Коротко и откровенно опишу вам здесь картину настоящего положения. Вам уже известно наше неудовольствие по делу о

диссидентах. Полученная о том здесь графом Ржевуским инструкция так мало соответствует нашим желаниям и откровенности, так слаба и составлена в таких общих выражениях, что я по моей ревности к сохранению тесного союза не отважился сообщить ее государыне; и без того по одним письмам королевским, как ласкательно и разумно они ни писаны, е. в. изволит заключать, будто польский двор хочет употребить все наши способы и силы для достижения всех своих целей в виде купеческого задатка за те дела, о которых только вперед показывает склонность торговаться. С другой стороны, начатые легкомысленно и безвременно споры с королем прусским, по-видимому, должны более усилиться и неблагоприятно кончиться. До вашего сведения, конечно, дошел мемориал о правах провинции польской Пруссии. Граф Сольмс мне сообщил, что так как с польской стороны в новой таможене взята пошлина с купленных для прусской кавалерии 500 лошадей, то король, его государь, установил и в своих границах новую таможену. Излишне толковать о том, что этот государь может иметь теперь в мыслях, если не остережемся. Много хлопот произойдет, когда он объявит себя защитником провинции Прусской; тут, мой друг, не много поможет и сеймовое большинство голосов, в которое у вас так сильно влюблены. Швеция с самого начала пользовалась этим большинством и едва ли не ему должна приписать свое окончательное погружение в бездну бедствий. Ко всему этому надобно прибавить бесконечные волнения и интриги серала противных нам союзников, которых, и особенно венский двор, у вас уловить, конечно, не удастся. Из этого и предыдущего письма моего вы довольно видите, как вы должны быть деятельны для охранения наших интересов, от которых, без всякого сомнения, зависит и существенный интерес его польского величества. Чистосердечно скажу вам, что не вижу для него другого средства, кроме уступки времени и благоразумного повиновения обстоятельствам, нет государя, который бы мог безвредно не соблюдать этого правила. Граф Чернышев опасается, чтоб от неподвижного пребывания наших войск на Висле не явились из них перебежчики. Так как я не вижу никакой возможности вывести их из Польши прежде приведения в надежную форму дела о диссидентах, то и отдаю на ваше усмотрение, не найдете ли более выгодным тронуть их в мае и привести к Гродне и чрез несколько времени, смотря по обстоятельствам, перевести к Вильне».

Дела запутывались. Старики Чарторыйские отступили пред диссидентским делом; каковы бы ни были их религиозные и политические взгляды на это дело, они знали, что, поддерживая русские требования, рискуют потерять силу и значение без надежды провести дело обыкновенными средствами. Но в Петербурге на них сильно сердились, видели в их несодействии измену, ибо привыкли смотреть на них как на вождей русской партии, т.е. как на покорные орудия для достижения русских целей, тогда как Чарторыйские смотрели на Россию как на орудие для достижения своих целей. Король еще не понимал всего грозного значения диссидентского дела. Он был влюблен, по выражению Панина, в большинство голосов, т.е. был так увлечен мыслию о преобразованиях, что все другое ставил на второй план. Поэтому его гораздо более беспокоила тесная связь России с Пруссией, ибо он очень хорошо знал, что Фридрих II настаивает и всегда будет настаивать, чтоб Екатерина не соглашалась на преобразования польской конституции; пограничные споры давали возможность

Станиславу-Августу выразить свое раздражение против Пруссии, что очень не нравилось в Петербурге. А тут еще курляндские дела прибавляли затруднений.

От 20 марта Симолин писал Репнину, что Бирон потерял любовь и доверие почти всей земли. Противники его, пользуясь этим случаем, отложили частную свою к нему ненависть, взялись за общее дело, соединились с остальными, и таким образом исчезло различие партий, все стали показывать свое усердие только к защите отечественных прав. Симолин упрекал Бирона в том, что он не отличает ласками и наградами преданное ему дворянство, а с другой стороны, не обнаруживает достаточной твердости в обращении с противниками. На слова его никто не хочет полагаться, потому что они никогда не исполняются; почти вся земля разделяет неудовольствие дворянства, предъявляя, что права всех нарушены и будто нынешний герцог имеет в виду всех погубить, разорить, разогнать. Бирон с своей стороны жаловался королю на Симолина, что он с ним не в согласии и был причиною неудовольствия дворянства на него, Бирона, почему Станислав-Август просил русский двор отозвать Симолина из Митавы. Но курляндские недоразумения исчезали пред отношениями важнейшими. «С сожалением вижу, – писал Репнин, – что нет ничего легче, как возбудить здесь сомнение против прусского двора; не знаю, по какой причине король не имеет ни малейшей доверенности к прусскому королю; я из всех сил стараюсь искоренять это недоверие, но напрасно». Масло было подлито в огонь, когда пришло известие, что в Мариенвердере собраны прусским правительством работники для воздвигнутия по берегу Вислы укреплений и что везут туда артиллерию: хотят устроить тут новую таможенную и принудить все проходящие польские суда платить десять процентов со всех их товаров. Король объявил об этом Репнину с страшною досадою, жалуясь, что король прусский старается всячески вредить ему и всей Польше. «Я уверен, – говорил Станислав-Август, – что прусский король старается поссорить меня с Россиею». Репнин уверял его, что это неправда, и писал Панину: «Зная, как нужно восстановить согласие между прусским и польским дворами, чтоб удержать последний в желаемой нами системе и в отдалении от венского и французского дворов, стану стараться о любовном соглашении по таможенным делам». Для этого Репнин обратился к прусскому резиденту, и тот обещал сделать своему двору представления об улажении спора. Но из разговора, бывшего по этому случаю с прусским резидентом, Репнин узнал, что последний час от часу становится недовольнее обхождением с ним польского министерства, особенно канцлера литовского, и что при венском дворе прусскому министру делают внушения о чрезвычайном желании польского двора быть в союзе с австрийским домом; прусский министр доносит об этом в Берлин, что и порождает холодность и сомнения с прусской стороны. Репнин уверял прусского резидента, что Польша вовсе не ищет союза с венским двором, что все внушения об этом фальшивые, злостные, чтоб поссорить Польшу с Пруссиею; а Станиславу-Августу представлял, что лучше было бы дружелюбно разобратся с прусским королем, который огорчительных требований делать не будет, как видно из слов резидента; да и с последним не худо было бы поступать благосклоннее и откровеннее, а не так, как поступает канцлер литовский, который своею гордостью портит дела.

А между тем Мариенвердерская таможня уже начала свои действия. Один берег был прусский, а другой – польский; так, пруссаки силою оттягивали суда,

плывшие у польского берега, и заставляли платить пошлину, даже и с дров брали десятое полено. Никогда Репнин еще не заставлял Станислава-Августа в таком горе, близком к отчаянию. Со слезами на глазах король говорил: «Если бы мне дали на выбор отказаться от престола или терпеть Мариенвердерскую таможенную, которая будет держать под игмом всю Польшу, то я не поколебался бы покинуть престол; я считаю теперь себя несчастнее последнего из моих подданных; по сделанному расчету, сколько польских товаров ежегодно проходит через Данциг, прусский король извлечет из своей таможни около 3600000 прусских гульденов, т.е. около 900000 рублей, что равняется доходу со всей бранденбургской Пруссии. Я полагаю всю свою надежду единственно на посредничество императрицы». «Признаюсь, – писал Репнин Панину, – что нахожу поступки прусского короля жестокими и оскорбительными до невозможности».

В конце апреля Репнин известил Панина, что у польского министерства была конференция с прусским резидентом, которая началась вопросом, что причиною, что его прусское величество учредил новую таможенную в Мариенвердере, причем министры просили об отмене. Резидент отвечал, что Мариенвердерская таможенная учреждена в возмездие за новые польские таможенные распоряжения. Действительно, еще на конвокационном сейме положено было увеличить таможенные пошлины на ввозные товары для усиления финансовых средств республики. Но министры объявили резиденту, что новое польское таможенное учреждение не вызывает такого возмездия да еще и не приведено в действие, притом обещали ему передать формальный мемориал, в котором будет доказано, что польская таможенная не новая, а возобновленная и что новый тариф пошлин не в убыток прусским подданным. На этом письме Панин заметил: «Поздно, да и непристойно так допрашивать; латинский (римский) тон в политических делах ныне не годится. Государи больше на поединок друг друга не вызывают: так и нужда, чтоб бессильный сильного более почитал». Но король польский думал, что, почитая самого сильного, может рассчитывать на защиту его от притеснений менее сильного; Станислав-Август говорил Репнину: «Система императрицы будет всегда моею; я всю мою жизнь сохраню воспоминания о том, чем я ей обязан; я знаю, что она может, и сделаю поэтому все, чего она захочет. Но смею надеяться, что, сделавши меня королем, она поддержит достоинство, которое станет мне в тягость, если будет унижено. Ее великодушные и ее образ мысли заставят ее интересоваться своим делом, которое очутилось бы в крайне бедственном положении, если б она его покинула».

Репнин писал о короле, о своих разговорах с ним, не упоминая, как относились Чарторыйские к прусскому делу. Было ясно, что посол удалился от прежних глав русской партии. Еще 23 февраля он писал Панину: «Что же касается до моего обращения с князьями Чарторыйскими, то после сейма коронации, усумнясь о их прямодушности, а особливо после как я отказал платить впредь до указа воеводе русскому месячной пенсии, брат его единственно с тех пор холоден. Учтивость основание делает нашего обхождения, о делах же я более с самим королем говорю. Братья королевские делают противную им (Чарторыйским) партию». Прусский посланник Бенуа хвалился, что Репнин удержал пенсию Чарторыйского по его совету. 13 мая Репнин писал Панину: «Я уже доносил, каким властолюбием исполнены двое братьев Чарторыйских и что кредит их очень велик в нации; он усилился еще более от того, что в последнее

междоусобице Чарторыйские были главами нашей партии и чрез их руки шли все деньги, назначенные для увеличения числа партизанов, которые и остались им преданны. Кредит их содержится в своей силе слабостию короля, который еще не может окрепнуть и бросить привычку ни в чем им не отказывать. Теперь я примечаю в воеводе русском еще новый замысел: он, кажется, желает быть коронным гетманом по смерти графа Браницкого, который недолго будет дожидаться. Хотя этот чин против прежнего и ограничен, однако все еще может усилить кредит Чарторыйских, что по упрямству, гордости и властолюбивым замыслам их было бы противно видам и интересам нашим, и было бы хорошо этому помешать, а сделать гетманом одного из королевских братьев, которые, имея мало надежды переменить воеводу русского, тем более будут нам благодарны за доставление этого достоинства, и кредит Чарторыйских будет уравновешен». Панин написал на этом письме: «Я в сем письме, кроме полезного, ничего не нахожу и потому ожидаю только высочайшего соизволения, оставляя воле вашего величества, вести ли дело гетманского места в пользу королевского брата и которого или же для Адама Чарторыйского?» Императрица написала: «Лучше первого, а другой в запас».

Чарторыйские вели себя не так, как бы желалось в Петербурге, не по одному диссидентскому делу. По совету литовского канцлера Станислав-Август написал красивое, но очень резкое письмо к Фридриху II по поводу таможенного спора. Копия с этого письма была переслана Екатерине, которая написала Панину: «Признаюсь, я была испугана жаром, с каким написан первый параграф этого письма. Оно, конечно, исполнено ума, но вовсе не прилично. О! Как бы вы меня забранили, если б я написала такое блестящее и такое вредное для моих дел письмо. Прошу вас, поставьте польского короля на ту же ногу, как вы поставили меня. Вы ему доставите этим величайшее благо, то есть спокойное и разумное царствование; умерьте его живость, не дайте ему обнаруживать столько остроумия насчет пользы его собственных дел».

Но Екатерина, желая, с одной стороны, сдержать Станислава-Августа, чтоб не раздражать Фридриха II, с другой – употребила старание сдержать и своего верного союзника короля прусского: Бенуа из Варшавы писал в Берлин, что князь Репнин умоляет его ради самого Бога смягчить своего короля относительно таможни; Репнин внушал, что, конечно, Фридрих II не захочет слишком ожесточить варшавский двор из уважения к великой дружбе, которая царствует между российской императрицею и королем польским: противное могло бы произвести дурное влияние на императрицу. Сольмс доносил из Петербурга о настаиваниях Панина на отмену таможенных стеснений. Тщетно Сольмс внушал ему: «Не позволяйте полякам пугать себя; поверьте, что, не показавши им зубов, нельзя ничего достигнуть». Панин стоял на своем. Наконец Екатерина писала сама Фридриху; и Мариенвердерская таможня была приостановлена до окончания всего дела о пошлинах. Станислав-Август писал по этому поводу императрице (19 июня): «Приостановка Мариенвердерской таможни доказывает истинную дружбу вашего императорского величества ко мне и в то же время сильное влияние вашей воли на короля прусского. Мне было ужасно думать, что несчастье, неизвестное Польше во времена моих предшественников, постигло ее в мое царствование и со стороны государя, который рекомендовал меня нации для выбора в короли; в

народе уже начали говорить, что эти таможи были вознаграждением за помощь, которую я получил от прусского короля при моем избрании».

Исполняя приказание императрицы сдерживать польского короля, направлять его на истинный путь, Панин писал Репнину от 20 июля: «Все ваши, мой любезный друг, письма я по порядку получаю с совершенным удовольствием, как равным образом они, конечно, и в высшем месте принимаются. Поверьте без ласкательства, которое у меня к вам места иметь не может, что поведение и дела ваши сполна разумны и достаточны, сколько токмо желать возможно; продолжай, мой друг, оные по тем же правилам, пока получите новые активные наставления, которые точно определить я удерживаюсь еще в ожидании окончательной решимости турецкого двора. Я нужды не имею вам экспликовать моего о том рассуждения: вы, несумненно, сами оное себе представите, что как бы мы ни оставались надежны о турецком спокойствии и недействии, однако ж при нерешенном деле неприятелям нашим всегда останется больше способности там тревожить наши дела, а особливо по причине, когда начнем прямые негоциации новых обязательств в вашем месте, чем может еще нерешимость турецкая продолжиться и произвести общие для нас новые заботы. Другое б было дело, если б у вас сначала лучше познали свой существительный интерес и тогда б вдруг решились в сделанных от нас представлениях для политической системы. Можно по сему с надежностью сказать, чтоб тем подлинно себя избавили последующих ныне многих неприятностей, которые теперь при самовольно сделанных себе предубеждениях столь часто смущают и тревожат, а венской бы двор не водил так, как нынче, по неизвестной дороге, но давно б уже прямо и для себя одного искал возобновления непосредственной корреспонденции. Когда я уже столько вошел в рассуждение, то не оставляю в молчании и ваше разумное примечание о скрытной политике тех людей, которые хотят содержать в своей зависимости его польское величество, отвращая его всякими ухватками от определенной политической системы. Сие подлинно ощутительно, и нельзя думать, чтоб столь просвещенный государь, как король польский, наконец сам оного не почувствовал: тогда равно он и признает, что в десять месяцев никто и ничему совершенного блаженства не достигает, следовательно, достигая оного, возможного лишаться не будет, как потом и прусского короля приязнь себе и своей республике увечно (?) поставлять не станет и по тому одному, что сей государь уже последние дни доживает, в которые ему совершенно не достанет возможности все то исполнить, что его видам приписано быть может; преемники же его, не получа его духа, не будут иметь и сил его в производстве».

Очень рано начали хоронить Фридриха II. Он после того прожил двадцать лет и успел значительно изменить карту Европы. Но Панину надобно было чем-нибудь успокоить раздражение Станислава-Августа, ибо раздражение было вполне законное. От 19 сентября Репнин писал Панину, что польское таможенное устройство оказалось вовсе не во вред подданным короля прусского, а скорее выгодно. Барон Гольц, присланный Фридрихом II в Варшаву для конференции с польским министерством по таможенному делу, признался Репнину, что и он видит только выгоды для прусских купцов и если бы он был от них послан, то, конечно, согласился бы на польские представления и уверен, что прусские купцы были бы ему благодарны; но, будучи посланником короля, а не подданных, должен предпочитать личные королевские интересы, повинуясь в точности

повелениям его величества. «Из этого изволите видеть, – писал Репнин, – что не самое дело в сущности своей вредно прусскому королю и противно трактату и привязку только делают, выставляя предлог, для чего заранее взаимно не согласились». Екатерина, прочтя это письмо, написала на нем: «Il a done une autre gloire quele bien de ses sujets, ce sont de ses singularite qui ne saurait etre comprehensible pour ma caboche» (Стало быть, для прусского короля есть другая слава, кроме блага его подданных: это такие странности, которые не вмещаются в моей голове). По словам английского посланника в Петербурге Макартнея, поведение прусского короля в мариенвердерском деле значительно подорвало расположение к нему петербургского двора. Бенуа должен был предложить польскому королю пенсию в 150000 талеров с условием, чтоб он помогал Пруссии в таможенном деле. В Петербурге Фридрих II хотел достигнуть своей цели раздачею денег и уполномочил графа Сольмса употребить на это от 50 до 60000 рублей; императрица обо всем этом узнала.

Решение таможенного дела между Польшею и Пруссиею откладывалось до чрезвычайного сейма; на том же сейме должно было решиться и страшное диссидентское дело. 15 июля приехал в Варшаву Георгий Кониский и на другой же день представлен был королю, который, выслушав его речь и приняв челобитную, прочел ее, несмотря на то что была длинная, и обещал удовлетворение во всем том, на что православные имеют права и привилегии, только велел подождать приезда в Варшаву вице-канцлера литовского Пршедецкого. Вице-канцлер приехал и велел Конискому переделать челобитную на две: в одной должно было заключаться исчисление обид, причиненных православным внутри Могилевской экономии, а в другой – исчисление обид вне этой экономии; первую велел подать в Камеру королевскую, вторую – канцлерам коронным и ему, вице-канцлеру литовскому. Кониский исполнил все это. «С тех пор, – доносил он Синоду, – как начали водить, так и поныне водят. Расписали к некоторым в челобитной моей показанным обидчикам, чтоб прислали ответы на мои жалобы; узнав об этом от господ министров, я представлял им, что мне таким собиранием ответов новая причиняется обида, потому что и не ко всем обидчикам за такими ответами послано, да и посылать ко всем невозможное дело, потому что большая их часть уже на суд Божий позваны, и я с таких никакой сатисфакции не прошу, только возвращения отнятого или только чтоб впредь подобные обиды делать запрещено; да и которые обидчики в живых остались и пришлют ответы, то с их ответов не доведется никакой чинить резолюции, понеже сами себя виновными не признают, а в чем ложно извиняться захотят, я готов всегда опровергать, и, таким образом, собиранию ответов да доказательств конца не будет, и как им, обидчикам, таковая ответов и доказательств из домов своих без малейших убытков присылка очень понаровочна, так мне ожидать оных ответов здесь, в Варшаве, и большие убытки нести весьма тяжело и несносно, и что на остаток из моих жалоб некоторые суть таковые, которые по рассмотрении документов письменных никакому исследованию не подлежат. Таковое, однако, мое представление места у них, господ министров, не получило, еще учинили меня богатым: ты-де богат, можешь здесь проживать, а ответную сторону волочить сюда по скудости их не доводится».

Таким образом, поляки сами вызывали со стороны России решительные меры. «Сейм чрезвычайный, – писал Репнин от 21 сентября, – конечно, нужен как

для решения наших дел, так и для разбора таможенного дела. Но надобно предварительно согласиться в этих делах. наших два дела надобно будет решить на сейме: дело диссидентское и пункты нового союзного трактата. О диссидентском деле я того мнения, что вдруг его на одном сейме всего сделать будет нельзя, а надобно по последней мере на два разделить; для верности же, что чистосердечно будут поступать, думаю, надобно заранее составить план и заключить формальную тайную конвенцию с здешним двором поступать в диссидентском деле согласно с обеих сторон для достижения желаемого конца. Король мне клялся, что все на свете сделает, что только ему будет возможно, согласился и на составление заранее плана, только с оговоркою, что за точное исполнение отвечать не может, а обяжется в одном, что употребит всевозможное старание к достижению желаемого успеха. Король прибавил, что в диссидентском деле готовится ко всяким непристойным своевольствам и к обнажению сабель даже в самом Сенате, которой наглости еще никогда не бывало и которая, конечно, будет очень оскорбительна его достоинству, мало того, опасности и настоящей междоусобной войны, и на все это отваживается в доказательство преданности к императрице, но требует, чтоб в таких критических обстоятельствах не был оставлен и был бы достаточно подкреплён как деньгами, так и войском».

Панин в конце сентября объявил польскому поверенному в делах Псарскому, писал и Репнину, что относительно диссидентов намерение императрицы непременно, что она не только сама собою, но и по соглашению со всеми протестантскими державами будет действовать до тех пор, пока диссиденты придут в законное положение по правам и справедливости; что ее величество в своем намерении, конечно, не уступит произволу некоторых людей, но, зная вполне просвещенные мнения короля польского, нимало не сомневается, что этот государь употребит все зависящие от него средства к совершению такого похвального и для него самого полезного дела, не обращая внимания на пристрастные и фанатические советы, которые ему самому со временем много хлопот наделают. В опасениях короля насчет трудности диссидентского дела Панин видел внушения Чарторийских; их же внушениям приписывал он и заискивания польского двора у Франции, решение отправить туда посланника. Панин писал Репнину: «Королю и людям, искренне к нему привязанным, время подумать серьезно об утверждении безопасности и силы собственного положения, которое может быть основано единственно на связи его с нашими интересами по желаниям ее императорского величества; все же посторонние тонкости более вредны, чем полезны. Я, имев такое участие в его возвышении и по этому одному искренне желая его благосостояния, не могу без сильного сожаления видеть, как поспешные и по мелким видам партии составленные резолюции двора его час от часу причиняют большее охлаждение и вводят в новые хлопоты. Может ли его величество себе представить, чтоб такое явное предпочтение к державе, которая, будучи так отдалена границами, не имеет никакого побуждения вмешиваться в польские дела, кроме желания приобрести влияние интригами и подкупами, чтоб явное предпочтение, оказываемое такой державе, не могло не тронуть другие державы, ведущие себя иначе при избрании его величества? Пусть Англия, Швеция, Дания не помогали этому избранию, но они и не действовали против него и возведение на престол Станислава-Августа

признали самым дружественным образом; притом же и собственный интерес побуждает их содействовать внутреннему и внешнему спокойствию Польской республики и всего Севера. Напротив того, Франция желает больше всего несогласий и смут на Севере; тесная связь с Франциею никогда не спасала и впредь не может спасти Польшу от хлопот с соседями, а пребывание в Польше французский посланников усилит эти хлопоты и произведет холодность. Относительно самого себя король польский, зная хитрость и высокомерие французской политики, должен быть убежден, что Франция никогда не забудет случившегося с Станиславом Лещинским и что не только она, но и австрийский дом не простят России избрание Станислава-Августа и, конечно, всегда будут стараться поправить дело посредством саксонского двора. Для сохранения собственной репутации я желал бы быть ложным пророком; но, к сожалению, ничего твердого и спокойного предвидеть не могу, если поведение в вашем месте не переменится; надобны не слова, а дела, без чего мы можем нечувствительно отойти от тех наших политических расположений, которыми мы руководствовались при старании о возведении на престол Станислава-Августа, и остаться с Польшею в отношениях, какие были в прежнее время.

Получив от Панина это письмо, Репнин тотчас же сообщил его содержание графу Ржевускому, который по возвращении из Петербурга жил в Варшаве; тот отвечал, что действительно решение отправить во Францию министра принято слишком поспешно, и вместе уверял в искренней преданности короля императрице и в отсутствии всякого поползновения разделить польскую политику от русской; поспешность же относительно посылки министра во Францию объяснял тщеславным желанием короля быть поскорее от всех признанным. Поговоря с Репниным, Ржевуский тотчас же поехал к королю сообщить ему о письме Панина. Следствием было то, что король прислал за Репниным, которого встретил не со слезами только, но с рыданием и совершенным сокрушением о том, что в Петербурге усумнились в его искренности и совершенной преданности. «Я, – говорил он, – теряю более, чем жизнь и корону, когда лишаясь дружбы и доверия императрицы; выходит, что ее императорское величество никогда меня не знала, если сомневается в моем прямодуший». «Из этого разговора я, между прочим, ясно видел, – писал Репнин, – что короля вовлек в этот поступок брат его, генерал австрийской службы Понятовский; этот генерал думает, что и в раю не так хорошо, как в австрийской армии; он убедил короля тайком, без объяснения со мною обещать министра во Францию, боясь, что если король предварительно стал бы говорить со мною, то я не согласился бы. Я не могу себе представить, чтоб раскаяние короля было притворно, ибо такой горести, слез и сокрушения я мало видывал». Действительно, сам король после признался Репнину, что все наделал брат его, генерал, которому он приказал предварительно объявить обо всем Репнину, тогда как генерал сделал это объявление не предварительно, а после того, как уже дано было обещание отправить во Францию министра. Но мы видели из письма короля к Жоффрэн, как хотелось ему завести дипломатические сношения с французским двором. Переписка по этому же предмету продолжалась и в 1765 году. Известный Бретейль изъявлял желание быть посланником в Варшаве по старой дружбе с новым польским королем. Станислав-Август писал ему, что и он желает его видеть французским министром в Варшаве, если французский двор даст ему инструкцию действовать по-новому, а не по-старому.

«Я вас спрашиваю, – писал король, – хотите ли вредить вашему старому и доброму другу, внушая моим подданным: *берегитесь вашего короля, у него дурные замыслы*; тогда как французскому министру всего легче и естественнее держать полякам такую речь: «Франция постоянно твердила, что желает добра и возвышения Польше, ибо это было бы полезно и для самой Франции. Теперь у вас король, который старается об удовлетворении этому желанию: так я, француз, увещаю вас ревностно помогать вашему королю. Я могу этому содействовать с своей стороны, ибо мы желаем, чтоб вы стали народом, имеющим значение (*line nation figurante*)». Одним словом, Станислав-Август хотел, чтоб Франция содействовала его преобразовательным планам.

Но осуществление этих планов скоро начало представляться королю соединенным с величайшими трудностями, и не внешними только. В начале марта он уже жаловался своей маменьке Жоффрэн: «Трудность натурализации иностранцев, презрение к простому народу и его угнетение и католическая нетерпимость – вот три самых сильных национальных предрассудка, с которыми я должен бороться в поляках. Они в сущности народ добрый, но воспитание и невежество делают их страшно упрямыми насчет означенных пунктов, и для излечения их от этих предрассудков надобно идти тихо». В том же письме король жалуется маменьке на французскую политику: «Вы играете в мяч с Австриею. Она говорит, что вы препятствуете ей признать меня королем, а вы говорите, что препятствия этому родятся в Вене, и вместе путаете головы этим бедным туркам, которым внушают панический страх пред каким-то бедствием, долженствующим постигнуть их из Польши. Не прогневайтесь, ваша политика бредит, а моя дожидается».

Потом опять жалобы на свое положение. По поводу намеряемого приезда Жоффрэн в Варшаву Станислав-Август писал ей: «Вы найдете своего сына очень занятым (и это еще не беда), но вы найдете его почти всегда печально занятым составлением планов, в осуществлении которых нет успеха. Постоянные препятствия или от предрассудков, или от злонамеренности внутри и вне; захочу сделать что-нибудь хорошее – не могу по недостатку власти, как государь, ограниченный завистливою свободою, и как вождь народа безоружного. Петр I гранил большой дикий алмаз, но он был господин и алмаза, и орудий, которыми он производил гранение. Присоедините к тому темперамент меланхолический и чрезвычайно чувствительный и судите, каков я должен быть, особенно когда могущественный сосед дает мне чувствовать, что он затем только помог мне достигнуть престола, чтоб отнять у меня всякую возможность противиться его самым оскорбительным обидам».

А тут еще Репнин внушает Станиславу-Августу, чтоб он женился на дочери португальского короля. Этого требовал Панин, потому что брак был выгоден для северной системы: португальский двор связан с Англиею и его влияние никогда не будет вредить союзу Польши с Россиею и со всем Севером.

А тут еще приятные отношения к родственникам, вроде следующего: король имел крайнюю нужду в деньгах и нашел было случай занять их, но воевода русский с своею дочерью, княгинею Любомирскою, узнав об этом, помешал займу, убедив заимодавцев, что королю верить нельзя. Король был этим очень раздосадован, но, имея крайнюю нужду в деньгах, уже решился было заискать в дядюшке. Тут Репнин, не желая, чтоб он входил в зависимость от дяди, предложил

ему займы 20000 червонных, взявши с него расписку, копию с которой отослал в Петербург.

Между тем таможенное дело все тянулось. Фридрих II соглашался уничтожить Мариенвердерскую таможню только в таком случае, если Польша отменит свой новый таможенный устав, как составленный без согласия прусского короля. В Петербурге решили, что надобно на это согласиться, и Репнин объявил об этом решении королю. Станислав-Август отвечал, что это нанесет ему большой ущерб, и распространился о несправедливости прусского короля, от которого теперь надобно будет опасаться; что он постоянно без всякого права будет вмешиваться во все польские дела и всему препятствовать, а Россия никогда не захочет вступить за Польшу и «защитить свое бедное творение, оставляя его в горести и порабощении». Эти последние слова он сказал растроганным голосом и почти со слезами.

Станислав-Август тем более должен был досадовать на холодность французского и австрийского дворов, что от них скорее всего мог ожидать поддержки против насилий Фридриха II; но даже если бы эта холодность исчезла, то это только запутывало его отношения к России, заставляло его прибегать к бесполезному двоедущию, ибо неприязненные отношения между этими дворами и петербургским усиливались все более и более. 26 февраля князь Дмитрий Михайлович Голицын доносил императрице, что дело Любского коадьюторства решено в имперском совете в пользу датского двора, причем главным побуждением служило то, чтоб предупредить взаимное соглашение по этому делу между Россиею и Даниею и таким образом сохранить достоинство римского императорского двора. Панин заметил: «Не предупредить, а думали сделать шикан и в затруднение привести нашу негоциацию (с Даниею), но и в том и в другом опоздали».

Вследствие известных прошлогодних сообщений из Англии императрица не хотела иметь более Беранже французским поверенным в делах при своем дворе. Беранже был отозван по требованию русского двора, и на его место приехал в качестве полномочного министра маркиз Боссэ.

Главным союзником Австрии и Франции в Константинополе был крымский хан Крым-Гирей. В апреле ему удалось сильно раздражить султана против России, и австрийский интернунций Пенклер, узнав об этом раздражении, тотчас предложил возобновление Белградского договора между Австриею и Турциею. Получив это известие от Обрезкова, Панин заметил: «В поступке учиненного предложения самому султану с венской стороны о возобновлении трактата в самое то время, когда султан наисильнейше развращен противу нас, ощутительно кроется намерение венского двора, чтоб показанием желанья и нового искания вступить в мирные обязательства, наипаче ободрить Порту ко всяким противу нас предприятиям яко в такое время, в которое возобновлением того трактата мы лишимся совсем надежды получить аустрийскую помощь». Обрезков писал, что австрийский интернунций с французским послом употребляют всевозможные средства для раздражения султана против России и, зная по прежнему союзу с ними и откровенности русского министра, какие каналы он употребляет для получения сведений о намерениях Порты, стали теперь открывать последней эти каналы. Панин написал на донесении Обрезкова: «Такой поступок во всем свете почитается сущою изменою. Обрезков довольно наставлен, а после такого уже

поведения ему не останется нужды ни в каком уважении, следовательно, можно думать, что он употребит все возможное к обращению тучи на австрийский дом с воспользованием для нас навигации на Черном море. Ваше величество всегда будете в состоянии удержать от той игры короля прусского, турки ж одни более не сделают вреда австрийцам, как только несколько посломают их гордость и сделают им вперед нашу дружбу драгоценнее французской и всякой другой».

Обрезкову был послан такой рескрипт: «Из последней вашей реляции мы усматриваем, сколько венский двор, жертвуя более и более своими непоколебимыми интересами интересу настоящего своего ослепленного соединения с Франциею и ничем не обузданному своему желанию возвращения потерянной Шлезии с распространением своего владычества между германскими штатами, наконец в вашем месте сымает маску и не употребляет уже более никакого уважения в приведении Порты к разрыву с нами, ибо невозможно основательно приписать тому двору никакого другого вида или намерения в учиненном от него при настоящем смятении дел султану предложении о возобновлении с ним известного трактата, как чтоб выгоднейшим и скорейшим оного одержанием наипаче ободрить и возбудить Порту к неприятельским против империи нашей предприятиям, к тому же вероломное и переданническое поведение того двора министра открытием оной (Порте) прежних ваших средств и каналов (известных ему) для тогдашних с ним общих интересов не оставляет нам ничего более, как единое для пользы и успеха наше собственное уважение, и потому мы положили чрез сие вам точно предписать нашу императорскую волю и повеление, по которым вы имеете с дознанным нами вашим искусством и благоразумием употребить всевозможные способы и все ваши силы, чтоб натягаемую австрийским домом тучу обратить на него самого по настоящему между нами и его прусским величеством тесному союзу. Мы будем всегда иметь способы сего государя удержать от чрезмерного уже тогда обременения войною с его стороны венского двора; турки же одни, конечно не много оному принесут действительного ущерба, но рог его гордости и высокомерия, чаятельно, довольно посломают. Вы Порте представлять можете выгоды ее собственной политики, когда мы разделяемся в делах с австрийским домом яко с такою державою, которая по положению своих областей всегда имеет взаимное Портою междоусобные интересы и виды важнейшие и непримирительнейшие, а напротив того, для твердейшего сохранения общей тишины мы составляем нашу политическую систему с берлинским двором и с Польскою республикою, которую как мы по собственному нашему натуральному интересу не можем допустить сделать себя активной, каков есть в публичных делах австрийский дом, так и она сама в рассуждении своей внутренней конституции не в состоянии того достигнуть; отдаленная же от турецких границ, Прусская держава не должна иметь нималого места между уважаемыми штатскими резонами Порты Оттоманской относительно к нашему союзу с нею, ибо оный непосредственно до Порты касаться не может, а ненавистники наши, и особливо венский двор, напрасно ищут представлять Порте мечтательную опасность (проистекающую) от того союза (для) польской независимости, потому что тем самым мы ее уже действительно освободили из чужестранных рук и возвратили ей истинную ее вольность и независимость; да пускай и так бы было, чтоб нашим с прусским королем союзом содержима Польша была в некоторых границах ее политических

видов: так и сие Порте предосуждения приносить не может. К обращению настоящего в султана заражения к войне против венского двора вы ныне можете особливо воспользоваться окончанием срока Белградского мирного трактата; а если султан войны желает, то, конечно, справедливее и полезнее оную предпринять противу австрийского дома, нежели противу России: справедливее, потому что, будучи мирные обязательства окончены, тут уже нет вероломства; полезнее, потому что с той только стороны могут найтись действительные предметы завоевания. И Противу же чего в рассуждении России им надобно будет разорвать с нами торжественно постановленный вечный мир, который во всех своих статьях с нашей стороны свято хранится, да и сие учинить без всякой рассудительной надежды какого-либо прочного и полезного себе приобретения».

Но в то время как принимались такие меры против венского двора в надежде на тесный союз с его прусским величеством, в секретнейшем донесении от 16 мая Обрезков дал знать, что приятели его секретарские подьячие рейс-еффенди сообщили о получении Портою какого-то известия относительно дворов русского и прусского, которое приводит ее в раздражение и затруднение. Оказалось, что прусский посланник Рексин предложил Порте заключить с Пруссией оборонительный союз против венского двора, прибавив, что так как дружба между Россией и Пруссией теперь самая сильная и кредит прусского короля при петербургском дворе превосходит всякое вероятие, то заключение предлагаемого союза не только будет приятно петербургскому двору, но и даст возможность прусскому королю доставить Порте разные удобства со стороны России; если же Порта уклонится и теперь от союза, который предлагается уже в последний раз, то, быть может, увидит удивительные следствия своего упорства. Порта приняла последние выражения за явные угрозы и, не признавая возможным по географическому положению, чтоб Пруссия могла нанести ей вред, сочла, что прусский король хочет употребить Россию орудием этого вреда, и пришла в сильное раздражение, особенно сам султан. Рейс-еффенди сказал Обрезкову: «Не жалуйтесь на противников, потому что мнимые ваши друзья больше вам вредят». Тут Панин заметил: «Ни по какому резону нельзя теперь думать, чтоб король прусский рассудил нам злодействовать, следовательно, служить венскому двору». Но в следующем донесении Обрезков уведомил о письменном сообщении Рексина Порте, что Россия многие старинные польские уставы совершенно ниспровергла, а иные изменила, так что теперь вольность республики подвержена неминуемой опасности; что Россия хотела было уничтожить и *liberum veto* и это непременно бы исполнилось, если бы не помешал тому король прусский; на этот раз ему удалось отратить такую опасность, грозящую одинаково и Пруссии, и Турции, ибо с уничтожением *liberum veto* король польский стал бы самовластным, но прусский король не может знать, будет ли так счастлив на будущее время, зная, что намерение России не оставлено вовсе, а только отложено до удобнейшего времени, почему Фридрих II вынужден беспрестанно за этим смотреть, тогда как заключение прусско-турецкого союза уничтожило бы разом все эти опасности. Обрезков писал: «Так как устремление противников всеобщее, особенно же новые злостные подвиги (Рексина) чрезвычайные, то нельзя еще с точностью предсказать, получим ли мы хотя малое от нынешней заботы отдохновение». На это Панин заметил: «К сему времени Рексин уже, конечно, обуздан будет

получением новых согласных инструкций касательно до оборота турок против венского двора».

Императрица, считая ниже своего достоинства входить непосредственно в объяснения с Фридрихом II по поводу «столь поносного дела», как выражался Панин, поручила последнему привести это дело в такое состояние, чтоб истина была совершенно открыта, а королю не оставалось бы ничего другого, как или признать поступки своего министра изменническими, или явно остаться в числе людей неверных и каверзных. Когда Панин обратился к графу Сольмсу за объяснением, тот в ответ прочел ему собственноручное письмо Фридриха II, где говорилось, что его прусское величество от времени заключения с Россией союза не только не искал и впредь искать не намерен турецкого союза, но и ни с какою другою державою ни в какие переговоры не вступит, не давши знать о том предварительно русскому двору. Король думает, говорилось в письме, что основанием подозрения относительно турецких дел могла послужить прошлогодняя посылка от него одного майора в Константинополь единственно с целью уяснить поведение Рексина, подавшего некоторый повод к сомнению. Пришло второе, более подробное донесение Обрезкова; Панин снова обратился к Сольмсу, и тот не нашелся ничего ответить. «Ваше превосходительство из того сами довольно усмотрите, – писал Панин Обрезкову, – какого поступка от короля прусского в вашем месте ожидать должно к опровержению того, что его министр учинил, если он захочет остаться прав и без алтерации сохранить настоящую свою с нами систему». Даже в том случае, по мнению Панина, если Рексин по безрассудной ревности и раздул дело, другого заключения о политике прусского короля вывести нельзя, как то, что он колеблется между Россией и другими державами относительно своей безопасности и настоящих выгод. Обрезков отвечал Панину присылкою новых документов, именно проекта вечного оборонительного союза между Портою и Пруссиею (состоявшего из одиннадцати статей, причем Россия не исключалась: союз заключался против всех христианских и соседних с Портою и с Пруссиею держав), и потом присылкою представления, поданного Рексиным Порте в ноябре 1764 года о неотлагательном заключении этого союза. В этом представлении были прибавлены еще две статьи: 1) Если между Портою и русским двором произойдет какое-нибудь неудовольствие, то король должен употреблять добрые услуги и посредничество наилучшим образом и стараться всеми средствами предупредить и отвратить могущие произойти от этого дурные последствия. 2) Король обещает, что от избрания настоящего польского короля Порте никакого вреда не будет. «По моему слабому рассуждению и предвидению, – писал Обрезков, – мне кажется, что нет той жертвы, какой бы прусский король не принес для приобретения турецкого союза». Панин заметил относительно присланных Обрезковым документов: «Собрав между собою все сии обстоятельства, без ошибки можно заключить подтверждение прежним нашим гаданиям, что король прусский, воспользуясь избранием польским, хотел для обнадежения своей системы против аустрийского дома схватить турецкую альянцию; что его прибавочные два артикула представлены, с одной стороны, для большего аккредитования у Порты его с нами союза, а с другой – чтоб тем же самым несколько ослабить свои обязательства с турками в рассуждении нас, если б какие между нами и ими произошли замешательства вследствие польского избрания, чего, может быть, он тогда и

опасался еще, и что Рексин ко всему оному прибавил свою собственную неумеренную ревность, от которой происшедшие внушения увеличивались по мере сообщения оных от ушей к ушам».

В сентябре Сольмс передал Панину экстракт из депеши к нему короля. В экстракте говорилось, что его прусское величество приведен был в крайнее изумление известием о поступках своего министра в Константинополе: что они ему были совершенно неизвестны и в Рексиновых депешах нет ни малейшего тому следа, хотя король, будучи недоволен поведением Рексина, посылал в Константинополь нарочного для его освидетельствования, особливо по причине его плохой экономии в деньгах, однако и тут не дошло до его величества ничего, что бы относилось к настоящему обвинению Рексина; несмотря на то, его величество думает, что известия о поступках Рексина не могут быть совершенно лишены основания, и потому поручает графу Сольмсу объявить Панину, что он крайне раздражен против Рексина и думает, что всего лучше отозвать его из Константинополя; Рексин будет призван в Берлин, и поведение его будет исследовано со всею строгостию, и если он действительно окажется виновен в подлых и злостных внушениях против России, то понесет должное за это наказание; что король пошлет в Константинополь другого министра, чтоб вывести Порту из заблуждения; он, король, причиною, побудившею Рексина на такие поступки, считает дурное и распущенное хозяйство; вероятно, он прельстился на деньги и допустил подкупить себя какой-нибудь из недоброжелательных держав. Сообщая об этом Обрезкову, Панин просил его обходиться осторожно и с новым прусским министром, впрочем, полагался совершенно на благоразумие Обрезкова; вообще же взгляд его на это дело состоял в том, что хотя король прусский и мог дать повод Рексину распространить интриги, противные союзу между Россией и Пруссией, какими-нибудь повелениями, касающимися проволоочки неопределенных отношений между Турциею и Польшею, медленности в признании королем Станислава-Августа, однако из уверений Фридриха II и из его решения отозвать и предать Рексина суду можно заключить, что последний далеко зашел за пределы королевских наставлений и что король прусский по той или другой причине сильно почувствовал затруднительность своего положения и, чтоб выйти из него, снова обязался поддерживать при Порте русские интересы, и отступить скоро от них будет для него уже труднее. Затруднительное положение Фридриха увеличилось еще тем, что Панин прочел Сольмсу копию с письма английского посла в Константинополе Гренвиля к английскому же министру в Петербурге Макартнею; в письме сообщалось о тех же поступках Рексина против России с прямым указанием, что нерешительность и беспокойство Порты по делам польским происходят более от внушений Рексина, чем от министров неприязненных России дворов.

На юге, в Турции, трудно было отличить поведение союзника от поведения врагов; на севере, в Швеции, борьба была более открытая. В январе Остерман извещал, что, несмотря на все интриги и денежные издержки французской партии, ландмаршалом выбран патриот полковник Рудбек; благонамеренные не жалели никакого труда при достижении этой цели и ревностно следовали советам Остермана. «Правда, – писал Остерман, – что мною и английским министром издержана немалая сумма денег; зато с 1738 года никогда не было такого благополучного сейма, ибо все четыре оратора выбраны из числа

благонамеренных». Но Остерман сообщал и неприятное известие: королева старалась поместить в Секретную комиссию шесть знатных членов французской партии. Напрасно прусский министр Кокцей представлял ей, как это вредит общему делу; она отвечала, что если в этом случае не будет исполнено ее желание, то она удалится в Дротнинггольм, и прибавила: «Очень жаль, что мои мысли никогда не сходятся с братними, и удивляюсь, как это другие державы хотят лучше моего знать, на кого из здешних людей полагаться; очень естественно, что я должна вступаться в дело, которое так близко касается моего дома». «Какие-нибудь да есть тайные обольщения французского двора, – писал Остерман. – Королева, конечно, льстится посредством французского двора получить больше власти, чем посредством в. и. в-ства. Опасность состоит в том, что если королева будет продолжать оказывать такую же холодность к благонамеренным и предпочтение членам французской партии (как, например, на другой день избрания ландмаршала посадила его к игре младшего принца Карла, а к себе взяла членов французской и придворной партии), то это может воспрепятствовать благонамеренным содействовать вашему намерению в пользу королевскую».

На основании донесений Остермана Панин написал для императрицы свое мнение: «По-видимому, их шведские величества не престанут предпочитать разумному удовольствию свои беспредельные желания. Ваше в-ство, конечно, уже свято исполнили, что долг дружбы и свойство требовать мог, следовательно, по всем существительным резонам никто более зазреть не может, когда соизволите указать их оставить их собственным интригам и жребию, а напротив того, постановить дела благонамеренной партии на таком основании, чтоб без дворовой зависимости с единым вашим подкреплением она оставалась в поверхности, к исполнению чего уже немного лишнего труда надобно, тем наипаче, что можно королю оставить всегда отворенную дверь с нею соединиться». Императрица подписала: «Быть по сему».

Секретная комиссия составила с большинством благонамеренных. «Теперь, – писал Остерман, – от в. и. в-ства зависит благополучное начало к счастливому окончанию привести и заставить шведский народ вечно прославлять ваше имя. Это исполнится, если не помешают внезапные приключения, а именно если, пример, Франция сильнейшим подкупом даст королю возможность нечаянно захватить самодержавие, разрушить сейм, привести партию благонамеренных в смятение или несогласие и. произвести холодность в дружбе между в. в-ством и королем с королевою, ибо в этом состоит и будет состоять главная цель французской шайки». Панин заметил при этом: «Разумно предусматривает, но трудности велики; а если бы вопреки всех их отважились, то крайние с нашей стороны средства к помешательству могут быть столь велики, что и одним таким разом вся северная система решится».

Остерман доносил, что он издержал по сие время 802326 талеров медною монетою и в остатке у него только 665358 талеров медною монетою. Панин заметил: «Поистине сумма весьма невелика и сочиняет с небольшим 30000 рублей, теперь к оставшим вдобавок еще переведено 70000 рублей». Английский министр Гудрик издержал 360000 талеров медною монетою.

Прусский министр барон Кокцей не истратил ни одного талера, но, по-видимому, сильно поддерживал Остермана. В феврале он сообщил последнему,

что получил похвалу от своего короля за его внушение шведской королеве, как было бы несогласно с общими и с ее собственными интересами помещение в Секретную комиссию французских партизанов; Кокцей сообщил также, что Фридрих II велел ему поддерживать во всем Остермана. Касательно ответа королевы, что если французские сторонники не попадут в Секретную комиссию, то она удалится в Дротнинггольм, Фридрих II писал, что в том большой беды не будет, если королева и действительно уедет из Стокгольма. «Такое рассуждение и здесь слышится, – писал Остерман. – Но если принять во внимание нрав королевы, то она и там тихо себя вести не станет, но под покровом непринятия участия в делах еще более будет иметь средств чрез своих приверженцев интриговать на сейме и скрытно препятствовать операциям благонамеренных. Узнав, что при дворе действительно принимается намерение уехать в Ульрихсдаль под предлогом препровождения там Великого поста и приготовления второго принца, Карла, к причастию, я просил кого следует отсоветовать их величествам это делать. Намерение это принимается только для того, чтоб показать пред публикою свое явное неудовольствие на действия благонамеренной партии».

Поездка в Ульрихсдаль состоялась, и Екатерина писала по этому случаю Панину: «Остерман может чрез третье лицо внушить королю и королеве, что я узнала о бесполезности моих советов, что безрассудная поездка их в Ульрихсдаль огорчила меня еще более, и что он, Остерман, получил приказание не делать более бесполезных или компрометирующих попыток, и, если моя искренняя дружба и мои советы, столь важные для истинных интересов короля, не выслушиваются более, я не стану вмешиваться в их дела. Если вы это не одобряете, то раздерите записку». Панин не разодрал записки.

В начале мая Остерман принужден был писать императрице: «Как бы я ни желал уведомить о перемене дворовых поступков к лучшему, но, по несчастию, не в состоянии этого исполнить, напротив, должен донести, что, чем больше обнаруживается затруднительное положение французских сторонников, чем более имеют они побуждений бояться наказания, тем более король и королева стараются их защищать. Такое королевское снисхождение к французским сторонникам, естественно, не может привлекать сердца благонамеренных». Так, сенатор граф Левенгельм представил Сенату при закрытых дверях настоящее критическое положение дел, именно что король вопреки желанию сейма защищает виновных людей и оказывает свое неудовольствие на меры, принимаемые сеймом, и это тем более удивительно, что на этом сейме помышляемо было определить правительственную форму к удовольствию короля. Из такого поведения королевского можно вывести одно, что его величество желает чего-нибудь больше того, что государственные чины ему дать намерены; а так как Сенат никак не может согласиться на восстановление самодержавия, то нечего больше делать, как, оставя короля в покое, соединиться с нациею и привести конституцию в надлежащие пределы ввиду будущей безопасности для народной свободы. По этому поводу один из благонамеренных сенаторов имел продолжительный разговор с королем, стараясь внушить ему о необходимости переменить поведение. Король отвечал, что удивляется, как можно думать, что он ведет себя двулично, тогда как он постоянно держится одних и тех же взглядов. Остерман не хотел входить сам в объяснение с королем, дожидаясь, пока французской партии нанесен будет сильный удар открытием на сейме злоупотреблений членом

этой партии и исключением их вследствие этого из Сената. «Без сомнения, – писал Остерман, – французская партия употребит все средства к своему спасению; но все ее усилия останутся тщетными, если только мне можно будет удержать в согласии членов русской партии, где многие заражены корыстолюбием, другие – неумеренным честолюбием, третьи из безрассудного тщеславия стараются порочить поступки вождей партии; а французская партия пользуется всем этим, чтоб произвести между ними междоусобную вражду и преимущественно поссорить друг с другом государственные чины».

Несмотря, однако, на такое невыгодное представление партии колпаков, или благонамеренных, вожди партии, пользуясь своею поверхностью, начали действовать тем же оружием, каким действовали до сих пор враги их против них, именно исключать враждебных им людей из Сената. Королева и король стали употреблять все средства, чтоб защитить гонимых. Королева на вечере во дворце после комедии, перед ужином, зазвала к себе в кабинет жену ландмаршала и более полутора часа улещала ее подействовать на мужа, чтоб он не старался об исключении из Сената членов французской партии. Жена ландмаршала отвечала, что муж ее не в состоянии ничего сделать, так как это зависит от целой партии. После долгих споров королева наконец изъявила желание узнать, у кого в руках деньги, у ее мужа или у русского посланника, говоря, что она, королева, выпросила у русской императрицы подкрепление для партии колпаков и потому удивляется, что ландмаршал с своими приятелями так плохо повинуется королевскому желанию. Жена ландмаршала отвечала, что муж ее не имеет никаких денег для подкупа.

Сенаторы граф Экеблат и барон Шефер подали в отставку. Король с насмешкою спросил у ландмаршала, сколько еще сенаторов он намерен низвергнуть. Ландмаршал отвечал, что число определить не может, все зависит от того, сколько окажется виновных. Король упрекал его в том, что он до сих пор ничего не сделал для его пользы; ландмаршал отвечал, что каждое дело требует своего времени и он надеется исполнить свое обещание, если двое возмутителей, Синклер и бургомистр Малмстейн, перестанут мешать ему во всех его намерениях.

Колпакам нужно было исключить из Сената семь членов. Для их спасения французский посол и придворная партия употребили все усилия. Произошло сильное движение, причем многие из колпаков под видом сожаления к несчастной судьбе сенаторов вдруг переменили поведение. Остермана уверяли, что французский посол истратил при этом случае 1200000 талеров купфер-мюнце, уверяя также, что и от датского двора были розданы деньги. Остерман не мог поручиться за верность этих известий, но верно было то, что раздавались табакерки, часы и за один голос заплачено было до 6000 талеров купфер-мюнце; в одном трактире именем французского посла до 400 человек всякого чина людей было угощаемо винами и ужином. Вследствие этого в дворянском чине получили перевес те голоса, которые были против исключения сенаторов, но в других чинах большинство состоялось в пользу требования исключения, причем происходил страшный шум. Французская партия начала действовать угрозами: распущены были слухи, что она намерена с помощью морского корпуса арестовать ландмаршала и других предводителей благонамеренной партии; неизвестные люди ночью напали на одного депутата мещанского и на одного крестьянского

сословия и избивали их палками. По получении от Остермана этих известий Панин написал для императрицы: «В. и. в-ство из сих депешей усмотреть изволите, сколько Бретейль, собрав все свои оставшиеся силы и ресурсы, предупредил в дворянском собрании запутать дело о исключении семи сенаторов своих креатур. Все сие, однако же, втуне останется, если наши друзья сохранят учиненное уже о том решение в трех нижних чинах, о чем, конечно, неможно иметь большого сомнения. А по последней мере дело сие может обратиться в негоциацию между партиями, как видно из письма ко мне резидента Стахиева, где уже противная партия оффрирует нашим в жертву еще двух: своего второго министра барона Гамильтона да сенатора Флеминга – для спасения прочих, тем не меньше все министерство переменено будет. Впрочем, я не думаю, чтоб вашему величеству не угодно было определение верховным министром графа Горна, который по склонности своей к покойной жизни чайтельно еще больше искать станет себе в помощники барона Дюбина, о преданности же его к нам и о честном характере сомнения быть не может. Остается смотреть, как далеко отчаянность распространится противников; но надо прежде, чтоб они себя определили на общую погибель, ибо, имев в. в-ство противу себя, им невозможно не предвидеть, что занятие Финляндии зависит от соизволения в. в-ства и что они ниоткуда супротивной помощи получить не могут, в рассуждении чего никак невозможно опасаться, чтоб они действительно поступили на какое-либо отчаянное насилие противу сеймических узаконений и национального покоя».

Четыре сенатора враждебной партии принуждены были выйти из Сената. Остерман, поздравляя императрицу с этою победою, писал, однако, что победа еще не полная, потому что надобно заместить выбывших сенаторов благонамеренными, а так как при этом надобно бороться с французскими деньгами, которые Бретейль Получает каждый почтовый день, то необходимо и ему, Остерману, получить из России по крайней мере 50000 рублей. Екатерина собственноручно написала на депеше: «Отправить без потеряния времени». Сенаторские места были замещены благонамеренными, но не теми, которых особенно желалось Остерману и вождям колпаков, именно не вошли в Сенат бароны Дюбен и Рибинг благодаря нежеланию королевскому. «Чем далее, тем больше открывается, – писал Остерман, – что, покуда совершенно не истребится внедрившийся здесь французский вредный корень, и в самом королевском поведении лучшего оборота ожидать нельзя. По всем приметам довольно видно, что питаемые Бретейлем надежды о перевершении если не на настоящем, то по крайней мере на будущем сейме всего того, что теперь сделано, служат главнейшими побуждениями к королевскому сопротивлению. Королева сама не раз отзывалась об этой надежде в разговорах своих с благонамеренными». Остерман думал, что лучшим средством для сокрушения французского влияния будет заключение Швецией субсидного договора с Англиею. Вследствие этого императрица написала собственноручно Панину: «Пожалуй, поговорите Макартнею, чтоб они (т.е. англичане) в негоциацию не были таковы холодны, как при выдаче денег от них случается, а то что мы хорошего ни начнем, а они своим купеческим духом все портят, и старайтесь, чтоб к Гудрику посланы были надлежащие наставления».

10 июня король и королева имели тайное свидание с Стахиевым в Дротнингольме. Король начал говорить, что, не имея возможности видеться

наедине с графом Остерманом, он призвал к себе по старому знакомству его, Стахиева, для объяснения своих взглядов на работы настоящего сейма и для предостережения графа Остермана от фанатических сетей. Он, король, не имеет ни малейшего подозрения насчет благонамеренных предприятий императрицы, напротив, относится к нам с искреннею благодарностию и потому откровенно хочет сказать, как ему прискорбно видеть, что на сейме все сильнее и сильнее становятся движения фанатиков в руководствуемой императрицею партии, вследствие чего дела вместо желаемого поправления запутываются. Все это, впрочем, легко поправить, если граф Остерман с Гудриком захотят несколько обуздать своеволие некоторых фанатиков, которые, овладев доверенностью их и вождей партии, становятся час от часу несговорчивее и вместо должного почтения с пренебрежением отвергают все его благонамеренные советы, а иногда отвечают на них угрозами. Стахиев отвечал, что граф Остерман и он действуют постоянно в королевских интересах, но не могут скрыть, что некоторые из приближенных к его величеству людей основали особую партию под именем придворной, которая под предводительством полковника Синклера и губернатора Гамильтона, соединясь с французскою партией), действовала против благонамеренных, обольщая трусливых людей покровительством его величества. Тут вступилась в разговор королева и начала утверждать, что, во-первых, мнимая придворная партия очень малочисленна и сама по себе ничего не значит, если фанатизм будет обуздан, ибо придворная партия только для этого и основана. «Я с своей стороны, – говорила королева, – могу вас уверить честью, что не отдаю никакого предпочтения французской партии, напротив, желаю ее укрощения, ибо сознаю все неудобства, истекающие из ее господства; но, признаюсь, не хочу взять на совесть личное гонение членов этой партии, особенно тех, которых я простила еще на последнем сейме, когда они обнаружили раскаяние и клятвенно обещались переменить свое поведение, соединясь на этом сейме с благонамеренными патриотами. Последние не прочь были от этого соединения, но, достигнув господства вследствие щедрой помощи из России, теперь вместо исправления государственных дел стараются только губить прощенных мною членов французской партии, чтоб тем сравнять меня с Мариєю Медичи во мнении посторонних людей, которые никогда не поверят, чтоб мне нельзя было их спасти, когда раз я взяла их под свое покровительство. Я никогда не требовала для них высших мест в благонамеренной партии, но, зная недостаток в последней разумных и искусных людей, хотела на случай этого сейма присоединить некоторых из французской партии к благонамеренным в Секретном комитете, за что фанатики стали на меня клеветать, взводить на меня, что я хочу самодержавия и отдалась французской партии; опасаюсь, что вожди благонамеренной партии и сам ландмаршал по природному своему легковерию разделяет такой взгляд на мое поведение: он уже давно перестал говорить со мною откровенно, особенно с того времени, как раз мне случилось вследствие данного мною прощения не согласиться с ним, чтоб на сейме потребовали отчета в управлении государственными делами с действительным наказанием преступникам. Все это дело прошлое, я более об этом говорить не хочу и прошу только, чтоб граф Остерман хотя несколько обуздал фанатическую запальчивость и воспрепятствовал изгнанию из Сената членов его, найденных виновными по вексельным делам, ибо я боюсь, что когда опустелые таким образом в Сенате места наполнятся новыми, в делах несведущими людьми,

то эти новые сенаторы как люди, по-видимому не очень довольные королем, будут еще несговорчивее прежних относительно королевских прав и, пользуясь национальной слепотою, будут стараться о большем распространении сенатской власти, в чем успеют тем легче, что двор обвиняется неумеренностию в своих замыслах. Отдаю на ваше рассуждение, достигнется ли тогда желаемое вашим двором равновесие между тремя правительственными властями и может ли король ожидать себе лучшего жребия. Король и я, мы оба, уверены, что императрица не для того вмешалась в здешние дела, чтоб подвергнуть нас притеснению, отдать нас во власть необузданной партии, которая до сих пор скрывает от нас план своих операций, а вместо того предлагает нам нравоучительные наставления. Не могу не заметить также, что уже шестой месяц как тянется сейм, денег Издержано немало и ни одной прямой его операции не кончено». «Я и сам признаю, – отвечал Стахийев, – что на сейме дела затянулись, а причина – происки французской партии, которая старается ссорить благонамеренных для приведения дел в замешательство во всех четырех чинах. Вожди благонамеренной партии все более и более замечают холодность ваших величеств к себе, да и сами союзные министры с некоторого времени находятся в таком же положении, лишаясь счастья на куртагах говорить с вашими величествами».

«Я, – перебила королева, – уже это поправила и вперед буду поступать иначе. Что же касается вождей партии, то неудовольствие происходит от того, что всякий хочет быть первым и принудить нас себе кланяться». «Да, – проговорил король, – я уже не знаю, кому наконец угождать!»

2 августа Панин писал Остерману: «Когда шведский двор оказал нам такую неверность, то здравая политика требует, чтоб мы с своей стороны своим делам положили другое основание. Надобно теперь больше всего стараться об утверждении господства нашей партии в самом правительстве, чего можно достигнуть только переменою министерства и введением в Сенат некоторых членов из нашей партии, чем одним обеспечится ее твердость и безопасность после сейма, иначе с его окончанием может рассыпаться и сама партия. А так как эту самую реформу Сената народ удостоверится, что и при настоящем образе правления дела могут улучшаться, то, естественно, должно пройти и негодование его на эту форму, следовательно, и у нас пройдет опасение относительно ее перемены. Ваше сиятельство не имеете никакой нужды сообразоваться с желанием и выгодами шведского двора и должны обратить всю свою заботу на пользу и утверждение прочного господства благонамеренной партии, причем желательно было бы сократить еще более королевскую власть, чтоб у их шведских величеств осталось в памяти следствие двукратной их против нас неблагодарности и чтоб помнили они также, как вредно упорствовать против народного блага».

Сейм решил дело о браке наследного принца шведского Густава на датской принцессе. По этому поводу Панин писал Остерману: «Вы должны постараться, чтоб образ этого решения явно мог показать, во-1), королю и королеве шведским, что если б они не отвратили от себя поведением своим дружеское содействие императрицы, то, конечно, никто не мог бы их принудить на такой брак, который им так противен и который теперь совершается только вследствие неблагодарности их к ее императорскому величеству. 2) Датскому двору, что он

успехом своим обязан не низкой и презренной своей политике заискивания покровительства и помощи французского двора, который если б и прямо хотел, то не мог бы ничего для него сделать, но единственно желанию и подкреплению ее императорского величества чрез преданную ей патриотическую партию. 3) Публике, что эта партия по истинному своему усердию к отечеству была единственным орудием и причиною датского брака».

11 марта был заключен оборонительный союз России с Даниею, в третьей секретной статье которого обе договаривающиеся державы согласились поддерживать основную конституцию Швеции и восстановить равновесие властей. Но в Петербурге узнали, что, несмотря на этот договор, датское правительство в угоду Франции ведет себя двусмысленно относительно шведских событий, что король Фридрих V дал 25000 талеров сенаторам из французской партии, лишившимся своих мест, именно Экеблату, Шеферу и Гамильтону. Панин поручил Корфу указать на это датскому министру иностранных дел Бернсторфу как на нарушение обязательств и потребовать от датского двора 50000 талеров, необходимых для вознаграждения того вреда, который сделан был 25000 талеров, пошедшими на подкуп духовного сословия. Бернсторф прислал Корфу оправдательное письмо, но Панин не удовлетворился его оправданиями. Бернсторф утверждал, что король дал 25000 талеров трем несчастным сенаторам из великодушия для их собственного употребления, а не для содействия французской партии, что такая ничтожная сумма не могла иметь никакого значения в сеймовых делах; но Панин указывал, что сумма была положена в Париже у банкира датским министром при французском дворе, была в распоряжении у Бретейля, который и распорядился ею. После этого, писал Панин, чего нельзя ожидать от французского посланника, когда он для сеймовых подкупов распорядился суммою, данною датским королем на вспомоществование сенаторам в их несчастье; Панин не отставал также от требования 50000 талеров, необходимых для общего дела.

Содержанием сношений с Англиею по-прежнему были бесплодные толки о союзе. Делали друг другу взаимные комплименты: Панин в заметках своих для императрицы называл англичан торгашами, лавочниками; новый английский посланник Макартней, жалуясь на медленность переговоров, писал своему министерству, что не может быть иначе в стране, где все дело ведется в лавках, величаемых коллегиями, и мелкими купцами, которых угодно называть членами комиссий. Это относительно торгового договора; что же касается политического союза, то Макартней нашел другого противника уже не в членах русских комиссий; он писал: «Король прусский не желает, чтоб русский двор имел других союзников, кроме него. Он воздвигал всевозможные препятствия в деле о договоре России с Данией». Граф Сольмс твердил Панину: «Англия в настоящую минуту не имеет союзников; Россия и Пруссия – единственные державы, с которыми она рано или поздно может вступить в союз; она принуждена заискивать в них; выждите этого времени, и тогда мы предпишем ей какие угодно условия». От 29 марта Гросс писал о разговоре своем с графом Сандвичем, который объявил, что венский двор продолжает беспокоиться по поводу военных приготовлений короля прусского и тесного союза этого государя с Россиею. «Я, – говорил Сандвич, – считаю невероятным, чтоб теперь, когда все державы так удалены от возобновления войны, король прусский один захотел возбуждать

замешательство, и потому опасения венского двора, кажется, излишни; но как бы то ни было, мы не почитаем сходным с здоровою политикой преждевременно брать ту или другую сторону, хотя венский двор делает нам всякие дружеские внушения». Гросс заметил, что, вероятно, венский двор по соглашению с своими союзниками Франциею и Испаниею хочет этими внушениями удержать Англию от союза с Россиею. «Действительно, – отвечал Сандвич, – венский двор сильно бы встревожился от возобновления нашего союза; но я могу вас уверить, что его британское величество всего более желает этого союза и готов заключить его немедленно, как скоро императрица согласится на простое возобновление старого договора без обязательства со стороны Англии помогать против Турции; такой договор послужил бы хорошим основанием, по которому можно было бы распространять обязательства мало-помалу, а не вдруг». Панин написал на донесении Гросса об этом разговор. Все содержание сей реляции состоит в тонких английских инсинуациях, чтоб и нас к союзу больше интересовать, и себе лучшие кондиции доставить».

В Англии переменилось министерство; в России думали, что дело присоединения Англии к северной системе пойдет теперь живее. И действительно, новые английские министры хвалили русский план – противопоставить Северный союз фамильному договору между Франциею и Испаниею и союзу этих держав с Австриею; но статс-секретарь северного департамента герцог Графтон опять объявил Гроссу, что в союзном договоре с Россиею нельзя допустить случая союза относительно Турции, ибо такое допущение было бы губительно для английской торговли в Турции. Гросс заметил, что Франция в своем союзном договоре с Австриею давно уже приняла обязательство помогать последней против Турции, однако ни в рассуждении своей торговли в турецких владениях, ни относительно своего влияния при Порте никакого ущерба не понесла и странно, что такая сильная держава, как Англия, более показывает робости пред турками, чем Франция, тем более что императрица не требует от Англии действительной помощи войском или флотом, а только небольшой денежной субсидии. Графтон отвечал, что по доброте и дешевизне французских товаров, особливо каркасонских сукон, турки не могут без них обойтись, но легко могут запретить ввоз английских товаров. «Я уверен, – говорил Графтон, – что английская торговля в Турции погибнет, если мы в союзный договор с вами внесем известное обязательство, и потому не могу присоветовать этого королю да не думаю, чтоб и сам Питт осмелился бы склонять короля к этому поступку, который подвергся бы порицанию всей нации».

Панин, уведомляя Гросса от 9 августа о заключении торгового договора между Россиею и Англиею, писал: «По моему мнению, вам о возобновлении союзного трактата много вызываться не надобно, дабы инако не показать, что мы об оном много жадничаем». Но Панин требовал, чтоб Гросс убедил новое министерство действовать сильнее в Швеции, помогать здесь России деньгами. Потом Панин твердил Гроссу, что союзный договор никак не может быть заключен без включения Турции в случае союза; это условие необходимо не потому, чтобы мы турецкую войну поставляли для себя опаснее и тягостнее других, но для того только, чтоб в рассуждении ее сохранить перед Англиею совершенное равенство с прочими нашими союзниками, которые эту войну наравне с другими признали за случай общего их с нами союза, и для того еще,

чтоб уступкою этого пункта не показать, что мы союзы европейских держав поставляем для себя нужнее, нежели сколько, по признанию нашему, наш собственный союз может им быть нужен и полезен.

Глава третья

Просвещение в России от основания Московского университета до смерти Ломоносова. 1755–1765 годы

Влияние французской литературы при Елисавете и Екатерине II. – Умственное движение во Франции в описываемое время. Отношения русских людей к западному просвещению при Елисавете. – Сношения Вольтера с Ив. Ив. Шуваловым при Елисавете. – Отношения Екатерины II к Вольтеру, Даламберу, Дидро. – Переписка Екатерины с Жоффрэн. – Воспитание великого князя. – Порошин, его «Записки», его судьба. – Последняя деятельность Ломоносова и Тредиаковского. – Мюллер. – Шлецер. – Московский университет. – Казанская гимназия. – Корпуса. – Посылка воспитанников духовных училищ за границу. – Частное воспитание. – Напоминание Синода о религиозно-нравственном воспитании. – Крестинин. – Новые воспитательные учреждения при Екатерине II; Бецкий. – Литература. – Театр. – Искусство.

Мы уже говорили о тесной связи между двумя царствованиями – Елисаветы и Екатерины II. Основа этой связи заключается в одинаковом нравственном движении общества, происходившем от одинаковых условий народного роста в последнее десятилетие первой половины XVIII века и в первые десятилетия второй половины. Екатерина вместе со многими сотрудниками своими воспитывалась, росла этим общим ростом при Елисавете. Никита Ив. Панин не мог бы сказать, что чуть его паралич не убил, когда он читал дело Волынского, если б между временем Анны и временем Екатерины не прошло время Елисаветы. Характер последней и благоприятные условия ее царствования, в которое Россия могла прийти в себя, естественно, должны были вести к развитию литературному. Но это развитие не могло совершаться независимо: Россия вошла уже в общую жизнь Европы, вошла недавно, и потому необходимо все внимание ее было обращено на Запад, к народам, старшим по цивилизации, следовательно, русская мысль и ее выражения не могли остаться без сильного влияния умственной жизни на Западе. Западная умственная жизнь как при Елисавете, так и при Екатерине находилась в одинаковых условиях, находилась под влиянием французской литературы, следовательно, это же влияние должно было заметным образом отразиться и в русской умственной жизни, а потому нам нельзя оставлять без внимания важнейших явлений французской литературы описываемого времени. Мы приступаем к истории русского просвещения в десятилетие от основания Московского университета до смерти Ломоносова; но именно в это десятилетие почти завершилось то движение во французской литературе, которое имело такое решительное влияние на умственную жизнь в целой Европе.

Влияние французского языка и литературы, столь сильное при великом короле Людовике XIV и так много обязанное ему своею силою, нисколько не ослабело, но еще более увеличилось в царствование слабого преемника его Людовика XV. При великом короле французская литература подчинялась его влиянию, сдерживалась им и приспособлялась к нему; при Людовике XV она не находила для себя более сдержки ни в государственной власти, ни в обществе, а, напротив, и здесь и там было много условий, которые, с одной стороны, заставили внимательно взглянуть в окружающие явления, указать на многие темные стороны существующего порядка, потребовать соблюдения важных общественных интересов, сделать полезные, прямо «просветительные» выводы; а с другой стороны, позволили ей до того увлечься отрицательным направлением, что она стала враждебна не только к существующим формам государственной власти, но и к общественным основам. Усиление королевской власти при Людовике XIV было необходимою реакцией смуте, известной под именем Фронды, показавшей несостоятельность людей и целых учреждений, которые хотели произвести какой-то переворот; причем английская революция не осталась без влияния на восприимчивых французов. Но в Англии смута кончилась сильною и тяжелою властью лорда-протектора, а потом восстановлением Стюартов; и в Англии отнеслись к революции как явлению печальному, как бунту; тем более Франция, изнуренная бесплодною Фрондою, должна была желать сильной королевской власти. Людовик XIV удовлетворил этому желанию и сначала оправдал его, давши много блеску и славы народу, страстному к блеску и славе. Но Людовик XIV в свою очередь перешел границы в стремлении усилить свою власть, что опять вызывало реакцию, тем более что великий король оставил Францию в крайне печальном положении, возбуждавшем недоверие к началам, которыми руководился Людовик. Естественно, возбуждался вопрос о необходимости искания новых начал для более удовлетворительной установки народной жизни.

При таком положении дел, разумеется, важное значение должна была иметь личность нового короля. Вместо Людовика XIV, который умел так несравненно представлять короля, играть роль государя и этим очаровывать свой народ, страстный к великолепным представлениям, к искусному разыгрыванию ролей, вместо короля, который оставил много блеска, много славы, много памятников искусств и литературы, который если не успел дать Франции политическую игемонию в Европе, то удержал за ней игемонию языка и литературы, игемонию обычая французской общественной жизни, вместо такого короля явился король, соединявший в своей личности все условия для того, чтоб уронить верховную власть, явился человек, отличавшийся необыкновенным нравственным бессилием. У Людовика XV не было недостатка в ясности ума, но бессилие воли было таково, что при полном сознании необходимости какого-нибудь решения он соглашался с решением противоположным, какого хотели любовницы и министры, им созданные. Отсутствие воли сделало из неограниченного монарха притворщика и обманщика, интригана, любящего мелкие средства и извилистые дороги; мы видели, как он тайком от своих министров вел свою особую дипломатическую переписку.

Сознавая бессилие своей воли, Людовик XV не передал правления энергическому министру вроде кардинала Ришелье; он, как ленивый султан,

заперся в гареме, оставив судьбы государства на произвол интригам любимых женщин и клиентов их; вместо короля, похожего на последних Меровингов, не управлял никто похожий на Мартелла. Подле своих королей Франция привыкла видеть блестящую аристократию: как великолепный король Франции служил образцом для государей Европы, так блестящее дворянство Франции служило образцом для дворянства остальной Европы. Воинственная и славлюбивая нация достойно представлялась своим дворянством, которое выставило столько героев, прославивших французское оружие, и приобрело значение первого войска в мире. Но по замечательному соответствию падение монархического начала во Франции вследствие слабости преемника Людовика XIV последовало одновременно с нравственным падением французского дворянства, с помрачением славы французского войска. Людовик XIV, который наследовал своих знаменитых полководцев от времени предшествовавшего, не воспитал новых, несмотря на свои частые войны: доказательство, что война может служить школою для существующих талантов, но не создает талантов, когда круг, из которого они могут явиться, ограничен и потому легко истощается частыми войнами. Таким образом, две силы, действовавшие постоянно в челе народа и достойно его представлявшие, отказываются от своей деятельности. Отказывается от своей деятельности и духовенство, которое не выставляет более из своей среды Боссюэтов и Фенелонов, не может нравственными средствами бороться против врагов религии, старается употреблять против них только материальные средства, что, разумеется, могло только содействовать падению духовного авторитета. Но как скоро действовавшие прежде на первом плане силы отказываются от своей деятельности, являются несостоятельными, то и начинает приготовляться болезненный переворот, перестановка сил, называемая революцией. Это приготовление обнаруживается в отрицательном отношении к тому, что имело авторитет и что представлялось теперь формою без содержания, без духа, без силы. В организме французского общества в это время происходило то, что происходит во всяком организме, где известный орган омертвевает или в организм втиснется какое-нибудь чуждое, бесполезное тело: в организме тогда чувствуется тоскливое желание освободиться от такого омертвевшего органа или чуждого тела, не участвующих в общей жизни, ничего не дающих ей.

Это отрицательное отношение к старым авторитетам необходимо должно было отразиться в общественном слове, разговоре, который становился все громче и громче. Прежде высоко поднимался двор, блестящий, несравненный двор Людовика XIV: здесь было действительное величие, внушавшее уважение, сила, с которою каждому должно было считаться; в этом храме действительно обитало божество, пред которым каждый преклонялся. Внимание всех было обращено туда, к этому действительному средоточию силы и власти. Но после Людовика XIV двор потерял прежнее значение, прежнее обаяние, которые давал ему великий король, дух исчезал, оставалось одно внешнее, и само значение переходит в другие частные круги, где сходятся пожить общественной жизнью, а для француза это значило играть роль, блистать, овладевать вниманием, нравиться. Но чем же блистать, возбуждать внимание, нравиться? Движение прекратилось: нет больше религиозной борьбы; нет больше борьбы партий, происходившей от честолюбивых стремлений принцев крови, могущественных вельмож; нет более таких сильных лиц, которые, привязавшись к народному неудовольствию, могли

поднять движение вроде Фронды; нет более того сильного внутреннего, и особенно военного, движения, какое было поднято великим королем и так поразило воображение народа, так заняло его внимание; нет и тех печальных, страшных минут, какие пережила Франция в последнее время Людовика XIV; нет движения, деятельности; остается один разговор, но в чем же он мог состоять? Сочувственно относиться было не к чему, и относились отрицательно, враждебно. Но и здесь серьезное отношение, вдумывание в причины зла и придумывание средств к его уничтожению возможны были лишь для немногих; у большинства же неприязненное отношение к настоящему должно было выражаться в насмешке над ним, которой помогал и склад французского ума, и самая постановка окружающих явлений, где форма не соответствовала более содержанию, дела не соответствовали значению лиц, их совершавших, а такое несоответствие именно и возбуждает насмешку.

Насмешка не щадила ничего. Уже шел третий век, как западноевропейские народы переступили из своей древней истории, когда у них преобладало чувство, в новую, которая знаменуется развитием ума на счет чувства. Как обыкновенно бывает при этом переходе в жизни народов, ум западных народов, возбужденный к деятельности расширением сферы знания, знакомством с новыми народами и странами посредством мореплавания, открытия путей и земель, возбужденный изучением древнего классического мира, стал критически относиться к тому, чем до сих пор жилось, во что верилось; с этого времени, времени поклонения чуждому гению, гению классической древности, столь могущественному, так поразившему воображение памятниками искусства и мысли, начинается отрицательное отношение к своему, к своему прошедшему, к своей древней истории или к так называемым средним векам, к религиозному чувству, господствовавшему в эти века, и ко всем последствиям этого господства. Враждебность начала, стремившегося теперь господствовать, к прежде господствовавшему началу, мысли к чувству высказывалась очевидно: все, что напоминало чувство, основывалось на нем, происходило от него, все это было объявлено предрассудком. Исполненным предрассудков являлся прежний быт и потому подлежал коренным изменениям, после чего должен был явиться новый мир отношений человеческих, основанный на законах и требованиях одного разума человеческого. Это стремление обозначилось в самом начале новой истории и постепенно прокладывало себе все более и более широкую дорогу, встречая в разных странах более или менее сильные препятствия, притаиваясь на время при невзгоде и вырываясь наружу при первом благоприятном обстоятельстве. В сфере религиозной оно высказалось в восстании против авторитета римской церкви, в учениях крайних протестантских сект; но вслед за тем явились учения, которые совершенно покончили с положительною и даже со всякою религиею. Разумеется, сначала эти учения подвергались преследованиям от церкви и государства, должны были скрываться, но не исчезали. Во Франции в XVII веке эти учения встретили сопротивление в янсенизме, в сильном церковно-литературном движении при Людовике XIV, в поддержке, которую церковь нашла у великого короля, встретили сопротивление, но продолжали жить втихомолку, дожидаясь своего времени. Это время пришло, когда умер Людовик XIV, когда вследствие слабости и недостойности его преемника началось высказываться отрицательное отношение народной мысли к существующему

порядку. Вождем этого нового литературного движения является Вольтер. Он начинает легкими сатирическими стихами, по подозрению сидит в Бастилии и 24 лет ставит на театре свою первую пьесу – «Эдип», возбуждавшую сильное внимание и начавшую новую эпоху во французской и европейской континентальной литературе. Время чистого искусства, время Корнеля и Расина, прошло для Франции. В Англии вследствие раннего начала политических движений политические идеи вторглись в область искусства: здесь политические партии в стихах поэта, произносимых со сцены, в речах римлян, выведенных им в своей пьесе, видели указания на борьбу политических партий в Англии. Теперь во Франции в литературу вторгаются идеи, обозначающие начала борьбы с существующим порядком, отрицательное отношение общества к нему. Мысли, которые занимают общество, которые составляют любимый предмет разговоров в гостиных, входят в литературу, в публичное слово; разумеется, в публичном слове они не могли высказываться в тогдашней Франции свободно, они должны были являться в виде намеков; сочинения же, в которых они высказывались с полной свободой, или ходили в рукописях, или печатались за границей. То сочинение могло рассчитывать на верный успех, где общество встречало мысли, которые его занимали, и сочинения Вольтера, появлявшиеся беспрестанно в разных формах – трагедии, повести, исторической монографии, полемической статьи, все были наполнены этими мыслями или намеками на них. То, что в гостиных и кафе, вошедших тогда в моду, высказывалось отрывочно, смутно, то даровитый автор обрабатывал в стройное целое, пояснял примерами, излагал увлекательно, с необыкновенным остроумием, не глубоко, но легко, общедоступно. Что было предметом сильных желаний, что могло откровенно высказываться только в своем кружке, в четырех стенах гостиной, то вдруг слышали произносимым в звучном стихе при многочисленной публике, на театральной сцене. Впечатление было могущественное, и автор приобретал чрезвычайную популярность: общество было благодарно своему верному слуге, глашатаю своих мыслей и желаний, удивлялось его смелости, геройству, решимости публично высказывать то, о чем другие говорили только втихомолку. Успех Вольтера был обеспечен тем, что он явился верным слугою направления, которое брало верх, для большинства было модным, явился проповедником царства разума человеческого и потому заклятым врагом, порицателем того времени, когда господствовало чувство, заклятым врагом церкви, христианства, всякой положительной религии, определяющей отношения к высшему, духовному миру, пред которыми разум человеческий несостоятелен и должен преклоняться пред высшим авторитетом, пред таинственными, недоступными для него явлениями. В «Эдипе» поклонники разума уже рукоплескали знаменитым стихам, которые вовсе не шли ко времени Эдипа, но в которых под языческими жрецами выставлялось современное духовенство: «Наши жрецы вовсе не то, что простой народ о них думает, наше легкоеверие составляет всю их мудрость».

При господстве французского языка и литературы в Европе слава Вольтера скоро перешла границы Франции. Каждое произведение увлекательного автора – а произведения эти появлялись часто – было событием, которое всех занимало, о котором долго говорили; борьба с многочисленными литературными противниками увеличивала только славу Вольтера, потому что он постоянно выходил из борьбы победителем; гибельно было подпасть под удары ловкого и

неутомимого бойца, лестно и выгодно стало быть в союзе с владыкою общественного мнения, царя модного направления в литературе и науке; обиженный, за которого заступался Вольтер, мог быть уверен в успехе своего дела, и должен был трепетать судья, на несправедливый приговор которого была принесена жалоба Вольтеру. Было в Европе время также сильного умственного движения в начале ее новой истории, и это движение вынесло знаменитого учено-литературного деятеля Эразма Роттердамского, но важное значение Эразма много уступало значению Вольтера. Коронованные главы и члены владетельных домов признали новое могущество, что обнаружилось в искании союза и дружбы; выгоды дружбы и невыгоды вражды Вольтера были ими испытаны. Надобно прибавить, что могущественному положению Вольтера способствовала независимость, которую обеспечивало за ним большое состояние, приобретенное литературным трудом и выгодными оборотами: в 1749 году Вольтер уже получал с лишком 70000 ливров дохода; сумму эту надобно утроить или учетверить, чтоб сделать равною нынешней.

В толпе, жадной к легкому умственному наслаждению, царил Вольтер; его знали все как силу; в «Московских Ведомостях» наравне с важными политическими известиями из-за границы помещались известия о распоряжениях *знаменитого* Вольтера относительно своей воспитанницы. Меньшею известностию в толпе, но не меньшим, если не большим, значением среди людей, внимательных к движениям мысли о человеке и обществе, пользовался современник Вольтера Монтескье. Отдавши дань модному отрицательному или обличительному направлению в «Персидских письмах», Монтескье обнаружил счастливый переход своей умственной деятельности в «Рассуждении о причинах величия и падения римлян» и в 1748 году издал свое знаменитое сочинение «Дух Законов», быстро получившее важное значение во всей образованной Европе. Книга заслуживала свою репутацию тем, что впервые с такою подробностью представила различные формы государственного устройства, причины их происхождения, их историю у разных народов, древних и новых, христианских и нехристианских; прибавим к тому легкость, доступность изложения, умеренность, сдержанность, научно-историческое уважение к общественным формам как происшедшим не случайно, не произвольно, стремление известными объяснениями, известными указаниями привести к правильному пониманию человеческих отношений и содействовать благополучию человеческих обществ, какие бы формы для них ни выработала история. Книга Монтескье небывалою широтою плана, возбуждением важных исторических и юридических вопросов производила могущественное влияние на умы современников, порождала целую литературу и в то же время имела важное практическое значение, изменяя взгляды на существующие отношения, изменяя их ко благу народов и достигая этого указанною выше умеренностию, сдержанностию, не пугая правительства революционными требованиями, но указывая им средства содействовать благосостоянию подданных и при существующих основных формах, ибо ничто так не вредит правильности свободного развития человеческих обществ, как революционные требования, пугающие не только правительства, но и народное большинство; заставляющие его опасаться за самые существенные интересы общества: человек убежден в необходимости выйти из дому подышать чистым

воздухом, но, испуганный ревом бури, ливнем и холодом, спешит затворить окна и предпочитает остаться в душной атмосфере своей тесной комнаты.

Понятно, что «Дух Законов» не понравился ярым приверженцам отрицательного направления. Они твердили толпе постоянно одно, что настоящее положение есть произведение предрассудков, заблуждений, неправд и потому должно быть разрушено, дать место новому общественному зданию, построенному на законах разума; а тут автор «Персидских писем» с обширной ученостью и необыкновенною силою мысли показывает, как то, что было объявлено произведением невежества и предрассудков, создавалось разумно, по известным законам, под влиянием тех или других условий, показывал причины, почему известная государственная форма изменяется, крепнет или слабеет, разрушается. Один из самых ярких проводников отрицательного направления, Гельвеций, писал Монтескье по поводу его книги: «Вы нам говорите: вот мир, как он управлялся... Вы часто приписываете ему разум и мудрость, которые в сущности принадлежат вам самим... Вы позволяете себе сделку с предрассудком, как молодой человек, вступающий в свет, позволяет себе сделки с старыми женщинами, которые еще не отказались от претензий. Писатель, желающий быть полезен человечеству, должен заниматься уяснением истинных начал для лучшего порядка вещей в будущем, а не освящать опасные начала... Идея прогресса только забавляет наших современников, но она вразумляет молодежь и служит потомству». Но проводники отрицательного направления, начиная с Вольтера, должны были сдержаться в своих публичных отзывах о книге Монтескье ввиду ее громадного успеха: менее чем в полтора года появилось 22 издания и переводы почти на все языки.

Но, отделавшись холодным поклоном пред знаменитым творением, которое пришлось не по их вкусу и разумению, проводники отрицательного направления продолжали идти все дальше и дальше по своей дороге. С именем Вольтера тесно соединены еще имена двоих проводников отрицательного направления – Дидро и Даламбера. Дидро по своему характеру был драгоценный человек в распространении какого бы то ни было учения, драгоценный член партии. Своею вдохновенною речью он производил сильное обаяние; кроме того, трудно было сыскать человека, с которым было бы так легко ужиться, человека более снисходительного; его преимущества никого не стесняли, всякий чувствовал себя при нем свободным. Только немногие, признавая за Дидро достоинства и пользуясь ими, могли заметить, что в его мыслях нет последовательности, в его чувствах нет постоянства, что он мог написать прекрасные страницы, но никак не мог написать книги. Как проводник отрицательного направления он заявил себя в «Философских мыслях»; парижский парламент в 1746 году осудил книгу на сожжение, но в том же году она была переиздана в Париже, Лондоне и Гаге, и книга стала модною во всей Европе. В «Письме о слепых в пользу зрячих» Дидро пошел еще дальше, чем в «Философских письмах»; деист Вольтер вооружился против атеизма Дидро, но, когда последнего посадили в крепость за «Письмо о слепых», Вольтер заступился за собрата, за философа. «Философы, – говорил Вольтер, – составляют малое стадо, которое нельзя отдавать на бойню. Они имеют свои недостатки, как и другие люди, они не всегда пишут отличные сочинения; но, если б они могли соединиться все против общего врага, это было бы доброе дело для рода человеческого. Чудовища, называемые янсенистами и молинистами,

куснув друг друга, лают вместе на бедных приверженцев разума и человечества; последние должны по крайней мере защищаться против них». Философы, по мнению Вольтера, должны были составлять тесно сомкнутое общество, действовать тайно и, в случае когда надобно было отстоять своего, храбро отречься и лгать. «Надобно, – писал он однажды, – лгать, как дьявол, не робко, не случайно только, но смело и всегда. Лгите, друзья мои, лгите, я вам заплачу за это при случае. Таинства Митры не должны быть открываемы, хотя бы это были таинства света; нет нужды, откуда приходит истина, лишь бы приходила».

Это тайное общество начало действовать явною стенобитною машиною, когда Дидро вместе с известным математиком Даламбером начали с 1751 года издавать знаменитую Энциклопедию. Священная книга откровений разума человеческого, разумеется, должна была начинаться изложением блестящих успехов разума во Франции и Европе с XVI века; это изложение написано было Даламбером.

Но что такое разум? Сначала проповедники его царствия разумели под ним высшее духовное начало в природе человеческой; но начала материалистических учений уже давно высказались в сочинениях английского философа Локка и в 1734 году были распространены во Франции, а следовательно, и по всему континенту тем же Вольтером в его «Английских письмах». Аббат Кондильяк развил Локковы начала в «Опыте о происхождении познаний человеческих» (1746) и в «Трактате об ощущениях» (1754), но и Кондильяк остановился на дороге, не сделался материалистом. Дойти до крайних результатов в этом учении суждено было Гельвецию. Гельвеций смолоду стал участвовать в выгодной деятельности по откупам податей, нажил большое состояние и, обеспеченный в этом отношении, стал думать, как бы приобрести и славу, сначала славу друга и покровителя литераторов и ученых, а потом и самому занять видное место в среде их. Сначала стал писать стихи, но, видя, что на этом поприще прославиться трудно, стал заниматься, как тогда говорили, философиею и в 1758 году выдал книгу «De l'Esprit». Как обыкновенно бывает в движениях, подходящих в известное время под требования и вкус общества, люди посредственных способностей, желая обратить на себя внимание и пробиться вперед, стремятся отличиться мыслями и требованиями во что бы то ни стало новыми и смелыми, забегать вперед, наддавать на аукционе. Так поступил и Гельвеций и дошел в своей книге до крайних материалистических выводов, отвергнув духовное начало в человеке и поставивши корысть, стремление к удовольствию единственным побуждением деятельности человеческой. Книга Гельвеция была строго запрещена во Франции; автор, чтоб остаться в покое, принес повинную, объявил, что поставляет свою славу в подчинение христианству всех своих мыслей, мнений и способностей своего существа. Но другого рода слава была приобретена. Строгое запрещение распалило любопытство, и книга Гельвеция четыре раза была перепечатана в Амстердаме, хотя для потомства остался в силе приговор знаменитого Тюрго, что книга Гельвеция есть произведение философское, но без логики, литературное, но без вкуса, в ней толкуется о нравственности, но не честно. Патриарх отрицательной литературы, Вольтер говорил, что не одобряет ни заблуждений книги Гельвеция, ни пошлых истин, которые он с торжеством повторяет; но он заступился за Гельвеция как за солдата из своего отряда, укоряя его только за неосторожность: зачем вырезал свое имя на кинжале, которым

поражал общего врага, зачем выставил на книге свое имя, зачем напечатал ее во Франции.

Книга Гельвеция произвела тяжелое впечатление на Ж.-Ж. Руссо; он хотел было писать возражения на нее, но остановился ввиду правительственного гонения на нее. Ж.-Ж. Руссо стоял поодаль от той группы писателей, которою мы до сих пор занимались, но тем не менее имел могущественное влияние на умы современников. В то время, когда литература проповедовала царство разума человеческого, когда с торжеством указывала на великие и благодетельные явления, начавшиеся с того времени, когда разум стал освобождаться из оков темных сил, господствовавших в средние века, из оков фанатизма, суеверия и предрассудков, когда с лихорадочным нетерпением ждали того великого времени, когда свет разума воссияет в полном блеске и вследствие этого блаженство водворится на земле, когда признавалось бесспорною истиною, что золотой век не назади, как думали древние, а впереди, – в это самое время писатель, особенно способный овладевать вниманием, душою читателя, объявляет, что вера в прогресс напрасна, что движение общества по пути цивилизации, как можно большее удаление его от того состояния, которое называется диким и варварским, вовсе не ведет к увеличению благосостояния человечества, к нравственному улучшению. В 1749 году Дижонская академия объявила тему на конкурс для будущего 1750 года – «Восстановление наук и искусств способствовало ли к очищению нравов?». Явился ответ отрицательный, и автором его был Руссо. Влиянию наук и искусств приписаны были все пороки общества, все добродетели были найдены у народов диких. Блестящее сочинение имело громадный успех, возбудило всеобщее внимание и сильные споры. До сих пор вожди отрицательного направления в литературе имели преимущественно в виду борьбу с религиозным авторитетом, ограничивавшим свободу разума, предполагавшим несостоятельность последнего; борьба против политических учреждений была на втором плане. Эти вожди пользовались выгодным положением в обществе, были его любимцами, оракулами, имели обеспеченное, некоторые обширное состояние, следовательно, имели возможность наслаждаться прелестями утонченной жизни, по своему воспитанию, по своему обращению, привычкам принадлежали к отборному обществу, чувствовали себя в нем легко, свободно, поэтому они не имели никаких побуждений проповедовать общественную перестройку; их требования от богатых и сильных ограничивались тем, чтоб они относились к бедным и слабым с большим человеколюбием и правдою. Но вот по силе своего таланта между этими так называемыми философами получает место человек, на них не похожий. Руссо был сын женеvского часовщика; после разных тревожных жизней судьба привела его в Париж; но с своим новым отечеством он имел общего только язык, во всем другом он был ему чужд, и, несмотря на оторванность от прежнего отечества, в нем подчас резко сказывался гражданин кальвинистской республики. Он вытерпел много унижения и лишений; он очутился в кругу вельмож, богачей и модных писателей; но в этом кругу ему было неловко, он не мог быть здесь так свободен и развязан, как Вольтер с товарищами; приладиться к обществу, принять его обращение, стараться нравиться, начать играть роль он не мог, потому что не был француз, не имел поэтому природной способности быть салонным человеком. Сознание своей неисправимой неловкости, невозможности играть ту роль, какую играли другие вокруг него, сознание, что постоянно

затмевается другими, это сознание в соединении с крайним самолюбием и болезненностью, чрезвычайно раздражительностью нервов заставило Руссо вести себя так, что об нем начали отзываться сначала как о чуде, дикаре, а потом как о человеке сумасшедшем и невозможном для общества. Такая неловкость и унижительность положения, нужда, особенно в сравнении с довольством других писателей, которых он не считал выше себя, содействовали тому, что Руссо отрицательно, враждебно отнесся к основному общественному строю, нашел его чрезмерно сложным и извращенным, отступившим от первоначальной простоты, которая одна давала человеку возможность сохранять чистоту нравов. Та же Дижонская академия в 1753 году предложила на конкурс другую тему: «Отчего произошло неравенство между людьми и основывается ли оно на естественном законе?» Руссо отвечал и на этот вопрос: первый, кто огородил известный участок земли и сказал: «Это мое!», был истинным основателем гражданского общества. В таком основании Руссо видел общественное грехопадение, от которого проистекли все бедствия для рода человеческого. Руссо остался верен этой основной мысли и в других своих сочинениях: воспитание и политические учреждения должны иметь целью возвращение человека к первобытной простоте отношений.

Кроме влияния, какое имели сочинения Руссо на последующие явления французской истории, кроме влияния, какое имели его мысли о воспитании на все европейское общество, сочинения Руссо имеют то важное историческое значение, что в них резко высказалась реакция господствовавшему стремлению достигнуть торжества разума человеческого, отрешиться как можно скорее и безвозвратнее от первой половины народной жизни, в которой преобладает чувство над разумом. Руссо, как обыкновенно бывает в подобных реакциях, перегнул дугу в противоположную сторону, утверждая, что состояние размышления противоестественно и человек размышляющий есть человек испорченный. Но, несмотря на справедливые возражения против Руссо, против его крайностей, софизмов, искусственного, фантастического объяснения общественных явлений, искусственного, невозможного построения человеческих отношений, несмотря на стремления приблизиться к естественным отношениям, — несмотря на все это, Руссо совершенно справедливо указал в известном отношении на односторонность господствовавшего стремления. Человеку приятно увлекаться мыслию о прогрессе, но внимательный взгляд на явления в природе и обществе заставляет убедиться, что абсолютного прогресса нет, нет золотого века впереди, а есть известное движение, которое мы называем развитием, причем все, переходя в известный возраст или момент развития, может приобретать выгодные стороны, но вместе с тем утрачивает выгодные стороны оставленного позади возраста. Приобретается плод, теряется цвет; лето, несмотря на свои выгодные стороны, лишено прелестей весны; человек вполне развитой, в полном обладании умственных сил и крепкий опытом жизни жалеет о прелестях юности и даже детства, прелестях, для него невозвратимых. Вот почему подле похвалы успехам настоящего времени, при надеждах на большие успехи в будущем, законно существует похвала доброму старому времени. Обе эти похвалы ведут обыкновенно к бесконечному и ожесточенному спору, потому что обе основаны на односторонности, примирение заключается в признании развития и его законов; а возможно, здоровое состояние общества зависит от умения при переходе в

известный возраст не отдаваться безотчетно господствующему в этот возраст началу, а умерять его другими необходимыми для жизненного равновесия началами, не утверждать вместе с Руссо, что состояние размышления есть состояние противоестественное для человека, и в то же время признавать основное, зиждательное значение чувства.

Но Руссо при господстве в его характере страстности и фантазии не мог хотя сколько-нибудь сдержатъ отрицательное направление литературы, напротив, подкатил к стенам полуразрушенной крепости новый опасный таран. Успехи осаждающих уславливались, впрочем, не их стенобитными орудиями, а преимущественно плохую защитою гарнизона. Духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе словом и делом, представляя противоположность между своим поведением и тем нравственным идеалом, которое было выставлено христианством. Государство в сильных финансовых затруднениях обратилось к духовенству, владевшему громадными имениями и доходами, и потребовало сведения обо всех имуществах и доходах церковных. Духовенство отказалось дать это сведение, причем обратилось к королю с такими словами: «Самомалейшие новизны в правилах и обычаях религиозных подвергают религию великой опасности; соседние государства представляют гибельные тому доказательства, и никогда эти примеры не могли нас более утратить, как в настоящее время. Гнусная философия распространилась как смертельный яд и иссушила корень веры почти во всех сердцах; скандал нечестия, гордого числом и качеством своих приверженцев, не знает более меры. Государь, вы должны оказать теперь религии самое сильное покровительство, потому что она никогда еще не подвергалась таким сильным нападениям». Вольтер не остался в долгу; он нанес духовенству удар, прикрывшись щитом светской власти: «Правительство тогда только хорошо, когда оно едино; не должно быть двух властей в одном государстве. Употребляют во зло различие между властью духовною и светскою. У меня в доме разве признают двоих хозяев: меня и наставника моих детей, которому я плачу жалованье? Я желаю, чтоб уважали наставника моих детей, но я вовсе не желаю, чтоб он имел хотя малейшую власть в моем доме. Во Франции, где разум усиливается с каждым днем, этот разум научает нас, что церковь должна участвовать в государственных тяжестях по соразмерности с своими доходами и что сословие, долженствующее особенно учить справедливости, должно первое подать пример справедливости. Такое правительство будет готтентотское, при котором можно будет известному числу людей сказать: кто работает, тот пусть и платит, мы не должны ничего платить, потому что мы ничего не делаем. То правительство оскорбит Бога и людей, при котором граждане могли бы сказать: государство нам дало все, а мы должны за него только молиться. Разум внушает нам, что, когда государь захочет уничтожить какое-нибудь злоупотребление, народ должен ему в этом содействовать, хотя бы злоупотребление считало за собою давность 4000 лет. Разум нас научает, что государь должен быть полновластным распорядителем всей церковной полиции. Великое счастье для государя, когда много философов, ибо философы, не имея частного интереса, могут говорить только в пользу разума и блага общественного. Величайшее счастье для людей, когда государь – философ: государь-философ знает, что, чем более силы берет в его государстве разум, тем менее производят зло суеверие, споры и ссоры богословские».

«Гнусная философия иссушила корень веры почти во всех сердцах», – говорило французское духовенство; но было много людей во Франции, в сердцах которых корень веры не был иссушен; доказательством служило то, что они за отцовскую веру терпели страшные притеснения, работали на галерах, покидали отечество: то были протестанты. Католическое духовенство, не способное предохранить сердца своей паствы от влияния философии, поддерживало гонение на протестантов и тем давало врагам своим – философам лучший случай вооружаться против религии, во имя которой производилось гонение. Католическое духовенство оказывалось несостоятельным в борьбе с философией, от него не было слова и дела назидания, и люди, в сердцах которых корень веры не был иссушен философией, для того чтоб дать питание этому корню, обращались к мниморелигиозным явлениям, которые прямо переносили в браминскую Индию и не имели ничего общего с христианством. В Великую пятницу 1759 года публика сходилась смотреть, как распинали сестру Франциску, начальницу конвульзионерок, как железными гвоздями прибивали ко кресту ее руки и ноги, как пронзали копьем левый бок... Как обыкновенно бывает, зрители разделялись во мнениях: одни вполне верили в действительность явления; другие утверждали, что это ловкое фокусничество; третьи говорили, что хотя тут и есть обман, но есть и явления необъяснимые. Во всяком случае, представления конвульзионерок служили новым предлогом к нападкам на христианство.

С другой стороны, народ был свидетелем страшных зрелищ: во Франции, считавшейся центром европейской цивилизации, преступника разрывали шестью лошадьми. Исполнители приговора заботились об одном, чтоб как-нибудь не сократить мучений; отец, жена, дети преступника изгонялись из отечества. Легко понять, какую силу получали голоса, восстававшие против таких ужасов, требовавшие уничтожения всех этих обычаев доброго старого времени; легко понять, как эти голоса являлись благовестием будущего золотого века.

Страна изнемогала под тяжестью налогов; а между тем у Людовика XV шел однажды такой разговор с министром герцогом Шуазелем. *Король* : «Как вы думаете, сколько стоит моя карета?» *Шуазель* : «Я бы заплатил за нее 5 или 6000 франков; но так как ваше величество платите по-королевски, то она может стоить и 8000». *Король* : «Вы жестоко ошиблись: карета стоит мне 30000 франков». *Шуазель* : «Такие возмутительные злоупотребления невыносимы, необходимо положить им предел, и я вызываюсь на это, если вашему величеству угодно будет поддержать меня». *Король* : «Любезный друг! Воровство в моем доме громадное, но нет никакой возможности прекратить его: слишком много людей, и, главное, слишком много людей сильных, здесь заинтересовано; все мои министры мечтали привести в порядок расходы двора, но, испуганные препятствиями при исполнении, бросали дело. Кардинал Флери был очень силен, был полновластным хозяином Франции и умер, не посмевши привести в исполнение ни одной из идей, какие имел относительно этого предмета. И потому успокойтесь и не трогайте порока неизлечимого». Легко понять, как подобные явления усиливали отрицательное направление в обществе и литературе, с каким нетерпением ждали царства разума. Но среди победных кликов в честь разума, имеющего избавить от всех зол, наследник Людовика XV, заплативший преждевременную смертью за тяжкую жизнь, проведенную в мыслях о будущем, писал: «Новая философия, оправдывая своеволие народов, дает в то же время государям право

торжествовать, если они захотят ею руководствоваться, ибо если интерес настоящей минуты и личный интерес считаются единственным правилом всех наших действий, государь будет иметь не меньшее искушение употреблять во зло свою власть, как и народы свергнуть иго авторитета. Что страсти только внушают, тому наши философы учат. Если закон интереса будет принят и заставит забыть Закон Божий, тогда все идеи справедливого и несправедливого, добродетели и порока, нравственного добра и зла уничтожатся, троны поколеблются, подданные станут непослушны и мятежны, государи немилостивы и нечеловеколюбивы. Народы будут всегда или в возмущении, или под гнетом». Французские историки, указывая на свои революции и царствование Наполеонов, говорят, что дофин был пророком.

В таком положении находилась страна – представительница Западной Европы, западноевропейской цивилизации, когда русские люди в своей новой истории перешли уже в другой период своего развития. От Петра Великого до Елисаветы на первых порах своего знакомства с Западной Европой, собственно в школьное время, они учились там в разных местах, перенимали то или другое нужное знание, как дети по заданному уроку, иногда часто поневоле. Со времен Елисаветы отношения русских людей к Западной Европе стали более сочувственны, более пристрастны, в то же время отношения к просвещению вообще стали более свободны и самостоятельны; русские люди с жадностью бросаются не на то или другое знание, специально им нужное, но на европейскую литературу, которая представлялась тогда французскою литературою, упиваются новым, широким миром идей, легкостью французской мысли, с какою она перелетала от одного предмета на другой, вскрывала новые отношения между ними; восхищаются ее остротою, с какою она подтачивала так называемые предрассудки; русские люди читали, переводили, создавали свою литературу, которая не могла не находиться под сильным влиянием образцовой литературы французской. Страсть к чтению, которая овладела в это время русскими людьми, видна из всех мемуаров времени. Чтение это, как обыкновенно бывает, производило различное впечатление на читающих. В одних влияние прочитанного не было сильно, знакомство с литературою служило им для внешних только целей, для наведения лоска, обычное в переходные времена двуверие, поклонение новым богам без покинутия старых видим и здесь; в других отрицательное направление модной французской литературы поколебало религиозные и нравственные убеждения; в третьих произошла борьба, окончившаяся рано или поздно торжеством религиозных убеждений; четвертые с наслаждением читали блестящие остроумием произведения отрицательной литературы, не слепо им верили, но находили много правды и успокаивались тем, что отрицалось не свое, а чужое, нападки сыпались на католицизм, католическое духовенство. Наконец, как обыкновенно бывает при господстве известного направления, переходящем большею частию в деспотизм и употребляющем своего рода террор, мало находится людей, которые бы прямо высказали свои убеждения, свое неодобрение господствующему направлению, неодобрение тому или другому его представителю: так и в России в описываемое время люди и не сочувствующие, например, Гельвецию с уважением отзывались о его книге; не хотелось явиться обскурантом, казалось, что, давши неодобрительный отзыв о знаменитой книге, тем самым делают выходку вообще против просвещения.

Мы уже видели, что при Елисавете между даровитыми и чуткими к общественным явлениям людьми, которые упивались чтением произведений французской литературы, находилась и великая княгиня Екатерина. Сильный ум молодой женщины высказался здесь в том, что она отдала свое предпочтение Монтескье, вполне того заслуживавшему. Но слишком ученый, серьезный и охранительный Монтескье сиял вдали спокойным светом; более близкие, доступные светила блистали ярче, производили большее впечатление, раздражение, и между ними царил Вольтер. С этим новым могуществом считали нужным завести сношение и представители старых государств, но которые хотели прославиться новою деятельностью, сообразною с провозглашенными потребностями времени. Еще в начале царствования Елисаветы, в 1745 году, Вольтер, жадный к известности, почестям и отличиям всякого рода, чрез известного французского министра в Петербурге Дальона начал добиваться, чтоб Петербургская Академия наук избрала его в свои почетные члены. Дальон хлопотал в Академии, хлопотал у канцлера Бестужева, и Вольтер был избран. Но в то же время Вольтер предложил русскому правительству написать историю Петра Великого, прося сообщения источников. Побуждения понятны: при своей впечатлительности Вольтер не мог не быть поражен величием преобразователя России и, главное, его просветительною деятельностью. В памяти Вольтера и его современников запечатлелись три царственных образа, стоявшие на первом плане в первой четверти столетия и подобных которым последующее время не представляло: Людовик XIV, Карл XII, Петр Великий, и Вольтер хотел быть историком всех троих, что ему и удалось исполнить. Но начало царствования Елисаветы было неблагоприятно для его попытки получить согласие и помощь русского правительства: литературное движение, знакомство с французскою литературою только еще начинались; канцлер Бестужев принадлежал к поколению, которое не могло быть под обаянием Вольтера, а вражда к Франции не могла расположить его в пользу французского писателя, за которого хлопотал Дальон. Бестужев отозвался, что написание истории Петра Великого лучше поручить Петербургской Академии наук, чем иностранцу. Обратились к президенту Академии наук, Вольтер изъявил желание сам приехать в Петербург, но Разумовский отклонил и то и другое.

Вольтер не долго дожидался. Влияние литературы, во главе которой стоял он, усиливалось все более и более в России, и один из самых горячих приверженцев литературного движения стал самым влиятельным лицом при дворе Елисаветы – то был Ив. Ив. Шувалов. При его посредстве дело скоро уладилось (1757 г.). Вольтер стал писать историю Петра Великого; из России обязались доставлять ему материалы. Но как было это сделать? Кто тогда в России имел понятие о материалах истории Петра Великого? Кто изучил их настолько, чтоб мог составить сколько-нибудь удовлетворительное извлечение для писателя-иностранца? Шувалов обратился за помощью к знатокам. Ломоносов, не историк по призванию и приготовлению, смотревший на дело преимущественно с литературной точки зрения, отвечал: «К сему делу, по правде, г. Вольтера никто не может быть способнее, только о двух обстоятельствах несколько подумать должно. Первое, что он человек опасный и подал в рассуждении высоких особ худые примеры своего характера. Второе, хотя довольно может получить от нас записок, однако перевод их на язык, ему знакомый, великого труда и времени

требует. Что до сего надлежит, то принимаю смелость предложить следующее: во-первых, должен он себе сделать краткий план, который может сочинен быть из сокращенного описания дел государевых, которое я имею, к чему он и сочиненный мною панегирик не без пользы употребить может, ежели на французский язык переведен будет. По сочинении плана и его сюда сообщении, думаю, что лучше к нему посылать переводы с записок по частям, как порядок в плане покажет, а не все вдруг. И так станет он сочинять начало, между тем прочий перевод поспевать может, и так сочинение скорее начаться и к окончанию приходить имеет. Ускорение сего дела для престарелых лет Вольтеровых весьма надобно. У меня, сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы». Известий о Петре, по уверению современников, было переслано много к Вольтеру; но, когда ему хотелось уяснить какой-нибудь вопрос по источникам, ему должны были отказывать в средствах или по самой обширности их, или и по другим побуждениям. Так, Вольтер требовал присылки посольских дел; Шувалов обратился к Мюллеру, и тот отвечал: «Правда, что дипломатические сношения входят в историю государя, но царствование Петра Великого было так продолжительно, что почти невозможно привести все переговоры, разве написать громадную историю в фолиантах, что, кажется, не по гению г. Вольтера». Но если бы было по гению г. Вольтера написать множество фолиантов об истории Петра, то как бы тогда поступили относительно пересылки посольских дел? Вольтеру хотелось уяснить по русским источникам любопытный для Западной Европы вопрос о степени участия Петра в намерениях Герца восстановить Стюартов в Англии. Мюллер отвечал, что есть напечатанные мемуары, представленные по этому поводу английскому правительству русскими министрами в Лондоне Веселовским и Бестужевым, и что «не годится историку противоречить таким подлинным актам». Цензура посылаемого Вольтеру принадлежала Шувалову; так, Ломоносов писал ему: «Сокращенное описание самозванцев и стрелецких бунтов, еще переписав, имею честь подать вашему превосходительству. Сами можете отметить, что вам не рассудится за благо перевести на французский язык. Сокращение о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора стараюсь привести к окончанию подобным образом».

В 1759 году вышла первая часть «Истории Петра Великого». В Петербурге она не удовлетворила ожиданиям, потому что эти ожидания были очень велики. Упрекали автора в краткости изложения, указывая на количество известий, ему пересланных; упрекали за то, что он не воспользовался многими из этих известий и вместо того внес свои мнения и суждения. Но Мюллер справедливо заметил, что несообразно было с гением Вольтера писать громадные фолианты. Вольтер сделал все, что мог, и, несмотря на все недостатки, ошибки и промахи, книга его в свое время была вовсе не лишняя не только на Западе, но и в России и стоила тех шуб, которые были отправлены за нее автору. Фридрих II был страшно раздражен тем, что первый писатель времени посвятил свой талант прославлению великого русского царя; раздражение понятное: Фридрих сладил бы и с австрийцами, и с французами, но Россия приводила его на край гибели, и средства ей для этого даны были Петром. «Скажите мне, пожалуйста, – писал он Вольтеру, – с чего это вы вздумали писать историю волков и медведей сибирских? И что вы еще можете рассказать о царе, чего нет в жизни Карла XII? Я не буду читать истории этих варваров; мне бы даже хотелось вовсе не знать, что они живут на нашем

полушарии». Вольтер по поводу этого наивного письма писал Даламберу: «Люк (Лус – так Вольтер звал Фридриха II в насмешку) мне пишет, что он немножко скандализован, что я, по его выражению, пишу историю волков и медведей; впрочем, они вели себя в Берлине медведями очень благовоспитанными». Но Вольтер не обращал большого внимания на выходки Фридриха и был очень доволен, что заслужил благосклонность русской государыни. Нет сомнения, что у него при этом были особые виды: при союзе России с Францией Елисавета могла упросить Людовика XV снять опалу с Вольтера, позволить ему возвратиться в Париж, по котором Вольтер не переставал тосковать. Вот почему смерть Елисаветы сильно его огорчила. «Моя императрица русская умерла, – писал он племяннице (Флориан), – и по странности моей звезды выходит, что я потерпел чрезвычайно большую потерю».

Через полгода в Петербурге опять перемена. Екатерина давно уже сознавала важное значение, приобретенное литературою, то руководительное значение, какое получили литературные вожди и патриарх их Вольтер. Теперь она вступила на престол при таких обстоятельствах, которые заставляли ее внутри и вне искать союзников, приверженцев, оправдателей, хвалителей. Понятно, что, обращаясь на Запад, желая там внушить уважение к себе, доверие к своей силе и прочности своего престола, она не могла не остановиться на Вольтере; понятно ее раздражение, когда ей шепнули, что Ив. Ив. Шувалов, находившийся в переписке с Вольтером, внушает царю философов невыгодное о ней представление. Как только Бретейль возвратился в Петербург, императрица велела спросить его, знаком ли он с Вольтером и не может ли внушить ему более правильные представления о роли, которую играла кн. Дашкова в событиях 28 июня. А между тем из петербургского дворца уже шли к Вольтеру письма с оправданиями этих событий: их писал его знакомый, женевец Пиктэ, принятый Екатериною для иностранной переписки. Вольтер, не имевший ни малейших побуждений жалеть о Петре III, в письмах к Шувалову выражал свое удовольствие относительно перемены 28 июня, называя Екатерину Семирамидою. Сначала Екатерина и Вольтер обменивались комплиментами в письмах Пиктэ, а потом, неизвестно с точностию когда, начинается между ними и непосредственная переписка. По крайней мере в июле 1763 года в письме к одному приятелю Вольтер обнаруживает сильное сочувствие к императрице и заботу о ее участи: «Неужели правда, что огонь тлеет под пеплом в России, что существует большая партия в пользу императора Ивана? Что моя дорогая императрица будет низвергнута и у нас будет новый предмет для трагедии?» Опасения скоро рассеялись, и Екатерина приобрела в патриархе философов самого ревностного приверженца, готового защищать ее против всех, против турок и поляков, готового указывать ей самые блестящие цели: едва ли Вольтер не первый стал толковать о том, что Екатерина должна взять Константинополь, освободить и воссоздать отечество Софокла и Алкивиада, так что Екатерина должна была сдерживать его слишком разыгравшуюся фантазию.

Но кроме желания приобрести таких сильных союзников, кроме желания приобрести высокое место покровительницы европейского просвещения, кроме этих собственно политических целей у Екатерины были и другие побуждения, заставлявшие ее сблизиться с самыми видными из философов. Она была дочь своего века; чуткая в сильной степени к высшим интересам человека, она

страстно следила за умственным движением столетия, и, не сочувствуя здесь всему, преклонялась, однако, вообще пред движением, и, ставши самовластной государынею, хотела применить его результаты к устройству народной жизни. В одном из первых писем к Вольтеру Екатерина писала: «Правда, что мы многого не понимаем из того, что к нам приходит с юга. Мы изумляемся, читая произведения, делающие честь роду человеческому, и видя, с другой стороны, как мало пользуются ими. Мой девиз – пчела, которая, летая с растения на растение, собирает мед для своего улья, и надпись – *полезное*. У вас низшие научают, и легко высшим пользоваться этим наставлением; у нас наоборот». В другом письме читаем: «Я должна отдать справедливость своему народу: это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные; благодаря этим аксиомам правила, долженствующие служить основанием новым законам, получили одобрение тех, для кого они были составлены. Я думаю, вам бы понравилось сидеть за столом, где сидят вместе православный, еретик и мусульманин, спокойно слушают голос идолопоклонника и все четверо совещаются о том, чтоб их мнение могло быть принято всеми. Они так хорошо забыли обычай поджаривать друг друга, что если б кто-нибудь предложил депутату сжечь своего соседа в угоду высшему существу, то отвечаю, что не было бы ни одного, который бы не ответил: он человек, как и я, а по первому параграфу инструкции ее императорского величества мы должны делать друг другу как можно больше добра и никакого зла. Уверяю вас, что дела идут буквально так, как я вам говорю: если бы понадобилось подтверждение, у меня бы нашлось 640 подписей с подписью епископа впереди. На юге, быть может, скажут: какие времена, какие нравы! Но север поступит, как луна, которая идет своей дорогой». Вольтер в своем письме выражал удивление пред государынею, которая умела сделать духовенство полезным и послушным.

Еще прежде чем началась переписка с Вольтером, Екатерина обратилась к Даламберу с приглашением приехать в Россию для содействия воспитанию наследника престола цесаревича Павла Петровича. Даламбер отказался; Екатерина продолжала настаивать; она писала ему: «Я понимаю, что вам как философу не стоит ничего презреть величие и почести мира сего; вы рождены или призваны содействовать счастью и даже просвещению целого народа, и отказаться от этого, по моему мнению, – значит отказаться делать добро, которому вы так преданы; ваша философия основана на человеколюбии, так позвольте же мне вам сказать, что не отдать себя ему в служение, когда это возможно, – значит уклониться от своей цели. Я знаю вашу высокую честность и потому не могу приписать вашего отказа тщеславию: я знаю, что причина заключается в любви к спокойствию, в желании посвятить все свое время литературе и дружбе; но что же мешает? Приезжайте со всеми вашими друзьями, я обещаю вам и им все удовольствия и удобства, от меня зависящие, и, быть может, вы найдете здесь больше свободы и спокойствия, чем у вас». Но Даламбер решительно отказался. «Если бы дело шло о том только, чтоб сделать из великого князя хорошего геометра, – писал он, – порядочного литератора, быть может, посредственного философа, то я бы не отчаялся в этом успеть; но дело идет вовсе не о геометре, литераторе, философе, а о великом государе, а такого лучше вас, государыня, никто не может воспитать». Нет сомнения, что одна из главных причин отказа заключалась в том, что не было уверенности в прочности положения Екатерины.

Отказ не повел к ссоре; переписка продолжалась; Даламбер жаловался на гонения, жаловался, что за сочинение его об «Уничтожении иезуитов», сочинение одинаково полезное религии и государству, у него отняли пенсию, которая следовала ему от Академии наук; при этом, писал Даламбер, утешением служило ему то, что король не знал об этой несправедливости. Екатерина отвечала: «У вас во Франции должно быть большое количество великих людей, если ваше правительство не считает себя обязанным покровительствовать тем, которых гению удивляются в странах самых отдаленных. Вы находите для себя утешение в том, что король французский не знает об оказанной вам несправедливости; я нахожу, что это вовсе не утешительно для него; вероятно, окружающие его по деликатности не дают ему знать об этом. На севере (без сомнения, климат тому причиною, здесь чувства не так утонченны), на севере государям не позволяют не знать об отличных умах, имеющих право на их милости. Они обязаны поощрять таланты, иначе заподозрят, что у них самих нет талантов».

Не забыт был и третий знаменитый философ, имя которого неразлучно с именем Вольтера и Даламбера, – Дидро. Екатерина купила у Дидро его библиотеку за 15000 ливров, оставила ее у него в пожизненное пользование и назначила ему еще 1000 франков как хранителю ее книг. Вольтер писал в восторге: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что придет время, когда скифы будут так благородно вознаграждать в Париже добродетель, знание, философию, с которыми так недостойно поступают у нас?» «Вся литературная Европа рукоплещет отличному знаку уважения и милости, какой ваше императорское величество оказали Дидро; он достоин его во всех отношениях по своим добродетелям, талантам, сочинениям и положению», – писал Даламбер императрице. Екатерина отвечала: «Я не предвидела, что покупкою библиотеки Дидро приобрету себе столько похвал. Было бы жестоко разлучить ученого с его книгами; мне часто случалось бояться, чтоб меня не разлучили с моими книгами, поэтому в старину было у меня правило никогда не говорить о моих чтениях. Мой собственный опыт запретил мне доставлять это огорчение другому». Мы не знаем, во сколько справедливо, что Екатерина, будучи великою княгиней, могла опасаться, что ее разлучат с книгами, по крайней мере она не говорит об этом в своих мемуарах.

Новая литературная сила была привлечена, но одновременно с этою силою в Париже явилась другая сила. Литераторы имели нужду собираться вместе; кроме того, явилась надобность в посредствующих местах, где бы литераторы могли сходиться с представителями старой силы, представителями знати, высшего общества. Человек, могший, умевший собирать в своей гостиной отборное по уму, талантам и положению общество, естественно, получал большую силу, важное значение, и нет ничего удивительного, что это значение было приобретено тремя женщинами, записавшими свои имена в истории умственного движения XVIII века; эти имена: Дюдеффан, Лепинасс и Жоффрэн. Преимущественно последняя обладала в высшей степени способностью «держат литературную гостиную». Выдающийся талант, обширная ученость могли только мешать в этом деле, они давили бы общество, не давали ему простора, а между тем хозяину литературной гостиной нельзя также исчезнуть нравственно: он должен держать связь, посредничать, он должен разгадать известную трудную загадку – царствовать, а не управлять. Г-жа Жоффрэн разгадала эту загадку. Она вовсе не была ученая

женщина и имела такт нисколько не скрывать недостатков своего образования, доходивших до незнания орфографии, но своим здравым смыслом и вместе женскою мягкостию умела внушить своим даровитым и ученым посетителям чрезвычайное к себе уважение и привязанность; между ними и ею устанавливались родственные отношения; она становилась матерью, готовою помочь каждому и словом и делом, а известно, что дети с большею охотою обращаются за помощью к матерям, чем к отцам. Благодаря этим качествам г-жа Жоффрэн стала знаменитою держательницей литературной гостиной, стала силой; ни один значительный путешественник не оставлял Парижа, не добившись чести быть представленным г-же Жоффрэн, вследствие чего известность ее скоро перешла границы Франции; с одинаким уважением относились к ней при венском и петербургском дворах, и Екатерина сочла нужным войти с нею в непосредственную переписку.

Мы видели, в каком неприятном положении находилась Екатерина летом и осенью 1764 года по поводу шлюссельбургского происшествия. Когда прошло первое беспокойство относительно важности и обширности заговора, являлся неотвязчивый и мучительный вопрос: что скажут, особенно что скажут на этом Западе, где о русских делах имеют так мало понятия, не хотят и не могут вникать в их подробности, судят по первому впечатлению, и судят обыкновенно криво, зложелательно? Поверят ли, что Мирович действовал по собственному побуждению? Действительно, на Западе поспешили засудить без суда, и пошли недоброжелательные толки насчет участия Екатерины в деле. Вольтер и Даламбер толковали в этом же смысле: первый горячился, второй отзывался цинически. Но когда эти господа позволяли себе относиться к делу с женскою легкостию и страстью к сплетне, Жоффрэн отнеслась к нему с мужскою серьезностию и спокойствием: она желала одного, чтобы делу была дана полная гласность. Екатерина писала ей: «Мое дурное расположение духа прошло; извиняюсь, что писала вам в эти минуты, когда это гнусное дело так меня печалило и давило. Я исполнила ваши желания, велела вести дело со всевозможною обстоятельностью, разбор процесса был сделан публично, приговор произнесен открыто, в котором я ничего не переменила; все будет напечатано. Завистники мои воспользуются случаем, чтоб позлословить, но я успокаиваюсь на искренности и правдивости моего поведения и презираю тех, которые ошибутся относительно моей души». Но Жоффрэн была недовольна тем, зачем Екатерина издала манифест с изложением дела; она писала Станиславу Понятовскому: «Оставляя в стороне факты, находят, что она (Екатерина) издала смешные манифесты, особенно манифест о смерти Ивана: она вовсе не была обязана что-нибудь говорить об этом; процесс Мировича был совершенно достаточен, в нем дело являлось просто и ясно. Думаю, что я ее хорошо знаю, и думаю, что она нуждается в руководителе. Боюсь, чтоб ее ум и страсть к остроумию не увлекли бы ее когда-нибудь». Мы видели, что сама Екатерина сознавала в себе эту страстность, заставлявшую ее принимать слишком быстрые решения; сама сознавала необходимость человека, который бы ее сдерживал.

Жоффрэн написала самой Екатерине свое мнение о манифесте. Та разгорячилась и в горячности написала неудачную защиту, не удержавшись и от некоторых резкостей: «Вы рассуждаете о манифесте, как слепой о цветах. Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтоб уведомить

Российскую империю о смерти Ивана; надобно было сказать, как он умер, более ста человек были свидетелями его смерти и покушения изменника, не было поэтому возможности не написать обстоятельного известия; не сделать этого – значило подтвердить злонамеренные слухи, распускаемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко мне; шаг был деликатный; я думала, что всего лучше сказать правду. У вас болтают о манифесте, но у вас болтали и о Господе Боге, и здесь также болтают иногда о французах. Верно то, что здесь этот манифест и голова преступника прекратили всякую болтовню. Следовательно, цель была достигнута манифестом, ergo он был хорош».

Императрица описывала Жоффриэн свой день, свои занятия: «Я встаю в 6 часов постоянно, читаю и пишу одна до осьми». Екатерина открыла Жоффриэн, что она писала от 6 до 8 часов утра: это была знаменитая законодательная работа, изданная потом под именем «Наказа Комиссии об Уложении». Постоянно работая головою, питая ее обильною пищею посредством чтения, Екатерина рано начала записывать свои мысли, но это записывание не было бесцельным занятием. «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел, – писала Екатерина, будучи великою княгиней. – Бог мне в этом свидетель. Слава страны составляет мою собственную. Вот мой принцип; была бы я очень счастлива, если б мои идеи могли этому способствовать». Приведем некоторые из этих идей, которые записала Екатерина: «Противно христианской религии и правосудию обращать в рабство людей (которые все рождаются свободными). Церковный собор освободил всех крестьян в Германии, Франции, Испании и т.д. Такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но вот легкий способ: постановить, чтоб впредь при продаже имения крестьяне освобождались; в течение ста лет все или по крайней мере большая часть земель меняет господ – и вот народ свободный. Свобода – душа всех вещей! Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов. Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не каприза, не странностей, не жестокости. Когда правда и разум на нашей стороне, должно выставить их пред глаза народу, сказать: такая-то причина привела меня к тому-то, разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возьмет верх в глазах толпы: сдаются истине, но редко сдаются речам тщеславным. Мир необходим этой обширной империи; мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях; наполните жителями наши обширные пустыни, если возможно. Для этого я не думаю, чтобы полезно было принуждать наших инородцев к принятию христианства; многоженство полезнее для увеличения народонаселения. Вот правила для внутренней политики. Относительно внешней – мир доставит нам больше значения, чем случайности войны, всегда разорительной. Власть без доверия народного ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным; этого легко достигнуть: примите за правило ваших действий и уставов благо народное и правосудие, неразлучные друг с другом. Издание нового закона есть дело, сопряженное со множеством неудобств, оно требует самого напряженного размышления и благоразумия; единственное средство узнать, хорошо или дурно ваше постановление, – это распространить о нем слух на рынке и велеть доносить вам, что об нем говорят; но кто вам донесет о последствиях в будущем? Больше всего остерегайтесь издать закон и потом отменить его: в этом обнаружится ваше неблагоразумие и слабость и вы лишитесь доверия народного, если только это не

будет закон временный; в таком случае объявить сначала об этом, обозначить причины и срок, по истечении которого можно возобновить его или отменить. Я желаю ввести, чтоб из лести мне говорили истину; даже придворный пойдет на это, когда увидит, что вы это любите и что это путь к милости. Кто не уважает заслуг, сам их не имеет; кто не старается отыскать заслуги и не открывает ее, тот не достоин и не способен царствовать. Самый варварский и достойный турок обычай – сначала наказать, а потом производить следствие. Если вы найдете человека виновным, что вы будете делать? Он уже наказан. Будете ли вы иметь жестокость наказывать его два раза? А если он невинен, то чем вознаградите его за несправедливый арест, за бесчестие, лишение должности и проч.? Всего больше ненавижу я конфискацию имущества виновных, ибо кто на земле может отнять у детей и всех нисходящих наследство, которое они получают от самого Бога? Не знаю, мне кажется, всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судным комиссиям, особенно секретным. Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их ведению? Быть *стороною* и назначать еще судей – значит показывать, что боишься иметь правосудие и законы против себя. Пускай знатный человек судится Сенатом, как в Англии; во Франции пер судится перами. Не будет больше опасности позволить нашим молодым людям заграничное путешествие (часто бояться, чтоб они не ушли совсем), когда сделают им отечество *любезным*, я заключаю великий смысл в этом слове. Государство не много потеряет, если лишится двух или трех пустых голов, и если отечество будет таково, каким я желаю его видеть, то мы будем иметь больше *новобранцев*, чем *беглецов*; издали приходили бы за нашими девушками и приводили бы своих к нам; раз дело пойдет таким образом, то просвещение распространится несколькими поколениями ранее и там, где его теперь нет. Снисхождение, примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, и политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем вводить их властью». Из этих заметок видно, как мысль Екатерины давно уже работала над законодательными вопросами под влиянием прочитанного из западной современной литературы, и преимущественно под влиянием книги Монтескье. В письмах к Даламберу и г-же Жоффрэн видно, как Екатерина относилась к этой книге. Обещая прислать свой «Наказ», Екатерина пишет Даламберу: «Вы увидите, как для пользы своей империи я обобрала президента Монтескье, не называя его: надеюсь, что если с того света он видит мою работу, то простит этот литературный грабеж для блага двадцати миллионов людей, какое из того должно последовать. Он так любил человечество, что не будет формализовать, его книга – это мой молитвенник». Упрекая Жоффрэн в странном мнении, что в России дети наследуют отцам только с соизволения государя, Екатерина писала: «Правда, что до меня конфискация производилась слишком легко, но я это уничтожила во многих случаях, и законодательство в этом отношении будет совершенно изменено. Имя президента Монтескье, упомянутое в вашем письме, вырвало у меня вздох; если б он был жив, я бы не пощадила... Но нет, он бы отказался, как и... (Даламбер). Его „Дух Законов“ есть молитвенник государей, если только они имеют здравый смысл».

В одном из писем к Жоффрэн Екатерина говорит вообще о влиянии новой философской литературы на сочинение «Наказа»: «Прошу вас сказать Даламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, из которой он увидит, к чему могут служить

сочинения гениальных людей, когда хотят делать из них употребление; надеюсь, что он будет доволен этим трудом; хотя он и написан пером новичка, но я отвечаю за исполнение на практике». В июне Екатерина писала той же Жоффрэн: «64 страницы о законах готовы, остальное явится по возможности; я отошлю эту тетрадь г. Даламберу: я все здесь сказала и после этого не скажу ни слова всю жизнь; все те, которые видели мою работу, единодушно говорят, что это верх совершенства, но мне кажется, что еще надобно почистить; я не хотела, чтоб кто-нибудь мне помогал, боюсь, чтоб помощники не нарушили единства». Сходно с этим Екатерина говорит о «Наказе» в своей записке о том, в каком состоянии она нашла Россию при своем воцарении: «Все требовали и желали, чтоб законодательство было приведено в лучший порядок. Я начала читать, потом писать Наказ Комиссии Уложения. Два года я и читала, и писала, не говоря о том полтора года ни слова, но следуя единственно уму и сердцу своему с ревностнейшим желанием пользы, чести и счастья империи и чтоб довести до высшей степени благополучие всякого рода живущих в ней, как всех вообще, так и каждого особенно. Предуспев, по мнению моему, довольно в сей работе, я начала казать по частям статьи, мною заготовленные, людям разным, всякому по его способностям, и между прочими князю Орлову и графу Никите Панину. Сей последний мне сказал: „Ce sont des axiomes a renverser des murailles“ (Это аксиомы, способные разрушить стены). Князь Орлов цены не ставил моей работе и требовал часто, чтоб тому или другому оную показать. Но я более одного листа или двух не показывала вдруг». Мы еще обратимся в своем месте к этому произведению Екатерины.

Даламбер не поехал в Россию содействовать воспитанию великого князя, и это воспитание производилось своими домашними средствами. Главным руководителем оставался по-прежнему Ник. Ив. Панин; из его помощников в деле воспитания резко выделялся молодой офицер, учитель математики Семен Андреевич Порошин, воспитанник кадетского корпуса. Родившийся в год восшествия на престол Елисаветы, Порошин принадлежал к тому поколению даровитых русских людей, которые с жаром примкнули к начавшемуся тогда литературному движению; знание иностранных языков, давая возможность удовлетворить жажде к чтению, расширило его умственный горизонт; он с уважением относился к вождям так называемого просветительного движения на Западе, но уважение не переходило в увлечение; подобно Екатерине, Порошин принял за образец пчелу, которая из разных растений высасывает только то, что ей надобно. Порошин умел остаться русским человеком, горячим патриотом, имевшим прежде всего в виду пользу и славу России. С этим-то высоким значением образованного человека и горячего патриота явился Порошин среди людей, призванных участвовать в воспитании наследника престола, и, разумеется, немедленно же обратил на себя внимание и приобрел более других влияния над ребенком. Главная цель Порошина при воспитании будущего государя состояла в том, чтоб внушить ему горячую, беспредельную любовь к России, уважение к русскому народу, к знаменитым деятелям его истории. При этом Порошин должен был бороться с большими трудностями, часто испытывать горькую досаду. Десятилетний великий князь постоянно слышал вокруг себя о процветании наук и искусств на Западе, слышал постоянные похвалы тамошнему строю быта вообще, отзывы о тамошнем богатстве, великолепии, о том, как Россия отстала от

Западной Европы во всех этих отношениях, причем некоторые позволяли себе отзываться о русском и русских даже с презрением. Порошин считал своею обязанностию уничтожить впечатление, производимое подобными разговорами на великого князя. Разумеется, Петр Великий с своею небывалою в истории деятельностью, заставившею Западную Европу с уважением обратиться к России, выручал здесь Порошина: зато с каким же благоговением относился он к Преобразователю, к его сподвижникам и птенцам! Но и тут искушение. Времена Петра Великого были еще в свежей памяти, а между тем прошло уже царствование Елисаветы, отучившее от крови, произведшее посредством литературных влияний переворот в нравственных понятиях; по мерке этих новых понятий время Петра являлось уже грубым и жестоким. Не было истории, но было множество анекдотов, которые своими живыми красками производили особенно сильное впечатление. Порошин, не имея поддержки в не существовавшей тогда исторической науке, разумеется, должен был обращаться к общему рассуждению, что всякий человек, как бы велик ни был, имеет недостатки; но представление великого человека настоящим, живым человеком, с великими качествами, великими страстями и неразлучными с человеческою природою ошибками – такое представление малодоступно ребенку, да и не ребенку только; и взрослый с великим трудом достигает до такого по возможности цельного представления; ему гораздо легче представлять исторических деятелей сплошными, окрашенными в один цвет: белый – так весь белый, черный – так весь черный.

Порошин в своих записках рассказывает, что однажды «говорили о нашем факторе, который в Ливорне, что его весьма там хорошо принимают. Его высочество спросить изволил: а кто таков этот фактор? На сей русский вопрос отвечивал тут некто, не сказав о его имени: „C'est un russe. Monseigneur. Il est pourtant un homme assez entendu“. „Я желал бы (слова Порошина), чтоб в уши великого князя меньше таких выражений входило; в таком бы случае лучше соблюли мы пользу свою. Когда Всевышний обрадует нас и сподобит увидеть государя цесаревича в совершенном возрасте, тогда по остроте своей, конечно, сам он увидит, какие есть в нашем народе недостатки. Но разность тут такую я предвижу, что ежели вложена в него будет любовь и горячность к народу, то, усматривая народные слабости, будет усматривать, какие есть в нем достоинства и добродетели, и об отвращении тех слабостей так, как чадолюбивый отец, пещись и стараться будет; а что ежели, напротив того, от неосторожных речей или ненавистных внушений получит отвращение и презрение к народу, то будет видеть в нем одни только пороки и слабости, не видя его добродетелей, пренебрегать, а не исправлять их, гнушаться именем россиянина. А от сего, какие для отечества и для него самого произойти могут следствия, всякой, подумав назад кое о чем (т.е. о Петре III), легко рассудит“. В другое время за обедом разговаривали о придворных маскарадах. „Говорили, что ежели так продолжаться будет, то не многие со временем станут и ездить: стола нет, пить ничего не допросишься, кроме кислых щей, игры нет. Иные говорили тут, что та беда, что у нас на даровое падки, и если б все давать, так изошло бы много. Сие примечание, сказанное при его высочестве, весьма мне не понравилось, ибо такие разговоры вкоренить в него могут худую идею о характере нашей публики скорее, нежели б прямо кто ругать ее при нем стал“.

Однажды великий князь хвалил письменный стол, сделанный русскими ремесленниками, и прибавил: «Так-то ныне Русь умудрися!» Порошин не упустил случая сказать, что «ныне у нас много весьма добрых мастеровых людей; что все это заведение его прадедушки государя Петра Великого; что то, что им основано, можно бы довести и до совершенства, если б не пожалеть трудов и размышления».

Но скоро после этого другой рассказ: «Пострадал я сего дня за столом ужасно. И как не страдать, когда вот что происходило: разговорились мы о государе Петре Великом; некто, прешед молчанием все великие качества сего монарха, о том только твердить рассудил за благо, что государь часто напивался допьяна и бил министров своих палкою. Потом как зачал он выхвалять Карла XII, короля шведского, и я сказал ему, что Вольтер пишет, что Карл XII достоин быть в армии государя Петра Великого первым солдатом, то спросил у него его высочество: „Неужели это так?“ На сие говорил он его высочеству, что, может быть, и написано, однако то крайнее ласкательство; наконец, как я говорил о письмах государевых, которые он из чужих краев писал сюда к своим министрам, и упоминал, что для лучшего объяснения его истории надобно непременно иметь и те письма, что я многие у себя имею, и прочее, то первый некто никакого более на то примечания не изволил сделать, как только, как смешны эти письма тем, что государь в них писывал иногда: „Мингер адмирал“ – и подписывал: „Питер“. Признаюсь, что такие речи жестоко меня тронули и много труда мне стоило скрыть свое неудовольствие и удержать запальчивость. Я всему разумному и беспристрастному свету отдаю на рассуждение, пристойно ли, чтобы престола российского наследник и государя Петра Великого родной правнук таким недоброхотным разговорам был свидетель? Чьи дела большее в нем возбудить внимание, сильнейшее произвесть в нем действие и для сведения его нужнее быть могут, как дела Петра Великого? Они по всей подсолнечной громки и велики, превозносятся с восторгом сынов российских устами. Если бы не было никогда на российском престоле такого несравненного мужа, то б полезно было и вымыслить такова его высочеству для подражания. Мы имеем толь преславного героя, и что делается? Я не говорю, чтоб государь Петр Великий совсем никаких не имел недостатков. Но кто из смертных не имел их?» Порошин счел нужным читать своему воспитаннику Вольтерову историю Петра Великого и при всяком удобном случае сам рассказывал о Петре, что знал; очень был доволен, когда и другие говорили «с должными похвалами». Когда однажды зашел разговор, что большая разница между дерзостью и неустрашимостью, то Порошин «говорил о государе Петре Великом, что он от природы, как сказывают, не весьма храбр был, но что слабость свою преодолевал рассуждением и в бесчисленных случаях показывал удивительное мужество, что не токмо не умаляет его великости, но еще утверждает ее». Легко понять, как сочувствовал Порошин людям, одинаково с ним смотревшим на Петра; так, читаем в его записках: «Говоря о предприятиях сего государя, сказал граф Иван Григорьевич (Чернышев) с некоторым восхищением и слезы на глазах имея, это истинно Бог был на земли во времена отцов наших. Для многих причин несказанно рад я был такому восклицанию».

Не один раз граф Иван Григорьевич Чернышев доставлял счастливые минуты Порошину. «Никита Иванович (Панин) и гр. Иван Григорьевич рассуждали, что если б в других местах жить так оплошно, как мы здесь живем, и так открыто, то б давно все у нас перекрали и нас бы перерезали. Причиною такой у нас

безопасности, полагали Никита Иванович и граф Иван Григорьевич, добродушие и основательность нашего народа вообще. Граф Александр Сергеич Строганов сказал к тому: „Поверьте мне, это только глупость. Наш народ есть то, чем хотят, чтоб он был“. Его высочество на сие последнее изволил сказать ему: „А что ж, разве это худо, что наш народ таков, каким хочешь, чтоб был он? В этом, мне кажется, худобы еще нет. Поэтому и стало, что все от того только зависит, чтоб те хороши были, кому хотеть надобно, чтоб он был таков или инаков“. Разговаривая о полицмейстерах, сказал граф Александр Сергеич: „Да где ж у нас возьмешь такого человека, чтоб данной большой ему власти во зло не употребил?“ Государь с некоторым сердцем изволил на то молвить: „Что ж, сударь, так разве честных людей совсем у нас нет?“ Замолчал он тут. После стола, отведши великого князя, хвалил его граф Иван Григорьич за доброе его о здешних гражданах мнение и за сделанный ответ графу Александру Сергеичу».

Порошин рассказывал великому князю, что во время пожара, бывшего у него в соседстве, четверо каких-то офицеров гвардии напали на одного человека, который шел по улице в малиновом платье с позументом. Цесаревич сказал на это: «Человек-то в малиновом кафтане уж, конечно, был немец». Порошин не вытерпел: «По какой причине изволили вы молвить, что в малиновом кафтане был немчин? Ежели то было в таком мнении, будто бы русский человек не мог иметь столько мужества и предприимчивости, то весьма изволите в том ошибаться: храбрость российского народа и многие изящные его дарования как по истории известны, так и на нашей памяти в последнюю войну всему свету доказаны и от самих неприятелей наших признаны. Сверх того, такие вашего величества отзывы весьма вам могут быть вредны: можете расхолодить сердца, которые ныне все единодушно горят к вам усердием и верностию». «Государь цесаревич, – говорит Порошин, – сам очень был тронут и божился мне, что ему подумалось, что в малиновом кафтане человек начал ссору и что ему кажется, что всегда в малиновых кафтанах немцы по трактирам ходят и забиячества начинают». Когда таким образом внушалось постоянно об умственных и нравственных достоинствах русского народа, дававших ему способность к успехам вперед на всех поприщах, то легко было говорить прямо о том, как в настоящее время Россия отстала от Западной Европы в материальном отношении. Ник. Ив. Панин рассказывал, что он ехал из Швеции в Россию через город Торнео. «Каков этот город, – спросил великий князь, – хуже нашего Клину или лучше?» Панин отвечал: «Уж Клину-то нашего, конечно, лучше. Нам, батюшка, нельзя еще о чем бы то ни было рассуждать в сравнении с собою. Можно рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы, верно, всегда потеряем».

По печальному опыту предшествовавшего царствования считали нужным предупредить в великом князе развитие привязанности к иностранному владению, наследованному от отца. Порошин рассказывает под 26-м числом августа 1765 года: «На сих днях получено известие о кончине цесаря (Франца I). Долго говорили между прочим его высочеству, что сия кончина ему как принцу немецкой империи более всех должна быть чувствительна: каков-то милостив будет к нему новый цесарь и проч. Никита Иванович и граф Захар Григорьевич (Чернышев) пристали також к сей шутке и над великим князем шпыняли. Он

изволил все отвечать: „Что вы ко мне пристали? Какой я немецкий принц! Я великий князь российский“. Граф Иван Григорьевич (Чернышев) подкреплял его».

Тот же печальный опыт заставлял при воспитании великого князя относиться с большою осторожностью к военным упражнениям. Порошин оставил нам по этому поводу такое рассуждение: «Его императорское высочество приуготовляется к наследию престола величайшей на свете империи – Российской; многочисленное и преславное воинство ждать будет его мановения, науки и художества просить себе проницания его и покровительства, коммерция и мануфактуры неутомимого попечения и внимания, пространные реки удобного соединения требовать будут – словом сказать, обширное государство неисчетные пути откроет, где может поработать учение, остроумие и глубокомыслие великое и по которым истинная слава во всей вселенной промчится и в роды родов не умолкнет. Такие ли огромные дела оставляя, пуститься в офицерские мелкости? Я не говорю, чтоб государю совсем не упоминать про дело военное. Никак! В том опять сделано было бы упущение; но надобно вложить в мысли его такие сведения, которые составляют великого полководца, а не исправного капитана или прапорщика. Сверх сего в безделье пускаться весьма опасно. Они и такого человека, который совсем к ним не склонен, притянуть к себе могут. Лениности нашей то весьма угодно, а тщеславие не преминет уже стараться прикрыть все видом пользы и необходимости. Легче в безделках упражняться, нежели в делах великих. Таким образом, пораздумавшись, положил я себе твердо, чтоб государю к этим и тому подобным мелочам отнюдь вкусу не давать, а стараться как можно приучить его к делам генеральным и государские великости достойным». Вот почему Порошин с восторгом упоминает об одном военном разговоре, происходившем в присутствии великого князя! «Обедали у нас графы Захар Григорьевич и Иван Григорьевич Чернышевы, Петр Ив. Панин, вице-канцлер кн. Александр Мих. Голицын, Мих. Мих. Философов, Александр Фед. Талызин и кн. Петр Вас. Хованский. Говорили по большей части граф Захар Григор. и Петр Иванович о военной силе Российского государства, о способах, которыми войну производить должно в ту или другую сторону пределов наших, о последней войне прусской и о бывшей в то время экспедиции на Берлин под главным предводительством графа Захара Григорьевича. Все сии разговоры такого рода были и столь основательными наполнены рассуждениями, что я внутренно несказанно радовался, что в присутствии его высочества из уст российских, на языке российском текло остроумие и обширное знание».

Религиозное образование наследника было поручено ученому монаху и знаменитому тогда проповеднику Платону (Левшину), бывшему впоследствии московским митрополитом. Порошин отзывается о Платоне постоянно с великим уважением. 20 сентября 1764 года, в день рождения великого князя, Платон говорил проповедь на текст: «В терпении вашем стяжите души ваша». «Сею проповедью, – говорит Порошин, – ее величество приведена была в слезы, и многие из слушателей плакали, когда проповедник на конце предлагал о терпении ее величества в понесении трудов для пользы и безопасности отечества, о успехах его высочества в преподаваемых ему науках и о следующей оттуда надежде российской». В другой раз Платон говорил проповедь на текст: «Будьте милосерды, якоже и Отец ваш Небесный милосерд есть». Порошин слышал отзыв Екатерины по поводу этой проповеди: «Отец Платон сердит сегодня был, однако

ж очень хорошо сказывал. Удивительный дар слова имеет». Порошин записал и другой отзыв Екатерины по поводу проповеди Платона: «Отец Платон делает из нас все, что хочет; хочет он, чтоб мы плакали, мы плачем; хочет, чтоб мы смеялись, мы смеемся». Никита Ив. Панин восхищался здравыми мыслями, ясною головою Платона и говорил: «Дай Бог только, чтоб этот человек духовный у нас не испортился, обращаясь между прочими, в числе которых всяких довольно». Но когда потребовалось от Панина позволение напечатать катехизис отца Платона, то автор должен был долго об этом стараться «не потому, – говорит Порошин, – чтоб Никита Ив. на печатание не соглашался, но что книга у его превосходительства заложена была в бумагах далеко, отыскать времени не доходило».

К сентябрю 1765 года великий князь окончил с отцом Платоном первую часть «Богословия», и был экзамен в присутствии императрицы. «Его высочество, – говорит Порошин, – весьма хорошо и смело изволил отвечать. Никита Ив. поднес государыне ответы, писанные рукою его высочества, на богословские вопросы отца Платона. В сих вопросах, между прочим, один есть, чтобы доказать примером, как страсти наши против разума воюют. Его высочество изволил написать тут: например, разум говорит: не ездь гулять, дурна погода; а страсти говорят: нет, ничего, что дурна погода, поезжай, утешь нас! Его величество не из чужих страстей пример себе выбрать изволил! При экзамене были граф Мих. Лар. Воронцов, граф Александр Борис. Бутурлин и множество придворных. Во время экзамена старик Александр Борисович, подошед ко мне, говорил: „Слава Богу, что от таких лет его высочество духом страха Божия наполняется. Сожалительно, что покойная императрица Елисавета Петровна не дожила до того удовольствия, чтобы в таком состоянии его видеть“. После экзамену ее величество долго изволила разговаривать с его преподобием отцом Платоном о раскольниках, о разных их ересьях и о способах к их обращению. Удивился я тут, между прочим, услышав, что ее величество книгу „Увет Духовный“ читать изволила».

Порошин заметил о великом князе: «Вообще справедливость ему отдать должно, что он обыкновенно службе Божией с благочинием и усердием внимать изволил. Да укрепит его Господь и впредь во благочестии и в православной вере нашей непоколебимо!» Описывая, как проводил великий князь день Успения Богородицы, Порошин говорит: «Одевшись, изволил читать с отцом Платоном Св. Писание. Потом разбирали мы книжку, в которой служба на сегодняшний праздник, и пели оттуда стих: „Побеждаются естества уставы в тебе, дева чистая“» и проч.

И одновременно с этим постоянно замечается сильное влияние господствующего литературного направления. Так, однажды великий князь вздумал сочинить описание публичного маскарада; Порошин сохранил это сочинение; здесь первую группу составляли петиметры, вторую доктор с больными, третью комедианты, ужинающие с знатными господами, которые обходятся с ними за панибрата, четвертую педанты: «Идут четыре человека педантов; рассуждают об науках все неправильно и некстати и сердятся на новых философов, которые разуму последуют». Есть и группа раскольников: «Идут раскольники и бранят наших священников, для чего они по старым книгам не служат и на семи просвирах не поют обедни». В записках Порошина находим следующий разговор его с великим князем: «За чаем разговорились мы о сочинениях г. Монтескье, о котором вчера читали. Спрашивал у меня его

высочество, какие он писал книги. О чем я доносил ему подробно. Потом спросить изволил: „А книгу „Esprit“ кто писал и о чем она, скажи мне, пожалуй, хорошенько?“ Сказывал я великому князю о Гельвециусе, сочинителе сей книги, и толковал, в чем состоит его сочинение, стараясь, сколько мог, подать его высочеству не во многих, но сильных словах настоящее о том понятие. Разговорились мы и вообще о книгах. Его высочество изволил сказать: „Куды как книг-то много, ежели все взять, сколько ни есть их; а все-таки пишут да пишут“. Говорил я его высочеству, что для того все пишут да пишут, что много еще есть вещей и дел совсем неоткрытых и неизвестных, которые мало-помалу открываются, и что многие известные и открытые требуют объяснения и дополнения; что чтение человеку, чем он выше над прочими, тем полезнее; но что между множеством книг весьма много есть дурных и посредственных, для чего надобен необходимо выбор: первое, чтоб книги были самые лучшие, второе, чтобы они с тем состоянием соответствовали, в котором упражняющийся в чтении находится; что хотя и говорят, что „ремесла за плечьями не носят“, однако одно другого может быть нужнее и необходимее; что со всем тем есть такие книги, которые для всякого состояния к просвещению разума необходимы; что в числе таких книг почитаю я и сочинения г. Монтескье, и „Esprit“ Гельвециусов; что таких книг не так много, чтобы в них очесться было можно». Наслышавшись о «Генриаде» Вольтера, маленький великий князь заставил Порошина принести себе эту книгу и слушал ее со вниманием.

Относительно воспитания великого князя Порошин должен был выдержать любопытный спор с одним из своих товарищей: «Я несколько поспорил с Тимофеем Ив. Остервальдом. Он говорит, что надобно, чтобы у великого князя на половине всякую неделю два раза были куртаги, дабы публика его узнала и он бы к обхождению привыкал. Я с сим мнением не был согласен и говорил, что еще начинать ныне рано, предлагая тому следующие причины: великий князь без того всякое воскресенье ходит на ту половину на куртаг, по вечерам иногда бывает у государыни; если дозволить всем съезжаться к нему каждую неделю по два раза, то сие может разбить внимание его к ученью; родится неминуемо от людей, которые к нему уже так, как к великому князю, приезжать будут, ласкательство, от чего предлагаемая после нами ему правда черства будет казаться и неприятна; видя себя так часто большим, не мило будет после идти в меньшие и слушаться; теперь, хотя и узнает его публика, какой от того ждать прибыли? Он дитя еще, не имеет довольно знаний, чтобы блистать мог; лучше стараться украсить его достоинствами и разными знаниями и потом допустить узнать его».

Но мы видели, что к столу великого князя по распоряжению Панина приглашались гости, разговоры которых приводятся у Порошина, приводится и об участии великого князя в этих разговорах. Для нас эти разговоры очень любопытны, кроме того, что показывают взгляды деятелей того времени: эти люди хорошо помнят недавнюю старину, хорошо помнят первую половину века; но они уже прожили время, изменившее во многом их понятия, и они относятся отрицательно к хорошо знакомой им старине; если б не было этого отрицательного отношения, то они бы не стали говорить об известных явлениях, считая их делом обыкновенным. Таким образом, благодаря Порошину мы присутствуем при столкновении взглядов двух поколений, двух половин XVIII века. Никита Ив. Панин однажды рассказывал, как один генерал сказывал о себе в

большой компании, что он смолоду не чист был на руку и что как один раз у Бориса Петровича Шереметева что-то тяпнул и Шереметев его после отдул батожьем, то с тех пор как рукой сняло. Тот же генерал, быв в одно время у гетмана (Разумовского), рассуждал, «какие недотыки ныне люди стали: нельзя выбрать, а бывало-де палочьем дуют, дуют, да и слова сказать не смеешь». Другой рассказ: «Пришел с той половины из-за стола ее величества князь Сергей Вас. Гагарин. Шутил с ним Никита Ив. и разговаривал о прежней жизни, как они еще унтер-офицерами были, рассказывал, как тогда гвардии майор Шепелев у князя Сергея Вас. отнял табакерку и после его же хотел батожьем высечь». Никита Ив. Панин говорил Порошину, что он собрал отовсюду рапорты, где какие колодники содержатся и по каким делам в разные правления разосланные. «Изволил говорить, что превеликая у него теперь о том книга; что вчера читал ее и с удивлением видел, что люди за такие вины кнутьями сечены и в ссылки посланы были, за которые бы выговором только строгим наказать было достойно; что потому можно некоторым образом рассуждать о нравах тех времен». Из разговоров за столом у наследника узнаем, что в царствование Елисаветы прекратился обычай держать шутов, и прекратился именно вследствие отвращения к нему этой государыни. «Рассказывал Никита Ив. о шуте Балакиреве, также и о графе Апраксине, которые оба во время государыни Анны Иоанновны были. О Балакиреве сказывал с похвалою, что шутки его никогда никого не язвили, но еще многих часто и рекомендовали. Граф Апраксин, напротив того, несносный был шут, обижал часто других и за это часто бит бывал. Г. Салдерн и я (Порошин) говорили Никите Ив., что в тогдешнее время везде мода была на дураков и у всех почти дворов их держали, но что ныне совсем этот обычай миновался. Соглашался на то и его превосходительство, сказывая притом, что покойная государыня Елисавета Петровна терпеть не могла, чтоб у кого в доме такой шут был». В другом месте Порошин рассказывает: «Говорили, как покойный государь (Петр Великий) в Париже был. О Бироне, о Бутурлине и прочие анекдоты; также анекдоты царства Анны Иоанновны: шуты на ящиках сидели, куры Богу молились в образной». Обычай миновался, но корень его еще не совсем был вырван, ибо оставалась в обществе значительная доля детскости, неразвитости. Доказательство приводит сам Порошин: «Пришел к нам Никита Ив., и пошли в сад гулять. Там пристал к нам граф Иван Григорьевич Чернышев. До приходу еще его высочества в саду попался графу Ив. Григорьевичу тут навстречу какой-то просвирнин сын, малый лет уже тринадцати, но весьма простой и глупый; одет странно: в сапогах, в портках, в лебяжьей фуфайке и в колпаке. Этого дурака сыскали и привели к великому князю. С полчаса с ним стояли его высочество, Никита Ив. и мы, все делали ему разные вопросы, и его высочество глупым его ответам очень много изволил смеяться. Граф Ив. Григорьевич между тем, глядя его по голове, приговаривал: „Отвечай, друг мой Иванушка, не бойся, отвечай, Иван Петрович“. Подлинно, что сцена была смешная». Хотелось бы к чести Порошина предположить, что в последних словах его заключается ирония. Но это не один случай; в дневнике Порошина часто встречаем известия, из которых видно, что над молодым князем Куракиным, неразвитым и трусливым, потешались у наследника как над шутом, например: «Никита Ив. (Панин) сам Куракина повел в темные сени к Строганову и, попугав,

возвратился. Прочие повели Куракина к Строганову. Там Строгановы слуги наряжались в белую рубашку и парик. Куракин жестоко трусил».

Иногда рассказывалось и о настоящих, вовсе не смешных явлениях: «Сели мы за стол. Рассказывал государь, что он сегодня от ее величества слышать изволил, что недавно пойман на разбое в Московской губернии один дворянин, за которым душ около 400 было. Дворянин сей был в отпуску из службы, просрочил долго, к полку не смел явиться и пошел в разбой».

Мы еще не раз будем иметь случай обращаться к драгоценным запискам Порошина. Ведение этих записок автор считал своею обязанностию, имея при этом воспитательную цель. Он их читал великому князю, «который несказанно был доволен и с крайним вниманием изволил слушать. Говорил только о некоторых касающихся до него правдах, нельзя ли их выпустить». Порошин отвечал со смехом, что есть пословица: из песни слова не выкинешь. К несчастью, записки Порошина обнимают только два года – 1764-й и 1765-й. В конце последнего года из записок видим, что против автора их уже ведется интрига. Порошин говорит очень темно об интриге, лиц не называет. Можно видеть только, что, выдаваясь слишком резко из толпы своими достоинствами, отличаясь добросовестностию, желанием быть как можно чаще с наследником и служить ему своими советами и сведениями, Порошин приобрел сильное влияние на впечатлительного ребенка. Нашлись люди, которым это не понравилось и которые постарались произвести холодность между великим князем и Порошиным. Мы видели, как Порошин отнесся к предложению завести куртаги у наследника; как видно, он находил, что великий князь и без того имеет много рассеяний, вредных для серьезных занятий; так, в записке занесено: «У меня очень дурно учился, так что я, брося бумаги, взял шляпу и домой уехал. Причины дурному сегодняшнему учению иной я не нахожу, как ту, что учиться он начал несколько поздно, а после моих лекций оставалось еще фехтовать и сходить за ширмы подтянуть чулки и идти на концерт. И так боялся и нетерпеливствовал, чтоб не опоздать». Встречаем и такие жалобы Порошина на своего воспитанника: «Говорил все о штрафах, и я бранил его за то: „С лучшими намерениями в мире вы заставите ненавидеть себя, государь“. Очень стал ветрен». В конце месяца Порошин записал: «На меня все-таки сердит». А ребенок жаловался, что ему мало развлечений, зачем в вольный маскарад его не водят, жилище свое в горести называл монастырем Павловским, Никиту Ив. Панина настоятелем, а себя вечно дежурным монахом. С другой стороны, завистливые кавалеры указывали Панину, что Порошин забрал себе слишком много влияния на великого князя. Порошин рассказывает такой любопытный случай: «Я не был сегодня дежурным, однако государь цесаревич просил меня, чтобы пришел я к нему и поговорил с ним о чем-нибудь или бы что прочитал ему. Его высочество откушал у себя в опочивальне один. Пошли мы за Никитою Ив. за большой стол обедать; с великим князем остался дежурный кавалер, мой товарищ. Из-за стола хотел было я иттить к государю цесаревичу, дабы оный дежурный мог отойттить обедать, но вместо меня кавалер, который был поддежурный, захотел сам иттить к его высочеству, так, как ему и следовало. Не противоречил я в том нимало, не хотя из такой безделицы сделать другому огорчение; так и сделалось. Пошел он другога сменить, а тот на его место пришел обедать. Как обед наш совсем кончился, пришли мы все за Никитою Ив. к его высочеству в опочивальню. Лишь вошел я, то заметил, что его высочество

весьма раздражен и на вышеупомянутова поддежурнова кавалера смотрел очень косо. Подошед, спрашивал я государя цесаревича, что он так гневен. Изволил отвечать мне, указывая на одного кавалера: „Вот дурак-от на меня сердится, что я тебя люблю“. До того дошло, что его высочество жаловался Никите Ивановичу на поддежурнова одного кавалера, что он на него сердится. Кавалер поддежурной, к немалому моему удивлению, совсем из себя выступя, говорил его превосходительству, что как скоро пришел он из-за стола к великому князю сменить друга, то его высочество, осердясь, сказал ему: „Зачем тебя черт принес, для чего не пришел ко мне Порошин?“ Еще в жару своем продолжал оный кавалер, что его высочество по большей части изволит всегда разговаривать со мною (т.е. с Порошиным), что гневается, когда другой подойдет тут, что изволит говорить, что они все меня ненавидят за то, что он меня любит, что изволит браниться и говорить, что, как бы они меня ни ненавидели, он еще больше любить меня будет назло им, что и сам-де Никита Иванович приказывает ему (Порошину) давать мне (великому князю) наставления, а мне его слушаться и пр. Никита Иванович кричал на великого князя, для чего он так неучтиво с кавалером своим обходится; что ежели он так поступает, то его превосходительство запрещает, чтоб с ним один на один никто не оставался, что очень дурно его высочеству так изъясняться, *а что и того дурнее, ежели оные его речи происходят от каких внушений* ». Под 8 ноября 1765 года записан любопытный разговор: «Из посторонних обедал у нас только Иван Перфильевич Елагин. Как я между прочим подшпынял над его высочеством, что он на блюдо трески изволит смотреть с крайним аппетитом, а, может быть, кушать ее не дадут, то, будучи тем несколько тронут, изволил он говорить: „Ну, пусть это так: теперь позволь же мне и про тебя нечто сказать. Знаете ли, сударь Никита Иванович, что вы ему больше досады сделать не можете, как ежели зачнете говорить с ним по-немецки; насмерть этого языка не любит“. Говорил я на то, что не любить мне его не для чего, а что редко говорю, это оттого, что случаев к тому мало имею. Иван Перфильев примолвил к тому: „Для чего ему не любить немецкого языка? Он в нем очень силен и по-немецки говорить великий мастер“. На сие сказал я Ивану Перфильевичу, что бывают часы, когда и никаким языком говорить не хочется. Никита Иванович очень в сие вслушался, чего мне и хотелось, потому что с тем намерением и сказал я то».

Интрига достигла своей цели. Спустя несколько времени встречаем в записках жалобу Порошина на холодность великого князя и на придворные шутки, а под 3 декабря записано: «Когда я дежурный, то прежде, нежели чай сберут, изволит его высочество обыкновенно сам входить ко мне и разговаривать со мною. Сего утра того не было, и как я вошел к государю цесаревичу, то он, принявши меня очень холодно и долго бывши в молчании, изволил наконец сам перервать сие молчание и спросить меня: „А что это значит, что я перед чаем не вошел к тебе?“ Ответствовал я, что лучше о том надобно знать его высочеству; что я вижу, что его высочество на меня сердится, а за что – подлинно не знаю. На сие изволил мне говорить государь цесаревич с некоторым жаром: „Ты это заслуживаешь: знаю я теперь, что все то значило; что ты прежде ни говорил со мною, и я уже обо всем рассказал Никите Ивановичу“. Рассказано было и о записках. „Во время оных перетолкований его высочеству речей моих и рассуждений, на справедливости и усердии основанных, – говорит Порошин, –

привели государя цесаревича, что и о журнале моем рассказать он изволил (хотя прежде и обещался, чтобы никому об оных не сказывать, и донныне ненарушимо хранил свое обещание), думая, что и то будет служить мне в предосуждение и в обличение коварных моих, как они называли, умыслов; и в самом деле, и о сих записках уверили его высочество, что они со временем будут только служить к его стыду и посрамлению“. Панин потребовал записки. Если он и прежде по известным внушениям переменил свой взгляд на Порошина, то записки окончательно должны были оттолкнуть его от их автора. В них на первом плане великий князь и Порошин; о Панине говорится с уважением, но нравственное значение его не выдается вперед. Некоторые из лиц, посещавших великого князя, выставлены беспощадно с точки зрения автора записок, что не могло не обеспокоить Панина, тем более что некоторые из этих лиц были очень крупны и Порошин назначал записки для чтения великому князю; могло показаться опасным и неприятным, что малейшее слово всех посещавших наследника, слово, сказанное невзначай (в том числе и каждое слово самого Панина), было записано и будет потом возобновлено в памяти великого князя, а может быть, передастся и кому-нибудь другому. Панин был откровенен с Порошиным в своих отзывах о лицах высокопоставленных, и все это было записано, например: „Никита Иванович изволил долго разговаривать со мною о нынешнем генерал-прокуроре кн. Вяземском и удивляться, как фортуна его в это место поставила: упоминаемо тут было о разных случаях, которые могут оправдать сие удивление“.

Под 28 декабря 1765 года Порошин записал: «Хотя и была у меня с его высочеством экспликация, однако после тех интрижек и наущничеств все еще не примечаю я к себе со стороны его высочества той доверенности, той горячности и тех отличностей, которые прежде были. От Никиты Ивановича поднесенных ему тетрадей записок не получил я еще и никакого об них мнения, ни худого ни доброго, не слыхал от его превосходительства. При таких обстоятельствах продолжение сего журналу становится мне скучным и тягостным. Если они не переменятся, то принужден буду его покинуть, дабы употребить это время на то, что авось либо более к спокойствию моему послужит».

В начале 1766 года Порошин вдруг был удален от двора великого князя и получил приказание отправиться на службу в Малороссию. В письме Фон-Визина к сестре находится приписка: «Порошин удален от двора за невежливость, оказанную им девице Шереметевой». Вот все, что мы знаем о предлоге удаления. В страшной, неожиданной беде, которая отнимала у него все будущее, все будущее его семейства, пятнала бесчестною опалою, прогнанием от двора, Порошин обратился с просьбою о защите к графу Григор. Григор. Орлову, о недоброжелательстве которого к Панину постоянно твердили современники. Но Орлов, несмотря на всю свою силу, не мог ничего сделать. Панин в это время пользовался неограниченным доверием императрицы, она считала его непогрешительным и потому необходимым в делах внешней политики и не могла позволить сделать ему какую-нибудь неприятность. Мы видели отношения Екатерины к Панину в письме ее к нему по поводу письма Станислава Понятовского к Фридриху II о таможене. Приведем еще любопытный документ. Русский посол в Варшаве князь Репнин в письме своем к Панину изъявлял беспокойство по поводу какой-то неизвестного рода опасности, грозившей Панину. Последний отвечал ему (12 февраля 1765 г.): «Я сколь сердечно чувствую

ваше дружеское обо мне смятение, столь и сожалею, что скаредный случай известного лекаря вам оное воспричинствовал. Пожалуй, мой друг сердечный, будь спокоен и уверен, что все, кроме моего презрения, ничего не заслуживает». Екатерина приписала к этим строкам: «А я, Екатерина, говорю, что Панину бояться ничего» (т.е. бояться нечего). Никита Иванович в приятном убеждении, что ему бояться нечего, позабыл об императорском совете и однажды, когда говорили о казни Лопухиных, также о временах Анны Иоанновны, делал такую рефлексию, что «ежели бы и теперь их братья боярам дать волю и их слушаться, то б друг друга и нынче сечь и головы рубить зачали. И так в иных строгостях винили министерство».

Несмотря на то что Орлов не мог ничего сделать для Порошина, тот полагал на него большую надежду в будущем и перед отъездом писал ему: «Хотя по великодушному и милостивому вашего сиятельства за меня заступлению желаемого ныне и не последовало, но благодарность моя за ваши ко мне благодеяния столь же велика, как бы я и получал все, о чем ваше сиятельство предстательствовали. Я более утруждать ее императорское величество уже не осмеливаюсь. Конечно, я прежними повторительными за меня великодушных людей прошениями еще больший гнев на себя обратил... Клянуся сердцеведцем Богом и честью, что, кроме моего проступка, о коем ваше сиятельство ведать изволите, ни малейшего преступления за собой не знаю; а видно, что по каким-либо внушениям донесено ее величеству что-нибудь большее... Вы великодушным своим предстательством, хотя несколько времени спустя, доставить можете возмущенному моему духу спокойство. Не предайте меня забвению».

На дороге к месту нового назначения, в Москве, 3 мая Порошин написал другое письмо к Орлову: «Имея ныне верный случай писать, не мог я преминуть, чтоб не писать к вашему сиятельству. Перемена моего состояния, будучи мне столь тягостна и чувствительна, беспрестанно побуждает меня озираться на прошлые дела свои и разбирать, какие б между ими могли быть причиною сего несчастного в жизни моей происшествия. Вижу и слышу, что о поступках моих при государе цесаревиче сделано такое описание, от коего теперь я стражду; размышляя о них, сужу себя без всякого самолюбия и потворства и, повторяя стократно грустное таковое упражнение, не нахожу ничего, что б могло служить к моему предосуждению. С самого моего вступления ко двору его императорского высочества обратил и посвятил я на то все свои силы, чтоб быть государю великому князю полезным и тем бы, сколько от меня зависело, споспешествовать высокоmaterним намерениям ее императорского величества и сладчайшему упованию всего российского общества. При его высочестве служил я около четырех лет. Во все сие время был при нем почти безотлучно и с ущербом собственных своих забав и удовольствий, на которые влекли меня и лета мои, и бесчисленные случаи, старался не упустить из виду одного своего предмету. По сему побуждению испросил я сам для себя должность, чтоб предлагать государю великому князю нужные для военного искусства математические науки, писал для его высочества особый курс, в котором заключались: арифметика, геометрия, начальные основания механики и гидравлики, фортификация с атакою и обороною крепостей, артиллерия и правила тактики. Арифметику государь великий князь всю почти с доказательствами у меня окончил и в геометрии сделал

начало. Оный курс намерен я был вместе с учебными математическими тетрадами руки его высочества поднести ее императорскому величеству. Кроме сего приуготавливал я сочинение, названное мною „Государственный механизм“. В оном хотелось мне для его высочества вывести и показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и проч. и какую кто долю споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в небрежении. Расположение сего сочинения было уже у меня и сделано. Оным же главным своим намерением упражняясь, начал я с некоторым человеком (Платоном?), почтенным от всех за его учение и преизящные дарования, переписку о разных нравоучительных и исторических материях, которую собирались мы напечатать и поднести его высочеству. Сверх всего сего, ведая, что в детских его высочества летах не всегда приятно и весело слушать формально предлагаемые истины и знания, старался вмешивать и доводить до него оные, сколько смыслил, во всех моих повседневных с ним обращениях и разговорах, иногда так, чтоб и самому его высочеству то неприметно было, дабы не навести скуки и отвращения. В таковых случаях кроме всяких исторических сведений и анекдотов, кроме многих правил о красоте российского языка, которые нечувствительно тщился я подавать государю цесаревичу, наблюдал, чтоб в его высочестве осталось за закон и основание, чтоб рассматривать и отличать прямые достоинства, не ослепляясь блистательною и часто обманчивою наружностью, чтоб любить народ российский, отдавая потом справедливость каждому достойному из чужестранных, чтоб твердо и непоколебимо быть в глубоком почтении туды, куды оным его высочество должен. Во всех таковых своих упражнениях то имел за единственное себе ободрение и утешение, чтоб заслужить со временем высочайшее благоволение всемилостивейшей и премудрой самодержицы. Теперь истинно не могу удержать слез своих, что посреди такового тихого и, как бы казалось, не непохвального течения ввержен в наилютейшее беспокойство, приведен под гнев у ее императорского величества. Удар сей тем мне несноснее, что поражен им внезапно и нечаянно и по оному своему поведению мог ли ожидать того, примите в милостивое рассуждение! Правда, что и прежде сего по оным всегдашним моим с государем цесаревичем обращениям, будучи я от его высочества почтен особливою склонностью и милостию, видел, что то завистливому невежеству неприятно было, и принужден был сносить иногда от оногo некоторые притеснения, кои, однако ж, презирал я и ни во что ставил. Случилось, например, некогда, что его высочество, уверяя меня с отменною горячностью, что он меня жалует, услышал, что я ему говорю, что тому не верю, потому что изволит говорить, что жалует, а когда в излишности его увеселений или в невнимании при ученьи уговаривать станешь, так иногда не изволит и слушать. Сам государь великий князь так был тронут, что изволил дать мне слово, чтоб всегда меня слушаться. И подлинно, долгое время от сего успех я видал: как скоро об оном потом договоре напояну ему, то, верно, изволит послушаться и отстать от той неприличности, в коей его оговаривал. Сие безвинное и почти шуточное для его ж высочества пользы положенное условие было перетолковано так, что будто я хочу, чтоб только великий князь меня одного слушался, и мне б только следовал, и, одним словом, чтоб делал все то только, чего я ни захочу. Были тут прибавлены и

другие тому подобные перетолки и низости, какие только маленький и темный дух-пакостник вымыслить может. Но о всем том тогда ж изъяснялся я с его высокопревосходительством нашим главнокомандующим, и он изволил мне тогда дать знать, что входит в мои изъяснения. А ныне что такое на меня взведено, ей-ей, обстоятельно ни от кого не слыхал и клянусь вашему сиятельству честью и всем, что есть святого на свете, что ничего не знаю. Защитите меня, милостивый государь, многомогущим ходатайством вашим. Лишенному всего, ваше сиятельство, можете все доставить и тем обязать меня навеки. Невинность моя за меня будет вам поборствовать. На вас, милостивый государь, единственная моя несомненная надежда. Несчастием своим гублю я своих родителей, гублю сестер своих и брата, кои от меня только всей себе помощи ожидали. Войдите в бедственное мое состояние. На сих днях поеду я в Ахтырку. Но откуда б не могла достать меня помощная рука ваша?»

В правителе Малороссии Румянцеве Порошин встретил человека, который сумел оценить его способности. В 1768 году он был назначен командиром Старооскольского пехотного полка, с которым в следующем году выступил в поход против турок; в этом походе Порошин заболел. Болезнь была незначительна, как вдруг пришло известие, что вторая армия, к которой принадлежал Старооскольский полк, переходит под начальство Петра Ив. Панина. Это известие поразило Порошина как громом, он потерял память, так что когда Румянцев приехал к нему проститься перед отъездом, то больной после спрашивал брата, что граф с ним говорил. Вскоре после этого Порошина не стало. Исчез один из самых светлых русских образов второй половины XVIII века; начато было хорошее слово, хорошее дело и порвано в самом начале.

В «Записках» Порошина встречаем отзывы о современных деятелях русского просвещения. Ломоносов занимает первое место. «Говорил я его высочеству, – записал Порошин, – что это стихотворец веку блаженные памяти бабки его Елисаветы Петровны. Дай Боже, продолжал я, чтоб в век вашего высочества такие были. Эдакие люди не растут, как грибки из земли: надобно для того хорошие учреждения, одобрение и покровительство. А голов годных много в России, хотя такие головы, как Ломоносова, и реденьки несколько». В последние шесть лет царствования Елисаветы Ломоносов принимал деятельное участие в управлении Академиею и учреждениями, входившими в ее состав. В 1757 году он был назначен присутствующим в Академической канцелярии вместе с Шумахером; но так как последний был уже стар и дряхл, то в товарищи Ломоносову назначен был еще унтер-библиотекарь Тауберт, зять Шумахера. Тауберт, так же как и тесть его, смотрел на свое место только со стороны его выгоды, и потому у него немедленно же начинается борьба с Ломоносовым, который вел ее с обычно своею страстностию. Ломоносов потребовал необходимых преобразований, указывал на то, что Академия загромождена бесполезными ремесленными заведениями, а учреждения необходимые в упадке. Он писал: «Для умножения книг российских, чем бы удовольствовать требующих охотников, недостает станов, переводчиков, а больше всего, что нет российского собрания, где б обще исправлять грубые погрешности тех, которые по своей упрямке худые употребления в языке вводят. Университет и гимназия весьма в худом состоянии и требуют, чтоб канцелярия больше к ним прилежала». Намекая на Шумахера и Тауберта, Ломоносов продолжал: «В канцелярии желающие рекомендовать себя художествами, то есть

за великий мерит почитающие то, когда чужих трудов что-нибудь поднесут знатным людям, сии всякими мерами желают и стараются науки унижить, говоря: 1) что университет здесь (в Петербурге) не надобен и что все до того надлежащее уступить Московскому университету; 2) такое недоброхотное мнение делом оказалось, когда лучшие ученики из гимназии в Монетную канцелярию отданы были». Ломоносов добился, что средства гимназии были усилены; но тщетно настаивал, чтоб все диссертации переводить на русский язык и на нем печатать. «Через сие, – писал он, – избежим роптаний и общество российское не останется без пользы. И сверх того, студенты, коих я на то назначу, будут привыкать к переводам и сочинениям диссертаций с профессорских примеров». Составляя устав и штат университета и гимназии, Ломоносов полагал иметь 60 гимназистов и 30 студентов; против этого возражали Тауберт и академик Фишер. Ломоносов так описывал свой спор с ними: «Фишер, приняв Таубертовы советы, спорил против числа студентов и гимназистов, точно его слова употребляя: „Что куда-де столько студентов и гимназистов? Куда их девать и употреблять будет?“ Сии слова часто твердил Тауберт Ломоносову в канцелярии, и хотя ответствовано, что у нас нет природных россиян ни аптекарей, да и лекарей мало, также механиков искусных, горных людей, адвокатов и других ученых и ниже своих профессоров в самой Академии и в других местах, но, не внимая сего, всегда твердил и другим внушал Тауберт: „Куда со студентами?“ Ломоносов добился, что президент Академии Разумовский, конечно под влиянием И. И. Шувалова, поручил „учреждение и весь распорядок университета и гимназии одному Ломоносову по сочиненным от него регламентам“; и в начале 1760 года было объявлено в „Ведомостях“, что граф Разумовский втрое умножил число содержащихся на казенном счету гимназистов, а потому родители приглашаются отдавать своих детей для определения к гимназическим наукам. Удаляя инспектора гимназии Модераха, в котором „не усмотрев более охоты заботиться о молодых людях“, Ломоносов высказал мнение, что „инспектором должен быть: 1) природный россиянин для того, чтобы, во-первых, имел о учащих усердное попечение, как о своих свойственниках или детях; 2) чтобы главный командир больше имел повиновения и не всегда бы чинил для малейших причин отговорки, ссылаясь на свой контракт и угрожая требованием абшида (увольнения); 3) чтобы, зная российский язык и обряды совершенно и быв сам здешним и в чужих краях студентом, знал бы с порученными ему поступать с умеренною строгостью“.

29 апреля 1757 года именным указом велено находящихся как в Петербурге, так и в Москве в частных домах иностранных учителей в их науках свидетельствовать и экзаменовывать в Петербурге в Десьянс-академии, а в Москве в императорском университете и без такого свидетельства и аттестатов никому в дома не принимать и до содержания школ не допускать. Ломоносов нашел, что в Десьянс-академии испытания производятся слабо, и предписал экзаменовывать строже.

Но при этой деятельности советника Академической канцелярии продолжалась деятельность ученая и литературная. В 1756 году Ломоносов в публичном собрании Академии говорил на русском языке «Слово о происхождении света, новую теорию о цветах представляющее», Более значения специалисты приписывают последующим его трудам: «Слову о рождении Металлов от трясения земли» (1757 года), в котором находят драгоценные

замечания, и «Рассуждению о большей точности морского пути» (1759 года). В том же 1759 году Ломоносов исходатайствовал у Сената рассылку по всем губерниям составленных им вопросов для собрания географических известий о России. Нельзя оставить без внимания, что Ломоносов два раза предлагал послать хорошего живописца в старинные русские города, «чтоб имеющихся в церквах изображений государских иконописною и фресковою работою, на стенах или гробницах состоящих, снять точные копии величиною и подобием. А сие учинить бы для того: 1) дабы от съедающего времени отнять лики и память наших владетелей и сохранить для позднейших потомков; 2) чтобы показать и в других государствах российские древности и тщание предков наших; 3) чтоб Санкт-Петербургская Академия художеств имела случай употребить свое искусство, как бы изобразить их надлежащею живописью в приличных положениях со старинного манеру, не теряя подлинного подобия». В последний год елисаветинского царствования по поводу прохождения Венеры чрез Солнце Ломоносов написал сочинение об этом явлении, где первый указал на существование атмосферы около Венеры.

Литературная деятельность Ломоносова выражалась по-прежнему в одах на торжественные случаи, важных для нас по указанию на современные события. Так, в оде 1757 года на день рождения великой княжны Анны Петровны Ломоносов говорит о борьбе двух союзных императриц против Фридриха II: «Присяжны преступив союзы,/ Поправши нагло святость прав,/ Царям повергнуть тщится узы/ Желание чужих держав./ Творец, воззри в концы вселенны,/ Воззри на земли утесненны,/ На помощь страждущим восстань,/ Позволь для общего покою/ Под сильною твоей рукою/ Воздвигнуть против брани брань./ Сие рекла Елисавета.../ Противные страны трепещут,/ Вопль, шум везде, и кровь, и звук,/ Ужасные перуны мещут/ Размахи сильных росских рук./ О ты, союзна героиня/ И сродна с нашею богиня!/ По вас поборник вышний Бог./ Он правду вашу защищает,/ Обиды наглые отмщает,/ Над злобою возвысил рог».

В той же оде Ломоносов не прямо благодарит Елисавету за назначение советником Академической канцелярии: «Правители, судьи внушите,/ Услыши вся словесна плоть,/ Народы с трепетом внимлите:/ Сие глаголет вам Господь:/ *Храните праведны заслуги / И милуйте сирот и вдов;/ Сердцам неживым будьте други/ И бедным истинный покров;/ Присягу сохраняйте верно,/ Приязнь к другим нелицемерно;/ Отверзите просящим дверь;/ Давайте страждущим отраду,/ Трудам законную награду / Взирайте на Петрову дочь».*

Успехи русского оружия в Семилетней войне, разумеется, должны были найти отражение в Ломоносове, но, входя совершенно в настроение духа своей героини, он заставляет Елисавету после побед молить Бога мира о мире: «Парящей слыша шум орлицы,/ Где пышный дух твой, Фридерик?/ Прогнанный за свои границы,/ Еще ли мнишь, что ты велик?/ Еще ль, смотря на рок саксонов,/ Всеобщим дателем законов/ Слывешь в желании своем?/ Лишенный собственные власти,/ Еще ль стремишься в буйной страсти/ Вселенной наложить ярем?../ Чтоб жить союзникам свободным,/ Жалея, двинулась войной,/ Узрев растерзанны союзы,/ Наверженные скиптрам узы,/ Рекла: как злых не укрочу?/ Алчбе их света неостанет:/ Пускай на гордых гнев мой грянет!/ О честь российского народа,/ В дни наши воинов пример,/ Что силой первого похода/ Двукратно сопостатов стер!/
(Солтыков) Тебе тот лавры уступает,/ Кто прочим храбро исторгает,/ Кто вне

привыкнул побеждать;/ При дверях дом свой защищая/ И крайне силы напрягая,/ Не мог против тебя стоять.../ С верхов цветущего Парнаса,/ Смотри на рвение сердец,/ Мы ждем желаемого гласа:/ Еще победа – и конец,/ Конец губительные брани!/ О Боже, мира Бог, восстани,/ Всеобшу к нам любовь пролей,/ По имени Петровой дщери/ Военны запечатай двери,/ Питай нас тишиной твоей!/ Иль мало смертны мы родились,/ И должны удвоить свой тлен?/ Еще ль мы мало утомились/ Житейских тягостью бремени?/ Воззри на плач осиротевших,/ Воззри на слезы престаревших,/ Воззри на кровь рабов твоих!/ К тебе, любовь и радость света,/ В сей день зовет Елисавета;/ Низвергни брань с концов земных!»

Когда дни Елисаветы были уже сочтены, когда в последний раз праздновалось восшествие ее на престол, раздалась последняя ода Ломоносова – «Дщери Петровой». В последний раз достойным образом он высказал значение знаменитого царствования, заставив Елисавету говорить при восшествии своем на престол: «На отческий престол всхожу/ Спасти от злобы утесненных/ И щедрой властью покажу/ Свой род, умножу просвещенных./ Моей державы кротка мочь/ Отвергнет смертной казни ночь,/ Владеть хочу зефира тише».

Верно и очень поэтично выставляет здесь Ломоносов войны:

«Необходимая судьба/ Во всех народах положила,/ Дабы военная труба/ Унылых к бодрости будила,/ Чтоб в недрах мягкой тишины/ Не зацвели водам равны,/ Что в круг защищены горами,/ Дубровой, неподвижны спят/ И под ленивыми листьями/ Презренный производят гад./ Война плоды свои растит,/ Героев в мир рождает славных,/ Обширных областей есть щит,/ Могущество крепит державных./ Воззри на древни времена:/ Российска повесть тем полна».

Но если война имеет такое значение, то все ж и Елисавета «...в сердце держит сей совет\ Размножить миром нашу славу;\ И выше, чем военный звук\ Поставить красоту наук».

К концу царствования Елисаветы Ломоносов окончил часть задачи, которую он сам и другие лучшие люди представляли священной и славною обязанностью первого таланта времени; написаны были две первые песни поэмы «Петр Великий». Вместе с этою обязанностью Ломоносов хотел выполнить и другую – отблагодарить И. И. Шувалова, которому посвятил поэму и под посвящением подписал 1 ноября, день рождения мецената. Сомнение, будет ли окончена поэма, естественно, должно было закрадываться в грудь Ломоносова, и потому он говорит между прочим в посвящении: «И если в поле сем прекрасном и широком/ Преторжется мой век недоброхотным роком,/ Цветущим младостью останется умам,/ Что мной проложенным последуют стопам./ Довольно таковых родит сынов Россия,/ Лишь были б завсегда защитники такие,/ Каков ты промыслом в сей день произведен,/ Для счастья наук в отечестве рожден».

В это время Вергилиева «Энеида» служила образцом или, лучше сказать, правилом для эпических поэм. Вольтер в своей «Генриаде» заставляет героя поэмы Генриха Наварского ехать в Англию, чтоб рассказать королеве Елисавете историю религиозной борьбы во Франции, как Эней рассказывает Дидоне о разрушении Трои. Неудивительно, что и в поэме Ломоносова Петр, претерпевши бурю, рассказывает соловецкому архимандриту о стрелецких бунтах. Но у знаменитого помора было тут еще другое побуждение: ему хотелось привести своего героя на берега родного Северного моря и вложить в его уста пророчество о будущем великом значении этого моря: «Тогда плывущим Петр на полночь

указал,/ В спокойном плаваньи сии слова сказал:/ Какая похвала российскому народу/ Судьбой дана пройти покрыту льдами воду!/ Хотя там, кажется, поставлен плыть предел;/ Но бодрость подают примеры славных дел./ Полденный света край обшел отважный Гама/ И солнцева достиг, что мнила древность храма./ Герои на морях Колумб и Магеллан,/ Коль много обрели безвестных прежде стран!/ Подвигнуты хвалой, исполнены надежды,/ Которой лишены пугливые невежды,/ Презрели робость их, роптанье и упор,/ Что в них произвели болезни, голод, мор./ Иное небо там и новые светила,/ Там полдень в севере, ина в магните сила./ Бездонный океан травой, как луг, покрыт;/ Погибель в ночь и в день со всех сторон грозит./ Опасен вихрей бег, но тишина страшнее,/ Что портит в жилах кровь свирепых ядов злее,/ Лишает долгий зной здоровья и ума./ А стужа в севере ничтожит вред сама./ Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен,/ От оных лютых бед даст ход нам безопасен./ Колумбы росские, презрев угрюмый рок,/ Меж льдами новый путь отворят на Восток,/ И наша досягнет в Америку держава».

Сильный ум, развитой самую многообразною деятельностью, не мог не останавливаться на разных поразительных общественных явлениях, а сильное патриотическое чувство заставляло ум искать средств для устранения зла в родной стране. Этим объясняется письмо Ломоносова к И. И. Шувалову о размножении и сохранении российского народа, которое должно было быть только первым из 8 писем, относящихся к разным подобным предметам; но, к сожалению, до нас дошло одно это первое письмо. В описываемое время в литературе Западной Европы шли сильные толки о необходимости умножения народонаселения: Это, разумеется, не могло остаться без влияния на русских читающих людей, тем более что в России эти толки имели полную законность: с начала русской истории обширность страны и относительная ничтожность народонаселения полагали сильное препятствие общественному развитию и важным государственным мерам. Екатерина под влиянием взглядов, господствовавших в западной литературе и находивших сильный отголосок в России, дошла до того, что считала нужным охранение магометанства на окраинах, ибо эта религия, дозволяя многоженство, способствует усилению народонаселения. Ломоносов до этого не дошел, но готов был требовать от русской церкви чрезвычайных мер, которые, по его мнению, способствовали размножению и сохранению народонаселения. Для нас теперь сочинение Ломоносова особенно важно по указанию на некоторые обычаи. Так, Ломоносов указывает на вредный обычай женить мальчиков на взрослых девицах, так что часто жена могла быть по летам матерью мужа; потом супружество насильное: ибо, где любви нет, ненадежно и плодородие. Для той же цели умножения народонаселения Ломоносов считает нужным разрешение четвертого и даже пятого брака, разрешение духовенству второго брака и запрещение молодым постригаться в монахи. Очень живо описывает Ломоносов вред от невоздержания во время заговенья и разговенья: «Паче других времен пожирают у нас Масленица и Св. неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию Великого поста, во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам и частые похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Приближается Светлое Христово Воскресение, всеобщая христианская радость; тогда хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти Господни, однако

мысли наши уже на Св. неделе. Наконец, заутреню в полночь начали и обедню до свету отпели. „Христос воскрес!“ только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаньями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри – рвут, ломают, валят, опровергают, терзают; там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки; там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством; там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники. Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни и круто перемененное питание тела не только вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных празднолюбцев, самоубийцами почесть можно».

Немалый ущерб, по словам Ломоносова, причиняется народу убийствами в драках и от разбойников. Драки происходят между соседями, особенно между помещиками, за землю, и ничем, кроме межевания, прекратить их нельзя. Как самую действительную меру против разбойников Ломоносов предлагает укрепление городов, куда бы разбойники не могли пробираться для продажи награбленных вещей. «Многие места есть в России глухие, на 500 и больше верст без городов, прямые убежища разбойникам и всяким беглым и беспаспортным людям: примером служить может лесистое пространство около реки Ветлуги, которая, на 700 верст течением от вершин до устья простираясь, не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть разбойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая пашпорта. По таким местам должно основать и поставить города, дав знатным селам гражданские права, учредить ратуши и воеводства и оградив надежными укреплениями и осторожностями от разбойников». Ломоносов, разумеется, не мог пропустить убавки народонаселения от заграничных побегов: «Побеги бывают более от помещичьих отягощений крестьянам и от солдатских наборов. И так, мне кажется, лучше пограничных с Польшею жителей облегчить податями и снять солдатские наборы, расположив их по всему государству. Для расколу много уходит российских людей на Ветку: находящихся там беглецов невозможно ли возвратить при нынешнем военном случае? Место беглецов за границы удобно наполнить можно приемом иностранных. Нынешнее в Европе несчастное военное время принуждает не только одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насилия удаленных. Пространное владение великой нашей монархини в состоянии вместить в свое безопасное недра целые народы и довольствоваться всякими потребностями».

Забавою, отдохновением от ученых и литературных трудов служила Ломоносову его мозаичная фабрика. В журнале Сената 14 ноября 1757 года записано следующее: «Впущен был Канцелярии Академии наук член коллежский советник Ломоносов и подал от той канцелярии доношение, при котором внесены составленные им, Ломоносовым, на его заводах мозаичные живописные вещи со достоинством от Академии. Приказали в Канцелярию Академии наук послать указ, что Сенат, видя таковые его во изобретении мозаики полезные успехи, ибо та мозаика как добротою материй, так крепостию и видом живописных вещей, по признанию Академии, как римской, так и других земель не уступает, где она в несколько сот лет едва происходить могла, с удовольствием похваляет, и в

Канцелярию строений, и в прочие места, где публичные здания с украшением строятся, послать указы, чтоб его, Ломоносова, для убрания оных, где потребно будет, мозаикою за надлежащую цену призывать».

Неудивительно, что занятия Ломоносова мозаикою подвергались насмешкам, когда враги его в стихах и прозе позволяли себе не находить в нем никакого достоинства и указывать только на одну известную его слабость и низкое происхождение. Для образчика, что позволяли себе враги Ломоносова писать против него, приведем Третьяковского «Имн пьяной голове»: «Голова в казне доходы/ Уменьшает по вся годы;/ Пьяницам любезный брат,/ Взавши годовой оклад/ Бесплезно пропивает/ И беспутство причиняет./ Не дадут когда вина,/ Сходит он тогда с ума!/ Не напрасно он дерзает;/ Пользу в том свою считает,/ Чтб обманством век прожить,/ Общество чтб обольстит/ Либо мозаиком ложным,/ Или бисером подложным./ С хмелю безобразен телом/ И всегда в уме незрелом,/ Ты, преподло быв рожден,/ Хоть чинами и почтен;/ Но безмерное пьянство,/ Бешенство, обман и чванство/ Всех когда лишат чинов,/ Будешь пьяный рыболов».

Брань посыпалась на Ломоносова особенно по поводу его шуточного стихотворения «Гимн бороде». Духовенство сочло себя оскорбленным, и Синод в марте 1757 года подал императрице жалобу на автора «ругательного пашквиля». Третьяковский воспользовался случаем и явился с своими стихотворными и прозаическими пашквилями на Ломоносова: Жалоба Синода не имела действия благодаря, конечно, Шувалову, и Ломоносов заплатил Третьяковскому стихами: «Безбожник и ханжа, подметных писем враль!/ Твой мерзкий склад давно и смех нам, и печаль:/ Печаль, что ты язык российский развращаешь,/ А смех, что ты тем злом затмить достойных чаешь./ Но плюем мы на срам твоих поганых врак;/ Уже за тридцать лет ты записной дурак./ Давно изгага всем читать твои синички,/ Дорогу некошну, вонючие лисички./ Хоть ложной святостью ты бородой скрывался,/ Пробин, на злость твою взирая, улыбался:/ Учения его, и чести, и труда/ Не можешь повредить ни ты, ни борода».

Третьяковскому досталось не от одного Ломоносова. По влиянию духа времени не могли равнодушно сносить слов Третьяковского, что людей, осмеливающихся ругаться над предметами всеобщего уважения, дельно сжигать в стругах, и явились стихи: «Пронесся слух: хотят кого-то будто сжечь;/ Но время то прошло, чтб наше мясо печь./ Спаси, о Боже, нас от зверского их гнева./ Забыли то они, как ближнего любить./ Лишь мыслят, как его удобней погубить,/ И именем твоим стремятся только твердо/ По прихотям людей разить немилосердо».

Самая легкость победы над Третьяковским, особенно в последнем случае, когда профессор элоквенции заявил себя более чем с смешной стороны и не мог не вызвать защитников Ломоносову, – все это должно было уменьшать раздражение. Не то было в борьбе с Сумароковым, который язвил глубже, потому что был даровитее Третьяковского. Последний не мог сильно раздражать, потому что своим неуклюжим стихом возбуждал улыбку, оружие было слишком тупо; Сумароков стихом своим возбуждал также улыбку, но улыбка эта относилась не к нему, а ко врагу его, против которого был направлен стих. Сумароков писал удачные пародии на торжественные оды Ломоносова; Ломоносов знал, как в глазах толпы проигрывает предмет серьезный, высокий, когда ловкая насмешка коснулась его формы, и раздражался. Вот образчик пародии, или *вздорной* оды, как называл сумароковские пародии Ломоносов: «Гром, молнии и вечны льдины,/

Моря и озера шумят,/ Везувий мечет из середины/ В подсолнечну горящий ад./ С востока вечно дым восходит,/ Ужасны облака возводит/ И тьмою кроет горизонт./ Ефес горит, Дамаск пылает,/ Тремя Цербер гортаньми лает,/ Средьземный возжигает понт.../ Весь рот я, музы, разеваю/ И столько хитро воспеваю,/ Что песни не пойму и сам».

Раздражение между Ломоносовым и Сумароковым доходило до высшей степени. Сумарокова подавляло ученое значение Ломоносова, но он не хотел преклониться перед этим значением, считая себя не только равным, но и выше Ломоносова по таланту поэтическому; это мнение страшно оскорбляло Ломоносова, но ему приходилось считаться с Сумароковым, который имел многих почитателей, был принимаем в домах сильных людей и мог вредить Ломоносову своими отзывами о нем. И. И. Шувалов стоял между двумя огнями: он высоко ставил Ломоносова, но не мог принести в жертву такую литературную знаменитость, такого заслуженного писателя, каким являлся для современников Сумароков. Для Шувалова, разумеется, было бы всего приятнее, если б Ломоносов и Сумароков примирились, признали значение друг друга и действовали бы заодно, как, например, действовали энциклопедисты во Франции. Но вот какое однажды письмо получил Шувалов от Ломоносова: «Никто в жизни меня больше не избидил, как ваше высокопревосходительство. Призвали вы меня сегодня к себе. Я думал, может быть, какое-нибудь обрадование будет по моим справедливым прошениям. Вдруг слышу: „Помирись с Сумароковым!“, т.е. сделай смех и позор. Свяжись с таким человеком, который ничего другого не говорит, как только всех бранит, себя хвалит и бедное свое рифмичество выше всего человеческого знания ставит. Я забываю все его озлобления и мстить не хочу никоим образом, и Бог мне не дал злобного сердца; только дружить и обходиться с ним никоим образом не могу, испытав чрез многие случаи и зная, каково в крапиву... Не хотя вас оскорбить отказом при многих кавалерах, показал я вам послушание; только вас уверяю, что в последний раз. И ежели, несмотря на мое усердие, будете гневаться, я полагаюсь на помощь Всевышнего, который мне был в жизни защитник и никогда не оставил, когда я пролил перед ним слезы в моей справедливости. Ваше высокопревосходительство, имея ныне случай служить отечеству спомоществованием в науках, можете лучшие дела производить, нежели меня мирить с Сумароковым. Зла ему не желаю, мстить за обиды и не думаю и только у Господа прошу, чтобы мне с ним не знаться. Будь он человек знающий и искусный, пускай делает он пользу отечеству, я по малому таланту также готов стараться, а с таким человеком обхождение иметь не могу и не хочу, который все прочие знания позорит, которых и духу не смыслит. И сие есть истинное мое мнение, кое без всякие страсти ныне вам представляю. Не токмо у стола знатных господ или у каких земских владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет. Г. Сумароков, привязавшись ко мне на час, столько всякого вздора наговорил, что на весь мой век станет, и рад, что его Бог от меня унес. Ежели вам любезно распространение наук в России, ежели мое к вам усердие не исчезло в памяти, постарайтесь о скором исполнении моих справедливых для пользы отечества прошений, а о примирении меня с Сумароковым, как о мелочном деле, позабудьте».

Шувалов не мог гневаться на Ломоносова вследствие представления, какое имел о нем и какое выразил в подписи к его портрету, приложенному к полному собранию сочинений 1757 года: «Московский здесь Парнас изобразил витию,/ Что чистый слог стихов и прозы ввел в Россию,/ Что в Риме Цицерон и что Вергилий был,/ То он один в своем понятии вместил,/ Открыл природы храм богатым словом россов/ Пример их остроты в науках Ломоносов». Из этой подписи оказывается, что Шувалов не был поэтом, но значение Ломоносова в истории русской науки и литературы указано верно; особенно замечателен последний стих: для русского патриота было утешительно думать, что способность русского народа занять почетное место среди просвещенных народов доказана явлением Ломоносова.

При таком отношении Шувалова к Ломоносову последнее время царствования Елисаветы, т.е. время Шувалова, было самым счастливым для Ломоносова. После этого легко понять, каким тяжким ударом поразила его смерть Елисаветы. От ее преемника трудно было ожидать добра для России; но по крайней мере в первые дни царствования Петра III не выходило наружу еще ничего такого, что бы могло остановить Ломоносова написать оду на восшествие на престол Петра, и, разумеется, совет и уговаривания могли исходить от того же Шувалова, также от Воронцова. Ода слаба там, где речь идет о Петре, возвышается – где идет речь о Елисавете, которая на первом плане; Петр обязан всем Елисавете, он будет силен только ее благословением, когда будет подражать ей. Елисавета, отходя в вечность, говорит Петру: «Владей, храни, возвысь народ,/ Моей опасностью спасенный,/ Уверь всех мной благословенный,/ Что ты Петров и Аннин плод».

И в этой оде Ломоносов высказал свою любимую мысль о северном пути в Восточный океан: «Там мерзлыми шумит крилами/ Отец густых снегов борей/ И отворяет ход меж льдами,/ Дав воле путь в восток твоей,/ Чтоб хины, инды и японы/ Подверглись под твои законы».

Ломоносов не позволял себе подлаживаться в угоду новому императору под такие отношения, которые не мог считать правильными и полезными для России. Он не мог не знать о разладе между Петром и Екатериною, и, однако, в оде Петр Великий, исчисляя заслуги Елисаветы, говорит: «Но больше чту сию заслугу,/ Что ты, усердствуя к нему (Петру III)/ Достоянную дала супругу,/ Любезну отчеству всему».

Но очень скоро оказалось, что добрые желания неисполнимы. Любопытно, что и относительно Ломоносова высказался тот же характер Петра III, который замечается во всех других отношениях. 29 января Сенат получил указ императора: фарфоровую фабрику, находившуюся в ведомстве Кабинета, поручить в ведомство коллежскому советнику Ломоносову, а 25 февраля эта фабрика взята от Ломоносова опять в ведомство Кабинета. Легко понять, какое тяжелое время переживал Ломоносов в первую половину 1762 года, он, истый русский человек, уже очень ясно определивший свои отношения к чуждому элементу; этого тяжелого положения нельзя не поставить если не причиною, то в числе причин опасной болезни, которая продержала его вне ученой деятельности февраль и март месяцы. 30 июня, на другой день Петрова дня, именин государя, назначено было торжественное заседание Академии; Ломоносов должен был говорить речь; в конце речи, по обычаю, должно было поместить похвалу царствующему государю; Ломоносов поместил краткую похвалу в общих, сухих выражениях. Но

заседания не было: 28 июня взошла на престол Екатерина, и Ломоносов написал оду, напомнившую лучшие его оды, ибо событие давало полный простор его патриотическому чувству, он мог прославлять государыню, которая «И от презрения избавит/ Возлюбленный российский род...»

Ломоносов спрашивает: «Слыхал ли кто из в свет рожденных,/ Чтoб торжествующий народ/ Предался в руки побежденных? О стыд, о странный оборот!»

Петр Великий встает из гроба и говорит: «Я мертв терплю несносну рану!/ На то ли вселюбезну Анну/ В супружество я поручил,/ Дабы чрез то моя Россия/ Под игом области чужия/ Лишилась власти, славы, сил?/ На то ль, чтоб все труды несчетны/ И приобретенны плоды/ Разрушились и были тщетны/ И новы возросли беды?/ На то ль воздвиг я град священный,/ Дабы врагами населенный/ Россиянам ужасен был/ И вместо радостной столицы/ Тревожил дальняя границы,/ Которыя распространил?»

По поводу судьбы Петра III Ломоносов делает такое обращение к державным главам: «Услыште, судии земные/ И все державные главы:/ Законы нарушать святыя/ От буйности блюдитесь вы/ И подданных не презирайте,/ Но их пороки исправляйте/ Ученьем, милостью, трудом./ Вместите с правдою щедроту,/ Народну наблюдайте льготы:/ То Бог благословит ваш дом./ О коль велико, как прославят/ Монарха верные раби!/ О коль опасно, как оставят/ От тесноты своей в скорби!/ Внимайте нашему примеру,/ Любите их, любите веру;/ Она свирепости узда./ Сердца народов сопрягает/ И вам их верно покоряет/ Твердее всякого щита».

Ломоносов не утерпел, чтоб не сделать обращения к иностранцам: «А вы, которым здесь Россия/ Дает уже от древних лет/ Довольство вольности златыя,/ Какой в других державах нет,/ Храня к своим соседям дружбу,/ Позволила по вере службу/ Беспреткновенно приносить!/ На то ль склонились к вам монархи/ И согласились иерархи,/ Чтoб древний наш закон вредить?/ И вместо, чтоб вам быть меж нами/ В пределах должности своей,/ Считать нас вашими рабами/ В противность истины вещей./ Искусство нынешне доводом,/ Чтo было над российским родом/ Умышлено от ваших глав/ К попоранью нашего закона,/ Российского к паденью трона,/ К рушению народных прав./ Обширность наших стран измерьте,/ Прочтите книги славных дел/ И чувствам собственным поверьте:/ Не вам подвергнуть наш предел./ Исчислите тьму сильных боев,/ Исчислите у нас героев/ От земледельца до царя,/ В суде, в полках, в морях и в селлах,/ В своих и на чужих пределах,/ И у святого алтаря».

Говорят, что в первое время царствования Екатерины, отличавшееся особенною щедростию на награды и деньгами, и чинами, первый русский писатель был забыт, быть может не без намерения, как старинный почитатель ненавистных государыне Шуваловых. На это заметим, что щедро были награждены только люди, более или менее участвовавшие в перевороте. Но, не включая Ломоносова в число этих лиц, Екатерина не могла позволить себе выразить свое неудовольствие против первого писателя, против знаменитого патриота, в то время как всеми силами старались придать перевороту патриотическое значение. Очень может быть, что отношения Ломоносова к Шуваловым не нравились, ибо в этих отношениях нельзя было не признавать заслуги Шувалова, его права на славу, на вечную славу, а это признание было неприятно; но «там были очень умны, там» и остерегались высказывать подобные

неприятные чувства; знали, например, что Шувалов находился в хороших отношениях с Вольтером; но, вместо того чтоб сердиться на Вольтера, поспешили сблизиться с ним. Другое дело Разумовский, Теплов и подобные им господа: они могли мстить Ломоносову за то, что он в последнее время вопреки им и благодаря Шувалову получил первенствующее значение в Академии; они могли с наслаждением сейчас же поднять Тауберта над Ломоносовым, дать первому чин статского советника, могли с удовольствием говорить дурное про Ломоносова при императрице или вовсе не говорить, что вернее вело к цели. Но и при таких обстоятельствах, и в такое хлопотливое для Екатерины время мы видим, что она исполняет желания Ломоносова. 8 июля 1762 года в журнале Сената записано: по указу ее императорского величества по представлению Ломоносова об успехах находящегося при мозаичном деле Гамбурца Цилха дать ему чин коллежского регистратора. Милость важная – сделать чиновником мастерового, ибо этот мастеровой был брат жены Ломоносова.

Но Ломоносов не мог равнодушно перенести возвышения Тауберта над ним, и здесь нельзя видеть одного оскорбленного честолюбия; в возвышении Тауберта над собою он видел знак падения того, за что ратовал во все продолжение своей академической службы. Ломоносов опять заболел и в упадке нравственных и физических сил решился оставить службу; но по своей природе он не мог этого сделать молча и в прошении на имя императрицы высказал все, что у него лежало на сердце: «1) В службе вашего императорского величества состоя тридцать один год, обращался я в науках со всяким возможным рачением и в них приобрел толь великое знание, что, по свидетельству разных академий и великих людей ученых, принес я ими знатную славу отечеству во всем ученом свете, чему показать могу подлинные свидетельства. И таковым учением, одами, публичными речьми и диссертациями пользовал и украшал я вашу Академию перед всем светом двадцать лет. 2) Моими сочинениями стиль российский несравненно вычистился перед прежним и много способнее стал к выражению идей трудных, в чем свидетельствует общая апробация моих сочинений и во всяких письмах употребляемые из них слова и выражения, что к просвещению народа много служит. 3) Присутствуя в Канцелярии Академии членом, отправлял я должность мою по положенным на меня департаментам со всяким рачением так, что гимназия, университет и географический департамент пришли во много лучшее перед прежним состояние. 4) Помянутою моею ревностною и верною службою и многими трудами пришло мое здоровье в великую слабость, и частый лом в ногах и раны не допускают меня больше к исправлению должности, так что прошлой зимы и весны лежал я 12 недель в смертной постели и ныне тяжело болен. 5) Невзирая на мои вышеупомянутые труды и ревностную и беспорочную службу для приращения наук в отечестве, близ 12 лет в одном чину, оставлен я произвождением и обойден многими меня младшими в статских чинах, которым при сем реестр сообщается, и тем приведен в великое уныние, которое болезнь мою сильно умножает. И дабы благоволено было сие мое прошение принять и меня для вышепомянутой болезни уволить от службы вашего императорского величества вовсе; а за понесенные мною сверх моей профессии труды и для того, что я многократно многими в произвождении младшими без всякой моей прослужу обойден, наградить меня произвождением в статские действительные советники с ежегодною пенсиєю по 1800 рублей по мою смерть». Нам нельзя с

улыбкою отзываться о чинолюбии знаменитого ученого. Всякое явление объясняется из положения страны, общества в известное время. Если в известной стране все ходят вооруженные – верный знак, что там нет общественной безопасности; в описываемое время в России значительный чин был тот же револьвер, необходимый для известной безопасности. Ломоносов вполне объясняет, почему ему и собратиям его нужны были чины: знаменитый, но бесчиновный ученый должен был дожидаться в передней у Теплова и толкаться вместе с подьячими в канцелярии. От этого и ученые иностранные, сколько-нибудь известные, отвечали отказом на приглашения Академии.

На просьбу Ломоносова ответа не было. Отложить доклад по ней было легко: императрица уезжала в Москву на коронацию и пробыла там долго, причем не было недостатка в больших заботах и неприятностях. Разумовский был силен и не мог забыть, как во время его президентства громче всех раздавался голос Ломоносова о беспорядках в Академии, как с небольшим за шесть месяцев до смерти Елисаветы в самом Сенате повторены были обычные жалобы Ломоносова на эти беспорядки, которые приписаны из учтивости долгому отсутствию президента из Петербурга, и решено было ходатайствовать о назначении ему товарища. 5 июля 1761 года Правительствующий Сенат имели рассуждение о состоянии здешней Академии наук и нашли, что она, получая на содержание свое из Штатс-конторы превеликую денежную сумму, чрез толь долгое время не приносит никакой пользы государству: не имеет по сие время довольно числа из российских людей профессоров, адъюнктов, переводчиков и студентов; что студенты и ученики академические по причине недостатка нужных для учения их профессоров и за нечтением лекций напрасно теряют свои лета и казенную сумму; что выписанные чужестранные профессеры от слабого над ними смотрения по контрактам не читают лекций и напрасно получают великое жалованье, да уже и в контрактах своих выписываемые из иностранных земель профессеры включают, чтоб им лекций не читать, а делать бы только диссертации, кои можно доставить и за малые деньги или получать от почетных Академии членов; что художества при Академии в худом состоянии и из российских людей по сие время хороших мастеров нет; что библиотека в превеликом беспорядке и не имеет весьма многих нужных для Академии книг, хотя на приращение оная ежегодно дается довольно денежная сумма; что Кунсткамера никакого приращения не имеет; что во всех оных департаментах беспорядок, бесполезность и напрасная трата казенной суммы; что многие при Академии должности, которые бы могли российскими подданными быть отправляемы, иностранным поручаются с большим жалованьем и что сие не от чего иного происходит, как от того, что Академии президент, находясь в долговременном отсутствии, не может сам своею особою надсматривать, а члены коим он в отсутствии своем поручил над Академиею смотрение, вместо надлежащего отправления своей должности и равнодушного (т.е. покойного, беспристрастного) об Академии попечения, непрестанно ссорясь и из одного несогласия выводя другое, один другому в полезных предприятиях препятствуют и, стараясь один перед другим преимуществовать, возбудили себе от всех своих подкомандных презрение, так что многие из профессоров, презирая членов, не делают никакого уважения посылаемым из Канцелярии о делах к пользе служащих ордерам, и как по оным не чинят исполнения, так и по заключенным с Академиею контрактам не

поступают, и наконец несогласием своим до того довели, что Прав. Сенат по причине президентского отсутствия принужден был дела академические брать в свое рассмотрение, что нигде и ни в чем она не наблюдает нисколько экономии; сумма, определенная на содержание Академии, 53000 с лишком рублей, и притом также получаемая великая сумма от книжной лавки не только вся исходит, но еще, сверх того, на всякие починки и строения академические всегда особливые суммы Академиею от Правительствующего Сената требуются, а книжная лавка никогда должным порядком не считается, и, куда деньги употребляются, о том Ревизион-коллегия не знает. Того ради Правительствующий Сенат определил ее императорскому величеству поднести доклад, не соблаговолит ли указать для лучшего распорядка при Академии быть гофмаршалу двора великого князя, камергеру графу Головкину, которого Правительствующий Сенат признает к тому способным, смотря по его наукам, а когда президент сюда прибудет, то Головкину быть при нем товарищем.

Теперь уже никто не назначал товарища Разумовскому, хотя по-прежнему не он управлял Академиею. Ломоносов продолжал болеть, но это положение его не стесняло его врагов. Разумовский подписал предложение взять из-под его ведения географический департамент. Больной лев не дал себя лягнуть: он подал в Академическую канцелярию представление: «Мое о новом российском атласе рачение не токмо географическому департаменту и Академической канцелярии, но и Правительствующему Сенату довольно известно, ибо 1) моим хождением истребованы от Сената указы, во все города российского государства разосланные с запросами географическими, и получают довольные ответы. 2) Получено от Сената позволение и определены требуемые вспоможения для географических экспедиций по моему ж представлению. 3) Из Камер-коллегии истребованы и присылаются реестры душ мужеска полу для великой надобности к сочинению российского атласа моим же старанием. 4) Сочинено 9 российских ландкарт к новому российскому атласу под моею же дирекциею. 5) Геодезисты и студенты географического департамента, кои прежде ландкарты только копировали, ныне же уже сами от себя их сочиняют чрез мое попечение. 6) Сочинена экстрактом топография тех городов, из коих присланы довольные ответы под моим старанием. Вместо награждения за неусыпное мое о географическом департаменте старание и успехи вижу себе горестное наказание, ибо что может быть несноснее, как моим рачением исходатайствованные и расположенные к полезному успеху способы видеть от меня по ложным причинам отнятые с поношением за благодарение!» Ломоносов удержал за собою географический департамент.

Несмотря на ослабление сил, Ломоносов не переставал заботиться об академической гимназии и о том, чтоб русским ученым даны были все средства заниматься наукою, просил прибавить по 12 рублей на содержание гимназиста. «Ей, – писал он, – по нынешней дороговизне 36 рублями содержать невозможно». Просил о доступности для профессора Попова обсерватории, также для адъютанта Красильникова, геодезистов и студентов, «ибо она для того и построена, чтобы пользоваться природным россиянам к пользе отечества». К этому же времени относится любопытная для истории русского просвещения записка Ломоносова о трудах его по академическому университету и гимназии. «По вручении ему, Ломоносову, в единственное смотрение университета соединил он студентов в

общежитии, снабдив довольным столом, приличным платьем и прочими надобностями; учредил порядочные лекции и издавал их каталоги, как в университетах ведется. В гимназии хотя немало было гимназистов, однако в весьма бедном и бесполезном состоянии, затем что: 1) жалованье им давалось в руки, которое брали себе их родители или свойственники и держали больше на себя, нежели на школьников, так что в школы приходили в бедных рубищах, претерпевали наготу и стужу и стыдно было их показать посторонним людям. Притом же пища их была весьма бедная и един иногда хлеб с водою. В таких обстоятельствах наука мало шла им в голову. 2) Да и времени им к тому не было, затем что дома должны были служить отцу и матери для бедности, и, в гимназию ходя по дальнему расстоянию, теряли лучшие часы, и всегда случай имели резвиться и от школ отгуливать. И так не дивно, что чрез семь лет не было произведено из гимназии в университетские студенты ни единого человека. Но после поручения оной гимназии советнику Ломоносову в единственное смотрение все оные неудобства отвращены и пресечены, ибо гимназисты соединены, как и студенты, в общежитие, снабжены приличною одеждою и общим довольным столом по мере определенного им жалованья; не теряют времени ни ходьбою на дома, ни службою родителям, ниже заочною резвостию, будучи у инспектора гимназии и у нарочных надзирателей перед глазами в одном доме».

Только весной 1763 года в Москве узнали или начали думать о просьбе Ломоносова. 23 апреля императрица писала Олсуфьеву: «Я чаю Ломоносов беден; стоворитесь с гетманом, неможно ль ему пенсия дать, и скажи мне ответ». 2 мая дан был именной указ Сенату о вечной отставке Ломоносова с оставлением по смерти половинного жалованья и с производством в статские советники, но 13 мая указ был вытребован назад из Сената, по каким побуждениям – неизвестно. Быть может, успели внушить, что причиною просьбы Ломоносова об отставке была не болезнь, но неудовольствие, обида, что нельзя жертвовать Ломоносовым какому-нибудь Тауберту. Трудно было не поразиться мыслию, что в Академии уже не будет более Ломоносова; употреблялись все усилия, чтоб вызвать знаменитых иностранных ученых в Академию, и в то же время лишали Академию своей признанной знаменитости! У современников была привычка дурно отзываться об Академии, говорить, что она наполнена иностранцами, бесполезна для России; повторяли обыкновенно слова Ломоносова и забывали о самом Ломоносове, забывали, что в Академии находится русский ученый, который один стоит многих и многих других и которого знаменитая деятельность тесно, неразрывно была соединена с Академиею. Ломоносов без Академии, Академия без Ломоносова были немислимы. Ломоносова оставили в Академии и в конце года дали ему чин статского советника и назначили жалованья 1875 рублей.

В это время Академия спешила изданием в свет «Древней российской истории» Ломоносова, заказанной ему, как мы видели, Шуваловым. Понятно, что Шувалов и современные ему лучшие русские люди хотели иметь русскую историю, написанную достойным образом, и при этом не могли не обратить взоров на первого писателя времени, с таким успехом испробовавшего свои силы на разных поприщах. Ломоносов не родился историком, не был приготовлен к занятию историею как наукою вообще, тем менее к занятию русскою историею, которая и для него, как для всех его современников, была доступна менее всех других знаний. Историческая наука была только в зародыше на Западе. В России

задачу историка поставили, по-видимому, просто, разумея красноречивое описание деяний предков. Ломоносов говорит: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, греческим и римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывший наш недостаток в искусстве, каковым греческие и латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Не сознавалось, что историческое изложение находится в полной зависимости от научного, философского и политического понимания описываемого как у историка, так и у целого народа в зависимости от научного и политического развития этого народа, от его характера и способностей, от всего строя его жизни; хотели (и долго потом продолжали хотеть и даже теперь хотят) отделить от всего этого так называемое красноречивое, художественное изложение, которое само по себе имело будто бы возможность дать жизнь и красоту историческим лицам и событиям, и получали пышную, ходульную и мертвую фразу, в которой не было ни образа, ни подобия древней жизни.

Не имея возможности изучить вполне русскую историю, Ломоносов, разумеется, не мог уяснить себе ее хода, характера главных явлений, определяющих эпохи; поэтому он не мог представить никакой системы и удовольствовался, как выражается сам, «некоторым общим подобием в порядке деяний российских с римскими, где находит владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на вольные города, некоторым образом гражданскую власть составляющему; потом единоначальство кесарей представляет согласным самодержавству государей московских».

Но ясность смысла, какую обладал отец русской науки, видна и в самом слабом его сочинении, именно в решении некоторых частных приговорительных вопросов. Например, он говорит: «Славяне и чудь по нашим, сарматы и скифы по внешним писателям были древние обитатели в России. Единородство славян с сарматами, чуди со скифами для многих ясных доказательств неоспоримо. Имя „скиф“ по старому греческому произношению со словом „чудь“ весьма согласно; не происходит от греческого и, без сомнения, от славян взято». О составлении народов встречаем следующее замечание: «Сих народов, положивших по разной мере участие свое в составлении россиян, должно приобрести обстоятельное по возможности знание, дабы увидеть оных древность и сколь много их дела до наших предков и до нас касаются. Рассуждая о разных племенах, составивших Россию, никто не может почесть ей в унижение. Ибо ни о едином языке утвердить невозможно, чтоб он сначала стоял сам собою без всякого примешения. Большую часть оных видим военными беспокойствами, преселениями и странствованиями в таком между собою сплетении, что рассмотреть почти невозможно, коему народу дать вящее преимущество».

После таких любопытных и правильных замечаний тем неприятнее для читателя перейти к рассказу Ломоносова о событиях русской истории. В расположении известий оставлена нетронутой бессвязность летописца; но простота и характеристические черты времени, отличающие летописный рассказ, исчезли под цветами новейшего красноречия, под странными определениями и объяснениями; некоторые известия летописца вследствие ходульной постановки

совершенно затемнены. По поводу призвания троих князей-братьев и занятия ими трех разных областей Ломоносов говорит: «Таким образом, по единой крови и по общей пользе согласные между собою государи, в разных местах утвердясь, шатающиеся разномысленных народов члены крепким союзом единодушного правления связали. *Роптать приобыхишие новгородцы* страшились Синеусова вспоможения Рюрику, ибо он обладал сильным белозерским чудским народом, называемым весью. Трувор, пребывая в близости прежнего жилища, скоро мог поднять варягов к собственному и братий своих защищению. И так, имея отовсюду взаимную подпору, беспокойных голов, которые на избрание Рюриково не соглашались, принудили к молчанию и к оказанию совершенной покорности, так что хотя Синеус по двухлетнем княжении скончался и Трувор после того жил недолго, однако Рюрик в Великий Новгород преселился и над Волховым обновил город».

Битва Ольгиной войска с древлянами, в которой маленький Святослав начал дело, описывается так: «Для вящего ободрения своих войск приемлет (Ольга) в участие военачальства сына своего Святослава, *младостию и бодростию процветающего*. Пришедших на Искорость встретили древляне вооруженною рукою; и, как обеих сторон полки сошлись к сражению, Святослав кинул копье в неприятеля и пробил тем коня сквозь уши» (в летописи: «Сунул копьем Святослав на древлян, и копье пролетело между ушами коня, ударило в ноги коню, потому что Святослав был ребенок»). Рассказ о крещении Владимира начинается словами: «Приметили во Владимире окрестные народы богопочитательный дух древнего законодавца римского Нумы». Ломоносов довел свою российскую историю до смерти Ярослава I.

Но во время печатания «Российской истории» Ломоносов издал «Первые основания металлургии или рудных дел» и чрезвычайно усердно занимался предприятием, которое постоянно лежало у него на сердце и от которого он ждал великой славы и пользы для России. В день рождения великого князя Павла Петровича, 20 сентября 1763 года, Ломоносов поднес ему как генерал-адмиралу сочинение свое «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». В посвящении Ломоносов говорил: «Северный океан есть пространное поле, где под вашего императорского высочества правлением усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку». Сочинение достигло цели: в мае 1764 года состоялось высочайшее повеление о снаряжении экспедиции, как видно, вследствие особенного старания графа Ивана Чернышева, патриотизмом которого так восхищался Порошин. Несмотря на двукратную неудачу экспедиции, отправлявшейся уже по смерти Ломоносова, вопрос воскресает в наше время и вместе воскресает память о горячем участии в нем знаменитого помора.

В 1764 году заметно вообще особенно милостивое расположение императрицы к Ломоносову: может быть, это явление совпадает с неловким положением при дворе Разумовского вследствие известных малороссийских событий. В 48-м номере «С.-Петербургских Ведомостей» читали следующее известие: «Монаршее благоволение к наукам и художествам есть некоторое Божественное одушевление оных. Снисхождение величества подобно

живительной силе, которую благорастворенный воздух вливает в животные и произрастающие от недр земных творения. Таковым несравненным и в самых издавна благоустановленных народах редко слыханным примерам предшествовал в России бессмертная памяти государь Петр Великий, посещая не токмо знатные ученые общества, но и приватные дома в науках и художествах людей искусных и рачительных. Таковым прехвальным подражанием ему последует достойная дел его преемница всемилостивейшая самодержица наша». После этого вступления следует известие, что 7 июня в четвертом часу пополудни императрица приезжала в дом к Ломоносову с некоторыми знатнейшими придворными особами, смотрела производимые Ломоносовым работы мозаичного художества для монумента Петра Великого, также и новоизобретенные им физические инструменты и некоторые физические и химические опыты. Екатерина уехала в конце шестого часа.

Очень вероятно, что такое выражение особенной милости императрицы помогло вскоре после этого Ломоносову одержать победу над своим соперником Таубертом. Последний купил из академических доходов от книжной продажи дом Строгановых для помещения книжных складов, анатомического театра, типографских служителей, гравера и т.п. Но инспектор академической гимназии представил в канцелярию, что дом, где помещается гимназия, никуда не годится по своей ветхости. «Учители, – говорилось в представлении, – в зимнее время дают лекции в классах, одевшись в шубу, разминаясь вдоль и поперек по классу, а ученики, не снабженные теплым платьем, не имея свободы встать с своих мест, дрогнут и заболевают и принуждены бывают оставить хождение в классы. Чего ради не дивно, ежели успехи ученические не соответствуют приложенному старанию учителей». Ломоносов немедленно представил об отдаче под гимназию вновь купленного строгановского дома, доказывая, что книжный торг и ремесла до Академии не принадлежат, а между тем из восьми занимаемых ею домов не находится ни одного под помещением университета и гимназии, «которые два департамента суть наинужнейшие к приращению наук в отечестве, откуда не токмо сама Академия должна производить природных своих членов, но и во все государство своих юриспрудентов, медиков, аптекарей, металлургов, механиков, астрономов, коих всех принуждена и поныне Россия заимствовать из других земель не без нареkania нашему народу». Президент велел отдать строгановский дом под университет и гимназию «для прописанных в представлении г. статского советника Ломоносова резонов».

Любопытно, что, в то время как императрица оказывала знаки своей милости Ломоносову, в записках Порошина мы не встречаем ни разу, чтоб знаменитейший русский ученый и писатель был приглашен к наследнику престола, тогда как нередко приглашался соперник Ломоносова Сумароков. Предлоги к такому исключению, разумеется, могли быть найдены; но можно находить и причину в том, что человек, заведовавший воспитанием великого князя, не мог преодолеть нерасположения своего к знаменитости, так близкой к Шуваловым и Воронцовым. Как видно, великий князь получил некоторые внушения против Ломоносова; это видно из следующих строк в записках Порошина: «Разговорились мы (с великим князем) о г. Ломоносове и о г. Сумарокове и потом вообще о людях ученых. Говорил я его высочеству, как принимать их и какое почтение отдавать им должно для ободрения наук и покровительства. При сем и то рассуждение кстати пришло,

что о людях никогда вдруг по наружному их виду рассуждать и о достоинствах их судить не должно». Порошин по своему направлению, разумеется, не пропускал случая внушать своему воспитаннику уважение к Ломоносову. «Пришло мне, – говорит он, – не знаю как-то в голову из Ломоносова похвального слова государыне Елисавете Петровне то место, где написано: „Ты едина истинная наследница, ты дочь моего просветителя (слова сии прибегнувшая Россия говорит государыне“)». И как я это выговорил, то его высочество, смеючись, изволил сказать: *«Это, конечно, уже из сочинениев дурака Ломоносова»*. Хотя он сие и шутя сказать изволил, однако же говорил я ему на то: «Желательно, милостивый государь, чтобы много таких дураков у нас было. А вам, мне кажется, неприлично таким образом о таком россиянине отзываться, который не только здесь, но и во всей Европе учением своим славен. Вы великий князь российский. Надобно вам быть и покровителем муз российских. Какое для молодых учащихся россиян будет ободрение, когда они приметят или услышат, что уже человек таких великих дарований, как Ломоносов, пренебрегается? Чего им тогда ожидать останется, из которых природа, конечно, немногих Ломоносовыми сделала? Правда, что Ломоносов имеет многих завистников, но сие самое доказывает его достоинство. Великие дарования всегда возбуждают зависть. До того испорчено человеческое сердце, что по большей части хулят таких, которые хвалы достойны, а хвалят таких, которые хулу заслуживают. Немного таких людей, чтобы всем отдавали справедливость».

В самом начале 1765 года Сенат слушал донесение Ломоносова, что мозаичная картина Полтавской баталии, назначавшаяся для надгробного памятника Петру Великому в Петропавловском соборе, готова и с рамою и что сумма, на нее отпущенная из казны, издержана и Ломоносов затратил свои деньги. Сенат решил осмотреть картину и по осмотре нашел, что «картина изрядством мозаичной работы, пристойно изобретенным изображением, равно и редкостью, может быть употреблена для украшения монумента по надлежащем в исправности рисунка и, в чем бы еще потребно было исправлении, толь наипаче, что по собственному его, Ломоносова, объявлению то сделано быть может». План монумента Сенат решил передать Бецкому на рассмотрение архитекторов, решил также выдать Ломоносову затраченные им деньги 999 рублей.

Это известие последнее: 4 апреля, в понедельник на Святой неделе, Ломоносов скончался. Густая толпа народа проводила гроб его в Невский монастырь. В бумагах Ломоносова осталась собственноручная записка, где, между прочим, читаем: «За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтоб выучились россияне, чтобы показали свое достоинство. Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Порошин рассказывает о впечатлении, какое произвела весть о смерти Ломоносова на великого князя Павла Петровича, который, несмотря на приведенное выше замечание, сделанное ему Порошиным, повторил прежнюю шутку: «Что о дураке жалеть, казну только разорял и ничего не сделал». Ребенок забыл замечание наставника, что о людях, подобных Ломоносову, не годится употреблять бранных слов, даже придавая им противоположный смысл; но в настоящем случае был любопытен целый отзыв, который великий князь от кого-нибудь да слышал, что Ломоносов перебрал много денег у казны и ничего не сделал, т.е. относительно мозаики. Далее Порошин рассказывает, что приехал законоучитель архимандрит

Платон, пошла опять речь о Ломоносове: Платон жалел о его кончине, возбуждая такое же сожаление и в великом князе.

Не долго пережил Ломоносова русский сочлен его по Академии, имя которого часто печальным образом соединяется с его именем, Третьяковский. Положение Третьяковского было незавидное и прежде, как мы видели, и в описываемое время ухудшалось все более и более. Причина заключалась в несоответствии его дарований и заслуг с тем мнением, какое он сам имел о своих дарованиях и заслугах. Потомство не станет отрицать его заслуг, его трудолюбия, пользы его переводов для своего, да и для позднейшего времени, признает правильность некоторых его мыслей, даже найдет у него значительное количество сносных стихов; и если бы Третьяковский удовлетворялся значением недаровитого, но трудолюбивого ученого, неутомимого переводчика неоспоримо полезных книг, то думаем, что и современники не отказали бы ему в своем уважении. Но Третьяковский при своих небольших средствах хотел играть роль первостепенную, хотел иметь значение первоклассного ученого и писателя и, видя, что этого значения достигнуть ему невозможно, стал терзаться завистью к людям, достигшим этого значения, стал искать случаев высказывать всякими средствами свое раздражение против них. Борьба была неравная; враги не были великодушны: они задавили слабого Третьяковского своими насмешками, отдали его на позор толпе; и Третьяковский все более и более поникал во мнении общества даже в то время, когда люди, приглядывавшиеся к явлениям на Западе, считали долгом порядочного человека уважать ученого, писателя.

Мы видели, как в царствование Анны поступил с Третьяковским Волынский, раздраженный насмешливыми стихами его; но и в царствование Елисаветы, несмотря на смягчение нравов и на иные отношения к литературе и писателям, Третьяковский подвергся сильным неприятностям, каким не подвергался ни один из его товарищей, опять за подметный пасквиль, и подвергся неприятностям именно потому, что оскорбленный мог свободно излить свою желчь на человека, который не пользовался уважением. В 1755 году Третьяковский подкинул пасквиль на президента Академии, на Мюллера и других иностранных ее членов, на Сумарокова; но более всего досталось Теплову. Нас неприятно поражают страстные выходки тогдашних деятелей науки и литературы, но выходки эти происходили в явной борьбе; а тут был подметный пасквиль, и, конечно, такое средство борьбы не могло усилить уважения к Третьяковскому. Теплов написал жалобу, в которой доказывал, что пасквиль сочинен именно Третьяковским. «В многоглаголюющей своей, – пишет Теплов, – пьесе есть истинное Третьяковского по всей пьесе от начала до конца, он столь особлив же, что едва ли можно в роде человеческом быть другому Третьяковскому. Школьные фигуры риторические он употребляет во всех своих сочинениях и некстати, и почти беспрерывно, которыми и сию пьесу начинил. Эпитеты его обыкновенные, репетиция беспрестанная, амплификация также, за которую от многих уже бит не единожды. Шутки в словах, которые у него за *bon mot* приемлются, неизбежны во всех его сочинениях, а и в сей его пьесе суть такие же, например: трик, трак, трек и на фра, фре, фри, система чесноколукская, с копылье сбился автор и проч. ...На всякого сочинителя толк безбожия наводит из маловажных слов, и то же самое в сем пасквиле находится по многим страницам. На г. полковника Сумарокова писал критику и подал в Синод доношение, а в Академию извет; в той же силе изблевал

свой яд и в сей скаредной подметной тетрадке неоднократно. Про себя говорит, что он за то ненавидим, что грековер, и Ролленов перевод для того не печатается, что в нем добродетель предпочтена порокам. Тому уже более года, как Трелиаковский почал жалобы и письменные, и словесные разносить, что он изнурен трудами, оставя в Астрахани дом и небесприбыльный сад виноградный, странствует для наук; Роллена вторично перевел и остается без награждения. Но потому, что служба его всегда состояла в негодном и стыд Академии приносящем труде, т.е. в гнусном стихосложении, в пусторечии латыни, а к тому в переводе Роллена, который им еще в Невском монастыре прежде профессорства его окончен; в сочинении псалмов Давидовых нескладными безразумными стихами; в сложении Феопты и ко всем сим негодным и неприличным для Академии трудам в приписании нелепых предисловий, то все сие удерживаемо было, кроме Ролленова переводу, и не допускаемо в печать для убежания стыда Академии». Трелиаковский клялся, что не он сочинил пасквиль, но его клятвам не верили. «Сие подозрение, – говорит Трелиаковский, – толь мне дорого стало, что едва я себя с отчаяния добровольной не предал смерти. Да и как было терпеть! Г. Теплов, призванного меня в дом его графского сиятельства (Разумовского), не обличив и не доказав ничем, да и нечем пустым, ругал, как хотел, м..... и грозил шпагою заколоть. Тщетная моя была тогда словесная жалоба: и как я на другой день принес письменное прошение его графскому сиятельству, то один из лакеев, увидев меня в прихожей, сказал мне, что меня пускать в камеры не велено. А понеже я с природы не имею нахальства, смею похвалиться, то, услышав такое запрещение от лакея, тотчас вон побежал, чтоб скорее уйти домой и с собой унести свой стыд, а о прошении уже моем, хотя и законном, позабыл я помышлять».

Прошение подал он в Академию не прямо на Теплова, а на Мюллера за то, что тот поместил в ежемесячных сочинениях стихи Сумарокова о незаконной любви, также гимн в прославление «прескверной из богинь б....., которой имя Венера» и проч. «От наглости и гордости его (Мюллера) висит, без сомнения, над нами, академиками, множество напастей. Сии два его порока суть подобны вихрю: они станут нашим согласиём кутить и мутить; они, чтоб изъяснить себе лучше, производить между нами будут раздоры. Прошу мне без малейшего сомнения верить, что лишимся мы все нашего покоя, когда вы за благо не рассудите сию сошедшую над нашими головами бурю отогнать и усмирить предосторожно и ревностно. Сам же я не могу ездить к его сиятельству г. президенту и не могу представлять ни словесно, ни письменно, ибо советник Теплов, живущий в его доме и ныне чрезмерным применением весьма доброжелательствующий похабственному Мюллеру, которого за несколько лет ненавидел крайне, – Теплов, говорю, ругал меня поносными бранями без всякого права» и проч.

Так всюду Трелиаковский трудился, чтоб подкопать всякое уважение к себе, и когда он объявил, что будет в 1757 году диктовать студентам правила красноречия и толковать Горация, то канцелярия Академии постановила представить президенту об увольнении Трелиаковского от лекций и определении его исключительно к переводам, или если уже допустить его до преподавания, то разве поручить толкование древней и новой истории, что он может делать и на русском языке. Такое решение понятно: у всякого был готов вопрос: как может преподавать красноречие человек, пишущий, как Трелиаковский? К несчастью

для Тредиаковского, многие и многие в словах Теплова, что служба Тредиаковского всегда состояла в негодном и стыд Академии приносящем труде, не видали преувеличения, не видали только бранчивой выходки раздраженного человека.

Но Тредиаковский был глубоко оскорблен тем, что у него отняли должность профессора элоквенции, которою он так гордился. Он перестал ходить в Академию, и когда в следующем году президент велел потребовать от него объяснения причин этого нехождения, то Тредиаковский отвечал длинною жалобою: «Невидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах оглашаемый, все ж то или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или, наконец, его собственной потребности, чтоб употребляющего меня праведно и с твердым основанием и в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых всемерно низвергнуть в пропасть бесславия, всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию, чего ради и настала мне нужда уединиться». Тредиаковский объявлял, что, несмотря на болезнь, он продолжает перевод Роллена и сочинил три большие диссертации: первую о первенстве славянского языка пред тевтоническим, вторую о родоначалии россов, третью о варягах-руссах словенского звания, рода и языка. Но этим не удовольствовались и потребовали, чтоб он ходил в Академию и должность свою отправлял по-прежнему, иначе не будет получать жалованья. Тогда Тредиаковский подал просьбу об отставке и получил ее в 1759 году, продолжая, однако, называться членом Академии. Так назвался он и при издании знаменитой «Гилемахиды», вышедшей в 1766 году. Тредиаковский умер в 1769 году, и уже по смерти его изданы упомянутые под 1758 годом три исторические диссертации под заглавием «Три рассуждения о трех главнейших древностях российских». Вопрос о происхождении варягов-руси Тредиаковский разрешает так, что варяги суть «предварители» (от варяю, предваряю), т.е. аборигены, а русь – ружане померанские. Таким образом впервые было научно высказано знаменитое мнение о рюгенском отечестве Рюрика, мнение, которого так сильно держатся поборники славянского происхождения варягов-руси, хотя при этом стараются прикрывать себя более славным именем Ломоносова, но Ломоносов выводил Рюрика из Пруссии, а пруссов делал славянами.

Поборник противоположного мнения о происхождении варягов-руси, Мюллер был последние пять лет царствования Елисаветы завален трудами, не относившимися к главному его занятию – русскою историей. В сентябре 1762 года он писал: «Здесь мой „Опыт новой русской истории“ не встретил вовсе благосклонного отзыва, почему я должен был отложить его в ожидании лучших времен, что мне легко при большом запасе архивных рукописей. Теперь, кажется, наступило благоприятное время, потому что ее императорское величество, нынешняя всемилостивейшая государыня наша, высказывает милостивое удовольствие к моим трудам. Жаль только, что у меня слишком много других академических занятий. Протоколы заседаний, внешняя и внутренняя переписка, издания в свет Комментарий и русского журнала (Ежемесячные сочинения), над которыми я, не имея помощников, работаю осьмой уже год, отнимают у меня чрезвычайно много времени, а между тем силы меня покидают и я едва в состоянии выносить работу

до 12 и до часу ночи. Историк страны, о которой еще так мало писано, должен быть занят одною этою работою».

Этот «Опыт новой русской истории», о котором говорит здесь Мюллер, представляет замечательный труд; на нем мы должны остановиться. *Опыт* начинается с правления Бориса Годунова. Причину, почему сочинение начато с этого времени, автор объясняет так: «Труды покойного тайного советника Татищева известны не только в России, но и за границую. Хотя сочиненная им русская история еще не издана, однако кто не пожелает видеть ее напечатанною? Его тридцатилетнее прилежание заслуживает, чтоб воздали ему эту справедливость. Татищев заблагорассудил окончить свою историю смертью царя Феодора Иоанновича как последнего из варяжской династии. Мне показалось приличным начать там, где он кончил, и таким образом довершить здание российской истории». В начале рассказа о событиях нас останавливает определение характера Бориса Годунова, потому что это определение надолго осталось в русской истории. «Борис Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего... Борис принадлежит к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными... Это был другой Сеян и разнился от последнего только тем, что не было Тиверия, который мог бы покарать его злодеяния». Произнося этот общий приговор, Мюллер, однако, не позволил себе быть неразборчивым относительно всех известий о преступлениях Годунова, встречаемых у разных писателей, особенно иностранных: он подвергает эти известия критике и отвергает те из них, которые ее не выдерживают. С такою же осторожностью поступает Мюллер и относительно других известий, передаваемых иностранными писателями, вносившими в свои сочинения все, что слышали, без разбору; заслуга Мюллера как критика видна особенно из того, что последующие писатели уже только сообразуются с его приговорами. Вообще, как легко заметить, Мюллеров «Опыт новой русской истории» послужил для позднейших писателей образцом при изображении тех же времен: характер Годунова, характер его правления, решение вопроса о происхождении самозванца, выведенное из критического рассмотрения иностранных известий, определение характера Лжедмитриева – все это перешло из книги Мюллера и в сочинения первой половины XIX века.

В 1765 году последовала перемена в судьбе Мюллера: он переехал в Москву, где получил место главного надзирателя (директора) Воспитательного дома: обещание, данное ему Паниным и Бецким, поручить ему со временем в заведование московский архив коллегии Иностранных дел служило важным побуждением для Мюллера к такой перемене рода службы.

Еще в 1762 году Мюллер выписал себе помощника, то был Август Людвиг Шлецер.

Германская наука в первой половине XVIII века дала русской науке для обработки русской истории двух ученых: Байера и Мюллера. Байер явился в России уже ученым, приобретшим известность; но поприще его здесь не было продолжительно, а незнание языка русского позволяло ему касаться только немногих вопросов, при решении которых он мог довольствоваться одними

иностранными языками. Мюллер приехал в Россию 20-ти лет и все силы своей долгой молодости посвятил России: от берегов Невы до берегов Амура, в архиве московском и в областных архивах, по сю и по ту сторону Уральского хребта неутомимый Мюллер черпал известия о судьбах необозримой страны, так недавно еще открытой для Европы, собирал, сводил материалы, непрерывно развлекаемый вопросами, сыпавшимися на него со всех сторон; архивариус, профессор, академик, историограф, путешественник, географ, статистик, журналист, Мюллер был неутомимым работником при громадной, тяжело, медленно двигавшейся машине русской цивилизации. Мюллер работал неутомимо над отысканием, собиранием и разработкою материалов из разных эпох русской истории, для объяснения той или другой стороны в настоящей жизни русского народа; а между тем в его старом отечестве, в Германии, наука шла вперед; и, когда утомленный Мюллер потребовал у Германии себе помощника, который бы трудился подобно ему, содействовал ему в отыскивании и собирании материалов, в приведении их в порядок, в составлении каталогов, Германия выслала ему Шлецера, представителя новой науки. Мюллер не понимал уже, чего хотел Шлецер; требования Мюллера Шлецер считал странными, унижительными для себя; и двое ученых, хотевшие жить и действовать вместе, скоро растолкнулись двумя враждебными силами, из которых одна называется *старым*, а другая *новым*.

Шлецер, родившийся в 1735 году, лишился отца, сельского пастора, на пятом году жизни, и ранняя нужда закалила характер беспомощного сироты, который сам должен был пробивать себе дорогу в жизни. Десятилетним ребенком он уже стал давать уроки, и, когда все вокруг его уже спало, маленький Шлецер сидел над мелким шрифтом изданий классиков и приобрел навсегда сильную близорукость. В Геттингенском университете Шлецер встретил профессора, начинавшего своим преподаванием новую эпоху в исторической науке: то был знаменитый Михаелис, который при изучении еврейских древностей впервые начал требовать критики текста, исследования точного значения слов, знакомства с родственными еврейскому языками, с обычаями Востока и его поэзией. Под влиянием чтений Михаелиса определился навсегда характер ученой деятельности Шлецера. Он из детства питал страсть к путешествиям; чтение Михаелиса дало определенную цель пламенным мечтам молодого человека, и путешествие на библейский Восток сделалось заветною думой Шлецера, наполнившею всю его молодость. Но такое далекое путешествие и в то время было невозможно без значительных средств, которых у Шлецера не было. Надобно было прежде накопить денег. Шлецер едет домашним учителем в Швецию, становится корреспондентом политической газеты, что сильно развивает в нем любовь к политике; занимается в купеческой конторе, пишет книги: «Историю торговли и мореплавания», «Биографии знаменитых шведских людей», «Историю шведской литературы».

В декабре 1760 года геттингенский профессор Бюшинг вызван был в Петербург для занятия места пастора при тамошней немецкой церкви Св. Петра. При этом случае Бюшинг получил просьбу от своего родственника и друга Мюллера приискать ему помощника для ученых занятий и вместе домашнего учителя. Бюшинг обратился с этою просьбой к Михаелису, и тот, зная задушевную мысль Шлецера, предложил место ему: Михаелис представлял Шлецеру, что из России он может ехать на Восток и новость пути придаст этой поездке большой

интерес; путешествие может быть совершенно покойнее и безопаснее: без сомнения, русская Академия, а может быть, и само правительство будут ему покровительствовать. «Совершить далекое путешествие, имея в виду еще дальнейшее, – кого больше меня могло прельстить подобное предложение? – говорит сам Шлецер. – Предложение Мюллера быть у него домашним учителем за сто рублей в год считал я для себя столь же малоунизительным, как малоунизительным считал для себя в романах молодой маркиз находиться в услужении у отца своей возлюбленной дамы». Но. здесь уже видим мы начало тех недоразумений, которые необходимо должны были повести к столкновениям между Мюллером и Шлецером: Мюллер вызывал студента, домашнего учителя, который должен был также помогать ему в ученых занятиях, делать то, что он ему укажет, и который будет в восторге, если со временем Мюллеру удастся пристроить его как-нибудь в Академии. Но Шлецер не считал себя студентом; он гордился обширным ученым приготовлением, какого в его глазах не имел Мюллер и его ровесники; Шлецер считал себя уже известным писателем, которого знали и уважали ученые знаменитости Германии; он смотрел на место у Мюллера как на средство для достижения своей заветной цели, видел, что условия для него унижительно, а между тем принимал их.

Шлецер в Петербурге, у Мюллера, который имел большой каменный дом на Васильевском острове, на набережной; в доме все обличало не роскошь, но довольство; у Мюллера был хороший немецкий стол, был свой экипаж. Сам Мюллер, имевший 56 лет от роду во время первой встречи с Шлецером (в 1761 году), был очень красивый мужчина, поразительно высокого роста и крепости. Нравственный характер Мюллера Шлецер описывает так: «Это был остроумный, находчивый человек; из маленьких его глаз выглядывал сатир. В образе мыслей его было какое-то величие, справедливость, благородство. Горой стоял он за честь России, несмотря на то что тогда держали его еще в черном теле; в суждениях о правительстве был чрезвычайно воздержан. Достоинства Мюллера не были, как должно, оценены, потому что, во-первых, он не мог пресмыкаться; во-вторых, ему чрезвычайно много вредила по службе его горячность. Он нажил себе множество врагов между товарищами от властолюбия, между подчиненными – от жесткости в обращении. Будучи сам неутомимо трудолюбив и точен во всем, требовал и от других обоих этих качеств в одинаковой степени».

Расположившись у Мюллера, Шлецер задал себе задачу изучить русскую историю по источникам, читать летописи, для чего нужно было предварительное изучение русского и церковнославянского языков. Шлецер признается, что русский язык достался ему гораздо труднее, чем все пятнадцать языков, которые он изучал прежде; но ему помогала «охота за корнями», как он выражается: зная сто корней в каком-нибудь языке, Шлецер уже легко усваивал себе 400 производных слов, и из десяти коренных слов почти всегда девять было таких, какие можно было найти и в другом каком-нибудь языке. Время словопроизводств, основанных на одном только внешнем сходстве звуков, словопроизводств, которыми прославились Рудбек за границею, Трелиаковский у нас, проходило; сравнительная этимология только что начиналась. Мюллер смеялся над Рудбеком и не имел понятия о тех способах словопроизводства и словосравнения, которые употреблял Шлецер, и удивлялся, как сам прежде не заметил, что славянин идею нахождения выражает точно так же, как римлянин: *in-venio na-uti* . Шлецер

приставал к Мюллеру с вопросом, что означают вообще русские окончания *ость, тель, ив, ший* ; тот не понимал вопроса, потому что, говорит Шлецер, в его студенческие годы еще не существовала философия языка.

Когда успешные занятия русским и церковнославянским языками дали Шлецеру возможность заглянуть в русские летописи, то ученая алчность его была возбуждена в высшей степени: перед ним было нетронутое поле, которое он первый должен был обработать; другие по своим ученым средствам не в состоянии этого сделать; он один имеет возможность получить честь первого издателя, первого объяснителя летописей народа, первого по своему могуществу в Европе (таково было представление о русском народе после Семилетней войны!).

Страсть к занятиям и умение заниматься, обнаруженные Шлецером, заставили Мюллера еще в 1762 году толковать о помещении своего домашнего учителя в Академию в качестве адъюнкта. Но каково же было его удивление, когда вместо выражения благодарности он услышал от Шлецера ответ, что это место низко для него. Шлецер так рассуждал о своих достоинствах: «Я должен был заниматься русскими летописями, критикою их. Что были за люди, которые славились тогда своими познаниями в русской истории? Люди без всякого ученого образования, люди, которые читали только свои летописи, не зная, что вне России существовала история. Но я по крайней мере был ученый критик, четыре года учился в школе Геснера, Михаелиса, Ире; я был в этом отношении единственный человек в России; я уже с 1755 года был автором, и мои сочинения не подверглись ни одной неблагоприятной рецензии. Большая часть тогдашних членов Санкт-Петербургской Академии, конечно, не могла стыдиться моего товарищества». Адъюнкт получал триста рублей жалованья; Шлецер объявил, что и жалованья этого для него мало. Мюллер возразил: «Я начал с двумястами рублей». Шлецер отвечал: «Вы начали на двадцатом году жизни, а мне уж скоро будет 27 лет; я уже давно начал, и не на русские деньги». Мюллер предполагал, что Шлецер, имея в виду заниматься русскою историей, даст обязательство не оставлять никогда русской службы, потому что ученому, занимающемуся русскою историей, могут быть вверены государственные тайны и нельзя потом позволить ему уехать за границу и обнародовать их. Мюллер сам был связан таким обязательством. Но Шлецер не хотел заключать с Академиею и обычного контракта с условием оставаться в ней пять лет. К причинам отказа должна была присоединиться и та, что адъюнктская должность предполагала зависимость от Мюллера в ученых занятиях, а Шлецер, считавший себя выше Мюллера, не хотел подчиниться его руководству.

Мюллер рассердился на упряма, не хотевшего, по его мнению, собственного счастья, и, говоря с ним в последний раз об адъюнктстве в Академии, кончил так: «Ну так ничего не остается больше вам делать, как с первым кораблем отправиться назад в Германию». Шлецер, у которого была потребность поссориться с Мюллером, признал эти слова неблагоприятными, несправедливыми. Шлецеру не хотелось так рано уехать из России, ибо в таком случае пребывание его в России не окупалось: капитал, скопленный для восточного путешествия, не увеличился. Шлецер нашел в России клад – летописи, изданием которых в Германии он мог приобрести большую ученую известность; но для полного приготовления к этому делу надобно было еще остаться в России. Шлецер обратился к могущественному Тауберту, и тот устроил ему место адъюнкта при

Академии на *неопределенное* время и поместил его учителем при детях президента графа Разумовского на всем готовом содержании. При этом понадобился Мюллер: он написал президенту Академии просьбу о назначении Шлецера адъюнктом для занятий русскою историей, расхвалив своего кандидата как нельзя больше. Шлецер страшно рассердился на Мюллера, как он смел сказать, что выписал на свой счет его из Геттингена! Но главная вина Мюллера состояла в том, что в своей просьбе он представил Шлецера как молодого человека, который под его руководством должен заниматься изданием собранных им исторических и географических известий о России. Шлецер поспешил показать Мюллеру, как он будет заниматься под его руководством. После присяги в Академической канцелярии Шлецер с Мюллером поехали вместе домой, и дорогою старик начал говорить: «Ну вот, теперь вы начнете свои адъюнктские занятия, прежде всего составите реестр к последнему тому „Русского исторического сборника (Sammlung russischer Geschichte)“. Шлецер отвечал: „Составлять реестры слишком унижительно для адъюнкта императорской Академии“. С этих пор Мюллер не беспокоил более Шлецера, и тот мог заниматься русскою историей совершенно независимо. Результатом этих занятий был вывод, что для успешного занятия русскими летописями необходимо изучение византийской литературы и славянских наречий.

Но кроме этих занятий источниками русской истории, занятий важных, потому что впервые производились чисто научным способом, мы не можем оставить без внимания и другой деятельности Шлецера – педагогической. Мы видели, что Шлецер благодаря Тауберту получил место домашнего учителя при детях графа Разумовского. Граф Кирилла, говорит Шлецер, был хороший человек и потому хотел дать сыновьям своим хорошее воспитание; в средствах не было недостатка, потому что он получал 600000 годового дохода. Но главное препятствие к хорошему воспитанию гетманских детей представляла маменька; тогда какой-то ученый человек присоветовал отцу удалить детей от маменьки, не высылая их из Петербурга. Совет был принят, наняли большой дом на Васильевском острове, в 10-й линии, и здесь поселились трое молодых графов Разумовских: Алексей, Петр и Андрей – да еще три мальчика – Теплов, Олсуфьев и Козлов. Гувернером при детях был Бурбье, французский лакей, но образованный лакей, умевший писать по-французски без ошибок, потому что много читал. При нем были три учителя, жившие в доме, и двое из них адъюнкты Академии – Румовский – математик и Шлецер; другие учителя приезжали давать уроки. Содержание института стоило графу ежегодно 10000 рублей, и содержался он великолепно, по словам Шлецера. Общий план преподавания составлен был без Шлецера, и он не нашел в нем географии! Шлецер потребовал немедленно географии от Тауберта, инспектора института; мало того, он представил необходимость другой науки, необходимость *познания отечества* – так он назвал русскую статистику. Первый урок начался вопросами: «Как велика Россия сравнительно с Германиею и Голландиею? Что такое Юстиц-коллегия? Каким товаром производит торговлю русский человек? Откуда получает он свое золото и серебро?» Понятно, что сам учитель только тут начал заниматься статистикою России, и при добывании сведений с ним случилось следующее происшествие: осенью 1763 года спросил он в одной купеческой компании, почему нынешнею весною вывезено было пеньки гораздо менее, чем прежде, и означил цифру

вывоза; тут один маклер отвел его в сторону и просил не давать вперед подобных вопросов и не обнаруживать таких опасных знаний. «Вас могут принудить, – сказал он, – объявить, от кого вы получили это известие, и вы сделаете чрез это человека несчастным». Сначала Шлецер преподавал своим воспитанникам русскую статистику по иностранным, исполненным ошибок источникам; но скоро Тауберт по знакомству с президентами и членами коллегий начал доставлять ему официальные источники, из которых Шлецер делал извлечения, потом о каждом предмете составлял маленькие рукописные книжки и раздавал их своим воспитанникам; на книжках была надпись: «A l'usage de l'Académie de la X ligne» (для употребления в Академии 10-й линии, т.е. Васильевского острова). Русская география явилась в таком же маленьком формате и быстро распространилась; многие домашние учителя списывали ее, по ней преподавалась русская география и в академической гимназии. Всеобщую историю преподавали сначала по учебнику Suras с вопросами и ответами, переведенному на русский язык с прибавкою русской истории; но Шлецер не хотел преподавать по этому учебнику, начал составлять свой и при этом составлении напал на те мысли, которые после развивал на лекциях в Геттингене. В Петербурге, приравливаясь к потребностям русских учеников своих, Шлецер пришел к мысли, что надобно ввести в историю целые народы, едва прежде известные в ней по имени: калмыки или монголы, думал он, потрясавшие вселенную, гораздо важнее ассириян или лонгобардов. Но если, по мнению Шлецера, для русских учеников важнее было знать подробности монгольской истории, чем лонгобардской, то зачем же он после перенес это уважение к монголам в Геттинген, где преподавал немцам, для которых, конечно, подробности лонгобардской истории были важнее подробностей монгольской. Это объясняется из материальности стремлений Шлецера: в истории своей он поражается только материальным величием, пренебрегая проявлениями духовных сил человека и народов; в его глазах Мильтиад – деревенский староста в сравнении с Аттилою или Тамерланом; геттингенские слушатели Шлецера помнят, как горячо защищал он с кафедры права внешней жизни или материальные интересы против духовных требований. Мы, конечно, не можем сочувствовать этому взгляду Шлецера; мы очень хорошо знаем, что для счастья и спокойствия человеческих обществ материальные стремления должны быть сдерживаемы, а не защищаемы, не поощряемы, ибо они всегда и везде могущественно обнаруживаются безо всякой защиты и поощрения; мы знаем, что они должны быть поставлены в служебное отношение к духовным требованиям; в истории мы видим осязательно истину священного изречения: «Дух есть иже живит, плоть ничтоже пользует». Мы знаем, когда являются Аттилы, Тамерланы и другие потрясатели вселенной, когда являются внешние или внутренние разрушители общественного строя и цивилизации: когда общество презрит духовную жизнь, духовные интересы, духовные силы, когда предастся чувственности, материальным стремлениям, когда воздвигнет алтари Молоху и золотому тельцу, тогда и являются на историческую сцену вожди нечистых сил, чтоб овладеть запродавшеюся им добычею. Заслуга Шлецера состоит не в установлении верных взглядов на явления всемирной истории, его заслуга состоит в том, что он ввел строгую критику, научное исследование частных случаев, указал на необходимость полного, подробного изучения вспомогательных наук для истории; благодаря Шлецеру наука стала на твердых основаниях, ибо он

предпослал изучению исторической физиологии занятие историческою анатомией.

Наступил 1764 год. Шлецер приближался к тридцатому году своей жизни. Ему было хорошо в Петербурге, но его беспокоило будущее. «До сих пор, – писал он Михаелису, – переключивался я, как номад, из одной науки в другую не по юношеской ветрености, но увлекаемый течением обстоятельств... Многоразличные сведения, которые я чрез это приобрел, должны быть мне полезны, когда я наконец остановлюсь на чем-нибудь одном». О путешествии на Восток уже нечего было больше думать; Шлецер начал думать о том, следует ли ему оставаться в Петербургской Академии, издавать русские летописи, создавать русскую статистику, распространять в великом русском народе познания о других народах. Первое изучение русских летописей было для него очень привлекательно.

Но Шлецер по природе своей не был способен к страстным привязанностям, не был способен забывать все для любимого предмета занятий; до тридцати лет этого любимого предмета он еще не нашел, кочевал от одной науки в другую. По своей расчетливой природе он при начале каждого труда спрашивал: а что я за него получу, какие приобрету материальные выгоды? Так и теперь спрашивал он себя: какая мне будет награда, если я, прекратив кочеванье, остановлюсь на русской истории? Место ординарного профессора с 860 рублями жалованья! Но в Петербурге этим жить нельзя, особенно если жениться. Шлецер начал думать, что надобно оставить Россию и в Германии издать свои *Rossica*, т.е. приобретенные материалы по русской истории и статистике. Весною 1764 года Шлецер подал доношение в Академию, где, во-первых, просил об отпуске в Германию на три года, во-вторых, просил, что если Академия одобряет его деятельность и считает достойным оставаться при ней, то чтоб сооблаговолила сообщить ему свое решение до его отъезда, причем он желает представить план занятий, которые он намерен предпринять в будущем для пользы наук. вообще и для распространения их в русской публике. План распадался на два: первый заключал указания, как изучать отечественные памятники критически, грамматически и исторически и как изучать иностранные памятники, заключающие известия о русской истории. Второй план касался распространения сведений в русском народе. Миллионы русских людей, представлял Шлецер, могут читать и писать, сотни тысяч могут читать книги и страстно стремятся к приобретению сведений. Но иностранные языки известны немногим, следовательно, надобно помогать большинству в приобретении познаний посредством переводов; кто же должен помогать? Разумеется, Академия, столь богатая средствами; ее призвание состоит не в том только, чтоб делать открытия по наукам для целого мира; ее русский мир к ней ближе. Но что она сделала? Байер и другие издали очень хорошие, самостоятельные, непередаваемые учебники для молодого императора Петра II; но с 1736-го по 1764-й печальное затишье и ни одного самостоятельного сочинения, все одни переводы. Латинские комментарии Академии заключали в себе, конечно, важные статьи, но русские не читали их, русские считали большие суммы, которые шли на Академию, и громко говорили, что за такие суммы народ получает только календарь, от этого уменьшается уважение к иностранцам, из которых преимущественно состоит Академия. Последняя, по мнению Шлецера, должна была распространять в русском народе сведения в малых приемах,

римскую историю, например, издать не в 26 томах (намек на Третьяковского), а в одном или двух; многотомные классические сочинения иностранных писателей не издавать; даже легкие, всем доступные иностранные сочинения должно не переводить, а переделывать. Шлецер предлагал свои услуги при составлении учебников или народных книг по предметам, ему известным: по истории, географии и статистике; он предлагал или переделывать уже существующие иностранные сочинения, или из девяти хороших сочинений составлять десятое.

Против продолжения деятельности Шлецера в Академии с обычною своею страстностию вооружился Ломоносов. Его подозрительность к немцам, к их властолюбивым, вредным замыслам была возбуждена в высшей степени. До сих пор иностранцы, вызывавшиеся в Академию, занимались каждый своею наукою; Мюллер занимался русскою историею, был русским историографом, и за то Ломоносов зорко следил за каждым его шагом в самостоятельной деятельности по русской истории, не проводит ли иностранец каких-нибудь нехороших мыслей, не оскорбляет ли величия русского народа, постоянно придирался, постоянно протестовал. Но вот теперь является немец, который едва приехал в Петербург, едва успел познакомиться с русским языком, с русскими древними письменными памятниками, как уже хочет распоряжаться полновластным хозяином и в области русской истории, и в области русского языка. Дерзость неимоверная! Но понятно, что сам он не мог дойти до такой степени дерзости: это все Тауберт, он принял Шлецера под свое покровительство, когда тот рассорился с Мюллером, заплатив ему черною неблагодарностию; он приставил Шлецера учителем к гетманским детям, ввел его в Академию и теперь хочет противопоставить ему, Ломоносову, и в занятиях русскою историею, и даже русским языком: Шлецер по настоянию Тауберта уже написал русскую грамматику. Самую сильную выходку сделал Ломоносов против этой грамматики: «Хотя всяк российскому языку искусный легко усмотреть может, сколь много нестерпимых погрешностей в сей беспорядочной грамматике находится, показующих сочинителю великие недостатки в таковом деле, но больше удивится его нерассудной наглости, что, зная свою слабость и ведая искусство, труды и успехи в словесных науках природных россиян, не обинуясь, приступил к этому и как бы некоторый пигмей поднял Альпийские горы. Но больше всего оказывается не токмо незнание, но и сумасбродство в произведении слов российских». Приводя несколько словопроизводств, Ломоносов заключает: «Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколбродит в российских древностях такая допущенная в них скотина». Мюллер в своем отзыве несколько не отрицал достоинств Шлецера; он настаивал на одном – что этот ученый непрочен Академии и России: «Если он обяжется служить два, три, пять, положим, десять лет, то, чем долговременнее будет его пребывание в России, тем больше он добудет в свои руки известий о ней, которыми по возвращении в Германию он воспользуется с большою для себя выгодною; но я не вижу, что же выйдет из этого для чести и пользы России?»

Шлецер подал просьбу самой императрице об отпуске за границу и в конце просьбы испрашивал все милостивейшего соизволения продолжать начатые труды «под собственным ее величества покровительством, в безопасности от притеснений и всякого рода препятствий, обработать прагматически древнюю русскую историю от начала монархии до пресечения Рюрикова дома по образцу всех других европейских народов, согласно с вечными законами исторической

истины и добросовестно, как следует вернейшему ее величества подданному. В случае же если он, Шлецер, не будет иметь счастья достигнуть этого лучшего из своих желаний, да удостоится он и по отъезде своем пребывать в связи с Академиею ее величества в качестве иностранного члена-пансионера». Просьба была подана чрез генерал-рекетмейстера Козлова, которого сын учился у Шлецера в академии 10-й линии, и перешла на рассмотрение к Теплову, которого сын учился там же. Оба, и Козлов и Теплов, имели полную возможность убедительно представить Екатерине блестящие способности и богатые ученые средства Шлецера, необходимость удержать такого человека на пользу русского просвещения; и следствием было то, что Шлецер был сделан ординарным профессором русской истории с жалованьем по 860 рублей и с условием, что свои работы он должен представлять ее императорскому величеству или кому от ее величества рассмотрение оных поручено будет.

Если мы теперь от старой относительно Академии наук с ее постоянною борьбою между русскими и иностранными членами перейдем к новорожденному университету Московскому; то нас здесь остановит любопытное явление: только двое профессоров русских, Поповский и Барсов, начавшие свое образование в московских духовных школах и окончившие его при Академии наук, после к ним присоединился магистр Савич; все остальные иностранцы. Поповский преподавал философию и красноречие и стал известен преимущественно переводом (с французского) знаменитой в свое время поэмы Попе «Опыт о человеке». Поповский, трудясь над переводом «Опыта», и люди, дававшие важное значение переводу и ставившие его в большую заслугу Поповскому, платили дань веку. «Опыт о человеке» есть написанное гладкими стихами длинное рассуждение, где изложено учение английских поклонников разума, учение, которое французские писатели, Вольтер с товарищами, распространили по всей Европе. О человеке из поэмы Попе можно было узнать, что в детском возрасте для человека нужны игрушки, в зрелом – мундиры и орденские ленты, а в старческом – молитвенники, и все это имеет одно и то же значение. Развитие человека начинается с подражания животным, которые учат его искусствам, а религиозное чувство есть произведение страха. Деспотизм и свобода имеют один источник – себялюбие; в человеческой природе господствуют два начала – себялюбие и разум: себялюбие побуждает, а разум сдерживает. Синодальная цензура переделала много стихов в переводе Поповского, не заботясь о цезуре. Эти стихи напечатаны были крупным шрифтом. Второй труд Поповского был также перевод Локковой книги о воспитании. Другой русский профессор, Барсов, начал преподаванием математики, а кончил преподаванием русской словесности; Савич преподавал географию.

С 1756 года начали наезжать в Москву иностранные профессора, так что университет для их помещения выхлопотал себе право иметь собственную гостиницу. Московская публика знакомилась с новым учреждением посредством публичных актов, которые бывали довольно часто: перед началом и концом курса и в высокаторжественные дни. На этих актах кроме чтения речей профессорами устраивались диспуты между студентами под руководством профессоров. Так, 17 декабря 1758 года на акте был диспут из натуральной теологии на латинском языке под руководством профессора теологии Фромана. Наконец, публика могла входить в связь с университетом посредством публичных курсов (которые тогда

назывались приватными, а университетские курсы для студентов назывались публичными). Профессор Дильтей немедленно по приезде своем в 1756 году объявил приватные лекции о праве натуральном на французском языке с обещанием весь курс окончить в полгода. В 1761 году Дильтей читал публичные лекции о естественном праве, геральдике, истории и географии; цена каждому курсу была 12 рублей, с неимущих же никакого платежа не требовалось. В 1762 году Дильтей объявил, что начнет приватные исторические лекции на французском языке и обучать будет универсальной истории и хронологии от сотворения света до Р. Х. Но чтоб не терять времени в писании оных уроков, то он сочинил и перевел свои исторические лекции и издал их в печать по два рубля экземпляр. А ежели любители наук сею книжкою пользоваться пожелают, не слушая толкования, то оные имеют прислать два рубля в дом помянутого профессора с изъявлением своего имени и ранга, почему немедленно получают три первые листа. Дильтей сначала составлял один весь юридический факультет, и только с 1764 года видим другого профессора, юриста Лангера. В 1765 году Дильтей имел большие неприятности в университете: от него хотели избавиться, наряжено было следствие, причем главный упрек состоял в нерадении. Дильтей с своей стороны указывал, что в последнее время у него был один только студент, что для успешного преподавания русской юриспруденции необходимо прежде положить основания в изучении права естественного и римского и русские законы расположить в какой-нибудь системе, причем излагать их должны русские профессора на русском языке. Дело дошло до императрицы Екатерины, которая именным указом велела оставить Дильтея в университете.

В медицинском факультете сначала был также один профессор, Керштенс, читавший врачебное вещевословие; в 1764 году поступил Эразмус, первый открывший кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства; для его лекций был устроен анатомический театр; но полиция не хотела исполнять требований университетского начальства, не доставляла трупов.

В 1757 году читался в университете на французском языке курс экспериментальной физики аббатом Франкози. «Собрание было немалое любителей наук, между которыми находились и дамские персоны».

В обеих гимназиях было 36 учителей: 16 русских и 20 иностранцев. О преподавании в этих гимназиях мы имеем несколько известий в записках Фон-Визина, бывшего одним из первых учеников университета. Здесь для уразумения слов Фон-Визина надобно заметить, что гимназии были слиты с университетом и об ученике, проходившем гимназический курс, говорилось, что он учится в университете. «Самая справедливость, – говорит Фон-Визин, – велит мне предварительно признаться, что нынешний (т.е. позднейший) университет уже не тот, какой при мне был. Учителя и ученики совсем ныне других свойств, и, сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает, Я скажу в пример бывший нам экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делают приготовление; вот в чем оно состоит: учитель наш пришел в кафтане, на коем было пять пуговиц, а на камзоле четыре; удивленный сею странностию, спросил я учителя о причине. „Пуговицы мои вам кажутся смешны, – говорил он, – но оне суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтане значут пять склонений, а на камзоле – четыре спряжения; итак, – продолжал он, ударя по столу рукою, – извольте слушать все, что говорить стану.

Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь: если за вторую, то смело отвечайте: второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете“. Вот каков был экзамен наш! Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только трое. Но как учитель наш был тупее прежнего латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был: „Куда течет Волга?“ „В Черное море“, – отвечал он. Спросили о том же другого моего товарища. „В Белое“, – отвечал тот. Сей же самый вопрос сделан был мне. „Не знаю“, – сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Как бы то ни было, я должен с благодарностию воспоминать университет, ибо в нем, обучась по латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку; и паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам. В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно, ибо, с одной стороны, причиною тому была ребяческая леность, а с другой – нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу, латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел преострую и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо». У Фон-Визина встречаем также известие о курсе Шадена, бывшего ректором гимназии: «Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны». Шаден преподавал логику на латинском языке.

Фон-Визин поминает университет добром за то, что выучился в нем хорошо по-латыни и *довольно* немецкому языку. Но другие воспитанники университета не могли похвалиться последним. Когда генерал-поручик Корф, управлявший во время Семилетней войны завоеванною провинциею Пруссиею, потребовал присылки к нему молодых людей, которые могли бы служить при нем переводчиками французского, немецкого и польского языков, то правительство обратилось в университет, и тот выслал в Кенигсберг четырех студентов и шесть человек учеников. Но когда они приехали в Кенигсберг, то Корф нашел, что в переводчики они не годятся да и ни к каким должностям определить их нельзя по незнанию немецкого языка, притом же ученики несовершеннолетние и только начали учиться. Губернатор назад отсылать их не заблагорассудил и распорядился таким образом: «Приемля в рассуждение, что оные студенты и ученики как уже несколько лет обучались и на то немалый кошт употреблен, приказал обучаться им наукам в Кенигсберге во всем, как и прочие там студенты и ученики употребляют, и жалованья давалось студентам по 90, а ученикам по 50 рублей в год».

Сравнительно университет стоял высоко, несмотря на свою юность; лучшие молодые люди из окончивших курс в других учебных заведениях отсылались в университет для дальнейшего образования: так, в 1756 году Сенат приказал кадетского корпуса капралу Кожину за хорошее его обучение против прочих выпущенных из корпуса капралов дать чин подпоручика и отослать в Московский университет по требованию куратора Шувалова. Университет должен был увеличить число приготовленных молодых людей русских для таких занятий, для

каких до сих пор употреблялись иностранцы. В 1761 году Медицинская канцелярия напечатала в газетах приглашение иностранцам отдавать детей своих для обучения хирургии. Сенат велел призвать главного доктора в Медицинской канцелярии Лерха и секретаря и внушить им, что объявление в «Ведомостях» сделано очень неосновательно и чтоб вперед в таких делах поступали осторожно, ибо для обучения хирургии можно сыскать довольно и русских людей, как-то: из Московского университета, из Академии наук, из семинарий и других училищ, где преподается латинский язык. До сих пор каждая коллегия имела свою школу, образовывала для себя молодых людей, носивших название юнкеров. В 1763 году вышел указ: в Сенате и прочих местах юнкеров не иметь, а наличных всех из дворян поместить в сухопутный и морской корпуса, а не из дворян – в Московский университет, а других, которые по летам не могут учения продолжать, – в военную и гражданскую службу по способностям.

Но чтоб университет как можно скорее мог удовлетворить потребностям разных мест иметь образованных русских людей, считали необходимым увеличивать льготами число воспитанников университета. Многим родителям препятствовала отдавать детей в университет мысль, что в то время, когда молодой человек будет заниматься науками, ровесники его, поступая прямо на службу, опередят его чинами. Поэтому на другой же год по основании университета, 17 мая 1756 года, состоялся указ, которым позволено недорослям из шляхетства, бывшим в указные сроки на смотрах, учиться в университете до 16 лет и по склонности к наукам и до 20; успевших в науках повелено определять в штатские чины по достоинствам их и давать им ранги обер-офицеров армии; о принимаемых в учение сноситься с герольдиею; записанным в военную и гражданскую службу дозволялось в одно и то же время учиться и числиться на службе с производством чинов; о тех же, которые сверх 20 лет желали изучать высшие науки, повелено представлять Сенату. В 1761 году встречаем случай, что Сенат прямо в видах поощрения молодых людей заниматься в университете берет отличного студента к себе в канцелярию, что считалось особенно почетным: «Приказали: студенту Бражникову за обучение в Московском университете на своем коште наук и юриспруденции и дабы другие находящиеся в том университете студенты в обучении наук прилежание свое иметь могли дать чин коллежского регистратора и быть ему при делах в канцелярии Прав. Сената».

Университет снабжен был библиотекой, которая была отворена для всех каждую среду и субботу от 2 до 5 часов. При университете заведены были типография и книжная лавка; Синоду предписано было всю гражданскую часть духовной типографии со всеми ее инструментами и книгами, напечатанными гражданскою печатью, передать Московскому университету. Книжная лавка тотчас после своего открытия объявила, что она получила немалое число иностранных книг. Кроме книг, преимущественно учебных, в университетской книжной лавке продавались математические инструменты английской работы, микроскопы, телескопы, глобусы, камеробскуры, рисовальные книги, ландкарты и проч. Привилегированными университетскими *книгосодержателями* были Школярый и Вевер. С 26 апреля 1756 года университет начал издавать «Московские Ведомости».

Явились и частные пожертвования Демидовых и других. В «Московских Ведомостях» 1757 года встречаем известие: «Мы живем в такие счастливые

времена, в которые не только мужеский пол, но и дамы крайнюю склонность показывают к наукам. Пример сему показала покойного действительного тайного советника Наумова супруга Марья Михайловна, которая подарила в университет 1000 рублей».

Мы присутствовали при слабых, бедных зачатках учреждения, которому суждено было иметь важное значение в истории русского просвещения; мы видели исток большой реки в виде ничтожного болотного ручейка; мы слышали свидетельство одного из самых даровитых воспитанников новорожденного учреждения о недостаточности, о беспорядках преподавания в нем; но этот самый свидетель в то же самое время говорит, что, несмотря на все недостатки и беспорядки, он выучился двум языкам, древнему и новому, что послужило средством приобретения других познаний, следовательно, время учения не прошло даром. Тот же Фон-Визин, говоря о пользе, полученной им от университета, прибавляет: «А паче всего в нем я получил вкус к словесным наукам». Мы еще обратимся впоследствии к той роли, какую играл университет в литературном движении, но для нас чрезвычайно важны слова Фон-Визина, что во время составления его записок университет был уже не тот, какой был вначале, «и, сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешнее похвалы заслуживает». Для нас важна эта способность и быстрота совершенствования. Условия успеха зависели от времени, в какое был основан университет. Мы видели, что это было время, когда Россия пришла в себя, заговорила, когда явилась литература, страсть к чтению, к театру, к науке; живые, даровитые люди наполнили университет, учрежденный в чрезвычайно удобной местности по ее центральному положению; отцы под веянием нового духа не медлили ни минуты отдавать туда своих сыновей, в которых усматривали способности. Легко понять, какое значение должно было иметь это сосредоточение даровитой, возбужденной молодежи в одном тесном кругу. Некоторые, и не последние по дарованиям (Потемкин, Новиков), не выдержали до конца при искушении, в которое вводила самая беспорядочность преподавания, но возбуждение умственной деятельности осталось и выразилось разным образом на различных поприщах жизни. Что же касается возможности совершенствования университета, совершенствования преподавания, то не надобно забывать, что Московский университет был основан под влиянием мысли, которой Ломоносов был таким неутомимым провозгласителем, мысли, что все в России должно существовать для русских, для развития русских сил, каждое учреждение должно как можно скорее наполняться русскими деятелями и снабжать ими другие, младшие учреждения. Отсюда, как только окажется даровитый и трудолюбивый студент, его отправляют в заграничные университеты, чтоб по возвращении на родину мог быть профессором, заменить иностранца-наемника. В 1765 году число русских профессоров увеличилось воспитанниками Московского университета, возвратившимися из-за границы, Вениаминовым и Зыбелиным – оба читали на медицинском факультете; двое других, Десницкий и Третьяков, приготавливались за границею к занятию юридических кафедр; Афонин – для естественных наук; Савич был отправлен в Казань в звании профессора, командующего гимназиями; но уже выдавались двое молодых русских ученых, которые впоследствии заняли кафедры при университете, – Аничков и Чеботарев. Иностранцы, несмотря на то

что составляли большинство, не имели сил противодействовать этому направлению, ибо оно настойчиво шло сверху.

Шувалов внимательно наблюдал за тем, чтоб в его университете не повторилось явление, за которое так сильно упрекали Академию наук. Большинство иностранцев в конференции или совете сдерживалось ближайшею властью директора, необходимого именно вследствие этого большинства иностранцев, и между директорами не было ни одного Шумахера или Тауберта. Иностранцы, несмотря на свое большинство вначале, не были на своей почве в Москве, а русские, несмотря на меньшинство, были у себя дома, были родные дети, хозяева.

Кроме двух гимназий в Москве в 1758 году открыта была по настоянию Ив. Ив. Шувалова гимназия в Казани, самом важном городе Восточной России. О преподавании в московских гимназиях мы привели свидетельство Фон-Визина; о преподавании в Казанской гимназии приведем свидетельство другой литературной знаменитости, Державина. Но для сравнения начнем с рассказа Державина о его образовании в Оренбурге до поступления в гимназию. По седьмому году он отдан был учиться немецкому языку к сосланному за какую-то вину в каторжную работу Иосифу Розе, у которого учились мальчики и девочки, дети лучших людей, служивших в Оренбурге. «Сей наставник, – говорит Державин, – кроме того что нравов развращенных, жесток, наказывал своих учеников самыми мучительными, но даже и неблагопристойными штрафами, о коих рассказывать было бы отвратительно, был сам невежда, не знал даже грамматических правил, а для того и упражнял только детей тверждением наизусть вокабол и разговоров и списыванием оных». В Казанской гимназии, по словам Державина, «преподавалось учение языкам: латынскому, французскому, немецкому, арифметике, геометрии, танцованию, музыке, рисованию и фехтованию; однако же по недостатку хороших учителей едва ли с лучшими правилами, как и прежде (т.е. у Розы). Более ж всего старались, чтоб научить читать, писать и говорить сколько-нибудь по грамматике и быть обходительным, заставляя сказывать на кафедрах сочиненные учителем и выученные наизусть речи; также представлять на театре бывшие тогда в славе Сумарокова трагедии, танцовать и фехтовать в торжественных собраниях при случае экзаменов, что сделало питомцев хотя в науках неискусными, однако же доставило людскость и некоторую розвязь в обращении».

Что касается старых учебных заведений, то для сухопутного кадетского корпуса в 1765 году были изданы высочайше утвержденные пункты, в которых говорилось: «Всех тех воспитанников, которым от роду 20 лет и более, а притом добропорядочного поведения, выпустить по их достоинствам: которые кончили геометрию, могут переводить с какого-нибудь языка, изучили хотя некоторые специальные карты в географии, в истории дошли до половины или до седьмого периода, умеют на манеже школу ездить, фехтовать в контру, таких выпустить прапорщиками. Которые изучили пять степеней высших наук, тех выпускать подпоручиками, а которые изучили более семи степеней, тех поручиками. Которые по слабости здоровья военной службы нести не могут или сами пожелают, выпускать в гражданскую теми же чинами. Которые хорошего поведения, но не будут иметь из предписанных знаний и двух степеней, таких исключить из корпуса кадетами, звание выше унтер– и ниже обер-офицерского.

Всякие телесные наказания кадетам в корпусе отрешить; наказание должно состоять в понижении из разряда лучших кадет в разряд худших; лучшим кадетам дать большее отличие в одежде, пище и выпускать с высшими офицерскими чинами».

Учебных заведений было немного, но и в этих немногих чувствовался недостаток в учителях, что видно из публикаций Морского корпуса. В 1763 году он напечатал в «Ведомостях» патриархальную публикацию: «Желающим определиться в Морской шляхетный кадетский корпус в учителя для преподавания в оном географии, генеалогии, французского языка и других наук, также поставить на шитье гардемарином епанеч синего сукна, каразеи, подкладочного холста и синих гарусных пуговиц явиться немедленно в канцелярию означенного корпуса». В 1764 году новая публикация: «В Морской кадетский шляхетный корпус потребны: навигацких наук профессор – 1, корабельной архитектуры учитель – 1, подмастерье – 1, механик – 1, подмастерье – 1; для обучения словесным наукам, философии, географии, генеалогии, реторики и проч. учителей – 3, дацкого языка учитель – 1, шведского учитель же – 1, подмастерьев немецкого, французского, английского, дацкого и шведского языков – к каждому языку по одному, переводчиков – 2, танцмейстер – 1, геодезии учитель – 1, геодезистов – 3».

При Елисавете граф Петр Ив. Шувалов устроил в Петербурге соединенную артиллерийскую и инженерную школу и в 1760 году подал донесение в Сенат: «В 1745 году велено содержать в Оренбурге инженерных учеников 10 человек, и по обучении в тамошней школе производятся они в кондукторы, в котором чине состоя, с прочими по списку наряду производятся в обер-офицеры; а так как в тамошней школе обучают только арифметике, геометрии и части фортификации, в учрежденной же им, Шуваловым, в Петербурге соединенной артиллерийской и инженерной школе учат немецкому и французскому языкам, истории, географии, арифметике, геометрии простой, алгебре, коническим сечениям, механике, гидравлике, эрометрии, архитектуре гражданской, географии математической, химии, основанию экспериментальной физики, натуральной гистории, военной экзерциции, танцованию, артиллерии, фортификации и фейерверочному искусству, то оренбургские с петербургскими учениками никак сравниться не могут и первые с обидою знающим производятся, следовательно, оренбургских надобно определить в здешнюю соединенную школу, дабы оные могли начатые науки окончить и прочим обучиться». Сенат согласился.

Относительно воспитанников духовных училищ в 1765 году была принята любопытная мера: обер-прокурор Синода, бывший перед тем директором Московского университета, Мелиссино предложил Св. Синоду высочайшую волю, состоявшую в том, чтобы из обучающихся в семинариях учеников, которые дошли уже до риторики и подают хорошую надежду *в понятия* и пред прочими взяли преимущество в честных поступках, избрать десять человек для отправления их в Англию, чтобы в университетах Оксфордском и Кембриджском в пользу государства могли научиться высшим наукам и восточным языкам, не выключая и богословия. А чтоб они в порядке себя содержали, избрать инспекторами двух человек, которым бы можно было поручить попечение об этих студентах. Нашлось более 10 способных учеников и охотников из учителей, и одни из них были отправлены в Оксфорд, другие в Геттингбн, третьи в Лейден. В инструкции

посланным в Англию говорилось: «Обучаться вам греческому, еврейскому и французскому языкам; не упоминается о латинском и аглинском, ибо латинскому уже обучались, в котором должны себя разговорами и чтением книг экзерцировать, а аглинскому языку самое обращение, а притом и преподаваемые лекции научать должны. Немецкий язык и другие восточные диалекты оставить всякому по произволению. Всем обучаться моральной философии, истории, наипаче церковной, географии и математическим принципам, также и непространной богословии... Инспектору наблюдать, чтоб ежедневно читаны были поутру утренние, а ввечеру на сон грядущих молитвы. В воскресные и великих праздников дни (понеже от церкви в удалении будут) читать и петь несколько псалмов, также прочесть того дня Апостол и Евангелие. В сии же дни читать на иностранных языках по порядку несколько глав из Ветхого Завета по рассуждению инспектора с возможным изъяснением. Сего богослужения должность тем с большим усердием совершать обязаны студенты, что они отсюда отправляются наиболее с тем, чтоб желаемою пользою услужить св. церкви. Дважды в год, а по крайней мере одна, на праздники Рождества Христова или св. Пасхи, ездить в лондонскую греко-российскую церковь для исповеди и св. Причастия и, нимало не мешкая, возвращаться. Всем вообще ходить на публичные диспуты и другие ученые университетские собрания, также и на проповеди, прислушиваясь к чистоте их языка и проповеднического штиля. При слушании тамошней богословии могут случаться догматы, нашей церкви противные; инспектору надлежит заблаговременно их лекции рассмотреть и, ежели б такие противности случились, о том студентов в осторожность с истолкованием уведомить, дабы слушание оных им также служило впредь единым нужным пастырским сведением разницы догматов между христианскими исповеданиями».

Мы говорили до сих пор об училищах, учрежденных государством и находившихся под его надзором. Но было еще учение домашнее, где недостаток надзора со стороны необразованных родителей и недостаток учителей должны были вести к очень печальным явлениям. В Оренбурге, по свидетельству Державина, каторжник Роза учил мальчиков и девочек по-немецки и обращался с ними варварски, но так было не в одном Оренбурге; в обеих столицах, не только в областях брали к детям или отдавали детей в частные пансионы всякому иностранцу без возможности поверки его знания и нравственности. Правительство должно было вмешаться в дело, и по указу 5 мая 1757 года иностранцы, желавшие поступать в домашние учителя или заводить частные школы, должны были держать экзамен в Петербурге в Академии наук, а в Москве – в университете. Чтоб показать, кто и чему учил в частных школах, приведем несколько объявлений об открытии таких школ в обеих столицах. В Петербурге в 1757 году г. де Лаваль объявил, что с женою своею намерены принимать к себе девиц для обучения французскому языку, географии, истории, рисованию и арифметике. Тогда же два ученых француза с одним немцем без означения своих имен объявили, что принимают к себе детей для обучения французскому и немецкому языкам и наукам совсем новым, легким и кратким способом, а жены их служанок обучают мыть, шить и экономии. Содержатель школы Сосеротте объявил, что получил от Академии наук аттестат в искусстве и способности обучать людей публично истории, географии, употреблению глобуса, митологии, геральдике, французскому штилю, начальным основаниям в латинском, немецком

и французском языках и арифметике. У него для начинающих учиться будут в классах подмастерья, притом он также для желающих составлять будет на всех тех трех языках просительные и другие письма. В 1758 году две француженки, не говоря своих имен, объявили, что намерены содержать французскую школу для женщин, которые притом обучаемы быть имеют нравоведению, истории, географии, также, ежели кто пожелает, арифметике, музыке, танцованию, рисованию, доброму домостроительству и прочему, что требуется к воспитанию честных женщин. Французский комедиант Пьер Рено объявил, что принимает к себе молодых людей для обучения французскому языку, танцованию и пению. Француженка Риншар объявила, что принимает к себе девиц для обучения французскому и немецкому языкам, истории, географии, арифметике и прочему и что касается до доброго воспитания. В 1761 году находим такое объявление: «На Петербургской стороне, за Инженерным корпусом, в доме Розенбаума обучаются девицы немецкому и французскому языкам, также домосодержанию и что к тому принадлежит, за что с них берется платы наперед по 100 рублей с каждой». От русских встречаем только два объявления: в 1760 году знаменитого Третьяковского, который объявил, что намерен принимать к себе детей в пансион и без пансиона для обучения французскому и латинскому языкам и переводить с оных на российский, также праву натуральному, истории и географии, о чем охотники с ним самим обстоятельнее изъясниться могут. А в 1763 году объявил Московского университета учитель Антон Любинский, что намерен обучать юношество приватно арифметике, геометрии, тригонометрии и алгебре, также латинскому языку, российскому правописанию и географии. В том же году встречаем такие объявления: «У учителя Стиллау имеются для продажи разные иностранные книги; оный же учитель принимает на свое содержание девиц для обучения французскому и немецкому языкам, также шить и кружева плести». Учитель Шарль Мовэ обучает пансионеров обоего пола немецкому, латинскому и французскому языкам, также арифметике, геометрии, истории, рисовать и играть на клавире.

В Москве в 1758 году мадам де Мога объявила: если кто пожелает отдать своих детей-девиц на ее содержание для обучения французского языка и географии, то она не преминет удовольствоваться, показывая притом благородные поступки, пристойные к их природе. В 1760 году мадам Сириин начала обучать малых детей обоего пола французскому и немецкому языкам, читать, писать, рисовать, также убирать на голове и другим приличным к воспитанию женского пола вещам. В 1761 году французский учитель Эрье намерен был обучать дворянство по-французски, географии, политике, арифметике, геометрии, фортификации, архитектуре.

Одна академическая гимназия в Петербурге, три или четыре военных училища, две гимназии в Москве и одна в Казани – вот все средства, которыми располагало светское образование в России. Больше училищ завести было нельзя, ибо прежде всего негде было взять для них учителей; и нужда заставляла частных людей обращаться к первому иностранцу, который объявил себя способным чему-нибудь выучить детей их. Но тут была еще другая сторона: во всех приведенных нами объявлениях ни один педагог не заявлял, что в его школе будет преподаваться Закон Божий по учению православной церкви. Церковь должна была обратить на это внимание. В 1764 году Сенат, слушав ведение Синода,

напоминавшее, что елисаветинскими указами 1743 и 1744 годов велено дворянам и разного звания людям обучать детей своих прежде обучения русским книгам, букварю и катехизису и упражнять в чтении церковных книг, дабы, узнав чрез это христианскую должность и догматы православной веры, могли право поступать и охранять себя от иноверных развратников, и, если кто в назначенное время явится неискусен в толковании букваря и катехизиса, таких, пока не обучатся, не повышать в чины, а родителей и опекунов штрафовать. Сенат отвечал: «Понеже ныне между многими другими о пользе народной неусыпными стараниями воспоследовали новые наиполезнейшие о воспитании и обучении российского юношества учреждения, в коих главным пунктом положено вселять учением страх Божий, закон его и благочестие купно с любовью к добродетелям и похвальному житию, и таковые воспитательные училища сверх прежних как в С.-Петербурге при Академии художеств, в Новодевичьем монастыре, так и во всех губерниях учредить, и данную ее императорским величеством Духовной комиссии инструкциею особо повелено во всякой епархии при домах архиерейских иметь училищные дома и учредить в двух или трех монастырях каждой епархии малые гимназии с тем, дабы о сем яко главном деле Божии и первом способе к насаждению плодов духовных все прилежнейше подумать, и когда соответствующими сему стараниями Святейшего Правительствующего Синода, без сомнения, желанные в том успехи последуют, то тем самым вышеписанное Святейшего Синода богоугодное намерение совершенно исполнится».

Ловко отписались. Но в конце того же года пришло напоминовение о том же предмете не от Синода, а от светского учреждения, и пришло из тех мест, откуда явился Ломоносов. Архангельский губернский магистрат прислал в Сенат доношение гражданина Василья Крестинина, определенного магистратом наблюдать за исполнением указа 743 года об обучении всякого чина детей грамоте, букварю и катехизису. Крестинин указывал на необходимость заведения малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе все без исключения, достаточные вносили бы известную сумму денег за обучение, а за бедных должен платить учителям жалованье магистрат. Архангельский магистрат, признавая предложение Крестинина полезным, просил Сенат, чтоб в следующем 1765 году начать по всем городам российского отечества обучение катехизису. Сенат решил поднести императрице доклад с представлением: 1) Такие малые школы учредить на первый раз в городе Архангельске, а для примера прочим городам публиковать об этом с пристойною похвалою Архангельскому магистрату и Крестинину, чтоб и другие магистраты и граждане были поощрены. 2) Сочинение Феофана Прокоповича «Краткое учение» напечатать и азбуку, сочиня такую, какую предлагает Крестинин, напечатать же от Святейшего Синода, а к ней приложить правила Ивана Гартунга, изданные в Кенигсберге, равно как и выбранные ректором Гибнером библейские священные истории перевести на русский язык в Академии наук, и отослать для освидетельствования в Святейший Синод, и немедленно по напечатании разослать в школы. 3) Для учителей сочинить общее наставление.

Сенат в ответе своем Синоду указывал на вновь учрежденное училище в Новодевичьем монастыре в Петербурге. Это было женское училище, известное под именем Смольного монастыря, учрежденное в 1764 году. Училище разделялось таким образом: первый возраст от 6 до 9 лет; здесь учебные

предметы: 1) исполнение закона и катехизис, 2) все части воспитания и благонравия, 3) российский, 4) иностранные языки, 5) арифметика, 6) рисование, 7) танцевание, 8) музыка вокальная и инструментальная, 9) шитье и вязанье всякого рода. Второй возраст от 9 до 12 лет; предметы занятий: продолжение всего прежнего и, сверх того, география, история, некоторая часть экономии или домостроительства. Третий возраст – от 12 до 15 лет: продолжение всего прежнего, притом словесные науки, к коим принадлежит чтение исторических и нравоучительных книг, 2) часть архитектуры и геральдики, 3) начинают действительно вступать в экономию по очереди. Четвертый возраст от 15 до 18 лет: 1) знание совершенное закона, 2) все правила доброго воспитания, благонравия, светского обхождения и учтивости, 3) повторение всего прежнего, в чем совершенного знания еще не имеют, 4) во все части экономии действительно вступают по очереди.

Роль Ив. Ив. Шувалова относительно просвещения, заведения училищ при новой императрице перешла к Ивану Ивановичу Бецкому, имя которого уже несколько раз нами упоминалось. Долгое пребывание Бецкого за границею, наблюдение тамошних учреждений для просвещения, а главное – преданность так называемому просветительному движению на Западе, дружба с его вождями, между прочим с знаменитою Жоффрэн, дали ему большое значение в Петербурге по возвращении его из-за границы. Главный директор Канцелярии строений при Петре III, Бецкий, естественно, приближался, делался домашним человеком при Екатерине II, так любившей поговорить с бывалым на Западе, образованным человеком, каких около нее было немного. Бецкий подал мысль об учреждении в Москве Воспитательного дома на пожертвования частных людей; это учреждение отдано в его главное заведование, равно как и Смольный монастырь. Екатерина в письмах к Жоффрэн так говорит об отношениях своих к Бецкому и о его деятельности при описании своего дня: «Я встаю всегда в 6 часов утра, читаю и пишу одна до 8; потом приходят ко мне с докладами, и это продолжается до 11 часов и более, после чего я одеваюсь. По воскресеньям и праздникам я хожу к обедне, а в другие дни выхожу в приемную комнату, где обыкновенно дожидается меня целая толпа людей; поговорив с ними полчаса или три четверти, сажусь за стол, а по выходе из-за него является *гадкий генерал* (Бецкий) для моего научения, берет книгу, а я свою работу. Наше чтение, если не прервется приходом писем или другими препятствиями, продолжается до пяти часов с половиною, затем я иду в театр, или играю в карты, или болтаю с кем-нибудь до ужина, который оканчивается до 11 часов, когда я ложусь спать. Посердитесь на генерала (Бецкого), которого вы так браните (вероятно, за то, что не пишет): действительно, он страшно занят не только служебными делами (по Канцелярии строений), но еще множеством новых учреждений и проектов, мы его зовем детским магазином». На этом письме Жоффрэн написала: «Императрица называет гадким генералом (*le vilain gйnйral*) генерала Бецкого, своего любимца. Это очень любезный человек, который часто приезжал в Париж и подолгу здесь оставался. Он мой друг».

В другом письме, благодаря Жоффрэн за присылку маленького столика, Екатерина говорит, что и он будет завален бумагами и всякими вещами, как и все другие, и более всех виноват в этом генерал (Бецкий): «Он начнет с того, что положит на стол свою книгу и увеличительное стекло, потом какой-нибудь план,

несколько свертков, конверты, письма, наконец, камни граненые и неграненые, часто кладет вещи, которые нашел на улице, и он же потом мне говорит: „Ах, государыня, никогда у вас не найдешь уголка, где бы можно положить что-нибудь“».

Частые поездки за границу и долгое пребывание там, как видно, оказали влияние на Бецкого; русским людям не нравилось пристрастие Бецкого к иностранному, многое в его учреждениях находили несерьезным, мелочным, бьющим на внешность. Порошин в одном месте своих записок говорит: «Никита Иванович ездил сего вечера в воспитательное училище при Академии художеств; там был экзамен или какие-то игрушки мнимого российского Кольберта». Сумароков, по своему характеру, выражался резче. «Александр Петрович, – пишет тот же Порошин, – разговорись с Никитою Ивановичем (Паниным) о г. Кювильи, говорил, что он такая bestия и такая невежа, какой другой нет в России. Как Никита Иванович сказал ему, что Ив. Ив. Бецкий г. Кювильи очень доволен и уверяет, что он в новых его учреждениях весьма много ему споспешествует, то Александр Петрович говорил на то: „Таковы-то вот и учреждения! Вы, конечно, о них как разумный человек по одной наружности судить не будете. Кювильи надобно метлами отсюда вон выгнать, а Бецкого под присмотром прямо разумного и основательного человека определить на место Кювильи, смотреть, чтоб мальчики хорошо были одеты и комнаты у них вычищены“. Еще примолвил Александр Петрович: „Есть-де некто г. Тауберт: он смеется Бецкому, что робят воспитывает на французском языке. Бецкий смеется Тауберту, что он робят в училище, которое недавно заведено при Академии, воспитывает на языке немецком; а мне кажется, и Бецкий, и Тауберт оба дураки: должно детей в России воспитывать на языке российском“».

Сумароков был по-прежнему на первом плане как драматический писатель. Но он не довольствовался этою деятельностью и в описываемое время является как журналист. В 1759 году в «Петербургских Ведомостях» появилось объявление: «От начала сего 1759 года по прошествии каждого месяца будет выходить журнальная книжка на четырех листах. Цена в год по два рубля с полтиною. Продаваться будет в Миллионной у книгопродавца Миллера. Инако продаваны не будут как тем, которые подпишутся на весь год, заплатив деньги. Журнал сей называется «Трудолюбивая Пчела»». Издателем был Сумароков. Содержанием журнала служили оригинальные и переводные стихотворения: переводы из классиков, особенно из Овидия, причем стихи часто переводятся прозою; рассуждения, например о пользе мифологии, о двух главных добродетелях, которые писателю истории иметь необходимо должно, т.е. об искренности и несуетном богопочитании. Пропущены еще кой-какие главные качества, и следствие этого пропуска представила сама «Трудолюбивая Пчела» в своих исторических рассказах, которыми поучала своих невинных читателей. Один рассказ носит название «О первоначалии и созидании Москвы» и заключает в себе известие о пустынных Подоне и Саре, от которых крутицкие архиереи в Москве назывались сарскими и подонскими. В том же духе сам Сумароков написал статейку под названием «Российский Вифлеем», под которым разумел село Коломенское, где будто бы родился Петр Великий; автор говорит, что город Коломна назывался прежде Колонна и построен итальянским выходцем, членом знаменитой фамилии Колонна.

Но гораздо выгоднее выставляется перед нами издатель в статьях другого рода, к которому у него было больше призвания. Такова его статья «О истреблении чужих слов из русского языка». «Восприятие чужих слов, а особливо без необходимости, – говорит Сумароков, – есть не обогащение, но порча языка. Честолюбие возвратит нас когда-нибудь с сего пути несомненного заблуждения; но язык наш толико сею заражен язвою, что и теперь уже вычищать его трудно, а ежели сие мнимое обогащение еще несколько лет продлится, так совершенного очищения неможно будет больше надеяться. Сказывано мне, что некогда немка московской Немецкой слободы говорила: «*Mein* муж *kam* домой, *stieg* через забор *und fiel ins* грязь». Это смешно, да и это смешно: «Я в дистракции и дезеспере, аманта моя сделала мне инфиделите, а я ку сюр против ривалья своего буду реванжироваться». В другой статье Сумароков говорит: «Правописание наше подьячие и так уже совсем испортили. А что до порчи касается языка – немцы насыпали в него слов немецких, петиметры французских, предки наши татарских, педанты латинских, переводчики Св. Писания греческих. Немцы склад наш по немецкой учредили грамматике. Но что еще больше портит язык наш? Худые переводчики, худые писатели, а паче всего худые стихотворцы». Любопытна статья «О несправедливых основаниях», в которой автор восстает против некоторых понятий и обычаев времени. «Много знать, слывет у невеж, – знать по-педантски или по-школьному. Мало знать или, поглубее выговорить, ничего не знать, слывет у них, – знать по-кавалерски. Кто ж педанты и кто кавалеры? Педанты, по их мнению, суть профессеры и прочие ученые люди, которые не по моему мнению, а по справедливости, ежели они достойны своего звания, суть люди первого в обществе класса. А имя кавалера обыкновенно дается дворянам; итак, знать по-кавалерски есть знать по-дворянски, знать столько, сколько благородному человеку пристойно, т.е. мало и неосновательно, чтоб уметь начинать говорить о всем и не уметь окончить ни о чем, скакать из материи в материю, показываясь, будто все знаешь, хотя этому, кроме таких же невеж, и никто не поверит, доказывать не по-педантски доводами, но по-дворянски криком, изо всей мочи хохотать и потом, ежели самым лучшим и благороднейшим образом речь окончить, т.е. по-петиметрски, так надлежит запеть французскую песню или, кто не знает французского языка, хотя и русскую, только чтоб не было в ней ни склада, ни лада, в каковых песнях нет недостатка. Многие думают, что нет нужды воину в науках, кроме инженерства и артиллерии; ежели мы возьмем рядового солдата, так ему и в том нет нужды, ему только надобно выучиться владеть ружьем. Но обретающийся в военной службе дворянин или офицер уповает на высшие восходить степени, а иногда быть и полководцем, которому знание наук, а ими чистое просвещение разума не меньше профессора потребно, и все почти в древности знатнейшие полководцы были люди ученые. В новейшие времена також; а где недоставало знания наук или любления оных, тамо следовала погибель».

Сумароков, прославившийся нападками на недостатки тогдашнего русского суда в своих комедиях, поместил злые выходки против подьячих и в своем журнале. В статье под названием «Письмо» говорится: «Утесненная Истина пришла некогда пред Юпитера и, жалуясь на приказных служителей, просила, чтоб он истребил из них тех, которые до взяток охотники, ради народного спокойства. Ударил Юпитер, повалились подьячие. Народное рукоплескание

громче Юпитерова удара было. Обрадовалась Истина; но в какое смятение пришла она, когда увидела, что самые главные злодеи из приказных служителей остались целы. „Что ты сделал, о Юпитер! Главных ты пощадил грабителей!“ – вскричала она. И когда она на них указывала, Юпитер извинялся неведением и говорил ей: „Кто мог подумать, что это подьячие? Я сих богатых и великолепных людей почел из знатнейших людьми родов“. „Ах! – говорила она. – Отцы сих богатых и великолепных людей ходили в чириках, деды в лаптях, а прадеды босиком“». Против этого же общественного зла направлены письма: «О некоторой заразительной болезни», «О думном дьяке», «К подьячему самого Сумарокова».

Сумароков недолго издавал свою «Трудолюбивую Пчелу», поссорившись с Академиею наук за цензуру и за типографские счета. Он отомстил за это Академии статьями «Блохи» и «Сон», напечатанными в журнале «Праздное время, в пользу употребленное», который издавался в Петербурге в 1760 году. В статье «Блохи» Сумароков говорит: «Кто блох терпеть не может, тот не может быть автором. Ежели кто автором быти способность имеет и в том упражняться станет, того во всю его жизнь блохи беспокоят, а кто, сей способности не имея, автором станет против воли муз и Аполлона, оный сам блоха будет и вечно других станет беспокоить... Предки нынешних блох не так жестоки были, как их потомки, ибо в прежние времена меньше было школ и, следовательно, меньше невежества; такова главная причина нашего заблуждения. О ежели бы меньше школ и больше хороших учителей, меньше учеников и больше разумных учеников было и чтобы Virgiliy, Ovidiy, Цицерон, Тит Ливий не за то почитаемы были, что писали по-латински, а за то, что хорошо писали! Блох, досаждающих авторам, два рода: переученые и недоученые. Переученые блохи во всей Европе называются блохи латинские, а недоученые называются по имени страны той, в которой они рождаются. Еще в нашем государстве есть блохи, которые немецкими называются, а я ставлю гадин сих блохами финскими, а они только в сих местах держатся, где Ингрия с Финляндиею граничит, ибо во всей Германии нет и подобия блох сих, и что, кроме Петербурга, их нет нигде, ни в самой Финляндии, и потому должно их называть блохами невскими».

В другой статье, «Сон», приводится челобитная Мельпомены русской Палладе (императрице Елисавете): «Великая и премудрая богиня! Бьет челом тебе российская Мельпомена и все с нею российские музы, а о чем мое прошение, тому следуют пункты: 1) Призваны мы на российский Парнас отцем твоим великим Юпитером ради просвещения сынов российских, и от того времени просвещаем мы россиян по крайней нашей возможности. 2) Прекрасный и всех европейских языков по исполнению нашей должности способнейший язык российский от иноплеменнических наречий и от иноплеменнического склада час от часу в худшее приходит состояние, а они о том только пекутся, чтоб мы, российские музы, в нашем искусстве никакого не имели успеха, чтоб они учеными, а сыны российские невежами почитались, хотя они сами о словесных науках, на которых зиждется вся премудрость, и понятия не имеют. 3) Властвуя они здешним Парнасом, помоществуемы иноплеменниками Хамова колена, храм мой оскверняют, и весь Парнас российский в крайнее приводят замешательство, и, оставив парнасские дела, пишут только справки и выписки, в которых на Парнасе ни малейшей нет нужды и что парнасскому уставу совсем противно, и, сверх того, некоторые Хамова колена берут и взятки и безграмотных писцов в грамотные

посвящают, а грамотных они в безграмотные пишут, невзирая на мнения Аполлоновых любимцев, у которых те писцы обучаются. 4) Российским авторам делают иноплеменники всякое, препятствие; да и работы свои авторам издавати едва возможно, ибо печатание книг по предложению и по основанию недоброжелательных иноплеменников несносно дорого. А учинено оное ради того, чтобы в России авторов было меньше и чтобы россияне в чужие вперялись языки, а свой бы позабывали и, не зная красоты оногo, им бы гнушались, как им от ненависти они гнушаются, что отчасти некоторые безмозглые головы уже и делают. 5) О заведении ученого в словесных науках собрания, в котором бы старались искусные писатели о чистоте русского языка и о возвращении русского красноречия, иноплеменники, наблюдая собственное свое прибыточество и вражду к русскому Парнасу, никогда и не думывали, хотя такие собрания необходимо нужны. Под игом иноплеменников науки успехов имети не могут. И нигде посреди своего отечества писатели от иноплеменников не зависят, не только от иноплеменников-невежд; также и храмы муз состоят под надзиранием сынов отечества».

Литературное движение обнаружилось и в Москве скоро после основания университета. Фон-Визин благодарит университет больше всего за то, что в нем получил он вкус к словесным наукам. В конце 1759 года в «Московских Ведомостях» было объявлено, что с 1760 года университет будет издавать периодическое сочинение, каждую неделю по одному листу. То был журнал «Полезное увеселение». Издавал его служивший при университетском управлении Херасков, неутомимый стихослагатель, подражавший Ломоносову; сотрудниками были: жена Хераскова, Сумароков, Поповский, братья Фон-Визины и другие, менее известные писатели. Здесь же впервые встречается имя Богдановича; в 1761 году он поместил в журнале стихотворение «Закон», направленное против закона!

Покровом быть в бедах вдовам и сиротам

Без всех гражданских прав удобно можно нам.

Университет издал это стихотворение без протеста со стороны юридического факультета, т.е. Дильтея. В Московском университете не было тех препятствий, на которые жаловался Сумароков в Петербурге: не было строгой цензуры ученых, не было и противодействия со стороны иноплеменников. В Москве иноплеменники не шли прямо против русского Парнаса, но иностранных профессоров было много, а русских очень мало, и это затрудняло литературное дело. «Полезное увеселение» издавалось только три года. Профессор Рейхель в 1762 году вздумал издавать журнал «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия, или смешанная библиотека о разных физических, экономических, також до мануфактур и до коммерции принадлежащих вещах». Журнал не пошел; издатель сложил вину на переводчиков, между которыми встречаем опять обоих братьев Фон-Визиных. Рейхель писал Миллеру: «В переводчиках недостатка не было; хороши ли они были, про то знают боги; но это племя испорченное. Они не хотят переводить то, что им предлагают, но выбирают сами, и выбор их падает обыкновенно на особогo рода вещи. Если бы я с этими людьми не взял возжей в руки, то из моего издания вышла бы помойная яма». Хорош был также издатель, который по незнанию русского языка предоставлял богам решить, хороши ли были переводчики. Но журналы с русскими издателями

не переводились при университете: в 1763 году Херасков издавал «Свободные часы», а Богданович – «Невинное упражнение»; в 1764 году студент Санковский издавал «Доброе намерение».

Кроме участия в журналах воспитанники университета занимались переводами отдельных сочинений, которые продавали содержателям университетской книжной лавки; те охотно брали рукописи переводов и печатали их, надеясь на хороший сбыт при усиливавшейся охоте к чтению в обществе. Чем иногда книгопродавцы платили молодым переводчикам за их труды, расскажет нам Фон-Визин. «В университете, – говорит он, – был тогда книгопродавец, который услышал от моих учителей, что я способен переводить книги. Сей книгопродавец предложил мне переводить Гольберговы басни, за труды обещал чужестранных книг на 50 рублей. Сие подало мне надежду иметь со временем нужные книги за одни мои труды. Книгопродавец сдержал слово и книги на условленные деньги мне отдал. Но какие книги! Он, видя меня в летах бурных страстей, отобрал для меня целое собрание книг соблазнительных, украшенных скверными эстампами, кои развратили мое воображение и возмутили душу мою». В Петербурге также хлопотали о переводах. В 1761 году Синод одобрил к напечатанию переведенную Волчковым всеобщую историю Боссюэта («Речь на универсальную историю епископа мозанского Босвета»). Через несколько месяцев Сенат слушал доношение надворного советника Волчкова: в 1757 году по указу Сената велено ему перевести книгу Гуго Гроция о мирном и военном праве в 2 томах и за перевод определено по 300 рублей на год, а перевести обязался он в 5 лет и ныне первый том подносит. Приказали: отослать в Св. Синод для цензуры и требовать непродолжительного освидетельствования, дабы книги скорее напечатаны и в народную пользу употреблены быть могли, а притом требовать, чтоб Синод о имеющихся в своем ведомстве на иностранных языках непереведенных духовных книгах Сенату сообщил краткий реестр, почему Сенат не преминет взять попечение, дабы оные дозволенным всякому переводом с пристойным награждением скорее для общей пользы народу выданы были, и чтоб из Академии наук такой же реестр немедленно в Сенат был подан. Синод продержал Гуго Гроция три года; в 1764 году Волчков представил второй том и просил отыскать и первый том, посланный в Синод в 1761 году. В 1761 году в «Петербургских Ведомостях» читалось объявление: «Сим объявляется, чтоб имеющие у себя исправно переведенные на российский язык книги, которые бы для народной пользы могли быть напечатаны, объявили оные в академической книжной лавке, за что чинено будет им пристойное награждение деньгами или равномерно некоторым числом экземпляров по напечатании той книги. Ежели кто пожелает в свободное время переводить книги из платы, то оные даны будут ему из оной же книжной лавки, выбирая такие материи, к которым кто наиболее склонности и способности иметь будет». Разумеется, переводы серьезных книг расходились не очень быстро, и потому, чтоб побудить заниматься ими, правительство предлагало вознаграждение; гораздо быстрее расходились переводные романы; в Петербурге и Москве публиковалось о продаже таких книг: «Повесть о княжне Жеване, королеве мексиканской», «Любовь без успеха – испанская повесть», «Любовь сильнее дружбы», «Геройский дух и любовные прохлады Густава Вазы, короля шведского», «Приключения Зелинтовы», «Любовный вертоград», «Несчастливая Флорентинка», «Побочный сын короля

наварского», «Две любовницы – гишпанская повесть» и проч. Сумароков в «Трудолюбивой Пчеле» восставал против романов: «Романов столько умножилось, что из них можно составить половину библиотеки целого света. Пользы от них мало, а вреда много. Хорошие романы хотя и содержат нечто достойное в себе, однако из романов в пуд весом спирту одного фунта не выйдет, чтением оного больше употребится времени на бесполезное, нежели на полезное».

В конце описываемого времени, именно в 1764 году, явилось в Москве литературное произведение особого рода на французском и русском языках: каталог книг действительно существующих или вымышленных, сочинителями которых были выставлены известные лица, большею частью высокопоставленные, причем заглавие книги соответствовало какому-нибудь качеству этих лиц или событию в их жизни, обыкновенно в насмешливом смысле. Каталог начинался ласкательным отзывом о самой императрице и великом князе: «Увенчанная добродетель, соч. г-жи...» (Екатерина), «Искусство и средство нравиться, соч. ее сына» (цесаревич Павел), «Энциклопедия, соч. г. Панина», «Торжество Вакха, соч. г. Бутурлина» (известный фельдмаршал), «Граф Тюфьер, соч. г. Елагина» (насмешка над чванством Елагина), «История прошедшего времени, соч. г. Шувалова», «Полезность путешествий, соч. канцлера» (Воронцова), «Затмение, соч. княгини Дашковой» (указание на немилость к ней императрицы), «Никогда обо всем не подумаешь, соч. графа Девьера» (намек на известное поручение, принятое им от Петра III относительно Кронштадта) и т.д. Главнокомандующий в Москве граф Солтыков донес императрице об этом сочинении в таких выражениях: «Развращенное здесь на Москве между молодыми людьми своевольство и наглость до такой высокой степени возросли, что некоторые из них, не утрачивая высокомонаршего правосудного гнева и забыв всякую честь и честность, дерзнули по всему городу потаенно рассеять ругательные сочинения, состоящие в каталогах на французском и русском языках, в которых до 300 человек и больше как наизнатнейших, так и прочих фамилий, в том числе дамы и девицы, невзирая ни на чины, ни на достоинство, наичувствительнейшими и язвительнейшими выражениями обесчещены и обижены». Солтыков требовал, чтоб пасквили были сожжены рукою палача, и Екатерина приказала исполнить это требование. В Петербурге в 1765 году появился «Сон» Эмина, заключающий в себе сатиру на управление Академиею наук, новыми воспитательными заведениями Бецкого и сухопутным кадетским корпусом: «Во сне видел я сухощавую старуху. Она завезла меня на некоторый остров. Там разные собрания и сообщество находятся, и старуха моя повела меня в ученое собрание (Академии наук), которого главный член (Разумовский) был ужасный медведь, ничего не знающий и только в том упражняющийся, чтобы вытаскивать мед из чужих ульев и присваивать чужие пасеки к своей норе; он же слово „науки“ разумел разно: то почитал оно за звание города, то за звание села; советник сего собрания был прожорливый волк (Тауберт) и ненавидел тамошних зверей, ибо он был не того лесу зверь, и потому называли его чужелесным... В том собрании был третий член (Ломоносов), который совсем не походил на тамошних зверей и имел вид и душу человеческую; он был весьма разумен и всякого почтения достоин, но всем собранием ненавидим за то, что родился в тамошнем лесу; а прочие оного собрания ученые скоты, ищущи своей паствы,

зашли на оный остров по случаю. Старуха моя завезла меня в новозаведенное собрание (Академии художеств), где разным художествам разных животных обучали. Из них многие были уже весьма искусны и умели ставить и зажигать площадки в праздничные дни; многие из них учились быть комедиантами, чему я, весьма удивившись, спросил у своей старухи: „Что это за новый обычай я здесь вижу? У нас художник с комедиантом весьма различные твари: одни любят праздность и роскошь, другие труд и беспрестанную работу; одни урон обществу причиняют, а другие пользу“. На что мне так отвечала старуха: „Этого собрания главный член (Бецкий) чудного сложения и делает учреждения по своему вкусу; правда, что он родился в здешних лесах, однако своих животных не любит и весьма пристрастен к чужелесным, потому что не знает числа своих отцов и думает, что в рождении его могли иметь большое участие чужелесные животные, как здесь очень в моде, и проч.“».

Автор сатиры, как видно, был последователь Руссо, отвергал пользу театра; но сильное большинство русских сколько-нибудь образованных людей не разделяло его мнения. Мы видели приготовления к учреждению публичного русского театра. В октябре 1756 года было объявлено, что «ее императорское величество изволила указать для умножения драматических сочинений, кои на российском языке при самом начале справедливую хвалу от всех имели, установить российский театр, которого дирекция поручена бригадиру Сумарокову». Но Сумароков пробыл директором только до 1761 года. Есть известие, что Он удален вследствие какой-то ссоры с актрисами; но как бы то ни было, Ив. Ив. Шувалов умел придать этому удалению самый благовидный характер. Придворная контора донесла Сенату: «В сообщении, присланном от Ив. Ив. Шувалова, написано: ее императорское величество изволила указать г. бригадира Сумарокова, имеющего дирекцию над российским театром, по его желанию от сей должности уволить, жить ему, где пожелает, а за его труды в словесных науках, которыми он довольно сделал пользы, и за установление российского театра производить жалованье, каковое он ныне имеет. Г. Сумароков, пользуясь высочайшею милостию, будет стараться, имея свободу от должностей, усугубить свое прилежание в сочинениях, которые, сколько ему чести, столь всем любящим чтение удовольствия приносить будут». В Москве Шувалов тесно соединил театр с университетом: в 1760 году в университете на казенном содержании было 30 студентов, и четверо из них готовились для театра. В 1757 году в «Московских Ведомостях» было объявлено: «Женщинам и девицам, имеющим способность и желание представлять театральные действия, также петь и обучать тому других, явиться в канцелярию университета»; и в «Петербургских Ведомостях» 1761 года вызов был сделан так: «Знающие грамоте девицы, желающие определиться в службу ее императорского величества при придворном театре, явиться могут у первого придворного русского театра актера Федора Волкова». Директор университета повез лучших воспитанников Московского университета в Петербург для представления куратору Шувалову; в числе этих воспитанников был и Фон-Визин, который описывает впечатление, произведенное на него театром: «Ничто в Петербурге так меня не восхищало, как театр, который я увидел в первый раз от роду. Играли русскую комедию (т.е. переведенную на русский язык) *«Генрих и Пернилла»*. Тут видел я Шумского, который шутками своими так меня смешил, что я, потеряв благопристойность, хохотал изо всей

силы. Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно; комедию, виденную мною, довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров великими людьми, коих знакомство, думал я, составило бы мое благополучие. Я с ума было сошел от радости, узнав, что сии комедианты вхожи в дом дядюшки моего, у которого я жил. И действительно, чрез некоторое время познакомился я тут с Федором Григорьевичем Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным. Тут познакомился я с славным нашим актером Иваном Афанас. Дмитриевским, человеком честным, умным, знающим». Но два поколения порознились во взглядах. Когда после, в 1763 году, Фон-Визин написал из Петербурга сестре, что у него был актер Дмитриевский с женой, то отец Фон-Визина написал сыну, что это предосудительно.

Но не все разделяли восхищение молодого Фон-Визина относительно русских актеров: охотники до французского театра, существовавшего при дворе, не очень благосклонно отзывались о русских актерах, и эти отзывы повторял маленький великий князь. Однажды он сказал Порошину, что Дмитриевский в чужие края едет смотреть английского и французского театра. Когда Порошин спросил, скоро ли Дмитриевский едет и надолго ли, то великий князь отвечал: «Я, братец, в подробности о комедиантах не вхожу, а особливо о русских». «Для чего ж бы о русских комедиантах не входить в подробности?» – спросил Порошин. «Для того, что они дурно играют», – отвечал великий князь.

Кроме русского и французского театров в Петербурге была опера, которая находилась под дирекциею италианца Локателли. В конце декабря 1757 года в «Ведомостях» читалось объявление, что 8 декабря на Большом театре близ Летнего дворца представлена будет для публики новопривывшим комической оперы директором Локателлием на италианском языке опера «Убежище богов», с которого перевод на российский язык продается в академической книжной лавке. Иногда опера сопровождалась двумя балетами; с *смотрителей* бралось по рублю; после представления оперы в оперном же доме сожигали фейерверк. В сентябре 1759 года было объявлено, что 10-го числа представлена будет новая опера «Нощной барабанщик, или граф Карамелла», причем новая певица и новый певец петь будут. Также объявляется, что впредь, сколь часто представлена будет новая опера или новые балеты, за первый и за второй раз положено брать за вход по одному рублю, а за следующие после того представления – по полтине. В оперном же театре происходили и русские представления. В «Ведомостях» печатались и отзывы об игре артистов. Так, в 1764 году читали: «Октября 24 на придворном театре представлена была опера „Карл Великий“, причем певица г-жа Колонна с превосходным искусством представляла первую роль и приятным своим голосом не токмо высочайшую ее императорского величества получила апробацию, но и всех слушателей привела в восхищение. Потом представлен был балет „Аполлон и Дафна“, в котором танцовщица г-жа Фузи столь же редкое оказала проворство, что ее императорское величество изволила изъявить всевысочайшее свое о том удовольствие, а все смотрители часто повторяемым биением в ладони засвидетельствовали, коликой она достойна похвалы».

На другой год по приезде своем в Петербург, в апреле 1758 года, Локателли получил право завести и в Москве оперный дом «на своем коште». В 1759 году встречаем в «Московских Ведомостях» объявление, что 16 июля на оперном

Московском театре представлена будет новая опера «Граф Карамелла», начало в половине седьмого. В октябре объявлялось, что в оперном театре Локателли будет первый публичный маскарад. И в Москве в оперном доме у Локателли давались русские представления, которыми заведовал директор университета; к этому директору сохранился любопытный ордер куратора Ив. Ив. Шувалова: «Я слышал, что наши комедианты, когда хотят, играют, а когда не хотят, то из половина начатой комедии или трагедии перестают и так, не докончив, оставляют, причиною представляя холод, из которых не порядков нельзя ожидать ни плода, ни прибыли, и тем самым отгоняют охотников к спектаклям, почему народ съезжается гораздо прежнего менее». Связь университета с театром высказывалась в университетских праздниках, которые так описываются в «Ведомостях»: после акта с речами вечером знатные персоны и дворянство приглашены были от университета в оперный дом на италийскую интермедию, после которой в университетском доме для оных же персон у г. директора был ужин. Театр был основан для умножения драматических сочинений, но русские драматические сочинения умножались медленно, и для поддержки театра нужно было переделывать и переводить иностранные. Из переводчиков иностранных драматических произведений особенно потрудились Иван Кропотков, переведший лучшие комедии Мольера; Андрей Нартов, сын известного токаря Петра Великого, и Ельчанинов.

Кроме актеров, оперных певцов и балетчиков Западная Европа высылала в Петербург и Москву также людей, могших занять внимание русских людей и другими средствами. В Петербурге на Миллионной улице показывались восковые персоны в натуральной величине и в изрядном платье, всякие же восковые фрукты и кушанья. Притом мальчик 11 лет скакал, кувырчался, балансировал и волтижировал, а небольшая обезьяна, наряженная в платье, делала многие штуки и возила собаку на тележке по канату; знатные персоны платили по их изволению, а прочие за восковые фигуры платили по 25 коп., а вместе с мальчиком и обезьяною – по 50. Голландский ташеншпилер Рейман объявлял, что достал новые штуки, также и разных зверей показывает; кто желает смотреть его штуки или им учиться, те могли призывать его в свои дома; он также раздает книжки, по которым можно выучиться ташеншпилерскому искусству; наконец, он же продает спирт, которым можно выводить пятна на платье. В Москве французский механик Дюмолин показывал курьезные самодействующие машины, канарейку, которая так натурально пела, как живая. Показывалась птица страус, которая больше всех птиц в свете, ест сталь, железо, разного рода деньги и горячие уголья. За смотрение каждый из благородных мог заплатить по своему изволению, с купечества бралось по 25 копеек, а простому народу цена объявлялась при самом входе. Но среди этих заморских диковин, деланных канареек русские люди сохраняли свою старую охоту к певчим птицам, и в Петербурге объявлялось о продаже московских соловьев, которые были свистами и пением коленасты с раскатами; также серых дроздов с изрядными коленами, а черных с курантами и ямским свистом.

Учрежденный в 1755 году Московский университет в 1757 году подал доношение в Сенат об учреждении Академии художеств. «Щедротю ее императорского величества, – говорилось в доношении, – под ее покровительством науки в Москве приняли свое начало, и тем ожидается

желанная польза от их успехов; но чтоб оные в совершенство приведены были, то необходимо должно установить Академию художеств, которой плоды, когда приведутся в состояние, не только будут славою здешней империи, но и великою пользою казенным и партикулярным работам, за которые иностранные посредственного знания, получая великие деньги, обогатятся, возвращаются, не оставя по сие время ни одного русского ни в каком художестве, который бы умел что делать. Причина тому, что многие молодые люди, имея великую склонность, а более природное дарование, но не имея знания в иностранных языках, почему бы толкования своего мастера разумели, а еще меньше оснований наук, необходимых к художеству. Если Правительствующий Сенат так же, как и о учреждении университета, оное представление принять изволит и сие апробовать, то некоторое число взявши способных из университета учеников, которые уже и определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художеству, то можно ими скоро доброе начало и успех видеть. Сия академия будет учреждена в С.-Петербурге по причине, что лучшие мастера не хотят в Москву ехать как в надежде иметь от двора работы, так и для лучшего довольствия иностранных здешней жизни».

Представление было принято и немедленно приведено в исполнение, потому что представление университета значило представление Ив. Ив. Шувалова. Университет остался за Шуваловым и по удалении его за границу, но Академия художеств передана была Бецкому. «В отсутствие генерал-поручика Шувалова, – говорил указ, – принять в правление Академию художеств генерал-поручику Бецкому, а как она Академия сообщена была к университету по причине, что помянутый Шувалов в обоих сих местах дирекцию имел, ныне ее императорское величество за полезно рассудила оную Академию совсем от университета отдалить и правление особое в ней учредить». Порошин оставил нам описание торжественного заседания в Академии художеств: «Поехали в Академию художеств. Встретил там государя цесаревича Ив. Ив. Бецкий со всем своим собранием. Все весьма было чинно и церемониально. Известно, что Ив. Ив. располагать церемонии и глазам делать увеселение весьма искусен. Пришед в покой, сел там за богато убранный стол. Конференц-секретарь Солтыков читал вслух письма от вице-канцлера князя Голицына, от графа Ив. Григ. Чернышева и от Адама Вас. Олсуфьева, которые объявляли желание свое быть принятыми в число почетных любителей. Еще читано письмо от Гр. Ник. Теплова, который желал быть принят в почетные члены. По прочтении каждого письма Ив. Ив. качал головою по два раза, сперва на правую, потом на левую сторону. После сего все члены Академии привстанием своим, как видно, знак согласия своего показывали. Тогда приказал Ив. Ив. конференц-секретарю объявить о том, кто принят. Все приняты, которых письма читали. Началось баллотирование. Под Ив. Ив. Бецким в Академии ныне директор Какоринов. По штату положено, чтоб всякие четыре месяца из профессоров выбирались в директоры по баллотированию. Баллотировали Какоринова, профессоров Жилета (скульптуры), Ламота (архитектуры) и Торелли (живописи). Досталось по баллам остаться по-прежнему Какоринову. Сим заседание кончилось. Пошли смотреть картин, писанных с натуры, которые все весьма порядочно были расположены. На шесть из них, которые, как сказывают, прежде еще признались за лучшие, конференц-секретарь приложил печать для раздачи после премий. Потом смотрели чертежи нововыезжего из чужих краев нашего архитектора г. Баженова,

которые подлинно хорошо расположены и вымышлены и от всех присутствовавших во многом числе дам и кавалеров общую похвалу получили». Цесаревич сам был членом Академии, которая объявила в «Ведомостях», что великий князь прислал с Порошиным письмо и вместе рисунок трудов своих, «который Академия сохранит вечным себе монументом ради показания потомству, в каком почтении свободные художества ныне в России, во дни царствования Вторья Екатерины». В письме цесаревича говорилось: «Почтенная Академия художеств! Привилегия, всемилостивейше данная вам от матери моей государыни присвоить вашему корпусу любителей художеств, возбудила во мне желание распространить мою любовь, охоту и почитание к художествам, представя себя быть сочленом вашим. Примите здесь в знак особого моего уважения к полезным трудам вашим опыт начальных моих в том упражнении и уверьтесь сим залогом, что я при продолжении оных всегда буду вам доброжелательным. Павел».

Это было учреждение будущего. Теперь взглянем, что было сделано уже относительно искусства в России в описываемое десятилетие. Зимний дворец был окончен к самому концу царствования Елисаветы. Но дочь Петра Великого заботилась о восстановлении священного здания, построенного в память рождения отца ее. В 1757 году она приказала: «Исакиевскую соборную церковь на другое место не переносить, только всеми архитекторами, механиками и *каменными* мастерами осмотреть, возможно ль ее без разбирания укрепить; если ж невозможно, то разобрать и новую построить, а прежде всего берег укрепить». Сенат велел созвать обер-архитектора (Растрелли) и всех архитекторов, преимущественно архитектора при Коммерц-коллегии Фростенберга, который обладал особенным искусством в механике. Нашли, что церковь укрепить нельзя, надобно ее разобрать и построить новую. В 1761 году Сенат определил к построению Исакиевской церкви архитектора Чевакинского под смотрением обер-архитектора Растрелли, «понеже Правительствующий Сенат о искусстве и знании архитектора Чевакинского довольно известен». В то же время исправлялась колокольня Петропавловского собора: Сенат поручил Растрелли определить к этому делу архитектора из русских. Подрядчик взялся разобрать Исакиевскую церковь за 2445 рублей. Чевакинский представил, что необходимо укрепить берег каменною стеною, употребляя как в воде, так и сверх воды дикий тесаный камень с свинцом, а бут из тосненской плиты с известью от самого дна Невы, что будет стоить 9934 рубля. Сенат согласился. Знаменитый Растрелли сошел с поприща в начале царствования Екатерины: в 1763 году он уволен от всех занятий за старостию и слабостию и за 48-летнюю *добропорядочную* службу получил 1000 рублей ежегодной пенсии. Но подле его имени мы встречаем целый ряд имен русских архитекторов: кроме приведенного выше Чевакинского, князя Дмитрия Ухтомского (строителя колокольни в Троицкой лавре), брата его князя Сергея, Мичюрина, Бланка, троих Яковлевых – Василья, Ивана и Семена, Никитина, Рославлева, Суровцова. В рассказе Порошина мы встретили имя только что приехавшего из-за границы русского архитектора Баженова, которого работы так всем понравились; в 1756 году архитектуры ученик Семен Баженов пожалован был помощником архитектурным в ранге подпоручика и с жалованьем по 150 рублей.

Относительно живописи нуждались особенно в портретистах; представителем этого искусства в высших сферах был граф Ротари; из русских

известен был Алексей Антропов, написавший для Сенатской канцелярии портрет императора Петра III за 400 рублей. О знаменитом портрете Екатерины II, написанном датским живописцем Ерихсеном, находим известие у Порошина: «Портрет писал датский живописец, и очень схоже. Ее величество в пехотном гвардейском мундире и на той серой лошади написана, на которой она во время восшествия своего на престол из Петергофа обратно сюда шествовать изволила. Волосы написаны распущенные, и платье все в пыли, как мы своими глазами видели».

Еще 22 июля 1743 года императрица Елисавета приказала сделать два медных *портрета* (статуи) Петра Великого. 19 августа 1764 года Канцелярия от строений донесла Сенату, что один из этих портретов, сидящий на коне, сделан италианцом, штукатурных дел мастером Александром Мартеллием, и требовала 40937 рублей на окончательную отделку памятника, на сооружение пьедестала и на выдачу жалованья мастеру и рабочим. Сенат решил: так как ему неизвестно, будет ли угодно ее императорскому величеству приказать окончить эту статую, то пусть генерал-поручик Бецкий доложит об этом императрице. 16 октября Бецкий донес: вылитый из меди портрет Петра Великого ее императорское величество апробовать не соизволила в рассуждении, что не сделан искусством таким, каково б должно представить великого монарха и служить к украшению столичного города.

Мы окончим главу указанием на явление, еще не бывалое в новой России. Мы видели, что новгородский губернатор Сиверс писал о пользе хозяйственного общества в России, представляя в пример успех английского общества. Общество составилось, и в октябре 1765 года первые 15 членов поднесли императрице устав при письме: «Мы всеподданнейше соединились добровольным согласиём установить между нами собрание, в котором вознамерились общим трудом стараться о исправлении земледелия и домостройства. Ревность наша и усердие сколь ни велики, но когда подкреплены не будут покровительством монаршим, то и труд наш будет без оживотворения. Сего ради дерзновение приемлем просить вашего императорского величества, дабы имели счастье быть под единственным только вашего императорского величества покровительством и чтоб общество наше управлялось в трудах своих собственными своими между собою обязательствами и установлениями, почему и называлось бы во всех случаях Вольным экономическим обществом». Императрица отвечала: «План и устав ваш, которыми вы друг другу обязались, мы похваляем; изволите быть благонадежны, что мы оное приемлем в особливое наше покровительство». Императрица дала обществу собственный свой девиз «Пчелы, в улей мед приносящие» с надписью: *полезное* и 6000 рублей на покупку дома. Первым председателем был граф Григор. Григор. Орлов.

Дополнения

1) *Письмо Н.И. Панина по поводу восточной украины*: «Всемилоостивейшая государыня! В присланных ко мне от вашего императорского величества чрез князя Вяземского репортах в Сенат от генерал-поручика Шпрингера я хотя не нахожу большой опасности в настоящем положении, однако же тем не меньше, кажется, нужно, чтоб, собрав все разновременные и от разных людей разным же

людям порученные дела и предприятия, единожды постановить той стороне систему, причем оставаться на настоящее время, какие виды иметь к будущему и чем после чего до того достигать; инакоже тамошние дела, будучи по своему отдалению паче всех других не сручны, всегда будут и сами подвергаться, и нас здесь подвергать беспокойствам и замешательствам, особливо когда их проэктеры в стороне, а исполнители по большей части во всем ожидают и полагаются на здешние резолюции, которые, однако же, и не инако как по большей части нерешительными, всегда же поздними к ним доходят. В рассуждении сих консидераций я принимаю смелость всеподданнейше представить, не соизволите ль, ваше величество, указать в сегодняшнее собрание по тем делам призвать генерала-поручика Веймарна как такова человека, которой был в том краю при команде и многие тогдашние несбыточные затеи по клочкам имел в своих руках и об них трактовал, почему он, конечно, в состоянии подать собранию многие основательные объяснения».

Собственноручное решение императрицы: «Позовите Веймарну и приведите все сие дело в такое положение, как вам Бог *луче на ум положет*».

2) Собственноручная записка Н. Ив. Панина: *«Экстракт моего письма к генералу-поручику Веймарну* .

Вчерашнего числа ввечеру я получил обыкновенный штафет из Риги от 10 числа, ее императорское величество во всемиловитейшем ко мне письме приказывать с целомудренным рассуждением изволит, «дабы в деспарадном и безрассудном предприятии узнать до фундамента, сколь далеко дурачество распространялось, и тем, если возможно, одним разом пресечь и избавить от несчастья вперед невинных простяков». Причем ее величество напоминает и примечать изволит, что с Великого поста более двенадцати раз по той же материи разное вранье открывалось; да и в последнем месте пред ее отсутствием один гвардии прапорщик, выписанной ныне в армейские полки (о котором я с вашим превосходительством уже говорил), также врал слышанное на кабаках от самой подлости будто б пр. Иван жил тогда в деревне под Шлюсельбургом, а многие армейские штаб-офицеры и солдаты ему присягали и много людей из города к нему туда на поклон ездят. И так изволение ее величества, «чтоб рассмотреть, не настоящие ли злодеи были причиною и тем разглашениям», как о том почти и сомневаться невозможно Почему, ваше превосходительство, соблаговолите при своих распросах и нужных иногда истязаниях доискиваться, когда, как, где и между кем, какие плевелы рассеваемы были для приуготовления духов к предпринимаемому от них злодейству».

3) *Собственноручное письмо императрицы Екатерины II к графу П. А. Румянцеву от 9 июля 1765 года.*

«Граф Петр Александрович, я остановила отсылку указа в Духовной комиссии, о котором упомянуто в 16 пункте моего сегодняшнего письма к вам, и желаю, чтоб вы тамошних несколько называемых панов склонили к подаче челобитни, в которой бы они просили об лучшей у них учреждении школ и семинарий, и, естли можно, о положении духовенства в штатного состояния, от

духовных или светских такой же челобитни иметь, чтоб мы уже знали как начинать. Мне Николай Чичерин сказал, что митрополит киевской сам не прочь от сего учреждения будет, понеже он менее дохода с деревень имеет, нежели последний великороссийской архиерей, а мы б ему, преосвященному, если б склонился о штатном положении просить, сделали б весьма выгодные для него кондиции. Я все сие поручаю вашей испытанной ревности и искусству, прошу excuseвать меня, что я по сию пору не ответствовала впредь прилежнее буду и остаюсь наивсегда с неотменной поверенности и доброжелательства» (Москов. архив Мин. иностр дел)